

АНАТОЛИЙ
ВИНОГРАДОВ

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

ОСУЖДЕНИЕ ПАГАНИНИ

РОМАН

БАЙРОН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

ББК 84Р7

В49

Примечания

С. БЭЛЗЫ

Оформление художника

Т. САМИГУЛИНА

В 4702010200-156 подписное
028(01)-88

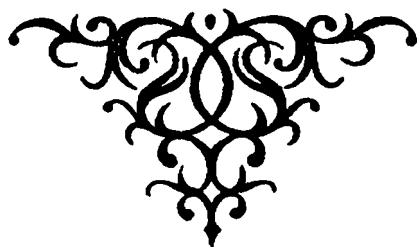
ISBN 5-280-00118-х (Т. 3)

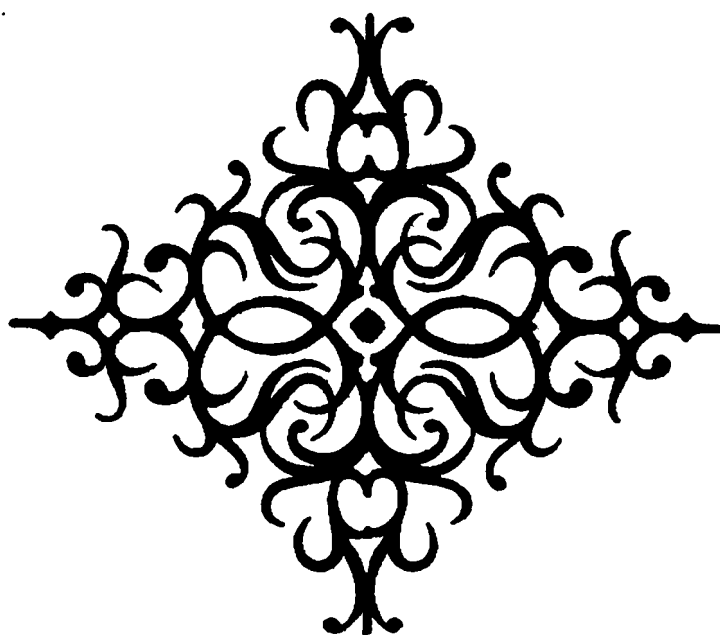
ISBN 5-280-00117-1

© Состав, примечания,
оформление. Издательство
«Художественная литература», 1988 г.



ОСУЖДЕНИЕ ПАГАНИНИ







Глава первая

ГОРОД ДВУЛИКОГО БОГА

Когда время прокладывает новую дорогу, когда новая морщина ложится на лицо земли, то старые дороги, как старые складки на лице, теряют свои прежние очертания. Пути, проложенные историей между странами земли, подвергаются причудливым изменениям. Одни поражают своею свежестью, шириной, полнозвучной наполненностью, движением, другие, еще надолго сохраняющие свою величавость, глохнут, погружаются в тишину. Трава пробивается между каменными плитами, и наконец деревья могучим потоком живой ткани выламывают камни. На этих дорогах птицы и звери забывают, что здесь когда-то шли колесницы и ступала нога человека. Пути, рассчитанные на века, сохранили свою старинную прочность, но остались без применения.

Города, лежащие на больших исторических путях, несут на себе следы всех этих перемен. Одни замирают, другие наполняются неслыханным и небывалым шумом. Одни поглощают свои пригороды, выбрасывая улицы далеко за пределы старых застав, рогаток и околиц, другие принимают в себя, на развалившуюся мостовую, семена соседних рощ и полей. Брошенные церкви окраин обрастают деревьями, колокола покрываются пылью, и от языка к стенке колокола тянется блестящая на солнце паутина.

Имена городов не случайны. Так и город, родивший Паганини, осужденного на гениальность и проклятого за талант, носит не случайно название Генуя. В средние века этот город назывался Janua. Латинское слово janua значит *дверь*. Не только такая створчатая дверь, которая ходит на петлях, а дверь в смысле порога и выхода, отделяющего весь открытый поднебесный мир от замкну-

того жилища человека. Janua — это и не только дверь, это выход в новый день, порог к завтрашнему от вчерашнего, это взор, вперенный в будущее, и оглядка на прошлое. Janua — римский бог, охраняющий пороги домов и входы в города, какое-то воплощение геометрической химеры, определяющей черту между прошлым и будущим, там, где настоящее становится тоньше тени от паутины.

Этот римский бог нашел свое олицетворение в виде двуликого существа. Одно лицо смотрит вперед, другое — назад, хотя они являются частями одной и той же головы.

Первый месяц года назывался Януарий. Он запирает собой последние мгновения старого года, когда в зимнюю стужу, в вихрь и вьюгу уже слышались голоса наступающей весны.

Когда-то Средиземье, замкнутое в гигантский эллипс, было увенчано короной драгоценных городов. На дальнем Западе, за Столбами Геракла, открывался Атлантический океан. Старинные периплы греков рассказывают о путешествии финикиян за Геркулесовы Столбы, о походе Язона за золотым руном. Платон в «Тимее» и в «Критии» повествует о том, что за Геркулесовыми Столбами когда-то была дорога в Атлантиду. Страна ушла под море. Остатки древних народов еще встречаются на лице теперешней земли. Как Архимед о песчинках, так Платон говорит о древних мирах, об их кончине и о возникновении новых. Столбами Геракла кончились достижения старинного человечества. Отважные мореплаватели, пролагавшие пути на Восток, туда, где встает солнце, на Левант, имели гораздо больший успех, чем путники, уходившие на Запад. На Восток устремлялись сердца искателей индийского золота и помыслы тех, в ком пламенело желание видеть неугасимые лампы Иерусалима. Вот венцом к этому венцу городов Средиземья, ключом к вратам земли была в те века Генуя.

Из Генуи вышел человек, пожелавший запереть двери старого мира и открыть выход в Новый Свет. В Генуе родился Колумб.

Когда американское золото наводнило Европу и Новая Индия вытеснила Старую Индию Леванта, замерли громадные дороги, выводившие Европу через генуэзские двери на старинный Восток.

В XIV столетии Генуя потеряла Кипр. Прошло четыре века, она потеряла Корсику. Корсика — генуэзский остров. Ее захватили французы. И вот теперь корсикан-

ский офицер с севера двигался в Италию. Бонапарт и Массена шли походом на Геную. Город пытался сохранить свою вольность. Генуэзская республика в дни Бонапарта еще избирала дожа, при нем существовали еще двенадцать гувернаторий и восемь префектур. Генуэзская аристократия в Малом совете управляла городом, богатые горожане и дворяне составляли Большой городской совет из трехсот человек...

Глава вторая

ЛЕГЕНДА О РОЖДЕНИИ

Три грязные, обвалившиеся ступеньки сквозного — из улицы в улицу через дома — коридора вели в серый дом в Пассо ди Гатта Мора. На этих ступеньках, по преданию, поскользнулась повивальная бабка. Споткнувшись, старуха упомянула черта, и в это время открылась дверь и послышался сиплый мяукающий плач новорожденного Паганини.

Ребенок кричал всю ночь, ребенок кричал утром. Он плакал, словно жалуясь на произвол родителей, призвавших его к жизни в эту дождливую и бурную ночь, когда в оба генуэзских мола, как пушечные выстрелы, хлопали волны прибоя.

Паганини родился в ночь на 27 октября 1782 года.

Глава третья

НИЩЕТА

Неподалеку от Пассо ди Гатта Мора в те годы стояло длинное строение, обращавшее на себя внимание черными рамами окон, пятнами сырости, дырами в старой, позеленевшей штукатурке. Это было убежище для бедных — «Albergo dei poveri».

В гурьбе оборванных ребятишек, высыпающих из этого здания пускать бумажные и деревянные кораблики в лужах или с гамом и криком бросающихся в уличные бои, можно было заметить маленькую обезьянку с выдающейся челюстью, широким лбом, курчавыми черными волосами и очень длинным носом. На этом уродливом лице странно выделялись огромные агатовые глаза. Не-

обычайно красивые глаза поражали своим несоответствием всему облику длиннорукого, кривоногого ребенка с громадными ступнями, с длинными пальцами на длинных кистях. Когда эти глаза загорались любопытством, лицо выравнивалось и внезапно теряло свою уродливость. Но это мимолетное облако мгновенно таяло, и, скаля зубы, маленький человек испускал вопли и дикие ругательства, налетал вместе с товарищами на соседей, отбивал у них кораблики и лодки, быстро мчавшиеся по уличным потокам...

В узких и темных коридорах «Убежища» они играли в прятки. По воскресеньям они наблюдали, как старый инвалид, напившись после полудня, бил костылями свою старуху. Ребятишки взбирались на верхнюю площадку лестницы: стекло над дверью позволяло любоваться семейными сценами. Они осторожно подходили к дверям каморки, где нищие играли в кости, и терпеливо дожидались того момента, когда проигравшие вступят в драку с выигравшими. Под стук кулаков и грохот падающих стульев они разбегались, насладившись зрелищем и унося с собой тревожное чувство свободы от родительского авторитета.

Одно из первых потрясений — долгая и страшная болезнь. Три недели Никколо бредил, соскакивая с кровати; ему связывали руки и ноги, на голову клали полотенце, смоченное холодной водой. Болезнь совершенно истощила его. Он долгое время был оторван от компании своих сверстников. Целыми часами играл он на лютне, пока мать шила, стирала, гладила, готовила скудный обед. Он уже играл на отцовской гитаре.

Никколо рос на попечении матери. Старшего брата, Франческо, почти никогда не бывало дома, он постоянно вел какие-то таинственные переговоры со стариками, приходившими к синьору Антонио. Это был для Никколо чужой и даже неприятный человек. Синьор Антонио тоже все чаще и чаще отлучался из дому.

Однажды, проснувшись ночью, Никколо увидел мать перед распятием, она усердно молилась. Отца не было дома. Взглянув на сына, мать подошла к постели и сказала:

— Спи, спи, он еще вернется, он недалеко. Он играет и проигрывает: в надежде принести нам счастье приносит горе...

К полудню следующего дня Антонио Паганини вернулся. Мальчик играл на лютне. Он так увлекся, что не заметил вошедшего отца. Антонио Паганини стоял с улыбающимся лицом и слушал. Позади него в дверях остановилась мать. Когда ребенок кончил играть, отец захлопал в ладоши и, подойдя к сыну, положил,—быть может, впервые,—свою большую ладонь на его чернокудрую голову. Маленькая обезьянка, открыв широко челюсти с желтыми зубками, заискивающе и трусливо поглядела вверх, на суровое лицо отца.

— Фу, какой урод! — сказал вдруг синьор Антонио. Ласковое выражение исчезло с его лица, он обернулся к жене.—Тереза, ну пойди купи всего, что нужно к обеду. Я голоден. Давайте сегодня повеселимся немножко.

Он взял гитару, сел против сына, кивнул ему головой: — «Карманьолу»!

Отец играл хорошо, сын робко старался вторить. Потом, вдруг ударив по струнам, Антонио Паганини положил гитару и резкими и большими шагами вышел в соседнюю комнату. Он принес оттуда старую скрипку и объявил:

— Никколо, ты будешь учиться играть на скрипке. Я сделаю из тебя чудо, ты будешь зарабатывать деньги. Знаешь, что это такое? Эта скрипка принадлежала нашему предку, похороненному в Капуе в Аннинской церкви. То, что я проиграл на бирже, ты должен выиграть на скрипке. Сегодня хороший день. Видишь эту машину? — отец показал на картонные таблицы, лежавшие на письменном столе.—Это мое изобретение, это мое открытие. Тайна успехов в моих руках. Простые кружочки картона ворочаются и раскрывают мне тайну выигрыша...

В это время вошла синьора Паганини с корзинкой.

— Ну что ж, иди, Антонио?

— Иди, иди.—Он вынул из камзола пачку кредитных билетов, выбрал билет наименьшего достоинства и вручил жене.—Вот видишь, Тереза,—сказал он,—мои дела поправились, отгадывающая машина не врет, я теперь знаю наверняка, какие номера лотереи покупать, чтобы выиграть!..

— Ну, ну! — перебила жена.— Не нужно меня обманывать, я знаю, что ты играешь в карты...

— Не лги!..—закричал старик.—Ступай, ступай отсюда! Иди, куда тебе надо...

Начался первый урок скрипичной игры. Маленький человек с трудом понимал отца. Отец раздражался и на каждый промах сына отвечал подзатыльником. Потом взял со стола длинную квадратную линейку и стал ею пользоваться во всех случаях, когда сын делал ошибку. Он легкими и почти незаметными ударами бил его по кисти до кровоподтеков. К тому времени, когда вернулась с покупками Тереза Паганини, синьор Антонио был уже в полной ярости. Он запер мальчика в чулан и велел ему играть первое упражнение.

Дикие, раздирающие уши звуки слышались из чулана в течение целого часа, пока Антонио Паганини сидел с женой за бутылкой вина. Он хвастливо рассказывал о своих выигрышах, проклинал синьора Лоу, который разорил французские банки и наводнил всю Францию кредитными билетами вместо хорошей, добротной звонкой монеты. Он проклинал итальянских акционеров, которые вошли в соглашение с французскими купцами: в те дни, когда «эти проклятые французы захватили главную крепость Парижа, посадили в тюрьму короля, отменили бога и святую церковь», — по морям прошли ураганы, совсем не похожие на прежние бури... Но ни одна буря не нанесла столько ущерба морской торговле, сколько бунт французской черни. Англичане перехватывают французские торговые суда. Французские купцы прекратили платежи по итальянским обязательствам, биржа заглохла. За какие грехи честный старый маклер Антонио Паганини должен страдать, когда французская чернь бунтует?

— И эта проклятая чернь поет нашу генуэзскую «Карманьолу», когда идет по улицам в красных колпаках и с человеческими головами на пиках! Как им не стыдно порочить наши хорошие генуэзские песни!..

Язык старого Паганини все больше и больше заплетался, Антонио все чаще прибегал к крепким выражениям. Он бранил всех, рассказывая о бесчестном дворянстве, о разорении купечества. Внезапно принимался восхвалять свою лотерейную машину. Он уже не обращал внимания на то, что его собеседница молчит. Он уже не видел страдальческого выражения ее лица. Расхваставшись, он ударил кулаком по столу:

— Тысяча дьяволов! Слышишь, как играет мальчишка? Из него выйдет толк!..

Тогда Тереза решилась напомнить о том, что мальчик был недавно болен, что ему опасно так долго и так сильно напрягаться, что ему пора обедать. Синьор Антонио резко перебил ее:

— Не будет есть, пока без ошибки не сыграет первого упражнения...

Глава четвертая

ВОЙНА

В «Убежище» рассказывали странные вещи. Французы в городе Париже на большой площади поставили помост, на помост поставили стойки, между стойками укрепили в пазах большой стальной треугольник, который опускался в пазах и сваливался острым концом вниз. Одним словом, французы сделали миланскую машину, которой старые миланские мясники убивали быков на бойне. На этот раз они сделали машину для человеческих голов. Они вывели короля из башни, в которой держали его в плену, положили его под эту машину и опустили тяжелый стальной треугольник, а потом подняли за волосы голову, отделенную от тела, и показали собравшемуся парижскому люду со словами: «Вот истинный король Франции».

Никколо с удивлением слушал эти разговоры, передаваемые из уст в уста. Говорили, что король этот был злодеем и предателем своего народа, что казнь его — справедливое воздаяние за преступление, совершенное им перед своей страной. Говорили, что он позвал иноземные войска для того, чтобы опустошить Францию огнем и мечом. Говорили о страшных пожарах французских сел, о голоде французского простолюдина, о том, что соседние монархии объединились для спасения Людовика XVI и что они теперь ведут войну с восставшим французским народом.

— ...А вы слышали? Французы поют нашу «Карманьолу»...

...Маленький Паганини играл уже хорошо. Он научился играть по нотам. А когда уходил старик, принимался сочинять сам короткие музыкальные пьесы. Он представлял себе, как французы со знаменами, в красных шапках идут на парижскую крепость. «Бастия, Бастилло», — старался вспомнить маленький Паганини, и звуки, рождавшиеся в нем внезапно, он передавал в игре на своей старой, непомерно большой скрипке. «Карманьола» выхо-

дила живая, звучная. Но это была уже другая «Карманьола», другая песня. С этой песней, воспользовавшись отъездом отца, маленький Паганини впервые вышел из дома, и с этой песней, как со своей добычей, он вошел в полутемный коридор «Убежища». Впервые играл он при большом скоплении слушавших его людей. Он испытывал особую гордость, когда к звукам его скрипки вдруг присоединились голоса поющих взрослых людей. Мужчины и женщины, обступившие его в «Убежище», пели «Карманьолу» на новый лад, с тем богатством оттенков, которое придавала ей скрипка Никколо.

Над Генуей по-прежнему сверкало яркое солнце. По-прежнему ласково пела, набегая на мол в Дарсена Реале, морская волна, по-прежнему мерно качались цветущие деревья в городском саду и гигантские мраморные памятники на кладбище белели под лучами солнца, неизменно спокойные, величавые, охраняя старинные могилы генуэзской знати.

Никто не знал, кроме городского совета, о том, что ураган, срывающий кровли дворцов, несется с севера на юг, с запада на восток и что не нынче-завтра ясное небо Генуи покроется тучами. Носились темные слухи о том, что где-то в горах, в Западных Альпах, в горных проходах, появились красно-сине-белые мундиры, трехцветные знамена развевались перед конницей, шедшей на Кастель Франко, на крепость Бард. Но это были только слухи. Называли итальянскую фамилию, говорившую об удачливом и счастливом жребии, о хорошей участи того, кто носит эту фамилию. Буонапарте — счастливая доля, — так называли человека, шедшего с целой армией бунтовщиков с севера на юг.

— Кто он? — так рассуждал старик Паганини за столом. — Он сын простого корсиканского синдика. Как же эта сволочь смеет носить генеральский мундир, когда он даже не дворянин Франции?! Разве они могут устоять против регулярных войск австрийского короля?..

— Близок конец мира, — говорил он, однако допивая четвертую бутылку. — Скоро некуда будет бежать.

Два раза открывалась генуэзская биржа. Два раза синьор Паганини получал огромные выигрыши. Ему везло в карты, везло в темных лотерейных делах. Соседи шептались о том, что дело не чисто с лотерейными номерами, что колеса лотерейной машины смазаны золотым маслом... Старику сказочно везло.

Когда повеяло зимой, на улицах Генуи родилась тревога, заговорили открыто о движении с запада — от Ниццы — французских войск. Паганини, казалось, не слышал и не видел ничего вокруг себя. Он весь ушел в сложнейшие операции лотерейной игры. Счетная машина, со всеми ее картонными кругами, деревянными планшетами, стальными иглами, стрелками и указателем, уже не пользовалась прежним его вниманием. Запыленная, она валялась в углу, и кошка обращалась с ней до крайности непочтительно. Теперь уже не нужно было прибегать к этим безумным ночным подсчетам. Мышиное шарканье стальных стрелок по картону прекратилось. Часовые стрелки работали на синьора Паганини, — время работало на него.

Паганини плыл по течению. Река времени его несла. Воды этой реки замутились, и в мутной воде бывший маклер города Генуи ловил крупную рыбу.

На севере было неблагополучно. Пошатнулись устойчивые и солидные предприятия городов. Корабли не выходили в море. Английские «военные пираты» сделали владыками Средиземья. Романелли и Спиро, владельцы одного из банкирских домов Генуи, вызвали маклера Антонио Паганини ранним утром к себе. Они читали прокламации генерала Бонапарта:

«Солдаты, вы плохо кормились, вы ходите почти голыми. Правительство Республики обязано вам всем, но не может сделать для вас ничего. Вам делает честь ваше терпение, ваше геройское мужество, но из этих свойств вы не сошьете себе ни славы, ни выгоды. Поэтому я принял решение вывести вас из гор в самую плодородную долину мира. Перед вами расстилаются широкие дороги с большими городами, вы увидите прекрасную провинцию, новую страну, там вас ждет честь, слава, богатство».

— Что же! — восклицал банкир Спиро, размахивая перед носом Паганини листом синей бумаги. — Что же, этот грубый солдат осуществляет все свои обещания армии разбойников, которую он ведет из Ниццы? — И сам отвечал: — Да! Он начисто грабит города и облагает население такой контрибуцией, которая хуже смерти!

— Мы решили закрыть банк, — продолжал компаньон, обращаясь к Антонио Паганини. — И тебе, нашему верному помощнику, делаем мы почетное предложение: ты поедешь на север и повезешь кое-какую поклажу. Это мешки с нашими бумагами, закладными, векселями, рас-

писками, акциями, облигациями. Наличность мы выводить не будем. Мы закроем банк и сами на время уедем из Генуи подальше. А ты отвезешь в город Кремону душу и сердце нашего предприятия.

Антонио долго молчал. Лицо его делалось все печальней и печальней. Не поднимая век, он в зеркало наблюдал за выражением лиц своих собеседников и наконец снова поднял глаза. Они были полны напускного страха. На лицах банкиров появилась растерянность.

— Мы тебе доверяли крупные сделки, ты был нашим посредником во всех морских делах банка. Скажи, как могли бы мы вознаградить тебя заранее?

Романелли сказал слишком много. Спиро вдруг нахмурился и заявил:

— Я могу договориться с моим братом — он собирается выехать на север, — если тебе трудно сделать это самому, синьор Паганини.

Тогда старый маклер решил нанести удар. Он знал, каковы отношения между братьями. Он был осведомлен о темном деле, после которого братья разошлись. Он знал, что синьор Спиро вовсе не из родственных чувств отказался от вмешательства австрийской полиции в отношения его с родным братом, и быстро замаял дело.

Паганини посмотрел на них, сделал еще более страдальческое лицо и сказал:

— Достопочтенные синьоры, у меня жена и дети, я не могу оставить их на произвол судьбы. Покидая родной город, я должен выехать вместе с ними. Я должен купить хороший экипаж, я должен платить дорожке других путешественников, чтобы беспрепятственно получать лошадей, а в то же время я должен сделать все, чтобы меня принимали за путешествующего бедняка. Вы должны согласиться со мной ради справедливости, что поручение ваше равносильно приказу прыгнуть в пасть дракона.

Наступило молчание.

Три раза повторялась эта сцена, после чего сам синьор Спиро скрепя сердце назвал сумму в пять тысяч лир. Паганини встал, держа шапку в руках, и сказал:

— Синьоры, меня ждет семья, разрешите мне уйти и поверьте, что всем сердцем...

Но тут Романелли остановил его резким движением:

— Да что ты в самом деле, ну, назови цифру, которая вполне соответствует выгодам твоей семьи. Зачем тебе брать жену и детей?

— Нет, синьоры, увольте...

Паганини направился к выходу. Синьор Спиро быстро загородил ему дорогу, подойдя к полке с банковскими книгами. Достав толстую книгу, он стал, расставив ноги, в дверях и сказал:

— Ты вот посмотри, упрямый человек, что мы можем сделать, когда мы почти разорены?

— Я не хочу вас еще больше разорять, синьоры,— сказал Паганини,— я сам живу на несчастные гроши, заработанные мною непосильным трудом в последнее время.

— Ну, скажи, что мы должны сделать для тебя?

Тогда Паганини, потупив голову, произнес:

— Проценты с морских операций банка, как только благородные синьоры возобновят эти операции. В число документов, которые я повезу в Кремону, благородные синьоры благоволят включить обязательство, делающее меня участником банковских прибылей, и двадцать тысяч лир наличными в день отъезда.

Глава пятая

ПУТЬ ПО ЗЕМЛЕ

В городе Кремоне, на севере Италии, жил синьор Паоло Страдивари. В те дни, к которым относится наш рассказ, он вел свои записи почти ежедневно и отмечал:

«Савойя, Ницца, крепости Алессандрия, Кони, укрепления Сузы, Бунетты, Экзилья захвачены и разрушены. Какой-то безвестный французский генерал, проходимец и негодяй, обложил со всех сторон Мантую, сильнейшую крепость... Город Милан занят французскими войсками. На воротах города красуется надпись: «Слава доблестному французскому оружию!» Женщины в цветных платьях и мужчины в праздничных камзолах встречают французов криками и песнями. Офицеров забрасывают цветами, пушки обвивают цветами и виноградными листьями. Жандармы Австрийской империи бежали на север, духовенство в страхе покидает города, и все это — под грубым напором корсиканского бандита, отменяющего католическую религию, закрывающего монастыри. Герцог Пармский за одно перемирие заплатил два миллиона. Он отдал 20 лучших картин своей галереи, лучших коней пармской конюшни и оставил Парму без провианта. Герцог Моден-

ский отдал 10 миллионов, все картины и статуи своего дворца. Король Неаполитанский в страхе отозвал свои войска, и даже первосвященник римский заплатил 21 миллион этому бандиту. Он выдал 100 прекраснейших картин Ватикана, он выехал из Болоньи в Феррару, из Феррары уехал дальше, малодушно благословив город Анкону на принятие французского гарнизона. Даже наша Ломбардия заплатила контрибуцию в 20 миллионов. Что будет дальше? Кто сопровождает этого страшного злодея? Какой-то Мюрат, сын кабатчика, какой-то безвестный Массена, какой-то безвестный Ожеро. Ни одного имени с титулом, ни одного дворянина. Впрочем, есть разбойник с баронским титулом, полковник Марбо».

27 декабря 1797 года французский генерал Дюфо вмешался в уличную стычку между жителями Рима и солдатами и был смертельно ранен. 10 февраля 1798 года под стенами Рима появился Бертье с армией в восемнадцать тысяч человек. Пять дней спустя Вечный город, столица мира, где имел пребывание наместник Христов, вдруг провозгласил себя Римской республикой, и французская армия с музыкой и знаменами вошла в Рим. Останки французского генерала Дюфо были погребены в Капитолии, где погребали величайших мужей мировой истории, а римский первосвященник, папа Пий VIII, в качестве пленника был увезен в Валанс, в простой карете, под конвоем французских офицеров Миолиса и Раде.

Генуя голодала. Генерал Массена и верный его помощник Марбо кормили солдат клейким тестом из овса. Крахмал и бобы выдавались по воскресеньям в качестве лакомой пищи. Похлебку заправляли кожаной резкой из старых ранцев. Так жили день за днем, и так проходили месяцы. Французы голодали. С севера провиант приходил плохо. Французские транспорты, отправленные из Марселя, были перехвачены. А на горизонте появлялись все новые и новые белые точки. Громадные паруса гигантских кораблей белели на закате. Корабли бросали якоря, и длинная ограда, замыкая весь горизонт, обрамляла морскую даль. Французские пикеты проходили по берегу, сверкая киверами и касками. Уличные мальчишки посмеивались, видя, как болтается на похудевших и тощих телах оборванное обмундирование, сборная одежда, в которой монашеские рясы, перешитые в походные плащи, сочетались с мундирами национальной гвардии парижской милиции, с мундирами конвента.

Французские пикеты не пропускали жителей к берегам. На оконечности мола стояли сторожевые посты. Реквизированные корабли генуэзских торговцев были приспособлены для французской военной службы. Французское командование с тревогой наблюдало за горизонтом. Лес корабельных мачт, легкие и сторожевые суда сменились огромными линейными кораблями. Это накаплилась могучая сила, эскадра английского адмирала Кейса. На мраморе набережных были укреплены батареи; длинные медные пушки, снятые с колес, и перевернутые лафеты лежали неподалеку. Ядра, бомбарды, мортиры, пороховые ящики — все это в большом беспорядке покрывало берег.

Генерал Массена должен был бы давно уйти на север, но боязнь английского десанта заставляла его держаться в этом городе, где голодающее население уже съело последних голубей и ворон, где собакам и кошкам давно стало опасно появляться на улицах, где французским солдатам приходилось превращаться в рыбаков и, отняв сети у окрестных поселян, в сумерки выплывать на лодках за пределы последних ограждений мола...

В эти дни, когда издалека доносился гул канонады, когда рвались паруса на море у Лигурийского побережья, горели палубы, валялись расщепленные мачты, где-то на горных снегах горели костры, а по склонам перебежали группы кричащих людей с поднятыми вверх ружьями, — в эти дни через Комо, Бергамо, Пескьеро двигалась старая, изношенная карета, с облезлыми дверцами и разбитыми стеклами. Закутавшись от ветра, сидели в ней мужчина, женщина и мальчик. Огромные тюки были привязаны на крыше. Форейтор и кучера посвистывали и хлопали бичом, погоняя тощих кляч. Карета ежеминутно останавливалась при встрече с людьми, шедшими пешком по дороге. От встречных узнали, что дорога на Павию и Пьяченцу занята французскими отрядами. Круто повернули на юг. Путь на Кремону был тяжелый, приходилось сворачивать на кружные дороги. Пушки французской армии разбили дороги, глубокие колеи остались повсюду, где проходили французские батареи.

Путешествовавшие не называли себя синьорами Паганини. Это была простая семья бедного, напуганного войной парикмахера, который переселялся с побережья в родной город на севере Италии. Ночевали в маленьких, грязных гостиницах. Спали в них не раздеваясь, и старый

Паганини все время ворчал, упрекая жену за ее настойчивое желание бежать из Лигурии. Первоначально он делал это, как актер, ради того, чтобы скрыть истинную цель поездки. Потом он вошел во вкус.

Все выше и выше поднималась дорога. Роскошь тенистых, густо-зеленых парков; низкие поросли виноградников, золотистая зелень которых покрывала склоны; освещенные солнцем апельсиновые, лимонные деревья все чаще и чаще сменялись полями тюльпанов, серыми безлюдными рощами олив, на огромном пространстве разливался зеленый свет прозрачной, напитанной солнцем листвы. При въезде в город сломалась ось кареты. Пришлось прожить здесь лишних три дня в ожидании, пока починят экипаж. Это был первый большой привал. Отягощенный трудностями пути и целой фьяской выпитого вина, синьор Паганини заснул и проспал непробудным сном двадцать восемь часов.

...Забравшись на голубятню, маленький Паганини вынул скрипку из футляра. Не раскрывая нот, он взял смычок. Мать охраняла имущество, пьяный отец спал. Внизу, под горой, кузнец раздувал горн. Еще минуту назад, корча невероятные гримасы перед зеркалом и показывая себе язык, Никколо был далек от мыслей о своей скрипке. А тут вдруг ему захотелось поведать самому себе в звуках впечатления пути, передать свое детское ощущение всего этого зеленого, буйно растущего мира.

Рыбаки, возвращавшиеся с озера, остановились и слушали скрипку. Прошел час, мальчик все играл, до тех пор пока не увидел в окно толпу горожан, рыбаков с сетями, охотника с ружьем. Он остановился, положил скрипку и осторожно спустился по лестнице...

...Дорога поднималась все выше и выше. Все хуже и хуже давали лошадей. Клячи едва тянули большую, широкую карету. Зачастую приходилось останавливаться, чтобы дать передышку лошадям, не перепрягая, в первом попавшемся поселке. И эти остановки были большим несчастьем для Никколо. Старый Паганини вдруг, словно одержимый бешенством, стал требовать, чтобы сын играл на каждой остановке. Он будил его по ночам, он заставлял его играть часами. Когда усталый, обессиленный скрипач ронял смычок, отец ударом ноги возвращал сына к действительности.

Так прошли четыре недели пути. Мальчик едва

держался на ногах. Под дождем, на сквозном ветру он простудился и стал кашлять кровью. Но, невзирая на это, отец не скупился на побои. Ошибка в пассаже, плохо сыгранный такт, вялость в игре — все влекло за собой наказание. Виноград с вареным рисом отодвигался в дальний угол стола. Мальчик мог издали любоваться лакомым блюдом. Он водил смычком по струнам до полного изнеможения. Блюдо вареного риса превращалось в высокую снежную гору. Колени подгибались, подбородок тяжелее ложился на скрипку, мальчика начало лихорадить, пальцы быстрее бегали по грифу. Как не похоже здесь на теплую, яркую, освещенную солнцем долину Ломбардии! Там теплые басовые звуки рассказывали его впечатления от теплой могучей зелени, а здесь — снежные поляны, высокая гора и бледные пятна лесов на вечных снегах. И вот снег, холодные искры голубого фирна передавались взлетами к тонкой, серебром звенящей шантрели. Шантрель пела, чистым высоким голосом выводила она мелодию снежных высот...

Отец уходил, и маленький Паганини осторожно растягивал ремень, которым была перетянута корзина с едой. Потом, крадучись, убежал из дому. Он бегал по склонам гор, выпрашивая у старух кусок овечьего сыра или чашку козьего молока. Усталый, исцарапавшись об острые камни, он забирался в самые глухие места, где отец не мог его отыскать. Засыпал на ветвях деревьев, пригретый лучами солнца, проклиная скрипку, которая превращалась для него в орудие пытки.

В Генуе в старинном застенке мальчику случалось видеть деревянные голенища и колодки, напоминающие по форме деку скрипки. Это были части так называемого испанского сапога, которым стискивали ногу преступника во время пытки. Скрипка стала таким же орудием пытки для рук, сердца и мозга ребенка. Локти и плечи болели, пальцы не держали смычка, левая рука выпускала гриф, и скрипка падала на циновку. Но, помимо того, неделями не проходили кровоподтеки, синяки от умелых щипков родной отцовской руки. Руки, ноги, лицо, шея — все было в синяках. Мать бросалась в ноги, упрашивая отца щадить ребенка, но ее заступничество лишь ожесточало отца. Ничего не могло сломить настойчивости старого Паганини.

— Я сделаю из тебя чудо, проклятая обезьяна!.. Ты все равно продан черту, — так ты или погибнешь, или

обеспечишь мою старость. Я выпущу тебя, мальчишка, перед большой толпой знатных и богатых господ, когда мир опять станет на место, после ухода проклятых французских бродяг. Ты будешь вызывать восторг и умиление богатых людей, ты вызовешь у них умиление, которое заставит их забыть свою скупость...

Наступили тревожные дни. Беглецы из южных викариатов спешили покинуть Ломбардию. Говорили, что весь север Италии находится во власти Франции. Старик решил укрыться в Швейцарии. Начались скитания вдоль берегов Тичино. От самого Прато, через Дацию Гранде и Киоту — извилистыми путями на Бруньяско, Альтанну и Ронно. Приехали в район озера Ритом и там остановились.

Вечером, когда семья Паганини села ужинать, послышался стук колес. К маленькой гостинице подкатил в коляске русский генерал с двумя офицерами. Четыре конных ординарца сопровождали коляску. Антонио вскочил и подбежал к окну. Значит, и тут нет покоя! Русские войска, пришедшие на помощь Австрии, идут против французской революции, быть может, они свернут шею генералу Бонапарту, но кто знает, как они отнесутся к мирным путешественникам!

Русский генерал занял весь нижний этаж. Паганини с вещами выкинули в конюшню. В селении громко поговаривали о том, что неподалеку на горах расставлены русские пушки и скоро весь берег озера Ритом превратится в яму, изрытую ядрами. Перед наступлением ночи русские солдаты пели песни, пили огромными ковшами противное кислое вино, смотрели в окна, ждали кого-то.

Под утро внезапно все переменялось. На заре старый Паганини высунул голову из ворот конюшни и увидел во дворе хозяина гостиницы. Тот весело мигнул синьору Антонио и сказал:

— Господин парикмахер, медведи и казаки уехали, за ними приезжал верховой.

Снова дорога замелькала снежными склонами, поющими под ветром соснами и елями. Застывали руки, зябли ноги, лицо обдавал суровый ветер. Коляска тряслась по ухабам. Вязкий снег сменялся каменистым грунтом, цоканье двадцати четырех подков сразу пробуждало старика Паганини, который, как нахохлившаяся птица, сидел в углу кареты, и он сбрасывал рукавом каплю, подмерзшую на кончике красного носа.

КРЕМОНА

После страшной недели в горах — опять зелень, опять дорога, где склоны и долины чередуются с ледяным простором горных озер и необозримыми пастбищами. Воздух режут звуки пастушьего рога, доносятся звоны колоколов, вся природа наполняется огромным количеством звуков.

Наконец показались старые крепостные стены Кремоны. Две речки и одна река. Маленькая Адда, маленькая Оглио и огромная, полноводно текущая По. Крепость с замком необычайной красоты. Вот застава. Синьору Антонио приходится, разминая затекшие ноги, сутулясь вылезти из кареты, войти в маленький дом из серого камня и предъявить придиричивому вахмистру документы, удостоверяющие законность поездки синьора Антонио Паганини — теперь уже не безвестного парикмахера, возвращающегося в родной город, а человека вполне достойного и почтенного, благородной профессии, бывшего посредника Антонио Паганини, с супругой Терезой и сыном Никколо.

Потом опять удар бича, лошади рвутся вправо, в переулок, где виднеется двор мессаджера, привычное место стоянки. Несколько порывистых движений вожжами, выкриков, несколько ударов бича, и, переминаясь с ноги на ногу, усталые клячи поворачивают в противоположную сторону.

Вот уже городская площадь. Германо-ломбардские старинные дома XII столетия. Красный и розовый мрамор, высокий шпиль собора. Вот дом с островерхой крышей из красной черепицы. Низкие, но широкие двери гостеприимно открываются перед гостями. Старший брат отца, Витторио Паганини, стоит на пороге. Седой парик из собственных волос, красный нос, оловянные глаза, грубый, сухой, покрытый тончайшими морщинами подбородок с черной ямкой посередине, будто следом воткнутого гвоздя, уши маленькие, серые, как будто давно не мытые.

Глаза производят неприятное впечатление на мальчика. После взаимных приветствий дядя откидывает полу камзола, достает из кармана табакерку, нюхает табак и чихает. Слезы льются из глаз. Дядя смахивает слезы платком из зеленого шелка с вышитыми крест-накрест

большими ключами. Такие платки имели только лица духовного звания или те, кто внес богатый вклад на церковь.

Прошло утро. Никколо вместе с матерью отправляется в церковь. Мать жарко молится перед фреской, на которой изображен ангел, играющий на скрипке...

Ночью у матери лихорадка. В пути держалась крепко,—вечный страх за Никколо, боязнь, что побои отца сведут ребенка в могилу, постоянное стремление сберечь лишний кусок для сына заставляли перемогаться, скрывать свои страдания. А здесь, в Кремоне, в первый же день пошла на исповедь. Внезапный обморок сломил ее силы.

Под утро, разметавшись в жару, она позвала сына. Долго смотрела на него молча, потом слабым голосом проговорила:

— Мальчик, нынче ночью ангел, тот самый, которого мы видели на святой картине в соборе, сказал мне, что ты будешь первым скрипачом мира. Недаром мы приехали в этот город. Тут жили лучшие скрипичные мастера — Амати, Гварнери и Страдивари. Я чувствую, что здесь ты похоронишь свою мать. Обещай мне никогда не расставаться со скрипкой.

Мальчик был испуган, он бросился на колени и заплакал. Лицо стало еще более уродливым, когда по выдающимся скулам к треугольному подбородку побежали слезы. Никколо обещал матери исполнить все, что она просит. Он обещал бы в тысячу раз больше, лишь бы не слышать ее жалоб и не испытывать этого ужаса, который охватил его при мысли о том, что мать может уйти от него навеки.

Проходили дни. Никого хоронить не пришлось. Мать выздоровела.

Дядя со дня на день становился все веселей и ласковей, он все чаще заговаривал с Никколо, и легкое подозрение закралось в сердце мальчика, приобревшего первый жизненный опыт в «Убежище». Маленький Паганини насторожился, как взрослый, он почувствовал, что отец недоговаривает чего-то в беседах с дядей и дядя намеревается через него, Никколо, выведать то, что прячет так старательно отец. Но мальчик сам ничего не знал и первый раз пожалел о том, что он плохо осведомлен в делах отца. На всякий случай он делал, однако, вид, что ему кое-что известно, но что он должен

молчать. Маневр удался. С этого дня дядя был почти в его руках.

— Ты раздираешь мне уши своей игрой, у тебя ужасная скрипка! — заметил однажды дядя.

Маленький Паганини чувствовал, что это только начало большого разговора, и приготовился. Он опять принял вид человека, затаившего какой-то секрет, и перешел в контратаку. Он спросил, правда ли все, что рассказывают о кремонских скрипках, о скрипичных мастерах, прославивших этот город, и наконец о Паоло Страдивари, который живет неподалеку от соборной площади. Дядя смотрел на него внимательно и, казалось, не понимал. Наконец старик ответил:

— Дурачок, наш славный город всему миру известен шелковыми фабриками. Правда, сюда приезжал в прошлом году какой-то сумасшедший английский лорд и все выпрашивал и записывал сведения о синьорах Страдивари. Синьоры Страдивари — почтенные дворяне в нашем городе. Они были сенаторами и никогда не занимались ремеслом. Их отдаленный предок, правда, делал скрипки, но это был дворянин, он делал их между прочим и никогда не торговал своими изделиями.

Мальчик слушал его недоверчиво.

— Послушай, — попытался старик свернуть на интересовавшую его тему, — вы перед отъездом из Генуи как будто жили бедно?

— Нет, дядя, — коротко ответил мальчик.

— Вот как! Вы, значит, бедствовали?

— Нет, дядя, — тем же тоном ответил Никколо.

— Так что же, вы были нищими?

— Нет, дядя.

Тогда дядюшка решил сделать передышку.

— Знаешь ли, — сказал он, — синьор Паоло Страдивари жив до сих пор. Он рассказывал мне, как этот сумасшедший английский лорд осаждал его расспросами о предках синьора Паоло, делавших когда-то скрипки. Так вот, я хочу тебе сказать: если дела у отца поправились и он сейчас с деньгами, то попроси его купить тебе скрипку лучше у графа Козио. Этот чудак собрал коллекцию, целых шестьсот скрипок. Синьор Паоло всегда направляет людей к нему, если кто-нибудь, как этот сумасшедший лорд, начинает надоедать ему. Сам синьор Паоло ненавидит скрипку.

Мальчика не удовлетворили эти сведения.

И вот однажды синьор Паоло Страдивари был сильно испуган, видя, что к нему в окно с дерева спрыгнул похожий на обезьяну черноволосый чертенок.

— Синьор, во имя бога, простите! — крикнул мальчик. — Уже три часа я стучу, и никто не отпирает ваших ворот.

Синьор Паоло, прихрамывая, подбежал к окну и схватил трость, намереваясь ударить мальчика, которого он принял за вора. Но маленький Паганини стал на колени.

— Умоляю, синьор, не бейте меня! Меня достаточно бьет отец, не бейте меня! Я хотел только узнать у вас, как делают скрипки господи Страдивари...

Синьор Паоло нахмурился.

— Откуда ты, безумная обезьянка, и кто тебе рассказал небылицу о скрипках? Мои предки были сенаторы, они носили красные плащи и красные шапки. Мне никакого дела нет до сплетен, которые сочиняют о нашем славном роде... Постой! — И тут синьор Страдивари схватил мальчика за шиворот. — Ты просто вор! Ты в сотый раз повторил мне вопросы, на которых помешались теперь англичане. Когда я был молод, ни один дурак не интересовался скрипичным старьем и хламом. А теперь мне прохода не дают эти английские сумасброды. Кто тебя подослал? — спросил он грубо.

— Никто, синьор! Никто меня не подсылал, я сам пришел, по собственной воле. Я играю на скрипке, которая...

— В этом городе воздух становится отравленным! — воскликнул синьор Паоло. — Это какое-то безумие! Весь город наполнен сплетнями о скрипках Страдивари. Что же, выходит, я потомок ремесленников? — Потом он смягчился. — Ну, а кто ты? — спросил он, обращаясь к мальчику. — Сколько тебе лет? Ты лжешь, что ты играешь на скрипке в твоём возрасте!

— Я из Генуи, — ответил мальчик. — Я сын синьора Антонио Паганини. Отец учил меня играть на скрипке, я люблю скрипку, хотя отец делает все, чтобы я ее разлюбил.

— А я думал, что ты воришка, — сказал синьор Паоло. — Я живу в Кремоне и записываю события. Страшные вещи надвигаются на нашу Италию... — Старик говорил иногда как будто сам с собой. — За год произошло столько вещей в мире, сколько не было за сто лет перед

этим. Так ты думал, что никого нет дома,—снова обратился он к мальчику,—и хотел украсть что-нибудь?

Он снова поднял трость и снова ее опустил. Тут мальчик заметил, что синьор Паоло—совсем дряхлый старик. Моментами у старого Страдивари отваливалась челюсть. Какие-то странные знаки отличия, плохо прикрепленные к камзолу, болтались на его высохшей груди...

— По всей Европе идет какое-то сумасшествие! То свергают королей, то вдруг начинают скрипичное старье ценить дороже нынешних хороших скрипок. Это еще надо доказать, что старые скрипки лучше новых... Надо доказать, что новая политика лучше старой,—добавил он. Старческое лицо вдруг исказила свирепая гримаса.—Еще надо доказать,—закричал он,—что французская республика чего-нибудь стоит по сравнению с хорошими древними монархиями!

Веки старика закрылись, потом он вдруг, как бы насильно заставляя себя проснуться, обратился к Никколо:

— Итак, мальчик, иди к графу Козио. Этот самый дурак помешался на скрипках. Это он пускает сплетни о том, что в доме Страдивари занимались ремеслами. Не верь тому, что граф Козио будет говорить про нашу семью, он старый маньяк и выдумщик, но скрипок у него много и человек он неплохой.

Синьор Паоло взял колокольчик со стола и позвонил. Вошла женщина лет сорока, румяная, крепкая, сильная. Она недовольно посмотрела на старого синьора, с негодованием оглядела маленького Паганини и, обращаясь к синьору Паоло, резко спросила:

— Что вы тут шумите?

— Катарина,—сказал Страдивари,—проводи мальчика к выходу и готовь завтрак.

— Нет вина,—ответила Катарина.—Как этот маленький негодяй попал сюда?

Она говорила резко, с таким видом, словно желала подчеркнуть, что она хозяйка в доме и синьор Страдивари находится у нее в подчинении.

— Ключи у тебя, Катарина,—возразил Страдивари с досадой.

— А деньги у вас,—грубо отрезала Катарина.

— Деньги у тебя,—пробовал спорить старик.

— Деньги вышли все.

Синьор Страдивари зашевелил губами, хотел что-то возразить, сделал неопределенный жест и стал шарить рукой в кармане камзола, пытаясь достать ключи. Он долго искал деньги в стенном шкафу. Наконец Катарина вырвала у него из рук мешок с серебряными монетами и, быстро обернувшись к маленькому Паганини, воскликнула:

— Идем!

— Иди на площадь святого Доминика! — крикнул вдогонку Страдивари.

— Кто тебя впустил в дом, чертенок? — грозно спросила Катарина, открывая перед Никколо дверь.

Чтобы не осложнять положения, мальчик поспешно юркнул в открытую дверь и прыгнул на мостовую...

...Он уже приближался к двухэтажному дому графа Козио, как вдруг его чуть не свалил удар в ухо. Кто-то схватил его за плечи и стал нещадно трясти. Вскинув глаза, через плечо, мальчик увидел разъяренное лицо синьора Антонио.

— Вот ты где, дьяволенок! Вот ты где, вор семейного благополучия! Какой черт носит тебя по улицам, когда я два дня, заботясь о тебе, добиваюсь приема у графа Козио? Сегодня он согласился слушать твою игру, а тебя, как на грех, унесло неведомо куда. Если будешь шляться без позволения по улицам...

— Да пустите же, отец! — закричал мальчик. — Я иду к графу Козио, я все знаю!

Синьор Антонио выпустил его, с недоумением посмотрел на свою руку, только что державшую сына за шиворот, и проговорил:

— Как? Что? Что ты сказал?

— Ну да, отец, — быстро заговорил Никколо, наспех придумывая изворотливую фразу, — ну да, я иду к графу Козио, потому что... потому что... мне передали, что...

— Ты лжешь! — завопил старик. — У тебя заплетается язык.

— Это потому, что вы сдавили мне горло, — нашелся мальчик.

— Нет, совсем не потому, а потому, что ты лжешь!

Время было выиграно. Они стояли у решетчатой ограды. Синьор Антонио постучал. Привратник открыл дверь. Старик Паганини, слегка подпрыгивая и танцуя, поклонился привратнику с такой почтительностью, словно от этого человека зависело очень многое, и

попросил доложить господину графу о приходе его нижайшего слуги Паганини с мальчиком, чудесным скрипачом.

Никколо вздрогнул и, как зверек, сверкнул глазами, глядя исподлобья на отца. Чудесный скрипач! Ему вдруг показалось, что забыты отцовские побои, забыты обиды, захотелось броситься к отцу, сказать, что бить его вовсе не нужно, что он сам сделает все необходимое, он сам любит музыку и скрипку, а после побоев, наоборот, каждый раз он уже совершенно не может играть... Но, увидев подобострастную и жалкую улыбку старика, мальчик понял, что для этого человека его, Никколо, страдания не существуют, старик считает сына вещью, инструментом для наживы, машиной, которая должна обеспечить безошибочный выигрыш. Сердце маленького Паганини сжалось. Никогда раньше он не видел у отца этой хитрой и подленькой улыбки.

Отец не стеснялся перед сыном. Старик даже не заметил внимательного взгляда стоящего рядом с ним маленького человека. Никколо значил для него меньше, чем попугай для шарманщика или обезьянка для савояра. Этот попугай должен был в скором времени вытянуть шарманщику самый счастливый билет.

Через минуту отец и сын были введены в большую пустынную залу, где за маленьким столом сидел старик с орлиным носом и круглыми и необычайно живыми глазами хищной птицы. На нем был белый парик с буклями и темно-малиновый камзол с очень грязным кружевным жабо. Пожелтевшие манжеты на камзоле, обрамлявшие тонкие, сухие руки, были похожи на старые тряпки. Внимательный взгляд мог заметить, что это тончайшие и прочнейшие северные кружева. Они не изнашивались, несмотря на то что годами не снимались с рукавов камзола. Поникшие и смятые, они все еще сохраняли красоту своих узоров. Они как нельзя более соответствовали самому владельцу. Время изрыло его морщинами. Природные недостатки лица усугубились под давлением лет, рельефы заострились. Словно замша, без износу прочная, сохранилась кожа старческого лица. Все было потерто, все полиняло, но нисколько не ослабела прочность этого существа, при виде которого можно было спросить себя: сколько же столетий существует на свете, под дождем и солнцем итальянской погоды, этот человек?

Граф Козио осматривал своих посетителей с головы до ног, медленно переводя глаза с одного на другого. Потом он громко рассмеялся. Раскаты его сиплого хохота заполнили всю глубину и высоту огромной залы.

— Так об этом щенке мне говорил славный Менегетти? Да ведь он сам меньше ростом, чем любая из самых маленьких скрипок Амати! — Он развел руками. — Детский «Поншон» я продал на прошлой неделе сумасшедшему англичанину. Это была единственная, известная мне скрипка Страдивари, сделанная для ребенка. На чем же будет играть ваш сын, синьор Паганини?

— На чем прикажет синьор граф, — ответил мальчик, даже не взглянув на отца.

Козио подошел к стене и дернул шнур. Зашевелилась огромная малиновая занавеска, и под лучами солнца засветились в застекленных шкафах десятки желтых, зеленоватых, золотистых, коричневых, темно-вишневых скрипок со смычками, простыми и строгими, изысканными и приукрашенными, инкрустированными жемчугом и перламутром. Здесь висели толстые, пузатые виолончели, могучие, полнокровные альты, скрипки с короткими и длинными смычками, с грифами, на которых скрипичные мастера изображали причудливые группы, головки, львиные морды. И наконец Паганини увидел диковинную уродливую скрипку, короткую, толстую, с головой бульдога на грифе.

Маленький скрипач не отрывал взгляда от шкафов, стоявших вдоль всей громадной стены зала, как панно в полтора человеческих роста. А старый Козио глазами фанатика и влюбленного смотрел на это фантастическое собрание скрипок, на свою любимую коллекцию, сквозь золотистые потоки солнечных лучей, освещающих дымчатые и золотистые искры тончайшей комнатной пыли.

Козио подошел к маленькому Паганини. Откинул ему волосы со лба, внимательно посмотрел на брови, на лоб, на глаза и сказал:

— Мне девяносто семь лет, восемьдесят из них я потратил на собирание этих сокровищ. Мне осталось, по моему подсчету и по вычислениям моего астролога, два года жизни. Дом, в котором ты находишься, хранит первую в мире коллекцию музыкальных инструментов. Ради них существует земля, ради них творец вселенной вложил в человека безумную любовь к превращению плохой жизни в прекрасные звуки.

Произнеся эти высокопарные фразы, старик подошел вплотную к одному из шкафов. Он достал связку мельчайших ключиков и стал отпирать вереницу фигурных замочков. Когда он снял последний замок, створка с тихим пением открылась сама. Ясневая рама отошла на шарнирах, и старик снял со стены золотистую старинную скрипку. Осторожно держа ее за гриф левой рукой и не стирая пыли, он протянул ее мальчику, потом так же осторожно, почти торжественно вручил ему смычок. Маленький скрипач заиграл.

Глава седьмая

ГРАФ КОЗИО

Синьор Паганини сообщил Терезе:

— Я получил от графа Козио вспомоществование десять луидоров.

— Разве у нас нет больше своих денег?—спросила взволнованно синьора Тереза.

— Ах, опять ты со своими причудами!—гневно отозвался старик.— Не могу же я тратить на щенка деньги, которые мне доверили мои хозяева. Еще не скоро выдавишь из него хотя бы чентезими. Но его надо учить и учить! Граф Козио говорит, что из мальчишки ничего не выйдет, если он немедленно не будет брать уроков у синьора Роллы. Но ты знаешь, как дорого Ролла берет за уроки. Я думаю, что лучше вовсе не учить мальчишку за деньги, а просто отправиться путешествовать с ним по Ломбардии, как только уйдут проклятые французы. А они уйдут, поверь мне, уйдут. Здесь вчера собрались священники, приехал жандарм из Вены под видом каноника, он привез хорошие вести. Французов бьют повсюду, их скоро не будет.

С этими словами старик достал толстый зеленый бумажник и вынул оттуда кипу каких-то билетов.

— Вот,—сказал он,—с тысяча семьсот восемьдесят девятого года эти документы перестали иметь хождение во всем мире. А после смерти французского короля нашлись короли, которые стали мешками уничтожать французские акции, вышедшие при короле. Вот теперь я их скупил во всей Кремоне. Месяца не пройдет, как я буду самым богатым человеком в Ломбардии.

— А если французы не уйдут?

— Уйдут. Здешний астролог предрекает им полное поражение, звезды и планеты предсказывают им гибель. Марс вошел в созвездие Астреи, а Астрея — это Австрия, австрийская монархия Габсбургов. Ты знаешь, я после выигрыша пожертвовал деньги на церковь. Аббат Саганелли говорил мне: «Скупайте эти акции, скупайте». Я у него купил их на две тысячи лир...

...Старый Козио рассказывал маленькому Паганини историю скрипки.

— Слышишь, мальчик, — говорил старик, расхаживая по огромной пустынной зале своего дворца, — здесь родина самой великой скрипки в мире. Это произошло потому, что здесь растет азароль — одним нам известная порода деревьев, и здесь природа делает человека таким чувствительным к звукам и таким влюбленным в высокое мастерство. Три века тому назад в нашем городе жил некий Джованни Марко дель Буссетто. Он принял в свою семью некоего Андреа Амати. Буссетто был честным ремесленником, Андреа Амати был знатным синьором. Случилось так, что оба они сошлись на одном и том же любимом деле. Старый и молодой понимали друг друга так же хорошо, как мы с тобой сегодня. Андреа Амати так и не вернулся в свою знатную семью. Семья считала, что он опозорил родовой титул тем, что сделался ремесленником. До сих пор многие не понимают, что благородное искусство делать скрипки не относится к разряду черных ремесел. Вот поди к синьору Паоло Страдивари: он будет скрывать, что он происходит от скрипача, от скрипичных мастеров, хотя его купленный титул хуже, чем природный талант скрипичного мастера. Но не буду говорить о синьоре Паоло. Он хороший человек, он пишет свои хроники и летописи для отдаленных потомков, он не живет нашей жизнью... Почему Амати ушел из семьи? Смешно сказать — почему. Маленький Андреа Амати играл вместе с детьми Буссетто. Детям ремесленника позволяли играть в саду Амати. Амати бывал в мастерской у Буссетто. Андреа Амати начал с игрушек. Он делал игрушечные скрипки, Буссетто ему помогал. Во время отлучки отца маленький Амати вырубил грушевые деревья в отцовском саду и подарил их Буссетто. Ты знаешь, что из груши делают деки аматиевских скрипок.

Когда старик Амати вернулся домой и увидел, что делается в саду, он, несмотря на уговоры стариков, не нашел ничего лучшего, как швырнуть своего ребенка в тюрьму. Вот с этого началось. Когда мальчика выпустили из тюрьмы, он остался в семье Буссетто, и никакие уговоры отца не заставили его вернуться домой.

Старик подошел к шкафу и указал на тонкие пластинки мелкослойного золотистого дерева:

— Вот это грушевое дерево, плоды которого оказались так горьки для маленького Амати и так сладки для нас... Старики умирают раньше молодых. Отец почти всегда умирает раньше сына. Андреа Амати сделался наследником большого состояния. Но вот тебе пример благородного увлечения: он уже не мог бросить своего ремесла и сделался мастером скрипки. Может быть, правду говорят, что он получил в тюрьме повреждение ума. Он работал в каком-то лихорадочном бреду. Он так спешил, так напрягался из последних сил, что ни днем, ни ночью не знал покоя. Он ничем не занимался, кроме изготовления скрипок, и если жена забывала принести ему обед в мастерскую, он мог, не чувствуя голода, просидеть двое-трое суток, пока не кончит работы. Ему было предсказано, что он получит бессмертие после изготовления четырехсотой скрипки. Он спешил, хотя прекрасно знал, что это бессмертие не будет бессмертием его телесной оболочки. Каждая новая скрипка была лучше предыдущей. Поэтому он знал, о каком бессмертии идет речь. Руки Амати были изрезаны, с двух пальцев сорваны ногти, и эти уродливые руки, в мозолях, порезах и кровоподтеках, обладали такой гибкостью, как твои детские пальцы.

Старый Козио взял руку Паганини и, высоко подняв ее, поднес к своим слабым глазам.

— У тебя каждый палец похож на утиный нос. Уродство, да и сам ты некрасив. А такие пальцы лучше всего для игры.

Вскоре маленький Паганини научился различать породы скрипок. Он смотрел на высокие своды, на вырезанные эфы, изящные, стройные, наклоненные друг к другу, словно ангелы на картинах фьезоланского монаха.

— Это не сильная скрипка. Князья и герцоги любили слушать скрипачей в маленьких комнатах, им нужны были сладкие, нежащие и тихие звуки. Поэтому никогда не играй на скрипке Амати в больших залах. Если ты

будешь играть в этой зале в том углу, где стоит мой письменный стол, тебя трудно будет услышать в середине комнаты. Мягкие и приятные тона — это неплохая вещь. Но когда наша республика боролась с поработителями, когда свора Габсбургов кинулась на Северную Италию, другим людям понадобились другие звуки. Я был в Милане, когда давали концерт огромному собранию господ офицеров. По лицам этих людей можно было видеть, что новые кондотьеры хотят найти в звуках отклики своей боевой мощи. Рыцари новых войн, они ничего не поняли в мягкой и нежной игре скрипки Амати, а вот когда Серветто, скрипач из вашей Генуи, вышел на эстраду с громадной скрипкой Страдивари и стал резать воздух звуками, от которых могли бы погибнуть стаи перелетных птиц, тогда вдруг выпрямились фигуры этих людей, откинулись плечи, расправилась грудь, и глаза загорелись... — Козио остановился, потом, как бы в раздумье, продолжал: — В Версале, под Парижем, была самая лучшая в мире коллекция инструментов Амати. Она исчезла в тысяча семьсот девяностом году бесследно. Это были шесть альтов, две виолончели и восемнадцать скрипок. Вся коллекция была заказана для струнного оркестра французского короля Карла Девятого. Теперь говорят, что остатки этой коллекции за баснословные деньги скупил англичане в европейских городах.

Паганини слушал, боясь прервать рассказчика. Козио переходил с одной темы на другую:

— У Андреа Амати было два сына, которые продолжали его дело, — Джеронимо и Антонио. Братья полюбили одну и ту же девушку. До этого несчастья они работали вместе, работали дружно, не делясь. Девушка вышла замуж за Джеронимо, и семья распалась. Братья стали работать порознь. Антонио навещал семью брата. Посещения становились все реже и реже, а потом однажды Антонио нашли повесившимся у входа в мастерскую. Джеронимо продолжал дело семьи. По его стопам пошел и его сын Никколо, самый талантливый из Амати. Никколо принимал к себе в мастерскую учеников со стороны. Так у него приютились и Андреа Гварнери и Антонио Страдивари. Оба стали знаменитыми скрипичными мастерами. Ты был у синьора Паоло, он врет, что Страдивари знатного рода, это все вздор и выдумки. Их знатность — в скрипке.

Козио показал маленькому Паганини старинный портрет Страдивари с тремя сыновьями и дочерью. Страдивари был изображен в мастерской. Он стоял в белом замшевом фартуке и в красном сафьяновом колпаке и держал кусок дерева и инструменты.

— Я сам раскрасил эту гравюру,—сказал Козио,—и, по-моему, цвета взяты верно. Я показываю тебе этот портрет, чтобы ты видел, что этот обыкновенный ремесленник—вовсе не сенатор и вовсе не патриций. Но знаешь ли, мальчик, я готов променять свой старинный графский титул на способность сделать хотя бы одну такую скрипку, какую сделал этот Страдивари, когда ему исполнилось сто шесть лет!

Старый граф повел мальчика к другому шкафу.

— Вот смотри: золотистый лак, он не закрывает ни одной черточки в рисунке древесного слоя. Смотри, дерево похоже на пятнистую шкуру леопарда, а верхняя дека—без единого сучка и пятнышка, она покрыта волосными линиями! Этому дереву не меньше трехсот пятидесяти лет. Рассказывали, что во время войны Венеции с турками Страдивари закупил огромное количество дерева, которое шло на постройку турецких кораблей. Это дерево сушили десятки лет. Потом, когда восточный берег Адриатики стал недоступным, никто уже не мог покупать этого дерева. Мелкослойная ель встречается кое-где на наших горах, но ее нужно долго выдерживать, чтобы она стала пригодной для этой тонкой и сложной работы. А за рубежом, за берегами Адриатики, на недоступной высоте растет балканская ель, как бы нарочно созданная творцом для скрипичных мастеров...

Козио показывал мальчику скрипку за скрипкой.

— Один и тот же мастер, посмотри, никогда не делал скрипок одной и той же формы. Они все разные, взгляни. Если ты возьмешь циркуль и измеришь расстояние между эфами, то заметишь, что все эфы во всех скрипках расставлены по-разному и наклон их к оси скрипки тоже разный. А что это значит? Это значит, что скрипичные мастера владели тайной дерева. Они знали, что разные породы дают разный звук, и вот по тому, как они вычерчивали эфы, ты видишь, как глубоко они проникли в тайны своего ремесла. Эфы дают у них в каждом случае особо высокое качество звука.—Он осторожно вынул еще одну скрипку.—Вот эту я снимаю очень редко. Это—«Лебединая песнь». Так называется она потому, что

это — последняя скрипка, сделанная Страдивари перед смертью, на сто седьмом году жизни. Старик работал лучше, чем в молодости.

Страдивариеву скрипку старый граф называл серебряной, звуки альтов сравнивал с золотом, виолончель, по его мнению, давала бронзовый тон, а контрабас звучал медью.

Однажды, в минуту откровенности, Козио признался мальчику, что он разломал четыре скрипки Страдивари. На цыпочках, говоря шепотом, словно боясь, что его услышат посторонние люди, граф подвел мальчика к низенькой двери. Зажег свет в полутемной комнате и с видом человека, совершающего неизбежное преступление, указал на четыре деревянные пластинки, привинченные к столу. Смахнув пыль со старинного камертона, Козио ударил им о стену.

— Слышишь? — шепотом спросил старик.

Мальчик ответил:

— Да.

— А это похоже?

— Да.

— Но ты понимаешь? Поет камертон, и одинаково поет деревянная пластинка, вырезанная из скрипки Страдивари. Этот звук дает пятьсот двенадцать колебаний... Ну, а это? — Старик тронул другую пластинку.

Мальчик кивнул головой.

Они перепробовали все пластинки, и каждый раз маленький Паганини кивал головой:

— Это тоже! И это тоже!

Звуки были равной высоты и частоты.

— Видишь, — сказал старик, — это все — пятьсот двенадцать колебаний в секунду. У тебя хороший слух, мальчик! Так вот, смотри: это — деревянная пластинка из скрипки Страдивари, сделанной им в тысяча семьсот восьмом году, а рядом я заставил звучать кусок дерева из скрипки, сделанной тем же мастером в тысяча семьсот семнадцатом году. Это волнистый клен. А вот рядом — пластинка из ели. Скрипка сделана в тысяча шестьсот девяностом году. А вот тут — последняя пластинка: тоже из ели. Скрипка сделана в тысяча семьсот тридцатом году. Приступим к опыту.

Глаза старика загорелись молодым огнем. От тихих, едва заметных ударов пластинка запела. Мальчик назвал:

— Ля диез!

— Хорошо! — сказал Козио.

Вторая пластинка дала ту же ноту. Третья и четвертая — то же. Под ударами опытной руки одновременно запели все четыре пластинки сразу.

Мальчик стоял молча и слушал, широко раскрыв глаза, не отрывая их от кусочков дерева. На лице его учителя застыла улыбка маньяка.

Наконец старик продолжал:

— Для того чтобы получить такой серебряный звук, нужно сочетать природные свойства клена и ели. Звуки всегда живут в природе, но звук надо поймать, его надо приручить, как птицу, порхающую по этим деревьям в молчании. Ее надо приручить настолько, чтобы она запела. Заметь, мальчик, верхняя дека скрипки всегда делается из ели, нижняя — всегда из клена. И еще я высчитал, что ель обладает способностью в шестнадцать раз быстрее порождать звук, чем воздух. Звук, рожденный в скрипке из сочетаний малой скорости колебаний клена и большей чувствительности ели, получит соотношение двенадцать к шестнадцати. Но многие думают, что звук родится однотонным в верхней и нижней деках. Это два различных звука. Благозвучность природы состоит в том, что они сливаются в единый, цельный, совершенный, нераздельный звук. Однажды я заказал скрипку сплошь из клена, с деками одинаковой толщины. Эту скрипку нельзя было слушать, у нее был отвратительный глухой тон. Природа не терпит однообразия, мальчик. Верхняя и нижняя деки должны звучать по-разному, и разница должна равняться целому тону. Чистый и неделимый звук, рождающийся из этого, совершенно подобен сплаву двух благородных металлов, из которых каждый порознь слаб и мягок, а в сочетании с другим дает твердость и крепость. Из двух слабостей рождается сила. Помни, что размеры скрипки нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Как только количество воздуха в скрипичной коробке увеличится, так шантрель начнет визжать, как собачонка, которой наступили на хвост, а звук басовых нот станет слабым, глухим и сиплым, как бред пьяного человека. Если уменьшить коробку, получится обратное явление. Заглохнет четвертая струна, а бас закричит сипло. Но не думай, что все это остается неизменным. Меняется природа, меняются люди. У каждого поколения новые уши. Камертон нынешнего века звучит иначе, нежели камертон прошлых столетий. Когда будешь иг-

рать перед большим скопищем людей, настраивай скрипку иначе, чем настраивал бы ее, играя перед семьей в пять человек. Твои дед и прадед иначе слышали звуки природы, им нравилось слушать одно и закрывать уши на другое, и это делалось невольно, без всяких ухищрений с их стороны. В этих делах человек не может лгать сам себе, нельзя уговорить нынешнее поколение настраивать музыкальные инструменты по камертону прошлого столетия. Вот старый Тартини шестьдесят лет тому назад измерил давление натянутых струн на скрипичную коробку. Тогда он получил цифру шестьдесят три фунта. Но помни, что струны тогдашнего времени были тоньше, а подставка, держащая струны, была ниже, струны тесней прилегали к верхней деке. Поколение нынешних людей предъявляет другие требования, они не слышат старой скрипки, и вот пришлось повысить камертон, колебание струн тоже увеличилось, и подставка под струнами стала выше, струны натянулись горбылем на верхней деке. Подставка поддерживает струны так, что мышь может пробежать между шантрелью и верхней декой. Знай, мальчик, что диапазон по сравнению с прошлым веком повысился на полтона, а давление струн на деку теперь не шестьдесят, а восемьдесят фунтов. Человек стал натягивать струны сильнее, и нервы людей напрягаются больше. Время летит быстро, дни сменяют другие, и непрестанно меняются люди. Что будет дальше, где остановится изменение человека? Уже теперь, я замечаю, мир меняет свои краски, ухо ловит иные звуки, и думается мне, что тускнеет солнечный свет...

Козио сел на маленький диван. Вынув платок, он порывисто вытер слезы. Потом поднялся и за руку вывел Паганини из комнаты.

— Пойдем, мальчик,—проговорил он.—Никому не рассказывай, что ты от меня слышал. Природа не любит выбалтывать свои тайны, она мстит любопытным.

Глава восьмая

ПУТЬ ПО ЗВЕЗДАМ

В Геную семья возвратилась в новом составе.

В Кремоне произошло неожиданное примирение синьора Антонио с дочерьми Лукрецией и Маргаритой, о

существовании которых Никколо до этого даже не знал, так как в семье не принято было о них говорить. Семья Паганини увеличилась сразу вдвое, так как дочери синьора Антонио были уже замужем.

Муж старшей, Лукреции, оказался весьма беспокойным человеком. В первые же дни знакомства он успел чуть не до драки поссориться с синьором Антонио, а по приезде в Геную целые дни проводил за игрой в карты с незнакомыми людьми. Он много проигрывал, а когда ему везло, домой являлись люди, обыгранные им, и поднимался адский крик, тревоживший всю округу.

А тут еще сильно пошатнулись дела синьора Антонио.

С маниакальной настойчивостью, уподобляясь средневековому астрологу, он вглядывался в вечернее небо, наблюдая перемещение планет, и бормотал себе под нос сложные астрофизические формулы; он говорил о влиянии звезд на движение человеческой крови, о влиянии планет на судьбу его семьи. В его словах странно смешивались поиски гороскопа с выкладками предстоящих барышей. В руках этого маклера счетная машина Паскаля и Лейбница превращалась в инструмент для бухгалтерских подсчетов, логическая машина Раймунда Луллия, искавшая Философскую истину, становилась лотерейным колесом, которое должно было обеспечить покупку выигрывающих номеров. Астрологические, алхимические поиски жизненного эликсира и философского камня, которые у средневековых безумцев связывались с мечтами о человеческом счастье, об устройстве человеческого общества, у старого Паганини превращались в искание средств для биржевого обмана природы, для маклерских сделок с темными силами.

Но все оказывалось напрасным.

Обязательства перед банкирами не были выполнены.

Старый Паганини ссылался на кражу в дороге, на кражу в Кремоне, на неудачи вследствие военных затруднений и на многое другое, но синьоры директора, старые банкиры, видали виды. Начался длинный судебный процесс.

Синьора Антонио стали избегать прежние друзья. Если раньше он важно восседал за своим маклерским столом, то теперь сам бегал в поисках матросов, разузнавал, какие товары прибыли в порт, да и то, когда он являлся, чтобы заключить сделку, он заставлял недовольных, замолкавших при его появлении купцов; сделка

состоялась помимо него. Каждый день биржевой неудачи удвоенной тяжестью ложился на семью.

Вернулся после долгой отлучки старший брат. Он пришел в ужас, когда увидел маленького скрипача.

— Что все это значит? Как держится душа в этом щенке? — грубым, осиплым голосом спросил он у отца: костлявый мальчик, кашлявший кровью, едва держался на ногах.

После ужасающей сцены между Франческо и синьором Антонио, когда Франческо едва не ударил отца, мать всю ночь плакала, стоя на коленях перед маленькой постелькой Никколо. Она говорила, что все надежды семьи связаны с его прилежанием, — он должен во что бы то ни стало добиться успеха.

Отец не дал ни байокко для платежа Джованни Серветто, с которым, по совету Козио, Никколо занимался, вернувшись в Геную.

— Синьор Серветто уже дал лучшие указания, какие только можно было получить в этом мире юдоли и печали, — сказал синьор Антонио.

Серветто обиделся, и уроки пришлось прекратить. Правда, к тому времени основные трудности владения инструментом были уже преодолены, а *vista*¹ мальчик играл уже гораздо лучше самого Серветто, — но впереди было еще столько работы!

Соседние кумушки принялись усиленно шептаться с синьорой Терезой. Откуда-то синьора Тереза раздобыла деньги. Воспользовавшись днем, когда синьор Антонио должен был задержаться в суде, она повела сына к синьору Джакомо Коста. Синьор Джакомо Коста был преподавателем генуэзской капеллы и играл первую скрипку во всех церковных оркестрах Генуи.

Синьор Коста прослушал маленького Паганини.

На следующий день Паганини играл в соборе. По окончании службы синьор Коста подозвал мальчика и приказал ему приходить пять раз в месяц к нему на дом.

После первых же занятий синьор Коста был совершенно поражен отчетливостью звука, чрезвычайной восприимчивостью своего ученика и быстротой его работы. А через полгода, когда Тереза Паганини тайком от мужа принесла деньги за тридцать уроков, синьор Коста уже прикидывал с довольной улыбкой, в каком соотношении

¹ с листа (*ut.*).

находятся эти деньги и его выручка от церковных концертов, в которых участвовал Паганини.

Синьора Тереза удостоилась расположения высшего духовенства Генуи и перемену, происшедшую в делах семьи, приписала божественному произволению.

Синьор Антонио перестал пить. Глядя на сына, он часково посмеивался. Особенно он был обрадован, когда при встрече с синьором Коста узнал, что синьор Джакомо не желает брать с него денег. Оба остались довольны: синьор Джакомо — своим учеником и доходами, которые давал этот ученик, синьор Антонио Паганини — великодушием синьора Коста, великодушием, которое весьма ощутимо сказывалось на бюджете семьи Паганини.

Но вскоре внезапно обнаружилось корыстолюбие синьора Коста, и синьор Антонио почувствовал себя оскорбленным и обманутым. Выпив соответствующее количество вина для бодрости духа, он отправился для переговоров. Ругань слышна была далеко за пределами скромного жилища мастера церковной капеллы. Разрыв был полный. Уроки у синьора Коста прекратились. Синьор Коста не согласился оплачивать концертные выступления своего ученика и не дал ни байокко разъяренному синьору Антонио. Дело приняло плохой оборот.

Синьор Коста собрал сведения о крещении, о детских годах своего ученика и пришел к заключению, что скрипичный талант мальчика, его необычайная музыкальная одаренность, невероятная для отрока музыкальная техника не могут быть объяснены божественным вмешательством. Тут несомненно вмешательство нечистой силы и несомненно демонское влияние. Проклятие повивальной бабки было причиной необыкновенных успехов маленького Паганини.

В день, когда произошел разрыв, Никколо Паганини еще не знал о разговоре своего отца с синьором Коста. Он, ничего не подозревая, взял скрипку и направился к учителю. Тихо и скромно постучал в дверь. Мощная оплеуха заставила его кубарем скатиться с лестницы.

Он едва не сшиб с ног высокого черноглазого человека, поднимавшегося к синьору Джакомо.

Испустив поток проклятий, незнакомец остановил мальчика.

— Откуда ты, что с тобой, куда ты летишь, чертенок?

Паганини махнул рукой, пытаясь что-то сказать,— слезы сдавили ему горло.

— Да что ты? В чем дело? — настаивал незнакомец...

— Подожди здесь, — сказал он, когда Паганини рассказал ему о своей беде.

Паганини ждал внизу все время, пока синьор Коста на верхней площадке лестницы говорил с гостем. Паганини слышал, как синьор Коста, обращаясь к незнакомцу, называл его «милый Ньекко». Из разговора было ясно, что незнакомец этот — знаменитый композитор Ньекко, оперы которого разыгрывались во всех театрах Северной Италии, в Неаполе, Венеции, Милане, Падуе, Ливорно. Паганини слышал отрывки из сочинений Ньекко в Генуе, он знал, что оперы Ньекко ставятся даже в Вечном городе.

Сладкое и томительное предчувствие охватило мальчика, когда он услышал, что разговор закончился и синьор Ньекко сходит вниз.

Синьор Ньекко прошел мимо мальчика, ничего ему не сказав. Паганини молча шел за ним. У двери старого дома на улице Архимеда синьор Ньекко заговорил:

— Я тебя слышал, дьяволенок со скрипкой. Я, конечно, не верю всякому вздору о вмешательстве нечистой силы в твою судьбу: слишком много для тебя чести. Но ты действительно какое-то маленькое чудо. А тебя бьет отец? — вдруг, без всякого перехода, спросил он.

— Сильно, — ответил Паганини с большой выразительностью.

— И, должно быть, это идет на пользу? — насмешливо щурясь, спросил синьор Ньекко, открывая перед мальчиком дверь большой, красиво убранной комнаты. Ноты, набросанные золотыми чернилами на красные линейки, поразили маленького Паганини. На всех вещах в этой комнате лежала печать изысканности и изощренности. Клавесин, арфа, красивые серебряные трубы, флейта, фагот, гобой и набор мелких колокольчиков из цветного металла, красных, белых, синеватых, желтых; пюпитры, пульта, палочка из слоновой кости с золотым наконечником; кресла, обитые тисненой испанской кожей, этажерка с книгами и партитурами в кожаных переплетах, горка из ярко-алого венецианского стекла; серебряный стакан с красным вином и большой восточный сосуд из какого-то белого металла на столе, украшенном флорентинской мозаикой. Паганини казалось, что все это — во сне.

Синьор Ньекко открыл футляр, внимательно осмотрел

скрипку маленького Паганини, отложил ее в сторону, подошел к застекленному резному шкафу, достал большую скрипку вишневого цвета, смычок и протянул Паганини. Потом подвинул к нему пюпитр и раскрыл маленькую тетрадку, мелко исписанную нотными знаками...

— Ну что же,—говорил Ньекко, когда Паганини кончил играть,—этот месяц я пробуду безвыездно здесь. Приходи каждый день. Если не застанешь меня, посиди, подожди, играй один. Впрочем, в этот час я всегда бываю дома.

Прошло всего четыре дня. Синьор Франческо Ньекко не пропустил ни одного урока. И всякий раз, с трепетом сердца приближаясь к улице Архимеда, мальчик испытывал горячее чувство благодарности судьбе, приведшей его в хоромы синьора Ньекко.

Гусиные перья, золотые чернила, красные линейки на толстой желтоватой бумаге, насмешливо прищуренные глаза, добрый голос...

— Я должен тебя поздравить,—говорил Ньекко,—я ни у кого не встречал такого слуха.—Как бы усиливая значение этих слов, синьор Ньекко кивнул головой.—Но я должен тебе сказать, что когда ты фантазировал прошлый раз, тебя было слушать приятнее, чем когда ты играл мои вещи. Ты переделываешь мои вещи, а не играешь их так, как я сыграл бы сам. Ты всегда все будешь переделывать в жизни. Ты ни на чем не остановишься удовлетворенным до тех пор, пока не переделаешь по-своему. И мой совет тебе: когда будешь выступать перед публикой, не играй пьес ныне живущих композиторов: ты оскорбишь их своим исполнением, хотя, быть может, то, что ты придашь чужому творению, будет богаче, нежели замысел его создателя. Хорошо, что ты встретил композитора с моим характером,—другой влепил бы тебе хорошую затрещину за твои фантазии, за какую-то, даже не свойственную твоему возрасту, страстность, которую ты вливаешь в звуки чужой музыки... Ну, за дело! Не бойся испугать меня фантазией: ты должен не только играть чужое, но и творить свое... Что ты краснеешь, маленькая обезьяна?—вдруг нахмурясь, прервал Ньекко самого себя.—Я ничего не сказал тебе особенного, не вздумай задирать нос!

Тогда Паганини робко и неуверенно признался синьору Ньекко, что он никак не мог примириться с требованиями синьора Коста.

— У меня никакого желания не было,— говорил мальчик, прижимая руки к груди,— перенимать у синьора Коста его способ ведения смычка. Я считал, что он применяет какое-то насилие, занимаясь со мной. Я всегда выполнял его предписания против воли. Я даже рад, что от него перешел к вам...

— Хорошо, хорошо,— возразил синьор Франческо,— я не люблю лести. Когда ты перейдешь к следующему учителю, через какой-нибудь месяц ты, вероятно, будешь говорить ему то же самое обо мне.

— Никогда в жизни!— вспыхнув, воскликнул Паганини.

— Что делает твой отец?— спросил синьор Франческо.

— Заставляет меня играть в церкви.

Синьор Ньекко кашлянул.

— Набожные итальянцы охвачены сейчас скрипичным безумием. Мальчик со скрипкой, как тебя называют, ты привлекаешь в церковь много народу, это повышает доходы святых отцов. Смотри, из тебя сделают святошу.

— Нет,— сказал Паганини.— Я не люблю тягучей музыки.

— Я думаю, что игра в капелле может только испортить музыканта,— с расстановкой произнес Ньекко.

...Странная дружба установилась между оперным композитором и «дьяволенком со скрипкой», как называл Никколо синьор Ньекко.

Однажды, когда зашла речь о путешествии в Кремону и когда маленький Паганини старался выложить все свои знания по истории инструмента, Ньекко, с особым вниманием вслушивавшийся в рассказы мальчика о французских войсках, перейдя внезапно от разговора о музыке к политической теме, впервые познакомил маленького Паганини с историей порабощения Ломбардии австрийцами. Он говорил о значении французского нашествия на Италию, говорил быстро, как бы перебивая самого себя. Он сообщил мальчику, что сам он родом из Милана. В Милане, старом вольном городе Ломбардии, чувствуется острее всего недовольство австрийским гнетом. Каковы бы ни были средства, помогающие освободить Италию от варваров, как говорил Петрарка, все эти средства хороши. Французские войска гонят австрийских жандармов, они гонят немецких попов, приехавших из Вены, а прокламации Бонапарта несут с собой освобождение от

религиозного и политического гнета, и поэтому — «да здравствует французское оружие! »

После этого разговора Паганини почувствовал особенную привязанность к синьору Франческо. Доверчивость, с какой учитель относился к маленькому ученику, была вознаграждена.

Это чувствовал синьор Ньекко и нередко, указывая Никколо на черномазых людей на ярко освещенной мостовой, с осликами, запряженными в тележку, из которой горой поднимались кули древесного угля, осторожно кивал в их сторону, говорил:

— погоди, дьяволенок, будет время, я расскажу тебе об иных угольщиках, несущих другой, более тяжелый груз.

Итальянское слово «карбонарии» — «угольщики» — Паганини уже слышал неоднократно в «Убежище». Раз как-то с таинственным видом сообщили ему ребята об аресте двух живших в «Убежище» карбонариев. Паганини знал этих людей. У них были бледные лица, тонкие длинные руки. Одежда не носила никаких следов угольной пыли. И когда маленький Паганини спросил, почему же они угольщики, ребята ответили: «Не знаем».

Подводя мальчика к раскрытию тайны, Ньекко рассказал о том, что есть лесные братья, которые добывают уголь, сжигая старые деревья. Эти лесные братья выходят из леса на рынок. Таким образом, фореста, баракка и вента постепенно входили в ряд усвоенных и привычных понятий Никколо. Но как только мальчик просил объяснить то или другое слово, синьор Ньекко прикладывал палец к губам.

Маленький Паганини сделал новую вариацию итальянской «Карманьолы» и присочинил свою собственную музыкальную тему, ту зажигательную французскую песню, которую он слышал случайно от французских матросов на берегу моря в тот день, когда красивые молодые марсельцы распевали эту песню, поднимаясь на высокий берег. Эта песня звала к восстанию всех детей родины, она говорила о том, что поднято знамя, алое от крови народа, о том, что наступили дни славы. Каждый куплет заканчивался словами: «К оружию, граждане!»

Когда Паганини непосредственно после «Карманьолы» заиграл эту песню марсельских моряков, как он ее назвал, Ньекко взволнованно вскочил с кресла и заходил большими шагами по комнате. Никколо впервые видел

его таким. Синьор Ньекко достал из стенного шкафчика и показал мальчику серые клочки французских прокламаций генерала Бонапарта, разбросанных в Северной Италии. Тайна лесных братьев раскрылась. Тяжелый груз угля, таящего пламя, стал понятен маленькому Паганини.

Работа карбонарского братства захватила воображение мальчика, а налет тайны на всех этих разговорах с учителем имел к тому же особую прелесть. У Паганини началась своя, не мальчишеская жизнь. Ему стало даже легче сносить побои и попреки отца. Он спокойно присутствовал при долгих перебранках между сестрами, старшим братом, отцом и матерью. У него появилась своя жизнь, появились свои жизненные планы.

Носовой платок Паганини, покрытый красными пятнами, внушил синьору Ньекко первые подозрения о состоянии здоровья его ученика. Через посредство друзей синьор Ньекко навел справки о семье Никколо. Осторожно, чтобы не обидеть своего ученика, он приглашал его завтракать вместе с собой, задерживая на лишний час. Однако вскоре против этих задержек маленький Паганини решительно восстал. Синьор Ньекко убедился в его правоте, как только увидел кровоподтеки на лице своего ученика: отец не разрешал удлинять уроки.

Ученику хотелось изыскать способ хоть как-нибудь растягивать время пребывания у синьора Ньекко в предчувствии скорого отъезда своего любимца. Но для этого пришлось бы обманывать зорко следившего за ним отца.

Ньекко, сам участник карбонарской конспиративной работы, имел навыки внимательного и зоркого наблюдателя. В эти годы Ньекко был единственным, кто точно представлял себе все значение бурного вторжения легенды в жизнь маленького скрипача. В то время как синьор Антонио Паганини, со всей толпой своих коммерческих друзей и врагов, и синьора Тереза, его супруга, со всей озлобленной сворой родных и двоюродных Боччарди, терялись в догадках о происхождении ранней одаренности Никколо и строили предположения о сверхъестественном вмешательстве, видя в этом вмешательстве то страшную демоническую, то благодатную ангельскую основу, Ньекко боялся за судьбу мальчика, хрупкость которого внушала ему самые серьезные опасения. Ньекко боялся, что могущество этого всеподавляющего таланта превратится в огонь, который сожжет и очаг и дом.

Временами же ему казалось, что этот мальчик, при всей своей хрупкости, обладает железным здоровьем, если выносит колоссальную тяжесть, взваленную синьором Антонио на его плечи.

У насмешливого, веселого Ньекко туманились глаза в минуты, когда, подняв брови, Паганини без всякой аффектации рассказывал ему о долгих упражнениях в семилетнем возрасте, когда, не будучи в силах держать скрипку в обычной позитуре, ребенок изучал игру на этом инструменте, ставя его, как виолончель, между маленькими угловатыми коленями. Слушая его, Ньекко не мог смотреть в глаза мальчику. Ему казалось, что перед ним раскрывается какая-то черная яма человеческих бед.

Синьор Ньекко вздрагивал, перечитывая страницы Миланской хроники, на которых старинный повествователь рассказывал о ломбардских крестьянах, намеренно уродовавших своих детей, чтобы потом продать их в качестве придворных шутов герцогу Сфорца. «Новые птицы, новые песни,—думал Ньекко.—Это удивительное творение находится в руках чудовища, которое может изуродовать его талант, сделав из мальчика дешевого ярмарочного жонглера...»

Была еще одна тема для размышлений синьора Ньекко о судьбе Никколо. Он убеждался, что церковная музыка чужда его маленькому ученику. Ньекко наблюдал, что, покрывая соборные хоралы могучими звуками своей скрипки, маленький Паганини оставался по-прежнему незатронутым, и все навязчивые, вкрадчивые притязания католической клики оставляли холодной душу ребенка нового века. Когда же синьор Ньекко говорил с ним о свободе Италии, о живой и яркой работе карбонариев, щеки мальчика покрывались румянцем возбуждения.

Эта холодность к церковной музыке была безотчетной, вражды и неприязни к церкви не было в маленьком Паганини. И, однако, синьор Ньекко ловил себя на мысли об удобстве позднего католического причастия. Исповедь Никколо у священника в те дни могла бы принести большие неприятности синьору Ньекко. Местный кардинал-легат сурово требовал от священников, чтобы на исповеди они тщательно выпытывали образ мыслей сынов и дочерей церкви. Он сам еженедельно давал сведения представителю апостольской римской курии в городе Генуе. Оттуда эти сведения шли в Рим, а

иногда и в Вену, где министр полиции его апостолического величества короля и императора делал соответствующие выводы и набрасывал на карту возможные очаги будущих восстаний.

Затаенность и молчание мальчика, его успокоенность возбудили подозрения синьора Антонио. Он переговорил об этом со своей супругой, супруга имела разговор с духовником. Но священник местной церкви благосклонно отнесся к маленькому Паганини. Он утешил синьору Терезу и сказал, что мальчик на хорошем пути, три раза в неделю он выступает в церковных концертах, его выступления привлекают толпу молящихся, молящиеся охотно отзываются на кружечный сбор,—таким образом, можно рассматривать Никколо Паганини с его скрипкой как явление, угодное богу.

После этого синьор Паганини успокоился. Он не стал возражать, когда, по инициативе синьора Ньекко, маленький скрипач был приглашен к участию в концерте светской музыки.

Италия тогдашнего времени еще увлекалась выступлениями сопранистов. Знаменитый кастрат Маркези, выступая в день своего бенефиса, в тысячный раз удивлял и восхищал простодушную генуэзскую публику серебряной чистотой своего тончайшего дисканта.

Паганини с любопытством маленького зверька украдкой смотрел на Маркези, когда тот выводил дискантовые рулады перед упоенным зрительным залом. Ни восхищения, ни удивления не вызвало у него искусство мужчины, поющего женским голосом.

Маленький Паганини играл после пения Маркези, после пения знаменитой певицы Альбертинетти. Часть публики, сидевшая в верхних ярусах, была наслышана о выступлениях маленького скрипача в церкви, но большинство собравшихся в этот день в огромном театре ничего не знало о чудесном ребенке.

Доброкачественные буржуа, офицеры, священники, жены биржевиков, купцы, нотариусы, маклеры, моряки старинных фамилий с одряхлевшими титулами, обедневшие дворяне, разорившиеся графы—все это зашумело, закивало головами, когда на авансцене появился мальчик со скрипкой. Робкой походкой, с таким видом, будто у него на ногах деревянные башмаки, вышел хилый мальчик с впалой грудью, угловатыми плечами и руками, достававшими почти до вывороченных наружу коленных

чашечек. Легкий шум досады прошел по рядам, замелькали улыбки. Никколо играл впервые перед такой большой аудиторией. И если дикая легенда о маленьком скрипаче не выходила до этого за пределы родного переуллка, то теперь эта легенда раскинула свои крылья и полетела по городу, над морем, по всему Лигурийскому синему заливу.

Любопытство сменилось удивлением. Мальчик извлекал из огромной для его роста скрипки непомерной силы и поразительной красоты звуки. Вот вступает оркестр, вот волны хора покрываются звучанием сотни инструментов, но над всеми этими звуками рассыпаются колокольчики, и кажется — запела не одна, а десять скрипок. Широкая волна кантилены покрывала хор и оркестр, и вот, заканчивая последние такты, певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе. Она висит и не обрывается минуту, две... Публика встает, шелест побежал по зале, головы качаются, как колосья. Зрительный зал не отрывает глаз от мальчика. Удивление уступает место восторгу, а на многих лицах можно видеть выражение, близкое к суеверному испугу.

Бледный молодой семинарист Нови, с горящими глазами, полными ненависти, шепчет что-то во втором ряду своему соседу. Это змеиное шипенье слышит синьор Ньекко. Нови говорит, что здесь сказалось проявление нечистой силы, ибо без помощи дьявола не может человек, да к тому же почти еще ребенок, одержать такую победу над куском мертвого дерева.

И буря аплодисментов не заглушает отдельных голосов.

— Даже я,—воскликает священник,—всегда обращенный к небу, даже я почувствовал трепетное волнение в крови и всю прелесть этой греховной земной жизни, когда слушал звуки, извлекаемые из скрипки смычком этого одержимого ребенка.

Иезуит переглядывается многозначительно с представителем святейшей инквизиции, одетым в светское платье. Тот отвечает равнодушным взглядом. Он смотрит рыбьими глазами на эстраду, качает головой и, подойдя к священнику, говорит:

— Отец и мать — верные слуги церкви, мальчик играет в храме. Эта музыка — от бога.

Ночью у маленького Паганини началась лихорадка. Утром он так и не мог вспомнить, снилась ему или на

самом деле происходила ссора между отцом и матерью. Обрывки случайных фраз, долетевших до мальчика, мучили его. Отец говорил о необходимости «хорошо питать перед дальней дорогой». Мать часто повторяла слово «рано», отец бранился и говорил: «Пора». Сопоставляя отрывки фраз, Никколо понял, что речь шла о затее отца предпринять круговую поездку по городам Лигурийского побережья с концертами маленького скрипача.

Как только отец ушел на биржу, мальчик сорвался с места, быстро оделся и побежал к синьору Ньекко. Как раз в тот момент, когда он хотел взяться за ручку двери, он увидел, как синьор Ньекко отворяет эту дверь и под лучами солнца, падающими сквозь окна лестницы, из двери синьора Франческо со звонким смехом появляется девушка... Улыбка сбежала с ее лица, оно стало серьезным, как только она увидела маленького Паганини.

— Вот ваш маленький скрипач,— сказала она, обращаясь к синьору Ньекко.— Итак, я вас жду.

Стуча каблуками, она шла по лестнице, быстро, на ходу повязывая вуаль вокруг шеи. Не зная сам почему, Паганини почувствовал, как тонкая ледяная иголочка вошла к нему в сердце, сломалась и оставила в нем острие.

Синьор Ньекко поднял маленького Паганини на воздух, покружился с ним по комнате, поцеловал его в лоб и с размаху опустил на пол.

— Поздравляю! — сказал он.— Как жаль, что я не могу взять тебя с собой. Завтра я уезжаю.

Паганини бросился в кресло, слезы ручьем побежали из глаз. Весь успех вчерашнего концерта; все ликование мальчишеского самолюбия — все исчезло перед лицом огромного, неожиданного горя.

Глава девятая

ОТРОЧЕСТВО

Антонио Паганини был несколько встревожен тем шумом, который поднялся вокруг концерта маленького скрипача.

Однажды утром, когда Тереза Паганини мирно спала, когда лучи солнца только что начали золотить верхушки памятников на генуэзском кладбище, а песок на морском

берегу был еще закрыт тонкой пеленой быстро убегающего под утренним ветром тумана, когда только чириканье птиц оглашало одинокие генуэзские улицы, маленький Паганини, с тростью, перекинутой через плечо, и узелком за спиною, семенил ногами, стараясь поспеть за большими шагами отца. Старик суетливо перекладывал из кармана в карман бумажник, кошелек, билеты «Итальянского мессаджера». Через час уже были в Фоче, потом в Нерви, потом увидели на открытом морском берегу Рекко, потом ехали в гору и, когда солнце стояло уже высоко, по дороге, прибитой дождем, въехали в лес. Так доехали до Киавари. В Киавари остановились у дешевого трактира. Только здесь маленький скрипач узнал, что мать не будет тревожиться, ей оставлено письмо. Синьор Антонио был неожиданно ласков с Никколо. Он даже потрепал сына по щеке и сказал:

— Знаешь, я совсем разорен, теперь в твоих руках спасение семьи. Играй, играй всюду. Соберем деньги, тогда заживем хорошо.

Из Киавари, где Никколо впервые пришлось играть в трактире, выехали на юг. Два раза мальчик играл в Специи. Потом пошел концерт за концертом — в церквах, в трактирах, в гостиницах. Жажда наживы гнала старика из города в город. К Антонио Паганини как бы вернулись юношеские силы, бодрость; он не давал сыну ни минуты отдыха, не щадил и самого себя. Откуда-то взялась ловкость самого настоящего импрессарио. То, что не удавалось маклеру, вдруг удалось антрепренеру.

В маленькой типографии Массы, ради дешевизны работы, были заказаны афиши. Скрываясь под маской дальнего родственника, Антонио Паганини отчаянно рекламировал сына. Предметом наибольших надежд были Лукка, Пиза, Флоренция, потом он хотел ехать в Болонью, Модену, Реджио, Парму, Пьяченцу, Павию и Алессандрию, затем опять на юг, дать концерт в Нови и горной дорогой вернуться в Геную. Таким образом, все побережье Ривьеры ди Леванте сделалось ареной действий этого старого пирата.

Между выступлениями в больших городах старик не брезговал ничем, заставляя ребенка играть на постоянных дворах, выпрашивая байочки, чентезими и сольди у погонщиков мулов, у бродячих артистов, семинаристов, сидевших за кружкой вина и уничтожавших фрутти ди маре.

Так доехали до Ливорно. Перед первым концертом в этом городе старик раскрыл самый тяжелый сверток. Там лежали серая куртка, панталоны, новые чулки и туфли, серая огромная шляпа с перьями. Все это было неуклюже, не по росту, но сделано из дорогого материала. Белый кружевной воротник стоил несколько лир, и маленький скрипач еще раз почувствовал, что для синьора Антонио его существование имеет новую, ранее неизвестную мальчику цену.

Пестрота ливорнской публики не помешала успеху концерта. Отец сам следил за выручкой и принял все меры к тому, чтобы его не обсчитали ни на один байокко. А вечером, после очень сытного ужина, старик позволил себе большую роскошь. Он поставил луидор в ливорнском ридотто и выиграл в этот же вечер тысячу франков. Выигрыш ударил ему в голову, как хмель. Старик подошел к стойке, залпом выпил бокал можжевелевой водки и вновь вернулся к игре, ни на секунду не отпуская от себя сына, словно боясь, что мальчик может выдать какой-то секрет, если останется один. А быть может, он смутно почувствовал, как тяжело переживает Никколо страшную тоску по дому, о которой намекнул отцу маленький Паганини после успешного концерта.

Через три часа все, что было выручено на концерте, и весь выигрыш этого удачного вечера — все было проиграно, и последнюю двадцатипятифранковую кредитку старик снес в морской притон на берегу.

Под утро вернулись в гостиницу. Старый Паганини брюзжал и ругался. Ложась спать, заявил, что завтра будет повторение концерта.

Утром, проснувшись, маленький скрипач заметил, что рукав новой серой куртки разорван. Он не помнил, как это случилось, но знал, что ему не миновать побоев, да и выступать вечером будет не в чем.

Отец спал. Мальчик глядел на рваную куртку с таким ощущением, как будто это была рана, разорвавшая его собственную кожу. Держа куртку в руках, он осторожно вышел из комнаты. У дверей он застал служанку и коридорного лакея. Служанка локтем отталкивала пристающего к ней усатого лакея, но как только тот заметил, что отворилась дверь, он сам отскочил в сторону. Горничная хотела убежать. Мальчик остановил ее, попросив иголку с ниткой. Заливаясь слезами, он по совету служанки пошел на чердак. Ветер гулял на чердаке. Было

холодно, сквозняк поднимал тонкую едкую пыль с деревянных балок и стропил. Маленький Паганини бранил себя за то, что не хватило мужества упросить служанку заштопать куртку. Но тотчас трезвое соображение, что за это пришлось бы платить деньги, удовлетворило его.

В это время Паганини услышал громкое пение продавца овощей. Голос чистый и отчетливо ясный прорезал воздух улицы. Мальчик наклонился, опираясь на подоконник, и выглянул в окно. Порывом ветра у него вырвало куртку из рук, и пока он бежал по лестнице, куртку кто-то успел подобрать. Выбежав на улицу, Паганини встретил только удивленные взгляды.

Весь в слезах, он остановился у двери. Рука несколько раз ложилась на скобку двери, и каждый раз казалось, что руку обжигает, как огнем. Наконец, осушив слезы, вошел. Отец еще спал. Паганини осторожно, стараясь не шуметь, навесил крючок и лег на свою постель. Он хотел снять туфли и сделать вид, что он и не вставал, но вдруг увидел, что один глаз отца внимательно осматривает его с головы до ног из-под одеяла. «Видел или не видел?» — подумал мальчик и потом с внезапной решимостью сказал:

— Отец, разрешите мне признаться вам: украли куртку.

Старый Паганини вскочил, мгновенно прошли последние ощущения сна.

— Ты меня разоряешь! — завопил отец и заметался по комнате в бесплодных поисках.

«Слава мадонне,— подумал Паганини,— отец не видел». И с притворным усердием стал помогать отцу. Но искать было нетрудно,— в комнате, кроме жалкого имущества Паганини, ничего не было, меблировка была убогая, куртка завалиться никуда не могла. Через несколько минут старый Паганини уже кричал в коридоре, что он не заплатит ни копейки и сейчас же пойдет предупредить власти о том, что в этой гостинице грабят и убивают. Маленький Паганини притаился в номере. Кто-то, очевидно предполагая, что речь идет об одежде старика, принялся уговаривать синьора Антонио.

Тот окончательно разошелся и не желал ничего слушать. Он кричал:

— Мой сын, мой знаменитый сын сегодня дает концерт, и у него украли одежду!..

— Какой ваш сын? — спросил женский голос.

Синьор Антонио открыл дверь, и Никколо увидел ту самую горничную, которая давала ему иголку и нитку. Ложь мгновенно была изобличена.

— Вы говорите, синьор, знаменитый скрипач, а такой лгунишка не может быть знаменитым скрипачем!

Тогда отец накинулся на сына с кулаками:

— Ты дармоед, ты забываешь заповедь господню о почтении к родителям! Чтобы вывести тебя в люди, я, не щадя своих старых костей, мечусь по каменистым дорогам... Где куртка?

Маленький Паганини, стоя на коленях, протягивая к отцу руки, сбивчиво и бестолково рассказывал о случившемся.

— Лжешь! — кричал отец. — Ты ее продал! Боже мой, боже мой, такой концерт, и ни байокко денег. Ты продал! — снова закричал он, наступая на сына. — Чтобы сегодня к вечеру куртка была!

Маленький Паганини надел старую, подаренную матерью куртку и вышел на улицу. Сначала он шел медленно, думая, что отец окликнет его, но старик был, очевидно, совершенно вне себя. Он не вернул сына.

Выйдя за черту города, Никколо сел на придорожный камень, потом, почувствовав усталость, снял куртку, подложил ее под голову и прилег на траву. Заснуть ему не удалось: под щеку попал твердый кружок. Паганини вскочил от радости. Это была пятифранковая монета. Тереза Паганини была суеверна — в каждый новый костюм детям она зашивала деньги.

Первой мыслью Паганини было вернуться, но тут же он принял другое решение. Пробродив до вечера по окраинам Ливорно, голодный, он вошел, когда стало смеркаться, в морской притон близ гавани, тот самый, где вчера потерпел поражение отец. По следам старого Антонио Паганини мальчик второй раз в жизни вошел в игорный дом.

Спустившись в полутемный коридор и отсчитав ровно восемь ступенек, Паганини нащупал дверь, знакомую со вчерашнего дня, открыл ее и, не обращая внимания на то, что матросы и проститутки загораживали дорогу, потихоньку по стенке прошел в комнату.

Здесь были неудачливые капитаны, не в меру ловкие боцманы, неизвестные люди в поношенных камзолах, в долгополых сюртуках, какой-то старичок с беспокойной ласковостью взгляда, а дальше, в полутемной комнате,

вповалку спали на скамьях портовые грузчики и матросы, окончательно отяжелевшие от можжевелевой водки. Там пьяный негр яростно спорил и ругался с вербовщиком рабочих для кораблей дальнего плавания. Свинцовая кружка мерно ударяла по деревянной стойке, и каждый раз со дна выбрызгивались капли желтоватой жидкости на руки вербовщика. Негр плевался, харкал и ругался на всех известных ему языках. За столом шла игра. Ставки были мелкие. Маленький Паганини, подойдя к столу, поставил на карту свою пятифранковую монету — благословенные деньги, подаренные матерью.

Десятки глаз устремились на мальчика. Кто-то хотел что-то сказать, но запнулся. Игра шла. Кто-то спросил:

— Больше нет ставок?

К мальчику подошел старичок.

— Ну? — спросил Никколо грубо.

Сзади матрос схватил Паганини за шиворот. Мальчик огрызнулся, как собачонка, схваченная за ошейник, бес- сильно стремящаяся укусить схватившую ее руку.

— Что тебе нужно? Пусти! — кричал он.

— Вот я тебе сейчас покажу игру, — заговорил загорелый боцман. — У кого украл деньги?

— Свои, — ответил мальчик. — Мне надо купить одежду, без одежды я не могу вернуться к отцу.

И он показал рваную нижнюю рубашку, пожаловался на пестроту своей одежды.

— Смотри, дьяволенок, не пришлось бы тебе купить сегодня каменную одежду!

Но распорядитель игры, очевидно, иначе посмотрел на дело. Он только метнул взгляд в сторону мальчика и продолжал игру.

Поздно ночью, выходя из притона вместе с маленьким Паганини, боцман говорил:

— Тебе везет, маленькая обезьяна. Да уж если говорить прямо, то никогда и мне не везло, как сегодня. Ты родился под счастливой звездой. Но вот что я тебе скажу. Я видел, ты выиграл восемьдесят луидоров. Ты богат. У тебя столько денег, сколько у меня не было за год. Дай мне пять луидоров, я провожу тебя до дому, а то тебя зарежут в каком-нибудь переулке.

Действительно, по пятам шли двое. Боцман подтянул ремень, достал из-за пазухи тяжелый пистолет с чеканкой, изображавшей корабль, поправил пояс, на котором в ножнах висел тесак. Все это было сделано с таким

внушительным видом, как будто боцман готовился отразить нападение дюжины бандитов. Но никто никого не пытался ограбить. Мальчик дошел благополучно до дому Боцман благополучно получил пять луидоров.

Отец спал. Огромная разбитая фьяска лежала у кровати, лужа вина алела на полу. Башмаки старика плавали в вине.

Маленький Паганини всю ночь не сомкнул глаз. У него стучали зубы, бешено колотилось сердце. Старик не проснулся. Совсем под утро тихонько, чтобы не разбудить старика, мальчик, никем не замеченный, вышел из гостиницы со скрипкой под мышкой, неся в руках узелок, в котором было все его имущество: молитвенник, подарок матери, и бантик из лент — красной, зеленой и черной, который ему подарил как-то синьор Ньекко.

Впервые за все свое детство Никколо Паганини чувствовал себя легко и спокойно. Хотелось есть. Он не ел два дня. Мимо большой каменной ограды, за которой виднелась зелень и щебетали птицы, он прошел по всему побережью. Девушка звонко пела на берегу, одеваясь после купанья. Медленно просыпался город. Приморская кофейная была первым местом, куда вошел скрипач-оборванец. Человек, стоявший у двери и протиравший окна, подозрительно посмотрел на маленького Паганини.

— Можешь ты заплатить? — спросил он, когда Паганини заказал себе не по возрасту обильный завтрак.

Забыв осторожность, Паганини встряхнул на ладони горсть пятифранковых монет и покосился на свои чулки, в которых были спрятаны остальные деньги. Потягивая густой горячий кофе и с жадностью уничтожая вареные яйца, мальчик вдруг вспомнил ночную игру. В конце концов чувство азарта побороло страх, внушенный при-тоном. Голова кружилась, с какой-то сладкой тошнотой думалось о минутах неслыханного успеха, когда золото хлынуло потоком.

Внезапно его охватил животный страх перед ворами. Поспешно выйдя из кофейни, мальчик зашагал по спокойным утренним улицам. На площади он очутился как раз в тот момент, когда магазин с красивой вывеской «Венское платье» открылся и человек высокого роста принялся перетаскивать из экипажа узлы и пакеты.

Мальчик купил себе сразу два костюма. Он не узнал себя в щеголе, которого увидел в зеркале. Боязнь того, что он один ходит по магазинам в чужом и незнакомом

городе, исчезла. Выйдя из магазина и стоя на углу, он, забыв, где он находится, вынул скрипку из чехла. Взял несколько аккордов, и звуки полились сами собой. Охватившие его чувства, все пережитое в этом году внезапно вылилось в урагане звуков, сбивающих все на своем пути, все покрывающих собой, рвущих нить, связывающую его с домом, с семьей. Он шатался, его бросало в жар и озноб, он играл, как одержимый, как безумный, и не понимал, где он и сколько времени он играет. Он не замечал собравшейся вокруг него толпы, не видел, как прохожий снял с него шляпу и положил ему под ноги, как в эту шляпу со всех сторон сыпались деньги. Он не чувствовал, что слезы застилают ему глаза, и только когда зашатался—опустил смычок. У него тряслись колени, плечи казались ему обремененными свинцовой тяжестью. Тут он увидел людей и услышал, как вся площадь ему рукоплескала. Извозчик, привставший на козлах, кричал и махал шляпой, приказчики в магазинах бросили свои прилавки, покупатели остановились у входа, его узнавали, о нем говорили.

Паганини с удивлением посмотрел на деньги, поднял шляпу, неуклюже набил карманы монетами и бумажками. Спрятал скрипку в чехол и пошел один, не зная куда идти. Ноги едва повиновались ему. Постепенно таяла за ним толпа зевак и прохожих. Никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, видя изможденное лицо, заплаканные глаза, огромные мокрые ресницы. Мальчик все время думал, что он должен что-то сделать, и не мог ответить себе на вопрос, что именно сейчас нужно сделать. Наконец догадался. Имея деньги, можно нанять извозчика. Когда сел в экипаж, он почувствовал, что бороться со сном стало не под силу. Держа под мышкой скрипку, он освободил правую руку и щипал себя за ухо. Доехали до почтового двора. Там он узнал, что через час отправляется поздний мальпост, и взял билет до Милана. Поздней ночью выехал из Ливорно при звуках рожка по большой старинной дороге на север. Там когда-то проходили римские войска. На мостовой древние камни, истертые колесами римских повозок, чередовались с прокладками новой мостовой.

Старая жизнь кончилась. Первая игра в притоне оказалась куда интересней, чем игра на скрипке. «Впрочем, что я думаю,—соображал Паганини, засыпая, качая головой при каждом толчке мальпоста,—еще такая игра

на площади, и я снова богат. Зачем мне возвращаться к отцу, который сосет мою кровь?»

Выехали из старинных Пизанских ворот по северной дороге.

«Хорошо сидеть в мальпосте в хорошую погоду,— пишут старые путешественники и добавляют:— Хорошо сидеть в мальпосте в декабрьский дождь, спрятавшись глубоко внутри кареты, если нет щелей в полу и в окнах, если есть крепкая смена одежды и хорошо наполненный желудок, если неподалеку из свертка торчит серебряная фляжка с крепким тягучим золотистым напитком». Но плохо оказалось путешествовать в мальпосте по северным итальянским дорогам одинокому мальчику.

Едва почтовая карета въехала в ворота мессанджера в Лукке, как два жандарма арестовали маленького Паганини. Старик Антонио занял денег и, не поскупившись на расходы и обещания, поднял на ноги всю полицию Ливорно, а последняя гелиограммой предупредила о приезде мальчика в Лукку.

Двое суток просидел Паганини в префектуре. Его не переводили ни в тюрьму, ни в камеру, за решетки, он пользовался почти полной свободой. Ему запрещалось только выходить за пределы здания префектуры. Над ним посмеивались полицейские чиновники, его почти не спрашивали, предполагая, очевидно, что это сын богатого человека, что все решится само собой, не надо только торопиться и обострять положение. И так как полицейские чиновники не знали, как себя вести с мальчиком, который не является преступником, а может быть, даже принадлежит к хорошей фамилии, то гостить в луккской префектуре Паганини было не так уж плохо. Он выспался, был сыт.

Он несколько раз спрашивал, когда приезжает южный мальпост, и каждый раз забывал час, который ему называли. Наконец, когда он открыл двери и, обращаясь к стоящему внизу полицейскому, еще раз спросил о южном мальпосте, он услышал голос отца:

— Здесь уже, здесь.

Ни побоев, ни одного грубого слова за всю дорогу домой. Наоборот, отец проявил даже признаки несвойственной ему нежности. Мальчик украдкой смотрел на отца, когда тот засыпал в мальпосте; настороженность не покидала Никколо ни на минуту. Но, вопреки ожиданиям, старый Антонио держался ровно и спокойно, говорил

мало, был задумчив. Чем дальше продвигались они на север, чем ближе они были к Левантинской Ривьере, тем быстрее работал мозг маленького Паганини. Никколо вдруг почувствовал, какое огромное значение в его детской жизни имел этот побег от отца. Он почувствовал себя отрезанным от семьи. Даже обостренная боль разлуки с матерью исчезла по мере приближения дилижанса к родному городу. Если бы Паганини был старше, он сумел бы формулировать свое отношение к отцу как ощущение удачливого педагога, ловко исправившего поведение своего воспитанника. Роли переменились. Паганини чувствовал, что отец находится у него в руках. И в то же время он боялся его.

По молчаливому уговору отец и сын вернулись домой, как богатые и счастливые путешественники. О тяжелом происшествии они не вспоминали.

В Генуе царило веселье.

Кто-то привез слухи об успехах маленького Паганини, и маркиз ди Негро прислал письмо с приглашением выступить на вечере с знаменитейшей певицей Северной Италии Терезой Бертинотти. На этом же концерте Крейцер-старший играл на клавесине свои сочинения.

Паганини успешно выступил у ди Негро с тем спокойствием и уверенностью в себе, которые дало ему первое большое жизненное испытание.

Со своим новым положением Паганини быстро освоился. Несмотря на бранные клички, которыми награждали его сестры, на завистливые и почти ненавидящие взгляды, которые бросал на него брат, Паганини чувствовал себя центром семьи.

Старик Паганини напустил на себя удвоенную важность: чудо-ребенок, выращенный любящим отцом и самоотверженной матерью, которые все сделали для того, чтобы развернуть талант сына,—вот новая вариация, избранная старым Паганини.

Мать Никколо радовалась этой перемене, принимая все за чистую монету. Она боготворила сына за его благотворное влияние на отца.

Однажды господин Крейцер остановил свой экипаж около мрачных дверей дома в Пассо ди Гатта Мора. Богатый музыкант, артист с аристократическими манерами и внешностью французского маркиза, Крейцер зажал нос шелковым платком, когда шел по лестнице.

Господин Крейцер долго внушал синьору Антонио от имени маркиза ди Негро, что мальчика необходимо отправить в Парму, ибо в Парме живет единственный скрипач, который может завершить музыкальное образование маленького Паганини. Мальчик слышал это имя. Ди Негро и Крейцер уговаривали отца поехать к Алессандро Ролла.

Прошла неделя. Снова легкий запах горных цветов врывается в окна открытой кареты. Старик и мальчик со скрипкой едут в мальпосте по дороге на Парму.

Приехали в полдень.

Их проводят в комнату, несущую на себе отпечаток величавости и запущенности. Это — комната самозабвенного человека, заболевшего тяжелой и неизлечимой болезнью.

У окна, под горячими лучами полдня, на столе белеет большая нотная тетрадь. Свинцовым карандашом набросаны сорок восемь строк новой музыкальной пьесы.

Ролла болен. Старый Паганини упрощивает его жену показать Никколо великому Ролла «хоть на минутку».

Пока синьора Ролла в дальней комнате справляется у мужа, сможет ли он принять маленького скрипача, мальчик вынимает скрипку и уверенно с первых тактов начинает разыгрывать *a vista* новую пьесу Ролла. Это скрипичный концерт, еще нигде, никем, даже самим автором, не сыгранный. Не зная этого, Паганини играет; играет, увлекшись первыми фразами концерта.

Вот пройдены первые двадцать семь строчек, вот наступает адажио, и в эту минуту распахивается дверь, и на пороге останавливается желтый, изможденный человек в голубом халате, распахнутом на груди. Седые волосы на голове и на груди, глубокие морщины, больные глаза. Не говоря ни слова, махнув длинным желтым пальцем, повелительным жестом приказав продолжать игру, Ролла подходит, еле волоча ноги, к креслу, садится, роняет голову на ладони, опершись локтями в колени, и с закрытыми глазами слушает собственный концерт.

Вот кончается кантилена. Быстрое, как искры, пиццикато, потом фермата, и мальчик кладет скрипку. Не отнимая рук от лица, Ролла откидывает голову на спинку кресла. Плечи старика вздрагивают, но слез не видно, и мальчик не понимает, что это — сдавленное рыданье старого композитора или приступ кашля, который тот хочет подавить усилием воли.

Скрипач смущен, он переводит глаза с отца на старого Ролла, от композитора к его жене. Вскинув в каком-то всплеске ладони, эта женщина стоит с выражением не то ужаса, не то восторга. Старый Паганини растерянно мнет шляпу в руках. Чтобы прервать это неловкое молчание, Никколо подходит к синьору Ролла.

— Маэстро!..

Но Ролла прерывает его:

— Я никогда не буду твоим учителем, мальчик. Как быстро шла жизнь, если дети теперь достигают того, к чему мы подходили, только истощив свои силы! Что случилось с миром, как быстро улетает жизнь!

Старый скрипач внимательно, с ног до головы, оглядывает маленького Паганини. Выражение все большего и большего удовлетворения разливается по лицу старика, выровнялись морщины, улеглось волнение, и твердым голосом он говорит:

— Я стар, мне нечему тебя учить. Но есть в Парме человек молодой и полный сил, он может быть тебе полезным. Ты выйдешь из дверей на Виале Ментана, там ворота из серого камня, войдешь в них, найдешь широкий внутренний двор с цветами и колоннадой,—там музыкальная школа. Ее директор—синьор Паер, к нему обратишься, и да благословит тебя бог.

Старик подобрал полы халата, быстро встал, плечи его вздрогнули, словно от озноба; не прощаясь, он ушел к себе.

Глава десятая

КАРТЫ, КОСТИ И СКРИПКА

Полгода жизни в Парме пролетели как один день. Паер сам руководил музыкальными занятиями маленького синьора Никколо Паганини. Теория музыки давалась легко.

Облик Паера ассоциировался у мальчика со ртутью. Походка у синьора Паера была такая тяжелая, словно действительно в жилах его текла ртуть. Но эта тяжесть сочеталась со странной подвижностью его манер, с быстротой и блеском. И в то же время Паганини всегда чувствовал холодность этой крови. Ртуть похожа на расплавленный металл, но она холодна. Мальчика поражал этот странный человек, поражали холод и мертвящая

тяжесть его зрачков, словно не видящих, с каким-то лиловым оттенком, глаз; этот фиолетовый тон и легкая лиловость, сиреневость одежды, галстука, перчаток — все это странно действовало на Паганини. Он сам удивлялся, что так часто видел его во сне. Синьор директор консерватории, важный господин Паер, всегда фигурировал в этих снах в качестве какого-то чудесного гения в лиловом хитоне; он махал рукой перед оркестром таких же, как он, лиловых людей — фиолетовых гениев, — и с каждого пальца сбрасывал не то серебряные капли, не то брызги ртути, которые, дробясь, со звоном падали на оконные стекла, и этот звон превращался в звон миллионов колокольчиков. Сыпалось разбитое стекло, звенело, превращаясь в кристаллики, искры, звездочки, градинки и снежинки, которые осыпали деревья. Вдруг становилось холодно, зима покрывала мир, как на высоких горах за Кремоной, там, где в июле месяце ребята бегают на коньках на горных озерах, а внизу пасутся стада и золотой звон пастушеского рожка собирает овец и гонит их в узкие проходы между высокими ажурными оградами зеленых виноградников, залитых солнечным светом. Вот эти капли ртути попадают на деревья, мгновенно загораются тысячами белых огней по ночным аллеям парка. А потом ночь сменяется днем, и пармские фиалковые поля еще ярче горят от магического влияния лилового и фиалкового цветов на господине директоре консерватории города Пармы.

Проходили дни. Гарди и Нови, ученики пармской консерватории, были соперниками Паганини. Им не удалось одержать победу над ним ни по скрипичной игре, ни по классу теории, но в области композиции они оспаривали у Паганини подступы к сердцу учителя. Гарди и Нови ненавидели друг друга. Вначале каждый из этих консерваторских семинаристов стремился привлечь Паганини на свою сторону. Но Паганини не воспользовался этими предложениями дружбы с одним, для того чтобы вредить другому. Тогда оба врага объединились в общей ненависти к Паганини.

Нови был братом каноника старинной генуэзской церкви. Братья Нови писали друг другу сладкоречивые письма, исполненные взаимных уверений в преданности делам церкви. Старший передавал младшему сведения о семье и детских годах Паганини. Младший поручал старшему распространение сплетен о молодом скрипаче.

И в то время как Паганини, увлеченный работой, не щадя сил и здоровья, занимался по четырнадцать часов в сутки, в другом городе готовилось ему большое и суровое испытание.

Паганини жил в каморке у синьоры Августины. Каморка запиралась плохо. Паганини уже не удивлялся, когда, возвратясь из консерватории, замечал следы пребывания чужих людей в своей комнате. Перерыты все его вещи, не исключая белья, распорота и неряшливо зашита подушка, в беспорядке сложены и связаны письма от матери и сестер. Зачастую Паганини, открывая дверь, видел, как, в довершение всего, обычная посетительница его комнаты, большая крыса, сидит на письменном столе и грызет оставленную кем-то корку хлеба. Паганини вздрагивал и останавливался. И каждый раз, презрительно глядя на музыканта, крыса медленно, не торопясь, шлепалась со стола и убегала под пол.

Правоверные католические газеты доносили о больших событиях. Но эти отголоски не колебали воздуха Пармы. В Парме тихо позванивали колокола, и толстые, заплывшие жиром аббаты гнусавили мессу. Молодые скрипачи по обязанности бывали в церкви. Совершеннолетний Гарди исповедовался и приобщался. После исповеди всякий раз он подолгу запирался с Нови для каких-то особых обсуждений. Они хвастливо заверяли товарищей по консерватории, что им поручено наблюдение за правильностью образа мыслей консерваторских студентов.

Паганини целыми часами бился над почти неразрешимыми скрипичными пассажами. Потом, измученный работой, которая все больше и больше связывалась для него с огромным физическим утомлением, он шел на другой конец города, где жил Гиретти, старый неаполитанский дирижер. Гиретти был учителем Паера. Именно ему синьор Паер поручил теоретические занятия с Паганини. Гиретти относился к ученикам с необычайной строгостью, и Паганини знал, что малейшая ошибка, малейшее ослабление внимания скажутся немедленно на отношении к нему синьора Гиретти и синьора Паера. Гиретти был простым преподавателем консерватории, его ученик был директор. Синьор Паер был учеником Гиретти и его начальником. Но, как это часто случается в мире высокого и большого искусства, фактически положение было таково, что синьор Паер не выходил из подчинения у

синьора Гиретти во всех вопросах музыкальной теории. В делах административных синьор Паер был полным господином. Синьор Гиретти просто отрицал существование каких бы то ни было административных задач и административных работ синьора Паера. Казалось, что для Гиретти не существовало вовсе практической жизни. В противоположность синьору Ньекко этот высокий, худой старик с красивым лицом в ореоле седых волос был как бы не связан с явлениями обыденной жизни. Внутреннее убранство комнат нисколько его не занимало. Беспорядок господствовал повсюду — и на полках, и на столе, и на диване, который служил синьору Гиретти одновременно и постелью. Связывала этих двух, совершенно не похожих друг на друга, дирижеров только преданность одинаково почитаемой обоими эмблеме. Паганини заметил среди вещей, разбросанных на письменном столе в комнате, куда Гиретти не впускал никого, кроме Никколо и синьора Паера, маленький черно-красно-зеленый бантик, такой же, какой однажды подарил Никколо синьор Ньекко. Это был значок лесных братьев. В полудетском сознании Никколо три цвета этого значка обозначали леса, в которых эти люди среди зелени раздувают красное пламя подземных костров и целыми курганами жгут черный уголь. Вот откуда сочетание красного, черного и зеленого. Политическое значение слов «фореста», «баракка» и «вента» Паганини почти забыл, вся эта система символов была под запретом.

Если теоретические занятия Паганини проходили под руководством Гиретти, то все очередные практические упражнения и работа по композиции велись под непосредственным руководством Паера. Другие преподаватели смотрели на маленького Паганини скорее как на младшего товарища. Паганини знал о том, как относятся к нему консерваторские педагоги. Это наполняло его мальчишеской гордостью. Но, к сожалению, это не сделало его более осторожным в отношениях со студентами. Поглощенный работой, он продолжал держаться особняком. Возвращаясь от Гиретти, он, вместо того чтобы в свободный вечер веселиться с девушками Пармы, как это делали товарищи его по консерватории, снова запирался в комнате и снова играл. Он довел себя до такого истощения, что нередко скрипка падала у него из рук. Но он уже достиг той степени фанатического напряжения, когда не замечал, как тают силы, не ощущал ничего,

кроме своего продвижения к поставленной им себе цели. Лишь страшные приступы кашля на целые часы выводили его из строя. В такие промежутки Паганини оставлял скрипку и садился за стол. Мельчайшим почерком он исписывал листы графленой нотной бумаги. Это были задачи, заданные ему Паером. И к концу шести месяцев пребывания в Парме были готовы двадцать четыре фуги в четыре руки, написанные без инструмента. Паер играл их вместе с Паганини. Это был единственный ученик, которого допустили играть с директором консерватории. Невероятно трудная музыкальная форма, приданная маленьким композитором своим произведениям, исключала возможность исполнения его композиций кем-либо из шести учеников, допущенных к занятиям с синьором Паером.

По истечении четырех месяцев совместной работы с Паером Паганини получил приказание написать дуэт для скрипки и с головой ушел в разрешение этой задачи.

Пока вынашивалась эта сложная и трудная композиция, Паганини разыгрывал произведения других учеников. Он делал это с добрым чувством, а вызывало это тяжелые последствия. Его исполнение, помимо его воли, озлобляло соперников, так как он на лету, в процессе исполнения, исправлял смычком дефекты их произведений. Бездарную вещь он умел так изменить, что в его исполнении она не вызывала возмущения Паера. Но эта маленькая помощь соперникам вместо чувства признательности вызывала еще большую их ярость. Товарищи Паганини в присутствии Паера молчали, зная, что Паганини исправил их вещи, выручил их, но набрасывались на него, как только учитель уходил. Гарди гневно кричал Паганини, что тот произвольно переделал его произведение; двое других угрожали Паганини жестокими побоями за то, что он будто бы крадет целые фразы из их произведений и вставляет в свои фуги.

Паганини прекрасно знал, в чем дело. Играя пьесы своих товарищей, он облакал их в форму, в которой многое было продуктом его вдохновения. Естественно, что отдельные элементы повторялись в его собственных произведениях. И когда первая фуга была сыграна в консерваторском зале, шестеро студентов набросились на Паганини с криками: «Вор!»

Однажды вечером, когда Паганини вышел из своей комнаты отдохнуть и сидел около Пармского замка,

внезапно его внимание привлек валяющийся на дорожке листок с нотами. Паганини поднял его. Это были ноты с французским текстом, с длинным витиеватым названием, с виньетками по углам,—военная песня рейнской армии, исполняемая на сценах разных театров, сочиненная инженерным офицером Руже де Лилем.

Паганини вернулся домой, зажег свечу, снова перечитал ноты. Потом, слушая, как в тишине наступающих сумерек прозвенел на отдаленной колокольне «ангелюс», он с последними звуками затихающего колокола провел смычком по струнам. Скрипка запела первые три такта «Марсельезы». В тоне колоколов, в замедленном темпе эта песнь звучала странно.

Широкий, спокойный поток церковного хора сменялся целым морем органных звуков, которые только одному Паганини удавалось воспроизвести на скрипке. Потом слышалось журчание, словно побежала по камням многоструйная речка. Сначала тихая, она становилась все более стремительной, все более мощной, и, наконец, ее шум слился с шумом рокочущего бурного прилива, многоголосого говора толпы, который приближается по отдельным улицам и выливается на площадь. Цоканье копыт, звон оружия—и только в этот момент Паганини выпустил «Марсельезу» на свободу, как птицу. Французская боевая песня, горячий призыв к борьбе захватили и самого скрипача настолько, что он не заметил, как собралась около дома толпа, не понимал, почему раздаются рукоплескания и крики, и, только окончив игру, положив скрипку, он увидел в маленькое окошко, что улица полна народа.

Утром Паганини проснулся под ворохом одежды, которую он ночью, пытаясь согреться, набрасывал на себя. Его била лихорадка.

Десять дней Паганини провел в постели. Он не спускался со своего чердака. Старая привратница консерватории пришла навестить его, передала привет от синьора Паера и принесла записку:

«На тебя гnevаются, ты не знаешь, безумец, как опасно смешивать церковные гимны с безбожными песнями французов. Я случайно узнал о твоей болезни. Новичок явился ко мне с докладом и сообщил, что ангел явился к тебе и теперь ты лежишь с разбитой рукой, храня на себе печать божественного гнева. Я не верю этому вздору, но будь осторожен. Сожги эту записку, дорогой глупец.

Барбара позаботится о том, чтобы ты скорее выздоравливал и чтобы тебя как следует кормили. Я лишен возможности навещать тебя. Приходи, я расскажу тебе о приглашении, которое я получил от венецианцев, так как не в Парме, а именно в Венеции принята к постановке написанная мною опера. Не забудь наглухо закрывать окна с вечера. Начались холодные ночи, и много людей болеют лихорадкой».

Письмо было без подписи. Старая служанка молча ждала, пока Паганини читал записку. Потом зажгла свечку и на ней предала уничтожению письмо Паера. Суровый взгляд старухи и выражение лица ее говорили, что она знает о молодом скрипаче гораздо больше, нежели он сам.

На следующий день Паганини отправился в консерваторию, чтобы сдать учителю дописанный дуэт. Выходя, он с досадой увидел, что дверь открыта, по-видимому, всю ночь после ухода служанки она оставалась незапертой.

Когда он сыграл первую строку, жгучая боль в левом глазу и виске едва не лишила его сознания. Лопнула басовая струна. Конец ее ударил скрипача в левое веко. Приобретенная выдержка не позволила в присутствии учителя обнаружить боль. Собрав все свое мужество, Паганини решил продолжать игру на трех струнах. Руки дрожали, голова кружилась, тяжесть давила руки и плечи.

«Опять лихорадка»,—подумал Паганини, боясь взглянуть в сторону Паера. Краска заливала ему щеки, казалось—песком засыпаны глаза. И вдруг учитель положил ему руку на плечо.

— Откуда ты взял эту ночную посудину?—грубо спросил Паер.—Ведь это не твоя скрипка, Паганини.

Действительно, это была грубая деревенская скрипка, неизменный гость сельских свадебных пирушек и танцевальных вечеринок. И в довершение всего на внутренней стороне грифа были привязаны кусочки свинца. Паер зажег канделябр и принялся рассматривать со всех сторон это грубое изделие плохого мастера. Подтащив Паганини за локоть, он молча, тонким пинцетом показал ему, что все струны надрезаны. Он бросил скрипку на стол. С жалобным звоном полопались оставшиеся струны. Паер большими шагами заходил по комнате.

Паганини стал смеяться, сначала тихо, потом смех этот перешел в хохот. Он упал на диван и, почти катаясь по дивану, смеялся. Угнетавшее его чувство неуверенности в себе, страх, что болезнь убила в нем скрипача, сменились страстным, непобедимым сознанием того, что нет на нем никакой вины перед великим искусством и что виновника сегодняшней неудачи нужно искать не в себе, а в других. От болезни не осталось и следа. Та робость, которая мгновенно охватила Паганини в присутствии Паера, вдруг исчезла.

— Ну, а где же твоя скрипка? — спросил Паер.

Паганини смолк.

— Я знаю, кто это сделал, — как бы про себя задумчиво сказал Паер.

Потом, машинально перевернув страницу нотной тетради, воскликнул:

— А! Дуэт готов, это хорошо.

Он достал из шкафа скрипку для Паганини, взял свой инструмент.

После того как дуэт был сыгран, с улыбкой большого удовлетворения Паер сдержанно сказал:

— Ни одной ошибки против требований чистого и строгого стиля. Что же? Я считаю, что ты сдал экзамен. Теперь поговорим о нашем расставании.

Глава одиннадцатая

КРЫСЫ

Пармская полиция отказалась предпринимать какие бы то ни было поиски пропавшей скрипки.

После двух платных концертов, данных на скрипке, принадлежавшей Паеру, Паганини оплатил стоимость нового инструмента. Остаток денег он отослал отцу.

Странно складывалась его жизнь. В размышлениях о ней он провел немало часов, сидя у окна своей комнаты, из которого видна была вся юго-западная часть города.

Однажды его размышления были прерваны появлением в переулке двух странных людей. Вот они стоят под окнами чердака, на углу, против входа в большое здание. Они умолкают, когда мимо них проходит кто-то, и возобновляют разговор, опасливо глядя проходящему вслед. Потом один быстрыми шагами уходит в переулок. Паганини смотрит на них с чердака, и, хотя его каморка

возвышается над тремя этажами старого пармского дома, он слышит весь разговор от слова до слова.

Так было всегда. Часто в ночном безмолвии Паганини ловил едва долетающие звуки: то отдаленный звон из селений к северу от Пармы, льющийся между холмами по долине, то скрип одноколок и крики погонщиков за городским валом на старинной римской дороге, то голоса пешеходов, проходящих по площади за два квартала от дома, то крики и плач больных детей, доносящиеся из подвальных помещений соседних переулков, и даже легкую перебранку хозяек у вечернего колодца за дальним переулком у городской стены. Эта необыкновенная изошренность слуха казалась Паганини естественной.

Человек, оставшийся в переулке, быстрыми шагами направился к лестнице. Прошло несколько секунд, раздались шаги по лестнице и стук в дверь. Вошел учитель.

— Вот,—сказал Паер.—Я пришел с тобой проститься. Пришел проститься только с одним учеником.

Паганини подвинул ему стул. Взмолвленный и расстроенный, он смотрел на синьора Паера. На лице его учителя тревога и грусть сменились улыбкой.

— Я хочу предупредить тебя,—заговорил Паер, не садясь,—не ходи в консерваторию, уезжай как можно скорей из Пармы. Я жалею, что мне приходится бросать город, в котором я провел столько лет, но венецианцы упорны, условия, которые они предлагают, лучше, чем условия других городов.

Паер словно запнулся, он провел рукой по волосам, посмотрел на Паганини и спросил:

— Ну, ты огорчен? Ты как будто смущен чем-то?

Взяв Паганини за плечи, он повернул его лицом к окну. Паганини отвел глаза, на желтых щеках его появились красные пятна. Потом Паганини посмотрел Паеру прямо в глаза и сказал:

— Я очень виноват перед вами, я уже слышал все, что вы говорили с вашим спутником. Я знаю, что вы—карбонарий, и я знаю имя этого человека—Уго Фосколо.

Паер вздрогнул и отскочил.

— Вот за что я не люблю тебя,—сказал Паер быстро и отвернулся.

— Но я не разделяю вашей нелюбви,—ответил Паганини.—Разве я виноват, что меня не любят? Я ко всем

отношусь, как к друзьям, и не виню никого за недостатки, в то время как меня бранят за мои достоинства.

— Что же ты слышал из нашего разговора? — спросил Паер.

— Очевидно, расставаясь, вы спрашивали синьора Фосколо о венецианской жизни. Синьор Фосколо рассказывал вам о постановке своей трагедии «Тиесте». Он говорил о своей ссоре с Бонапартом, говорил о том, что он никогда не увидит родной Венеции после гибели цизальпинской республики. А вы, вы говорили ему, что постараетесь связать его с Венецией снова, вы говорили, что будете жить в Венеции на острове Мурано, будете ставить там свою оперу, между вами и Фосколо будет посредник — поэт Буратти. Учитель, учитель, зачем вы говорите так громко на улицах! Если это все...

Паганини остановился. Негодование и смех душили Паера.

— Черт побери тебя с твоим слухом! Можно было бы подумать, что ты стоял за углом. Но я не сомневаюсь в честности твоего сердца. Ну, прощай, у меня нет лишней минуты. Постарайся сегодня же выехать из Пармы, в Генуе тебе будет безопасней. Не вмешивайся в политику, если играешь на скрипке...

Паер ушел. Ночью он выехал по дороге на Гвасталлу, Мантую, Леньяно и Падую. Приехав в Венецию, он через неделю забыл своего ученика. Паер остался верным себе. Холодность, которую отметил Паганини в характере своего учителя, позволяла ему — после того как внушенное ему чувством долга по отношению к человеку было исполнено до конца — полностью забыть об этом человеке.

В течение последних трех дней перед отъездом в Венецию Паер разослал по городам и музыкальным центрам Италии серьезные рекомендации, где восторженно и в то же время строго сообщал о появлении Паганини как чуда в истории музыкального мастерства. Паер холодно и спокойно заявлял, что в мире музыкальных чудес Паганини открывает собой новую страницу и что жизнь и история человечества не знали таланта подобного объема и мощи.

Но втихомолку уже работали другие силы. Клевета, как подземные ручьи, по темным каналам струилась во все концы и прежде всего в родной город Паганини, куда возвращался молодой музыкант. Паганини еще не знал об

этом, а Паер уже забыл. Переселившись в Венецию, он начисто выбросил из головы и из сердца мысли и воспоминания о своем ученике.

...Усталый от горной дороги, сидел Паганини за столом в маленькой комнате. Ничего неприятного сказано при встрече не было, но Паганини чувствовал себя так, словно он попал в чужую семью. Весь первый день с затаенным вниманием приглядывались родные к Никколо, словно ожидая какого-то взрыва. Но никакого взрыва не произошло.

Полная тишина и усталость были в душе молодого скрипача. Три дня он не брал в руки скрипки. Как фланер, обходил побережье. Он ступал по сырым камням ветхого мола; взяв лодку, переправлялся на Моло Дука и слушал там пение морских валов. Целыми часами он сидел на камне или стоял, скрестив руки, и смотрел, как ветер вырывает из синих валов белый пух и перья пены.

Ночами забвение не приходило. Он не разговаривал ни с кем из семьи. Незначащие вопросы, односложные ответы, скучные дни.

И только однажды вечером, вернувшись позже обыкновенного, он встретил такой грустный взгляд заплаканных глаз, увидел на лице матери выражение такой тоски, что это его испугало. Он спросил ее о причине ее слез. Мать молча покачала головой и хотела уйти. Он осторожно взял ее за руку. Она присела и указала ему место рядом с собой.

— Зачем ты погубил себя? Неужели ты думаешь, что нам неизвестно, какой образ жизни ты вел в Парме? Отец знает, кто был развратителем, кто отнял тебя у семьи, у бога, у святой церкви...

Никколо хотел перебить ее, но мать махнула рукой и продолжала:

— Твои друзья, которые любят тебя больше жизни, писали нам о тебе письма, полные горя. Я едва не умерла от этих писем. Тебе писал отец, я тебе писала, умоляла тебя, но ты был настолько жесток, что не ответил ни на одно наше письмо. Ты сразу приехал в родной дом как человек, имеющий право попираť порог семьи, и, приехав, ты не только не раскаялся, но даже не попросил прощения за пренебрежение своими обязанностями.

Никколо вскочил.

— Так вот чем объясняется ваш странный прием! — крикнул он.

В соседней комнате раздался шум. Отец проснулся и, шаркая туфлями, появился на пороге. Он щурился от света канделябра, дрожавшего в его руке. Хмурая улыбка изуродовала и без того некрасивое лицо. Старческие губы жевали.

— Стоит ли говорить с негодяем? — обратился он к жене. — В этом черством сердце мы не найдем ни одного светлого и чистого чувства. Предоставим этой собаке издыхать в одиночестве.

Старик тяжело дышал. Никколо молчал, не мог выйти из какого-то остоленения. Отец, приняв молчание сына за вызов, закричал с негодованием:

— Мы знаем все: знаем и то, с каким позором ты растратил здоровье в кутежах, провалился на экзаменах, как у тебя лопались струны и скрипка выпадала из рук. Помни, что все это — воздаяние господне за пренебрежение его заповедями. Мы со смирением приняли эту тяжкую кару, но не добивай свою мать упорством, нераскаявшийся негодяй! Покинь нашу семью, а если не хочешь, то согласись снова взять себя в руки, и отправимся в путешествие по Ломбардии.

Никколо отрицательно покачал головой.

— Покуда вы не скажете мне, кто клеветник, кто посеял эти чудовищные сплетни, кто очернил меня в ваших глазах, до тех пор я сам буду отвечать молчанием на все ваши обвинения. Я еще выясню, кто лжет! Вы говорите, что не получали моих писем, но ведь и я не получил ни одного вашего письма!

Он припоминал все то, что было за месяц перед этим. Он всегда отдавал письма консерваторскому привратнику; письма, которые он получал, тоже шли по адресу консерватории. Но даже при всей чудовищности отношения австрийской жандармерии к переписке итальянских граждан не было случаев, чтобы пропадали все письма, посылаемые в обе стороны. Очевидно, помимо полицейского сыска и перлюстрации, был какой-то добровольный охотник за письмами.

Паганини стал на колени перед матерью и, целуя ее руки, проговорил:

— Скажите, матушка, кто этот человек, кто писал вам обо мне! Клянусь вам жизнью, что я не получил ни одного вашего письма. Я писал вам очень аккуратно каждое воскресенье. Все остальные дни недели я проводил в большой работе, я затратил много сил, но я

надеюсь вернуть эти силы и обеспечить вашу старость.

Синьор Антонио закашлялся, потом, отхаркиваясь, сплюнул на пол, пренебрежительно растер туфель и, хлопнув дверью, скрылся в соседней комнате. Тогда синьора Тереза принесла связку писем и положила на стол перед сыном. Паганини стал читать. Почерк был ему совершенно незнаком. Письма были написаны на розовой бумаге, они начинались с изъявлений любви к нему, Никколо Паганини. Они начинались с выражений безудержного восторга перед ним, как перед гением музыки, скрипачом, которого не видел свет. Они все начинались заверениями в глубочайшей и почтительнейшей любви, которые постепенно сменялись плачем и грустными сожалениями о том, что этот замечательный скрипач погибает в грязной луже разврата, что он проводит ночи в притонах, играя в азартные игры и напиваясь пьяным, с веселыми девушками и парнями. Что он, отпав от святой матери церкви, не посещает мессы и что, хотя наступило уже время, он ни разу не был на исповеди и ни разу уста его не приняли святой облатки. В этом теле, не посещаемом огнем святого причастия, огонь демонской похоти и мерзостных желаний сжигает не только великую, божественную одаренность музыкальным талантом, но и остатки простых, естественных, человеческих чувств.

Неизвестный друг писал:

«Мой лучший друг, любимый мною человек, Никколо запирается на целые сутки, связавшись с компанией злодеев и карбонариев, имеющих явное намерение отравить колодец светлой истины, действующих заодно с нечистыми франкмасонами и якобинцами, пришедшими с севера».

Письма все как одно заканчивались мольбами о божьем милосердии: оно должно снизойти на голову страшного грешника. И вот наконец последнее письмо. Оно ярко живописует печальную картину окончательного падения Никколо Паганини. Растратив себя в разврате, этот скрипач не может держать скрипку в руках. Его руки дрожат, дрожит смычок, и, сясь передать смычком нездоровое напряжение своих душевных сил, этот несчастный скрипач перепиливает смычком струну за струной.

«Дражайшая и благочестивая синьора, горькими слезами плакала вся консерватория; даже синьор Паер, наш уважаемый директор, не мог не прослезиться при виде

того, как варварским движением смычка ваш сын стремится извлечь глухие и сиплые звуки из запущенной, залитой вином, отсыревшей в подвалах и погребах скрипки. Синьор директор, уезжая в город Венецию, единственное место, куда не проник пока нечестивый бонапартистский атеизм, заявил на прощальном консерваторском ужине педагогам, семинаристам и студентам, что он, возлагавший большие надежды на господина Никколо Паганини, теперь окончательно в нем разочаровался и должен предать его своему учительскому проклятью».

Паганини не мог опомниться. Он перелистывал, перечитывал письма, вглядывался в отдельные строчки. Он вспоминал, как, играя по двенадцати часов подряд, он намыливал смычок, чтобы, водя по струнам своей, обреченной на эту черную работу, второй скрипки, не извлекая никаких звуков, преодолевать трудности, казавшиеся непреодолимыми. Этот намыленный смычок давал ему напряжение, которого требовали упражнения, заданные ему Паером. От этой игры у него затекали ноги, деревенели локти и плечи.

Он хотел рассказать это отцу, открыл дверь, но встретил окрик:

— Молчи, ничто не может тебя оправдать! Где деньги, которые ты заработал на своих пятидесяти концертах? Где успехи, которыми ты должен был похвалиться после полугодового проедания отцовского хлеба в Парме? Разве я думал, производя тебя на свет, что в моей семье, благочестивой, испытанной и верной, родится безбожник, развратник, карбонарий, ниспровергатель законной власти, установленной господом богом и наместником Христа в Риме! Ты бесчестный, презренный негодяй, тебе судьба послала такого друга, который, заботясь о тебе, оберегал твою подлую душу каждую минуту... и все оказалось напрасным! Даже имея такого друга и попечителя, ты остался грязным животным!

Старик захлопнул дверь. Никколо едва успел откинуть голову назад. И все-таки он снова стал объяснять матери и условия своей жизни в Парме, и напряженность своей работы в консерватории. Но каждый раз, как только он заговаривал о том, что человек, написавший эти письма, клеветник и негодяй, который намеренно прикрывается дружелюбным тоном, чтобы вкратце к ней в доверие, она качала головой и говорила:

— Я вполне понимаю твою досаду. Всякий человек, который говорит о тебе правду, кажется тебе негодяем.

Они проговорили всю ночь. Настало утро. Никколо в возбуждении ходил по комнате. Синьора Тереза не отрываясь смотрела на него, словно стремясь перелить всю силу, весь огонь материнской любви и нежности в недостойного сына.

Тяжелый храп за дверью прервался. Синьор Антонио проснулся. Мать мгновенно погасила свечу и открывала шторы. Ясное, хорошее генуэзское утро смотрело в окна.

В дверь постучали.

— Здесь живет скрипач Никколо Паганини?

— Я, синьор.

— Однако вы не даром сидели под крыльшком у такого орла, как синьор Паер!

В комнату вошел незнакомый Никколо старик. Внезапно выглянула бритая физиономия синьора Антонио.

— Садитесь, синьор, садитесь,—угодливо пригласил он и снова скрылся за дверью.

Пришелец оказался антрепренером большого генуэзского театра. Он пришел с предложением выступить на вечере в доме синьора Браски, а потом дать в Генуе большой скрипичный концерт. Когда синьор Антонио, приодевшись, вышел к гостю, Никколо намеренно громко произнес:

— Так, значит, синьор Фернандо Паер писал вам обо мне?

— Еще бы!—ответил импресарио.—Он писал два раза. Он считает вас лучшим своим учеником.

— Как, как?—переспрашивал синьор Антонио.

Никколо торжествовал.

Глава двенадцатая

ЛЬВИНАЯ ЛАПА ПЕРЕВЕРНУЛА СТРАНИЦУ

Первые прокламации Бонапарта в Италии устанавливали равенство сословий, объединение людей говорящих на одном и том же языке, свободу от австрийского гнета, свободу от жандармского и помещичьего произвола. Итальянская молодежь трепетным восторгом ответила на эти слова, и под штандарты наполеоновских легионов шли десятки тысяч молодых итальянских граждан.

Год за годом уносила из Италии молодые жизни воля Бонапарта, и не сразу эта воля стала понятна тем, кто отдавал ей эти жизни.

Вначале появились французские пушки, потом офицеры и солдаты, потом купцы с обозами товаров, потом аудиторы государственного совета, комиссар и интендант, налагавшие неслыханные контрибуции и обворовывавшие дворцы искусств. Во Францию увозили драгоценнейшие картины, рукописи и книги, обогатившие Париж.

Это еще можно было стерпеть, но невозможно было примириться с тем, что, сперва разорив Италию, ее предавали потом в руки прежних поработителей.

К числу тех, кто больше всего был возмущен Бонапартом, принадлежали представители итальянского карбонаризма. В ломбардо-венецианской организации первенствующую роль играл Уго Фосколо. Это был огромный рыжеволосый человек с львиной головой, автор звучных и прекрасных итальянских стихов. Венецианец, офицер бонапартовской армии, страстный почитатель французской революции, он кинулся очертя голову за французским полководцем. Вместе с Бонапартом он пошел на родной город, всей душой сочувствуя стремлениям Наполеона «разбудить старинную доблесть венецианцев». Но, увидя Венецию преданной и проданной, он возненавидел своего кумира.

На площади, около высокой колокольни, с которой видно чуть ли не оба берега Адриатического моря, высится розовая колонна, и на ней причудливый скульптор поставил на плоском помосте символ покровителя Венецианской республики, евангелиста Марка. На этой высокой колонне крылатый лев мохнатой лапой с когтями придерживает страницу бронзовой книги.

Бонапарт в Модене 18 апреля 1797 года заявил:

«Дряхлый лев святого Марка не может ожидать пощады от моих революционных солдат. Пусть я буду Аттилой для Венеции, но я всюду уничтожу гнусность инквизиции. Я не хочу ваших сенаторских тайн, и если я дал свободу друзьям народа, то сумею разбить те цепи, которые венецианский сенат сковал для своего народа и сейчас тайно выковывает в союзе с другими правительствами для народа Франции».

12 мая Большой совет Венеции собрался в последний раз, чтобы обсудить предложение о сдаче столицы. На

берегу вдалеке разъезжали французские кавалеристы. Маленький генерал с бронзовым лицом и длинными волосами, в треуголке готовился форсировать переправу. Сенаторы воздержались от голосования, разошлись молча. Дождь старинной Венеции вернулся домой, вошел в свои покои, снял шапочку дождя и, вручая ее своему лакею, сказал: «Убери, она мне больше не понадобится».

Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Разбивая старые плиты на островах и на самой площади, венецианские кузнецы, портные, парикмахеры и рыбаки сажали тонкие деревца миндаля и лимона. Это были деревья свободы. Перед одним из таких деревьев сожгли золотую книгу венецианской знати и шапочку дождя, а на бронзовой книге, на которую опиралась лапа льва св. Марка, на месте надписи: «Мир тебе, Марк, мой благовестник», отчеканили новые слова, начинавшие собой «Декларацию прав человека и гражданина». Прекрасный, полноразличный первый параграф «Декларации прав» высказывал лучшие чаяния многих столетий, от него веяло воздухом фернейских гор и садами Монморанси и Эрменонвиля. Мудрость Вольтера и Руссо создала эту замечательную первую страницу новой истории Франции.

Опьяненный мечтами о человеческом счастье и свободе Венецианской республики, карбонарий Уго Фосколо воскликнул: «Наконец лев перевернул страницу бронзовой книги!»

Прошло немного времени, и Фосколо понял огромную ложь Бонапарта. Страница оказалась перевернутой не вперед, а назад. 18 января 1798 года Наполеон продал венецианскую свободу австрийцам. Белые мундиры австрийцев появились на площади св. Марка. Канаты подтянули литейщиков и слесарей на колонну св. Марка, и снова старая церковная надпись водворилась на бронзовой книге, под лапами евангельского крылатого льва.

Фосколо бежал в Парму. Вскоре в печати появились его орационы, дерзкое собрание прокламаций и речей против Бонапарта. Фосколо поднял против него всю карбонарскую Италию.

Фердинанд Паер, приехавший в Венецию, так и не смог выехать оттуда в течение всех этих бурных месяцев. А его друг Уго Фосколо начал скитальческую жизнь и все свои дни посвятил борьбе с Бонапартом.

Встречая утреннюю зарю звуками скрипки, Никколо только поздно вечером клал смычок.

Отец с настойчивой грубостью требовал денег. С той же просьбой обращалась мать, когда муж Лукреции проигрывал в карты слишком много.

Чтобы откупиться, Паганини с вечера отдавал все деньги, какие у него были, отцу и матери. Утром он запирался в комнате, которую вытребовал для себя, и не впускал никого. Но чем больше он получал денег от концертов, тем быстрее таяли эти деньги в руках семьи.

Первое время он воздерживался и не ссорился ни с кем из домашних; не потому, что нрав его был кротким и спокойным, а потому, что никогда прежде он не испытывал такого увлечения работой, никогда не был так поглощен страстным исканием новых путей скрипичной техники: То, о чем раньше он только догадывался, то, что раньше ощупью намечал как возможное, теперь он брал как достижимое, с жадностью и порывистостью, неизвестными ему до сих пор. Он приблизился к тому состоянию упоительной дерзости поисков, той внутренней дрожи, которая всегда предвещает для ученого, для художника, для артиста момент зарождения нового открытия. В дни, когда новое столетие стучалось властно в двери старинной Европы, Паганини ощущал на себе освежающее веяние бурных ветров и весь отдавался поискам нового музыкального мира.

Он чувствовал, что ему может открыться мир неслыханный и невиданный. Он с жадностью рылся в книжных магазинах, он перечитывал горы старых и новых книг. Он тщательно изучал скрипичное мастерство и законы звука. Вместе с тем он почти судорожно схватывал суть старинной итальянской музыки, она перед ним оживляла элегические пьесы Корелли, эпiku Вивальди, сладкую лирику Пуньяни и Виотти и, наконец, чарующую фантастическую музыку авантюриста и монаха, скитальца и безумца Тартини. Все это оживало под его смычком, приобретало новый смысл и значение, словно доказывало, что неумирающее большое искусство для каждого поколения несет новые, только этого поколения достойные откровения.

Когда однажды, слишком туго натянув струну, Паганини оборвал ее, он в рассеянной поспешности натянул альтовые и виолончельные струны. Заметив ошибку, он,

вместо того чтобы ее исправить, вдруг улыбнулся той таинственной и загадочной улыбкой, которая бывает у безумцев, у алхимиков, у ученых, открывающих после долгих поисков новое сочетание свойств в старых давно известных веществах. Паганини решил испытать новые струны, и скрипка заиграла неизмеримо разнообразней и богаче.

С этого дня испытания скрипки продолжались без конца.

И, однако, пришлось такие усиленные занятия внезапно приостановить.

Отец и мать стали жить слишком широко в надежде на заработки сына.

Готовить большие концерты! Не к этому стремился Паганини. Оплачивать проигрыши шурина и биржевые спекуляции отца деньгами, получаемыми за выступления, вдруг показалось молодому скрипачу до того унижительным и опасным, что он стал выискивать повод к разрыву. Повод нашелся.

Прошли слухи, что город Лукка готовился к праздничной встрече нового столетия. Празднества начнутся в день святого Мартина и продлятся до 1 января.

Вот прекрасный предлог! С этого дня начались разговоры о Лукке в семье Паганини. Как бы нечаянно друзья сообщали, что в Лукку съедутся музыканты всего мира, что будет ярмарка, откроются громадные торги и что в это время Никколо может много заработать концертами именно в Лукке.

Ввиду того, что Никколо настойчиво твердил только о своей поездке, отец боязливо прислушивался к этим разговорам.

— Вы будете мною довольны,— говорил сын отцу.

Отец вставал из-за стола, ронял тарелки на пол и бокалы с вином.

Но сын был упорен, и для старика каждый следующий день не приносил ничего нового. Ноябрь месяц быстро приближался. День святого Мартина стал сниться Никколо. Скрипач решил пойти на сделку со старшим братом. План удался блестяще. При условии передачи всех денег старшему брату, который должен был выступать в качестве импресарио, отец согласился отпустить Никколо в город Лукку на праздник нового века.

Глава тринадцатая
CARMEN SAECULARE

Белесоватая каменная дорога была сплошь покрыта экипажами и пешеходами. Ломбардские паломники, празднующиеся туристы, любители развлечений и многочисленные представители разных ярмарочных профессий, законных и незаконных, кто пешком, кто на осле, кто в многоместном экипаже, направлялись по пути в Лукку.

Если для одних это была ярмарка в день святого Мартина, а для других — празднование наступления нового века, то для Паганини к этим двум праздникам присоединялся праздник собственный свободы, праздник полного освобождения от ига отца. Голова кружилась, билось сердце, и если ничего не было сказано отцу, то самому себе была дана клятва во что бы то ни стало не возвращаться домой никогда. Побег был решен, окончательный разрыв с семьей внутренне осознан.

С одной стороны, тут были минуты тревоги неокрепшего отроческого сознания юного человека, горящего любопытством к жизни, с другой — было стремление большого, вполне созревшего артиста к освобождению от той коммерческой сделки с искусством, на которую влекла его своекорыстная воля отца. Все сильнее и сильнее чувствовал Паганини невозможность под родным кровом расширять свой музыкальный кругозор. И если прежде маленький Паганини страдал от побоев, от непосильной работы, то теперь это сменилось еще более острым страданием, так как оскорбляли его отношение к музыке, его чувство артиста.

Ему давно не хватало воздуха, и не будь этого путешествия в Лукку, он бежал бы юнгой на корабле, он сделался бы поваренком в английском ресторане, он на что угодно променял бы семейные будни. В минуты конфликта с самим собой, с отцом, в минуты колебаний в выборе жизненного пути Паганини чаще всего бросал скрипку и занимался гитарой. В игре на этом инструменте он достиг высокого мастерства. Это было новое чудо виртуозной техники. Но если в скрипке он облагораживал технику и заставлял ее служить себе так, чтобы она давала возможность раскрыть всю полноту переживаний большого артиста, то гитара выполняла иное назначение: здесь он выливал новое для себя озлобление. Поэтому какой-нибудь банальный танец, сыгранный на гитаре,

превращался в сатирическую пародию, намеренно вульгаризованную пальцами Паганини. И чем меньше люди понимали пародийный стиль молодого гитариста, тем больше злорадствовал Паганини. Гитара все чаще и чаще становилась для него средством издевательства над своим душевным состоянием, из которого он не находил выхода,—издевательства над людьми, которым он мстил за охватывавшее его временами недоверие к своему духовному подвигу.

Скрипка и маленький дорожный мешок. Ветер, солнце и пыль. Что может быть лучше ощущения полной свободы, когда вся жизнь впереди!

Праздники итальянских городов—едва ли не самое очаровательное зрелище в мире. Все население принимает в них участие. По воскресеньям итальянские улицы объединяются в общем веселье. Устраиваются процессии, толпы идут с оркестром, нечаянно и внезапно образовавшимся из группы соседей, владеющих разными инструментами. Идут мужчины, женщины, дети, украшенные лентами и цветами, иные—с благопристойным пением, иные—с хлопушками, с фейерверками. Крики звучат тем громче, чем южнее город. В Неаполе сотни хлопушек надевают на огромную металлическую раму, и усталый путник, приехавший в этот день и заснувший в гостинице, бывает разбужен громом и стрельбой и вскакивает, с недоумением открывая жалюзи, думая, что в городе восстание и канонада свергает представителей старой власти. В Венеции—серенады, на каналах лодки с цветными фонариками, певцы и певицы, танцы на берегу и прогулки в море. Все это всегда сопровождается непременно спутницей итальянской радости—музыкой.

Директор Луккской капеллы был предупрежден письмом Паера, и Лукка приняла Паганини хорошо. Первое выступление было приурочено к ночной праздничной процессии, вечером второго дня он снова давал концерт. Это был полный успех молодого скрипача. После концерта был устроен вечер в магистрате, и столько было выпито вина с неожиданными и незнакомыми друзьями, что Паганини не помнил, как попал в гостиницу. Это была не та гостиница, где он остановился, но такая мелочь не смутила музыканта: все равно.

Вечером—новый концерт. Первый раз Паганини не готовился к концерту. Он вышел на эстраду с непонятным чувством победной уверенности, и это чувство было

похоже на огонь, пробегающий по жилам новобранца, вдруг, после первых колебаний, бросившегося в атаку.

Под обстрелом сотен глаз Паганини поднял смычок. Мелодии ушедшего столетия, мелодии Люлли и Рамо, чарующие такты менуэтов и гавота сменялись звуками охотничьего рога. Торжественное звучание церковных колоколов, похоронные песни и голоса гневных псалмов постепенно уступали место вторгающимся нечаянно стеклянным перезвонам колокольчиков. Раздавалась музыка того странного десятилетия, когда в церковные хоралы вливались звуки веселых и непристойных танцев. Колокольный звон благословения переходил в набат, набат сменялся простыми солдатскими и крестьянскими песнями Франции. Опять «Dies irae»¹, и, как из пропасти, раздаются глухие удары, топот конницы и вой бури врезаются в зал, наполненный праздничной, нарядной толпой. Все ускоряя всплески аккордов, Паганини рисует звуками, музыкальным вихрем колоссальную картину событий, потрясающих Европу. В финальных тактах раздаются звуки итальянской «Карманьолы» и «Марсельезы». Это была поступь нового столетия. Это была «Юбилейная песня».

Когда прошла неделя святого Мартина, миновали праздники, были выметены затоптанные букеты, конфетти, серпантин и обрывки лент, за опьянением первой недели свободы наступило отрезвление. Возникло стремление осмыслить пройденный путь. Но это стремление не увенчалось успехом. Строй, лад, ритм в музыке и в жизни — все казалось подчиненным какому-то целесообразному большому закону, управляющему всеми явлениями в мире. Паганини подходил к этому наивно, с бережливостью неопита и застенчивостью неопытного мыслителя. Он совершенно отчетливо ощущал, почти осязал значение самого себя как существа, воплощающего музыку. Паганини чувствовал себя современником нового века.

Он воспринимал всю церковную музыку как нечто враждебное тем звукам, форма которых звучала для него в «Карманьоле» и «Марсельезе». Огонь новой эпохи, пожары восстаний, их уничтожающее пламя, вихрем набегавшее на образы старого мира, — все это враждовало со спокойными церковными напевами, с гимнами католи-

¹ «День гнева» (лат.) — церковное песнопение.

ческой церкви, с тем музыкальным предписанием смирения и покорности, которое было похоже на укрощение человеческого зверинца мелодиями Орфея.

Паганини любил сыпать в стакан горячей воды полные ложки соли. Он смотрел затем, как маленький сухой кристаллик, брошенный в этот перенасыщенный раствор, мгновенно вызывает бурную кристаллизацию в тяжелой, не имевшей самостоятельной формы, массе.

Паганини усматривал в этом процессе, преобразующем мертвое вещество, те же самые явления, какие он наблюдал в концертном зале, когда раздробленные, бесформенные части человеческого сознания и воли вдруг кристаллизуются и приобретают необыкновенную стройность под влиянием музыки. Он улавливал раздражение, являющееся результатом дерзкого сочетания необычных аккордов и звуков, когда человек старается освободиться от внезапно налетающих чувств и не может, потому что дерзновенное сочетание звуков и чувств облечено в такую гармоническую форму, которая неотступно преследует человеческое сознание. И тот, кто услышал это сочетание звуков, оказывается им поработанным, хотя знает о запретности этого сочетания.

Засыпая после концертов, Паганини просыпался внезапно как бы в бреду или в лихорадке. Ему казалось, что музыка должна перестроить весь мир вещей и строй человеческих отношений. Но какая это должна быть музыка? В поисках этой музыки он чувствовал себя все более и более утомленным, а впечатления Лукки усиливали это утомление.

Паганини устремился к другой игре. Зеленые столы, куски мела, таблички из слоновой кости, свинцовый карандаш, лопаточка крупье и горсти червонцев — все это заставило бросить скрипку надолго. Все это изменило дни и ночи, часы и минуты, мысли и чувства Паганини.

Под утро, с распухшими веками, с пожелтевшим лицом, с большими синими кругами под глазами, юноша выходил из игорного дома. Усталый, заспанный лакей подавал ему шляпу и трость. Сырой туман встречал его на пустынных улицах Лукки. Торговец овощами презрительно глядел в его сторону, девушки ночной профессии окликали его насмешливыми голосами и предлагали пройти с ними целую школу удовольствий. Паганини был утомлен и проигрышем и усиленным прохождением курса этой школы. У него появилось то отвращение к жизни,

которое раньше было незнакомо мальчику, изнуренному только тяжелой работой, только той растратой сил, в которой он *сам* не был виновен.

Как *это все* случилось, Паганини не помнил. Он поклялся, что никогда *этого* не забудет и никогда *это* не повторится. Он лежал в ливорнском госпитале. Давно ли он был в Ливорно? Как он попал в Ливорно?

Его окружают люди в больничных халатах, доктор в красной шапочке, с молоточком и со стетоскопом в руках. Паганини слышит: «...был бред».

«Быть может, *все это*—только страшный сон,—думает он.—Лучше никому не говорить *об этом*».

Что он вспомнил? Крик женщины и зарезанного ребенка!.. Идиотическую болтовню пьяных людей у костра. Темный овраг, огромные деревья где-то очень высоко. Он словно на дне колодца. Люди за кустами у костра. Страшные лица, гримасы пьяного хохота. И вот человек с огромной бородой, с синим носом, с воспаленными веками держит в руках его скрипку и словно перепиливает ее смычком. Отвратительные, чудовищные, жалкие звуки. Потом опять бессознательное состояние.

— ...Да, вспомнил!—вдруг громко произнес Паганини. Он скинул одеяло и сел на постели.

Последний концерт он давал в Ливорно.

И, как бы отвечая ему в тон, доктор сказал:

— Да, я был на вашем концерте. А после концерта, на следующий день, вас нашли неподалеку от южных ливорнских ворот. Вас ограбили начисто, очевидно: у вас не было даже вашей скрипки. Вы метались в сильном жару, а теперь, чтобы выздороветь, вам необходим полный покой.

— Сколько времени я здесь, в Ливорно?—тревожно спросил Паганини.

— Не могу вам сказать. На моем попечении вы три дня. За это время дважды к вам приходил господин Ливрон.

— Не знаю его,—сказал Паганини.

— Вот как! Это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата.

— Зачем я ему нужен?

— Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично,—заметил доктор, недоверчиво глядя на Паганини.

К вечеру действительно пришел высокий, весьма благообразный человек и попросил разрешения говорить с синьором Паганини. Осторожно, в очень деликатной форме, Ливрон просил синьора Паганини «оказать ему высокую честь», испытать достоинства скрипки Гварнери, принадлежащей ему, Ливрону. Паганини не знал, что ответить, но быстро нашелся, поблагодарил Ливрона и сказал, что надеется испытать эту скрипку в первом концерте, который даст по выздоровлении.

Познакомившись ближе с господином Ливроном, Паганини переехал к нему. Член ливорнского магистрата оказался весьма гостеприимным хозяином. Он предоставил в полное распоряжение музыканта комнаты, настолько спокойные и удобные для работы, и сам так мало напоминал гостю о своем существовании, что Паганини чувствовал огромную благодарность к этому человеку. Но все эти дни были наполнены для Паганини тревогой, отравлены непонятной встречей с той страшной половиной жизни, которая существует бок о бок с обычными, светлыми и ясными днями человеческого сознания. Теперь, во время игры, Паганини чувствовал необходимость сорвать голубую пелену с черного, нависающего над миром неба. Он говорил себе, что кошмар за воротами города раскрыл для него незнакомый ему доселе ужас.

Это чувство прорывалось у него потоком демонических, разорванных, уничтожающих друг друга мелодий. Он видел, как дрожь пробегает по рядам концертной залы, когда эти ноющие, меланхолические и страшные звуки врываются в кантилену. Он видел страдание на человеческих лицах, он чувствовал мольбу о прекращении этих страданий. Он наблюдал то неосознанное чувство самосохранения, которое вдруг заставляет человека мгновенно накинуть покрывало на тайну смерти, тайну несчастья, тайну уничтожения и страдания. И Паганини чувствовал себя на огромной высоте, когда ему удавалось касаться этого покрова лишь настолько, чтобы придать ему, этому покрову, этому миру благополучия, спасительное значение реальности, гораздо большей, чем реальность человеческих мук и страданий. Жизнь торжествовала над этим случайно приоткрытым, страшным и близким миром.

Скрипка Гварнери была настолько звучным, настолько послушным инструментом, что она вполне заменяла ему

прежнюю. Он помнил эту скрипку по литомонографии, виденной у графа Козио. Она значилась под номером триста и называлась «Гварнери дель Джезу».

После концерта Паганини, рассыпаясь в похвалах этому инструменту, бережно вручил его Ливрону, пришедшему за кулисы. Ливрон покачал головой.

— Не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный Паганини,— произнес он, очевидно, давно приготовленную фразу.

Мечта Паганини осуществилась — «Дель Джезу» принадлежала ему.

Широкая, с эфами, слегка выщербленными временем, с потеками полустертого лака, с квадратным надрезом на верхней деке над левым эфом, эта скрипка носила следы принадлежности многим владельцам. Но ее звуки поражали Паганини.

— Это звуки самой природы, это живые голоса! — восторгался он.

На третий день после первого концерта Паганини сделал опыт. Он натянул на эту скрипку виолончельные струны и дал заказ мастерской Рокеджани из двух смычков Турта сделать смычок необыкновенной длины.

— Козио,— говорил Паганини,— с ужасом относится к надвигающемуся времени, а я его приветствую. Я с ужасом отношусь к тому прошлому, которое вторгается в нынешний день, но я прав, натягивая новые струны на старинную скрипку и незаконно удлиняя смычок великого мастера Турта. Во Франции новые люди открывают новые законы устройства человеческого общества. Кто запретит человеку открывать новые свойства в мире звуков? Вот виолончельные струны на скрипке открывают бесчисленные возможности и увеличивают диапазон, а удлинение смычка — такая простая вещь — наилучшее средство дать звук необходимой протяженности.

Как-то случилось, что никто не заметил внешних перемен в инструменте синьора Паганини. Четыре концерта прошли блестяще. Это был успех, какого Паганини не мог ожидать, фанатическое ликование огромной массы людей.

И, однако, Паганини ждал беды. Самый успех концертов был преодолением того сопротивления, той враждебной настроенности, которые все чаще ощущались музыкантом. Огромное количество сплетен ходило по городу. Они доползали до слуха Паганини.

«Паганини проиграл скрипку в карты и потому не дает концерта. Паганини заразился дурной болезнью, потому он лежит в госпитале». Толстый каноник соборной церкви говорил купцам, собравшимся на крещение новорожденного в семье ливорнского портового маклера:

— Я знаю этого скрипача. Это дьявольская скрипка, это проклятые богом звуки, это нечистая музыка, которую не должны слушать верные сыны церкви.

На седьмой концерт съехались музыканты со всех концов Северной Италии. Одни слушали Паганини с ненавистью и завистью, другие — с религиозным благоговением и энтузиазмом. Сливаясь, их голоса возглашали ему неслыханную славу.

В это время Паганини впервые пришлось узнать, что такое анонимные письма.

Ему прислали по почте пасквиль, в котором называли его исчадием дьявола, грозили ему вечными муками, издевались над ним, говоря, что он натянул воловьих жилы на скрипку, украденную у купца Ливрона, и что стыдно итальянскому скрипачу в почтенном концертном зале честного города шарлатанить и издеваться над публикой, играя смычком, равным по длине мосту через реку Арно.

В одном анонимном письме автор усердно расхваливал свой рогатый скот, как наиболее жилистый, и предлагал Паганини купить целое стадо волов для изготовления струн. Письмо кончалось выражением уверенности, что самая большая, самая рогатая скотина есть сам скрипач Паганини.

Другое письмо, по-видимому согласованное с первым, предлагало самые высокие деревья ливорнского парка для изготовления смычка. К письму был приложен рисунок, изображавший артель Паганини: Паганини руками и ногами давит на струны, в то время как десять здоровенных молодцов на каждом конце смычка тянут этот необычной длины инструмент, как пилу на лесопилке.

Первые щипки и укусы не произвели на Паганини никакого впечатления.

— Я становлюсь знаменит, — говорит он Ливрону, — а если так, то по пятам за мной будут бегать собаки и кусать за пятки.

Ливрон, которому Паганини показал эти письма, качал головой с выражением досады и недоумения.

Венеция была отдана Австрии, а в 1798 году римский папа внезапно оказался лишенным светской власти. Из старой Романьи была выкроена Римская республика. 15 декабря 1798 года Рим был занят французами. Не выступая против Франции открыто, римская церковь, в лице сотен тысяч попов, начала свою деятельность тайно и придала ей характер широкого народного движения. Как только попы увидели, что французская армия намеревается посягнуть на благосостояние церкви, так по всем церквям статуи и изображения святых, богоматери и Христа стали источать слезы. В Риме Христос, полагаемый в плащаницу, за ночь раскрыл глаза и смотрел широкими зрачками на бесчинства французской армии. По городу двигались процессии босых людей, намеренно одетых в рубища. Как искры, пробегали в толпе слухи о том, что какая-то статуя дважды открывала глаза и гневно искажила свой лик. На площади Поларола икона мадонны делье Сапонаро стала «источать молоко». Этим молоком налили двести лампад, которые «зажглись сами собой». Священники в облачениях, орарях и ризах за недорогую плату окунали четки, приносимые простонародьем, в эту маслянистую беловатую жидкость.

Однако находилась молодежь, которая шла во французскую национальную гвардию, и в день празднования федерации было немало людей, нарядившихся в античные костюмы и с венками на головах прошедших в республиканской процессии, чтобы потом на площади святого Петра принять участие в большом торжественном обеде, где римское население брательсь с французской гвардией. Были пущены слухи о том, что этот «праздник привлек тысячи демонов, которые отмстят нечестивому Риму за участие в празднике федерации».

И вот, когда римской курии казалось, что новое столетие принесет для римской церкви неисчислимые беды, все изменилось.

Бонапарт чувствовал необходимость замирения с римским папой. Но в это время умер Пий VI. Рим был занят, но заключать какое бы то ни было соглашение было не с кем. Тайком, в чужих одеждах, пробравшись по северным дорогам, кардиналы римской апостольской курии собрались в Санто-Джорджо, близ Венеции, под крылом австрийских жандармов, и тринадцатого числа

третьего месяца нового столетия собрали тайный конклав и приступили к избранию нового папы. Так возник Пий VII, первоначально в роли активного врага Франции.

Однако Пий XII решился на все, для того чтобы удержать могущество римской церкви. Потеря Франции очень чувствительно пошатнула доходы римской церкви. Он признал отчуждение духовных имений. Это стоило ему четырехсот миллионов франков. Он согласился на новую организацию французского духовенства, с тем чтобы правительство имело право назначать на должности и платить жалованье; он выговорил себе только одну уступку — римскому папе по-прежнему предоставлялось право канонического утверждения.

Расчет был верен: личный состав католической армии папы решал огромное большинство вопросов. Римская церковь могла торжествовать победу в том отношении, что во Франции она считалась церковью государственной. И в 1802 году, без всякого торжества, ночью, выехал в Париж римский кардинал, который вез с собой подписанный папой Пием VII конкордат, соглашение между французским республиканским генералом и римским первосвященником, в силу которого воспитание огромной массы французского населения снова отдавалось в руки католической церкви, а католическая церковь из врага, изрыгающего проклятия на голову французского командования, превращалась в друга и союзника.

Так, начав с прокламаций, объявляющих отмену религии, равенство и братство во всей Италии, Наполеон кончил отдачей Франции в руки католической церкви. Оба невольные друга, Пий VII и генерал Бонапарт, чувствовали себя несколько неловко.

Слушая унылый звон *Nôtre-Dame de Paris*¹, соратники Бонапарта спрашивали, стоило ли вешать столько попов на парижских фонарях, для того чтобы снова пустить этого козла в огород. Бывший революционный генерал, мечтавший теперь о том дне, когда глава католической церкви возложит корону на его голову, ответил насмешливо, что водворение католических попов в Париже и по французским селам и деревням не делает обязательным культ католической церкви для него, Бонапарта, и для его генералов.

¹ Собор Парижской богородицы (*фр.*).

Следующим шагом Бонапарта было предложение папе избрать столицей католического мира Париж или Авиньон.

На это папа Пий VII ответил, что в городе Палермо уже заготовлена грамота с отречением от папства, и эта грамота аннулирует все договоры с Францией, если папа Пий VII будет задержан французами по дороге в Рим. В тот же вечер римский папа принял адмирала английской эскадры, который обещал ему всяческое содействие в случае необходимости побега.

Католическая церковь становилась орудием в руках недавних врагов. Англичане хотели использовать вражду римского папы и Франции, ненавидя Бонапарта и стремясь всяческими средствами парализовать все его начинания на территории Апеннинского полуострова. Католическая церковь снова чувствовала себя господствующей властью в Италии.

Ливрон, у которого жил Паганини, был французом, и французские симпатии Паганини сближали гостя с хозяином. Но Паганини сделал неосторожный шаг. Не посоветовавшись с другом, он ответил на приглашение английского консула в Ливорно и провел у него целый вечер. Он играл у английского консула на скрипке, подаренной Ливроном, он воспользовался предложением английского консула и командования английской эскадры и согласился на организацию огромного концерта в Ливорно, написав для него обширную программу. После этого неизбежной была ссора с Ливроном. Ливрон дал понять, что его тяготит присутствие Паганини. Скрипач в тот же день переехал в гостиницу «Черного коня».

Наступил день концерта. Огромное количество публики наполнило зал и коридоры ливорнского театра. Почетный караул английских моряков стоял у входа, сдерживая натиск толпы.

Однако, несмотря на огромное скопление публики, нетерпеливо ожидавшей начала, синьор Паганини отсутствовал.

Незадолго до начала концерта Паганини обнаружил, что ботфорты, выставленные за дверь номера, исчезли. На звонок сонетки, на крики никто не отзывался. Пьяные лакей и привратники спали на лавке при входе в гостиницу. В комнатных туфлях пошел Паганини через улицу в магазин обуви и вдруг заметил, что за ним следят. Два человека не спускали с него глаз.

Мальчишки, бегавшие по улице, громко выкрикивали его фамилию. Вокруг Паганини быстро выросла толпа. Его узнали, его разглядывали с удивлением. Смотрели на его мягкие туфли, на штрипки, на чулки. Раздались свистки, в него швырнули камнем. К счастью, Паганини уже добрался до магазина.

Приказчик предложил Паганини примерить ботфорты. Они очень жали. Десять минут осталось до начала концерта. Паганини попросил дать другую пару. Приказчик отрицательно покачал головой. Единственная пара предлагалась синьору Паганини. Это имя приказчик произнес не то с насмешкой, не то с неуклюжим выражением низкопоклонства.

Бросив деньги на прилавок, Паганини, с ботфортами в руках, вышел из магазина. Опять началась попытка преследования. У входа в магазин дожидалась толпа. Зеваки, заглядывающие прямо в глаза, мальчишки, обгоняющие его и дергающие за ботфорты,— все это провожало его до гостиницы.

В концертном зале публика громко выражала свое нетерпение. Никогда Паганини так не опаздывал.

Свист и рукоплескания раздались одновременно, когда Паганини, отпустив веттурино, соскочил с подножки и быстро побежал по лестнице. Вот Паганини ступил на верхнюю площадку и вдруг почувствовал, что в левом сапоге — острый гвоздь. Неужели улыбка приказчика говорила о том, что обувь изготовлена с умыслом?

Чувствуя, как кровь смачивает чулок, Паганини вышел на ярко освещенную эстраду. Подходя к авансцене, Паганини вздрогнул: осколки стекла и гвозди впились ему в ногу.

Он начал концерт.

Первым номером шли вариации на тему «Карманьолы».

После этого он должен был играть с оркестром. Сидя в актерской комнате, он слушал, как шумит зал. Оркестрантов почему-то не было видно. Но вот мимо прошел высокий человек с барабаном, за ним бледный юноша с фаготом. Оба растерянно озирались по сторонам и, увидя Паганини, подошли к нему:

— Маэстро инсуперато, неужели только мы из всего оркестра?

Кровь ударила в голову Паганини: действительно, коридор, и актерская комната, и место обычного сбора

оркестрантов были пусты. Да, действительно, только фагот и барабан были на месте. А публика волновалась и ждала. Насмешливая лисья мордочка какой-то женщины появилась из-за портьеры и исчезла, в коридоре послышалось хихиканье. Паганини громко позвал:

— Импресарио!

Молчание было ответом. Второй раз, более почтительно окликнул:

— Синьор импресарио!

Никакого ответа.

Паганини бегал по коридору, из комнаты в комнату. Он слышал, как убегают на цыпочках какие-то люди, кто-то скрывался при его появлении, и всюду встречали его тишина и пустота.

Паганини коснулся ладонями лба. Нет, это не во сне.

За кулисами появился синьор английский консул с супругой и адмиралом Кейсом. Поздоровались. Обменялись короткими замечаниями. Консул вышел из комнаты. Его жена, ударяя веером по ладони, с волнением убеждала Паганини, что необходимо, невзирая на отсутствие оркестра, выступить, лишь изменив программу. Быстро вооружившись карандашом, она попросила Паганини назвать пьесы, которые он мог бы сыграть без оркестра. Поднимая указательный палец, она говорила:

— Я вполне понимаю, в чем тут дело, я вполне понимаю, кто это сделал. Это местные аматеры.

Она произнесла это слово с выражением легкого презрения, не уничтожавшего улыбки, обращенной к Паганини.

И вдруг, отодвинув портьеру, вошел человек. Приблизившись смиренной и тяжеловесной походкой, улыбаясь исподлобья, он кивнул скрипачу и протянул ему обе руки. Это был каноник Нови. Он обнял Паганини, и посыпался целый поток ласковых и милостивых слов.

— Да, у тебя сегодня неудача, но бог милостив. Да как же ты оставил семью! Да, ты знаешь, твой отец болен! Да, ты знаешь, бог наказывает дурных сыновей! Да, ты знаешь, семья в нищете! Да, ты прославленный скрипач, да, мой брат говорил...

— Ну вот, программа готова,—сказала англичанка.— Я буду все время здесь, я буду вам помогать.

— А, что... не пришел оркестр? — заговорил Нови.— Да, да, ты обидел, ты обидел многих. Нельзя же! У них свой музыкальный круг в Ливорно. Хорошие скрипачи, ты никого из них не пригласил, вот теперь кайся. Нельзя быть таким бессердечным к своему ближнему. Христос и церковь...

— Подожди! — прервал его Паганини.— Так это — сознательная гадость, так это нарочно подговорили оркестр, чтобы он сорвал концерт?!

Не дослушав Нови, он кивнул головой англичанке и, преодолевая сильную боль в ступнях, выбежал на эстраду.

Зал мгновенно затих. Вслед за этим раздался взрыв рукоплесканий. Это был громкий и грозный ответ публики на демонстрацию оркестрантов. Паганини чувствовал, что он уже победил. Но на первых тактах сонаты Тартини лопнула струна: пока скрипач искал импресарио, кто-то успел надрезать струны. Тогда Паганини внезапно перешел к вариациям на темы Тартини. Он рискнул на отчаянный прыжок. Лопнула вторая струна! Не дрогнув, не потеряв темпа, Паганини на двух струнах закончил неслыханно трудную, недавно написанную им вещь.

Карета английского консула остановилась около гостиницы «Черного коня» поздно ночью. А на следующее утро явился Гаррис, клерк английского консульства. Патрон предоставил его в полное распоряжение синьора Паганини. Гаррис должен был оказывать всяческое содействие синьору при организации концертов не только в Ливорно, но и повсюду в Италии. Это был остробородый человек маленького роста, изящно одетый, с морщинистым, очень напудренным лицом, с необыкновенной пестротой шевелюры: черные и белые пряди чередовались в странной последовательности, как на боках зебры. Усмешка, относящаяся скорее к внутренним размышлениям самого Гарриса, чем к словам собеседника, понравилась Паганини. Он просил передать благодарность английскому консулу и услуги принял.

Синьор Паганини был приглашен отобедать у консула.

В тот же день Паганини посетили восемь ливорнских скрипачей. Они начали со сбивчивых объяснений, уверяли, что они были введены в заблуждение целым рядом писем, в которых «участники ливорнского театрального

оркестра обращались к ним за советом». Они говорили быстро и перебивая друг друга, но так и не дали сколько-нибудь осязательного доказательства своей невиновности. Только один из них очень мрачно заявил, что они привыкли уважать традиции старого скрипичного искусства и боялись, как бы такой молодой скрипач, как Паганини, не скомпрометировал игры на скрипке и не испортил вкуса здешней публики.

Паганини почувствовал, что он никогда не будет в состоянии преодолеть глухое и тайное враждебное сопротивление этих своих «ливорнских друзей».

Наконец его вниманию было предложено коллективное заявление оркестра, говорящее о том, что только на условиях вполне определенного — и, как увидел Паганини, совершенно непосильного для него — гонорара ливорнский оркестр соглашается брать на себя устройство следующих концертов. Ему было заявлено, что оркестр в Ливорно обычно насчитывает в своем составе сто двадцать человек, а к следующему выступлению должен быть увеличен на сорок семь единиц. На этом Паганини перебил их и сказал, что он подумает, прежде чем дать согласие, но во всяком случае ему самому лучше известно, какой состав оркестра нужен для следующих концертов.

С любезными фразами и приятными улыбками скрипачи откланялись.

Ответного визита Паганини не сделал. Он не вступил с жизнью в сделку. Ньекко, Паер, Гиретти всегда внушали ему преклонение перед высоким авторитетом искусства, свободного от расчетов. Этому помогала молодость.

И вот люди, никогда особенно не интересовавшиеся делами церкви, сделались чрезвычайно благочестивыми.

Паганини ничего об этом не знал. Он не замечал шуршания двуногих крыс в соседних номерах гостиницы «Черного коня», он не чувствовал, что воздух отравлен клеветой и завистью, он не видел, что десятки глаз следят за каждым его шагом из-под портьер, из-за занавесок, сквозь стекла окон.

Гаррис сделал доклад своему патрону о судьбе Паганини. Афиши возвестили о трех концертах подряд.

Но первый концерт не смог состояться из-за того, что в этот день были объявлены похороны супруги ливорнского префекта.

На следующий день, когда Паганини вместе с Гаррисом подъехал к театру, он застал дверь запертой.

Огромная афиша уведомляла публику, что концерты, назначенные на последующие дни, отменяются.

— Кто это сделал? — воскликнул Паганини.

Гаррис пожимал плечами.

Не добившись нигде толку, Паганини вернулся в гостиницу. Через час приехал Гаррис. Его удивлению не было границ. Разводя руками, он вбежал по лестнице и молча вручил Паганини письмо. Письмо было от имени самого Паганини, он заявлял, что по болезни не будет давать концертов и собирается уехать из Ливорно. Письмо было адресовано на имя капельмейстера ливорнского театра, синьора Бальди, и подписано со всей изысканностью обращения самим синьором Никколо Паганини.

— Я теряюсь в догадках, — сказал наконец Гаррис, — с кем вы поссорились.

— Не может ли господин консул... — начал было Паганини, но остановился, видя, что Гаррис качает головой.

— Господин консул решил не вмешиваться больше в это, у него сейчас в руках дело о последствиях римской резни.

— Что такое? — спросил Паганини.

— Видите ли, — начал Гаррис издали, — во время пребывания генерала Массена в Риме в прошлом году, когда французы вели себя как разбойники, были нанесены оскорбления не только папе, у которого французский адъютант сорвал перстень, не только области, с которой были собраны пятнадцать миллионов золотом контрибуции, но французские солдаты и офицеры целыми улицами выселяли жителей, выгоняли женщин в одном белье из квартир, грабили и убивали. Вам известна причина смерти папы Пия Шестого?

Паганини наклонил голову.

— Вы знаете также, что наш славный адмирал Нельсон разбил французский флот, вы знаете также, что кардинал Фабрицио Руффо со своей армией веры сумел заставить население позабыть о жестокости французских солдат, вы знаете, что сейчас действует римская инквизиция. Так вот, вчера в Ливорно прибыли английские граждане, принятые инквизицией за французов, и господина консулу по горло дел. Нам придется подождать несколько дней.

Вскоре Гаррис получил возможность вновь обратить внимание консула на дела Паганини. Было рассказано все, вплоть до последней истории с письмом. Гаррис подробно описывал состояние Паганини. В комнате беспорядок. Скрипки, и даже драгоценная скрипка Гварнери, остаются в незапертом номере, когда Паганини уходит. Часы, кольца, золотые цепочки — все это остается без всякого надзора. Юноша живет в каком-то лихорадочном возбуждении, исписывает огромные листы нотной бумаги и, по-видимому, не чувствует той обстановки, которая его окружает: он, по-видимому, не видит тех туч, которые собираются над его головой.

Эсквайр Сидней зевнул, выслушав этот рассказ, поднялся, захватил перчатки со стола и, уходя, молча вручил Гаррису краткое донесение одного из агентов.

Секретный кабинет английского короля интересовался решительно всем, что происходило в итальянских городах, и консулы, помимо прямой обязанности защищать великобританских граждан, выполняли тысячу весьма сложных поручений, результаты которых обсуждались потом за большим столом сен-джемского кабинета. Из отдельных отрывков составлялась полная политическая карта Италии, в которой были особо отмечены «Очаги, зараженные французским якобинством и ядом бонапартовского влияния».

Гаррис прочел короткое сообщение о том, что в течение ближайшей недели свечи не будут отпущены ни для одного большого зала в городе Ливорно, если в этих залах будет выступать скрипач Паганини.

Гаррис вздрогнул. Видимо, Паганини растревожил какого-то очень серьезного врага.

Проходил день за днем. В гостинице «Черного коня» были исписаны новые тетради нотной бумаги. Возникли три новые пьесы. Это были его первые каприччио. За это время пришлось продать часы, цепочки и кольца. Хозяин гостиницы получил по счетам. Некоторая сумма была отправлена через ливорнский банк в город Геную, синьоре Терезе Паганини. Паганини беззаботно рассчитывал на то, что следующие концерты поправят его денежные дела. Но время шло, а синьору Гаррису все не удавалось добиться чего-нибудь определенного. У Паганини осталось всего тридцать франков.

В тот день, когда обнаружилось, что затронут основной капитал в тридцать франков, Паганини впервые почувствовал, что попал в затруднительное положение. Без концерта в Ливорно он не мог выехать никуда. Мальпост до ближайшего города стоил двадцать семь лир. Не идти же ему с инструментами и нотами, со всем багажом, пешком по горным дорогам. Денег оставалось самое большое на два дня. А дальше — счета в гостинице, счета в ресторане, счета прачки. Чувство страшной неловкости при мысли о разговоре с Гаррисом на эту тему отнимало у него какую бы то ни было возможность обратиться за помощью к консулу. Да к тому же Гаррис исчез. Идти к консулу или к Ливрону, самому заговорить о двухстах франках было просто невозможно. Разложив стопками чентезими и сольди, Паганини точно рассчитал, сколько нужно тратить на обед, на кофе, на ужин.

Наконец осталось три франка.

На вершине славы Паганини чувствовал себя глубоко несчастным и завидовал убогим нищим, которые могут просить милостыню. Он, победитель ливорнских музыкантов, не мог попросить пятифранковой монеты без того, чтобы не вызвать улыбки презрения у человека, рукоплескавшего ему в лихорадочном восторге на концерте.

И как нарочно, в один из тех часов, когда Паганини, раздумывая о своем невеселом положении, шагал из угла в угол по неубранной комнате, явился к нему человек, посланный князем Боргезе. Племянник кардинала желал купить знаменитую скрипку «Дель Джезу».

Юноша горько усмехнулся:

— Скажите князю, что я не торговец скрипками.

— О, что вы, синьор Паганини! — подняв руки, взмолился секретарь. Но потом, хитро улыбаясь, снова повел настойчивую атаку: — Но, синьор, вам будет обеспечена возможность прожить многие годы, не заботясь о заработке.

— Итак, вы думаете, — грубо оборвал его Паганини, — что ваш князь даст мне полмиллиона франков?

— Полмиллиона? — удивленно переспросил тихим голосом секретарь. — Эччеленца дает вам две тысячи франков.

На следующее утро консул, недовольно поморщив-

шись, протянул Гаррису ливорнскую газету. На первой странице траурной каймой была выделена заметка о том, что синьор Паганини продает свою скрипку, но пришедший по объявлению покупатель был поражен его жадностью: очевидно, дела синьора Паганини чрезвычайно плохи.

Не теряя времени, на следующий же день Гаррис, веселый и смеющийся, улыбаясь всеми морщинами своего не по возрасту старческого лица, пригласил Паганини быть его спутником до города Лукки. Паганини, комически разведя руками, возразил:

— Дорогой Гаррис, у меня в Ливорно долги.

— О, не беспокойтесь!—сказал Гаррис.—Только не откажите мне в дружеской просьбе, поедemте в Лукку. А через два дня вернемся обратно.

— Нет, только не обратно!—закричал Паганини.—Что я буду делать в Ливорно?

— Побеждать,—ответил Гаррис с такой спокойной уверенностью в голосе, что Паганини дружески протянул ему обе руки.

Лукка сразу поправила дела.

Концерты Паганини следовали один за другим через каждые три дня.

Во время одного из этих концертов за кулисы пришли Ньекко и его молодая жена, в которой Паганини сразу узнал девушку, встреченную когда-то у синьора Ньекко. Был праздник «святого креста», и, воспользовавшись праздником, Ньекко и его друг Пазини вместе с оркестром и луккской капеллой устроили Паганини торжественную встречу. Паганини сам говорил, что это было одновременно и экзаменом и триумфом. Синьор Ньекко выступил перед публикой с небольшой речью, сказав, что Паганини обладает музыкальным секретом, который они, музыканты, вполне одобряют (действительно, музыканты города Лукки вынесли одобрение тем изменениям в скрипке, которые допустил с такой дерзостью синьор Паганини: новые виолончельные струны и длинный смычок—все было одобрено), и пользуется этим своим секретом с виртуозным мастерством подлинного артиста.

Началась как будто спокойная и счастливая жизнь в Лукке. Ежедневные свидания с Ньекко и его подругой обеспечили Паганини то счастливое наполнение времени, которое необходимо артисту в часы, свободные от творческого напряжения.

Ньекко рассказывал Паганини о событиях в Венеции, о встрече с Паером, о том огромном потрясении, которое прошло по всей стране. День за днем вводил его в круг интересов карбонаризма.

Паганини охотно пошел навстречу предложению вступить в североитальянское объединение и сделаться рядовым участником подпольной работы луккской венты.

От Ньекко Паганини узнал в числе прочих новостей, что Паер написал оперу «Камилла», что он собирается ехать на север с женой, певицей Риккарди, что Ролла переехал в Милан и не нынче завтра будет дирижером миланского театра «Ла Скала».

Гаррис вернулся в Лукку. Трудно было понять Паганини, что делает его друг, но Гаррис великолепно понимал, что делает Паганини. Ньекко узнал от Гарриса о жизни Паганини в Ливорно, Гаррис сообщил ему о попытках вырвать из рук Паганини драгоценную скрипку Гварнери. Он сообщил и о другом, весьма таинственном предложении, которое не дошло до Паганини и было вовремя перехвачено его другом. В последние дни пребывания Паганини в Ливорно мистер Гаррис имел возможность убедиться, что человек, достаточно могущественный, был заинтересован в том, чтобы синьор Паганини как можно скорей уехал из Ливорно, и даже из Италии, и даже, как казалось Гаррису, исчез бы из жизни.

— Князь Боргезе,— говорил Гаррис,— первоначально соблазнял синьора Паганини предложением купить скрипку, а следующим планом его было предложить Паганини выгодный ангажемент в Петербург. Там, при дворе русского царя, некий граф Жозеф де Местр устроил бы его дела.

Ньекко хорошо знал, о каком Боргезе идет речь. Этот добродушный князь был страшным врагом французов и французской политики. Ньекко много слышал об этом человеке. Осколки огромного сосуда всевозможных ядов, именуемого обществом Иисуса, были разбросаны по Италии, и вот одним из очень крупных осколков иезуитского ордена, упраздненного папой Климентом XIV, был князь Боргезе, полный, кривоногий, веселый и добродушный человек. Ньекко знал этого старика с его обаятельным добродушием, всепрощением, чрезвычайной снисходительностью к человеческим грехам, с пристрастием к употреблению зеленых, лиловых и красных ликеров в невероятных количествах, с его проповедью большого

снисхождения к человеческим слабостям. Князь Боргезе любил говорить, обращаясь главным образом к семинаристам, что человек, допускающий культ Вакха и Венеры, всегда доступен раскаянию и божье милосердие всегда может вернуться к нему. Но человек, погрязший в гордыне трезвости, щепетильности и порядочности, является очень опасным для церкви, так как имеет склонность к свободе ума, к вольномыслию и ко всем опасным соблазнам разума. Он них все несчастья нынешнего века.

Ньекко знал, что под маской добродушия и смирения князь Боргезе, никогда не носивший никакой культовой одежды, таит в себе опасного иезуита, очень жестокого инквизитора, будучи одной из тех ищущих святой апостольской курии, которые везде проникают и все вынюхивают. По внешности спокойный, приветливый толстяк, снисходительный старый греховодник, а по внутренней сущности — достойный представитель того страшного ордена, члены которого назывались доминиканцами, по имени святого Доминика, а писали свое наименование двумя латинскими словами: *Domini canes* — собаки господ. Эти псы господни вынюхивали следы новых сынов итальянской свободы, карбонариев, и те кончали жизнь в подземных колодцах Мантуи, под свинцовой крышей венецианского Дворца дожей, под капелью сырых подвалов венецианских тюрем, расположенных уже гораздо ниже уровня дна лагун и каналов, в круглых котлах, где едва помещался сидя человек, в глухих страшных каменных ямах, которые теперь еще показывают в Замке святого ангела. Вот этот князь Боргезе чрезвычайно интересовался синьором Паганини.

Однажды Паганини, встревоженный, прибежал к синьору Ньекко и сообщил ему, что местный комиссар полиции только что был в гостинице и справлялся о том, когда синьор Паганини намерен выехать в город Геную по требованию своего отца.

— Я только что послал деньги старику, — месяца не прошло с тех пор, как моя семья получила деньги. И вот на эти деньги организованы поиски меня с полицией. Что мне делать?

Ньекко задумался.

— Ты не хочешь возвращаться в Геную?

— Ни за что в жизни!

Паганини показал Ньекко письмо, полученное в луккской полиции и оставленное для него в гостинице.

Синьор Антонио Паганини категорически приказывает сыну выехать немедленно в Геную, вернуться в отчий дом под угрозой отцовского проклятья и привлечения к суду святой инквизиции.

— Надо бежать,—сказал Паганини.—Но куда?

Синьор Ньекко с видом опытного человека сказал:

— От полиции надо скрываться туда, где она не станет тебя искать.

К вечеру синьор Паганини был в небольшом горном монастыре. При нем были документы, удостоверяющие, что он является семинаристом, преподавателем латинского языка в городе Турине, и зовут его Джузеппе Пазиэлло. Паганини вскоре заметил свою оплошность: ни слова не говоря по-латыни, он каждую минуту рисковал быть раскрытым. Но монашеская братия была сама настолько невежественна, что не обратила ровно никакого внимания на нечесаного семинариста, которому приказано было пожить некоторое время в монастыре для приведения в порядок своей совести, отягченной незначительным прегрешением, связанным с забавами Вакха и Венеры. Плохо было то, что Паганини почти забыл правила покаяния. Но самое худшее случилось с ним утром следующего дня, когда, выйдя в сад и присев на скамейку среди маслин, он заметил, как приоткрылась калитка и показалась косматая голова человека с красными веками и сизым носом. У Паганини застучали зубы и кровь застыла в жилах при воспоминании о тех минутах, когда он видел этого человека впервые. Это был бродяга, игравший на его скрипке где-то в овраге за стенами Ливорно. Этот человек отворил калитку и вошел в монастырский сад. Монастырский привратник махнул ему рукой, и оба скрылись в погребе.

Паганини всю ночь не сомкнул глаз в своей маленькой комнатке, выходившей единственным окошком — вровень с землею — на дорожку монастырского сада. Он ворочался с боку на бок и не спал. К утру молодость взяла, однако, свое. Тяжелый сон внезапно сковал веки Паганини. Проснулся внезапно, обливаясь холодным потом. Зубы у него стучали: по коридору ясно раздались тихие, неуверенные шаги, и вот за дверью стал кто-то.

Задыхаясь, Паганини схватился за ворот рубахи, ему хотелось закричать, и в то же время он чувствовал, что его сковывает полное оцепенение. В этом состоянии он проснулся. Это был сон во сне. Яркое солнце заглядывало

в келью. Первое, что пришло в голову,—взять скрипку и передать смычком, в звуках, ужас этого сна, но он вспомнил, что нет скрипки, что все имущество осталось у Ньекко, в маленьком домике при выезде из Лукки на юг.

Очевидно, было очень рано, роса еще не сошла с деревьев, и на мягкой траве в саду остались большие ярко-зеленые полосы от шагов Паганини, когда он подошел к садовому колодцу умыться. Между фруктовыми деревьями в конце сада виднелась маленькая низкая калитка, в которую вчера вошел испугавший Паганини человек. Калитка была снова открыта. Неудержимое желание бежать из монастыря внезапно охватило Паганини, и он, рискуя встретиться со сторожем или—еще хуже—с тем страшным человеком, осторожно подошел к калитке. Колебания длились секунду. Ньекко, очевидно, предупредил своих людей за монастырской оградой, и пребывание Паганини в монастыре было вполне безопасным, но все ли знал Ньекко о монастырском привратнике?

Переступив порог, тревожно оглядевшись по сторонам, Паганини с радостью увидел себя на одинокой тропинке, ведущей в горы. Он решил пойти по этой тропинке и потом без дороги свернуть на восток и выйти на большой просторный путь в Лукку. С горы он вскоре увидел белесоватую каменистую дорогу. Нагруженные ослики медленно двигались по ней. Почтовая карета, поднимая пыль, скрылась за поворотом, оглашая воздух звуками рога.

Изголодавшийся и усталый, едва волоча ноги, пришел Паганини в Лукку. Никто не обратил на него внимания, так как пыльная одежда, запыленные волосы, покрасневшие веки—все это сделало его до такой степени похожим на бродячего монаха, нищего, ничем не выделяющегося из двухсот тысяч таких же бродяг Северной Италии, что Паганини искренне подивился мастерству синьора Ньекко в маскировке тех, кому нужно было укрыться от полиции.

Паганини постучал в дверь. Огперла старуха. Ворча и ругаясь, она прогнала Паганини от двери. Паганини настойчиво снова попросил звать синьора Ньекко и успокоил ее, заявив, что не нуждается в милостыне. Послышались знакомые шаги. Ньекко, улыбаясь каким-то своим мыслям, с удивлением смотрел на нищего. Лицо его сделалось озабоченным, он взял Паганини за руку,

провел в коридор. Когда они очутились в маленькой комнате, отведенной, очевидно, для прислуги. он сказал:

— Ну, говори, в чем дело.

Паганини устало опустился на скамейку. Кружка с козьим молоком привлекла его внимание, и, не ответив Ньекко, он с жадностью стал пить.

— Боже мой, случилось что-нибудь?

— Ровно ничего. Где моя скрипка? — спросил Паганини.

— Что-нибудь одно, — ответил Ньекко, — или скрываться серьезно, или ехать в Геную. А впрочем... — тут Ньекко погладил себе ладонью лоб. — У меня есть еще один план. Оставайся у меня. Но только ты должен немедленно переодеться.

Глава пятнадцатая

ТЮЛЬПАНЫ И ГИТАРА

В день, когда полиция предложила Паганини вернуться к отцу, Ньекко не решался передать своему молодому другу письмо, присланное на имя Паганини, с приглашением провести вечер за пределами Лукки. Веселый проницательный ум синьора Франческо подсказал ему, что здесь готовится какая-то не совсем простая любовная интрига. Почерк был известен синьору Франческо. Ньекко счел необходимым ознакомиться с содержанием письма. Вот об этом письме и вспомнил он, как только увидел, что Паганини не выдержал даже одного дня в монастыре.

Ньекко нашел посланного в условленном месте и сообщил, что лошади за его молодым другом могут быть присланы в любой час. Перед наступлением вечерней зари следующего дня пара красивых вороных лошадей подъехала к дому синьора Ньекко. Паганини, расфранченный и смеющийся, махая рукою, прощался со своим другом.

Прекрасные лошади, черный лакированный экипаж. Красивая дорога, вьющаяся по горному склону, потом лес, потом опять склоны гор, и на следующем подъеме — старый, прекрасно расположенный дом. Двое слуг, любезных и предупредительных, канделябры, на столе три прибора. Каково было удивление Паганини, когда вместо почтенного седого владельца замка, которого он ожидал

увидеть, появилась черноглазая девушка лет восемнадцати и направилась прямо к тому месту, где сидел он. Через секунду к ней присоединилась женщина лет сорока пяти, отнюдь не похожая на мать или родственницу девушки. Молодая хозяйка приветствовала Паганини с той большой смелостью существа, привыкшего распоряжаться собой, которая отличала в эти годы представительниц знатных итальянских семей, рано предоставленных самим себе и в эти бурные годы оценивших всю прелесть ранней самостоятельности.

Эта черноглазая молодая женщина легкой походкой подошла к Паганини, смело посмотрела на него, не дерзко, но почти насмешливо протянула ему руку для поцелуя.

— Я слышала вас три раза,—сказала она.—Я хотела вас поблагодарить.

Потом, не представив гостю своей спутницы, она предложила им занять места. Был легкий ужин, было веселое, легкое, пенящееся вино, была та счастливая легкость в беседе, которую старые итальянцы называли *desinvoltura* — непринужденность, не переходящая границ. Но Паганини чувствовал себя неловко, прятал руки, смущенно улыбался и был взволнован.

Молодая, рано осиротевшая хозяйка, очевидно, вела свободный и открытый образ жизни. Когда убрали со стола, она села на большой, широкий диван, взяла гитару. Она хорошо пела. Голос был мягкий, но небольшой. Она хорошо играла на гитаре, но Паганини почувствовал, что она не обладает ни большим вкусом, ни пониманием музыки.

Самое странное для Паганини во всем этом вечере было то, что эта девушка—или молодая женщина—ни разу не спросила его о нем самом. Она очень много говорила о себе, о своем обширном поместье. Когда она смотрела на Паганини, глаза ее загорались, и яркий, неожиданно вспыхивающий румянец выдавал бесповоротную решимость отдаться охватившему ее чувству. Та легкость, с какой она овладела вниманием взволнованного Паганини, та простота, с которой она, даже не думая об этом, как будто это было вполне естественно, завладела его временем, то обращение, которое возможно было, по мнению Паганини, только после длительного знакомства,—все это вначале вызывало в Паганини большое удивление, но удивление не неприятное,—наоборот, он

сам охотно, не без порывистости, шел навстречу желаниям хозяйки. Он делал вид, что ничуть не смущен этой непривычной для него непринужденностью обращения.

Паганини привык к приглашениям на концерты в кругу небольшого количества друзей какой-либо знатной и богатой семьи. Здесь этого не было, здесь не было намека на приглашение с оплатой, это не было похоже на «наем» знаменитого скрипача богатым человеком на целый вечер. Какова была природа увлечения этой женщины, Паганини не мог разгадать, в то же время эта луккская аристократка не производила впечатления женщины, ищущей легкой связи.

Спутница молодой красавицы тихо и незаметно исчезла из комнаты. Хозяйка встала, взяла с этажерки коробочку из красного сафьяна и, достав оттуда записку, внимательно прочитала ее и положила обратно. Потом вдруг, обращаясь к Паганини и прерывая начатую беседу, произнесла как бы в забытьи:

— Уже поздно. Синьор Ньекко пишет, что вам опасно оставаться в Лукке. Я не спрашивала вас ни о чем, потому что я не любопытна. А потом—к чему вас спрашивать, когда судьба ваша уже решена.

Брови ее сдвинулись, на лице появилось выражение гнева, как будто, произнося эти фразы, женщина хотела побороть свою беспомощность. Паганини смотрел и слушал с удивлением, все больше и больше возраставшим. И выражение лица, и построение фраз—все свидетельствовало о том, что его собеседница не теряет рассудка ни на мгновение, а *спокойствие*, с которым она произносила самые *беспокойные* фразы, и та уверенность, с которой она обращалась к Паганини, были полны для молодого музыканта загадочности, словно они говорили о какой-то странной обреченности этой женщины. На мгновение ему показалось, что все действительно давным-давно решено и что эта женщина—исполнительница какой-то чужой воли, которой она сама не знает. Ему казалось, что это состояние зачарованности, это сомнамбулическое внушение себе какого-то чувства должно прерваться, и он уже боялся этой минуты.

С каждой улыбкой, каждой новой фразой обаяние этой женщины становилось все неотразимее.

— Я думала, что вы поживете у меня три дня, но так как вам нельзя возвращаться в Лукку...—женщина остановилась, причем не было и намека на то, что она ищет

продолжение фразы и не находит подходящих слов. Она так и не кончила фразы. Смотря куда-то в сторону, она сказала: — Я больше всего люблю свои сады, свои гряды с тюльпанами. Я считаю, что вы поступите очень благоразумно, если, полюбив меня, вы полюбите все эти вещи вместе со мною.

Потом, звонким смехом прерывая самое себя и словно пробуждая Паганини от сна, проговорила:

— Как хорошо, что вы забыли вашу скрипку! Вы найдете здесь отдых, вы найдете покой. Но я не хочу вас видеть с вашей скрипкой.

Никто не спрашивал в течение целого года синьору графиню о длинноволосом, загорелом и черноглазом садовом в коричневом камзоле, черных чулках и черных туфлях, поливающим тюльпаны в замке. По утрам, после кофе с бисквитами, синьор Паганини, огородник и садовник, вооруженный ножницами, пилой или садовым ножом, боролся с засохшими сучьями, с древесными наплывами, с болезнями фруктовых деревьев, с гусеницами, нападающими на тюльпановые листья.

Давно была забыта скрипка, и никто не узнал бы в этом высоком поздоровевшем человеке знаменитого скрипача, в таком раннем возрасте сумевшего свести с ума требовательную толпу североитальянских городов. Паганини засыпал в объятиях своей подруги, играл на гитаре, сочинял небольшие музыкальные пьесы в честь возлюбленной. Он старался забыть свое прошлое, не прикасаться к нему. Первые ли удары жизни были тому виной, или искалеченное детство давало себя знать, но сон, овладевший его душой, становился все крепче. По мере того как укреплялось здоровье Паганини, движения становились медленней и размеренней, дни стали похожими друг на друга.

Четыре раза в год срезал он цветы, дважды в год, осенью и весной, собирал урожай ранних фруктов.

Тем временем поиски Паганини продолжались по всей Ломбардии. После того как Лукка была занята французами, прошел слух, что Паганини уехал в Америку, говорили, что он сделался контрабандистом и возглавляет шайку разбойников в Калабрии. И вот однажды в маленькой итальянской газетке появилось долгожданное сообщение, причем газета заявляла, что убитый горем

отец признает справедливость этих сведений. Генуэзские парикмахеры, приказчики, бухгалтеры, счетоводы, клерки и переписчики, продавцы духов, содержатели маленьких притонов, хозяева гостиниц для постояльцев, приходящих с девушками на два часа, обсуждали шумно и весело последнюю новость за столами кофейен, перебивая друг друга, стуча ложками о тарелки.

Заметка сводилась к тому, что на почтовой станции в Ферраре был арестован синьор Никколо Паганини по обвинению в убийстве своей любовницы, что при аресте он оказал сопротивление и разбил свою скрипку, ударив жандарма по каске, после чего посажен благополучно в тюрьму, где ныне и находится. Сострадательный тюремщик дал ему скрипку, Паганини играет целыми днями. Но так как Паганини играет на скрипке, натянутой струнами из воловьих жил, то он нашел новое применение этим струнам: скрутив их однажды, он захотел повеситься, ибо господь бог покинул эту несчастную душу на произвол сатанинской злобы. После этого случая сострадательный тюремщик не дает больше Паганини четырех струн. Он играет на одной дискантовой струне и, оказывается, играет не хуже, чем обычный скрипач на всех четырех.

Газетку привез с собой французский офицер. Он оставил ее тому садоводу, который встретил его при въезде в имение. Хозяйка разрешила господам французским офицерам провести день в замке. Паганини нарезал цветов, молодая женщина принимала гостей, как хорошая хозяйка. Паганини чувствовал на себе ее благородный и спокойный взгляд. Она смеялась в ответ на остроумные шутки французского генерала, а молодые офицеры с удивлением следили за выражением лица этой женщины, у которой каждая улыбка была полна безотчетного счастья.

В этот день Паганини читал «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и, видя этих «крестоносцев свободы», представителей французской гвардии, говоривших так серьезно и не похоже на тех, кого он слышал прежде, думал о самом себе как о крестоносце, заснувшем в павильоне чародейки Армиды, на пути к осажденному Иерусалиму. Но странно, в этот вечер, чокаясь с французскими офицерами и встречаясь глазами со своей подругой, он не чувствовал ни малейшего раскаяния при мысли о своей измене искусству. Так бывает во сне —

напряженное и в то же время приятное чувство от сознания, что это сон, очень крепкий сон. И само это сознание говорит о пробуждении.

Паганини в первый раз после побега приехал со своей Армидой в Лукку, празднично разукрашенную в честь французов. Шумный, веселый разговор за столом, насмешки над религией и философская беседа со старым, утомленным французским генералом вдруг показали Паганини, что существует какой-то другой, не итальянский мир, мир свободных умов, веселых характеров, не скованных ни церковью, ни австрийскими жандармами. Простота отношений между офицерами, их веселость, так не похожая на сдержанность старых ханжей, занимающих большие должности в итальянских городах, пленили Паганини. Едкие замечания по поводу истории догматов, насмешки над римским папой, над суровостью итальянских женщин, рассказы о поливке огородов святой водой и устройстве водопоев в святых колодцах — все это восхищало Паганини. Рассказы о революционном Париже еще больше разожгли его чувства.

На следующий день Паганини получил в подарок кожаный томик антирелигиозных памфлетов Гольбаха. После отъезда французов он прочитал несколько страниц своей подруге. Разговор об атеизме ночью на общем ложе раздосадовал синьору.

— Наказание и грехи должны существовать в мире, — сказала она ему, слегка сдвинув брови. — Религия необходима, — шепнула она ему на ухо уже более легким тоном. А потом сверкнула глазами и, пряча лицо у него на плече, добавила: — Ибо если то, что мы с вами делаем, не является грехом, то вся прелесть моей жизни исчезнет.

Паганини рассмеялся, приняв эти слова за шутку. Но тут же увидел, что в словах его подруги не было и тени шутки. Молодая женщина открыто призналась ему, что любит его за ненасытность его жажды и что если бы товарищ ее ночных забав был бы хотя немного красивей, она не чувствовала бы всей упоительной сладости любви.

— Вы уродливы, синьор Никколо, — говорила она, — и это делает вас таким же для меня желанным, какой представляется большая чашка мороженого в жаркий вечер или горячее вино в декабре, после охоты в горах.

Паганини в луккском замке делал открытие за открытием. Церковная музыка стала для него привлекательной. Образы ада, рая и чистилища держали в плену мысли и

чувства Паганини. Фриделло, играющий на скрипке, с головой, склоненной набок, с полужакрытыми глазами, образ ангела со скрипкой, такого, каким его изображала фреска тринадцатого столетия в Кремоне, неотступным видением стали преследовать Паганини во сне. Но к этому видению постоянно примешивалась дерзкая мысль, настойчиво толкавшая Паганини к осуществлению властного желания влить магические демонские звуки в разрушающуюся праведность и нетерпимость церковных мелодий, усладив душу двоякого рода соблазнами: соблазнами самого счастья, как недоступного и недозволенного, и саркастической усмешкой освобожденного человека, ниспровергающего власть религии.

Меланхолическая и нежная скрипка Корелли, демонические пассажи Тартини—все это после борьбы примирялось странным примирением в душе Паганини. Это было примирение где-то на высотах искусства. Это было заполнение всей духовной организации скрипача: совершенно так же две враждующие армии овладевают одним и тем же селением и одной и той же долиной для того, чтобы дать там решительную битву, сопровождающуюся потоками крови, криками, взаимным уничтожением, оглушительным грохотом орудий и свистом пуль. Все меньше и меньше оставалось места в душе Паганини спокойным лучам той вечерней зари, которой встретила его первая неделя счастливой любви в луккском замке.

Биография Тартини особенно привлекла его внимание. О Тартини—скрипаче, фехтовальщике, монахе, юристе, человеке, говорившем о себе, что он—искушаемый Иосиф, и уподоблявшем музыку соблазнительной супруге Пентефрия,—ходило много легенд. Паганини с огромным любопытством и прежде разглядывал скрипки, принадлежавшие этому скрипачу. Инструменты, на которых играл Тартини, были сплошь исписаны стихами Петрарки и вульгарными народными речениями. Ругань черни чередовалась в этих надписях с божественными строчками Дантовой «Новой жизни».

Тартини похитил племянницу кардинала Корнаро. Уголовная полиция Рима настигла их в дороге. Ради спасения жены Тартини пришлось ее покинуть. Злосчастный супруг под страхом смерти пробирался к ней на свидания. Они виделись тайком, раз или два в год. Он жил в Ассизи, в монастыре, под чужим именем, проводя время в игре на скрипке, под руководством наивного и

простодушного монаха. Тартини исполнилось двадцать четыре года, когда отважный фехтовальщик, удачливый любовник и супруг сделался первым скрипачом Италии XVIII столетия. Под чужим именем явился он в свой родной город и завоевал себе славу. Славой вернул себе жену. Открыл свое имя, получил прощение, и началась долгая славная жизнь скрипача, окруженного почитателями и учениками из беднейших семей. Скитальческая жизнь среди итальянского простонародья странно подействовала на Тартини: он сделался проповедником великого скрипичного мастерства среди ливорнских простолюдинов. Он целые недели проводил в кварталах портовых грузчиков, он играл на кораблестроительных верфях, охотно посещал тюрьмы и давал там концерты, он ходил всюду, водя с собой любимого ученика Нардини. На руках Нардини он и умер в глубокой старости.

Вот рукопись самого Тартини, она перед глазами нового скрипача нового столетия. Тартини писал:

«Сны исправляют действительность. Однажды ночью, это было в 1713 году, мне снилось, что я совершал торговую сделку и продавал свою душу черному ангелу с улыбкой, пленительностью похожей на улыбку египтянки. Я спросил его: «Как ты вошел в монастырь святого Франциска?» На что ответил мне египтянин: «Успокойся, друг мой, ведь я злой дух! Пей чашу со мной, как пьют вино, ты насладишься обманчивым видом вещей и все вещи, цвета и краски видимого мира научишься превращать в звуки». — «Хорошо, — согласился я, — но ты должен стать моим слугой». Сделки нашей мы не записывали, но я твердо помню, что она состоялась.

Он дал мне познание вещей и пробудил меня, а я за всю эту силу и гибель любил его все больше и больше и знал, что уже все это непоправимо: я не мог и не желал жить, ибо в этой гибели было больше жизней, чем в жизни без гибели. И вот наступил час самого сладкого сна, когда я приказал моему слуге египтянину взять скрипку и играть. И играл он так хорошо, с такой незабываемой прелестью, с таким мудрым очарованием, что навсегда я стал прикован к счастью земного мира, и его прелесть, и его соблазнам, забывая о поисках небесного рая и спасении души. Так я увлекся, и так был я восхищен, воображение мое заиграло, как тысячи алмазов на солнце, отражая своими гранями всю красоту и прелесть прошлого, все очарование настоящего и всю

манящую игру будущего. Дух мой возликовал от этого чувства, и я пробудился. Тотчас же схватил я скрипку и смычок, разбудил спавшего в келье монаха, и он восхитился вместе со мной, и он вместе со мной устремился запечатлеть чудные звуки, слышанные мною во сне. И вот лучшее, что я написал в жизни,—это соната той ночи, хотя я знаю, что это лунное отражение истинного солнца, осветившего мою душу, и вот теперь я разбил бы скрипку, если бы мог отказаться от сладости этих звуков. Но всегда останется у меня ощущение разницы между тем, что слышал я у демона, и между тем, что сумел записать».

Глава шестнадцатая

В СТРАНЕ ОТЦОВ

Как это случилось, как тонкая, тоньше волоса грань отделила сон от пробуждения? Как только скрипка Гварнери была вынута из чехла, как только смычок коснулся струн, так и Паганини и его подруга поняли, что дни плена окончились. Каждый новый день приносил новые признаки пробуждения, и казалось, что это — пробуждение не одного только Паганини. Армида, пленительница Танкреда, сама пробуждалась с новыми звуками скрипки Паганини. Он становился ей чужим, он становился только интересным скрипачом, только гением. Уродливого любовника с необыкновенной горячностью крови она теряла и даже не стремилась удержать. Как-то раз случилось, что Паганини целый день провел в Лукке, а потом и заночевал в городе, в маленьком домике, где Ньекко оставил свои книги.

После месяца блестящих концертных выступлений в Лукке Паганини выехал из Лукки на север. У него снова появился вкус к скитальческой жизни, и так как не было никаких оснований задерживаться в Лукке, то, взяв направление на Пистойю, Болонью, Модену, Парму, Пьяченцу, Павию, он отправился дальше. Всюду с огромным успехом проходили его концерты. Наконец он прибыл в Милан.

Из газет Паганини узнал, что человек, арестованный в Ферраре и умерший в тюрьме, назывался его именем. Это

был польский скрипач Дурановский. Но молва о гибели Паганини уже облетела Северную Италию. Паганини знал, что семья давным-давно считает его умершим. И при воспоминании о времени, когда он был исключен из общей жизни, у него возникло странное чувство, рождавшееся из соединения нового, необычного для него, мужественного восприятия жизни с горячим чувством благодарности к волшебнице, державшей его в Лукке.

Паганини чувствовал себя независимым и свободным. Теперь уж не могла повториться история с ливорнскими оркестрантами. Теперь не нужно было покровительство английского консула.

Случайная встреча в Милане с певицей из Ливорно неожиданно вызвала в нем жажду легкого и веселого сближения с этой девушкой. Вот он узнает охотно сообщенный адрес, вот с наступлением вечера идет к ней, но путает фамилию владельца дома. На полутемной широкой лестнице он ощупью находит ручку двери и толкает ее. Большой вестибюль, громадное зеркало, круглый стол. Никого нет. Открывает следующую дверь. На огромной постели молодая женщина под розовым одеялом с испугом смотрит на открывающуюся дверь. Потом, протягивая руки, с улыбкой говорит:

— А, это вы, доктор! Я думала, что вы придете позже.

Что толкнуло Паганини, он сам не знал, но он с важностью врача сел около постели больной. Она положительно ему нравилась. Сумасбродные мысли завертелись в голове Паганини с невероятной быстротой. Дремавшие в нем веселость и живость характера пробудились с неожиданной для него самой силой. Он взял руку больной, внимательно посмотрел в глаза и заявил:

— Вам, вероятно, сегодня лучше, чем вчера.

— Да,— ответила молодая женщина.

Он внимательно нащупал пульс, но при этом с неосторожной нежностью пожал руку.

Тут неудержимый смех одолел Паганини. Никогда не был он в таком забавном положении. Все попытки сделать серьезное лицо ни к чему не привели. Женщина с удивлением смотрела на него, словно вспоминая что-то. И вдруг, вырвав руку, с негодованием сказала:

— Послушайте, да вы ведь — синьор Паганини, скрипач, вы вовсе не доктор.

Тогда Паганини дал волю своему смеху. Чем больше он смеялся и чем больше стремился подавить этот смех,

тем больше негодовала больная. В это время за дверью слышались шаги. Вошел старик. Выражение лица больной мгновенно переменялось. С живостью обращаясь к старику, она произнесла:

— Вот, отец, доктор находит, что мое состояние...

— Да, да,—с важностью подтвердил Паганини,—еще несколько дней, и больная может встать.

Старик с благодарностью посмотрел на Паганини и начал с ним длинный ученый разговор на медицинские темы. Он говорил о невежественности нынешних врачей, о том, что наступает новая эпоха, что синьор Вольта делает опыты с применением новой силы природы, что синьор Гальвани нашел ту силу, которая, вероятно, способна будет через несколько лет оживлять мертвых, так как достаточно провести металлическую проволоку от серной кислоты и цинка к ноге лягушки, отрезанной от туловища, чтобы эта нога задвигалась, как живая.

Паганини кивал головой с видом ученого человека. Разговор затянулся. Паганини не знал, как ему быть. Наконец его выручила молодая женщина, прервав беседу в опасный момент.

— Вы мне напишете рецепт, доктор? — спросила она.

Гусиное перо, бронзовая чернильница и листки бумаги с золотым обрезом были предоставлены в его распоряжение. С важным видом обмакнув перо, Паганини задумался.

— Знаете ли что,—сказал он,—болезнь не такова, чтобы следовало применять латинскую кухню. Обойдемся без лекарства. Природа настолько щедра и богата, что синьора, ваша дочь, может положиться на нее. Посмотрим, что будет дальше.

— Да, да, доктор,—вдруг вмешалась молодая женщина, стараясь любезностью замаскировать веселую улыбку.—Я надеюсь, что вы завтра придете и увидите, что мне стало гораздо лучше.

— Как, вы хотите, чтобы я завтра пришел? — спросил Паганини, чуть не выдав себя этим неуместным удивлением.

— Да, непременно, доктор: иначе мне станет хуже.

— Вот как! — сказал старый отец.

В голубом конверте с гербом миланского дворянина Романьези Паганини получил билет в десять лир. Это был первый медицинский гонорар.

Вдыхая полной грудью воздух улицы, Паганини раз-

мышлял о происшедшем. Его напугало это неожиданное приключение. Он удивился, что в Милане его лицо знают по портретам, что подтверждало его славу и давало возможность надеяться на успех концертов, но, с другой стороны, он боялся, что на концерт может прийти синьор Романьези.

Ближайший концерт был отменен.

На следующий день Паганини опять надел на себя личину эскулапа. Два часа сидел он, разговаривая с любезным стариком и бросая пламенные взгляды на девушку. Больная с трудом выдержала роль, но играла хорошо. Когда Паганини встал, чтобы проститься, она настойчиво потребовала визита на завтра. Отец развел руками и сказал:

— Тереза откроет доктору, так как я завтра должен присутствовать в магистрате.

Ничто так не устраивало Паганини, как это присутствие старика в магистрате.

Визиты продолжались довольно долго и всегда совпадали с отсутствием почтенного Романьези. Кончилось тем, что в день возобновления концертов в большом зале миланской консерватории Паганини должен был заехать за синьорой Романьези, опять в отсутствие отца.

Увлечение не зашло слишком далеко. В один прекрасный день Паганини почувствовал необходимость вернуться в отчий дом. Он сам не понимал причины этого стремления, но оно было настолько неодолимо, что он в тот же вечер южным мальпостом выехал из Милана.

В кармане камзола лежала чековая книжка генуэзского Банка: на имя отца было вложено двадцать тысяч франков. Мысль о том, что он не разучился играть только благодаря тому, что жестокая настойчивость отца превратила для него скрипку в инструмент, самой природой связанный с ним, с молодым Паганини, приводила его теперь в восхищение. Он прощал отца, он прощал матери ее католическую набожность и неумение владеть собой под натиском любопытства какого-нибудь аббата. Все резкие черты и контуры детства смягчились, приобрели мягкий розовый отсвет. «Это признак наступления преждевременной зрелости характера», — думал Паганини.

Какие-то внезапно возникшие мысли заставили его рассмеяться. Молодой человек, незнакомый Паганини, черноволосый и голубоглазый, пристально посмотрел на него. Паганини ответил не менее пристальным взглядом.

— Чему вы смеетесь? — спросил молодой человек.

— Вы любопытны. Я смеюсь собственным мыслям, которые затрудняюсь вам передать.

— Если бы вы знали, что произошло час тому назад, вы не стали бы смеяться так легко!

Тон был зловещий.

— Ну, что же произошло? — спросил Паганини довольно невежливо.

— Генерал Бонапарт стал императором французов.

— Как, и уже в течение часа эта весть донеслась до вас? Кто же вы такой?

— Я граф Федерико Конфалоньери, миланец. А вы можете не называть своей фамилии, так как я сразу узнал почитаемого скрипача. Признаться, я думал, что перемена французской политики пугает вас и заставляет уехать из Милана.

— О нет, — сказал Паганини. — Политика и скрипка далеко стоят друг от друга.

Конфалоньери сострадательно улыбнулся.

— Вы думаете? — спросил он с сомнением в голосе.

Паганини вдруг оживился, прежние мысли зашевелились у него в голове.

— Да, в самом деле, я иногда думаю иначе. Но в наши дни... Где говорят пушки, там должны молчать искусства.

Конфалоньери покачал головой.

— Вы сами знаете, какое громадное значение имеет музыка в формировании духа.

— Верно, — сказал Паганини, — но я ни разу не слышал, чтобы люди на голодный желудок ходили на концерты.

Беседа вскоре исчерпалась.

На маленькой отвратительной станции веттурино разбудил его криком: «*Si cambia!*» — пересадка. Паганини проснулся и вдруг вспомнил страшный сон. Ему снилась огромная белая лестница над черным прогалом. Какой-то голос говорил ему, что необходимо подняться по этой лестнице, но что по пути будут три ступеньки, сделанные из полотняных полос, выкрашенных под камень, и, конечно, ступив на одну из этих полотняных полос, он провалится в пропасть и, ударившись об острые камни на дне, превратится в куски разорванного мяса и раздробленных костей. И снилось ему, что уже нельзя отступить, и дух захватывало от ужаса. Кругом — безлюдное и страшное молчание. Горы давят сознание. Но вот, как

стальная пружина, воля заставила взбежать, и пока, весь во власти стремительного порыва, он летел, перескакивая через три ступени, вверх, вдруг простая мысль готова его остановить. А что, если, стремясь перескочить через три ступени, он устанет и от усталости свалится с лестницы без перил? А что, если, вынуждая себя перескакивать через три ступени сразу, он просчитался и, не зная, где ловушка, поставит ногу на полотняную ступень? Гибель тогда неизбежна. И так, не зная, в конце или начале пути эти предательские три полосы ткани вместо камня, он достиг двухсотой, трехсотой ступени и почувствовал себя безнадежно обреченным на страшную смерть и нестерпимые муки. И вдруг, вот уже совсем близко от вершины, он почувствовал, что нога его провалилась и он висит в пустом пространстве, вцепившись в каменную ступень, эту твердую, надежную и верную ступеньку. Он спасся. Одно колено на каменной ступени, плечи и голова на другой, вот еще минута над пропастью, и он снова твердой и уверенной поступью взбирается по ступеням, зная, что опасность позади. А над головой разгорается яркий день, солнце поднимается на синем-синем, почти черном небе, дышать становится легко и жить становится радостно. Горячие струи теплого синего воздуха заливают щеки, и раздается словно крик петуха: «*Si cambia!*» Это кричит веттурино над ухом.

Пока пассажиры завтракали и отдыхали от толчков и ударов почтовой кареты, пока французский гвардеец проверял паспорта, а трактирщик разливал красное кислое вино, Паганини высчитывал часы и минуты, которые оставались до Генуи.

Но вот наконец Генуя.

Паганини ловил себя на чувстве большого волнения, он думал, что сейчас наконец наступит минута полного примирения с семьей. Он был уверен в том, что мать тоскует без него. Он знал, что отец перестанет сердиться на него за бесплодные поиски, что, быть может, даже применение полицейских мер воздействия вызовет в старике некоторое угрызение, когда шуршащая бумажка, просто и легко доказывающая, что старый Антонио Паганини является обладателем двадцати тысяч франков, появится перед глазами старика.

Он готовил слова, которые надо было сказать. Надо было сказать только, что ради семьи, ради успеха дальнейшей музыкальной карьеры он должен был вырваться

на широкую дорогу, быть может, несколько непозволительным способом осуществляя отрыв от родной семьи. И то, что не приходило в голову дорогой, то, что казалось естественным, простым, вдруг теперь, у дверей родного дома, приобрело какое-то пугающее значение, и Паганини, прославленный скрипач, имя которого было уже известно во всех городах Северной Италии, вдруг почувствовал себя жалким, провинившимся школьником, вдруг почувствовал себя просто сыном Терезы Паганини, мальчишкой из «Убежища», с замазанными рукавами, с заплатами на панталонах. Он готовил слова, которые должны были сразу расположить к нему сердца родителей.

На стук никто не отпирал. Все слова, которые хотел сказать Паганини, вдруг вылетели из головы. Необъяснимая тревога закралась в сердце, и, не сдерживая своего волнения, Паганини стал стучать кулаками в дверь с бешенством взволнованного до отчаяния человека.

В ответ на этот стук раздался сердитый и резкий окрик. Он узнал голос матери. Но до какой степени он не похож на прежний голос! Почему она пришла в такое негодование? Она не знает, что стучит родной сын, ее маленький Ник, как она называла его в детстве.

— Какой негодяй ломает двери? — повторил голос совсем над ухом Паганини.

В полутемном коридоре он увидел лицо старшей сестры: это она говорила голосом, до такой степени похожим на голос матери. А в глубине комнаты, при входе в столовую, он увидел старую женщину, перебирающую четки и держащую молитвенник в руках.

Сестра мгновенно узнала Паганини, мать выронила книгу, увидав вошедшего, и, привстав, слегка отступила, роняя кресло. Сестра молчала. Паганини бросился к матери, она отступила от него, как от призрака. На шум вышли остальные члены семьи. Вышел брат с незнакомой женщиной. Поздоровался, шумно и бурно приветствуя Никколо, нарушая странное молчание. Вошедшая с ним женщина острыми и злыми глазами смотрела на Паганини. Мать все еще молчала, устремив на него печальные голубые глаза. Паганини едва успевал отвечать на быстрые вопросы брата, которые сыпались, как горох из прорванного мешка. Наконец Паганини перебил его и сказал, как бы для того, чтобы прервать молчание матери:

— Матушка, быть может, я могу остановиться у вас на некоторое время?

Первые слова матери поразили его, как громом:

— Продукты очень вздорожали. Где ты у нас остановишься? Каэтана поселилась у нас в доме с ребенком, у Целестины тоже родился ребенок, у Фабричо не нынче-завтра будет новая жена. Куда же мы тебя денем? Может быть, ты остановишься в гостинице? Продукты очень вздорожали, приходится высчитывать каждый байокко, а кроме того...

Тут она остановилась, и крупные слезы потекли у нее по щекам.

В это время вошел старик Антонио, сплевывая мокроту в зеленый платок, прихрамывая и чихая. Он увидел сына, казалось, без всякого удивления. Он смотрел на Никколо, не скрывая презрительного выражения лица.

— Молва о тебе самая плохая. Если не хочешь принести несчастья дому, то лучше было бы тебе жить на отдельной квартире. Семья для человека—это лучший друг, а что ты сделал для семьи?

Паганини подумал мгновенно: «В Евангелии, которое они так любят, говорится: «Враг человека—домашние его». Я к этому добавлю, что нет большего счастья на свете, нежели потеря лучшего друга».

Подавив в себе чувство негодования, он встал с покорным видом, подошел к отцу и, распахнув камзол, поспешным и торопливым движением вынул бумажник, наклонился над столом и выложил перед стариком чек на двадцать тысяч франков. Лицо старого Паганини внезапно просветлело.

— Так,—сказал он.—Ну, давай отпразднуем твое возвращение. Тереза, что же ты сидишь? Целестина, Фабричо, что же вы стали? Он вернулся: Никколо вернулся. Живи с нами.

Казалось, какая-то ледяная стенка растаяла внезапно. Все бросились обнимать Паганини, и вдруг не выдержало его сердце. Выросший до неузнаваемости, окрепший и возмужавший, этот человек, бросившись на шею к матери, зарыдал горьким рыданием, как после перенесенных в детстве побоев. Он плакал долго, и казалось, что он никогда не сможет утешиться. Он сам не понимал значения этого порыва. Но каждый член семьи по-своему истолковал это проявление необычайной слабости.

В то время как он оплакивал горестную картину полного распада материнского чувства в этой одряхлевшей, но еще нестарой женщине, по-видимому потеряв-

шей ясность ума,—она, глядя на сына, испытывала совсем другое. Она думала, что вот он раскаивается, что он много согрешил в жизни, что из всех ее детей это самый неудачный ребенок. В то время, когда Паганини, плача на ее плече, оплакивал свое детство и свое теперешнее сиротство, так как перед ним стояли люди, не имевшие по существу никакого к нему отношения, старик думал, что если сын вернулся в отчий дом, как блудный сын Ветхого завета, то он напрасно думает отделаться выкупом того теленка, которого приказал подать к столу папаша. «Не беспокойся, сынок,—думал старый маклер, глядя на плачущего Паганини,—мой теленок стоит больше двадцати тысяч франков. И уж ежели я принял под отчий кров блудного сына, я заставляю его раскошиться».

Но блудный сын никак не мог успокоиться. Тогда у Паганини-старшего закралось в душу тяжелое сомнение: «А в самом деле, черт его подери, должно быть, уж очень большая жизненная неудача: или он вывихнул руку и не может больше играть на скрипке, или у него случилось что-то нехорошее с полицией, он возвращается к нам, плача и рыдая, как будто некуда ему деться».

Старший брат радовался совершенно искренне возможности поправить свои денежные дела, если он сразу станет на дружескую ногу с Никколо. Лукреция обдумывала, как ей устроить, чтобы из этих денег получить кое-что для покрытия карточного долга мужа.

Паганини оплакивал себя со своими ребячьими представлениями о жизни, и постепенно чувства и мысли, свойственные большим душам, вытеснили у него эгоистическую жалость к самому себе.

Он перестал думать о своем сиротстве, ему были бесконечно жалки эти люди с искривленными душами и искаженными чувствами.

Годы потрясений, перенесенных Северной Италией, все эти постоянные изменения биржевой погоды, от которой зависели благосостояние семьи и настроение отца,—все это, очевидно, надломило стариков. В их жизни тоже произошло много изменений одновременно с теми колоссальными переменами, которые совершились в самом Никколо. Он чувствовал себя очень твердо стоящим на ногах, он прекрасно знал, что то высокое совершенство скрипичной техники, которым он овладел, является теперь его свойством, что он, даже если бы

захотел забыть что-либо, не смог бы: потерять талант скрипача он мог, только потеряв руку. Он был воплощением гения скрипки. Но перед ним стояли его отец и мать, его брат и сестры — люди более чем обыкновенные, и Паганини чувствовал, что из ощущения контраста между его внутренним миром и миром этой зауряднейшей североитальянской семьи сейчас же возникнут такие настроения и чувства, которые отравят окружающих его людей чувством зависти, переходящим в ненависть. И все же, в силу какого-то инстинкта, он не мог избавиться и от чувства острой боли, и от чувства жалости, и от чувства бескорыстной любви.

Банкир, у которого был реализован чек на имя Антонио Паганини, был удивлен расспросами старика, который, бледнея и краснея, допытывался, сколько денег у его сына, где они вложены. Старые секреты итальянских банков впервые казались опытному биржевому маклеру досадным и ненужным затруднением.

В разговорах с сыном старик твердил о бессонных ночах матери, о том, что он, старый человек, нищенствовал, чтобы дать музыкальное образование сыну. Он стремился раскрыть перед сыном все величие своего отцовского замысла, дать ему почувствовать всю тяжесть своих забот, направленных на то, чтобы побоями выколотить из непокорного мальчишки прилежание и крупички скрипичного таланта превратить в настоящий и полный талант скрипача. По странной игре случая Паганини не видел всех этих ухищрений старика. Он во всем с ним соглашался, охотно шел навстречу матери и первые накопленные им деньги, переведенные на генуэзский банк, охотно отдавал в распоряжение семьи. Но эта податливость лишь еще более подзадоривала старика.

Отношения в семье превратились в игру двух враждебных станов. Мать, отец, брат и сестры в отсутствие Паганини вели непрерывные совещания. Были дни, когда Никколо чувствовал себя любимцем и покровителем семьи, и были дни, когда отец набрасывался на него с криками и проклятиями, а мать со слезами глубокого горя выпрашивала сто или двести франков на покрытие неожиданного расхода, возникшего против воли старика Паганини.

Хотя Паганини не предполагал давать концертов в Генуе, он вдруг оказался вынужденным выступить. Он думал побыть в семье месяц и потом выехать для концертов на север. Его тянуло в Милан, в Турин и Венецию. Он представлял себе, как он снова появится в Ливорно и Лукке. В Генуе ему хотелось быть только сыном своей матери, быть только братом своих сестер, быть только обыкновенным Никколо Паганини.

Но, отдав в конце концов все деньги, которые были, скрипач попал в прежнюю зависимость от старика. Отец согласился выдавать ему не более двадцати франков на суточные расходы, и Паганини вдруг почувствовал, что скупость старика граничит с помешательством.

Первые попытки заговорить с властями о концерте не увенчались успехом. Католическая церковь города Генуи воспротивилась тому, чтобы непокорный сын церкви, изобличенный собственным отцом, выступал на концертной эстраде. Это не было прямым запрещением, но это было то неодобрение, которого было достаточно для гражданских властей Генуи.

После больших хлопот Паганини получил странное извещение: епископ разрешил Никколо Паганини, в виде исключения и в награду за участие в благотворительном церковном концерте, выступить в храме с концертом светской музыки. Но когда пришло время использовать это разрешение, обнаружилось новое, неожиданное препятствие.

В Генуе, в отличие от ряда других итальянских городов, был создан Высший музыкальный совет, председателем которого состоял синьор Нови, тот самый Нови, который учился с Паганини у Паера. Надо было идти к нему, ибо все концерты, осуществляемые в городе, ради «чистоты нравов и красоты искусства» должны были иметь санкцию этого совета. Вначале все пошло как нельзя лучше. Нови принял Паганини, как родного. Поддерживая его за локти, он радушно усадил Паганини в кресло. Расспросив подробно обо всех горестях и радостях жизни, Нови с улыбкой сообщил о смерти одного из товарищей по консерватории. Их бывший соученик утонул в венецианской лагуне, и святая церковь не считает возможным возносить о нем молитвы, ибо этот человек умер без покаяния, а при жизни поддерживал связи с безбожным корсиканцем.

Паганини с некоторой досадой остановил этот поток красноречия и заговорил о своем предстоящем концерте. Лицо Нови вдруг сделалось сухим и холодным.

— Знаешь ли ты, друг мой,—сказал он в ответ,—что наши правила требуют предварительно подвергнуть тебя испытанию в нашем совете? Я знаю твое мастерство, но ведь не станешь же ты, гражданин города Генуи, нарушать ее старинные правила и законы, ее порядки. Ты отвык от нас. Поживи с нами, пока не устраивая концерта, сделайся нашим вполне, а потом обсудим твое предложение.

Паганини привстал:

— Меня экзаменовать, как мальчишку? Сколько же времени я должен ждать?

Нови ласково погладил его по руке.

— Ну, зачем же так волноваться! Ждать придется совсем немного. Что касается экзамена, то это только пустая формальность... Ну, поживи с нами... год или два.

— Что?! — закричал Паганини. — Ты смеешься надо мной!

— Успокойся,—ответил Нови.—Святая церковь не запрещает музыки. Наоборот, нигде музыка не достигает такого высокого совершенства, как в религиозных произведениях Палестрины, которыми гордится вселенская церковь. Ты должен знать, что все лучшие музыканты всех времен писали свои композиции для церкви. Скрипач, не пишущий для церкви ничего, тем самым отвергает себя от воздействия ее благодати. Ты будешь, конечно, играть собственные сочинения, написанные в стиле церковной музыки?

Тут Нови сделал суровое лицо и подошел к этажерке из красного дерева. Он взял оттуда красный сафьяновый портфель и, порывшись в нем, достал австрийскую газетку, издававшуюся в Ломбардии. Маленькая листовка сообщала о том, что Паганини проиграл все свое состояние в карты и продал скрипку для того, чтобы заплатить карточный долг.

Прочитав это, Нови с горечью и состраданием продолжал:

— Я вполне понимаю, что после этих потрясений ты долго не можешь оправиться и поэтому живешь в Генуе. Твоя бабка умерла с голоду, так как ты не высылал денег семье. Старик отец голодал, старая мать проливала по

тебе слезы и молила бога о возвращении тебя в лоно святой церкви. Ты хочешь создать себе славу знаменитого скрипача и прибегаешь для этого к нечестным приемам, но помни,—внезапно повысив голос, грозно предупредил Нови,—я вижу тебя насквозь. Истина все равно восторжествует. Я помню твою неудачу, когда ты после ночных кутежей не мог удержать скрипку в руках, когда у тебя лопались струны. Помнишь, тогда Паер сказал, что ты не выдержал экзамена. Допустим, что это была случайность, я тебя люблю, рассчитывай на мою дружбу, я никому не скажу об этом...

Паганини чувствовал, как его кулаки сжимаются сами собой... Этот негодяй предлагал ему свое покровительство, очевидно подводя его к какой-то сделке. Но от Нови в Генуе зависела судьба Паганини. Нови обещал ему свою грязную дружбу, осмелился вмешиваться в его семейные дела, быть его судьей,—однако выхода не было. Надо было испить чашу до дна.

— Так вот,—сказал Нови,—я не одобряю суровости моих товарищей по отношению к тебе. Они советовали твоему старику обратиться в трибунал святейшей инквизиции. Я сделаю все, чтобы преодолеть нежелание моих товарищей видеть тебя на эстраде. Но против тебя, не хочу тебя обижать, но против тебя выдвигают обвинение, и ты должен оправдаться прежде, нежели я подниму вопрос.

Паганини чувствовал, что Нови готовит крепкий удар и только тешится, оттягивая решительную минуту. Но он ошибался. Нови был действительно смущен и в самом деле боялся произнести то, что выпалил почти залпом:

— Ты должен оправдаться, ты должен представить инструмент, на котором ты играешь, для предварительного просмотра в музыкальный совет.

Сказав это и сразу ощутив облегчение, Нови вдруг заливисто засмеялся.

Тут Паганини почувствовал, как трудно ему сдержаться. С каждым словом Нови бешенство Паганини росло. А тот решил, что Паганини безопасен, если после первых же слов не перешел к действию.

— Про тебя говорят ужасные вещи,—продолжал он и снова остановился.—Но я, конечно, не верю, ты мой старый друг.

Паганини почувствовал себя раздавленным и спокойно направился к выходу. Нови увидел, что Паганини

признал свое поражение и хочет уйти от последних оскорблений.

— Про тебя говорят,—заторопился он,—что ты сделал смычок Турта в полтора раза длиннее и натянул на прекрасный старинный инструмент синьора Гварнери виолончельные струны. Конечно, ты их убереешь, конечно, ты дашь смычок нормальной длины. Но так как про тебя говорят, что твоя скрипка исписана магическими формулами и заклинаниями, то мы должны, прежде чем ты выйдешь на эстраду, сами осмотреть твою скрипку.

— Почему?—с негодованием закричал Паганини.— Я могу натянуть какие угодно струны. Французы превратили клавесин в рояль, они сделали из старого инструмента новый, в тысячу раз более звучный и красивый!

— Французы?!—внезапно побледнев, переспросил Нови.— Ты говоришь—французы?! Ты говоришь о людях, которые отрубили голову своему королю? Ты здесь, в этой комнате, осмеливаешься произносить это слово? Ты знаешь, что делают французы?.. Ты знаешь, что дети мрут от оспы, что эти негодяи привили чешуйку оспы теленку и после этого телячьей оспой заражают десятки тысяч детей?! Знаешь ли ты, что, прививая телячью оспу детям, они прививают телячьи мысли божьему созданию, человеку?!

— Ты прикидываешься!—кричал Паганини.— Ты говоришь дикие, невежественные вещи, ты знаешь, что этим они спасают детей от черной оспы. Дети, которым привита телячья оспа, не умирают и навсегда остаются беззараженными...

— Это против правил церкви!—Нови в негодовании затопал ногами. Взгляд его был полон уже открытой ненависти.—Знай, что мы и римская католическая церковь запретили повсеместно в Италии прививку оспы.

Паганини повернулся и, не сказав больше ни слова, вышел.

Генуэзская газета сообщила об исчезновении скрипача Паганини.

Первые три месяца синьор Антонио делал все для розысков сына, но поиски оказались тщетными. Нигде никаких следов его не было. Австрийские жандармы и шпионы папской полиции принялись обшаривать игорные дома Ливорно.

Глава семнадцатая

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Сестра Бонапарта, княгиня Элиза Баччокки, сделала Паганини дирижером своего оркестра в Лукке. Уступая новым настояниям жизни, Паганини впервые согласился несколько ограничить свою независимость. Это давало ему какое-то положение, избавляло от ненужных вопросов и на некоторое время упорядочивало его жизнь, слишком насыщенную беспокойством.

В Генуе была начата большая работа, в Лукке Паганини ее закончил. Как это ни странно, все эти новые его произведения были написаны для скрипки с аккомпанементом гитары. Он порывисто и напряженно писал, один за другим, шесть квартетов для скрипки, альты, гитары и виолончели.

Маленькие луккские музыканты, уличные мальчишки, устраивавшие празднества и исполнявшие на гитаре заказные пьесы, прибегали к нему с просьбой дать им какие-нибудь ноты, и Паганини откликался на эти просьбы, быстро набрасывая небольшие гитарные пьески, но отказывая никому в исполнении заказов.

Так из Лукки в разные города Италии попали бесчисленные мелкие вещи, написанные для гитары. Их продавали, печатали, распространяли, вульгаризировали, изменяли и толковали по-своему, и в конце концов из этих композиторских забав возникла большая и сложная нотная литература, наполовину не принадлежащая Паганини. В основной своей массе эти произведения портили репутацию Паганини, но он так мало внимания обращал на пересуды о его композиционном искусстве, что никогда не опровергал слухов, связанных с той или иной пьесой. Беднейшие музыканты Лукки рассказывали, что в трудные дни они получали от Паганини в порядке вспомоществования листки нотной бумаги, испещренные набросками пьесы для гитары, и эти листки спасали иногда целую семью. Работая в Лукке и продолжая усердно заниматься разучиванием выполняемых с виртуозным мастерством «modulazione» Локателли, Паганини не оставлял гитары. И даже достигнув совершенства в игре на скрипке, когда он перестал готовиться к концертам, перестал играть дома и брал смычок только перед выходом на эстраду, он продолжал по-прежнему развле-

кать самого себя игрой на гитаре, ни разу, впрочем, не выступив с публичным исполнением.

Итак, клятва, данная самому себе в молодости, была нарушена. Паганини стал придворным скрипачом, если можно назвать двором небольшую свиту сестры французского императора, довольствовавшейся пока скромным титулом итальянской княгини. Сам князь Баччокки учился у него игре на скрипке. Таким образом, Паганини сделался постоянным посетителем княжеского дворца и вместе с другим учителем, профессором Галли, пользовался неизменной благосклонностью семьи, занимавшей в Лукке первенствующее место.

Луккская музыкальная молодежь очень охотно пошла на формирование большого оркестра в этом городе. К ней присоединились французы, оставшиеся после ухода из города кавалерийского оркестра генерала Массена. Они с восторгом приняли известие о том, что Паганини будет дирижировать их оркестром.

Когда Паганини вошел в высокий зал, примыкавший к сцене луккского театра, вся огромная толпа молодежи, в рваных мундирах, серых и черных камзолах, громко и весело разговаривала, и он с наслаждением прислушивался к смешанному шуму человеческих голосов и беспорядочному гулу настраиваемых инструментов. Его заметили не сразу. Его ждали, его знали в лицо, и тем не менее он должен был дойти до пульта, для того чтобы голоса внезапно умолкли и все взоры обратились к нему.

Паганини сел на огромный барабан, и это простое движение, показавшее, что он прежде всего желает говорить с оркестром, как друг, запросто, сразу расположило к нему весь зал. Стены, увешанные декорациями, проходы между стульями, заполненные экранами, балками, бревнами, предметами бутафории, люди, стоящие у своих инструментов и просто остановившиеся в случайных позах во время разговора с соседом,— все это мгновенно obeжал быстрый взгляд нового дирижера.

Паганини никогда не был оратором, он говорил тихо, неотчетливо отделяя слова. Оркестранты толпой подвинулись к нему ближе. После кратких приветственных слов Паганини раздались бурные аплодисменты его оркестра.

Паганини поднял руку:

— Вы должны обещать мне полную искренность и полное согласие со мной в понимании музыкальных

задач. Вы должны помнить, что музыка не терпит снисхождения, что не может быть посредственной игры.

Кто-то крикнул:

— Мы не можем все быть такими, как Паганини!

Паганини быстро повернулся к говорящему и остановился. Подумал мгновение и сказал:

— Ошибка: нет имен и нет второстепенных вещей в музыке. Вы все — артисты. Пусть наш оркестр будет оркестром высокого мастерства.

Летописцы тогдашней музыкальной жизни в Италии говорят, что не было в мире оркестра более согласного, более сыгравшегося, нежели луккский оркестр этих лет. Лукка зажила напряженной музыкальной жизнью. Паганини выступал в качестве дирижера в луккском театре во всех оперных постановках, играл во дворце и через каждые пятнадцать дней давал большие концерты.

Два события ознаменовали собой первые полгода пребывания Паганини в Лукке.

Паганини хорошо знал, что вниманием, которое оказывала ему княгиня, он обязан какому-то неизвестному другу. Однажды он увидел этого друга. Это была прежняя Армида. Он сразу узнал ее, хотя красота ее необычайно расцвела. Она села в первом ряду. Видя, как она шепотом разговаривает с княгиней, Паганини понял, что это близкие подруги, не связанные придворным этикетом. Он хотел в антракте непременно увидеть женщину, которая способствовала его спасению. Паганини не испытывал никакого волнения, он сам с удивлением взглянул на себя в зеркало, когда в антракте вошел в актерскую уборную и, сняв перчатки, стоял около маленького стола. Поправил жабо, откинул волосы, упавшие на лоб, взял свежую пару перчаток и вышел. Он пошел в зрительный зал, прошел между рядами, но в первом ряду не было ни княгини, ни ее подруги. Княгиня сослалась на головную боль и уехала, не дождавшись окончания оперы.

Волшебница, так долго отсутствовавшая, снова появилась. Паганини поймал себя на мысли, что он слишком редко вспоминал то счастливое время, которое провел с ней. Лукка в этот приезд была для него другим городом.

Вторым важным событием в жизни Паганини в этот период было появление австрийской газеты, вызвавшей целый ряд сплетен и пересудов. Газета появилась в Лукке первоначально у духовенства, а потом попала и к музыкантам. Паганини стал замечать на себе любопытные

пристальные взгляды. Часто, оборачиваясь к тому или иному из своих друзей, он вдруг замечал, что человек, внимательно смотревший на него, старается погасить в глазах беспокойный огонек любопытства. Прошло немало времени, прежде чем Паганини понял, в чем тут дело.

Все североитальянские газеты были полны сообщениями одного венского корреспондента, писавшего о том, что в Италии появился замечательный скрипач, способный удивить весь мир, скрипач, которого не знала земля. Этот скрипач — Паганини, опасный преступник, бежавший с каторги и до сих пор не схваченный властями, несмотря на то что на нем тяготеет проступок против совести, религии и даже человеческих законов, так как этот скрипач является женоубийцей.

Никто не обращался за разъяснениями к самому скрипачу. Паганини не тревожили докучными расспросами. Только княгиня стала несколько суше и строже в своем отношении к нему. Князь, по-прежнему плохо игравший на скрипке, продолжал усердно посещать уроки.

По знакомой горной дороге коляска луккского веттурино везла Паганини в то место, где проходили часы счастливого плена у Армиды. На стук в ворота ему ответил грубый голос. Паганини увидел нового садовода, бородатого, сгорбленного старика с сердитым, пронизывающим взглядом. Старик заявил, что синьора давно не живет здесь. Он указал рукою на заколоченную дверь, на зеленые ставни и жалюзи. Дом, в котором протекали такие счастливые дни, теперь действительно был необитаем.

Значит, Армида жила в городе. Но почему он ни разу за все это время, после того дня, когда она появилась в луккском театре, не встретил ее?

Вернувшись в Лукку, Паганини нашел у себя письмо, написанное знакомым почерком. «Не ищите встречи со мной. Я по-прежнему вас люблю, но мы не должны видаться вовсе». Был ли это ответ на его попытку посетить ее в замке?

Вечером, в концерте, опять в первом ряду он увидел свою подругу. Она осталась после первого скрипичного концерта, несмотря на то что княгиня встала и вышла. Княгиня Баччокки отличалась чрезвычайной нервностью

в восприятии музыки. Она хорошо переносила музыку Чимарозы и Моцарта, она слушала оркестр, которым управлял Паганини, но, без всякого желания обидеть великого скрипача, заявляла, что только очень немногие вещи она может слушать в его непосредственном исполнении. Она говорила искренне, и Паганини был настолько уверен в ее правдивости, что между ними постепенно установились теплые отношения дружбы, хотя придворная публика склонна была шептаться о том, что княгиня охладела к таланту первого скрипача луккского оркестра.

Паганини исполнил желание своей подруги. Он не искал с нею встречи.

Прошло две недели. Мысль об этой женщине не покидала его и возвращалась все чаще и чаще, все с большим и большим напряжением. Чтобы избавиться от мучительного чувства, Паганини сделал то, что делал всегда в критические минуты жизни. Он дал музыкальное воплощение своему чувству. Он быстро набросал музыкальный диалог и разыграл его на следующем концерте на двух струнах. Он назвал эту пьесу «Венера и Адонис». С огромным музыкальным тактом было осуществлено музыкальное выражение счастья и горя любви в форме разговора двух струн.

Пораженные слушатели требовали повторения. Паганини отказался. Он близко подошел к авансцене, он кланялся, опуская скрипку почти на самый ковер, и всматривался в лицо женщины, сидящей перед ним в десяти шагах: он еще во время игры с наслаждением видел, как постепенно улыбка сходила с ее губ, как глаза становились огромными, он видел все движения этого лица.

Княгиня была далека от ревности, она испытывала некоторую дрожь негодования при виде такого фантастического, изощренного уродства, каким природа наградила великого скрипача. Но она была оскорблена бестактным жестом Паганини, который осмелился в ее присутствии выказать непреодолимое влечение к какой-то даме в зрительном зале, хотя бы эта дама была ее лучшей подругой. Когда на следующий день Паганини приехал во дворец заниматься с князем, княгиня не сдержалась. Ответив небрежным кивком на придворный поклон скрипача, она сказала ему:

— Вы превзошли самого себя, играя на двух струнах. Говорят, тюрьма научила вас этому искусству?

— Ваша светлость, я никогда не был в тюрьме,— ответил Паганини.

— Но я полагаю, что одной струны будет вполне достаточно для такого гениального музыканта, как Паганини.

Кровь ударила ему в голову. Легенда об одной струне, очевидно, долетела до дворца Баччокки. Скрипач принял вызов.

— Желание вашей светлости будет исполнено в следующий вечер.

— Вы можете не спешить,— сказала княгиня.— Я уезжаю. Но когда я приеду, я желаю слышать игру Паганини на одной струне.

15 августа праздновался день рождения императора Франции.

Утром княгиня получила пакет из императорской почты. Это было официальное утверждение ее герцогиней Тосканской и приказание родного брата, Наполеона Первого, покинуть Лукку и переехать во Флоренцию. В это же утро Паганини получил пакет с герцогской короной на конверте.

Это был патент на звание капитана гвардии герцогини Тосканской.

К вечеру луккский военный портной уже облачил его в мундир, шитый золотом, и вот в одиннадцать часов ночи, после официального праздника в честь того, что император французов вступил в свою тридцать четвертую осень, на эстраде появился худой человек в мундире с золотыми пчелами на обшлагах и воротнике, с огромной шапкой черных волос и костлявыми, длинными руками, узловатыми в суставах, словно сучья деревьев. Он держал в руках скрипку, на которой была натянута только одна струна.

Героическая соната «Наполеон», широкая, огромная и победная, захватила дыхание слушателей. Им слышались голоса многих скрипок, в то время как скрипач водил смычком всего лишь по одной басовой виолончельной струне.

И в этот вечер не было ни одного приверженца старой власти, ни одной набожной католички в городе Лукке, которые не говорили бы в один голос, с испугом, негодованием или яростью, о дьявольском искушении жителей Лукки, о том, что этот черный гвардейский капитан, игравший на одной струне,— сам дьявол, вопло-

тившийся в адъютанта княгини, чтобы искусить человечество неслыханным соблазном, так же как и тот, кто ведет победные войска, шумит знаменами и маршами миллионных армий затаптывает европейские поля.

Княгиня аплодировала. Она разорвала перчатку и бросила на пол, продолжая аплодировать обнаженной рукой. Ее супруг наклонился, чтобы поднять перчатку, и услышал негодующий шепот:

— Сейчас же выгоните вон этого лакея. Я послала патент на чин капитана гвардии только для того, чтобы показать свою милость, а он уже успел надеть этот мундир, он не знает этикета, этот выскочка.

И как бы в ответ на эту мысль вместе с новым появлением Паганини на сцене раздался крик:

— Маэстро, снимите лакейскую ливрею!

Паганини слегка пошатнулся. Неосторожно зацепив смычком за пульт, он уронил ноты, и они полетели в зал, упав перед креслами первого ряда. Вторую пьесу Паганини играл без нот, но — опять неосторожное движение во время игры, падает пюпитр и с треском гаснут свечи, но — что за чудо! — скрипка мгновенно воспроизводит и эти звуки с таким волшебством, что все движения Паганини кажутся преднамеренными и исполненными по программе. Публика, испуганная и замороженная, подавила свое негодование. Зал был покорен искусством скрипача и примирился с его выходкой.

После окончания программы княгиня продолжала аплодировать. Ее адъютант взбежал на эстраду, подошел к Паганини и произнес:

— Ее светлость приказывает вам немедленно покинуть зал, переодеться в черный гражданский фрак и вернуться.

Паганини, откинув голову назад, с гордостью сказал:

— У меня есть патент, мне присвоена эта форма.

Гвардейский полковник, обращаясь к нему, не назвал его капитаном, это тоже бесило Паганини. Он смеялся над самим собой, но, бросая какой-то вызов судьбе, дерзко глядя в глаза полковнику, говорил:

— Как вы смеете не называть меня капитаном?

Паганини поручил охрану своей скрипки молодому музыканту из оркестра; спустившись с эстрады, большими шагами прошел в зал и, беря то одного, то другого из своих друзей под руку, кивками головы отвечал на поклоны и рукоплескания. Худой, с выдающимися лопат-

ками, острыми плечами, он ходил, плавно покачиваясь, словно бросая вызов княгине, которая старалась замаскировать свое волнение разговором с окружавшими ее дамами.

Фрейлина подняла руку. Французский офицер, стоявший рядом с княгиней, торжественно возгласил:

— Его величество император Наполеон в день своего рождения провозглашает княгиню Баччокки великой герцогиней великого герцогства Тосканского. Ее высочество будет иметь пребывание в городе Флоренции.

Оркестр покрыл последние слова. Громкие крики приветствий раздались в зале. Паганини ощутил около своего уха легкое движение и оглянулся. Фрейлина насмешливо и лукаво шепнула ему:

— Синьор Паганини, ее светлость приказала вам немедленно удалиться.

Паганини низко поклонился и протянул руку фрейлине. Взяв ее левую руку, он одновременно взял и правую, поднес обе ее руки к губам и долго не отпускал.

Начался бал. Герцогиня Тосканская с негодованием смотрела на Паганини, танцевавшего в третьей паре с фрейлиной, но ни одним резким движением не выдала себя, боясь уронить свое достоинство.

Весь вечер Паганини был чрезвычайно весел. К герцогине он не подошел ни разу.

За несколько минут до того, как по придворному этикету герцогиня должна была сделать последний поклон гостям и удалиться, Паганини исчез из зала.

Прошло три часа, по северной дороге катилась карета.

«Жаль, что нет Гарриса,— думал Паганини,— не с кем посмеяться в дороге». Гаррис не отвечал на письма. Какой политический ветер и в какую сторону уносил Гарриса?

Как ни старался Паганини закутаться в дорожный плащ и сесть поглубже в угол кареты, старания остаться неузнанным оказались напрасными: на станции Брешиа к путешествующим присоединился Луиджи Таризио, который сразу узнал Паганини и выдал его инкогнито всей восьмерке пассажиров мальпоста.

Синьор Таризио производил впечатление опытного путешественника, человека, родившегося и живущего в мальпосте. Плоские полированные ящики, исцарапанные, поношенные, с тяжелыми замками, заполняли весь импе-

риал кареты. Дорожный костюм синьора дополняли пистолет за поясом, фляга с вином на ремне, большой клетчатый шарф и широкая шляпа. Трудно было понять, кто это — Жан Барт, или флибустьер времен «Короля-Солнца», или итальянский скрипичный барышник, каким на самом деле был синьор Луиджи Таризио. Таризио совершал свою шестьдесят пятую поездку из Италии во Францию. Его целью был Париж. Этот приветливый человек с тихим голосом оказался очень милым попутчиком. Он знал по имени всех веттурино, он знал клички всех лошадей, знал, когда, в какой кузнице производилась починка кареты, — не говоря уж о том, что ему были наизусть известны города, станции, деревни, имена святых — покровителей той или другой местности. Ему достаточно было услышать звон колоколов какой-либо церкви, чтобы тотчас же сказать, как эта церковь называется.

Таризио объезжал итальянские монастыри, заводил знакомства с дирижерами оркестров в городах, с регентами, руководителями церковных хоров в деревнях, селах, местечках, осматривал и скупал оставшееся от упраздненных монастырей имущество, и так как всюду у него были агенты и друзья, то ему в назначенный срок уже выносили на остановку мальпоста интересовавшие его вещи. Он тут же, в ожидании, пока перепрягут лошадей, торговался с продавцом. Сразу чувствовались в нем острый глаз, ловкие руки, здоровье человека, всегда находящегося на воздухе. Ясные голубые глаза, ловкие заученные обороты речи человека, которому необходимо со всеми быть в дружбе, помогали ему покупать скрипки за бесценок.

Ночью ли, днем ли синьор Таризио во время перепряжек и пересадок всегда сам переносил все свое имущество, сам покрывал промасленной тканью верх кареты, завязывал узлы джутовых бечевки. В тех местах, где нарочито придирчивые доганьеры осматривали багаж путешественников, он выходил из мальпоста. «В Италии таможенные границы почти на каждом шагу», — говорили тогда французские офицеры. Во всяком случае каждое мелкое владение этой страны, превращенное в имущество безработных принцев Европы, непременно имело свою таможню. И синьор Таризио прекрасно знал имя, фамилию, родственные связи каждого доганьера.

Если большие фьяски красного или белого дженцано попадали на пограничную таможенную транспаданской жандармерии, то владельцу лучше было просто разбить бутылку или выпить ее со случайными попутчиками в дилижансе. Недаром тысячи бочек наилучшего кьянти были вылиты тосканскими виноделами в силу того, что торговать вином с соседями было невозможно, а выпить такое громадное количество вина было не под силу тосканскому населению. Враждующие между собой мелкие государства, княжества, герцогства, графства отгораживались друг от друга щетиной жандармских штыков, над всем тяготела австрийская паспортная система, и, однако, все оказывалось бессильным, когда дилижанс синьора Таризио переходил через границу.

Честный коммерсант ухитрялся не только проезжать сам со своими скрипками, но и провозить добрых друзей, которые иногда переправляли совсем предосудительные вещи за границу Тосканского герцогства. Самым страшным грузом были мешочки с частной корреспонденцией, попавшей в руки конспираторов почтовых контор. Тысяча или две запечатанных писем могли обеспечить такому путешественнику конец жизни в глубоком мантуанском колодце или в секретной камере далекого моравского замка Шпильберг.

Опытные путешественники знали, что в дилижансе, который занял синьор Таризио, можно ехать спокойно. Как это ни странно, торговец скрипками не был занесен в таможенные списки австрийскими властями: быть может потому, что единственный на всю Италию комиссионер европейских оркестров, опер, придворных капелл, синьор Таризио еще не попал в поле зрения австрийской жандармерии. А может быть, какая-нибудь другая бабушка тогдашней истории ворожила своему почтительному внуку. Но так или иначе, синьор Таризио беспрепятственно проезжал все доганы. Доганьеры были довольны уже тем, что скрипки, не являвшиеся запрещенным товаром, оплачивались синьором Таризио при переезде границы гораздо лучше, чем оплачивали свое дрянное кислое вино итальянские купцы, переезжающие через мостик на свадебную пирушку к своему соседу за рекой.

Синьор Таризио покупал в Тироле скрипки старинных немецких мастеров, и сейчас Тироль был главным этапным пунктом его пути на Париж. Синьор Таризио с величайшей болтливостью рассказывал своим спутникам

о жизни Парижа. Он рассказывал о Крейцере, о замечательном человеке, господине Байо:

— Это — властитель современного скрипичного мастерства. Это человек, обладающий всеми тайнами скрипичного искусства.

— Байо? — переспросил Паганини. — Мне говорили, что в Париже находится лучшая коллекция скрипок в мире и что Байо начал свою музыкальную жизнь придворным скрипачом Людовика Шестнадцатого, казненного французского короля, а теперь — первый придворный скрипач императора Наполеона.

Таризио кивал головой.

— Коллекция скрипок исчезла, — сказал он. — И если бы не воля нынешнего императора Франции, который прикинулся революционером, в то время как был послушным орудием божественного провидения, то, конечно, погибли бы великие искусства Франции.

Таризио говорил гладко, закругленными, красивыми фразами. Паганини с любопытством и интересом наблюдал за речью и движениями этого человека.

В промежутке между Пизой и Флоренцией, когда утомление после качки на горных дорогах дало себя чувствовать, пассажиров стало клонить ко сну. Синьор Таризио закрыл было глаза, но потом, по-видимому, привычка воздерживаться днем от сна взяла свое. Паганини заметил, как внимательно он выглянул в верхнее окошечко дилижанса, посмотрел в лицо заднему форейтору и потом, словно успокоившись, достал книгу в кожаном переплете с золотым обрезом и медными застежками. Паганини прочел заглавие, украшенное киноварью и золотом. Это была *«Книга Сивиллы о переменах земли, пополненная Цигеновыми известиями о предстоящих великих переменах на земном круге»*.

«Этот синьор, — подумал Паганини, — не так прост, как он это хочет показать!»

И действительно, сумев поддержать беседу с синьором Таризио, Паганини убедился, что это далеко не простой комиссионер. Синьор Таризио ставил все события европейской истории в связь с переменами, происходящими под корой земного шара, и с движением планет и созвездий. Заметив интерес Паганини к тому, что он читает, он отметил ногтем страницу и передал ему книгу.

— Обратите внимание, синьор, — говорил он, — что за последние три столетия великие наводнения посетили

Рим, Тибр вылился из берегов и уничтожил домовладения на всем своем пути. Обратите внимание на то, что в тысяча семьсот семьдесят втором году дождь шел без перерыва хотя бы на минуту в течение целых пяти месяцев. А особенно обратите внимание на то, что в наших апеннинских странах великие землетрясения предшествуют потрясениям политическим. Ежели вчера вы были на вершине, то завтра вы можете оказаться в пропасти. Ведь самые поверхности гор и морей меняются. Одни становятся выше, другие ниже. Морское дно внезапно поднимается на высоту величайших вершин, и морские чудовища, внезапно обнаруженные волею божественного произволения, делаются видимыми. Правда, они умирают, но души их вселяются во властителей. Вот по чему на таких местах, осушенных и происшедших из дна морского, бывают наиболее тиранические и преступные правители. Они как будто являются на смену высокогорному населению, которое в душе своей взрастило дьявольскую гордыню и забыло о смирении перед божественным милосердием. Припомните, что двадцать лет тому назад по всей Италии, от Сицилии до Истрии и даже до Триеста, гибли целые города, сотни жителей были убиты разрушением домов при землетрясении. Погибла Мессина, от этого великого и прекрасного города ничего не осталось,— все погибло в течение шести минут. Из трехсот семидесяти пяти городов и деревень, составляющих Калабрию, погибло триста двадцать, причем сто тридцать селений просто исчезли под землей. Что же говорить нам, простым людям, которые бывают уносимы вихрями истории и исчезают безвозвратно, когда целые царства и города ниспровергаются, гибнут короли, возносятся ничтожества! Недаром в Писании сказано: «Низвергнутся сильные с престолов, и смиренные будут превознесены».

«Не похоже на то, чтобы синьор Бонапарт был смиренным»,—подумал Паганини.

Подъезжали к воротам Флоренции. Наступал вечер, нежные голоса колоколов разливались по долине. Скрипя и переваливаясь, двигались по пыльной дороге повозки на огромных колесах.

Внезапно внимание Паганини привлек громкий звук рожка настигающей их кареты.

Маленький элегантный экипаж английского образца, запряженный четверкой, обогнал неуклюжий мальпост и,

словно нарочно, перед самой заставой, расположенной внизу, на склоне горы, остановился поперек дороги, загородив путь. Этот маневр мгновенно вызвал у Паганини мысль о погоне. Действительно, мальпосту пришлось остановиться. Паганини закутался в плащ, надвинул шляпу на самые брови и попросил синьора Таризио сказать, если будут спрашивать синьора Паганини, что такого здесь нет. Но все предосторожности оказались тщетными.

Синьора Бельджойозо сумела так повести атаку, что не было никакой возможности сопротивляться. Чтобы не попасть в смешное положение, надо было скинуть плащ и снять шляпу.

Синьора заявила, что ее высочество герцогиня Тосканская согласна простить синьора Паганини и никогда не напоминать ему о совершенном им дерзком поступке, но...

Паганини при виде дамы, которая сделала непозволительный с точки зрения этикета жест, сама выйдя из кареты и подойдя к мальпосту, должен был выйти к ней и объясниться. Он чувствовал себя очень неловко. Синьора была умной женщиной, она понимала всю трудность положения, в которое поставлен Паганини, и смеялась над ним звонким и беспощадным смехом. Паганини отвечал ей в тон, сам шутил над собой. Однако он убедился, что с этой женщиной нельзя быть откровенным, и поэтому заявил, что он, конечно, вернется, но ему нужно оправиться от испуга, вызванного внезапным гневом герцогини. Паганини остановился на минуту, чтобы посмотреть на эффект своих слов. Видя недоверчивый взгляд синьоры, он заговорил мягко и вкрадчиво.

— Служить ее высочеству для меня, конечно, высшее счастье из всех возможных на земле,— сказал Паганини.— Но я дам во Флоренции десять концертов и после этого — вернусь. Согласитесь сами, что нужен некоторый промежуток времени, чтобы мне загладить свой проступок перед ее высочеством.

Слова синьора Таризио о переменах на земном шаре, о возвышениях и понижениях морского дна и горных вершин не выходили из головы Паганини. Возвращение в Лукку его отнюдь не привлекало. Но, с другой стороны, великая герцогиня несомненно в ближайшее время прибудет во Флоренцию. И внезапно голову Паганини озаорила блестящая мысль. Он сказал посланнице герцогини:

— Передайте ее высочеству, что я покорным слугою жду ее прибытия во Флоренцию.

Паганини вынул записную книжку, конверт.

Вырвав листок, он написал несколько строчек и, не запечатывая конверта, вручил письмо синьоре. Мир был заключен.

Мальпост вновь двинулся вперед. Синьор Таризио сладко зевнул, предчувствуя возможность тихого и спокойного отдыха в гостинице.

Решив из осторожности прочесть письмо, синьора Бельджойозо пришла в ярость. Паганини писал: «Я счастлив служить вашему высочеству до гробовой доски, но происшедшее настолько меня потрясло, что самый меньший срок, необходимый для забвения, я определяю в восемьдесят или девяносто лет. В течение этого времени я не буду иметь великого счастья видеть ваше высочество». Синьора Бельджойозо немедленно уничтожила эту записку. Она знала, что Паганини сдержит свое обещание, что Флоренция будет для него случайным местом перепряжки лошадей и что новоиспеченная герцогиня никогда больше не увидит своего дирижера. «Соловья не нужно держать в клетке,—подумала синьора Бельджойозо.—Жаль, это было настоящим украшением нашего города. Что сделается с бедной...» Она вспомнила тайную подругу Паганини, о связи которой со знаменитым скрипачом внезапно заговорила вся Лукка.

Паганини не знал, куда направить свой путь из Флоренции. После долгих колебаний он решил двинуться на север. Он еле боролся с подавившей его усталостью, просыпаясь и вновь задремывая в карете.

Проснувшись поздно ночью перед подъездом маленькой прибрежной гостиницы, он услышал шум моря и свист морского ветра, залетевшего в открытое окно.

Звезды и луна освещали седые гребни волн.

Следующее ясное воспоминание: перед ним совершенно незнакомые люди, один держит мокрое полотенце, пропитанное уксусом, другой, очевидно, считает удары пульса.

— Ну как, вам лучше?—слышит Паганини голос склонившегося над ним человека.—Вы вне всякой опасности, но вам нужен полный покой, у вас нервическая лихорадка.

— Кто вы?—спросил Паганини.—Где мы находимся?

— Я—доктор и такой же путешественник, как вы.

Гостиница эта носит название «Гостиницы четырех ветров», мальпост идет через десять часов. Постарайтесь к этому времени собраться с силами.

Стакан крепкого виноградного вина помог Паганини осуществить предписание врача. Через час он был вполне здоров.

Вглядываясь в лицо рыжеволосого спутника врача, Паганини все более убеждался, что он где-то уже видел этого человека. Но, по-видимому, произошли какие-то большие перемены во внешности этого незнакомца. Попутчики были нелюбопытны, это не располагало и Паганини к расспросам. В разговоре они по имени друг друга не называли. Говорили же они о вещах, которые, по-видимому, чрезвычайно интересовали обоих — о Лионском съезде нотаблей, который они называли то съездом нотаблей, то Лионской консультой; о том, что Италия вновь почувствовала на себе всю тяжесть лжи Бонапарта, этого похитителя французской свободы, который стремился теперь установить рабство в Италии; о провозглашении Евгения Богарне, пасынка Наполеона, вице-королем Италии.

Они говорили так, как будто Паганини вовсе не было в комнате. Было похоже, словно эти два человека съехались из разных мест и торопятся сообщить друг другу все сведения, которые им удалось собрать.

С утренней зарей раздался звук почтового рожка, и миланский мальпост, запыленный и грязный, вкатился во двор.

Когда незнакомцы узнали, что Паганини решил ехать в Милан, они выразили свое удовольствие по поводу того, что «величайший скрипач мира», как они называли Паганини, будет их попутчиком.

Паганини объявил в Милане о концерте. Вторично ему пришлось пожалеть об отсутствии Гарриса, так умело помогавшего ему в этих делах.

За два дня до концерта он снова встретился с случайными попутчиками. Они пригласили его отправиться с ними в деревню Бинасио. Выехав из Милана верхом, в Бинасио они отдали лошадей огромному чернобородому крестьянину с физиономией разбойника и отправились пешком по маленькой тропинке, ведущей в близлежащую деревню.

Паганини наконец узнал имя рыжего гиганта. Это был старый приятель его учителя Фердинанда Паера, Уго

Фосколо. Доктор оказался знаменитым миланским врачом Джузеппе Паскарелли.

На зов колокола в лесу собралось несколько человек. Отвалили большой камень, нашли яму. Разрыли на дне ее свежую, очевидно недавно заваленную, листву. Подняли железную дверь. Зажгли восковую свечу, закрученную спиралью на металлической трости (Паганини впервые видел это старинное осветительное приспособление). В подземелье десятки таких жезлов лежали на полке вместе с небольшими сетчатыми колпачками, которые предохраняли пламя от случайных порывов воздуха и от соприкосновения с легко загорающимися предметами — занавесками, портьерами, украшавшими, как это ни странно, своеобразное подземное жилище этих людей.

Значок, подаренный когда-то Паганини синьором Франческо Ньекко, вдруг приобрел новую цену. По правилам секретного братства, этот значок, преподнесенный братом старшей степени, через известный промежуток времени давал обладателю его право перешагнуть одну ступень посвящения.

Так вот они, лесные братья, так вот эта удивительная организация. Вот куда ведут рассказы о подземном Риме, о колодцах и кровлях, о тайных ходах, о лесных жилищах на мысе Моргана, об ущельях Калабрии, о сицилийских пещерах, заливаемых морским приливом и совершенно недоступных, об исчезновении у берегов подозрительных лодок, за которыми гнались быстроходные боты англичан, австрийские полицейские лодки и кораблики папских жандармов!

Ветка белой акации, лежавшая на столе в полутемном коридоре, между двумя разветвлениями подземного хода, была вручена одному из присутствующих. Паганини узнал тут же, что вручение белой ветки акации у карбонариев имело значение особого доверия. Брат карбонарий, получивший такой знак отличия, был связан тайным поручением, находился под особым надзором братства. Знак белой акации поручал ему осуществление в условленное время казни коронованного тирана. С того момента, как он прикасался рукой к ветке белой акации, человек не принадлежал себе и терял возможность выйти из карбонарского братства. Да и вообще, войдя в узкие двери лачуги угольщиков, выйти оттуда было уже невозможно. Жизнь человека, вступившего в это братство,

становилась необычайно яркой, если он находил здесь свое призвание. Но, как говорил старший венерабль, «легко поднять, но тяжело нести». Гибель поклажи была гибелью носильщика.

Кардинал Руффо вырезал тринадцать тысяч карбонариев, тысячи республиканцев южных городов были брошены в тюрьмы, где священнослужители заботливо приближали смертный час заключенных.

— ...Наполеоновский кодекс с первого января переведен на итальянский язык и применяется теперь в качестве основных законов нашей Италии. Делегация миланских олов, отобранных лакеем Бонапарта, Саличетти, выехала в Париж на коронацию корсиканского проходимца короной Италии. В состав этой делегации входит человек, служивший первоначально Австрии, шпион и тайный иезуит, некий Нови. Этот человек повез с собой протокол со списками новых организаций масонских лож Италии. Нови требует, чтобы правительство взяло под контроль тайные общества, но не разрушало бы организации карбонариев, а возглавило ее, чтобы в каждой секретной организации, в каждом тайном итальянском обществе главная роль принадлежала лицам, состоящим на службе у его величества. Этим лицам должна быть предоставлена широкая возможность организовывать новые масонские ложи и обеспечивать широкое развитие тайных организаций для уловления колеблющейся итальянской молодежи и для выяснения настоящего настроения ее, чтобы вовремя пресекать могущие возникнуть заговоры.

Говоривший сделал перерыв. Все переглянулись: весть была тревожная. Нови — каноник генуэзского собора, он переехал в Милан, говорили, что он тайный иезуит, но он выказал себя приверженцем французских властей...

— Как же это может быть, — заговорил кто-то, — чтобы человек, принадлежащий к иезуитскому ордену, представил такую записку императору французов? Да и примет ли Наполеон какого-то каноника из Генуи?

— Примет! — сказал докладчик. — К этому сейчас я и перехожу. Прежде всего обратите внимание на то, что наши главные враги, иезуиты, давно уже применяют гораздо более тонкие способы тайного соединения людей.

— Нет, Паскарелли, нет,—резко ответил молодой голос.—Наша организация гораздо более древняя, ее родоначальники ведут свое происхождение...

— Знаю,—перебил доктор Паскарелли.—Меня интересуют не ребяческие рассказы, а серьезное дело. Я хочу сказать, что в ту пору, когда французские купцы начали торговлю с Китаем через Левант, французские миссионеры взялись за обращение в католичество наиболее знатного китайского населения, и для этой цели до сотни старинных китайских обрядов было допущено в качестве законных и разрешенных католической церковью. Как вам известно, духовник Людовика Четырнадцатого, отец Мишель Телье, был автором знаменитой книги о культе Конфуция. Он причислил этого китайского философа к лику святых католической церкви и тем спас положение в городах, где иезуиты крепко запустили свои когти. Припомните, как эти люди печатали в наших типографиях портреты Игнатия Лойолы и изображения римского первосвященника. Оба портрета сделаны так, как будто их рисовали китайцы. У папы и у основателя ордена иезуитов — раскосые глаза и длинные свисающие усы. Теперь, после конкордата, может оказаться, что Наполеон будет причислен к лику святых и изображен в виде прямого ученика и даже родного брата Игнатия Лойолы. Я считаю положение серьезным.

К этому времени Италия насчитывала уже около трехсот тысяч карбонариев во всех слоях населения. Известие о готовящемся плане иезуитов крайне обеспокоило слушавших доклад доктора Паскарелли. Восемь человек, собравшихся здесь, уже прикидывали с тревогой, кто же явится к ним под видом добрых друзей и приверженцев масонского карбонаризма. Правда, еще не настало время, когда собравшиеся ради дела революции настороженно будут глядеть друг другу в глаза, каждый подозревая соседа в предательстве. Но огромного успеха иезуиты достигли уже и тем, что пущен слух о возможности предательства в организации. Это создает тревогу, и как бы ни была выкована железная воля подпольщика, эта тревога является лишним добавлением к тяжести его революционного долга.

Одним из этих восьми человек был скрипач Никколо Паганини. Что делать ему в этом странном обществе? Какое отношение его искусство имеет к искусству подпольной революционной борьбы? Но вот синьоры Бурат-

ти и Конфалоньери выступили с предложением, которое показало, что все было в достаточной степени обдумано и взвешено. Они обратились к венераблю, синьору Паскарелли, с указанием на то, что синьор Фосколо недолго еще пробудет в Италии, что после этого года ему предстоит ряд лет прожить в Швейцарии, а быть может, судьба перекинет его еще дальше, ему придется жить на Британских островах, где он поможет итальянскому банкиру, являющемуся членом общества, сноситься с братьями на территории Апеннинского полуострова. Выбывает тот, кто отличался наибольшей подвижностью и чьи путешествия всегда оказывались так полезны. Кто из оставшихся может теперь путешествовать из города в город, не возбуждая подозрений, кому открыты двери дворцов и богатых домов, кому обеспечена возможность открыто выступать перед массой людей, выбрать трех-четырех собеседников, которые под видом делегации от города смогут легко установить связь с любой городской группой любого города Италии? Конечно, скрипач с знаменитым именем, профессия которого требует переездов из города в город, открытых выступлений и общения со множеством людей всякого сословия. Так как он сам захотел соединить два искусства в одном, так как он свое великое служение музыке посвятил итальянскому народу, то мы должны дать ему наше братское поручение в ответ на его братскую клятву. Когда понадобится, синьор Паганини может выступить под чужой фамилией. Там, где его не знают как скрипача, он будет иметь полную возможность и не быть синьором Паганини.

Глава восемнадцатая

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прошел год со времени миланской встречи. По всей Италии гремело имя знаменитого скрипача. В Риме каждый концерт увеличивал число страстных почитателей его таланта.

И к чести карбонарской организации надо сказать что никто из тысяч людей, отдававших дань восхищения ему как скрипачу и не посвященных в тайну его двойной жизни, не подозревал, что этого человека часто можно видеть пробирающимся вечерами к холму Пинчьо, месту,

где происходили конспиративные встречи новых друзей Паганини.

Однажды он возвращался с очередного сблища. Речи товарищей еще звучали у него в ушах, их мысли еще возбуждали и волновали его мозг.

Тихо угасал день, и разгоралась над городом заря; был тот особый римский вечер, розовато-пурпурный и сизый, когда поднимающаяся над городом вечерняя тончайшая пыль золотится под косыми лучами солнца. Паганини смотрел туда, где в сизой дымке возвышается Капитолий. Он увидел на дальней площадке красных драгун на белых лошадях, голубых гусар с золотыми киверами. Красные, голубые, зеленые, желтые пятна проходили в дымке римского вечера, словно нарисованные тончайшими водяными красками. Прозрачные, легкие, призрачные, как водоросли, эти цветные расплывчатые пятна двигались и проходили. Паганини любил, поднявшись на гребень крутой горы, смотреть на обломки древнего Рима. Три колонны на Форуме, развалины палатинских домов, дальше огромная триумфальная арка, сосна рядом с нею и позолоченные вечерним солнцем тяжелые очертания Колизея. Где-то совсем вдали, за грудками камней, к которым прилепились домишки римской бедноты, синели Сабинские горы. Рим—это слово всегда вызывало трепетное волнение в душе Паганини, а сейчас разговор с друзьями, проникновенные слова молодого карбонария Россетти наполнили его душу новым вдохновением.

Он шел, глядя на крыши домов, следя за полетом голубей в высоком и чистом небе. Слова Россетти о том, что они, карбонарии, образовали союз новых аргонатов, что им предстоит большой и опасный путь, прежде чем они добудут золотое руно человеческого счастья и свободы Италии, рождали в нем целый ряд образов.

Конфалоньери и свирепый прямолинейный Конобьянко казались ему гениями новой эпохи, себя он видел Орфеем на борту таинственного корабля «Арго». Видение солнечной золотой Колхиды, новой свободной Италии, вдохновляло их на борьбу. Конфалоньери был Язоном. Италия в победах должна была вырвать у Наполеона драконовы зубы. Новый Язон рассеет их по всей Италии, и как в далекой Колхиде аргонатов из этих посеянных в землю зубов дракона рождались воины, так и здесь

возникнут новые и новые сонмы вооруженных борцов за счастье Италии.

Вечерняя роса блестела на траве, и внезапно Паганини охватило неприятное ощущение сырости воздуха. Заблестевшая роса показалась ему всходами стальных копий. Стальная щетина быстро покрыла поле, потом появились каски и шлемы, за ними поднялись из-под земли головы и плечи—и вот люди, вооруженные с головы до ног, с мечами, щитами и копьями, задвигались, загремели оружием так, что от грома их поступи застонала и закричала земля.

«Новый век родился в крови и железе»,—писал Уго Фосколо. Наступала эпоха больших боев.

Около гробницы Цецилии Метеллы Паганини свернул с дороги и направился к кустарникам. Наклонившись к земле, он топнул ногой и медленно стал отваливать каменную плиту. Заспанный черноволосый человек встретил его, спросил условный девиз и снова завалил ход.

Паганини, усталый от дневных тревог, лег на соломенный матрац, зажег старинный масляный ночник. Из ниши, украшенной изображением доброго пастыря с овцой на шее, он достал листки нотной бумаги. В эту ночь он кончил карбонарскую сюиту «Посев Язона».

В Риме, на карнавале, был единственный раз сыгран этот шедевр. В Риме, на карнавале, Паганини впервые понял, что он достиг совершенства. Каждое выступление до сих пор было ступенью исполинской лестницы. И вот наконец он стоит на вершине,—неслыханно трудный путь наконец позади.

Вся последующая жизнь рисовалась теперь Паганини как жизнь человека, высоко поднявшегося над обычным уровнем. Выступления становились для него жертвоприношениями жреца, постигшего отсутствие тайны в своей религии. Не было трудностей во всей мировой музыке, с которыми он не справился бы. Игра для него приобрела тот двойной смысл, который имеет это слово на языке детей и на языке взрослых, с той только разницей, что, помимо наслаждения от игры как высокого применения скрипичного мастерства перед публикой и помимо игры как легкого и счастливого овладения игрушкой, у него появилась забота, которой он раньше не знал. Он стал учитывать затрату жизненных сил. Выступления не отягощали его, но просто он стал как бы отсчитывать количество энергии, потраченной на каждый концерт. Он

уходил с эстрады, не ощущая усталости, но и без того радостного возбуждения, которое всегда сопровождало его концерты в Лукке.

Последний концерт в Риме сопровождался новым триумфом. Он был дан в пятницу, в день, когда католическая церковь запрещает концертные выступления. Паганини пользовался такой благосклонностью людей, имеющих силу при дворе папы, что, как это ни странно, разрешение было дано и концерт состоялся. Достаточно оказалось простой просьбы Паганини, заявившего о том, что на следующий день он должен уехать.

Перед концертом у него собрались друзья, которые обыкновенно сопровождали его от гостиницы до зала. Один из его римских друзей говорил ему, что пора приняться за создание большой оперы, такой оперы, в которой скрипка имела бы такое же значение, как человеческий голос, и что первую оперу Паганини должен написать, несомненно, в Риме. Паганини удивился: почему в Риме?

— Опера, которая пишется по заказу какого-нибудь города, должна быть написана в этом городе,—заявил собеседник.—Вспомните великого Чимарозу: он всегда писал оперу в том городе, который эту оперу ставил.

— Да, но я собираюсь уезжать,—сказал Паганини,—и вряд ли когда-нибудь возьмусь за писание опер.

— Во всяком случае,—сказал собеседник,—вот вам наши пожелания: здесь и тема и заказ.

Он вручил Паганини несколько нотных листков. Паганини смотрел с удивлением на этого человека. Около канделябра стояли двое других собеседников и маленькими глотками пили кофе. Паганини взглянул на врученную ему бумагу и быстро закрыл листы. Его знакомый шепнул ему:

— За этим заказом придут на первом вашем концерте во Флоренции, не потеряйте.

Потом, как ни в чем не бывало, он продолжал разговор о Чимарозе. Он говорил, что целиком подтвердились сведения об отравлении великого музыканта.

Создатель оперы «Тайный брак» принадлежал к карбонариям и в 1798 году поднял восстание против неаполитанского короля во имя свободы Италии. Ему было почти пятьдесят лет, когда он вступил на попрание ниспровергателя королей. Он был схвачен и посажен в тюрьму. Его казнь была бы неизбежна, если бы не

пошатнулось в это время положение короля Фердинанда. Боясь огласки и молвы, король решил освободить Чимарозу. В ожидании пересмотра своего дела Чимароза бежал в Россию. Жизнь там, в этой дикой стране, где нельзя появиться на улице без шубы, была для него очень тяжела. Чимароза вернулся в Италию. Королева Каролина решила во что бы то ни стало не допускать Чимарозу в венецианские владения и прибегла к предательскому средству. Четыре капли венецианского яда покончили жизнь великого музыканта в Венеции в 1801 году.

— Так это правда? — воскликнул Паганини.

— Правда. Все лучшие люди Италии приняли участие в нашем движении. Сейчас нет ни одного полка, ни одной роты, ни одного эскадрона, в которых у нас не было бы своих людей.

В это время подошел молодой скрипач Паизьелло. Собеседник Паганини умолк. Паганини приготовил ноты, взял скрипку и вместе с провожатым пошел в концертный зал. Успех был полный. Раскланиваясь, Паганини с ужасом увидел, что двое папских жандармов вошли в зрительный зал и схватили человека, провожавшего его на концерт. Паганини раскланивался, не выпуская из рук нотных тетрадей, свернутых в трубку.

Когда он вернулся домой, он увидел привратника, стоявшего у входа в гостиницу. Привратник стучал большим ключом по ладони и быстро поворачивал ее. Ключ ударял по костяшкам, но, казалось, человек не чувствовал боли. Пронизывающим взглядом он не отрываясь смотрел на Паганини.

В комнате все было в беспорядке. Кто-то рылся, кто-то перерыл все сверху донизу и напрасно пытался скрыть следы своего пребывания, стараясь расставить вещи по местам. Была поздняя ночь. Паганини вдруг почувствовал страх. Он зажег свечу, тщательно запер двери, раскрыл грязную нотную тетрадь и прочитал на листке нотной бумаги, которую вручили ему под видом заказа, список папских шпионов, посланных на работу в карбонарские венты. Документ вполне достаточный для того, чтобы Паганини очутился в Замке святого ангела.

Надо было бежать, но исчезновение ночью могло вызвать большие подозрения у полиции, и Паганини, взяв себя в руки, решил спокойно дожидаться утра. Однако лег он не раздеваясь. Под утро раздался стук. Паганини привскочил. Скрипнула кровать, и было уже

слишком поздно притворяться спящим. Он бросил быстрый взгляд на окно. Оно было закрыто ставнями снаружи. Стук в дверь возобновился. Паганини поднялся, тихо подошел к двери и с бьющимся сердцем стал около нее. «Так кончилась моя музыкальная судьба», — думал он. Он взял трость, с которой никогда не расставался, повернул головку ее в левую сторону и вынул тонкий длинный четырехгранный стилет. «Жаль, что придется оставить скрипку Гварнери!» Он решил отпереть дверь и быстрым ударом стилета проложить себе дорогу, потом бежать. Он не знал еще, куда бежать, но решил, что если он успеет добежать до Испанской лестницы, то звонарь Тринита деи Монти, несомненно, окажет ему приют и укроет его сначала в саду, потом где-нибудь еще. Все эти мысли промелькнули в одну секунду. Вдруг раздался звонкий и сильный голос:

— Синьор, лошади готовы.

Неведомый друг позаботился о скорейшем отъезде Паганини. Громко зевнув, Паганини сказал:

— Я еще не выспался.

Быстрым движением убрав стилет, он открыл дверь. Незнакомый человек предложил ему помочь вынести вещи. «Вот уже арест,— подумал Паганини.— Это, несомненно, шпион».

Скрипка и нотные тетради остались в руках у Паганини. Все остальные вещи были взяты этим непрошеным провожатым. Выйдя, Паганини увидел маленькую коляску, запряженную парой крепких и сильных лошадок.

— Как, мы едем вдвоем? — спросил Паганини.

— Да, синьор, так мне приказано.

Заспанный хозяин гостиницы получил деньги, пожелал Паганини доброго пути и, не тратя лишних слов, ушел к себе.

Во Флоренцию прибыли благополучно. При расставании спутник Паганини оставил ему свой адрес и сказал, что может сопровождать его дальше на север, так как, по-видимому, синьор надолго не задержится во Флоренции.

Великая герцогиня Тосканская была на вершине власти, но Паганини сделал новую бестактность: он не появился при дворе, а, как обычно, просто заявил властям о намерении дать в городе концерт. К большому его удивлению, предложение было встречено без энтузиазма, несмотря на то что во Флоренции Паганини всегда

пользовался таким огромным успехом. Ему было указано, что он может рассчитывать на разрешение при условии, что останется на службе у ее высочества. Паганини ответил категорическим отказом. Тогда ему дали понять, что во владениях ее высочества устраивать его концерт неудобно.

Встретившись с друзьями, узнав все флорентинские новости, Паганини был поражен движением наполеоновской армии. До Рима не доходило никаких слухов, там запрещалось печатание газет, там так трепетали перед римским папой и перед французским императором, что трудно было разобрать, где кончается одна власть и где начинается другая.

— Мое положение было тем хуже, что я не признавал ни той, ни другой,—говорил друзьям Паганини.

— ...Однако мне трудно обойтись без концерта во Флоренции,—произнес он под конец, отвечая скорее на собственные мысли. Но эти мысли были поняты старым флорентинским художником Мишателли, который, подойдя к Паганини в упор, сказал ему:

— Я могу помочь вам и без концерта. Приходите ко мне спокойно.

— Как это сделать?

— Приходите ко мне вечером и дайте маленький концерт.

Паганини успел сыграть только сонату «Наполеон». Этого было достаточно, чтобы собрать огромную толпу народа под окнами Мишателли. Потом пришел капитан гвардии, как нарочно одетый точно так, как в свое время неосторожно оделся Паганини в тот злополучный вечер, когда он вызвал гнев княгини Баччокки. Капитан приказал синьору Паганини прекратить игру во владениях ее высочества.

Прощаясь с Мишателли, Паганини был остановлен у выхода. Сын Мишателли, офицер наполеоновской армии, лечившийся во Флоренции после ранения, подошел к скрипачу и тихо сказал ему:

— Известно ли вам, что месяц тому назад синьор Франческо Ньекко отравлен в Венеции?

— Как отравлен?!—У Паганини закружилась голова, он должен был схватиться за притолоку, чтобы не упасть.

— Да, есть подозрение в том, что смерть произошла от яда.

— Да расскажите же, как все это было! — воскликнул Паганини.

Но в эту минуту он в слуге синьора Мишателли узнал своего спутника, увезшего его из Рима. С навязчивостью, которая начала пугать Паганини, этот молодец подошел к нему и сказал:

— Синьор, ваши вещи погружены, вот ваш плащ, оденьтесь, иначе будет холодно.

— Я не собирался ехать...

— Надо, синьор, — резко возразил молодой человек. Паганини быстро простился с молодым офицером.

Они выехали на север, по дороге на Парму. Но в Болонье пришлось изменить направление. Какая-то неудачная встреча расстроила до чрезвычайности его провожатого. Молодой человек, которого звали Лодовико, упорно делал вид, что чинит колесо экипажа. Только с наступлением сумерек выехали на Феррару, пропуская все назначенные для отъезда часы.

Около Поджо Ренатино, едва забрезжил рассвет, Лодовико остановил лошадей. Он сошел с козел, погасил свечи в фонарях, снял нагар, протер стекла, и в полутьме, спугивая дремлющих птиц, путники двинулись дальше. Всю ночь Паганини не спал. Чувство невыносимой тоски охватило его при известии о смерти Ньекко. Так встретил он 1810 год.

В Ферраре Лодовико нашел прекрасное место для остановки. Но при переноске вещей оказалось, что, пока Паганини уходил от экипажа, а Лодовико готовил комнату, воры украли баул и кошелек; осталась только скрипка.

Из этого Паганини заключил, что воры мало понимают в музыке.

— О, быть может, слишком много, — возразил на это Лодовико. — По вашей скрипке легко было бы найти всю шайку.

После этого происшествия решено было дать в Ферраре концерт.

Концертный зал города Феррары был очень охотно предоставлен синьору Паганини. Его имя неоднократно повторялось феррарскими музыкантами и уполномоченными австрийского правительства. Начальник города

Феррары, который предполагал, что Паганини — фамилия знаменитого врача, лечившего римского папу, быстро поправился и сказал, что имя сеньора Паганини-скрипача ему известно как имя выдающегося музыканта.

Зал был поистине великолепен для музыканта. Паганини радовался возможности играть здесь. Пока он разглядывал устройство зала, внезапно явился импресарио и заявил, что по распоряжению правителя города в концерте будет участвовать синьора Марколини.

За час до концерта Паганини заехал к певице, чтобы прорепетировать концерт. С первых тактов он почувствовал, что она фальшивит, хотя голос у нее хороший. Четыре раза принимается он играть, и четыре раза на одном и том же такте происходит заминка. Синьора Марколини с жестами торговки из бакалейной лавочки просит Паганини начать снова. Паганини терпеливо начинает сначала. На пятый раз препятствие преодолено. Наконец репетиция закончена.

Усталый, но успокоенный, Паганини уезжает.

Перед самым началом концерта ему передают, однако, записку от синьоры Марколини. Синьора пишет, что она «ни за что не будет выступать сегодня», причем Паганини узнает, что синьора Марколини — любовница правителя города и сопротивляться ее капризу бесполезно.

Публика уже наполнила зал. Нетерпеливый топот поднимает пыль, застилающую свет огромной люстры.

По совету Лодовико, Паганини садится в экипаж, и они мчатся к синьоре Паллерини. Паганини просит великую мастерицу балета и обладательницу прекрасного голоса выступить в сегодняшнем концерте. Паллерини соглашается. Пока Паганини ждет в экипаже под ее окном, она переодевается, изредка поглядывая сквозь занавески на его сгорбленную птичью фигуру, на голову в большой шляпе, вращающуюся, словно голова хищной птицы. Она снимает с себя будничное платье и, раздевшись, потягивается перед зеркалом, любит себя своим нагим телом, с озорной усмешкой думает о Паганини, одетом, закутанном, ожидающем ее у подъезда. Одевшись, она выходит к нему.

По дороге Паганини опьяняет внезапный прилив веселости при мысли о том, как синьора Марколини будет наказана за свой каприз. Он пожимает руку синьоре Паллерини, она отвечает рукопожатием, за которым следует поцелуй. Синьора Паллерини, артистка

балета, глубоко взволнована. Знаменитый скрипач, с такой необыкновенно яркой, живой речью, с такими дьявольскими глазами, нравится ей. Она думает о том, как легко он воспламеняется, и с радостью ощущает пульсацию горячей неаполитанской крови в своих жилах. Только остановка экипажа у концертного зала спасает Паганини.

Синьора с ужасом чувствует, что концерт для нее уже не интересен. Она поет беззвучным, вялым голосом,— она не фальшивит, но поет, как бы превращаясь в слушателя, восхищенного неповторимыми звуками скрипки великого артиста. Она смотрит на Паганини, видит этот чужой взгляд музыканта, взгляд сфинкса и колдуна, и внезапно падает без сознания. Раздаются свистки, хохот, шиканье, и весь зал бурно выражает свое негодование.

Распорядитель концерта подходит к Паганини, поддерживающему на руках бесчувственную девушку, и шепчет ему на ухо, что правитель и городские власти чрезвычайно недовольны тем, что синьор Паганини так неучтиво обошелся с певицей Марколини; что необходимо было бы отменить концерт, если первая певица города отказалась в нем участвовать?

— Скажите, какая выручка? — грубо прерывает его Паганини.

Узнав цифру, прикинув, что денег вполне хватит до Венеции, кивает головой.

— Принесите мне деньги сейчас же, или я завтра подам на вас в суд.

Эти слова оказывают магическое действие. Распорядитель поднимает руки и громко объявляет:

— Концерт продолжается.

Паганини отводит синьору Паллерини в комнату, дает ей нюхательную соль, принесенную сердобольным врачом из зала, и, гладя ей волосы, обдавая ее жарким дыханием, говорит ей на ухо:

— Успокойтесь, еще много времени впереди, а пока не наступила ночь, послушайте, что сейчас произойдет.

Схватив лежащий на столе дирижерский жезл, Паганини с бешенством стучит о спинку кресла, пока испуганный антрепренер не прибегает на этот стук.

— Где же деньги?

— Вот они, синьор. Потрудитесь расписаться.

Паганини быстро комкает кучу ассигнаций, сует их в карман, берет скрипку и со спокойным видом выходит на

эстраду. Он поднимает смычок, но вдруг поворачивается к публике спиной и, обращаясь к синьоре Паллерини, говорит:

— Подойдите и будьте свидетельницей.

Потом заявляет публике:

— Не всегда же печалиться, надо позволить себе и шутку.

Полилась чудовищная река звуков, в которых сначала ничего нельзя было разобрать. Потом публика услышала скрип колес тележки водовоза и плеск воды из бочки, потом крики погонщика мула и рев осла, потом петушинный крик, громко сзывающий кур, дикий визг собаки, которой лошадь наступила на ногу, завывание кошек, сцепившихся на крыше в весенней битве. Ошеломленные феррарцы слушали эту неистовую композицию. Раздалось несколько смешков, передние ряды заливал хохот.

Но вдруг смычок взвился в воздухе, и последние звуки замерли где-то под сводами лепного потолка. Лишь треск горящих свечей нарушал глубокую тишину. Несколько шагов вперед, и, нагнувшись так, что слышно его свистящее дыхание, Паганини почти над головами первого ряда вскидывает смычок кверху, проводит им по шантрели и потом сразу переходит с шантрели на басок. Публика ясно слышит оскорбительный выкрик скрипки: «Хи-хан!», со всеми придыханиями человеческого голоса, со всей выразительностью человеческого презрения. Это повторяется два раза, потом еще три раза,—живой настоящий крик, тот самый оскорбительный возглас, который на всех дорогах Италии преследует феррарцев. «Хи-хан» значит болван, петух; это—старинное прозвище тупоумных, низколобых феррарских идиотов, скупых и скаредных кретинов, умеющих только считать деньги, полуживотных, полулюдей, ничего не знающих, кроме наживы, еды, питья и очередной исповеди у жирного священника. Так писали острые наблюдатели из «Британского обозрения».

Паганини еще стоял, держа смычок в воздухе, как вдруг налетел шквал, все вскочили со своих мест, негодующие крики, сломанные стулья, трости, афиши, шляпы—все полетело на сцену. Уходя неторопливой походкой, Паганини задержался у портьеры, отделявшей сцену от комнаты артистов, и смычок снова провизжал эту же самую оскорбительную кличку.

Долго бушевал покинутый зал.

Утром Паллерини, усталая и счастливая, последний раз прижала Паганини к своей груди. А в четыре часа он выехал на север.

Глава девятнадцатая СКИТАНИЯ ОРФЕЯ

Паганини с успехом выступал в Милане. Первые шесть концертов привлекли в город путешественников по Италии, скрипачей из Вены. Они привезли известие о том, что Фердинанд Паер последовал за французским императором Наполеоном в Париж и занял там должность директора итальянского театра. В Милане произошла новая встреча. Ролла, поздоровевший и словно вернувшийся молодость, играл в миланском театре «Ла Скала» и дирижировал оркестром. Он занимал придворную должность, являясь солистом вице-короля Евгения. Ролла принял Паганини с видом человека, обрадованного тем, что его доверие оправдано. Старик смотрел на молодого Паганини как на чудо, как на величайшую драгоценность мира.

Миланские горожане в те дни обсуждали известие о прекращении деятельности всех карбонарских венг на неопределенный срок, до нового созыва. Центр движения ушел куда-то на юг, верховная венга исчезла. Провинциальные ложи приказано было распустить.

Пребывание французов в Милане направило жизнь города в иное русло. Не было и намека на религиозный гнет, но чувствовалась сильная, деспотическая власть Бонапарта.

Между Парижем и Миланом ходила французская почта, и Паганини с интересом следил за музыкальной жизнью французской столицы. Итальянцы Виотти и Керубини, вместе с французом Байо, насаждали итальянскую музыку в Париже. То предприятие, которое когда-то парикмахер Марии-Антуанетты Леонар затеял ради коммерческих целей, организуя приглашение итальянских певцов и музыкантов, теперь благодаря капиталам, внесенным господином Фейдо де Бру, расширилось и развернулось. Театр Фейдо превратился в арену, где состязались лучшие итальянские певцы и музыканты. Паганини ловил себя на мысли о путешествии во фран-

цузскую столицу, но решил из осторожности ограничиться пока лишь мечтами об этом.

Паганини понравилась миланская жизнь, и он решил надолго остаться в этом городе. Здесь он не чувствовал той зависти судьбы, которая беспокоила его в Ливорно, в Лукке и во Флоренции. Он выступал, не вызывая вражды. Его концерты не приносили ему баснословных сборов, но и не сопровождались неожиданными сюрпризами. Художник Пазини подарил ему скрипку Страдивари. Таризио, снова приезжавший в Милан, продал ему скрипку Амати. Паганини стал счастливым обладателем трех скрипок величайших мастеров Кремоны. Он приобрел еще два альты, маленькую детскую скрипку работы Страдивари и на этом остановился.

Скульптор Бартолини сделал мраморный бюст скрипача. Бюст был выставлен в одной из зал галереи Брера, и здесь публика, смотревшая на него впервые, произнесла те слова, которые часто потом заменяли Паганини имя,— «Южный колдун». Колдун по-своему откликнулся на это прозвище. Он написал танец колдуньи, который исполнил в театре «Ла Скала» при многотысячном стечении слушателей. Фантастический успех концерта был обусловлен в большой мере магическим и колдовским характером музыки: это как нельзя более соответствовало настроению слушателей.

Растерянные души искали необычайного и стремились избежать столкновений с действительностью, запечатлевая ее образы языком старинных заклинаний, языком магии и вновь возрожденной веры в волшебство.

Это было время, когда неаполитанский король Иоахим Мюрат отправил последние тридцать пять тысяч неаполитанских юношей на север. В белых лосинах, в белых мундирах, в темно-малиновых плащах, эти юные кавалеристы армии Мюрата двинулись на Москву вместе с шурином неаполитанского короля — Наполеоном.

Внутри своего королевства Мюрат начал планомерное преследование организаций итальянской молодежи. Тайная организация при дворе римского первосвященника посылала своих шпионов в карбонарские венты, а Мюрат, разного рода посулами восстановив доверие к себе карбонарских организаций, выведал их состав. В 1811 году он знал их списки, ему необходимо было вырвать сердце карбонарского юга, он искал Конобьянко, а с другими должен был расправиться на севере принц Евгений.

Таким образом, почитатели итальянской свободы оказались между двух огней. Все дальше и дальше на юг уходил Конобьянко в леса Апулии и горы Калабрии, пока наконец, найдя приют у сельского попа, которого рекомендовали ему мнимые друзья, не был застигнут там и убит пистолетным выстрелом в голову. Но Мюрат недолго торжествовал победу, принц Евгений недолго держался на троне. Летиция Бонапарт была права, когда сберегала каждую простыню, наволочку и каждый носовой платок, стремилась всегда поскорее выручить их даже от прачки. «Что я буду делать с моими детьми и внуками, когда всех этих королей погонят с престолов?» — говорила эта прямолинейная и простая корсиканская женщина, оказавшаяся внезапно матерью большинства королей и принцев Европы.

Выехав из Милана в Турин, Паганини удостоился чести посетить княгиню Полину Боргезе. Тут он встретился с тайным иезуитом князем Боргезе и его сыном, молодым красавцем, только что женившимся на Полине Бонапарт, сестре Наполеона, к которой император французов, говорят, питал совсем не братские чувства. У Полины Бонапарт была странная судьба. Страдая от преступной привязанности родного брата, она вышла замуж за французского генерала, оказавшего помощь Бонапарту в тяжелые дни, когда Бонапарт, тогда еще молодой генерал, должен был разогнать силой Совет пятисот и объявить свою собственную железную диктатуру, вернувшись в Париж после египетского похода и превратившись из коменданта города Парижа в директора, потом в первого консула, потом в императора. Леклерк, супруг Полины Бонапарт, был отправлен на далекие Антильские острова для подавления восстания черного консула, вождя гаитийских негров, Туссена Лувертюра. Там он со своим экспедиционным корпусом и погиб. Негритянская столица была сожжена самими неграми. Полина Бонапарт вернулась и, не желая оставаться в Париже, поселилась теперь в Турине, выйдя замуж за красивого молодого князя Боргезе. Она служила теперь для итальянцев живым напоминанием об экспедиционных неудачах Бонапарта.

Под зноем океанских островов погиб экспедиционный корпус Леклерка, теперь приходили темные слухи о том, что в снегах России погибает экспедиционная армия самого императора. И как на островах негры сожгли свою

столицу, так и тут русские сожгли свою Москву. Эти слухи были упорны, и хотя не находили подтверждения, но Паганини видел беспокойство и печаль на лице этой второй сестры Бонапарта, встреченной им на жизненном пути. Однако гораздо больше привлекло внимание Паганини другое женское лицо. Вместе с Паганини выступала певица Антония Бьянки, и Паганини ловил себя на том, что не может оторвать глаз от этой красавицы.

Когда концерт окончился, Паганини пригласил певицу в Милан для совместных концертных выступлений. Антония, немного подумав, согласилась. Прикинув оставшееся время, она сказала просто:

— Ангажемент кончается через месяц! Через месяц ждите меня в Милане.

Из Милана в Турин почта шла неисправно. Паганини испытывал неведомое раньше нетерпение. Никогда не было случаев, чтобы так долго ждал он писем.

Он развивает в это время кипучую деятельность. Хотя общества и союзы запрещены, возникает, по инициативе Паганини, музыкальный кружок «Миланский Орфей».

Но происходят в мире очень странные вещи. Французская полиция не обращает никакого внимания на музыкальный кружок, она занята совершенно другим делом. Принц Евгений Богарне отдал распоряжение о прекращении доставки каких бы то ни было северных газет.

Совершенно случайно попал раз Паганини на почту: ноги каждый раз заносили его туда, когда он проходил неподалеку. Так уж устроен человек, что иногда он заходит совсем не туда, куда ему нужно. Он спросил опять почтового чиновника о письмах из Турина. Из Турина не было, но оказалось, его ожидало письмо из Англии. Удивительно! От кого бы? Писал Джордж Гаррис. Он выезжает из Лондона в Ганновер, чтобы вступить там в должность дипломатического атташе; он просит написать подробно, не согласится ли синьор Паганини на поездку по Европе и не может ли Гаррис встретиться с Южным колдуном, о котором трубят все газеты европейских столиц. Была приложена английская газета. Паганини не читал по-английски, но два слова он понял: падение Наполеона.

О, как злорадствовали англичане, с какой ненавистью к Бонапарту они сообщали о гибели, о полном крушении французского могущества! Как они описывали позорный

побег Наполеона в Париж, его отвратительные слова, произнесенные им во дворце, у жарко горящего камина, когда, став сапогом на решетку, император французов сказал: «А все-таки это лучше московского мороза». Старая веселая Англия ожила при этих известиях. Не было больше французской опасности; Англия, нанеся удар французскому могуществу на море, теперь могла не беспокоиться и на суше.

Очевидно, не один Паганини получил это известие. Весь Милан был полон слухами. Шептались по углам и быстро старались разойтись, на улицах было заметно оживление. Но самое большое оживление вызвало это известие во дворце епископа, в монастырских канцеляриях и на улице, где помещался упраздненный монастырь святой Маргариты. Не нынче завтра там ожидали восстановления жандармского управления губернатора его апостолического величества императора Франца. Гаррис делал тысячи намеков каждым словом. «А в самом деле, где теперь римский папа?» — думал Паганини.

Последнее время святой отец был вывезен в Савону. Его оставили одного, без советников, его заставили подписывать энциклики, буллы и послания, предлагавшие полное повиновение французской власти на всем огромном пространстве, где были верные сыны католической церкви. С нетерпеливой поспешностью, которая только увеличила телесные немощи святейшего отца, римского папу перевезли во Францию, в Фонтенебло, и там был заключен конкордат, который фактически превращал римского первосвященника в послушное орудие французского императора. Вот почему все иезуитские организации, все представители упраздненного ордена Иисуса злорадствовали при известии о злословиях главы римской церкви. Ими пренебрегали, они влачили жалкое существование, без власти, без имущества, без конгрегации, без монастырей, и все-таки их тайная организация существовала, и скоро мог наступить час возмездия. Перед лицом испуганного, занятого тихой наживой мирянина они умело поставили призрак террора, перед лицом итальянских граждан они воздвигали призрак гильотины и усердно напоминали итальянцам об отрубленной голове короля. Но это не помогло. Бонапарт обманул их намерения, он сам сделался императором и нигде не думал водворять республиканский образ правления. Теперь час возмездия настал.

Падение Бонапарта знаменовало собой воскрешение ордена Иисуса. Прошло немного времени, и 24 мая 1814 года папа был снова в Риме. На торжественном молебствии 7 августа римский первосвященник возвестил, что он считал бы себя виновным перед господом в важном преступлении, если бы в это опасное для христианской общины время пренебрег помощью, которую дарует провидение; если бы, поставленный в ладью святого Петра, колеблемую и сотрясаемую постоянными бурями, он отказался воспользоваться сильным и опытным гребцом...

Сильные и опытные гребцы в это время были выгнаны из России, числом триста пятьдесят восемь. Это были самые закаленные в боях жизни иезуиты, во главе с генералом ордена Тадеушем Бжозовским. Они прибыли в Рим и сразу приступили к действию. По директивам генерала ордена они принялись за восстановление разрушенных хозяйств, за откапывание зарытых бочек с золотом, за разработку планов овладения школами и воспитанием детей во всех европейских государствах, за открытое проявление своего тайного могущества. С энергией, накопленной в иезуитском подполье, они решили ударить по обломкам наполеоновской власти в Италии и вместе с тем разрушить все очаги, где только могло бы возникнуть карбонарское движение.

Паганини знал только то, о чем сообщали газеты. Время от времени появлялись в газетах короткие, сухие извещения. Одно из них уведомляло гражданское население Милана о прибытии Наполеона в качестве губернатора на остров Эльбу. Второе больше испугало Паганини: оно сообщало о восстановлении иезуитского ордена. Причем Паганини никак не предполагал, что в числе суждений о влиянии науки и искусства на приверженность итальянского населения к римской церкви окажется и суждение о значении его имени.

Каноник Нови самым серьезным образом доказывал, во-первых, что имя Паганини происходит от слова «раганус» — язычник, или человек, приверженный к почитанию ложных богов; во-вторых, он клятвенно заверял, что настоящий Паганини погиб в тюрьме, а выступающий ныне на концертах в Милане человек — беглый каторжник, у которого все движения изобличают долговременное утомление от стальных цепей, сковывавших ноги. Он показывал портрет беглого,

он говорил о том, что остров, где нашел первое прибежище этот человек, скрывшись с каторги, служил местопребыванием одного из сильных, наделенных большою властью уполномоченных ада, и клятвенно заверял, что Паганини за полученную свободу продал душу дьяволу.

Отцы иезуиты закрыли все французские школы в Италии. Все общества, так или иначе соприкасавшиеся с французской молодежью, с французским искусством, были распущены, и в добавление к ранее осуществленному запрещению прививки оспы иезуиты под страхом тюрьмы запретили такие нововведения в городах, как, например, газовое освещение в Риме, которое они немедленно уничтожили.

Римским королем был назван маленький сын Бонапарта; его увезли в Австрию и держали как в тюрьме при венском дворе. Дочь австрийского императора, Мария-Луиза, теперь соломенная вдова Бонапарта, получила в камергеры генерала Найпперга, которому сам отец безутешной Марии-Луизы приказал исполнять все желания своей овдовевшей дочери, даже такие, о каких ей трудно будет заговорить самой.

Бывший император, живя на Эльбе, перестал очень скоро получать письма от своей супруги. Еще раз была вспышка, окончившаяся битвой при Ватерлоо. Еще раз Иоахимом Мюратором, превратившимся в обыкновенного селянина, была сделана попытка высадиться с разбойничьей Корсики на берег Неаполитанского залива.

Кардинал Боргезе написал Мюрату письмо о том, что зашатался трон восстановленного во Франции Людовика XVIII Бурбона и что его, Мюрата, ждут друзья.

На берегу Мюрата ждали английский военный суд и представители римской церкви. Суд был короткий. Бывший неаполитанский король на неаполитанском берегу сам скомандовал солдатам стрелять и был застрелен и похоронен без воинских почестей.

Крутой поворот истории сопровождался в Италии хрустом человеческих костей в дни, когда Паганини собрался выехать из Милана на юг, вдогонку Антонии Бьянки, так и не приехавшей в Милан.

Его путь лежал на Болонью, так как хорошие друзья из театра, где за год перед этим выступала синьора Антониа, рассказали Паганини, что молодая красавица должна была ехать именно в Болонью. В городах таким крупным артистам встретиться и найти друг друга было легко.

Старик Пунтильо, баритон, старый исполнитель комических ролей в операх, пронзительным оком оглядывал Паганини. Фрукты, бокалы с недопитым вином, разбросанные вещи — все это свидетельствовало о беспокойстве, несколько большем, нежели полагалось при отъезде.

Старик отвел скрипача в сторону и сказал:

— Вы, по-видимому, ранены сильно. Смотрите, друг мой, когда будете в Неаполе, обратите внимание на спящее мраморное божество в одной из южных комнат княжеского музея. Разве голос вашей синьоры... вашей мадонны,—поправился Пунтильо,—не говорит вам о том, что она имеет все признаки этого двуполого божества?

Паганини стоило большого труда рассмеяться. Он посмотрел в глаза старику. Тот не шутил. Всю дорогу до Болоньи Паганини думал об этих словах. Странное чувство сопровождало эти мысли: это было не отвращение, не страх, это было в странной форме любопытство.

В Болонье синьоры Бьянки не оказалось. Второй неудачей, постигшей Паганини, было то, что опять у него пропал почти весь его багаж. Какое счастье, что, кроме скрипки Гварнери, которая и на этот раз уцелела, вся его коллекция скрипок была оставлена в Милане у синьора Роллы. Там же хранились первые наброски устава будущего «Союза Орфеев». Для того чтобы поправить дела, необходимо было концерттировать в Болонье. Представился прекрасный случай. Очень молодой композитор, юноша красивый, изящный, по манерам слегка напоминающий француза, а быть может, сознательно подражавший французам, Джоаккино Россини, уроженец города Пезаро, выступил с ним в концерте.

Паганини было тридцать два года, Россини — двадцать два, когда они встретились впервые на концертной эстраде этого счастливого итальянского города, всему предпочитавшего веселье. Перед концертом завязался оживленный разговор во время чтения венецианских газет.

— Ах, Карпани! — воскликнул Паганини. — Вы знаете этого осла с титулом императорского поэта в Милане, почитателя австрийцев и римского папы, бездарного стихотворца, сочинителя опер, которых никто нигде никогда ставить не будет?

Оба, и Россини и Паганини, с наслаждением перечитывали перебранку Карпани с каким-то французом по

поводу биографии умершего за шесть лет перед тем композитора Гайдна. Карпани заявлял: «...Это я присутствовал при болезни Гайдна, а вовсе не этот наглый француз».

— Кто же этот наглый француз? — спрашивает Паганини.

— Какой-то Луи Александр Сезар Бомбэ. Вот имя! В нем забавно соединяются имя представителя бурбонского дома, имя римского императора вместе с именем Александра Македонского. Очевидно, у господина Бомбэ крестные отец и мать обладали сильным монархическим чувством.

В маленькой комнате собрались болонские актеры, музыканты и меломаны. Среди них был француз с желтоватым лицом, офицер наполеоновской армии, господин Анри Бейль, или, как его звали в Милане, синьор Арриго Бейль. Он был в дружбе с Россини, был почитателем музыки и, конечно, принял сторону Карпани. Легко и остроумно он доказал, что господин Бомбэ обворовал скромного лакея австрийского губернатора.

— Но вы говорите так, словно вы защищаете вора, — сказал Паганини.

Синьор Бейль пожал плечами. Разговор перешел на другую тему. Только синьор Бейль знал о своем тождестве с синьором Луи Александром Сезаром Бомбэ, только синьор Бейль, отдыхающий в Милане, Болонье и Венеции после ужасов московского похода и березинской переправы, знал о том, что книга об Иосифе Гайдне и венской музыке вышла из-под его пера и являлась его первым литературным произведением и что во всем, что касалось биографических данных, она целиком была списана с книжки Карпани. Вот почему он так предательски великодушно защищал синьора Карпани перед лицом двух музыкантов, которым гораздо больше нравилась редакция биографии Гайдна, сделанная господином Бомбэ.

Пока собирался оркестр, синьор Бейль прошел в партер. Он взял записную книжку из тончайшей барселонской голубой бумаги и записал наряду с мыслями о значении Средиземья, которое считал колыбелью мира, свои впечатления о Россини. «Какой удивительный музыкант Россини!.. Быть может, Россини будет новым Чимарозой», — писал Бейль-Стендаль.

Концерт прошел с огромным успехом. Болонцы были тонкими ценителями музыки, и этот день остался в их памяти как незабываемый праздник.

Прошло несколько вечеров в дружеских беседах, в прогулках. Артистка Герарди, высказывая суждение о музыке Россини, говорила, что Россини в наиболее красивых, лирических местах делает отступления от правил музыкального правописания. Синьор Бейль вставляет замечание, он вспоминает, что, когда графу Риваролю доказывали, что Вольтер делает погрешности против орфографии, Ривароль отвечал: «Тем хуже для орфографии».

— Вы все — якобинцы, — говорила Герарди, обращаясь к Россини, Бейлю и Паганини, — вас испортила революция.

На это не последовало ответа, каждый думал об этом по-своему. Меньше всего считал себя революционером Россини. Паганини вздрогнул и вспомнил о наступившем «силануме» — *о многолетнем молчании конспиративных организаций.*

Прошла неделя. Паганини получил возможность двигаться дальше. В Болонье было трудно наводить справки, необходимые для поисков беглянки.

Внезапно странная усталость охватила Паганини после болонских концертов. Он резко изменил намеченный маршрут и через неделю высадился на набережной Венеции.

Моросил дождь, легкой дымкой были покрыты дома, дворцы из розового, белого, голубого мрамора сливались в белесоватые пятна. Мелководная темная лагуна, плесень на фундаменте, запах водорослей и гнилой воды — все это неприятно поразило Паганини, как только большая черная ладья подплыла к гостинице «Луна». Старый нищий в лохмотьях крюком придержал борт гондолы и тотчас потребовал денег. Человек в кожаном фартуке внес вещи в нетопленный номер. На стенах были пятна сырости, штукатурка позолоченного потолка обвалилась, окно было разбито, громадный полог над кроватью был покрыт пылью и паутиной.

Плоские берега, на них — пережившие свое время необитаемые дома, скудная растительность, скорей похожая на пятна водорослей, на каменных фундаментах, уходящих под воду. Лица работниц со стекольных фабрик бледны, как воск, они кажутся лицами мумий.

В первый день — чувство невыносимой тяжести на душе, усталость и стремление к покою. Первоначальная потребность немедленно выехать обратно на юг, чтобы видеть солнце, сменилась желанием, предательским и тайным, просто отдохнуть, не глядя ни на что; закутавшись, уснуть под этим пологом, выпив фьяску красного ломбардского вина. После того как прошел сон, появилось желание увидеть Венецию при солнце. Дождь кончился, сквозь белые облака смотрело серебряное, как старинное зеркало, солнце. Спящие каналы отражали перевернутые в них дворцы, удивительные храмы и толпящиеся у берега здания, балюстрады и лестницы, спускающиеся в зелено-синюю глубину.

Первая бесцельная прогулка затянулась невероятно. Четыре раза миновав мост Фонтего, Паганини вышел на него в пятый раз в поисках дороги назад. Ни одного встречного, ни одного путника, мертвая тишина. И тем не менее уже на следующий день Паганини почувствовал притягательную силу этого города. Он ощутил ее еще больше, когда впервые давал концерт в больших залах синьора Пальфи, слабо освещенных канделябрами и, однако, пылающих светом, отраженным и сотнями зеркал, и белым полированным полом, и серебряными украшениями алебастрового потолка.

Год провел Паганини в Венеции. Медленно и не без боли возвращался он к действительности после этого похожего на сновидение года. У него было странное увлечение: в библиотеке святого Марка он с наслаждением читал мифологические поэмы Палефата, «Сказание о необыкновенных событиях». Его поразили прочитанные впервые «Метаморфозы» Овидия; переход живых существ в новые формы, омертвление живого и оживление мертвого увлекли его фантазию в область особых восприятий действительности, когда вечерний венецианский туман казался ему принимающим формы и очертания городов, когда сама каменная Венеция над водами таяла, как облака, и становилась словно каким-то видением. Музыка, застывшая в странных ритмах, венецианская архитектура барокко, самая причудливая игра строительных стилей прошлого столетия — все это сопоставлялось фантазией скрипача с дивным творением Овидия.

Постепенно Венеция стала ощущаться как царство теней, и вода стала превращаться в воду забвения.

Миф о превращениях заставлял мысли Паганини скользить по какому-то краю фантастики, там, где она переходит в безумие. Он ловил себя на странной игре воображения, когда пропадала разница между голосом скрипичных струн и голосом синьоры Антонии, когда скрипка превращалась в женщину и женщина превращалась в скрипку. И он сам, основатель союза миланских Орфеев, во что превратился он здесь, в этом царстве теней — в человека, отдавшего свою душу поискам Эвридики в Аиде.

Глава двадцатая

В ПОИСКАХ ЭВРИДИКИ

Исходным пунктом в поисках утраченного счастья Паганини, как опытный стратег и военачальник, назначил Турин. На четвертый день после отъезда из Венеции все тайны и расплывчатые образы исчезли. Он искал совершенно реальную Антонию Бьянки и бранил себя за целый год, потраченный им в Венеции. Здоровье его окрепло, и чувствовал он себя прекрасно. В Турине он дал целый ряд блестящих концертов.

Снова друзья Антонии Бьянки говорили о ее выезде в Болонью.

Снова Болонья, и снова, как тогда, встреча с Россини. Россини написал сладкозвучную оперу «Армида», «Золушка» закончена им, «Матильда ди Шабран» будет ставиться в Риме. Вместе с Россини Паганини собирался ехать в Вечный город.

Вот уже поданы экипажи, вот уже в маленькой болонской кофейне последняя чашка кофе перед дорогой. И вдруг два усатых жандарма кладут руки на плечи Паганини и грубо надевают кандалы ему на руки. Посетители кофейни мгновенно разбегаются, в окна заглядывают любопытные. Паганини, онемевший от ужаса, переходит от ярости к недоумению, от недоумения к бешенству. Улица запружена народом. Жандармы показывают Россини портрет и приметы. С каторги бежал преступник, — вот он.

— Что вы лжете, негодяи! — кричит Россини. — Какой это каторжник! Это великий скрипач Паганини, слава нашего отечества!

— Вы говорите «отечества»,— прерывает музыканта жандармский офицер.— Ваше отечество—это монархия его величества императора Франца-Иосифа.

— Наше отечество—Италия!—кричит Россини и ударяет кулаком по столу.

Мгновение, и все успокаивается. Приходит подеста, недоразумение улаживается. Синьор Паганини получает свободу, жандармы извиняются.

— Но как он похож на этого каторжника!—говорят друг другу официанты в кофейне.—Ведь это же совершенно одно лицо.

Качая головами, обменялись взглядами содержатель кофейни со своей супругой.

В Риме Паганини с увлечением принял участие в постановке «Золушки». Необыкновенная сладость, насыщенность и стройность пенистых и искристых звуков Россини настолько подкупали Паганини, что он однажды, крепко обняв молодого друга, со смехом рассказал ему свою историю. Это тоже история «Золушки», история нелюбимого сына в семье, мальчика, пробившего себе дорогу к славе.

Гораздо сложнее пошло дело с постановкой в Риме «Севильского цирюльника». Бомарше был хорош в свое время, но он имел неосторожность осмеять представителей ордена Иисуса. Если во времена последнего версальского короля автор едва не попал в тюрьму вследствие того, что духовник Людовика XVI выпросил у короля, игравшего в карты, приказ об аресте Бомарше, то теперь в Риме едва не произошла подобная история с человеком, осмелившимся написать музыку на тему «Севильского цирюльника». Казалось, какой-то тайный приказ мобилизовал всех аббатов города Рима.

Началось с того, что маляр вылил на парадный камзол Россини ведро желтой краски. Перед поднятием занавеса Паганини вручил своему другу смешной вигоневый костюм, висевший на композиторе, как на палке. Бежали минуты, оркестр был в сборе. Россини засучивал чрезмерно длинные рукава, а Паганини тем временем с ужасом наблюдал за переполненным партером Арджентинского театра. Казалось, весь театр был наполнен аббатами. Казалось, тесно сплоченная фаланга попов и монахов двигалась в атаку на несчастного композитора, не ожидавшего нападения.

Гарчия, певший Альмавиву, легкомысленно пил вино

прямо из горлышка бутылки. Замбони, певший Фигаро, не мог найти свою мандолину. Вот Россини показывается в театре, его первые движения не привлекают внимания публики, но он всходит, как на эшафот, по ступенькам дирижерского пульта, и дружный хохот всего театра встречает изуродованную костюмом фигуру композитора. Подняв руку, Россини приглашает оркестр начать, театр замолкает, звуки наполняют театр. Но вот появляется Гарчия под окнами Розины, оркестр замолкает. Альмавива начинает петь, и после первого аккорда с жалобным зудящим звоном лопаются все струны гитары. Минутное молчание сменяется хриплым смехом и криком в партере. Иронические рукоплескания чередуются с бранью. Наконец чья-то милосердная рука из-за кулис протягивает растерянному Гарчия новую гитару. В следующем акте та же история повторяется с мандолиной синьора Замбони. Та же рука подает ему новую мандолину.

В антракте Паганини едва успевает уговорить полумертвого Россини собраться с силами и довести спектакль до конца. Следующий акт начинается хорошо. Россини приходит в себя и весь отдается вдохновенной работе дирижера. Наступает момент, когда уродливый монах дон Базилио должен петь арию «Клевета». Певец отступает в угол сцены, не замечая, что коварные руки протянули тонкую бечеву на уровне его колен. Он спотыкается и падает носом на клавиш. Кровь льется ручьями по его белому воротнику. Несчастный актер вытирает лицо полою длинной рясы. Партер приходит в неистовство. Римское духовенство, как жрецы в цирке Нерона, поднимает грозный крик. Веселые уличные мальчишки внезапно врываются в театр со свистом и криком. Окровавленный монах, шатаясь, уходит со сцены, и, в ужасе спрыгнув с пульта, не помня себя, бежит домой автор сорванной оперы. Оркестр разбегается. Аббаты, дьяконы, каноники и церковные певчие с довольными лицами выходят из театра. Они отомстили Россини.

Проходит несколько дней. Паганини сидит у своего друга. Россини не хочет верить, что дирекция «Арджентины» упорно продолжает ставить «Севильского цирюльника» ежедневно, что опера дает полные сборы. Он с повязанной головой лежит у себя в комнате.

Однажды в полночь Россини был разбужен шумом на улице. Шум все приближался к окнам его комнаты. Испуганный музыкант поднял голову и окликнул Пагани-

ни. Скрипач не отозвался. Россини с ужасом услышал, как шумящая толпа выкликает его имя: «Россини! Россини!» Музыкант поспешно оделся и открыл дверь в комнату друга. Паганини не было. Кровать стояла нераскрытой. Россини бросился к себе в комнату и спрятался под диван. «Это аббаты,—подумал он,—сейчас меня будут бить». В эту минуту раздались шаги по лестнице. Вот уже стучат в дверь. Вот уже грубые, веселые голоса требуют, чтобы он открыл. Россини молчит. Высунув голову из-под дивана, он с ужасом смотрит на дверь. Слабая дверь подается под ударами могучих кулаков, и внезапно в квадратное отверстие у самого пола, прорубленное для кошки, просовывается свирепая рыжая голова, и громкий голос произносит:

— Россини, проснись! Триумфатор, проснись!

Глаза говорящего внезапно останавливаются на голове Россини, торчащей из-под дивана. Рыжий человек отскакивает от двери. Раздается дружный хохот. Россини быстро вылезает из-под дивана, стряхивает с себя пыль и, приняв вид заспавшегося человека, отпирает дверь. Выходит в коридор. Толпа мгновенно затихает. Четыре человека отделяются от толпы, и один от лица всех произносит приветствие, поздравляя Россини с необыкновенным успехом его «Цирюльника». Россини овладел собой. Он поклонился со спокойным достоинством. Но у толпы неожиданных друзей была своя программа действий. Они пришли из театра прямо после спектакля. Они наполнили всю улицу светом горящих факелов. Они схватили Россини и на руках понесли его в тратторию с забавным названием «Est Est Est». Римское пиршество в честь Россини продолжалось три дня.

И когда это чествование кончилось, Паганини мог с легким сердцем оставить своего друга в Риме.

Перед его отъездом Россини молча протянул ему газетный листок.

В Венеции Паганини давал один из лучших своих концертов. Старый, почтенный скрипач Шпор гостил в Венеции. Газетная заметка содержала статью Шпора, посвященную скрипке Паганини.

— Да, я был у Шпора,—ответил Паганини на вопрос Россини,—я провел у него целое утро. Мне казалось естественным завязывать связи с людьми музыкальной профессии. Я был у него после выезда в Триест. Мне хотелось отдохнуть от венецианских впечатлений и от

того усыпляющего действия, которое оказывала на меня Венеция все время.

Паганини читал:

«Сегодня рано утром Паганини посетил меня, и таким образом я, наконец, имел случай познакомиться лично с этим легендарным человеком, о котором с тех пор, как я переехал границу Италии, мне рассказывают ежедневно невероятные истории. Им восхищается вся Италия. Несмотря на то что концерты такого порядка обычно у нас в Европе не привлекают большого количества публики, оказывается, Паганини слушают охотно, и даже дюжина его концертов дает полный сбор. Я осведомлялся подробно, чем же, собственно, такой скрипач, как Паганини, может очаровывать публику, и обычно получал ответы, изобличающие людей, невежественных в музыке. Начинаются восторги, его иначе не называют, как магом, волшебником, творцом звуков, которых будто бы никогда прежде не рождала скрипка. Вот буквально слова широкой публики об игре Паганини. Специалисты же, музыкально образованные, хотя и не отрицают ловкости рук этого скрипача, но свидетельствуют, что именно то, чем он взялся поразить публику, и должно унижить его, низведя синьора Паганини на степень заурядного шарлатана, и никоим образом не вознаграждает за его недостатки, а именно — отсутствие большого, широкого тона и музыкально развитого вкуса при передаче кантилены. Все это не больше, чем прелести старого провинциального фокусника Германии — Шелера. Паганини своим нелюбезным и грубым обращением превратил многих из здешних любителей музыки в своих личных врагов, и эти последние, после того как я сыграл кое-что у себя на квартире, превозносят меня при каждом удобном случае, чтобы досадить этому самохвалу Паганини. Это несправедливо, нельзя даже сравнивать меня и Паганини. Да кроме того, мне это вредно, потому что все восторженные почитатели Паганини становятся моими врагами. Недоброжелатели Паганини выпустили в газетах заметку о том, что будто бы я воскресил у них в Италии чарующую, несравненную классическую игру старой школы, которую культивировали, в отличие от Паганини, подлинные, настоящие итальянские скрипачи Пуньяни, Тартини, Корелли и др. Эта статья, помещенная в газете без моего ведома, появившаяся в сегодняшнем номере, скорее послужит мне во вред, а не на пользу, ибо венецианцы и широкая

публика, к сожалению, тверды в своем мнении о недостижимости Паганини».

Паганини опустил газету.

— Но ведь Шпор меня ни разу не слышал, он ведь не был ни на одном моем концерте!

— А ты был на его концертах? — спросил Россини.

— Нет, — ответил Паганини. — Германская музыкальная знаменитость, приехав в Венецию, не дала ни одного концерта.

— И ты не знаешь, почему? — спросил Россини.

Паганини пожал плечами.

— Да, — сказал Россини, — вид у тебя вполне искренний, но знаешь, что мне досадно: ты загородил дорогу Шпору, который лишь немного старше тебя годами. При тебе ему нельзя было выступить в Венеции: без тебя его покрыли бы лаврами и рукоплесканиями, при тебе он не мог даже появиться на эстраде. Маэстро, вы не знаете, до какой степени движение вашего таланта по нашей грешной земле сжигает все на своем пути.

— Но какие слова! — сказал Паганини. — Странно, все, что я слышал о Шпоре, говорило о нем как о человеке честном. У него была, правда, германская напыщенность, но это выступление в газете — поступок бесчестный и бессильный. Хорошо, что я не читал венецианских газет, я был погружен в чтение героических историков и мифографов. Я читал латинских поэтов. Ты знаешь, я вдруг сейчас вспомнил, что забыл тебе сказать о появлении одного замечательного поэта. Это — английский лорд, путешествовавший по Востоку...

— Байрон, — прервал его Россини. — Слышал. Он сейчас живет в Милане.

Внезапно лицо Паганини сделалось суровым.

— Меня тревожит случай в Болонье, — сказал он. — Ведь это действительно мой портрет.

Россини вздрогнул, пристально посмотрел в глаза своему другу. Он вспомнил все, что сам слышал о тайной жизни Паганини: Паганини называли человеком двойного бытия, о нем говорили как об опасном карбонарии, как о враге церкви. Россини всегда доверял только своим впечатлениям, но ведь жизнь полна сюрпризов.

Вскоре Паганини натолкнулся на новое проявление открытого недоброжелательства. Когда он снова приехал в Милан и был избран председателем «Союза Орфеев», французский скрипач Лафон выразил желание вступить в

союз. Они познакомились. Французский скрипач был без ума от Крейцера и в первой же беседе выразил свое восхищение этим музыкантом.

— Какого Крейцера вы любите? — спросил Паганини. — Ведь их два.

— Совершенно верно, оба родные братья, Родольф и Огюст, оба родились в Версале, оба сейчас в Париже. Моим учителем является скрипач Огюст Крейцер, а моим почитаемым композитором — Родольф Крейцер, тот самый, которому Бетховен посвятил свою скрипичную сонату.

Паганини кивнул головой.

...Вскоре в миланских газетах появилась анонимная заметка, говорящая о разительном превосходстве французского скрипача над прославленным председателем «Союза Орфеев». «...Несомненно, первые звуки скрипки господина Лафона прогонят, как ночного нетопыря, этого лемура со скрипкой, заразившего все наши города очарованием безумия», — писала газета.

— Однако! Что вы на это скажете? — спросил Лафон при встрече. — Я готов принять этот вызов. Но скажите, кто из ваших друзей написал эту заметку?

Паганини нахмурился, лицо его стало грустным. Он остановил Лафона:

— Вы ставите дело так, что я начну подозревать ваших друзей... Итак, что же мы будем играть, если мы выступим вместе на концерте?

— Давайте играть сонату, которую сам Крейцер играл вместе со знаменитым Родэ.

Не откладывая приготовлений, назначили выступление через неделю.

Паганини вел себя легкомысленно. Он выезжал за город слушать в деревне «эхо Симонетты», наблюдал там за черноволосым, слегка прихрамывающим человеком с необыкновенно красивым лицом и черными огромными глазами, который с большим постоянством предавался странному развлечению. Лакей приносил на серебряном подносе пистолет, и его господин стрелял в воздух. Тысячекратное эхо повторяло эти выстрелы.

— Английский лорд забавляется, — сказал однажды какой-то незнакомец и указал в ту сторону, куда смотрел Паганини. — Это лорд Байрон.

Иначе проводил время господин Лафон. Куда исчезла французская легкость характера, обычно отличавшая это-

го исключительного скрипача и человека большой удачи! Он наводил справки у прислуги, он посылал в гостиницу кельнера-австрийца, который выводывал, сколько часов в день играет синьор Паганини. Нисколько, Паганини вовсе не играет. Можно с уверенностью сказать, что местные миланские врачи нашли у синьора Паганини очень странную форму нервической лихорадки. Каждое выступление причиняет ему физическую боль, дома он никогда, никогда не берет в руки скрипки. Лафон начинал чувствовать робость.

Но вот наконец наступил день концерта.

Съехались самые крупные хроникеры европейских газет, антрепренеры венских театров, музыкальные коммиссионеры, кормящиеся чужим талантом, и кучка любопытных паразитов, которым одинаково дороги и промахи и удачи гения, лишь бы кормиться крохами с его стола, лишь бы состряпать шестьдесят строчек хроники, лишь бы, нагло развязав галстук, с дерзким видом поговорить о том, что гений оказался не на высоте своего положения, и хоть в воображении, хоть на минуту почувствовать себя высоко стоящими над Паганини.

С тяжелым чувством Паганини вошел в комнату для актеров.

Веселый, чудаковатый скрипач, с длинными волосами, одетый в серый полукамзол, серые полосатые чулки и серые туфли, в красных панталонах и, как это ни странно, с орденом Почетного легиона в петлице, со словами приветствия пошел навстречу своему противнику.

Первым играл Паганини. Он забыл о состязании, играя, как всегда, с колоссальным напряжением сил и с той внешней легкостью, которая поражала и очаровывала слушателей. Но он играл элегическую, простую скрипичную пьесу Корелли. Выбор такой простой вещи для состязания оставил слушателей в недоумении, граничащем с равнодушием. Вышел Лафон. Паганини слушает его с восторгом. Глубина и изящество его исполнения все больше и больше завоевывают симпатии слушателей. Зал оглашается рукоплесканиями, публика, враждебно настроенная к Паганини, неистовствует. Весь зал насторожился, целые ряды публики встали. Следующая пьеса Паганини вызывает живую реакцию его итальянских почитателей; к ним присоединяются приехавшие венцы. Острая и едкая музыка Паганини сопровождается бурей

аплодисментов одной партии и взрывом негодования другой. Зал превращается в поле сражения. Слышатся голоса: «Паганини сдается!»

Во втором отделении темпераментный француз начинает подавлять итальянского скрипача неожиданным проявлением виртуозности. На третьей пьесе француз почти торжествует, но приходит очередь четвертой, пятой и вот, наконец, шестая — соната Крейцера. Что сделалось с Лафоном? Он играет вяло, публика почти не чувствует его игры, дружный смех раздается в райке. Но вот выходит Паганини и играет ту же сонату.

Наступает такая жуткая тишина, что удары сердца слышит каждый. Сердце мешает слушать скрипача, руки прижимаются к груди, дыхание останавливается, и вдруг после ферматы весь зал понимает этот ловкий маневр гимнаста, боксера, гладиатора, уступившего противнику все позиции перед наступлением решающего момента, и чем сильнее было первоначально кажущееся поражение Паганини, тем ярче выступило его полное превосходство. Паганини стоял молча, широко раскинув руки, держа скрипку и смычок в левой руке, — с таким видом, как будто отдавал себя на суд всех слушавших его.

Старая римская манера опускать большой палец и кричать «Долой!» внезапно нашла свое новое применение в этом состязании. К чистому наслаждению большим и высоким искусством вдруг примешался итальянский патриотизм. Забывая учтивость, итальянские граждане кричали: «Да здравствует Италия! Да здравствует Паганини! Да здравствует первая скрипка мира! Evviva Maestro insuperato!»¹

Присутствовавший на концерте австрийский офицер хмурится. Он машет рукой капельдинеру, он вызывает наряд австрийской полиции и указывает на ложу, где сидят монсиньор Лодовико Брем, синьор Федерико Конфалоньери, с ним рядом его маленький секретарь Сильвио Пеллико и поэт Монти. Это оттуда раздался крик: «Да здравствует Италия!»

Сцена быстро меняется. Оба — и француз и итальянец — большими шагами направляются друг к другу с протянутыми руками. Француз протягивает руку Паганини. Противники обнимаются и под руку выходят на авансцену. Теперь трудно понять, к кому относятся

¹ Да здравствует непревзойденный маэстро! (ит.)

овации. После десятого выхода на авансцену закрывается занавес.

Импресарио бежит около Паганини, направляющегося с эстрады в глубь артистической комнаты, и что-то старается ему шепнуть. Паганини даже не замечает его, потом презрительно бросает: «Нет» — и исчезает.

Француз получает удвоенный гонорар, обеспечивающий ему годичное путешествие по Европе.

Поиски Эвридики были безуспешны. Ее не было ни в Турине, ни в Милане, ни в Болонье. Прошел месяц. Случайно на улице в Милане двое прохожих в разговоре упомянули имя Бьянки и Флоренцию. Быть может, речь шла о синьоре Федерико Бьянки, быть может, речь шла о синьоре Альбертине Бьянки, быть может, речь шла о флорентинском торговце мясом на Via Ricasoli, толстом и краснощеком синьоре Бьянки. Паганини не спрашивал. Утром он отправился во Флоренцию.

Там в это время давал концерты польский скрипач Липинский. Два скрипача после дружеской встречи устроили два общих концерта. Потом Паганини уговорил Липинского поехать вместе в Пьяченцу и в Геную.

Разговаривая о музыке, о том, что тогда занимало музыкальный мир, они не раз касались спора, возникшего в Париже и взволновавшего всех европейских музыкантов, спора между двумя музыкальными мэтрами — глубокомысленным Глюком, автором «Орфея», и «легким мелодистом» Пиччини. Паганини не понимал спора. «Чистое служение красивому звуку и чистое служение музыкальной идее» он настолько хорошо сочетал в своем собственном исполнении, что для него одинаково понятна была музыка и Пиччини и Глюка. Это были «законные» произведения. Но незаконным и смешным казался ему спор глюкистов и пиччинистов. Он считал эти названия комическими терминами, пригодными для оперы-буфф.

В Неаполь африканский корабль завез холеру.

— Сатана приносит этих путешественников! — кричал квартирный хозяин Паганини, и как ни уверял знаменитый скрипач своего хозяина, что его вовсе нельзя считать морским путешественником, — он приехал с дилижансом

из Рима,—хозяин оставался неумолим. Паганини решил быть твердым. Хозяин, старший сын хозяина, второй сын хозяина, дочь хозяина и хозяйка, вооруженные всем кухонным оружием, стояли у двери Паганини. Они вынесли на улицу его кровать, на нее положили все небольшое имущество скрипача, и поверх всего— знаменитую скрипку Гварнери. Стал накрапывать дождь. Паганини выбежал из комнаты, покрыл свое сокровище и вынужден был остаться на улице, так как командными высотами завладел противник. Дрожа от холодного, внезапно налетевшего осеннего дождя, в состоянии детской беспомощности, он стоял на улице, пока Липинский, пришедший его навестить, не перетащил его к себе на квартиру.

Паганини заболел. Во время болезни он узнал о страшных событиях, происшедших на севере. В Турине вспыхнуло восстание, подобное тому, какое было за год перед этим в Неаполе. Говорили об этом шепотом, точных сведений Паганини не получал.

Когда он приехал в Милан, расставшись со своим польским другом, он с ужасом увидел, что произошло. Неудачи карбонарских восстаний, вспыхивавших в разные сроки и без согласования действий южных и северных организаций, привели к многочисленным арестам. Арестованный карбонариями неаполитанский король, выпущенный после того, как дал клятву верности народу, теперь с помощью соединенных корпусов иностранных войск снова овладел престолом. Из-за излишней доверчивости карбонарских вождей были легко подавлены восстания в Турине и Милане.

Синьор Федерико Конфалоньери, Сильвио Пеллико, Марончелли и тысячи других были брошены в тюрьмы австрийскими властями.

На движение карбонариев римская церковь ответила созданием отрядов кальдерариев—котельщиков. Иезуитские агенты пригласили на службу римской церкви обыкновенных дорожных бандитов, мелких и крупных воров.

Получив благословенье святейшего отца, отряды кальдерариев приступили к работе. Предварительная работа состояла в добывании сведений. На площадях ставились урны, в которые бросали списки. Священник тут же, около урны, давал доносчику отпущение грехов. Списки рассматривались в строжайшей тайне, потом, по проше-

ствии более или менее короткого срока, заподозренные в причастности к карбонаризму исчезали.

Прочертив всю Италию колесами собственной кареты, которую ему в конце концов пришлось приобрести, Паганини снова остановился в Милане. Здесь Ролла передал ему ожидавшееся его письмо, и, торопясь разорвать конверт, Паганини почувствовал, как кровь ударила ему в голову.

Утром он мчался на юг и всю дорогу перечитывал строки потрясшего его письма.

«Неужели это любовь? Неужели она любит?» — с трепетом спрашивал он себя. Он уже не задавал себе вопроса, любит ли он ее.

С бьющимся сердцем подходит он к маленькому дому неподалеку от Испанской лестницы. На верхушке в лунном свете сияет церковь Тринита деи Монти, бродячий оркестр играет на волынках, девушка в белом платье и юноша в голубом сюртуке и голубой шляпе с кокардой штабного офицера крепко целуются, расставаясь на углу переулка. Паганини стучит в дверь. Стучит второй раз. Слышится недовольный шамкающий голос:

— Что надо?

Паганини спрашивает, может ли он видеть синьору Бьянки. Дверь приоткрывается.

— Синьора Бьянки уже три дня как уехала.

— Что? — переспрашивает Паганини.

Старуха захлопывает дверь перед самым его носом. Паганини опускает маленький сверток своего багажа на землю и в изнеможении садится на него, закрыв лицо руками. Скрипят ворота, старуха выходит и подносит фонарь к самому его лицу.

— Как вас зовут?

Получив ответ, она вручает Паганини надушенный розовый конверт. Паганини дает ей лиру, на лице старухи появляется что-то вроде улыбки. Паганини просит посветить и читает письмо, держа его дрожащей рукой. Синьора Бьянки назначает ему свидание в Неаполе. Короткая записка: «Жду в Неаполе. В гостинице «Солнце».

Утром снова гонка, под вечер второго дня — опять при лунном свете — он у цели. Впускают в дом, просят подождать. В гостинице не оказывается синьоры Бьянки, она — в отдельном флигеле, который занимает хозяин. Сказали, что сейчас узнают. Паганини сидит в комнате

неопределенного вида и убранства. Сердце бьется, отсчитывая последние секунды разлуки, словно хочет ускорить бег времени. И вдруг в комнату впархивает девушка в белом платье, веселая и смеющаяся, продолжая напевать в такт вальса: «Паганини, Паганини, Паганини!» — Чудак! — Она повернулась перед ним еще раз и хлопнула в ладоши перед самым его носом. — Вы напрасно ждете, птичка упорхнула сегодня утром в Палермо.

...Вот поворот, огромная афиша с портретом Паганини. Надпись: «Новый Орфей, непревзойденный мастер — *Maestro insuperato*». «Да это прошлогодняя афиша», — думает Паганини. Но нет, это афиша концерта, который состоялся три дня тому назад.

— Что это? — Паганини хочет остановить кучера, кивает головой.

— Да, да! — кричит он. — Хорошо, что вы возвращаетесь.

Паганини переспрашивает:

— Как, значит, тот ехал на север?

— Кто тот?

Беспокойство охватило Паганини. Кто-то играл под его именем. Кто это, что это за странный самозванец?

...Чем ближе к Палермо, тем жарче. Злоба ожесточает сердце, когда смена лошадей отнимает то два, то три часа и, наконец, восемнадцать часов. Вот целая ночь напрасного ожидания, и вот море. Вот юг Италии, вот агавы величиной с человеческий рост.

Пастухи в гигантских шляпах, с ружьями за спиной, объезжают стада. Мрачные бронзовые лица. Перья в волосах. Горбоносые, с орлиными глазами, легкие, стройные люди. Священники, похожие на бандитов, и бандиты, похожие на попов. Вот на козлы садится специальный провожатый с мушкетом. За этого провожатого приходится доплачивать пятнадцать лир, это принудительная охрана. «Если не взять, будет хуже», — сообщил Паганини какой-то человек в гостинице. И вот наконец короткая переправа по морю. Полное безветрие и огромные плоские зеленые валы.

Палермо. Дальше бежать некуда, дальше — море и африканский берег. Дальше — Тунис, и Алжир, и пустынные пески. «Если она бежит от себя, — думает Паганини, — то это будет продолжаться всю жизнь. А если от меня?..»

Как острое, пронизавшее мозг, возникает мысль, вернее — воспоминание, вернее — образ. Прямоугольный камень, как надгробие, и на нем лежит в маленькой комнате Неаполитанского музея белый мраморный, вытянувшись во весь рост, гермафродит.

Сицилийцы — не горячие поклонники музыки. На концерты в палермском театре приходили главным образом моряки английского флота, австрийские офицеры и случайные путешественники. Семейство Абд-ар-Рахмана, отец и четыре сына, постоянно занимало кресла первого ряда.

Афиши, возвещавшие о музыкально-вокальных выступлениях Антонии Бьянки и Никколо Паганини, появлялись все реже. Синьора Антониа была ревнива к музыкальной славе. После третьего концерта начались споры. Супруга считала, что скрипач должен только аккомпанировать певице. Паганини смеялся, убеждая ее, что в их отношениях вообще не может быть аккомпанемента; оба ведут самостоятельные партии. Но потом уступал охотно.

Особый блеск глаз и новый румянец на щеках Антонии вскоре были им замечены и правильно поняты. Антониа подтвердила. В деревне около Пестума, в горах, жила ее тетка. Женщине в таком состоянии необходима женская помощь.

Старая, ворчливая, горбоносая, с лицом сивиллы, с явными признаками греческой крови в жилах, тетка Антонии подружилась с Паганини. Ей нравился человек, такой острый на язык, ей нравилось то, что он с нетерпением ждет ребенка, ей нравилось то, что он богат и независим, и она очень быстро успела поссориться с племянницей из-за своих постоянных и неумеренных похвал синьору Паганини. Единственная размолвка, по очень незначительному поводу, лишь однажды омрачила отношения ее с новым родственником. Тетка удивлялась, что синьора Антониа не капризничает: беременная женщина должна быть капризна. Паганини просил старуху не внушать Антонии этих опасных мыслей.

Однако внушение подействовало, синьора Антониа решила капризничать.

Первый спор возник в связи с известием о гибели на севере Италии многих из друзей Паганини. Ссора дли-

лась два дня, супруги не разговаривали. Синьора Бьянки вдруг с негодованием стала осуждать сочувствие супруга повстанцам. Она твердо заявила, что «своими руками задушила бы каждого карбонария».

В Палермо синьор Паганини привязался к маленькому кругу знакомых. В группе рыбацких жилищ, неподалеку от города, он любил находить себе отдых. Там он получал, как говорил, самую великую награду за игру на скрипке, когда сотни сицилийских рыбаков съезжались и располагались полукругом в маленькой бухточке, слушая его игру. Это были концерты под открытым небом, в тихие, безветренные вечера, когда цветные паруса лодок, возвратившихся с улова, виснут, горя яркими пятнами в лучах заката.

23 июля 1825 года появился на свет Ахиллино Паганини. Из всего, что нам известно о жизни великого скрипача, только эта дата является абсолютно точной.

Даже в определении даты рождения самого Никколо Паганини биографы расходятся. Панегирическое житие, написанное почитателем великого скрипача, Шоттки, собственные письма музыканта и позднейшие исследования и документы дают очень мало возможностей для установления точной хронологии трудов и дней Паганини. Но дата рождения ребенка совпадает решительно всюду: это было 23 июля 1825 года.

Глава двадцать первая

ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЭВРИДИКА

Появление первой улыбки у ребенка вызвало экстатическое, почти молитвенное состояние у Паганини. Казалось, весь мир отошел куда-то и вся жизнь сосредоточилась в этих голубых глазах. Ослепление Паганини было так велико, что он совершенно не замечал некоторого недовольства жены, жаловавшейся на то, что пошатнулся ее голос, не замечал ревности женщины, у которой ребенок украл внимание супруга.

Еще задолго до рождения Ахиллино синьора Антониа мечтала о путешествии на север, о концертах в Европе. А теперь ей приходилось выслушивать слова супруга о том, что ему нравится жить в Палермо, что он с детства простудился в снегах альпийских озер, в холоде Кремоны

и долго не может согреться, что ему нужен зной сицилийского солнца.

Паганини наслаждался спокойствием палермской жизни. Ему казалось, что он погружается снова в тот сон, который овладел им когда-то в Лукке.

Но на месте Армиды была Эвридика, постепенно преобразующаяся в Медею, и это быстрое превращение заставляло Паганини замечать, как на огрубевшее от загара лицо его подруги ложатся тени зрелости и как появляются между щеками и верхней губой роковые тонкие складочки, угрожающие превратить гневную голову Медеи в голову Мегеры.

Вечерами Паганини выносил сына к морскому берегу. Дети рыбаков прибегали показывать оранжевых и ярко-зеленых рыбешек, причудливые водоросли и морские звезды. Ахиллино протягивал ручки, но стоило морскому цветку шевельнуть своими лепестками, чтобы ручки отпрядывали назад с шутливым испугом, и мальчик закатывался звонким ребяческим смехом.

Ахиллино пошел четвертый год, когда праздная жизнь начала надоедать располневшей синьоре Антонии. Она стала страдать от однообразия впечатлений.

Письма, которые получал Паганини от неизвестных ей друзей с севера, приходили все реже. И все мрачнее становился Паганини, когда она поднимала разговор о поездке на север. Отношения настолько обострились к тому времени, что только страх перед разводом и боязнь лишиться ребенка заставили Паганини уступить.

Это была минута перелома. Внезапно ощутив прилив огромного творческого напряжения, Паганини в один день собрался и выехал на север, погрузив на корабль карету, лошадей, захватив тетку, няньку, тетчину собачку и четырех зеленых канареек. Эти канарейки были любимыми игрушками маленького Ахиллино.

В Калабрийских горах их встретила неприятность, подстерегавшая Паганини каждый день. При прохождении крестного хода Паганини не вышел из кареты. Он не осенил себя крестным знаменем, не проявил достаточной почтительности к церкви. Деревенский жандарм по знаку священника остановил карету. Лошади ринулись в сторону, проснулся ребенок, защибетали птицы в клетках, и затыкала собачонка. Плач разбуженного ребенка вывел Паганини из себя.

— Что нужно этому попу? — спросил он громко.

Жандарм потребовал предъявления документов, записал фамилии путешественников и в зловещем молчании вернул документы Паганини.

В Неаполь приехали вечером.

При въезде в город, на таможне, старый седоволосый доганьер удивился:

— Синьор, вы за неделю стали моложе! — Паганини посмотрел на него изумленными глазами. Доганьер, кланяясь, смущенно попятился, не решаясь повернуться к великому скрипачу спиной.

В гостинице «Солнце» на Константинопольской улице привратник, пропуская карету, воскликнул:

— Маэстро, эччеленца, до чего вы помолодели!

«Эти неаполитанцы сошли с ума», — решил Паганини.

Но вот в общей столовой висит огромная афиша, извещающая, что великий скрипач Паганини, только что приехавший из Салерно, собирается дать концерт. Паганини хватает тарелку, бросает ее на пол, срывает скатерть и кричит:

— Да что же это такое с вашим Неаполем?!

Содержатель гостиницы растерянно вбегает в столовую:

— Что угодно синьору? В чем дело, синьор?

Синьор показывает на афишу, висящую на стене.

— Да, да, — говорит хозяин с таким видом, как будто он своим сообщением чрезвычайно обрадует Паганини. — Он арестован, три дня тому назад арестован. Он оказался бухгалтером из Салерно, игравшим на городских свадьбах в Амальфи, в Атрани, в Равелло.

Паганини стучит кулаком по столу.

— В Лакава, в Салерно, в Неаполе, в Песто, черт бы вас всех подрал!.. — и добавляет несколько давно забытых выражений из обихода «Убежища»...

Первый концерт принес новую неожиданность. Паганини не узнал старых неаполитанцев, некогда таких безудержных поклонников его искусства. Часть публики аплодировала по-прежнему горячо, но Паганини заметил, что первые четыре ряда и несколько отдельных групп в зале хранили упорное и очень тяжелое молчание.

Высокий человек в черном сюртуке, с ядовитым и пронизывающим взглядом, сидел в первом ряду и все время смотрел куда-то мимо Паганини.

Сбор был полный. На утро следующего дня Паганини и Антония отправились с визитами ко всем неаполитан-

ским властям и музыкантам. Большинство дверей оказалось перед ними закрытыми. Мало ли какие бывают случайности! Паганини отнесся к этому спокойно. Но когда его карета в шестой раз должна была отъезжать от запертых дверей, Паганини посмотрел на Антонию и сказал, что он не хочет продолжать эти бесплодные попытки.

К обеду Антониа не вышла, у нее сидели две подруги, актрисы неаполитанского балета. Когда они ушли, Антониа сообщила, что в нравах Неаполя произошли огромные перемены и что необходимо как можно скорее уезжать из этого города. Суровые кары, предпринятые Бурбонами после возвращения из изгнания, сломили веселье этого города.

— Помните, синьор,—говорила Антониа,—это был город, где антихристово племя карбонариев свило себе гнездо. Музыканты Неаполя совершенно уверены, что ты находишься в сношениях с нечистой силой и только дьявольская помощь дала тебе твое ужасающее могущество. Кстати, синьор Паганини, скажите мне, вашей подруге жизни, откровенно: какие струны натянуты на вашей скрипке?

— О синьора! Во всяком случае, эти струны звучат не так, как ваш отзвучавший голос.

Он испытывал приступ удушья. Ему, человеку твердых убеждений, в котором любовь к искусству вытеснила все остальное, эти отголоски варварского средневековья и пыток инквизиции, мелкая подлость людей и изуверство католической церкви вдруг показались чудовищной нелепостью. Бешенство бессилия перед человеческой глупостью душило его.

Мать его чудесного ребенка, его жена, смотрела на него тихими, спокойными глазами. Казалось, она поняла муку, раздвоившую его сознание и на мгновение ошелолившую его. Она кивнула ему головой, ее изумительные ресницы закрылись, брови Медеи сдвинулись, на лицо легло выражение горя и раздумья. Тихим, ясным, до дна души проникающим взглядом отвечает ему его Эвридика.

— Если так будет идти дальше,—сказала она,—иссякнут наши доходы, концерты не принесут нам ни байокко...

Паганини не слушал.

Ранним утром, бросив ребенка и мужа, Антониа поспешила в почтовой карете в Рим. Всюду, где только

было можно, куда пропускали ее старые артистические связи с административной и духовной знатью апостольской столицы, она подготавливала почву для приезда мужа.

Приехав в Рим, Паганини, в гостинице, в комнате, отведенной для него, вдруг увидел старого друга, Россини. Они бросились друг другу навстречу. Выпустив Паганини из объятий, Россини сказал ему, что заболел дирижер и что он, Россини, пришел просить своего друга дирижировать оркестром. Разве могут быть какие-нибудь сомнения! Конечно, Паганини согласен. Друзья садятся. В это время вбегает мальчуган и подает Россини записку.

— Бедный Белло,—говорит Россини.—Умер. Сама судьба посылает вас на его место.

— Когда репетиция? —спрашивает Паганини.

— После захода солнца,—удивленно отвечает Россини.—Да... Позвольте, какой сегодня день?

— Сегодня пятница.

Лицо Россини становится мрачным:

— Пятница? Значит, я пропускаю еще один день. Уже целая неделя пропала из-за болезни Белло. Когда же я поставлю оперу?

Звон шпор и веселые голоса на лестнице. Смеющаяся, оживленная синьора Антония поднимается по лестнице. Усатый австрийский офицер прощается с нею на площадке. Дверь открыта, все видно. Синьора Антония улыбается, офицер целует ей руку, потом другую, правую, левую, потом снова правую. «Когда это кончится?» — думает Паганини. Россини молчит. Синьора Антония входит в комнату, за ней по лестнице, догоняя ее, поднимаются два священника в лиловых сутанах и в коричневых рясах, подпоясанных веревками, потом юноша в военной форме и старик в черной одежде. Все они входят в комнату Паганини вслед за синьорой, а она, подхватывая последние слова, говорит:

— Ну так что же, что пятница, синьор Россини. Репетиция вам разрешена. Не далее как сегодня утром я из Трастевере ездила к монсиньору кардиналу-полицмейстеру, и он разрешил вам репетировать по пятницам. И даже тебе,—она подошла к Паганини и взяла его за подбородок,—он разрешил давать концерты.

Три дня идут репетиции. Россини бесконечно доволен. Оркестр, вначале негодовавший на придирчивость Паганини, превратился в прирученный и покорный

зверинец. Однако этот Белло... «Говорят, что особенность итальянцев — прирожденная музыкальность. Откуда же эти варварские звуки?» — спрашивает себя Паганини.

Проходят еще два дня, и он не узнает оркестра. Люди, которые каждое движение его бровей считали личным для себя оскорблением, вдруг стали с напряженным вниманием всматриваться в его лицо, для них стало наслаждением видеть, как разглаживается это лицо, на которое давно усталость наложила морщины. «Экко! — кричал Паганини. — Брависсимо!» И эти чужие друг другу люди, по случайной прихоти судьбы соединенные у дирижерского пульта скрипача, о котором ходили разные темные слухи, вдруг загорались небывалой жаждой искусства как подвига, искусства как огромного дела жизни. Повинуясь жезлу из слоновой кости в руках этого странного человека, они все чувствовали себя большими артистами, виртуозами.

Наступил день публичного исполнения оперы Россини. Автор, синьор Иоахим, как его называли австрийские офицеры, бледный сидел за кулисами в отведенной ему комнатке. На столе перед ним стоял стакан оранжада со льдом и лежала книжка в красном переплете. Паганини запаздывал.

Когда он вошел, Россини схватил его за рукав сюртука и потянул к столу. Он показал книгу, на ней была надпись: «Don de l'auteur» — «От автора». Он нарочно открыл четыреста пятьдесят первую страницу. Это была «Жизнь Россини», написанная господином Стендалем, напечатанная в Париже на улице Бутуар в 1824 году.

— Ты помнишь его? Ты видел его в Болонье, — это самый скандальный офицер шестого драгунского полка. А улица Бутуар — ты знаешь, там живет самый озорной французский поэт — Беранже, вместе с автором «Марсельезы», Руже де Лилем. Руже де Лиля разбил паралич, он очень нуждается сейчас. Я был на этой улице, я там получил эту книгу.

Паганини читал строчки, посвященные ему господином Стендалем. Он читал о том, что он — первая скрипка Италии и, быть может, величайший скрипач за все время существования человечества; но что он достиг своего изумительного таланта не путем терпеливых занятий в стенах какой-нибудь консерватории, а в силу того, что заблуждения любви, как говорят, привели его в тюрьму на многие годы. Изолированный, покинутый людьми, в

тюрьме, которая грозила ему эшафотом, он имел под рукой только одно занятие—игру на скрипке, и вот там он научился переводить язык своей души в звуки скрипки. Долгие вечера заключения обеспечили ему возможность в совершенстве изучить этот новый, нечеловеческий язык. Недостаточно слышать Паганини в концертах, где он, как Геркулес, повергает в прах состязающихся с ним скрипачей северных стран. Надо слушать его, когда он играет свои каприччио в состоянии вдохновения, достигающем силы какой-то одержимости. Характеризуя эти каприччио, автор добавлял, что по трудности они совершенно невыполнимы и все труднейшие концерты перед ними—ничто.

Паганини хотел положить книгу на стол, но она упала на пол, листы смялись, и хуже всего было то, что, натягивая белую перчатку, Паганини наступил на чистенький переплет ногой.

Молодыми и быстрыми шагами он вышел в оркестр и взбежал на ступеньки дирижерского пульта. Он был бледен. Короткий и сухой стук палочки о пюпитр, минута настороженности, и зал огласился сладчайшими из всех звуков, которые слышала дотоле Италия,—звуками новой оперы Россини.

В перерыве после первого акта маленький усатый офицер, звеня огромными, не по росту, шпорами, вошел в комнату, где Паганини сидел с автором оперы. Оба молчали, и молчание было настолько тяжелым, что этот молодой человек в военной форме остановился в дверях, не решаясь переступить порог. Первый заметил его Россини. У него появилась шаловливая мысль: «Вот сейчас откашляется и тронет правой рукой усы». И когда действительно офицер, как по внушению, проделал все это, Россини не мог удержаться от хохота. Паганини поднял голову.

— Что вам нужно? — спросил он и встал.

Офицер отдал честь. «Слава Иисусу,—подумал Паганини,—черт бы тебя подрал, значит, это еще не арест!» Огромный пакет, вынутый из кожаной сумки, был передан Паганини. Красные сургучные печати в пяти местах пятнали конверт. Шелковый шнур торчал из угла. Офицер с поклоном вручил этот пакет Паганини и, ловким жестом откинув занавеску, вышел за дверь. Паганини увидел в коридоре толпящихся людей. Машинально он дернул за шнур. Пакет раскрылся. Грамота с тиарой и

скрещенными ключами гласила, что святейший отец, наместник Христов, благословляет ангельское служение раба апостольской курии и верного сына вселенской церкви Никколо Паганини и делает его кавалером ордена Золотой шпоры, знаки коего при сем препровождаются. Лента и красивая ювелирная игрушка лежали на ладони у Паганини. Он, как ребенок, нашедший красивую раковину на морском берегу, смотрел и не понимал, в чем дело.

Вынесенный на руках на авансцену, с бриллиантами и золотом на раскрытой ладони, Паганини недоуменно кланялся публике. Он кланялся низко, сгорбясь в три погибели и прикладывая правую руку к сердцу в знак полного недоумения по поводу внимания римского первосвященника и в знак того, что он униженно просит римскую толпу простить ему его громадный, подавляющий ее талант. Он просил людей простить ему его гениальность, он просил у громадного театра извинить ему непревзойденную мощь его вдохновения. У подлецов и жандармов, у воров и чиновников, у парикмахеров и сводней, у римских банкиров он просил извинения за то, что он бесконечно выше их и благородней, за то, что он сжигает ежеминутно свою жизнь на огне огромного и неугасимого искусства. Он просил прощения за то, что никогда не станет ни подлецом, ни вором, ни серым чиновником из мелкой поповской канцелярии, и сидевшие в первом ряду прелаты и кардинал-губернатор благосклонно улыбались, рукоплеща пухлыми ладонями ничтожному скрипачу, обласканному его святейшеством. Они видели раболепство этого скрипача и не чувствовали, что *этот не понятый и только этим преступный гений* просит прощения за свой безудержный талант, думая только о том, как спит маленький ясноглазый человек, с улыбкой премудрой, как сама природа, с мальчишескими веселыми щечками, существо, жизнь которого всецело зависит от его отца.

Но аплодисменты раздавались громче и громче. Толпа гудела и редела. И Паганини все острее начинал ощущать свое превосходство над всеми этими людьми. Это знакомое чувство опьяняло его. Старая генуэзская кровь отважных мореплавателей гордо стучала в висках. Потом его охватила страшная жалость к огромной толпе.

С тяжелым чувством одиночества садился Паганини в карету. Перед ним сидела Антония; ее покрасневшееся

лицо, чересчур яркие губы и блестящие глаза показывали, что она как нельзя более довольна произведенным эффектом. Она ждала, что супруг заговорит. Он должен был рассыпаться в словах благодарности. Но Паганини, устало склонив голову на плечо, в рассеянности выронил пакет с папской печатью. Ярко-алый сургуч затрещал под лаковой черной туфлей.

Синьора Антония вскинула на мужа глаза. Потрясенная таким пренебрежением к милостям святого отца, Антония в ужасе закричала и ударила Паганини по щеке. Кучер не оглянувшись, карета рванулась, испуганные лошади понесли. Паганини откинулся на подушки, закрыв глаза. Ни слова не было сказано супругами до следующего дня.

Утром, достав «Поншон», Паганини приложил его к слабому плечу Ахиллино. Ребенок охотно взял смычок, он уже умел подражать отцу и машинально нажимал струны тонкими пальчиками, извлекая плачущие, смешные, детские звуки.

— Он — мой соперник! — смеясь, воскликнул Паганини. — Честное слово, он — мой соперник! Он во всяком случае играет лучше, чем я. Ты — мой рыцарь Золотой шпоры, — говорил он, кружа маленького Паганини по комнате. — Его святейшество одарило трех лиц этой высокой наградой — Моцарта, Глюка и меня. О мое сокровище, насколько ты достойнее своего отца!

Синьора Антония вошла в комнату. Ни слова о вчерашнем происшествии.

Паганини просто и без любопытства смотрел на свою супругу. Он решил предать забвению вчерашнюю вспышку, не входя ни в какие расчеты самолюбия, просто ради нее самой, ради Антонии.

Но Антония ничего не забыла, она помнила каждую секунду — и молчала она просто потому, что не надеялась на свое красноречие. Да и кроме того, она, как верная дочь католической церкви, считала, что малейшее сопротивление велениям религии является страшным грехом и не нужно убеждать доводами ясной логики человека, идущего против наместника Христова и его сподвижников. Ее затрудняло главным образом то, что в плане, который она предполагала осуществить, не все зависело от нее одной. Она почти не сомневалась, что Паганини откажется ехать вечером с визитом к монсиньору кардинал-полицмейстеру.

Когда она наконец приступила к атаке, Паганини, против ее ожидания, не оказал сопротивления. Он просто ничего не понял. И, сидя в карете, он беспокоился лишь по поводу того, что, засыпая, Ахиллино три раза кашлянул, он досадовал лишь на то, что никто не напомнил ему захватить скрипку.

На вечере у прелата к Паганини подошел маленький человек в пудренном парике, усыпанный звездами, орденами и разукрашенный лентами. Он интересовался игрой знаменитого скрипача, спрашивал о тайнах и секретах его мастерства. Откуда-то принесли скрипку. Это было дешевое изделие неталантливого мастера, поставщика инструментов для виртуозов, играющих на свадьбах. Но вот ее коснулся смычком Паганини, и она запела так, как не пела никогда под руками человека.

Когда Паганини опустил смычок, маленький человек в орденах милостиво произнес:

— Вы приезжайте к нам в Вену, всюду скажете, что герцог Порталла пригласил вас. Вам всюду дорога открыта в теперешней Европе. Власть осуществлена полностью по заветам Христа и римского первосвященника, и, памятуя о том, что вы явились ко мне в Риме, будьте уверены в том, что вам всюду открыты дороги на север за Альпами.

На обратном пути, когда Антония беспокойно спросила о встречах и впечатлениях, Паганини вдруг вспомнил, что должна была состояться беседа с синьором принчипе Меттерних.

— Но его не было,—оправдываясь, сказал Паганини.

— Как не было?!—вскричала синьора, и щеки ее залил румянец гнева. Глаза с яростью вперились в злосчастного супруга.

Он никогда не видел ее такой.

— Князь Меттерних стоял перед вами, милостиво с вами говорил, а вы играли на какой-то отвратительной скрипке.

— Как князь Меттерних?—мрачно сказал Паганини.—Это был герцог Порталла.

— Ну да, герцог Порталла и есть князь Меттерних...

Разговор был прерван звоном разбитого стекла. Парный дышловый экипаж на перекрестке двух дорог врезался в их карету. После криков, шума, ругани кучеров, вмешательства сбиров и совершенно неожиданного для Паганини оскорбительного допроса, которому подверг

его молодой человек в черной одежде, все снова расселись по местам.

...В то время когда, вытянув усталое тело на маленьком диване, Паганини засыпал, полный мыслей о предстоящей поездке в Европу,—происходили события, о которых он не мог подозревать и которые имели для него немаловажное значение.

Жестокий, холодный взгляд остановился на протоколе, принесенном в двести сорок девятую комнату Ватикана.

Обстановка этой комнаты заслуживает внимания: маленькая белая койка, очень узкая, над койкой—крест из черного дерева с изображением распятого, вырезанным из слоновой кости; штофные обои содраны, пол застлан индийскими джутовыми циновками; два стула, деревянный непокрытый стол. Фарфоровый ковшик и стеклянная миска с чистой, прозрачной водой. На столе—перо и чернильница, стопка синей бумаги со знаком конгрегации и рядом маленькие светло-лазоревые листки со штампом генерала иезуитского ордена. Немного в стороне, у окна, потайной шкаф; дверцы его открыты...

Рука, начавшая писать адрес на большом синем конверте, не окончила первого слова. На длинных пальцах этой желтой прозрачной, как воск, руки не было никаких украшений. За столом сидел человек, облеченный огромной властью главы иезуитского ордена.

После смерти Тадеуша Бжозовского в 1820 году его место занял Алоиз Фортис. В данное время генерал ордена был в отъезде, и его замещал молодой голландец Питер Роотаан. Сдержанный, спокойный не по летам, этот человек своим бесстрашием, бесконечной суровостью к себе, презрением к человеческим страстям завоевал большое уважение ордена. Ясный аналитический ум давал ему возможность точно и отчетливо решать вопросы, как возникавшие из обыденной сутолоки, так и связанные с гигантским планом работы ордена во всех пяти частях света.

Синьор Роотаан получил сообщение о случае с каретой Паганини не непосредственно. Сбиры передавали сведения о происшествии в городе Риме синьору кардинал-полицмейстеру.

— Арестован ли неосторожный кучер? — спросил Роотаан.

— Нет,— ответил докладчик,— ведь он же в темноте, нечаянно...

Роотаан сделал знак рукой, и докладчик замолчал.

— Итак, синьор Паганини доехал благополучно с женою и сейчас поживает?

Докладчик кивнул головой.

— Известно ли, что кучер пробил стекло кареты человека, к которому милостив святой отец и которого князь Меттерних приглашает в Вену?

— Известно.

— Что же говорит кучер?

Докладчик развел руками:

— Он говорит, что в следующий раз будет работать удачнее.

Роотаан отложил бумаги в сторону.

— Внезапная благосклонность австрийского министра вполне понятна, она никого ни к чему не обязывает,— тихо произнес Роотаан.— Награждение, данное святейшим отцом,— это неосторожность, которая не должна повторяться. Сколько лет сыну синьора Паганини?— Получив ответ, Роотаан задумался, потом сказал как бы про себя:— Надо сделать так, чтобы воспитанием сына синьора Паганини руководили опытные люди.

При отъезде из Рима Паганини был удивлен сухостью обращения Россини. Последние дни Россини со всех сторон только и слышал восторженные, иногда даже преувеличенные похвалы Паганини, и хотя опера принадлежала перу Россини, но многие как бы намеренно в присутствии Россини подчеркивали свое восхищение дирижером. Иные прямо говорили, что опера значительно выиграла от того, что оркестром руководил такой опытный человек, как Паганини. В конце концов Россини задумался: если так упорно говорят о Паганини, и говорят одно и то же, то, значит, есть какие-то основания для такого рода суждений.

Паганини не знал ничего об этих разговорах.

Синьора Антония запаслась дюжиной рекомендательных писем. Слава окрыляла Паганини. Ему грезился Париж. Паганини слышал, что Фердинанд Паер, великий маэстро, как его теперь называли, стал властителем дум музыкантов Франции.

Но как попасть во Францию, когда переезды до

крайности осложнены тягчайшей паспортной системой, введенной австрийцами? Подданным какого итальянского государства вы являетесь, синьор Паганини? — Вы гражданин Италии, но Италия — это географическое понятие, на Апеннинском полуострове добрых два десятка государств. Если вас выпустили сейчас из Палермо, через Рим, на север, благодарите за это свою супругу. Остерегайтесь каждого шага. Звон каждого червонца, каждого дуката, попадающего в ваш карман, будет слышен в том кабинете, откуда следят за вами зоркие глаза, которые отыщут вас, даже если вы внезапно окажетесь на краю света. В ваших доходах заинтересованы, синьор Паганини, вы должны оставить большое наследство, а ваш сын должен стать благонамеренным сыном католической церкви.

Итак, дорога на север вам разрешена, монсиньор рыцарь Золотой шпоры, разрешена, несмотря на то что вы неучтивы: сами не догадываетесь писать церковные гимны и играть на скрипке в церкви. Божественный голос вашей супруги в этом случае помог вам, а благосклонность его светлости, герцога Порталла, князя Меттерниха, и князя Кауница обеспечит вам почетную встречу в городе его апостолического величества императора Франца. Но бойтесь неосторожного шага, расстаньтесь с чтением опасных книг, выкиньте из головы опасные мысли о том, что музыкальный гений сделает вас гражданином вселенной. В Ломбардо-Венецианской области вы — только подданный его величества, а в городе Риме вы к тому же еще поднадзорный кардинал-лицейстера.

Из близких друзей Паганини уцелел один Пино. Оставив ему почти все свое имущество — книги, ноты и письма, — Паганини выехал на север.

В какой-то суете прошли концерты в Триесте, Венеции, Флоренции, Перуджии и Болонье.

Неделю провели супруги на берегу Комо. Северные итальянские озера были любимым местом Антонии. Впервые Паганини узнал, что его жена родилась здесь.

Но вот решительный поворот. Вот взяты паспорта, началась утомительная горная часть пути через Крайну, Каринтию, Штирию. Вот миновали Земмеринг. Вдалеке, на обломках скал, высятся развалины рыцарских замков.

По ночам фореиторы затягивали старинные славянские песни. Лоренцино, один из них, полушепотом

рассказывал на стоянках о том, что тут часто выходят из могилы мертвецы, питающиеся человеческой кровью. Он развертывал шелковый платок с грубо нашитыми большими папскими ключами и крестами. Вынимая из плетенки головку чеснока, он заявлял, что чеснок — лучшее средство спасения от вампиров.

На Паганини подействовали эти рассказы, в особенности история с похищением вампирами ребенка. Он ночами не смыкал глаз, тревожно вглядываясь в темноту, охраняя спящего Ахиллино.

Глава двадцать вторая ПО ДОРОГЕ НА ВЕНУ

Газеты возвестили о приезде великого скрипача. Взору Паганини, остановившегося у подъезда одной из венских гостиниц, представилось странное объявление:

«Приговоренный к смерти и спасшийся из тюрьмы великий итальянский скрипач Никколо фон Паганини в скором времени приезжает в Вену и даст концерты.

Его святейшество простил ему многочисленные преступления и убийства.

Спешите, входная плата дукат, начало в двенадцать часов ночи. Большой венский театр».

Разъяренный Паганини приказал ехать дальше, но у следующей гостиницы висело то же объявление. Антония пожимала плечами и что-то лепетала о неудачном импресарио. Она чувствовала себя смущенной. Артист молчал. Он понимал, что на новой почве Антония не чувствует себя уверенной. У нее закружилась голова от успехов в Италии. Почувствовав себя руководительницей семьи, она зашла слишком далеко в своей самоуверенности и, очевидно, попала в лапы какого-нибудь антрепренера-шарлатана. Поправить дело было нельзя. На всех улицах висели портреты Паганини в тюрьме за решеткой. Он сидит с грустным красивым и молодым лицом на соломе и играет перед распятием, как бы вымаливая себе прощение.

Когда поздно ночью пришел слуга и спросил документы, Паганини, стуча кулаком по столу, потребовал содержателя гостиницы и полицейского офицера.

Оба не понимали, чего хочет от них приезжий артист. Когда Паганини потребовал сорвать афиши, которые его позорят и расславляют как преступника и убийцу, офицер развел руками и сказал, что если приезжий синьор итальяно недоволен венскими властями, то он может подать жалобу господину Седленицкому, министру полиции.

После ухода этих двух любезных людей Паганини решил серьезно поговорить с Антонией. Но он не застал ее в комнате. Паганини стал ждать. Он заснул в кресле. Проснулся ночью. Синьоры Антонии не было. Она пришла под утро, заявив, что ночевала у подруги, с которой когда-то пела в Венеции. Паганини как будто пропустил это сообщение мимо ушей.

— Но вы, кажется, не спали? — спросила Антония. — Ложитесь.

Паганини ответил спокойно:

— Ухожу, но прежде вы дадите мне обещание прекратить вмешательство в организацию моих концертов.

Тогда произошло странное превращение Эвридики. Все мифологическое обаяние ее внезапно исчезло. Перед Паганини стояла дебелая торговка, круглоглазая, разъяренная, с красными пятнами на щеках. Положив руки на бедра, она осыпала супруга потоком площадной ругани, и то растущее чувство одиночества, которое овладело синьором Паганини с момента первой супружеской ссоры, вдруг сразу подавило его. Оно перешло в ощущение брезгливости. Все повышая и повышая голос, Антония, сжав кулаки, стала наступать на супруга. Паганини, сложив руки за спиной, молча смотрел, что будет. Но проснулся мальчик и, плача, потянулся ручонками к матери. Ответом ему была звонкая пощечина.

— Мне все говорят, — вопила эта женщина, — что вы безбожник, мне сказали, что вы карбонарий, мне сказали, что вы не выполнили требования священника, предложившего вам окунуть скрипку в святую воду, чтобы доказать несправедливость обвинений в том, что ваша скрипка посвящена дьяволу. Вы — враг Христовой церкви!

— Еще бы! — закричал Паганини. — Разве для того божественный Гварнери делал эту скрипку, чтобы ваши попы размочили ее в воде? В покушениях на меня как музыканта компания святош готова пойти на любое предательство. Да, я действительно связан с дьяволом,

да, я действительно нахожусь в руках нечистой силы, но эта грязная сила — попы, а дьявол — это вы, синьора!

И тут внезапно одним прыжком синьора Антониа оказалась у стены. Она сорвала с петли футляр и вцепилась в скрипку.

Ахиллино смотрел, широко раскрыв глаза, и, после детского сна не узнавая матери, закричал. Он упал из постельки. Паганини бросился к нему, сделав какое-то непонятное движение, словно выбирая, где более необходима его помощь. Подбежав к ребенку, он увидел, что у мальчика вывихнут плечевой сустав.

Синьоры Антонии нет дома, и синьора Никколо тоже нет дома. Скрипка с оборванными струнами лежит на полу. Нянька не решается поднять ее и переложить. Комната пуста.

Только к полудню возвращается синьор Никколо, неся ребенка на руках. Ребенок спит. Урсулинка, сестра милосердия, садится у его кровати. Паганини с закрытыми глазами дремлет в кресле.

«Люди, отказавшиеся от ношения духовного сана, занимаются писанием стихов и сочинением музыкальных пьес,— писал государственный канцлер Меттерних в своих мемуарах.—Подозрительна мне карьера молодого Нея. Сын бонапартовского маршала, внук кузнеца, отказался от самых выгодных предложений и сделался простым скрипачом парижского оркестра. Это он мстит нам за смерть расстрелянного маршала».

Меттерних вспомнил слова фельдмаршала Суворова, сказанные представителям города Милана. В ответ на мнение, высказанное одним из австрийских офицеров, о вреде музыки царский фельдмаршал сказал:

— А я считаю музыку делом полезным, особенно музыку громкую, преимущественно барабан.

«Музыка дело полезное,— думал канцлер,— ежели музыкант знаменит и привлекает внимание иностранцев к развлечениям столицы его величества». С этой точки зрения канцлер ничего не имел против того шума в Вене, который поднялся по случаю приезда итальянского скрипача.

Словно по капризу судьбы, Вена в этом году была местом съезда крупнейших музыкантов Европы. Таким образом, выступление Паганини в Вене обеспечило ему

известность во всех городах Европы. И отзывы венской печати, вместе с письмами европейских скрипачей и композиторов, сделались достоянием не только всего тогдашнего музыкального мира, но, заняв все столбцы музыкальной критики, потоком ринулись по руслу обще-европейской печати, и в скором времени имя Паганини было у всех на устах.

Венский артист Майзедер был, пожалуй, самым верным, единственным другом Паганини, который действительно искренне оценил итальянского скрипача. Уже в Вене выявилось стремление завладеть скрипачом как притягательной силой, как неким магнитом, обеспечивающим антрепренеру колоссальные барыши. Чисто официальные, внушенные правительственными кругами строчки встретили Паганини на страницах «Театральной газеты» 25 марта:

«Приезд знаменитого генуэзского скрипача Никколо Паганини в наш город является самой интересной новостью музыкального мира. Предприняв свою первую поездку за пределы родной страны, Паганини прежде всего посещает нашу славную столицу. Вена—это город искусств, и она, конечно, ответит должным признанием таланту итальянского скрипача на тот знак внимания, который он оказывает нашей столице».

В это время Паганини заканчивал очень крупную вещь, которую он сам назвал «La Mancanza delle corde». Это была музыка исчезающих струн. Это была странная смесь музыкальных тем, облеченных в столь сложную форму, что после смерти Паганини это произведение исполнить не мог уже никто. Интродукционная часть этой фантастически трудной вещи исполнялась на всех четырех струнах. Дальше вариации незаметно переходили в легкий польский танец, разыгрываемый на двух струнах. Наконец четвертая часть состояла из адажио на одной струне. Паганини сам был доволен новой вещью.

— Если бы можно было написать рондо и сыграть его без всяких струн, то это было бы чистейшим воплощением звуков, раздающихся у меня в душе,—говорил он.

Итак, в Вене первое впечатление от Паганини было впечатлением людей, совершенно растерявшихся перед непостижимым явлением природы. Первые венские концерты были полным триумфом.

«Летопись искусства и литературы» писала, что Паганини нельзя сравнить с кем бы то ни было, это—явление

неповторимое. «Музыкальная мысль» писала, что «в своих адажио артист *перерождается* как бы по мановению волшебного жезла: чародей музыкальной техники уступает место вдохновенному певцу с необычайной простотой и величественной ясностью исполнения». Писали о нотах и аккордах, которые дают впечатление звучания десяти скрипок, целого скрипичного оркестра. Писали о замечательных звуках четырехголосового сложения, когда одновременно двухголосое пиццикато проходит на фоне мелодии и производит впечатление полного колдовства, когда публика в неистовстве встает и начинает искать за спиной Паганини тех оркестрантов, которые сопровождают на множестве скрипок его основную мелодию.

Когда Паганини выходил из театра и искал глазами свою карету, он встречал тысячи глаз, с любопытством устремленных на него. Были моменты, когда ему хотелось простого человеческого участия. Вот девушка в черном бархатном платье окидывает его любопытствующим взглядом. Она только что рукоплескала ему, она только что подносила платок к щекам, по которым текли слезы непонятого восторга и восхищения, она, не отрываясь, смотрит на скрипача,—и стоило только Паганини взглянуть на нее своими усталыми и бесконечно грустными глазами, как она ответила ему взглядом, полным ненависти и презрения. Здесь было все — и вульгарная пошлость венской аристократической модницы, и низкопробное чувство заурядного человека, который всегда боится и ненавидит того, кто хоть сколько-нибудь над ним возвышается, и подозрительность благовоспитанной католички, до которой донеслись какие-то смутные слухи.

— Волны маленького Дуная здесь грязны,—говорил Паганини.

Характерен спор, возникший между представителями венской музыкальной знати. Господин Шпор вначале считал возможным не удостаивать синьора Паганини внимания, а потом стал выражать свое мнение, которое должно было бы убить Паганини и сделать его ничтожным в глазах публики. Но произошло маленькое недоразумение: не было согласованности в отдельных отзывах, и поэтому, когда враги Паганини выступили по инициативе Шпора на страницах печати, разноголосица сильно повредила им.

Основной замысел был таков: доказать, что только публика с низкопробным вкусом может восхищаться

Паганини, но что синьор Паганини не только не является музыкантом высокого уровня, но больше всего напоминает заурядных цирковых фокусников, шарлатанов скрипичной игры. «Это — превращение чистого искусства в случайные упражнения корыстолюбца, каким является, по нашему мнению, этот итальянский выскочка. Ничего не осталось от великого и могучего скрипичного искусства, все сметено смычком этого дикаря с погремушками».

С другой стороны, Шпор, не вчитавшись в эти отзывы, выступил с совершенно иными заявлениями. Он писал:

«Под портретом Паганини есть подпись — «недостигаемый». Но то, что дало ему это название, есть ряд уже довольно устарелых прелестей. Паганини не внес ничего нового в великое искусство скрипичной игры. Наш соотечественник Шелер восхищал наших бабушек, разъезжая по провинциальным городам Германии. Эти дешевые ярмарочные прелести заключались в том, что скрипач играет, предварительно сняв со скрипки три струны, или выполняет пиццикато левой рукой, без помощи правой, — одним словом, во всех этих противостественных и не свойственных природе скрипки фокусах. Что хорошего, если Паганини заставляет скрипку петь голосом фагота и умеет передавать на скрипке плач старой бабы? Провинциалки нашей родины говорили: «Один бог на небе, один Шелер на земле».

Впечатление, произведенное отзывом Шпора, было огромно. Но венские газеты справедливо спрашивали: «Кто же наконец прав? Одни критики говорят, что Паганини *не внес ничего нового*, другие говорят, что он *испроверг все старое*, что его игра настолько нова, что ее не в силах воспринимать музыканты старой школы».

Если мы раскроем дневник Шпора, мы прочтем там следующее:

«Сегодня рано утром Паганини зашел ко мне, с тем чтобы наговорить мне множество хороших вещей по поводу моей игры и данного мною концерта. Я в свою очередь попросил его сыграть что-нибудь, так как я до сих пор ни разу не слышал игры Паганини. У меня были в эту минуту мои ученики, они тоже присоединились к моим просьбам, но Паганини наотрез отказался играть, ссылаясь на то, что он при падении повредил себе руку. Таким образом, я уезжаю, не услышав этого мага и волшебника».

— У святой матери церкви бывают недостойные сыны. Одним из таких недостойных является тот, кто ввел в заблуждение капитулارية римской апостолической курии и верховных носителей знаков ордена Золотой шпоры. Этот мздоимец принял большую сумму у синьоры Бьянки, которая сделалась несчастной жертвой грабителя Паганини. Она родила ему сына. Ребенок до сих пор не связан обрядами святой церкви и потому обречен аду. Теперь Никколо Паганини, этот слуга дьявола, выгнал жену из дому в награду за великое тщание в его же успехах. Вот почему я просил бы доложить обо мне его светлости, чтобы я мог пресечь великий соблазн, могущий произойти из-за ошибок светских властей. Паганини не является сыном церкви, игра его не благословенна.

Это говорил монах в канцелярии у секретаря государственного канцлера.

— Откуда вы все это знаете, святой отец? — воскликнул секретарь.

Иезуит сделал смиренное лицо и произнес:

— Имеющие уши да слышат.

Он положил большой синий конверт на стол перед секретарем и, шурша шелковой подкладкой одежды, быстро направился к двери.

Синий конверт — это очень опасный пакет, в нем иезуиты посылают короткие извещения об исключении из ордена. «Не слишком ли длинные уши у этих монахов?» — подумал секретарь и стал перебирать пергаментные листы бумаги, записки и письма в голубом сафьяновом портфеле с докладными бумагами. Синий пакет был адресован на имя маленького толстого патера, духовника государственного канцлера. Способ вручения говорил об исключительности события. Секретарь его светлости получил синий конверт для духовника его светлости: очевидно, негодование ордена было таково, что необходимо было довести дело до сведения его светлости немедленно.

Гоффурьер с императорским пакетом вошел без доклада. Секретарь принял пакет, пожал руку молодому дворянину и спросил, кто ждет во второй приемной.

— Ваше превосходительство, — ответил гоффурьер, — там сидит черный человек с огромной шапкой волос и лицом Вольтера. Я никогда не видел такого интересного уродства. Если вам не понадобится этот посетитель, пошлите его в зоологический сад Шенбрунна. Герцог

Рейхштадтский скучает,—быть может, на его губах появится улыбка при виде этого уроды.

Такие шутки были проявлением обычного пренебрежения со стороны австрийской дворянской челяди к сыну Наполеона Первого, внуку императора Франца, находящемуся в почетном плену у австрийцев.

— Я еще не знаю, о ком вы говорите,—сказал секретарь Меттерниха.—Пригласите ко мне этого человека.

Через минуту Паганини стоял в кабинете. Он был желт, глаза его горели злобным огнем. Сухим, резким голосом обратился он к секретарю:

— Когда я могу видеть его светлость?

— Я, кажется, вижу перед собой великого Паганини?—спросил секретарь.

Скрипач молча наклонил голову.

— Его светлость,—заявил секретарь,—приказал мне вызвать вас и исполнить все, что будет вам угодно мне приказать.

Витиеватая формула отказа от приема, произнесенная на чистом итальянском языке, была настолько утонченна, что Паганини не заметил отказа. Он сразу ухватился за возможность высказать все накопившиеся чувства.

— Ваше превосходительство,—сказал он,—я въехал в Вену как преступник, освобожденный из тюрьмы. Дальше к этой молве прибавляется ворох вздора, который печатают здешние газеты. Я не решусь выступать на подмостках императорского города...

— Да, да,—сказал секретарь, перебивая его, и дернул шелковый шнур.

Вошел человек, секретарь наклонился над столом, быстро написал несколько строчек.

— Сейчас же вручите министру полиции для немедленного распоряжения по городу. Таков приказ его светлости.

Человек вышел. С самой очаровательной улыбкой секретарь обратился к Паганини и, подавив легкую усмешку, спросил:

— Это все, что вы хотели просить у его светлости?

— Я ничего не хотел просить, я требую, чтобы...

Секретарь снова перебил его:

— Но ведь не можете же вы считать виновным кого-либо из правительства его величества в том, что газеты пользуются случаем нажиться на сенсациях, а

афиши бестактны. Я прикажу цензору тщательно просматривать заметки и статьи, касающиеся вас, господин Паганини. Мы дадим предписание цензору пропускать в газетах только то, что вам самому будет угодно. Кроме того, вам обеспечена самая широкая возможность пользоваться для концертных выступлений лучшими помещениями нашего маленького города.

Паганини внезапно забыл все, что хотел сказать. Перед ним стоял выложенный человек, холодный, элегантный, черноглазый, остролицый, гладко выбритый, с чудесно завитыми волосами и напудренными щеками. Он смотрел на Паганини так ясно и просто, с такой ледяной благожелательностью и морозной любезностью в глазах, что Паганини чувствовал себя мальчишкой, попавшим в руки бессердечного тюремщика. С чувством досады на самого себя он неловко поклонился и, отвернувшись, чужим голосом произнес фразу, пришедшую откуда-то на язык:

— Я очень польщен вниманием его светлости.

— Да, да.—Секретарь закивал головой.—Мы знаем, где вы остановились, вас известят, когда его светлость пожелает слушать вашу игру.

Через три дня вся Вена была украшена афишами с надписью: «Неподражаемый, великий, мировой скрипач». Огромные плакаты изображали его напوماженным красавцем с орденом Золотой шпоры. У афиш и у касс собирались толпы. Лакеи, чиновники, горничные, услужливые кавалеры, берущие билеты для своих дам, офицеры, оглушительно звенящие шпорами и расталкивающие толпу, чтобы без очереди подойти к кассе, слуги, выскакивающие поспешно из гербовых карет и скупающие билеты первого ряда, камеристки венских графинь, спекулянты—все это шумело, взвизгивало, оглашало подъезд театра криками. Машина славы работала полным ходом.

Утренние газеты после концерта оповещали, что публика ожидала многого, ожидала неизведанных восторгов от чудесной игры, но все ожидания превзошла чарующая действительность. Никогда на берегах Дуная не раздавалось музыки слаще. В книжных магазинах висели портреты Паганини с овидиевыми стихами об Орфее. К стихам поэта, умершего на берегах Дуная, были присоединены вирши о новом Орфее, появившемся на верховьях этой древней реки.

Ахиллино поправлялся. Утром, скрываясь от всех,

Паганини ходил по магазинам игрушек. Часами он просиживал у постели сына, слушая его лепет, рассказывая ему старые итальянские сказки.

Время до обеда он проводил в совершенном уединении.

Он читал и писал. После создания «La Mancanza delle corde» он совершенно не трогал дома скрипки. Он прикасался к инструменту только уже на подмостках концертного зала. Единственным человеком, получившим к нему доступ во всякое время, был скрипач Майзедер, сын старого венского раввина. После первых официальных слов вдруг как будто сломался лед. Почувствовав в тоне юноши горячую искренность, Паганини неожиданно протянул ему руки и поцеловал его. Этот не свойственный ему сентиментальный жест был очень хорошо понят умным и слегка насмешливым Майзедером. С этого дня Паганини не чувствовал себя одиноким в Вене. Майзедер, проницательный и хорошо знавший венскую жизнь человек, быстро разобрался во всех явлениях, сопровождавших пребывание Паганини в Вене, и ему обязан Паганини тем, что не погиб в этом городе. Майзедер выводил его из того оцепенения, в которое повергали Паганини сплетни венской печати. Без назойливости, легко и спокойно Майзедер увозил Паганини с маленьким сыном во Флоридсдорф, они бродили по улицам, вместе отправлялись за покупками.

Однажды они покупали перчатки.

— Это кожа жирафа,— заметил Паганини, обращаясь к продавщице, предложившей им что-то невообразимо пятнистое.

— Нет, господин,— ответила торговка,— это самые модные перчатки: они называются «Паганини».

— Бедный скрипач! — воскликнул неузнанный покупатель.

— Он совсем не бедный,— ответила торговка, весело оскалив зубы.— Говорят, что он за большие деньги купил в Риме орден Золотой шпоры.

Майзедер и Паганини рассмеялись, выходя из магазина. Майзедер говорил:

— Сколько ослов поранила ваша Золотая шпора! Однако вы привлекаете покупателей в магазины.

Он указал на витрину другого галантерейного магазина, где выставлены были перчатки и галстуки а ля Паганини.

Паганини удавалось бродить по улицам неузнанным благодаря тому, что изображавшие его портреты не давали никакого представления о его внешности. Майзедер останавливал скрипача перед витринами гастрономических магазинов. Гигантский бюст из красного леденца с надписью голубыми чернилами: «Неподражаемый скрипач Паганини»; в другом месте — громадная сахарная голова, увенчанная бюстом Паганини; в третьем — огромный, во всю витрину портрет скрипача, сделанный из цветных шелковых платков. Майзедер смеялся над своим другом и однажды, для того чтобы поправить дело, привел к нему скульптора и гравера Ланга. За время короткой беседы, пока Паганини играл с маленьким сыном, Ланг сделал несколько профильных зарисовок. Ему, пожалуй, больше, чем кому-либо, удалось схватить сходство.

Набрасывая профиль скрипача, Ланг говорил:

— Сегодня я был свидетелем истребления вашего масляного бюста в молочном магазине. А вечером в гвардейском клубе офицеры, игравшие на бильярде, изобрели особый удар и называли его ударом Паганини. Это ли не слава! Что вам еще нужно от жизни?

Паганини нахмурился. В эти дни он больше всего думал о судьбе Ахиллино. Он впервые чувствовал необходимость добиваться самостоятельности для себя и Ахиллино, которую ему могли дать лишь большие сборы. Потом бросить этот проклятый город и — в Париж. Он мечтал об этом городе: там синьор Паер, туда теперь переехал Россини, там настоящая музыкальная жизнь, там скрипачи Байо, Крейцер, Лафон.

Прошла неделя. Паганини получил от Ланга бронзовую медаль с надписью: «Исчезнут звуки, но не исчезнет слава». На обороте было выгравировано несколько тактов его любимой мелодии и надпись: «Николаю Паганини, Вена, 1828».

В этот же день гоффурьер привез на квартиру Паганини маленький футляр и пакет. В футляре была та же медаль из золота, а в пакете было назначение Паганини солистом императорской капеллы. Все это было очень лестно. С этого дня пребывание в Вене было окружено тем опасным для артиста покоем, который заставляет настораживаться истинного гения и позволяет терять голову человеку среднего таланта.

Но этот покой был недолог. Вернувшись однажды

после прогулки с Ахиллино, Паганини нашел на столе большой розовый конверт. Неведомый друг опять появился на сцене. Он писал из Берлина и предупреждал Паганини, что его слава недолговечна, что его «поступок с женой» известен в музыкальных кругах. «Это уже не первая жертва вашего корыстолюбия и алчности,— говорилось в письме,— и так как господь не оставляет без возмездия тяжелого преступления, совершенного втайне, то все тайное станет явным. В руках у нас имеются явные доказательства того, что вы были венераблем карбонарской венты и что первое ваше обогащение возникло от пользования деньгами, собранными в кассу политических убийц и воров. Нам известно, что вы сами были приговорены к смерти. Нам известно также, что вы с пятью преданными рыцарями большой дороги грабили путешественников. Вас искали в Болонье, вы отделались ссылкой на случайность сходства. Но теперь мы доведем это до сведения венской охранной полиции, чтобы она была готова к аресту бандита, скрывающегося под видом скрипача».

Враг шел с открытым забралом и предупреждал письмом.

Паганини вызвал Майзедера.

— Не идти же вам с этим письмом в полицию,— насмешливо заметил тот.— Порвите и бросьте.

Однако уже в ближайшие дни появились в вечерних газетах строчки, похожие на искры, бегающие в пороховом шнуре. «Очевидно, где-то стоит пороховая бочка, и вскоре раздастся взрыв»,— подумал Паганини.

В маленькой хронике католическая газета писала, без упоминания имени Паганини, о пользе пятилетнего тюремного заключения для техники скрипичной игры и о том, что некоторые скрипичные аккорды свидетельствуют о неземной скорби великого грешника, утратившего душевный покой. Демонские звуки, взращенные в тюремном уединении,—это забава очень опасная для тех, кто предается употреблению этого яда.

Двадцать семь дней продолжался обстрел такими заметками, анонимными письмами. Это были мелкие уколы, но дело дошло до того, что слуги в гостинице отказались убирать комнаты безбожного синьора Паганини.

Наконец, вспомнив совет секретаря Меттерниха, Паганини направился в главную венскую цензурную камеру.

Скрипучая деревянная лестница, грязная и запыленная, с паутиной по углам, привела его в маленькую, полутемную комнату, из которой он попал прямо в канцелярию страшного венского цензора, под наблюдением которого находились все газеты города. К великому удивлению Паганини, его встретил добродушный, старый монах.

— Что я могу сделать с моим глупым помощником! — сказал он с улыбкой возмущенному скрипачу. — Я сам, конечно, не верю всему вздору, который мне ежедневно приходится прочитывать о вас в тех статьях, которые я задерживаю, досточтимый синьор Паганини. Но молодые люди, окончившие семинарии в этом году, преисполнены особым рвением к церкви Христовой. Вы должны быть снисходительны к ним. Если бы ваш сын, чтобы порадовать отца, в чем-нибудь перестарался, ведь не стали бы вы его наказывать? Точно так же и я лишен возможности остановить рвение верных детей святой нашей матери церкви. Но я советую вам сделать одно: напишите в театральную газету опровержение всех ходящих о вас слухов, а я прикажу, если газета откажется, напечатать вашу статью. Этим все будет кончено. Вы ведь правда не отравили вашу жену и не убили вашу любовницу? Я этому не верю.

Спокойный и вкрадчивый голос старого монаха, его вежливость и какая-то особая тишина, которой веяло от его слов, убедили Паганини. Придя домой, он несколько часов ходил по комнате. Он отказался от очередного концерта, сославшись на болезнь, и весь вечер писал. Корявые строчки становились дыбом, перо не повиновалось. Отвращение мешало ему расставить слова, как надо. Замаранные, перечеркнутые и надорванные листки лежали на столе, на полу, на подоконнике. Наконец он позвонил. Долгий плачущий звонок раздался по коридору. Ответа не было. Он дернул еще раз шнурок. Напрасно. Наконец, разъяренный, он рванул сонетку, и где-то в дальнем углу коридора на полу звякнул оборванный колокольчик. Заспанный слуга появился в комнате и молча остановился в дверях. Паганини запечатал конверт и надписал адрес.

— Отнесите это.

— Что вы, синьор! — произнес слуга в недоумении. — Кто же у меня примет ваше письмо в четыре часа утра! Да и ходить по городу сейчас небезопасно.

Паганини спохватился и взглянул на часы. Оказалось,

что эти несколько коротких и напряженных строчек стоили ему почти двенадцати часов.

Он отпустил слугу и, не раздеваясь, лег спать.

Через два дня в газетах появилось следующее письмо, напечатанное жирным шрифтом:

«Паганини спешит изъяснить свою признательность редактору статьи, помещенной в «Театральной газете» пятого числа этого месяца. Но, принося благодарность за лестный отзыв о последних концертах, данных перед лицом образованного и заслуживающего всяческого уважения общества города Вены, Паганини полагает, что некоторые выражения и фразы, допущенные в статье, не только являются излишними, но, намекая на темные слухи, пущенные среди разнообразных слоев венского населения, равно как и в среду граждан других городов Европы, требуют с его стороны самого полного и решительного опровержения как по форме, так и по существу. Паганини смеет уверить общество города Вены, ради защиты своего доброго имени и своей чести, а также ради восстановления беспристрастной истины, необходимой людям, что никогда, ни в какое время, ни в каком месте, никаким правительством и никакой властью и вообще никакими людьми, никакими общественными и частными организациями, ни по какому поводу он не был принужден вести образ жизни заключенного или подвергнутого изоляции человека. Ему, Паганини, ни разу не пришлось вести жизнь, отличную от той, какая свойственна честному человеку и строгому исполнителю правил гражданского и человеческого общежития. Это может быть засвидетельствовано любыми властями, под покровительством которых Паганини находился в те или иные сроки, везде сохраняя свою свободу, честь и достоинство своей семьи и стремясь прежде всего к достижениям высокого искусства, того искусства, служению которому Паганини обязан высокой честью выступления перед тончайшими знатоками высокой музыки, какими являются для него, Паганини, благосклонные слушатели города Вены».

Под этой газетной заметкой еще более выделяющимся шрифтом была дана подпись: «Никколо Паганини».

С величайшим трудом скототив эти деревянные фразы, Паганини ждал появления своего письма. Он испытал страшное волнение, когда вместо этого прочел нечто совершенно неожиданное. Окаймленные траурной рамкой короткие строки сообщали:

«Сегодня в полдень в Тиргартене умер от разрыва сердца величайший скрипач мира Николай Паганини, не вынесший страшных разоблачений своей биографии».

Паганини читал это объявление вместе с Майзедером. Оно появилось в газете непосредственно после посещения редакции самим «покойным» Паганини. Правда, в вечернем выпуске, специально посвященном вопросу о смерти Паганини, было дано опровержение, а в следующем утреннем выпуске «Театральной газеты» появилось его письмо, но Паганини испытал все, что в таких случаях испытывает человек, сделавшийся жертвой издевательства. К нему приходили неизвестные люди. Раз три ему приходилось отпирать дверь и отвечать на вопрос, кому поручено хлопотать о похоронах и каков порядок возложения венков. Никакие анонимные письма, никакие газетные сплетни не повредили Паганини так, как повредило ему это страстное заявление о своей невинности. Оно вдруг показало венской публике разоблаченного Паганини, Паганини, уязвленного сплетней, Паганини боящегося, Паганини, попавшего в сети клеветы и подозрения.

«Объявление о смерти Паганини оказалось только преждевременным», — писала маленькая газета, выходившая в Берлине и перепечатавшая письмо Паганини. Газета подвергла критическому разбору каждую строчку. Огульное отрицание какой бы то ни было вины было новым преступлением Паганини. Тон его письма был недопустим. Паганини просто увиливал от оправдания, не опровергая по пунктам тех серьезных обвинений, которые на него возводились.

Майзедер в беседе со своим другом упрекал его:

— Ну, отчего вы не посоветовались со мной? Я знаю венских скрипачей, знаю музыкантов Берлина, мне известна стоимость построочной платы венским журналистам. Неужели вы думаете, что им нужна какая-либо истина? Для их заработка самая грязная молва дороже всего. Безукоризненный Паганини, не приносящий дохода газете, ровно ничего не стоит, даже если он — гениальный скрипач. Паганини — содержатель притона, развратитель, злодей, зарезавший свою любовницу, в тысячу раз дороже. Как вы этого не понимаете! Неужели вы думаете, что кому-нибудь из этих людей интересны ваша живая личность, ваши действительные страдания? Неужели вы думаете, что кому-нибудь из музыкальных рецензентов

города Вены интересно вас обелить? Неужели вы думаете, что ваши благородные стремления показать Шпору великодушные и признательность будут истолкованы правильно?

Паганини молчал, глядя куда-то в сторону, но при упоминании о Шпоре быстро повернул голову.

— Что вы знаете о моем визите к Шпору? — спросил он Майзедера.

— Я знаю, как к вам относится Шпор, — ответил молодой скрипач. — Я — ученик Шпора. Шпор находился в зените своей славы в те годы, когда впервые на севере появилось имя Паганини. Маленькая газетная заметка не могла напугать Шпора. Я глубоко убежден, что он слышал вас, и это его испугало. Имейте в виду, что Шпор теперь идет к закату, он играет плохо, он обрюзг, он стал отвратителен в своей папской непогрешимости, ему скучно быть музыкальным Иеговой. Он окружает себя молодыми учениками, которым он раздает патенты на гениальность при том условии, что они обещают ему травить вас. Почему Шпор повернулся ко мне спиной? У меня умирала мать в тот день, когда пятнадцать человек страстных почитателей своего учителя, ученики Шпора, должны были присутствовать на его чествовании. Мое отсутствие было истолковано соответствующим образом. Я написал учителю письмо, где объяснил причину моего отсутствия. Мне передали его слова: он сказал, что у всех людей бывают матери и что смерть — это обычная участь человека. Тут было, очевидно, какое-то недосказанное «но». Этот старик ожидал приезда на поклонение даже от постели умирающей матери. С этого дня я его не видел. Вы должны понять, что для этого человека дорог каждый ваш промах и, чтобы навредить вам, он готов отдать последние деньги... Впрочем, у вас есть друзья, — закончил Майзедер и показал Паганини поэму в двенадцати песнях, сочиненную поэтом Кастелли.

Поэма называлась «Паганиниада». В высокопарных фразах Кастелли рассыпал похвалы гению скрипки. Мертвые и сухие, как звуки кастаньет, трещали и стучали рифмы. Паганини прочел первую строчку и бросил поэму на стол.

— А вот еще, — сказал Майзедер, — Фридрих-Август Канне, тоже двенадцатипесенная поэма.

Паганини попросил оставить ему обе вещи.

— Нет, положительно жизнь становится невозможной! — закончил свои размышления Паганини и встал.

Майзедер не унимался. Из мягкой кожаной папки с нотами он достал пачку номеров французской газеты «Музыкальное обозрение».

— О Париж! — вскричал Паганини. — О Франция! Вот куда я стремлюсь всею душой.

— Не рано ли? — спросил Майзедер.

Паганини вспыхнул и отвернулся.

— Я хочу сказать, — быстро поправился Майзедер, — что при вашем неокрепшем впечатлительном характере Париж может оказаться для вас опасным. — Затем, взяв Паганини за руку, он пояснил: — Гений и талант нуждаются в такой крепкой скорлупе, которая защищает от перемены погоды. Я ничего не сказал бы вам против поездки в Париж, если бы не ваше оправдательное письмо. В Вене оно доставит вам еще немало хлопот, в Париже оно будет причиной вашей гибели, если появится на столбцах парижской прессы после первого вашего концерта.

— Нет, — сказал Паганини, — я научился понимать людей, и я знаю теперь, что такое машина славы. Оставьте мне газеты.

Майзедер ушел. Паганини расположился удобнее в кресле и стал читать номер за номером. Некий Фетис дает отчет о его концертах. Он обходится без восклицательных знаков. Он не говорит тех слов похвалы, за которыми скрывается полное непонимание музыки. Коротко и сухо один за другим описаны все концерты Паганини. Вот концерт в редуте 23 марта. Вот описание собственных произведений Паганини, изложение темы военной сонаты, сыгранной на четвертой струне. Вот в правильной последовательности сказано, что следующая пьеса программы была заменена вариациями из «Золушки» Россини. Вот простое указание на то, что оркестранты присоединились к овациям публики. Вот указание на то, что 11 мая на концерте Паганини присутствовали все члены императорской фамилии. Вот описание концертов в залах Меттерниха, отзыв о концерте Родэ, сыгранном Паганини. «Этот Фетис понимает музыку», — думает Паганини.

Но вот строчки, упоминающие о Майзедере. Этот человек принес листы «Музыкального обозрения» с рецензиями Фетиса, невзирая на то, что, по обыкновению

всех рецензентов, Фетис не мог обойтись без сравнения. Зачем ему понадобилось унижать Майзедера? Как плохо о Майзедере! И все-таки Майзедер принес как доказательство бескорыстной дружбы эти вырезки и целые статьи. А вот тонкая насмешка Фетиса, которая обнаруживает в нем ум и понимание обстановки. «Как это случилось,—пишет Фетис,—что венская публика сочла возможным свергнуть с трона предмет своего последнего восхищения? Паганини заставил Вену забыть гигантского жирафа, присланного египетским пашой в подарок австрийскому императору».

Паганини легко вздохнул. Жизнь готовила атаку, надо было ответить на вызов, и Паганини решил ответить полным забвением всех требований своего самолюбия.

Монах-цензор, сидящий в главной цензурной камере города Вены, вдруг встал перед глазами Паганини во весь исполинский рост россиниевского дона Базилио, клеветника из «Севильского цирюльника». Паганини рассмеялся. «Неужели может быть для меня неясен вопрос, почему католическая церковь враждебно относится к моему искусству! Я ставлю этот вопрос иначе. Католическая церковь спрашивает, почему я к ней равнодушен. Италия выросла из пеленок, и темные суеверия с фальшивыми чудесами ничего больше не смогут ей дать. Но великое искусство музыки, располагающее вещи этого мира в стройном порядке,—вот что может зародить в душе человека новую гармонию, новое ощущение мира. Музыка, освобождающая строй души от всего, что удерживает человека во вчерашнем дне, не может быть принята церковью. Значит, необходим окончательный вывод: церковь — враг человека».

Глава двадцать третья

ПРИЖИЗНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

В один из тех дней, когда венские газеты устремились уже на поиски нового жирафа и занялись приключениями пропавшей дочери неких богатых родителей, в один из последних дней августа месяца у почтовой станции, неподалеку от Пратера, высадился человек, ничем особенным не выделяющийся, человек в одежде не то клерка, служащего у нотариуса, не то приказчика галанте-

рейного магазина. Однако этот неопределенный человек быстро сбил спесь с извозчика, запросившего слишком дорого. Извозчик, поторговавшись, усадил в коляску этого ничем не примечательного человека и отвез его к подъезду дома, где жил каноник собора святого Стефана. Здесь ничем не примечательный человек должен был терпеливо ждать, хозяина не было дома. Часа через два раздался стук в дверь. Старая служанка, не спускавшая глаз с посетителя, кинулась к двери. Вошел старый человек в грязном, лоснящемся одеянии. При виде посетителя он изобразил на своем лице что-то вроде улыбки, потом, достав табакерку, запустил по две огромные понюшки в каждую ноздрю и произнес:

— Ну, что привело тебя, мой сын, в город его апостолического величества? Что-нибудь важное вызвало тебя? Как поживает прекрасная Генуя, лучший из городов мира? — Потом, как бы обращаясь к самому себе, старик добавил: — Под старость чувствуешь не столько тяжесть годов, сколько желание покоиться в той земле, которая тебя вскормила.

— Отец мой, мы встречались с вами в трудные годы: припомните, как французское правительство барона Марбо приказало вас повесить, а меня заставили тянуть веревку. Это было, когда сподвижники нечестивого Бонапарта...

Отец Павел поднял левую руку и, остановив говорящего, осенил себя крестом.

Приезжий заговорил снова:

— Генерал Массена, как тигр, бросился в равнину и овладел нашей любезной Генуей...

— Помню, помню, сынок, — перебил отец Павел. — Я прекрасно знаю, что, если бы не твоя смывленность, мне бы не уцелеть. Ты мне скажи, какие новые знаки моей благодарности тебе нужны? Или ты в чем-либо...

— Да, святой отец, провинился, и очень провинился. Я совершил грех. Перед вами — вор.

Глаза священника загорелись, он любил иметь дело с преступниками и вообще людьми, преступавшими пределы обычной морали. Душа потрясенная ищет примирения с миром и боится людей. Вот тут опытный слуга церкви и может найти настоящую жертву покаяния и, воспользовавшись моментом, сделать из человека фанатика, который всего себя отдаст служению церкви. Нет ничего хуже, нежели человек честный и уверенный в себе: он

спокоен и равнодушен и не нуждается в помощи святой матери церкви. Но эти размышления внезапно оборвались, старик нахмурился.

— Какой же храм,—спросил он,—какую монастырскую казну твоя святотатственная рука осмелилась оскорбить? За это нет прощения ни здесь, ни в вечности. Знай, несчастный, кесарево принадлежит кесарю, а божье принадлежит богу. Святой Фома Аквинат в своем божественном трактате говорит: «Кесарь, взимающий налоги в пользу церкви и дающий десятину, есть кесарь праведный». Как же ты смел посягнуть на серебро и золото церкви Христовой? Предам, предам тебя.

— Простите, святой отец, я не трогал ни храмового, ни монастырского имущества. Я ограбил только старуху, умершую, никому не нужную, подделав ее подпись.

Старый каноник успокоился сразу:

— С этого нужно было начинать, сын мой. Итак, ты был в бегах. Под какой же фамилией, сын мой, являешься ты к нам, на берега Дуная?

Нови выложил паспорт, опрятный документ, украшенный всеми подобающими печатями и визированный зеленым штампом пограничной австрийской жандармерии. Старик сложил это огромное полотнище и вернул его своему питомцу.

— Ну что же, добро пожаловать. Аз, грешный служитель Христов, прощаю и разрешаю. Кто дал тебе паспорт?

— Маркиз Помбаль, брат нашего страшного врага, врага ордена Иисуса,—сказал Нови.

— Так, так.—Старик закивал головой.—Где же и как ты видел маркиза?

— Встретил его случайно, святой отец, в Генуе, на набережной, и он меня окликнул.

— Как же был одет маркиз Помбаль?

— Одет он был в форму морского офицера, и так как я давно не видел маркиза, то принял его за светского человека.

— Ну, ты не мальчик,—сурово сказал старик и, подойдя к вделанному в стене шкафчику, вынул из выдвижного ящика печатный циркуляр.—Вот прочитай это секретное письмо генерала нашего ордена.

Нови прочел:

«Дорогие братья, я не могу достаточно выразить вам печаль и горечь, которыми я проникся, узнав о решении,

принятом против ордена Иисуса парламентом и королем. Если король и парламент заставят нас при наступлении нового столетия невольно отдалиться от открытого общества, не позволяйте провести это отдаление, даже если придется пожертвовать одеждами нашего святого отца Игнатия: ибо, даже надев светскую одежду, мы можем оставаться объединенными святым обществом Иисуса. Тишина наступает после бури. Обречем себя на долгие годы лишений, чтобы соединиться при наступлении тишины. Постарайтесь соединиться теснее, чем в годы открытой связи. Помните, что нет власти, могущей отменить обеты нашего ордена. Страдайте и с терпением покоритесь всевышнему. Общество Иисуса да существует вовеки. Я охраняю вас, возглавляю ваше покорное стадо, я обречен переносить удары, на всех вас падающие. Со слезами даю вам благословение на проникновение всюду и всегда, во все светские союзы и общества, под всеми видами и одеждами, под всеми формулами открытых словес, сохраняя тайную формулу ордена Иисуса».

Нови не знал этого секретного циркуляра. Он прочел и умиленно прослезился.

— Тебе также предстоит это делать,—сказал каноник.—Есть два пути для тебя. Мы можем послать тебя в распоряжение отца Павловича в Моравскую тюрьму, где он исповедует карбонариев. Там попустительство светских властей привело к тому, что ослабла дисциплина надзирающих и окрепло упорство заключенных. Там карбонарии Конфалоньери, Марончелли, Пеллико и двадцатка других, не менее зловредных умов отравляют мысли и чувства христианского населения всех столиц.

— Только не туда!—вскричал Нови.—Только не туда, святой отец! Там слишком хорошо меня знают! Я был участником допроса карбонариев в миланской Санта Маргарита.

— Ну, а чего бы ты хотел?—спросил старик.

— При въезде в город я видел афиши. Враг святой церкви, скрипач и карбонарий Паганини играет в Вене. Я имею точные сведения, собранные опросом верных сынов церкви в Генуе и Милане, которые я сюда привез. Ради накопления богатства этот проклятый продал дьяволу душу. В Лукке он любил некую богатую женщину. Из ревности он убил ее и в припадке безумия был пойман почти обнаженным на большой дороге в Ливорно. Он был осужден и приговорен к каторге. Посмотрите, как

волочит он свои кривые ноги по полу. Он стремится скрыть слабость своих ног, таскавших в течение многих лет тяжелые кандалы. Однажды Паганини посетил дьявол, и свершился чудовищный торг: Паганини продал свою душу за миллион золота.

— Так, так,— говорил старик,— продолжай, я слушаю.

Нови почувствовал, что его наставник еще живее заинтересовался рассказом о Паганини, как только услышалось слово «миллион».

Он продолжал свой увлекательный рассказ.

— Что делал ты последнее время? — перебил тот наконец.

— Выполнял разные поручения маркиза Помбалья в Риме.

— Да, я слышал, ты служил у него кучером.

— Так, святой отец,— ответил Нови.

— Да, ну что же ты говоришь об этом скрипаче?

— Маркиз Помбаль получил из Рима предложение обратить на него внимание.

— Так, так,— опять зашамкал старик.— Ну и что же, ты обратил внимание, да? И ты думаешь, что генерал ордена благословляет твое внимание?

Нови молчал.

Старик достал из шкафчика маленький сафьяновый мешок, вынул оттуда микроскопическую записную книжку и, поправив очки, внимательно перелистал несколько страниц. «Ну что же, с нынешнего дня я поручу братии узнавать точно все денежные дела этого музыканта. Отчисления в наших руках. Труднее обстоит дело с банковскими секретами. Ну, да и это преодолимо».

Старик быстро обдумывал, по каким каналам должна завтра устремиться волна его приказаний. Банковские чиновники, счетоводы, журналисты, собирающие сведения о гонорарах,— все были в его руках.

— Не станет же он возить с собой свободную наличность,— как бы подтверждая собственную мысль, произнес старик.— Кто из твоих помощников...— старик запнулся,— нет, мы дадим тебе своего. У меня есть певчий императорской капеллы Урбани, мы пустим его в качестве призрака, сопровождающего Паганини, это будет его карбонарская тень, его двойник.

— В лучах ясного света растает мрак, окружающий Паганини,— сказал Нови.— Паганини— это грязный козлоногий демон, идущий со свирелью эллинского дьявола

по городам Европы. Снимите с него сюртук и штаны, и вы увидите, что это не человек; остригите его волосы, вы найдете рога; скиньте с него башмаки, вы увидите раздвоенные копыта.

Старик своими прозрачными глазами цвета бирюзы посматривал на вдохновенного клеветника.

— Ты все это видел сам? Так, так,—подтвердил он, не дожидаясь ответа Нови.—Святой отец Пухальский, сидящий во главе цензурной конторы, рассказал мне об этом скрипаче.

Глаза его так насмешливо и понимающе взглянули на собеседника, что тот запнулся, и речь его пресеклась.

— Что же ты молчишь?—сказал старик.—Быть может, тебе неизвестно, что святой отец и первосвященник римской церкви благоволит к твоему скрипачу, к твоему козлоному дьяволу, к твоему каторжнику! Может, ты хочешь знать, кто он? Он—кавалер папского ордена Золотой шпоры, вот кто он, а ты—щенок, и осмеливаешься...

— Боже мой, я не знал, я не знал, что святой отец...

— А! Ты не знал!—вдруг петушиным голосом пропел старик.—Так вот я тебе скажу, чтобы ты знал: ты неплохой малый, но если при буре ты будешь тверд, как льдина, то при дуновении теплого ветра ты можешь растаять. Если хоть один волос падет по твоей вине с головы кавалера ордена Золотой шпоры, великого музыканта императорской капеллы, синьора Никколо Паганини, раба божьего и верного сына церкви Христовой, то у тебя не только волосы спадут, но и голова скатится с плеч. Понял?

Нови побледнел, он чувствовал, что его одежда внезапно стала мокрой от испарины, у него дрожали руки и колени, он смотрел на страшного старика и, зная хорошо порядки ордена, уже чувствовал, что рука того тянется к синему конверту. Но, не видя синего конверта, окончательно упал духом. Значит, ему угрожает не простое исключение из ордена, а как только он выйдет из этой жарко натопленной комнаты, он будет схвачен на улице и брошен в тюрьму как человек, подделавший подпись и получивший чужое наследство. А через месяц он сгниет в каком-нибудь тюремном колодце, как обыкновенный уголовный преступник, нарушивший светский закон. Ужас охватил Нови. В эту минуту он ненавидел Паганини гораздо больше, чем еще за час перед этим.

Старик смотрел на него и, казалось, его не видел. Старик давно знал, какова была судьба Паганини в Парме. Все рукописи Паганини и все его ноты, лежавшие в Парме на сохранении, украдены, а синьор Пино, генерал цизальпинского легиона и карбонарий, десять дней тому назад внезапно скончался. По приказанию министра полиции, графа Седленицкого, опечатана квартира генерала Пино в Милане. В его бумагах найдены ноты, письма и дневники синьора Паганини. Все нити, связывавшие внезапно умершего генерала с синьором Паганини, теперь в Вене, в руках полиции. Старик знал, что одиннадцать карбонарских вент из Италии перекинули свою работу во Францию, но он знал также, что король Карл X с каждым днем все больше и больше подпадает под влияние ордена Иисуса и что не нынче-завтра Франция станет тем местом, откуда начнется полная реставрация господства церкви во всей Европе.

Если отец Лашез, духовник Людовика XIV, сходя в могилу, предупреждал короля о необходимости взять себе духовника иезуита, то этого короля не нужно ни о чем просить, он сам идет всему навстречу. Если там понадобилось напоминание отца Лашеза о том, что он не поручится за безопасность короля, буде его величество возьмет другого духовника, то здесь король сам хорошо знает, что бороться с орденом невозможно.

Наступает год решительной борьбы. Следует ли пренебрегать возможностью скопить большое богатство в руках человека, наследником которого является единственный хилый ребенок? Если Паганини станет несметно богатым сыном церкви, то это богатство будет уже богатством церкви.

Есть две возможности: или этот скрипач погибнет, или станет славой господней.

— Итак,—сказал старик, обращаясь к Нови,—отныне путь этого человека будет направлять рука всевышнего через посредство нашего святого ордена Иисуса. Поручаю тебе эту высокую и благочестивую задачу, но предупреждаю тебя, сын мой, что в тот день, когда ты уклонишься от пути и начнешь действовать по-своему, ты будешь выдан светским властям, как обыкновенный вор, и заслужишь казнь. Ныне имя маркиза Помбаля за тебя ручается. Но чтобы я мог тебе верить и дальше, скажи мне сейчас, назови мне только одно имя.

— О ком вы говорите? — Помертвевший Нови даже привстал от ужаса. — Не хотите ли вы сказать, что нашим истинным владыкой является не папа, а тот, кого молва ныне прозвала в силу могущества «черным папой»?..

Старик не смотрел на Нови, он, казалось, даже не слушал. Облокотившись на стол, он положил голову на ладони. Он был извещен и о том, что как раз в тот день, когда приехал Нови, в Риме произошли перемены. Ему необходимо было довести своего собеседника до состояния панического ужаса, а потом, ошелобив его внезапным ударом, узнать степень его осведомленности. Но хитрец Нови сам слишком хорошо знал приемы ордена. Произнеся последние слова, он остановился и не назвал имени. Случайно, в северном мальпосте, до него донеслась, как шелест ветра, весть: генерал ордена иезуитов, отец Алоиз Фортис, скончался. Он умер странною смертью, и его место занял другой, тот, кого действительно называли «черным папой», тот, кто тайно возглавлял римскую церковь.

Молчание старого каноника не предвещало ничего доброго. Нови был раздавлен. Едва шевеля губами и чувствуя, что язык ему не повинуется, он продолжал свою фразу:

— ...Генерал ордена Иисуса, кардинал Роотаан.

Но старик как будто не слышал, он отрывисто кашлял и вдруг произнес:

— Так, так,—будем считать наш уговор состоявшимся. Итак, именем генерала нашего святейшего ордена я, раб рабов господних, предписываю тебе, сын мой, неуклонно и неукоснительно, ночью и днем иметь неусыпное, бдительное и строжайшее наблюдение за путями названного нами раба господня.

Затем перешел к делам практического свойства. Закрывая зевающий рот рукой, старик объяснил Нови, что с ним будут четыре фамильяра в разных городах. Для него будут заготовлены четыре пергамента—два с маленькой цифрой даяний и два с большой цифрой даяний.

— Сделаешь так, как положено в нашем обществе,—говорил старик.—Цифру даяний на церковь на верхнем листе ты отметишь малую, а на копии, засвидетельствованной фамильярами, большую. Цифру даяний, завещанных родным, ты отметишь на подлинном завещании большую, а на копии—малую. В случае успеха, когда завещатель подпишет, ты, взяв все четыре документа, два

верхних передашь фамильярам на уничтожение. Ясно ли говорю я? — спросил старик Нови с обидным сомнением в голосе.

Нови произнес с упоением:

— Ясно, отец мой, ясно.

— Ясно, пока мы говорим с тобой здесь. Но смотри, чтобы не затемнили ум тебе последующие десять лет скитаний.

Нови тихонько поднялся с кресла. Он был бледен, опустился на колени и молитвенно сложил руки.

— Смотри, чтобы в одно прекрасное утро, проснувшись, ты не получил синего конверта с последующим страшным завершением.

— Только не это, святой отец, только не это! — молитвенно заговорил Нови.

— Нет, сын мой, именно это! — сказал старый иезуит и возложил руку на голову коленопреклоненного монаха.

Нови встал.

Утром следующего дня он узнал, что великий артист уехал в Прагу. «Какое счастье, что не в Париж», — подумал Нови и облегченно вздохнул.

За несколько дней до отъезда Паганини из Вены в венском театре шла оперетка под названием «Фальшивый виртуоз». Мейзель написал стишки, едкие куплеты, ругающие Паганини последними словами. Паганини назван был там «солистом», потому что играл только на одной струне соль. Актер, игравший фальшивого виртуоза, был загримирован довольно удачно. Он делал невероятно скучные и томительные пассажи на скрипке, которую перепиливал деревянной пилой. Вместо скрипки ему подсовывали к подбородку гигантский контрабас, поддерживаемый двумя пальчиками в кожаных фартуках. Веселая музыка привлекла в венский театр огромную толпу народа.

Военный врач Маренцеллер нашел у Паганини все признаки чрезвычайного переутомления. Паганини стал крайне раздражителен. Чтобы успокоиться, он выехал на отдых в Карлсбад, сообщив в Вене представителям печати о предполагаемых концертах в Праге. Так как в последующую неделю Прага не увидела Паганини, то в газетах первоначально появились сведения о его полном исчезновении, потом о тяжелом заболевании, и, наконец, все пражские газеты поместили траурное объявление о его смерти. То, чего не решались говорить о человеке.

при жизни, заговорили громко после смерти. Объявилась синьора Бьянки. Редакция большой пражской газеты получила от нее депешу с просьбой сообщить, где умер ее супруг и в чьих руках находится ее сын.

Неизвестно, что ответила пражская газета синьоре Бьянки, но только в это время Паганини можно было видеть живым и здоровым, едущим по одной из горных дорог Австрии с маленьким Ахиллино, с няней и с синьором Урбани, итальянцем, встреченным им недавно и обнаружившим чрезвычайную преданность и бескорыстное желание помочь синьору Паганини.

Прошла еще неделя. Газеты, печатавшие объявления о концертах Паганини, выходили двойным и тройным тиражом. Паганини воскресший был гораздо интереснее. Но кто искренне сожалел о том, что Паганини не в гробу, это пражская консерватория, от всей души ненавидевшая венских музыкантов. Слава, созданная скрипачу в Вене, была уже достаточным поводом для того, чтобы в Праге вознегодовали. Однако ожесточенные нападки пражских рецензентов, начавших целую кампанию против Паганини, не помешали публике ломиться на концерты так же, как и в Вене.

Нашлись у Паганини в Праге истинные друзья и почитатели. Молодой Макс-Юлиус Шоттки неотступно следовал за Паганини. Казалось, ему доставляло удовольствие дышать с ним одним воздухом. Он баловал маленького Ахиллино, он преследовал Урбани расспросами, он приносил Паганини газеты и кипы журналов, он сообщал ему все свои соображения по поводу критических выпадов. Не будучи удачливым в музыке, Шоттки захотел отличиться в литературе. Свое бескорыстное увлечение великим скрипачом он превратил в работу панегириста и захотел создать при жизни Паганини памятник ему и вместе с тем увенчать славой свое имя.

Когда Шоттки очень надоедал Паганини, тот вынимал два или три анонимных письма и читал ему вслух. Паганини любовался наивным ужасом этого неблестящего ума. С другой стороны, его радовала встреча с Шоттки как с благожелательно настроенным к нему человеком. Правда, в иных случаях скромность мешала ему говорить — о любовных связях, о вражде, еще не остывшей, о своих успехах и о человеческой ненависти, — но Паганини сам говорил, что иногда ему доставляло удовольствие

разглаживать эти морщины времени, поднимать занавес прошлого и отодвигать ширмы своей памяти.

Шоттки стремился к установлению точной хронологии событий. Паганини путал годы, дни, числа. Он мог хорошо вспомнить свет зари, сияние облаков над морем, он мог вспомнить звон колоколов при крутом повороте горной дороги, но не помнил ни чисел, ни месяцев. Шоттки проставлял их от себя. Добросовестный биограф все настойчивее и настойчивее наступал на Паганини, вплотную подходя к тем годам, о которых Паганини не хотел говорить вовсе.

Перед ним сидел человек, отягченный лаврами и флоринами, как говорили о нем пражские газеты, этот богач, о несметном состоянии которого ходили в Праге легенды, богач, который расценивал свои концерты так дорого, что люди лишали себя удовольствий на целый год ради того, чтобы слушать его один вечер,—этот человек не хотел рассказывать о нищете, о побоях отца, о тяжелом и упорном труде. Шоттки принадлежал к числу тех, кто не верил в возможность выступать без постоянных упражнений перед концертами, а между тем Паганини ничего не читал, ничего не делал, он не касался скрипки, он не касался нот,—он брал инструмент, лишь выходя на эстраду. Шоттки был в недоумении. Он не мог разобратся не только в этом. Вот почему многие записи о Паганини, которые мы находим в его прижизненной биографии, сданной в набор в 1829 году, подобны зарисовке, недостоверной и к тому же сильно пострадавшей от времени.

Глава двадцать четвертая

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ

Урбани получил предписание вызвать врача. Паганини тяжело простудился с наступлением осени в Праге и лежал. Молодой остролицый человек через два часа постучал в комнату скрипача. После мучительной процедуры осмотра он выказал чрезвычайный интерес к тому, как проводит время синьор Паганини. Он с удивлением узнал, что скрипач никогда не бывает на исповеди, никогда не принимает святого причастия. Он покачал головой и сказал:

— От этого могут быть многие болезни. У вас болит горло, у вас белые налеты в глотке, это нехорошо.

Он достал пузырек с сильно пахнувшей жидкостью, кисточку и смазал этой жидкостью горло Паганини. За этим последовал тяжелый обморок больного. Всю ночь больной метался в испарине и в бреду.

На следующий день заболели челюсти, раздулась щека, заболели уши. Газеты известили публику о болезни синьора Паганини. Афиши были перечеркнуты ярко-синей полосой с надписью: «Отменяется».

Бред возобновился. Паганини вставал, звонил слуге, ему казалось, что Ахиллино выбрасывается из окна. Он дергал шнур, открывалась штора, перед ним сиял пражский день, а ему казалось, что все еще продолжается томительная, душная ночь. Чувство страшного одиночества и боязнь за ребенка овладели душой Паганини.

Шоттки спрашивал, кто лечит синьора Паганини. Но как раз в этот момент синьор Урбани исчезал из комнаты.

Однажды, когда Шоттки сидел у постели больного, слышались шаги по лестнице.

— Вот наконец идет врач,—сказал Паганини.

Молодой профессор поднялся. Дверь быстро захлопнулась, вошел Урбани.

— Мне казалось, что там доктор.

— Нет, синьор, это почта.

Он быстро порылся в боковом кармане и достал оттуда письмо, измятое письмо, лежавшее в кармане три дня. Паганини не обратил внимания на то, что штемпель на обороте конверта неуклюже расползся под новым клеем. Писал Гаррис, предлагая встретиться в Берлине. Он оставил дипломатическое поприще, ему хотелось предпринять путешествие по Европе. По старой памяти он предлагал себя в спутники синьору Паганини.

— Какое счастье! — воскликнул Паганини. — Я напишу ему... Но мне казалось, что здесь доктор.

— Нет, нет.—Урбани отрицательно качал головой.

Зубная боль помешала писать. Три дня он не мог принимать пищу. Не выдержав, Паганини ночью послал за врачом.

Явился напoмаженный, надушенный молодой человек: его коллега выехал за город к заболевшей венгерской графине. Врач осмотрел больного и сделал прижигание горла. Потом, смазав десны, он вырвал больной зуб. У Паганини закружилась голова. Он совершенно ясно

слышал латинскую речь около себя. Рядом раздался голос: «Claude januat»¹ и ответ: «Clausus est»². Кто это говорил, Паганини не помнил: он в этот момент потерял сознание.

Утром новый доктор, Меланхолер, присланный от медицинского факультета, установил, что у Паганини изъято восемь зубов нижней челюсти и два верхней.

— Кто проделал над вами эту чудовищную операцию? — спросил Меланхолер.

Язык не повиновался Паганини. Меланхолер пожал плечами.

— У него паралич гортани... У вас не было французской болезни? — спросил он грубо.

Паганини качал головой. Меланхолер сделал новое прижигание, грустно пожал плечами и ушел.

Паганини лежал тридцать семь дней. Тяжелые и тоскливые дни потянулись один за другим. В полусознательном состоянии, почти в бреду он проводил дни и ночи. Шоттки сделал все, что хотел больной, которого мучила тревога за ребенка. Сотни всевозможных игрушек были расставлены в большой соседней комнате, оглашавшейся рукоплесканиями и смехом ребенка. В минуты облегчения, приняв беззаботный и веселый вид, Паганини вызывал ребенка для короткого разговора и, не будучи в силах произнести больше пяти-шести слов, писал Шоттки программу следующего дня Ахиллино.

Потом в изнеможении выпускал карандаш из онемевших пальцев и закрывал глаза. Временами казалось, что кончается жизнь. По утрам Ахиллино, приходя, смотрел на него большими, широко раскрытыми глазами.

По истечении месяца наступили часы благодетельного, счастливого сна. Перестало так давить грудь и горло, и голова освобождалась от странного ощущения, будто она оплетена паутиной, закрывающей глаза, рот, уши, липкой, но неуловимой. Эту паутину бессознательно стремились снять пальцы Паганини. Это были мучительные поиски тонких нитей, влезających в уши, потом казалось, что эти нити висят на пальцах и их нужно стряхнуть, но они опутывали губы, глаза, попадали в рот, между зубами, дышать становилось все трудней и трудней.

В те часы, когда приходил сон, вдруг раздавались звонкие крики, и гора игрушек, падая, рассыпалась на

¹ Запри дверь (лат.).

² Заперта (лат.).

полу. Паганини просыпался, ему казалось, что падала Пизанская башня под ударами молний. Вбегал маленький человек в белом костюме с серебряным шитьем. Красный венгерский кушак опоясывал бархатную куртку. Кивер с султаном покрывал белокурую головку, голубые глаза искрились. Ахиллино вынимал игрушечную саблю и нападал на отца, он ранил его в грудь. Паганини, забывая боль, улыбался. На тридцать пятый день вернулся голос. Первый раз Паганини почувствовал, что он не прошептал, а сказал полным голосом: «Ангел мой, ты видишь, я уже ранен!» Мальчик, слыша этот голос и видя отца, лежащего с закрытыми глазами, вскочил к нему на грудь, сел верхом и принялся открывать ему веки.

Наступил январь 1829 года. Паганини встал, ходил по комнате. Он исписывал огромные листы нотной бумаги, но потом опять его охватывало чувство неотвратимой тоски. Он переживал непонятное для самого себя состояние существа, стоящего на грани жизни и смерти.

И вот приехал Гаррис. Он привез с собою веселость и английский юмор. Озабоченно выпросив все, что было можно, у пражских докторов, он тщательно скрыл ужас, который вызвали возникшие у него подозрения.

Гаррис не терял времени даром. Он привез целую кипу газет, музыкальных журналов, бюллетеней. Он со смехом показывал Паганини вырезки из газет, аккуратно печатавших сведения о доходах Паганини.

— Вы будете скоро самым богатым человеком в Европе,—говорил Гаррис,—но вы знаете, забавное явление: в Гамбурге, в Лейпциге, в Берлине продаются ваши ноты с вашим портретом баснословно дорого. Издатели ссылаются на то, что гравировка ваших крючков-нот мельчайших длительностей с форшлагами и другими мелизмами, да еще и с какими-то небывалыми знаками, стоит огромных денег.

«Что-нибудь тут не так,—писал Паганини на дощечке из слоновой кости,—я продал вариации на «Моисея» Россини, я подготовил, но не успел продать новое издание Локателли, я продал «Баркароллу» и двадцать четыре каприччио». Последовал длинный перечень того, что написано, но не продано.

— Что вы!—говорил Гаррис.—Я видел ваши «Падуанские очарования», сонаты концертанте, «Два чуда», двадцать пять менуэтов, «Весну», «Наполеона», я видел ваших «Колдуний».

Паганини привстал на кровати, с испугом глядя на Гарриса.

— Откуда это? Все эти вещи были мною оставлены моему другу генералу Пино.

— Позвольте, генерал Пино... генерал Пино давно умер.

— Как давно умер, что вы говорите?

— Генерал Пино умер несколько месяцев тому назад.

— Боже мой! Мои ноты, мои письма, мои дневники, мои документы! — закричал Паганини.

Гаррис понял, что сделал большую ошибку.

С этого дня Паганини не покидала тревога.

— Неужели это все выкрадено? — иногда, прерывая разговор, восклицал Паганини.

— Успокойтесь, — говорил Гаррис, — не может этого быть.

Он через английские консульства в европейских столицах собрал все пьесы, вышедшие под фамилией Паганини. В скором времени великий скрипач убедился, что он обокраден европейскими издательствами. Все, что осталось в Италии, разметал ветер по европейским столицам. Но Гаррис очень быстро поправил дело. Судебные пружины, нажатые при посредстве английских связей, оказали свое действие. Двадцать тысяч флоринов получил Паганини, не выезжая из Праги. Урбани разъезжал по городам, собирал деньги, привозил чековые книжки, размещая, по указанию Гарриса, в банках крупные суммы, получаемые от издателей.

Из Праги было ближе всего ехать на юг, и так хотелось во что бы то ни стало двинуться через Альпы, увидеть Венецию на зеленой лагуне! Но Гаррис решительно запротестовал:

— Только не теперь. Ваше пребывание в Праге не внушает мне никаких опасений, а в Италии за последние месяцы пострадало слишком много ваших друзей. Родная почва будет сейчас питать вас ядовитыми соками.

— Сколько же времени это будет продолжаться?

— Не знаю, — сказал Гаррис и хитро наморщил лоб. — Думаю, что несколько лет.

Трудно было понять, в шутку говорил он или серьезно. Но Паганини решил следовать советам Гарриса: они выручали его неоднократно в трудных случаях жизни.

Первый концерт он дал в Дрездене. Саксонские газеты писали не столько о музыке, сколько о том, что

Паганини получил сборов тысячу двести пятьдесят талеров, милостивую улыбку королевы и украшенную бриллиантами золотую табакерку с портретом короля.

В Лейпциге концерт внезапно сорвался. Газеты слишком много шумели о колоссальных гонорарах Паганини. Лейпциг был наэлектризован молвою о его сказочном богатстве.

Лейпциг встретил Паганини враждебно. Магистрат оказывал какое-то странное давление на программу концерта. Директор лейпцигской музыкальной школы поставил условием выступление в концерте своей дамы сердца. Сделано это было в очень грубой форме, совершенно открыто. Паганини развел руками и просил Гарриса передать, что он не может обеспечивать во всех своих европейских выступлениях любовниц и содержанок, предлагаемых бургомистрами под угрозой неблагоприятной встречи в городе, директорами театров — под угрозой отказа в помещении, редакторами газет — под угрозой клеветнических статей и ругательных рецензий. Гаррис пытался смягчить резкость этой отповеди, но Паганини не согласился ни на какие уговоры. И так как Гаррис спорил, то Паганини сделал все, чтобы еще более обострить положение. Он написал письмо администратору лейпцигского театра в таких выражениях, которые неминуемо должны были вызвать крупную ссору.

Результатом явилось то, что обычный состав оркестра был внезапно удвоен, и начавшиеся репетиции пришлось прекратить ввиду исключительной бездарности новых оркестрантов. Старички, игравшие по ресторанам и трактирам, свадебные скрипачи, органисты, вышедшие давно на пенсию и служившие уборщиками в католических учреждениях, тамбурмажоры и военные музыканты, служившие в полицейском оркестре, — все это было двинуто против Паганини и оглушило его отвратительным скрежетом, писком и визгом на первой же репетиции. Список вознаграждений этому новому набору напоминал список военной контрибуции. Паганини поручил Гаррису уменьшить состав оркестра. Тогда первая половина — постоянный состав оркестрантов лейпцигского театра — отказалась участвовать в концерте.

Снова потеряв голос на репетиции, Паганини должен был обратиться к врачу. В присутствии Гарриса доктор, немецкий хирург, покачивая головой, заявил синьору Паганини, что его, очевидно, лечил какой-то шарлатан.

Гортань изъедена язвами, напоминающими французскую болезнь.

— Но это не то,—сказал немец.—Однако состояние во всяком случае очень серьезное. Кто вас лечил?

Паганини не мог ответить на этот вопрос. Обратились к Урбани. Урбани не было дома.

— Я могу вас вылечить,—сказал доктор и многозначительно взглянул на Гарриса.

Паганини вышел в соседнюю комнату. Доктор назвал колоссальную сумму денег, и Гаррис отказал ему. После ухода врача Гаррис уговорил Паганини начать лечение в Берлине.

Четвертого марта, забыв о лейпцигском приключении, забыв о нападках берлинских газет, возмущенных жадностью скрипача, не давшего ни одного концерта в Лейпциге, Паганини выступил в берлинском театре с концертом.

Этот концерт наделал много шума. В Берлин приехал Шоттки. Он отправился к своему другу Людвигу Рельштабу, и они вдвоем подготовили ряд статей в «*Vossische Zeitung*», настолько удачных, что первое выступление Паганини было полным триумфом. Даже Шпор удостоил концерт своим посещением и сидел в первом ряду, закусив губы.

Рельштаб писал, что Паганини осуществил невероятное, переступил грани возможностей, данных человеку природой. Победа такого рода не обходится человеку даром. Скрипач производит впечатление существа нездешнего мира. Трудно понять, кто это — ангел или демон, воплотившийся в обыкновенную человеческую оболочку, но только — эта оболочка носит отпечаток того невероятного, гигантского труда, который скрипач вложил в свое искусство. Следы страшного, мучительного утомления легли на лицо Паганини. Нет скрипача, похожего на Паганини хоть сколько-нибудь внешне, и нет музыканта, который смог бы превратить деревяшку в тот одухотворенный инструмент, каким оказывается скрипка в руках этого гения. Этот автор «Колдуньи» сам является чародеем. Кто переступит те грани человеческого мира, которые переступил Паганини, те грани человеческого мира, которые казались навсегда узаконенными природой? И есть ли какая-нибудь мера для определения силы этого гения?

Об этом говорили стихи Карла Холтея, об этом кричали берлинские газеты.

Весеннее половодье уничтожило многие прусские села и деревни. Сотни тысяч людей были разорены. 6 и 29 апреля, при громадном стечении народа, состоялись концерты по невероятно вздутым ценам. Берлинская публика ответила на это взрывом негодования, но по-прежнему ломилась в зал. Перегородки и турникеты опрокидывались толпой. Газеты были от негодования. Паганини называли Гарпагоном, отвратительным скрягой, алчным и ненавистным итальянским драконом.

Увеселитель берлинской публики, пародист и куплетист Сафир дважды обращался к Паганини с просьбой о предоставлении ему дарового билета, но так как он имел неосторожность сопровождать свою просьбу угрозой публично высмеять Паганини, если ему откажут, то Гаррис ему отказал, в силу категорического требования Паганини высоко держать знамя мужества и достоинства. И вот появилась заметка под названием: «Паганини, два талера и я». Сафир написал ядовитую статью на тему о жадности Паганини, где ставил себя в пример великому скрипачу.

«Мы оба, быть может, в одинаковой мере стараемся заслужить внимание берлинской публики. Паганини на одной «Seite», а я — на нескольких «Seiten»...» Увлечшись игрой слов «струна» и «страница», Сафир не догадался только об одном, — что сбор с обоих этих концертов, данных Паганини по высоким ценам, был, по приказанию концертанта, отдан Гаррисом в комитет по оказанию помощи жертвам наводнения.

Кассель, Франкфурт, большие и малые города Германского союза слышали Паганини.

Шпор писал в 1830 году:

«Паганини только что дал два концерта в кассельском театре. Я следил за его игрой на этих концертах с исключительным вниманием. Его левая рука работает с безукоризненной точностью и внушает мне чувство самого настоящего восхищения. Но в его композициях, в его стиле я обнаружил странную смесь явной гениальности с детской грубостью и безвкусицей, в силу чего общее впечатление от игры Паганини было для меня далеко не удовлетворительным.

Дважды мы присутствовали с ним на обедах в Вильгельмское, он показался мне человеком чрезвычайно веселым, общительным, острым на язык. Мы сидели с ним рядом».

В это же время в других германских газетах появилась заметка Гура, который писал, что «Паганини, этот отвратительный человек с невозможным характером, в высшей степени неприятен в общении. Надо думать, что его разрушенное здоровье является причиной его вечно дурного расположения духа».

Урбани с настойчивостью доверенного слуги, ревнующего господина к новому любимцу, настаивал на необходимости ехать в Париж. Гаррис принес вырезки из парижских газет: там уже есть портрет Паганини — обычный рассказ об убийствах, о скрипке, проигранной в карты, о тюремном заключении и о предводительстве шайкой итальянских бандитов. Один журналист сообщал, что Паганини находится в Париже инкогнито — «присматривается и принимается», но что ему, этому журналисту, удалось иметь беседу с Паганини. Приводится беседа с Паганини, портрет Паганини, портрет синьоры Бьянки и маленького Ахиллино. Портрет Паганини был обычным, установленным для этого рода газетным клише, но синьора Бьянки оказалась невероятной красавицей: для нее просто была взята какая-то старая итальянская гравюра, изображавшая мадонну.

Что касается Ахиллино, то, очевидно, репортер воспользовался дагерротипом какого-нибудь циркового бульдога, вундеркинда с атлетическими мышцами и жесткими азиатскими скулами. «Рано ехать в Париж», — хотел сказать Паганини. Но у него ничего не получилось. Гаррис с тревогой взглянул на своего друга. Паганини сипел, шипел сдавленной гортанью. Нервно схватил пластинку из слоновой кости и написал карандашом: «Не еду в Париж».

Он взял монету со стола, это был старинный саксонский дукат. На одной стороне был изображен портрет Августа Саксонского с гербом, а на другой — берег с пальмами и коленопреклоненный негр с гигантским блюдом сокровищ южных стран в высоко поднятых руках. Паганини написал на дощечке: «Если саксонский король шлепнется на пол, то негр укажет нам дорогу на восток. Если саксонский король откроет нам свое лицо, поедem на запад». Он высоко подбросил монету. Звонко ударился золотой дукат о каменный пол.

— Негр! — закричал Гаррис.

Утром стали собираться в Варшаву.

ПИСЬМА И ПАССАЖИРЫ

Еще не было железных дорог. Наиболее организованное движение конной тягой было осуществлено господином Лаффитом во Франции. Не одну тысячу карет во все стороны рассылали его почтовые дворы, и одиннадцать миллионов франков чистого дохода получал ежегодно господин Лаффит. Старики Бонафус и Кальяр должны были уступить ему дорогу. Господин Лаффит имел банк в Париже. Отделения этого банка были в столицах европейских государств, в том числе и в Варшаве. Секретно скупая акции мессаджеров и эйльвагенов, господин Лаффит распространил свою агентуру от Парижа до самых границ Российской империи. Господин Лаффит был влиятельной персоной в Париже, и если бы не странное направление политики Карла X, то, конечно, господин Лаффит был бы членом правительства, более влиятельным, чем кто-либо из восседавших там дворян. Так по крайней мере рассуждали французские спутники Паганини, ехавшие с ним в большой почтовой карете по дороге на Калиш.

Паганини путешествовал опять в почтовой карете. Во Франкфурте-на-Майне остались Гаррис, Ахиллино и все движимое имущество великого скрипача.

В Варшаве предстояли важные концерты. Русский царь, раздавив своих врагов, расстреляв Сенатскую площадь, на которой собрались бунтующие офицеры и солдаты, ехал в Варшаву возложить на свою голову корону польского короля и, затаив ненависть в сердце, присягнуть польской конституции.

В Варшаве ожидалась большие праздники, и вот Паганини решил именно там использовать несколько парадных вещей, написанных им в торжественном стиле. В их числе был английский гимн, переложенный им для скрипки, так как говорили, что этот гимн принят в России в качестве национального гимна.

...В той же карете ехали кожаные мешки с большими замками, с сургучными печатями и стальными цепями. Это была международная почта. В этом синем эйльвагене, направляющемся к русской границе, ехал скрипач Никколо Паганини, а наверху, на сетке, в кожаном мешке спокойно лежал толстый большой пакет из серой бумаги, адресованный к тому человеку, под надзор которого

Паганини попадал в Варшаве. В пакете лежали листы, исписанные красивым английским почерком:

«В Варшаву, ксендзу о. Ксаверию Коженевскому.

Дорогой аббат, сообщаю Вам только то, что помню, и то, что недавно удалось услышать. Тороплюсь и поэтому пишу сбивчиво.

Мадемуазель Март вернулась в Париж только в тот момент, когда граф д'Артуа возложил на себя корону Франции в Реймсе и стал королем Карлом X. В тот день мадемуазель Март исполнилось восемьдесят девять лет. Она мало изменилась: превратившись из красивой когда-то женщины в маленькую старушку, она сохранила живость взгляда. Сросшиеся черные брови не поседели, глаза были по-прежнему круглы, огромны, черны и выразительны. У нее сохранился даже свежий цвет лица. Легкие морщинки появились только около глаз. Нос с горбинкой придавал ей еще большее сходство с миролюбивой домашней птицей. Она остановилась у двоюродной сестры в Малом Пикпюсе, но потом переехала в Тюильри и заняла комнату, принадлежавшую когда-то фрейлине — ее матери. Годы, проведенные в изгнании, нисколько не поколебали ее характера. Она отличалась всегда чрезвычайной добротой и кротостью. Ее набожность стала беспредельной.

В свите принца Конде и при дворе герцога Брауншвейгского она пользовалась неоспоримым авторитетом и могла в любую минуту перевернуть решение двора одним простым и коротким словом. Не было случая, чтобы она воспользовалась этим для себя. Она кормила вдов и сирот, сама оставаясь голодной. Жертвы якобинского террора всегда могли найти у нее помощь и внимание. Казненного короля она считала святым и с разрешения отца Лакордера возносила ему молитвы, как ангелу, близко стоящему к престолу всевышнего.

Она тяжело болела дважды. Первый раз, после посещения своих монахинь, живших неподалеку от Брауншвейга, она, выходя из кареты, промочила ноги, пролежала шесть недель в жару и бреду, и предметом ее бреда был главным образом покинутый монастырь бернардинок. Второй раз снег застал ее в дороге; по обыкновению, она была плохо одета. Легкие ее наполнились кровью, она едва не умерла. Вдобавок она постилась и приобщалась. Но твердость ее характера и тут дала себя знать. Она заявила своему духовнику, что всевышний до тех

пор не захочет ее смерти, пока она снова не приведет в порядок своей обители.

Она действительно выздоровела, но, несмотря на все уговоры друзей и почитателей, не соглашалась ехать в Париж при Людовике. Она поставила непременно условием своего возвращения выселение всех, кто по праву революции занял ее монастырь. Она потребовала возвращения всех бернардинских имуществ, так как в списках римской апостолической курии она по-прежнему числилась настоятельницей монастыря Визитации.

Что же Вам сказать, дорогой аббат? Вы сами в Вашей швейцарской глуши узнали превратности судьбы. Не сердитесь за светский тон моего письма Вам в Варшаву. Я так привык думать о Вас как об эскадронном командире, о своем начальнике, что не могу придерживаться церковных оборотов французской речи. В следующий раз буду писать Вам по-латыни, тогда, уверен, мой тон Вам понравится. Латинский язык не располагает к болтовне, а наша французская речь, пострадавшая от якобинства, так же, как и все в мире, в настоящее время засорена плебейскими оборотами и словами пьяного мастерового. Мир пошел вверх дном. Вот видите, тридцать лет тому назад я ни за что не написал бы этой фразы. Теперь я пишу ее смело и многое другое произношу без страха.

Дальнозоркость мадемуазель Март, ее твердость и честность вскоре стали предметом общего восхищения. Все, кто еще недавно советовал ей двинуться в Париж, приехать в Сен-Клу и лично просить короля, все увидели, что она была права, отказавшись от этой привилегии. Людовик XVIII приказал отвратительному интригану и либералу Монлозье ответить на письмо мадемуазель Март полным отказом. «Впрочем,—добавил Монлозье от себя,—ваш вопрос можно поставить в очередную сессию палаты депутатов».

Можете себе представить, дорогой аббат, каково было возмущение мадемуазель Март! Я видел ее как раз в ту минуту, когда она, прочитав письмо, сидела в кресле. Черные четки и письмо она держала в руке, опущенной на ручку кресла, правая рука с платком лежала на сердце. Глаза были черны, как бездонный колодезь, в них горел огонь бесконечной грусти и негодования на происки дьявола, негодования, не проявляющегося ни в словах, ни в жесте, в силу того что св. Бернард учил кротости и смирению.

Как мы были слепы, и как она была прозорлива! Девять лет ждала она минуты, когда просветление сойдет в душу короля, но, как теперь Вы знаете, это просветление не настало. Лакордер недаром говорит, что кара господня настигает тайно и явно. Король стал разлагаться при жизни. У него отходили ногти от мяса, кожа сползала, как грязная перчатка, трескались веки и распадались ноздри. Это была ужасная кара за пренебрежение к церкви. Мадемуазель Март думала иначе. Она жалела короля и молилась о нем. Но слова «палата депутатов» вызывали в ней физическую боль, она осеняла себя крестом всякий раз, когда слышала эти слова. Давно это было. Но в 1825 году к ней каждый день являлись курьеры из Марсанского павильона. Она ожила, она вся загорелась тихим светом, и в этой вечерней лампаде появилась какая-то солнечная энергия юности. Вы видите, что я заговорил совсем светским языком. «Солнечная энергия» — это слово, недавно выдуманное нашими академиками. Оно бессмысленно и нелепо, ибо какая энергия может быть у солнца, кроме божественной? Без божьего благословения солнце перестанет светить в ту же минуту.

Итак, простите, дорогой аббат, продолжаю свое повествование об этой замечательной женщине и, — как это всегда бывает с беспмятными людьми, — сейчас только вспоминаю, что я ничего не рассказал Вам ни о детских годах, ни о молодости мадемуазель Март.

Племянница герцогини д'Абрантес, двоюродная сестра баронессы Жерар, графиня Декардон с детства отличалась ровным и спокойным характером. Судьба кидала ее отца — министра-резидента — в разные страны и города. Поэтому она плохо его помнит. Детство ее прошло около Шартрез де Гренобль, где она училась в монастырском пансионе. К чести ее надо отнести, что она никогда не читала недозволенных книг и, думается мне, лишь наслышкою знала, кто такие Вольтер или Гольбах. Я даже думаю (безбоязненно напишу это Вам, так как Вы не выдадите меня либералам), что она *ничего не читала, кроме Священного писания* и книг, написанных для спасения души.

Характерная особенность мадемуазель Март — это ее полное равнодушие к нашему полу. Она ни разу не была влюблена и на все искания руки отвечала мягким, но категорическим отказом.

В девятнадцать лет она приняла первое посвящение,

в двадцать четыре года, после побега краснощекой и веселой Франсуазы, любовницы архиепископа парижского, управлявшей монастырем бернардинок, она сделалась настоятельницей и с тех пор остается ею. Она одна из первых высказала ту мысль, что революция и якобинский террор — не простые случайности, а проявление божественного возмездия французскому дворянству за либерализм и невнимание к нуждам церкви. Революцию она приняла с кротостью горлинки и спокойствием мудреца. Она твердо верила в ее благодетельные последствия, хотя и скорбела душой о сословии, когда-то близком богу, а ныне навлекшем на себя его праведный гнев.

Мадемуазель Март высоко ценила дворянскую кровь. Она считала, что рыцарственность и благородство суть качества, обязывающие к религиозному подвигу. Она говорила, что дворянство есть первый сан религиозного посвящения. Она признавала, что и простолюдин может быть угоден богу, недаром же сын божий призвал рыбаков в апостолы. Но случаи эти чрезвычайно редки, так как чернь есть лишь ступень для восхождения дворянина. Никто не помнит случая, чтобы она когда-нибудь произнесла имя Бонапарта или как-нибудь отозвалась на его существование. В годы военных гроз она вела себя так, как будто Наполеона не существует, и лишь едва заметное крестное знамение свидетельствовало о том, что она слышала это ужасное имя, произнесенное кем-либо.

В письме к покойному королю она давала ему мудрый совет запретить упоминание в школах всех событий, связанных с революцией, так как она глубоко верила в то, что слова, даже легкие, как дуновение ветра, имеют оболочку и немедленно воплощаются, вернее — порождают тысячи демонов. В этом она, конечно, права.

Маленькая подробность из ее жизни в 1793 году. Король еще не был казнен. Мадемуазель Март ежедневно возносила о нем молитвы, которые — увы! — не были услышаны. В эти тревожные для нее дни она превратилась в какое-то бесплотное существо; скрываясь от Секции, она со своим братом оставила Сен-Жермен и поселилась у Сент-Антуанских ворот в квартире булочника; все свободное время она уделяла заботам о маленькой племяннице (Антуанетта теперь красивая девушка, невеста виконта Крузоля).

Начальник Секции Леблан однажды ночью ворвался с

отрядом и раскрыл их местопребывание. Обыск не дал никаких результатов, но нужно было взглянуть на то поистине ангельское спокойствие, которое проявила мадемуазель Март. Она не сказала ни одного обидного слова комиссарам, несмотря на то что эти люди в толстых ботфортах, стуча прикладами, становились ногами на стул и влезали на полки, сдергивая со стен священные изображения. Я не знаю человека более смиренного и более кроткого. В минуту, когда комиссар спросил: «А где же ваши бриллиантовые украшения, где ваше фамильное золото?» — она с улыбкой ответила, что ее мало интересуют эти вещи. И только маленькая Антуанетта, с улыбкой глядя на тетушку, произнесла: «Тетя Марта, разве вы забыли, что они в углу под половицей», — и сама поманила ручонкой *добрых дядей* в комнату, где под половицей ее отец сложил все имущество. Мадемуазель Март тихонько гладила Антуанетту по голове, когда племянница, в восторге от своей догадливости, указывала место, где ее отец спрятал золото и бриллианты.

Когда Леблен и национальные гвардейцы ушли, мадемуазель Март взяла брата за руку и тихо шепнула ему, чтобы он ни слова не говорил своей дочери. Антуанетта осталась в счастливом заблуждении, что она своей маленькой памятью помогла беспамятной тетушке. Скрестив ручки на груди, она заснула, а мадемуазель Март тихо напевала ей какую-то песню. Это был день полного разорения семьи. Оставались деньги, увезенные в Брауншвейг, но о получении их нечего было думать. Нужно было готовиться к эмиграции.

Мадемуазель Март выехала в почтовой карете на второй день после казни короля. Она была так тверда духом и так сильна, что брат ее не мог скрыть своего восхищения. Оба, одетые в крестьянское платье, с деревенскими корзинами, в сопровождении старого Антуана, бывшего на положении мажордома, благополучно достигли Вердена. Там произошла душераздирающая сцена. Граф Декардон, воодушевленный надеждами на скорый конец якобинства, выехал к ним навстречу. Дерзкий старик, растративший состояние на формирование немецкого отряда, принял в объятия сына в грязном трактире при выезде из Вердена. Оба были опознаны как лица, едущие под чужими именами, и тут же капитан пограничной стражи вместе с сапожником в красном колпаке учинили им допрос.

Мадемуазель Март, сохраняя по-прежнему спокойствие, заботилась о маленькой Антуанетте. Отец и сын разыгрывали сцену неузнавания друг друга, но было уже поздно. Отец стал слабеть. Он почти был склонен назвать себя. Глазами он умолял сына сделать то же. Молодой Декардон не выдержал и, бросившись на колени, закричал: «Да помолчите же, батюшка, в ваших руках спасение Франции!» — после чего оба были выведены на грязный конский двор, поставлены около кучи навоза и застрелены из пистолета.

В эти минуты мадемуазель Март в другой комнате, слыша выстрелы и зная, в чем дело, убеждала маленькую Антуанетту, что отец уехал вместе с дедушкой и что дальше им предстоит ехать вдвоем. О ней забыли. Антуан тихонько провел их к деревенскому кюре, оттуда через сутки они перешли границу. Мадемуазель Март даже не заболела. Ноги ее кровоточили, платье было разорвано, волосы спутаны, но в глазах по-прежнему светилась ее необычайная кротость и смирение. Маленькая Антуанетта спала у нее на руках, когда она ехала в коляске кассельского князя по дороге на Брауншвейг. Так она спаслась от террора.

По дороге граф Анри Шуазель, виконт де Бурдонне и графиня Лаваль громко говорили о том, что французское дворянство виновато перед богом и перед людьми. На это мадемуазель Март им кротко ответила, что угнетенных и невинно страдающих не следует говорить так, что она жалеет гораздо больше не тех, кого угнетают, а тех, кто, использовав кратковременное владычество на земле для их угнетения, безнадежно обрек себя тем на адские муки. Она считала, что тысячи демонов носятся над Парижем, что цвет проливаемой крови окрасил фригийские колпаки и что в кровавом океане, именуемом Революцией, гораздо лучше утонуть, чем плавать на поверхности.

На нее смотрели как на святую, с ней не спорили и к ней обращались за советами. В Брауншвейге она присутствовала при всех религиозных церемониях, сопровождавших отправку иностранных отрядов на французскую границу. Она говорила, что Христос идет во главе эскадрона, что ангелы незримо защищают ротных командиров, лейтенантов и полковников в отрядах, идущих против якобинцев. Были случаи, когда она словами кроткого увещевания просила солдат жертвовать жизнью

за своих офицеров, она говорила простые и убедительные слова о том, что крестьяне рождаются десятками тысяч, в то время как благородная кровь их командиров, по воле божьей, дарится французской земле каплями. Тысячи солдат должны с радостью умереть за одного офицера. Никакой человеческий закон, никакая «Декларация прав» не заменят крестьянству милосердия сердца и отеческих попечений синьора. Детская покорность отцу есть удел любого крестьянина.

К словам манифеста герцога Брауншвейгского о сожжении и истреблении Парижа она относилась как к Священному писанию.

— Огонь очищает все,—говорила она.—Когда наступит конец мира, тогда небесный огонь сожжет землю. Мир кончается, и прежде всего кончается Париж.

Она считала себя обязанной каждый день прочитывать главу апокалипсиса, и хотя с осторожностью относилась к экзальтированным и больным сестрам, пророчествовавшим в монастыре, однако не считала возможным возражать, когда кто-нибудь указывал на то, что свершаются сроки, назначенные апостолом Иоанном.

Теперь, дорогой аббат, расскажу Вам о последнем месяце ее жизни. Она с твердой настойчивостью добивалась королевского решения, и наш добрый Карл X не мог отказать мадемуазель Март, но, как Вы знаете, все вопросы, связанные с процветанием церкви, встречали какие-то неожиданные препятствия. Множество интриганов отравляло существование лучшим слугам невесты Христовой. Как громом поразило мадемуазель Март сообщение об оставке министра Полиньяка.

Золотой миллиард, розданный дворянам, пострадавшим от революции, сделал мадемуазель Март снова обладательницей огромного состояния. Она тратила его на поддержку семей, наиболее пострадавших от якобинского террора. Ее жизнь могла бы называться счастливой, если бы не вечная забота о том, что главная цель жизни еще далеко.

Она с грустью проходила мимо обители, в которой еще не раздавались тихие голоса сестер-монахинь, где еще не звучал старинный орган работы Жюнона, где под видом дисциплины педагогического института (подумайте, дорогой аббат, какая нелепость!) преподавались суетные светские науки, где раздавались крики школьников, дерзкие и нестройные голоса молодежи, испорченной

революционным духом. Каждое воскресенье после мессы мадемуазель Март приказывала кучеру везти ее к большим железным воротам, сквозь которые виднелась каштановая роща с порталом монастырского храма. Она смотрела на гигантскую розетку и цветные витражи боковых башен, сдерживая больное, сильно стучащее сердце, и, роняя тихие слезы грусти, она молилась о даровании осуществления ее несбывшимся надеждам.

Король говорил ей, низко наклоняя голову, стоя перед ней, сидящей на табурете, что он отдал бы полжизни за возможность ускорить возвращение монастыря, что он сделает все ради прекращения комедии королевской власти; он показывал ей патенты, раздаваемые блестящим кавалерам самых древних, самых рыцарственных семей, он говорил ей, что пройдет еще год — и в его армии не останется ни одного демонского Бонапартова вскормленника (мадемуазель Март крестилась при этом имени). Он жаловался на то, что зачастую не может назначить даже начальника провинциальной почты, что слишком часто министры вместо исполнения воли короля подчиняются прихотям депутатов.

Мадемуазель Март, обласканная королем, садилась в коляску с сестрою Сульпицией, всюду ее сопровождавшей после смерти Урсулы, смотрела на чужой, ставший незнакомым Париж, ехала к подруге детских лет, доживавшей на покое в монастыре Кларисс, любовалась цветниками, аллеями и дорожками прекрасной, благородной обители. На веранде маленького мещанского дома, выходявшего на берег Сены, она провожала усталыми и грустными глазами заходящее солнце и отсчитывала часы и минуты, оставшиеся до бессонной ночи.

Спала она все меньше и меньше. Горничные раздевали ее и укладывали в постель. Канделябр в четыре свечи горел всю ночь. Сульпиция снимала нагар, поправляла подушки, в то время как мадемуазель Март с открытыми глазами, в жесткой льняной рубашке, сжимая четки пожелтевшей рукой, лежала почти неподвижно и ждала, когда старинные часы со стоном и хрипом возвестят наступление зари; тогда она вставала и выезжала в соседнюю церковь. Там, занимая старое место Декардонов в опустевшем и одиноком храме, она встречала утро.

Потом начинался ее день. Внутренний огонь, сжигавший ее, не угасал ни на минуту. Кожа на ее лице морщилась и обвисала складками под глазами, губы

высохли, маленькие уши сделались прозрачны, как воск, но тонкие, сухие и изящные пальцы, когда-то восхитительно справлявшиеся с клавесином, по-прежнему быстро, в такт молитве, перебирали большие круглые зерна четок. Она испытывала чувство врача, который видит улицу, очищенную от трупов, но знает, что воздух еще насыщен чумной заразой. Мадемуазель Март боялась Парижа и не понимала новых людей. Минутами ей казалось, что бог окончательно покинул милую Францию, что виноградники меньше родят, что стада хуже плодятся, что цветущие деревни умирают и дворяне, водворившиеся в старых замках, чувствуют безысходную грусть.

Кому же хорошо, кто живет? На ком почил теперь божественная благодать? Кто чувствует на себе милосердие, не иссякающее на земле?

Граф Жозеф де Местр — прекрасный светский защитник церкви. Она провела с ним несколько часов непосредственно после приезда в Париж. Сульпиция рассказывала о молве, сопровождающей этого человека. Граф Жозеф де Местр — защитник старинной теократии, защитник светской власти папы и защитник должности палача, казнящего революцию. Он с упоением и с дрожью в голосе говорил об этом белом ангеле, поднимающем стальную секиру над головою дракона на эшафоте. Но вот какой-то Лувель, убивший наследника Франции, молодого герцога Беррийского, ложится на эшафот, и вовсе не белый ангел, а самый обыкновенный, всегда нетрезвый весельчак Симон нажимает кнопку гильотины. В корзину падает нечесаная голова Лувеля, простого парижского столяра, несколько не похожего на дракона. Террор продолжается. Революция не сломлена. Что же нужно этим людям, так охотно отдающим жизнь?

Господин Жозеф де Местр вовсе не понравился мадемуазель Март. Он говорил о церкви, о власти римского первосвященника такими словами, какие можно было услышать только в Якобинском клубе. Он говорил о безбожной науке как человек, всю жизнь просидевший в лаборатории. Где же здесь смирение ума, где простота сердца? Защитник святой церкви пишет языком еретического философа. Прощаясь с господином Жозефом де Местром, почтительно вставшим с наклоненной головой, мадемуазель Март сказала ему: «Вы на опасном пути, граф. Вы говорите о церкви языком Вольтера. Вот писатель, которого я сама не читала, но который может

вам позавидовать. Вот что принесли нам новые времена!»

С тех пор она не принимала графа. На днях, совсем на днях, случилось происшествие, еще более омрачившее мадемуазель Март. Сестра Сульпиция, которая отлучается последнее время все чаще и чаще, сообщила ей, что пятисот тысяч франков на подкуп буржуазных депутатов будет вполне достаточно для того, чтобы монастырь бернардинок был восстановлен в прежних владениях. Мадемуазель Март с негодованием отвергла этот план. Она знала, что делала. Король на последней аудиенции сказал ей, что палата продержится недолго, что Франция изгнанная, что Франция небесная, Франция, виденная им в Реймсе в день, когда архиепископ парижской кистью с крестом начертил на королевском лбу такой же крест, помазав его миром из священного сосуда, десять веков хранившегося в Реймсе,—что эта Франция скоро снова сойдет на землю.

— Припомните, дорогая сестра,—говорил он,—что королевство испытало немало бед. Я—Карл Десятый, но вспомните, как женщина, столь же святая, как и вы, Жанна из Лотарингского Марша, привела Карла Седьмого короноваться в Реймс. Меня, так же как и Карла Седьмого, сопровождали видения, а когда архиепископ взял склянку священного мира, десять веков тому назад принесенного голубкой с небес для помазания на царство язычника Хлодвигу, я вдруг почувствовал, что и я был язычником, усомнившись в божественной благодати, и тут мне предстал образ святой Франции. Я перестал грустить. Выйдя к portalу собора, я увидел десять тысяч золотушных, ждавших от меня исцеления. Я понял великую силу благодати.

Мадемуазель Март грустно покачала головой и сказала:

— Земля Франции стала золотушной: как гнойные струпья, издают едкий запах фабрики и заводы, богохульно поднимающие трубы к небу. Там живут и плодятся черви вместо людей. Они подтачивают красоту деревень и счастье ваших городов, они подточат ножки вашего трона.

Вполне понимаю, дорогой аббат, ваш интерес к замечательной мадемуазель Март. Вы спрашиваете об ее внезапной смерти. Она произошла по совершенно незначительному поводу и, как это часто бывает, с челове-

ской точки зрения совершенно несвоевременно, хотя, конечно, пути господни неисповедимы. Проведя нашу святую мадемуазель Март по пути испытаний, очистив ее, как золото, в горниле страданий, господь не дал ей увидеть цели ее надежд. Можете себе представить, ровно восемнадцать дней тому назад, после многих лет разлуки, приехала Антуанетта — цветущая, красивая девушка, поразившая мадемуазель Март своей беспечностью. Богатая наследница, смело располагающая своим состоянием, она объявила тетке, что выходит замуж за виконта Крузоля, купившего самую большую лионскую фабрику. Мадемуазель Март вздрогнула при слове «фабрика» и кротко сказала, что дворянин не может быть владельцем фабрики, что земля, благословенная плодородием, врученная господом благородному синьору, есть единственный вид имущества, достойный дворянина, и что она советовала бы племяннице подумать, прежде чем дать согласие на брак.

Мадемуазель Антуанетта была весела, она щебетала, как птица, и, оскорбляя слух мадемуазель Март, напевала песенки в саду о каких-то фужерских пастушках. Потом сестра Сульпиция передала просьбу виконта принять его. Виконт Крузоль не был принят мадемуазель Март, но проговорил с сестрою Сульпицией полчаса.

После отъезда Антуанетты, вечером, мадемуазель Март сделалось плохо, она с трудом дышала и очень тихо умерла от слабости. Облатка, данная ей когда-то отцом Лакордером, с трудом была поднесена ею к холодеющим губам для последнего причастия. Она кашлянула и, уронив голову, выплюнула божье тело. Наутро газеты возвестили о том, что даже самые либеральные депутаты и те голосовали в палате за возвращение владений Бернардинского монастыря прежней настоятельнице. Газета «Котидьен» поместила портрет мадемуазель Март и назвала ее «звездой божественного милосердия, восходящей снова над Францией».

Увы! наша кроткая мадемуазель Март лежала на своей монашеской постели. Сестра Сульпиция обмывала ее девическое тело. Бог не дал ей последней радости и последнего разочарования. Представитель старинного дворянского дома, разорившийся виконт Крузоль, ставший лионским фабрикантом на деньги, полученные из золотого миллиарда эмигрантов, совершил поступок столь же безрассудный, сколь и неблагородный. Он

подкупил либеральных буржуа, сидевших в палате, и вовсе не божественная благодать, а взятка в пятьсот тысяч франков послужила причиной их голосования за возвращение имуществ монастыря. Деньги были потрачены напрасно. Мадемуазель Март все равно не благословила бы брака господина Крузоля и Антуанетты, она, как рыцарь-крестоносец, умерла бы у ворот долгожданного Иерусалима. Гроб господень был бы осквернен прикосновением кощунственной руки, если бы был куплен на деньги буржуа.

Вчера я был на свадьбе. Антуанетта счастлива и беспечна. Молодой виконт был одет в сюртук, толстая золотая цепь висела у него на жилете. Четыре лионских богача сидели в числе гостей за столом. Господин виконт чокался с ними, всячески стремясь подражать их манерам. Сюртук, жилет и тосты лионских шелковиков, признаюсь Вам, меня покорили.

Вот, дорогой аббат, ответ на те вопросы, которые Вас интересовали. Кажется, я написал слишком длинное письмо. Простите! Теперь очередь за Вами, дорогой аббат. Вести, которые приходят из Польши, очень меня тревожат. Быть может, Вы мне сообщите с такой же старательностью, какую я проявил в моем письме, Ваши впечатления, впечатления старого парижанина, проделавшего когда-то большой испанский поход бок о бок с вашим покорнейшим слугой и нижайшим послушником

Филибером де Гуж».

Паганини возвращался из Варшавы. Он сам не знал, что с ним сделалось. Снова наступил период полного упадка сил, опять пропал голос. Первый раз это произошло в тот день, когда он выступал вместе с Липинским на концерте.

Перед выступлением он выпил стакан прохладительного питья, от которого странно застучала кровь в висках и защипало горло. Молодой польский пианист Шопен, с немим восхищением слушавший игру великого скрипача, после первой части концерта вошел под руку с Липинским в артистическую комнату и увидел Паганини, с закрытыми глазами полулежащего в кресле. Он подошел, спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Паганини окинул взглядом его и Липинского. Липинский с ненавистью отвернулся. Паганини хотел поблагодарить Шопена, и несколько сирых звуков раздалось вместо слов благо-

дарности. Красные пятна смущения и удивления появились на щеках Шопена...

Липинский был разбит и во второй части концерта. Несмотря на отдельные крики: «Да здравствует Липинский!» — огромный зал рукоплескал Паганини.

Газеты всячески раздували вражду между двумя скрипачами, когда-то выступавшими в Турине как друзья.

Эльзнер, директор варшавской консерватории, 19 июня устроил банкет в честь Паганини. Варшавские музыканты поднесли скрипачу небольшую памятку — золотой ларчик с надписью: «Кавалеру Паганини польские поклонники его таланта».

Наутро Паганини почувствовал себя хуже. Он начал думать о том, что Липинский сделал что-то, чтобы помешать ему играть на концерте, — но состояние было настолько плохо, что он не смог задержаться даже на этой мысли. Чтобы испортить впечатление от игры Паганини, было достаточно минимальных средств. Неужели Липинский пошел на преступление и решил его отравить?

В тяжелом состоянии был Паганини, когда генерал Зельньский явился к нему в отель «Люксембург» с приглашением в Петербург и Москву. Паганини решительно отклонил это приглашение. Тревога за Ахиллино и боязнь за свое внезапно ухудшившееся здоровье заставляли его спешно покинуть Варшаву. «На гербе Вашего города — изображение сирены, — писал Паганини на белой дощечке. — Ваш город меня пленил совершенно. Но я обещал возвратиться вовремя».

Опять почтовая карета, и опять, как на пути в Варшаву, на сетке лежит кожаный мешок со стальными цепями и с огромными, свисающими на дощечках сургучными подвесными печатями. Среди прочих писем едет толстый пакет из голубой бумаги, с печатями и гербами. Он содержит следующий ответ ксендза Ксаверия Коженевского:

«Высокочтимый и преподобный брат!

Весьма благодарен за сообщение с исчерпывающей полнотой сведений о смерти мадемуазель Март. Судьба не даром занесла меня на родину моих отцов. Три поколения Коженевских воспитывались во Франции в недрах ордена Иисуса, и только последний отпрыск, я, сирота перед богом и людьми (говорю это без ропота),

снова нахожусь на земле моих отцов. Но, увы, я вовсе не чувствую того патриотического трепета, которым полны мои родственники по крови, чужие мне теперь люди и зачастую люди, враждебные церкви Христовой.

Мой социус дьякон Кошерский сообщил мне целый ряд сведений, которые я Вам пересылаю, так как они для Вас скоро станут необходимыми. Польша, Литва и Петербург еще так недавно были местом наиболее удобного, наиболее легкого распространения деятельности нашего ордена. Увы, теперь наступили другие времена. Когда-то великая Екатерина в ответ на папское брeve 1773 года не дозволила публикацию уничтожения иезуитского ордена во владениях императрицы. Вот почему наша святая институция существовала в России беспрепятственно. Ее величеству угодно было не только не послушаться заблуждений Рима, но открыть новициаты нашего ордена.

Так все шло хорошо до 1815 года, когда Ваш неосторожный и слишком светский,—в этом отношении вы правы,—граф Жозеф де Местр стал вербовать на службу ордена старинных титулованных княгинь—Голицыну, Растопчину, Толстую и т. д. Разве можно было действовать так грубо!

Девять лет тому назад Александр I распорядился о высылке представителя нашего ордена. Много воды утекло за эти девять лет. Если бы орден наш существовал, то не было бы в Петербурге, почти перед самым дворцом, восстания дворянских полков, карбонарии, проклятые богом, не свили бы себе гнезда на севере. Теперешний царь вряд ли справляется с внутренней политикой. Ему не до нас. Но открытой работы в Польше мы предпринять не можем. Вот почему все мои надежды связаны сейчас с Францией. Так как я посылаю это письмо простой почтой, то имейте в виду, что я пишу настолько открыто, зная, что Вы обязательно уничтожите это письмо.

Вот каков ход событий. В 1825 году в Петербурге на Сенатской площади погибли последние карбонарии. Сейчас с нашей помощью начались облавы, уничтожающие в Польше масонские гнезда. Вчера нашим радением мятежные полки высланы в Сибирь. Так как в Польше существует проклятое конституционное правление, то Николай I, нынешний император, перед своей коронацией, прошедшей благополучно в мае месяце этого года, должен был обратиться к сеймовому польскому суду. Этот

суд не удовлетворил царя, да и вряд ли кого бы то ни было он мог удовлетворить. Я, будучи поляком по происхождению, считаю русского императора более правым, чем всех польских мятежников, чем тех ксендзов, которые, не желая найти общий язык с русским правительством, становятся на сторону сатанинских бунтовщиков. В той мере, в какой русский царь содействует укреплению римской католической церкви, мы и наш орден поддержим царя.

Его величество приехал в Варшаву с супругою, с братом Михаилом и наследником Александром. В замке, в сенатской зале, окончив обряд коронования польским королем, император Николай присягнул на верность польской конституции, потом он вышел к польским офицерам, представил им одиннадцатилетнего наследника, великого князя Александра как их однополчанина. Маленький великий князь был одет в польский мундир стрелкового полка, быстро и неуклюже говорил по-польски. Я сам был свидетелем всех церемоний. Члены польского сейма подали королю Николаю петицию об уничтожении стеснительных статей конституции. Король Николай заявил, что он считает господствующий в Польше кодекс Наполеона сатанинским правом. Он прямо сказал,—этот Бонапартов закон основан на революции: он привел законного французского короля прямо на гильотину.

Так обстояло дело. Польский король Николай I выехал из Варшавы при полной холодности и даже враждебности большинства польских дворян. Сообщаю вам, что молодой профессор Викентий Смогловский задался целью воссоздания единого славянского государства во главе с Польшей. Он сформировал союз молодежи, который замыслил арестовать Николая I в дни коронационных торжеств в Варшаве. Смогловский сейчас выслан, равно как и многие другие. Часть этих высланных бежала и едет в Париж. Со следующей okazji сообщу Вам их списки.

Довожу до Вашего сведения все эти сообщения в силу того, что я точно осведомлен, вопреки Вашим плохим ожиданиям, что в Париже готовится истинное обновление Европы. Наш благочестивый король Карл X, коронованный в Реймсе, готовит, как мне известно, обновление Европы. Пройдет немного времени, и святая католическая церковь по молитвам святейшего кардинала

Роотаана воздвигнет победоносный алтарь повсюду, где еще вчера революционное нечестие и якобинство имели свои гнезда. Лишь бы господь помиловал маркиза Полиньяка, ныне почетно сосланного в Лондон, лишь бы господь дал силы королю Карлу X провести до конца закон о казни святотатцев, о восстановлении имущества, об организации новых коллегий, о полной передаче нам воспитания юного поколения французов.

В Вашем письме о кончине мадемуазель Март есть нотки глубокой печали чисто человеческого происхождения. Я советовал бы Вам побольше обращать внимания на исход борьбы, а не на собственные личные состояния.

У венского двора и французского двора есть общие задачи. Обратите внимание на следующее. В Париже и в Лионе существуют злочестивые гнезда, где якобинство и карбонарство заново выковывают гвозди для повторного распятия господа нашего Иисуса Христа. Вот почему наш святой могущественный орден делится во Франции на две секции—парижскую и лионскую. На востоке мы делимся также на виленскую и варшавскую секции. Обращаю ваше внимание на то, что в Польше сейчас есть движение умов, оправдывающее крайности патриотизма. Польша разделена на две части и приравнивается к распятому Христу. Воскрешение Польши считается делом религиозным, и все это омрачает умы не только молодежи, но многих почтенных и старых дворян, представителей исконной польской знати. Все эти соображения, факты и планы я сообщил Вам только с той целью, чтобы вы знали местные настроения и своевременно могли сообщить мне о том, как и когда должен произойти французский переворот, возвращающий Европу ко времени Людовика Святого.

Я очень оценил последние строчки Вашего письма. Имейте в виду, что Польша с надеждой взирает на Францию, что только французский король в состоянии возродить в Польше ту незыблемую власть церковного авторитета, которая была эпохой наибольшего счастья для всего исстрадавшегося человечества. Помните, дорогой мой, что правительства и системы меняются, а церковь остается вечной.

Теперь одно маленькое дело. В Варшаву приехал с концертами некий Паганини. Я Вам писал уже о том, что двадцатилетний дворянин из Варшавы Фредерик Шопен собирается ехать во французский Вавилон. Отравленный

музыкантом Цивней, одержимый дьяволом еврейским, этот блистательный юноша, с одной стороны, является истинным сыном церкви, с другой — одарен сатанинским талантом нынешнего века и бесконечной печалью о недостижимости земного счастья. Когда господин Шопен прибудет в Париж, обратите на него внимание и приставьте к нему хорошего духовника. Возможно, что мне удастся удержать его в Польше, если только действительно божие произволение не сменит королей Европы в ближайшие шесть месяцев и не помешает королю Карлу X осуществить свой великий замысел — вернуть истерзанному якобинством человечеству времена Людовика Святого.

Я видел этих двух людей — господина Шопена и итальянского скрипача Паганини — вместе. Я случайно слышал их разговор. Как далеки их музыкальные стремления от величавой простоты и богоугодной музыки нашего органа! Воцаряется дух безбожной музыки, и сатанинский соблазн звучит в музыкальных инструментах и господина Шопена и господина Паганини. Оба они одержимы духом нынешнего века, князь тьмы простирает над ними свои крылья. Я сам видел, как набожные женщины, возвращаясь с этих нечестивых концертов, теряли присущую им простоту веры и были полны греховных волнений.

Все это наводит меня на серьезные размышления. Я пытался погасить впечатление от музыки этого страшного скрипача. Я выдвинул против него нашего представителя, члена нашего ордена, скрипача Липинского. Была ли то болезнь, или что-либо еще, но Липинский играл вяло, и землистый цвет его лица говорил о том, что он болен. И поэтому масоны и еврей Елеазар, по проискам якобинцев назначенный директором варшавской консерватории, вручили 19 июня «кавалеру Паганини» золотую табакерку с какой-то трогательной надписью и с нечестивым знаком.

Я имею сведения, что было сделано все, чтобы господин Паганини выехал в Москву и в Петербург. Он отказался, несмотря на выгоду этих предложений. Я имею сведения, что господин Паганини отправляется в Париж. Не упускайте из виду эту опасную гадину. В Париж его зовут не даром. Но кажется мне, что он в достаточной степени хитер и не поедет в город, где вы сумеете приготовить ему на веки вечные полный провал,

если восторжествует план Марсанского павильона святых отцов, покровительствующих Франции, и святого короля Карла X.

Я имею сведения о некоторых замыслах этого человека. Письмо это к Вам привезет молодой приверженец нашего ордена, представивший прекрасные рекомендации из Вены, каноник Нови, к которому я направляю его как к первичному адресату. А там он лучше меня расскажет Вам, кто такой этот скрипач. Нови и Паганини оба родом из Генуи. Как Вам известно, этот приморский порт издавна славился тем, что люди, посаженные в Генуе на галеры, не возвращались больше на сушу, однако Нови утверждает, и я ему верю, что господин Паганини был на каторге, что его шея до сих пор носит следы железной цепи и что в одну страшную ночь этот каторжник Паганини продал дьяволу свою душу. Таким образом, Вы видите, что земляк, хорошо знающий происхождение дьявольского таланта Паганини, свидетельствует против него.

Паганини, этот опасный каторжник, вернувшийся в святую католическую паству, внес страшное смятение в души и внушает людям безумные мысли, водя сатанинским смычком по скрипке, замороженной дьяволом. Его музыка в тысячу раз хуже сотни якобинских проповедей. Я слышал о том, что сатанинский дух появился в Париже, что сумасшедшие головы нескольких молодых литераторов подняли знамя так называемого романтизма. Помните, что вещь, называемая нынче романтизмом, завтра будет называться революцией. Таково мнение не только мое, но и всего капитула. Если Вы читали последнюю сигнатуру, то Вы знаете, что таково мнение святейшего отца Роотаана. Нови имеет приказ следить за каждым шагом этого скрипача. Он и доставит Вам это письмо, а я прошу Вас сделать все необходимое, чтобы в Вашем Новом Вавилоне, до превращения его в столицу вселенской церкви, пагубное влияние дьявольской скрипки было остановлено знаком креста, меча и секиры перво-священника.

Примите молодого и ревностного служителя нашего ордена — Нови, выслушайте и приютите его. Дайте ему полную возможность осуществлять при Вашей помощи все то, что было в Риме предписано ему.

*Ксендз Ксаверий Коженевский, раб господний,
коадьютор Св. Ордена Иисуса».*

НА БЕРЕГАХ БОЛЬШОЙ РЕКИ

Урбани и Гаррис сопровождали маэстро в его поездке в Бреславль.

В Бреславле опять начали завязываться старые итальянские связи.

В Неаполе — один из театральных друзей, Онорио де Вито. Урбани передает письмо и просит синьора Паганини ответить: «Это ведь старый итальянский друг и почитатель вашего таланта, маэстро». Начинается снова переписка с Италией. Через несколько границ перелетают письма. Конверты надписывает Урбани: у синьора Паганини плохой почерк.

Синьор Онорио собирает в Неаполе друзей. За кулисами Арджентинского театра читают письма синьора Паганини. Вот видите ли, простой итальянский скрипач становится славой своего отечества, императоры и короли приглашают его играть на своих празднествах и коронациях.

Синьор Нови получает копию этого письма. Его ненависть к Паганини растет по мере роста славы скрипача. Но за синьором Нови смотрит синьор Урбани. Синьору Урбани поручено охранять синьора Паганини от синьора Нови, как от чумы. Синьор Урбани не знает, кто такой синьор Нови. Синьор Нови прекрасно знает, кто такой Урбани. После пребывания Нови в столице Габсбургов синьор Нови только два раза виделся с Урбани. Существует какое-то третье лицо, направляющее помыслы и пути этих двух людей. Но и это третье лицо является исполнителем чьей-то воли. Синьору Нови поручено большое и сложное дело. Но он запуган, ему приказано беречь Паганини, в то время как ему хочется просто перерезать ему горло. Человек средних способностей, синьор Нови — воплощение органической ненависти бездарности к таланту. Урбани было поручено в надлежащий момент пресечь любой ценой движение Паганини по Европе. Но этот момент не наступает, и старая иезуитская дисциплина не позволяет Урбани делать ни одного самостоятельного жеста.

Когда Паганини мучило желание увидаться с друзьями, покинутыми в Италии, когда он вспоминал о людях, боровшихся за свободу Италии, заключенных в тюрьмы,

он все чаще обращался к приветливому, всегда улыбающемуся Урбани. Паганини скучал по родине, а Урбани знал каждую семью в Генуе, каждый дом в Венеции, каждого друга синьора Паганини в Неаполе; он знал всех девушек, которых маэстро целовал в Милане; к тому же, как настоящий солдат, приближенный к семье полководца, он охранял и Ахиллино от всех случайностей судьбы. Паганини сжился с Урбани, он привык к совместным путешествиям с Гаррисом, с Урбани, Ахиллино, со старой няней.

Давным-давно, еще в Генуе, талантливый мальчик Камилл Сивори пришел к нему. В три дня Паганини исправил дефекты игры маленького скрипача. Он слышал теперь, что Камилл Сивори благоговейно хранит память о первых уроках, данных ему Паганини. Из Бреславля сопровождает путешественников виолончелист Гаэтано Джанделли. Он бросил Италию, где его отец, карбонарий, погиб в тюрьме; он обучался в Вене игре на виолончели, а теперь пустился в странствия за своим возлюбленным маэстро и, перебиваясь изо дня в день, голодный, усталый, приходит к Паганини за указаниями. Тривелли, венецианец, справляется о молодом Гаэтано. Паганини отвечает ему, опять через синьора Урбани, что была большая поездка — в три месяца объездили двадцать городов. Дармштадт и Лейпциг (на этот раз не устоявший в битве), Маннхейм, Галле, Магдебург, Эрфурт, Гота, Гальберштадт, Дессау, Веймар, Вюрцбург, Рудольфштадт, Кобург, Бамберг, Аугсбург, Нюрнберг, Регенсбург, Штутгарт, Дюссельдорф и вот, наконец, Франкфурт. Франкфурт — надолго.

Молодой Джанделли не догадывается сказать Паганини о своей нищете. Урбани иногда снабжает его деньгами, но если почтовая карета оплачивалась из кошелька Урбани, который приписывал этот расход к прочим дорожным расходам маэстро, то во Франкфурте жить в гостинице целые месяцы Джанделли не может, а между тем синьор Паганини ясно сказал, что он выпустит Джанделли на концерт не прежде, чем тот сдаст трехмесячную работу. Выхода нет. Джанделли, краснея как девушка, рассказывает все это Гаррису. Гаррис с рассеянным видом слушает. Слышал ли он? Да, слышал, потому что в ответ он заявляет:

— Первый концерт во Франкфурте маэстро дает в вашу пользу.

— Как, без всякой моей просьбы?

— Да, это уже обдумано,—говорит Гаррис.—Уже снято помещение.

Гаррис показывает записную книжку, где записано собственноручно синьором Паганини: «Во Франкфурте не забыть: первый концерт в пользу Джанделли».

Проходит месяц. Джанделли—богач. Восемь тысяч флоринов—это обеспечение двух лет жизни.

Снова три недели болезни. Снова Паганини лежит.

В день, когда франкфуртская публика ждет очередного, обещанного наконец концерта, фрейлейн Вейсхаупт, почтенная дама в чепце, подводит к постели отца маленького человечка с солидной и серьезной походкой, глаза которого мечут веселые стрелы при взгляде на отца.

— Разбил,—говорит он,—разбил,—с выражением величайшего восторга, как будто исполнил труднейшую работу.

Паганини обращается к гувернантке с немим вопросом. Она не знает, как отнесется отец к поступку сына: подошел и лопаточкой разбил садовую вазу. И в восхищении рассказал ей как о крупном достижении. Потом отец пишет, но он выводит тонкие узоры: очевидно, не умеет писать, как нужно. Он выводит крючки, кружки,—лучше прямо окунуть палец в чернильницу и тыкать в бумагу, будет сразу густо, хорошо, красиво. И не успевает опомниться Паганини, как все его письма, лежащие на письменном столе, оказываются вымазанными чернилами, на важнейших документах, афишах и программах насажены кляксы. Мальчик хохочет и доказывает свою правоту и неумелость отца. «Так гораздо скорее достигаешь цели» —хочет сказать этот веселый и озорной голос. Фрейлейн Вейсхаупт в ужасе не столько от поступка мальчика, сколько от того, что отец выражает полное согласие с сыном. Это заговор двух мужчин, большого и маленького, против благонравия в доме.

Но синьор Паганини жестоко наказан: наступает час концерта, а он не может найти ни одного необходимого предмета своей одежды. Наконец из-под подушки вылезает один чулок, панталоны спрятаны за гардеробом, их достают тростью Гарриса с большим трудом. Они в пыли, они измяты, их надеть нельзя. Уже начало концерта, уже надо выходить на эстраду, а поиски принадлежностей туалета продолжаются с чрезвычайно переменным успехом.

Маленький Ахиллино встревожен сам, он протягивает ручки вперед и складывает ладони, вспоминая, где спрятаны вещи. Он помогает отцу с такой озабоченностью, что Паганини хохочет до приступа кашля и, покатываясь со смеху, бросается в кресло.

Благопристойная публика старинного Франкфурта удивлена невежливостью синьора Паганини. Но вот через час после назначенного срока он, наконец, появляется, в этот день румяный и оживленный. Концерт проходит чудесно: Паганини играет Моцарта, скрипичный концерт Родэ. Публика забывает свое нетерпение: ведь никто не ушел, все согласны были ждать хотя бы до утра, если нет отмены концерта.

До чего хорош этот Франкфурт! Ради него можно позволить себе маленькую скрипичную вольность! И Паганини, выполнив всю обещанную программу, в ответ на продолжительные овации выходит снова и играет совершенно неожиданную для публики вещь. В первый раз он увидел полное понимание, с волнением почувствовал, что зал достоин его. Франкфурт отличался редкой музыкальной культурой. Люди, наполнявшие зал, ощущали пребывание Паганини в городе как огромное свое счастье. Это было неким порогом в их жизни. Какое-то особое напряжение, передававшееся артисту, заставило его ощутить эту настроенность зала. И вот между музыкантом и слушателями возникает та неуловимая, но крепчайшая связь, которая превращает все их ощущения как бы в ощущения единого организма. Он не смотрел на кого-нибудь одного, он видел перед собой множество светящихся глаз, он скорее не видел, а воспринимал благородную напряженность всех этих лиц. Ему хотелось сделать для этих людей то, что он сделал бы для себя. И он сыграл им короткую неаполитанскую песенку, которую слышал на морском берегу, сидя вместе с Ахиллино на камне. Эта песенка — «Oh! Mamma», это — песенка, которую лучше всего пел маленький Ахиллино, когда он, заложив руки за спину, расхаживал по комнатам, думая, что никто за ним не наблюдает. Ахиллино пел ее для себя. Паганини сыграл ее для других. Потом он почувствовал, что его взметнуло кверху, и, как бы очнувшись, увидел себя на руках оркестрантов, запрудивших эстраду. Весь оркестр, бросив свои инструменты, устремился к нему. Его несли на руках до кареты.

Только однажды выехал Паганини из Франкфурта в

течение этого года. Он был в Баварии: его пригласила простым письмом дама, писавшая на листке темно-синей бумаги с баварской короной.

Он приехал с устроителем своих германских концертов, господином Гуриолем. Лейтенант Гуриоль заблаговременно дал редакциям мюнхенских газет краткое сообщение о приезде Паганини. Сдержанно и обстоятельно молодой лейтенант уведомлял столицу Баварии о том, что синьор Паганини напрасно является предметом каких-то странных подозрений: ни в его поведении, ни в манере играть нет ничего злоумышленного или носящего характер демонизма. Наоборот, Паганини не только великий музыкант, но и человек большого сердца, дающий образец наиболее чистой человечности.

Концерт в королевском замке Тегернзее, куда съехались после охоты представители военной молодежи, встретившиеся здесь с мюнхенскими ценителями искусства — художниками, музыкантами, поэтами и наконец хранителями любезной сердцу баварца мюнхенской пинакотеки, — был отмечен одним памятным случаем.

Огромные окна дворца были раскрыты. Дожидаясь приглашения на эстраду, Паганини услышал со стороны леса и озера взволнованные голоса, крики и шум. Потом он увидел, как к королеве подбежал мажордом. «Королева приказывает впустить!» — услышал он слова мажордома, обращенные к высокому человеку в тирольской шляпе и зеленой куртке.

В ту минуту, когда Паганини выходил на эстраду, огромный зал с нарядной публикой был полон, разговоры затихли; и вот в наступившей тишине слышались гулкие шаги шестисот рослых людей — крестьян, рыбаков и охотников. Они волновались с утра, они слышали о приезде скрипача каждый день. Он странствовал едва ли не по всем германским дорогам, они видели его проезжающим по большим дорогам Баварии. Молва об этом человеке волновала их, и вот они потребовали у королевы, чтобы она допустила их видеть и слышать это чудо. Они стали у двери большого зала, и Паганини видел в открытые окна, что берег озера и опушка леса сплошь усеяны толпами людей...

27 ноября он уехал из Мюнхена. Какие-то тревожные вести докатывались из Польши. Во Франкфурте, во дворце генерала Зельньского, поляка, ставшего немецким помещиком, он снова встретил русоволосого челове-

ка со светло-голубыми глазами. Он вспомнил, что видел его в Варшаве.

Это был польский пианист Фредерик Шопен. Он теперь ехал в Париж.

Гаррис с удивлением прочел забытые на столе записки:

«Часто удавалось мне пленить моих слушателей, и, однако, я прихожу в смущение, я недоволен сам собою, ибо никакие рукоплескания не могут обмануть меня самого. И если публика принимает с восторгом мою игру, то я ею, больше чем когда-либо, недоволен. Если бы ко мне вернулся мой прежний голос, являющийся признаком здорового человека, я мог бы громко обратиться со словами недовольства собой к тем, кто меня слушает. То, что со мной происходит, страшно. Что сделали для потери моего человеческого голоса, тому нет имени. Я теряю силы после каждого концерта, и временами на сутки уходит у меня сознание после часа игры. Каждый концерт отнимает у меня год жизни, и все-таки — да будет щедрой ко мне природа! — ради своего искусства я готов отдать жизнь и здоровье. Но в столицу столиц я являюсь, только исполнив свой замысел».

«Итак, Париж еще не скоро», — подумал Гаррис.

Однако Франкфурт оставлен, опять три кареты пылят по дороге, все ближе и ближе граница Франции.

Франкфуртские газеты поместили короткую заметку: «Недавно разнесся слух, что Паганини приедет в Париж. Все любители музыки в этой столице, судя по французским газетам, ожидали его с нетерпением, но Паганини обманул их ожидания и внезапно повернул в Голландию».

«Говорят, он очень любит деньги и не мог сторговаться, — писало «Музыкальное обозрение» в Париже. — Ему охотно прощается это корыстолюбие, ибо неожиданно мы получили сведения, что Паганини собирает деньги для своего четырехлетнего сына, которого он любит с нежностью».

Урбани отмечал:

«Когда заболел ребенок, маэстро сходил с ума. Казалось, он не выдержит этой тревоги. Он переплатил докторам безумные деньги и едва не испортил окончательно здоровье ребенка, потому что его стали окружать алчные шарлатаны, нарочно затягивающие болезнь».

Синьор Паганини ни разу не позвал священника, он

ни разу не вспомнил имени божьего; приходя в отчаяние, не думал о молитве».

«Во Франкфурте, где синьорино пребывал без отца, горничная Грета простудила ребенка. Когда после приезда синьор Паганини узнал о его болезни, он вбежал по лестнице с таким видом, что я боялся за его разум. Оказалось, он узнал о болезни Ахиллино еще в Аахене. Он бросил концерт, загнал дюжину лошадей и так стучал в дверь, что сломал ручку и перебил стекла. Он увидел своего ангела среди кружевных подушек и розовых покрывал. Фрейлейн Вейсхаупт стала успокаивать маэстро: болезнь уже прошла. Синьор Паганини не успокоился, он сказал фрейлейн Вейсхаупт: «Синьора, ваш великий Гете, будучи министром Веймарского герцогства, подписал смертный приговор девушке, не уберегшей своего ребенка. Сам герцог сомневался в необходимости положить ее голову на плаху. В это время приехал с охоты в егерском костюме господин Гете. Прочитав мнение судей о смертной казни, подписал: «Auch ich»¹. Девушке отрубили голову. Так вот, я говорю вам: «Auch ich, фрейлейн». И показа жестом, очень грубо, что он намерен отрубить ей голову».

Урбани и Гаррис все меньше и меньше понимали друг друга. Гаррису казалось, что синьор Паганини больше доверяет Урбани. «Еще бы,—думал Гаррис;—он итальянец и, быть может, карбонарий».

Газеты приносили последние сведения о приезде неаполитанского короля в Париж. Сплетни, передаваемые на ухо, доносились до Гарриса. Он со смехом рассказывал Паганини за обедом, что в Париже, во время приема неаполитанской четы герцогом Филиппом Орлеанским, одним из гостей была произнесена острота, облетевшая весь город: «Вот подлинный неаполитанский вечер!» — «Почему?» — спросил Карл X. «Потому что мы танцуем на вулкане».

Паганини не сказал ничего.

Давая концерты, Паганини выбирал самые маленькие немецкие города. Гаррис терялся в догадках. Он ревниво посматривал на Урбани, который как будто знал маршрут следующего дня. Приходили какие-то письма, их привозили случайные люди. Паганини совсем перестал вести переписку по почте. До Гарриса доходили слухи о том,

¹ Также и я (нем.).

что восстановлена деятельность карбонарских вент в Италии, но вместе с тем теперь уже открыто говорили о полной передаче власти иезуитам в Риме и всюду, где простиралась власть римского первосвященника. Страшное имя черного папы Роотаана было у всех на устах.

В Аахене синьор Паганини, остановившись в частном доме, приказал затопить камин. Гаррис видел, как маэстро, держа на коленях кожаный ящичек, бросал в камин кипы конвертов и писем.

Турин и Генуя были теперь гнездом самых страшных людей в мире, в Генуе была главная квартира иезуитов. Мощные ответвления по всей Италии шли от этих двух городов. Самой опасной была организация «невежествующих монахов», проповедовавшая насильственное закрытие школ, сожжение книг и истребление самых опасных ученых, несущих лозунги свободного знания.

Паганини знал, что подтвердились полностью сведения о пытках раскаленным железом, о колесовании, о публичном четвертовании.

Виктор-Эммануил I открыл собрание итальянских инженеров предложением взорвать великолепный мост через реку По ввиду того, что этот мост построен Наполеоном. Паганини перестал писать в Геную.

Тайно ехал из Италии на север Фонтана Пино, бежавший после смерти отца. Паганини долго беседовал с ним в маленькой гостинице. Пино направлялся в Париж; ему удалось перевести туда все свое состояние. Пино рассказывал, что в Генуе, около Новой площади, в громадном количестве собирались шпионы, огораживали площадь, открыто обсуждали работу предстоящего дня и расходились группами. Тайная полиция содержит дома терпимости и игорные притоны. За привоз из-за границы газет или книг виновный наказывается каторжными работами не меньше пяти лет, а если попадается французская книга против религии и монархии, дело кончается казнью. Синьор Антонио Паганини отдал комнату, в которой когда-то обучался игре на скрипке Никколо Паганини, австрийскому шпиону.

Во время этого рассказа маленький Ахиллино закричал:

— Крыса, крыса! — и, указывая отцу на шевелящуюся бахромую портьеры, схватил подсвечник и ударил по бахроме. Раздался крик; из-за портьеры, прихрамывая, выскочил Урбани.

— Что вы здесь делаете? — закричал Паганини.

— Искры летят из камина, а здесь отдушина, — спокойно ответил Урбани, грозя пальцем маленькому Ахиллино.

С этого дня Гаррис одержал победу. После ухода Пино Паганини осмотрел отдушину. Все было так, как сказал Урбани: сыпались искры, и дым наполнял комнату. Но почему Урбани выбрал такое время, когда шел разговор о Генуе, о родном доме?

Наступили дни томительных колебаний. Паганини не давал концертов. Внезапно прекратились посещения друзей и пресеклась переписка. Четыре дня не выходили газеты, и вдруг — короткое сообщение о том, что три недели тому назад король Карл X выехал из Парижа в неизвестном направлении, а герцог Орлеанский Луи-Филипп назначен временным правителем. Кто его назначил, что произошло во Франции? И только через несколько дней слухи прояснились. В июльские дни Париж покрылся баррикадами. Власть Карла X пала.

— Святые отцы просчитались, — сказал Паганини, — вместо абсолютной власти короля и священника они встретили артиллерийский огонь и баррикады. Теперь подумаем о поездке во Францию.

Но думать об этом было нельзя. Граница была закрыта.

Паганини отдыхал. Эмс, снова Франкфурт, потом Баден и опять Франкфурт. Здоровье внезапно улучшилось. На курорте легко видеться с соотечественниками, на людях менее опасна встреча с врагом.

Во Франкфурте — письмо от Фонтана Пино: «Необходимо ехать в Париж, чтобы рассеять слухи. Синьор Фернандо Паер был принят королем». Влияние Паера в Париже огромно, он был инспектором музыкальных учреждений Франции и придворным композитором. Новый правитель, Луи-Филипп Орлеанский, который уже называется королем, принял синьора Фернандо очень хорошо. Но синьор Паер имеет самые дурные сведения о скрипаче Паганини. Человек, проигравший скрипку в карты, не имеет права взять ее в руки вторично. Этот поступок заслуживает презрения. К письму Фонтана была приложена вырезка из «Музыкального обозрения», в которой говорилось, что синьор Паганини, путешествуя по германским городам, готовит для выступления в Париже разработку одной музыкальной темы Шпора.

Шпор протестует, так как он не давал никакого права синьору Паганини пользоваться его темой. Если синьор Паганини занимается воровством, то против воровства есть определенные указания законов.

«Хорошая встреча готовится мне в Париже,—подумал Паганини.—Но как быть со стариком Паером? Надо разуверить, иначе лучше не ездить в Париж». Он вспомнил, что у Шопена было рекомендательное письмо к Паеру.

Во Франкфурте произошло странное знакомство. Доктор Кореф. Визитная карточка личного врача его величества короля Пруссии. Друг недавно умершего неудачливого композитора Амедея Гофмана. Рассказывает, что Гофман, автор «Серапионовых братьев», изобразил его, Корефа, в качестве одного из рассказчиков под именем Винцента. В фантастических новеллах этого писателя выведен также соотечественник Паганини, граф Козио, о котором говорят, что он варварски уничтожал скрипки. Его Гофман изобразил под видом советника Кrespеля.

— О, как непохоже! — сказал Паганини.

Он пытался восстановить истинный образ старого Козио, но Кореф проявил «полное равнодушие к истине».

После этого Паганини отказался от первоначального плана посоветоваться с этим знаменитым, но чудаковатым врачом. Тем более что здоровье его резко улучшилось.

Пришли вести о том, что революция во Франции нашла внезапное эхо на востоке. Польша охвачена восстанием против Николая I. Паскевич штурмует Варшаву. Все беспокойнее становится и в других странах. В Бельгии — восстание. И наконец — последние слухи, тайком переданные из Италии: Парма, Модена, Болонья охвачены вспышками карбонаризма.

Все с надеждой смотрят на Францию, воскресившую молодость века. Франция, конечно, поможет полякам; Франция, конечно, поможет бельгийцам; Франция, конечно, поможет народам Италии. Но на трибуну палаты депутатов выходит суровый и мрачный парижский банкир, министр Луи-Филиппа; он заявляет, что кровь Франции принадлежит только Франции. Франция не станет вмешиваться в революционные затеи других народов.

Это было страшным охлаждением умов.

«Ехать ли во Францию?» — думал Паганини.

— Итак, ты отрицаешь все, что о тебе говорят? — спрашивал академик, дирижер королевского камерного ансамбля, месье Фердинанд Паер.

Он расхаживал по комнате, а перед ним, откинув огромные черные кольца волос на спинку кресла, сидел усталый и бледный Паганини.

Паер был одет в темно-лиловое домашнее платье, на котором сияли белоснежный воротник, белый атласный галстук, манжеты с огромными аметистами и платиновая булавка с таким же камнем. Опять эти ярко-синие глаза и впечатление, будто в жилах этого человека вместо крови — жидкий светлый металл, подвижный, но тяжеловесный и холодный. Только лицо — уже лицо старика.

— Ты был источником больших огорчений для меня, у меня двоилось впечатление каждый раз, когда я получал о тебе вести. Мне казалось, что ты существуешь в мире в двух лицах. Паганини — носитель музыкального гения, Паганини, спасающий молодого Джанделли и оказывающий помощь десяткам тысяч семей, пострадавших от наводнения, — и Паганини, выгоняющий несчастную жену зимой в морозную ночь на улицу. Ты слишком часто умирал. Газеты сообщали о тебе такие небылицы, обстановка твоей смерти была так отвратительна, что я наконец перестал оплакивать твою преждевременную кончину. Я не понимаю, откуда возникло столько ненависти. Про тебя говорят, что ты увлекаешься турецким стилем музыки. Это уже совершенная глупость. Про тебя говорят, что ты калечишь прекрасное изделие старинных скрипачей, про тебя говорят, — но это Пино мне опроверг, — что ты предавался самому гнусному пороку и проиграл замечательную скрипку Гварнери. Давай разберемся во всех этих странных явлениях, а потом я предлагаю тебе пойти в театр слушать певицу Малибран.

Паганини закрыл синеватые веки. Всего час тому назад он въехал в Париж.

За день перед этим он был в Лионе. Он с ужасом думал о рабочих заставах этого страшного города, где дымят трубы неведомых Италии гигантских зданий с машинами и паровыми котлами. Люди, десятки тысяч людей в рваных черных и синих блузах, изможденные,

худые, тянутся вереницей из ворот, охраняемых конной полицией.

Что это за страна? Что это за город? Что это — тюрьма или место казни одних представителей человеческой породы другими?

Ни один город Германии, ни один город Италии не волновал так воображения Паганини. Вечером — яркие газовые фонари. Люди как будто ненасытно стремятся к свету. Этот беспокойный свет совсем не похож на тихий, колеблющийся желтоватый свет спермацета, на огонек масляной лампы или лампы. Люди стремятся бешено вперед, все усиливая звуки, повышая камертон, ускоряя движение по дорогам, увеличивая яркость вечернего света.

Проезжая по улицам Парижа, Паганини с жадностью всматривался из окна кареты в толпу. Молодые люди в цветных жилетах, сторонники изгнанного короля, с теми или иными условными знаками: или зеленый цветок в петлице, или зеленый жилет, или ярко-зеленая шляпа; студенческая молодежь в причудливых костюмах, женщины, переодетые пажами; усатый человек проезжает в коляске, публика неистово рукоплещет, кричат, машут руками, бросают цветы под коляску. «Это польский генерал, — говорит кучер. — Париж с ума сходит от поляков».

Усталый от всех этих впечатлений, Паганини вяло слушает наставления старика учителя.

— Каковы источники этой вражды? О тебе говорят как о человеке несметно богатом. Вполне понятна зависть тех, кому ты закрыл дорогу к богатству, и ненависть тех, кого ты подавил своим талантом. Но не слишком ли ты обнаруживал перед средним человеком свои неслыханные успехи? Имей в виду, нельзя ссориться с этим огромным, многоголовым буржуа, он считает тебя своим имуществом. Это все объяснимо, это все понятно, это все поправимо. Меня тревожит другое, меня тревожит Паганини — создание молвы. Имей в виду: нет той подлости и грязи, которых бы тебе не приписывали. Я могу показать тебе, — Паер махнул рукою в сторону шкафа, — изображение тюремных стен, которые слушали первые звуки твоей игры. Я не буду говорить о глупостях, которые пишут французские журналисты. Жюль Жанен, человек, пострадавший от иезуитов и напуганный теперь до последней степени, сравнивает твою музыку с демоном

мятущегося отчаяния. Нет ли у тебя двойника, нет ли преступника, действительно присвоившего себе твое имя? Это — какая-то скользкая тень Агасфера, нигде не находящая приюта. Скажи, — ты можешь быть со мною откровенным: я хочу устраивать твои дела, я хочу обеспечить твой успех в Париже, это очень трудно! Ты сейчас стоишь перед очень сложным восхождением на вершину, ты можешь сорваться и не встать больше. Скажи, что у тебя вышло с этим странным человеком, Шпором? Его секретарь находится в Париже. После первого выступления, если ты действительно пользуешься мелодиями Шпора и разрабатываешь его скрипичный концерт, тебя будет ожидать судебный процесс, слушать который сойдется весь Париж, проявляя к этому скандалу, быть может, гораздо больше интереса, нежели к твоей скрипичной игре... Нет ли у тебя тайного врага, не оскорбил ли ты какого-нибудь сильного и могущественного властелина, не ссорился ли ты с церковью? Подумай обо всем этом, прежде нежели начинать хлопотать о выступлении в Париже. После разгрома карбонариев в Италии много беглецов переселилось в Париж, с ними и здесь сводят счеты. После гибели десятков тысяч итальянской молодежи, выданной во время процесса и подавления карбонарского восстания, теперь производятся расчеты со шпионами. Достаточно случайного оговора, чтобы человек погиб от неизвестной руки.

Паганини достал из сюртука короткое письмо Фонтана Пино и показал Паеру.

— Да, — сказал, прочитав, Паер. — Если тебе пишут во Франкфурт о том, что кто-то в Париже играет роль Паганини, живущего инкогнито, то может оказаться, что этот человек успел сделать тебе столько вреда, что до каких бы то ни было выступлений нужно определить твое положение. Эти фантастические рассказы, о которых пишет твой друг, не предвещают ничего доброго, и он правильно сделал, что ускорил твой приезд в Париж.

Они вдвоем вышли в столовую. Их встретила несколько не постаревшая синьора Риккарди. Она принялась упрекать Паганини за то, что он не привез маленького Ахиллино обедать вместе с ними. Но Паер заметил, что, быть может, это и к лучшему, так как он хочет похитить Паганини на весь вечер.

— Вечером у итальянцев идет «Отелло». Поет Малибран, и хотя моя супруга не любит, когда я хвалю чужие

голоса, но должен тебе сказать, что Малибран и Паста — это величайшие артистки мира. Малибран обладает трех-октавным регистром, и нет ни одной ноты, в которой не сказалась бы вся полнота очарования ее голоса. Но помни, что ты заранее обречен на неуспех у нее! Она сейчас со всей страстью испанки переживает увлечение скрипачом Берио. Вот твой соперник. Берио — непревзойденный талант, и, помимо Берио, в Париже есть Лафон, с которым ты когда-то, говорят, выступал. Есть ее брат, Александр Малибран. Это все — первоклассные скрипачи, которым ты испортишь настроение в первый же концерт. Я не говорю о Байо, я не говорю о Керубини. Твое счастье, что умер Крейцер. Ты знаешь, что он скончался?

Паганини кивнул головой.

— Так вот, помни, что если бы еще добавить сюда Крейцера и Родэ, то лучше было бы тебе не приезжать в Париж.

Паер испытующе смотрел на Паганини. Паганини с невозмутимым видом делал себе тартинку и молчал.

— С вами, кажется, приехал Джордж Гаррис? — заговорила Риккарди.

— Да, — сказал Паганини.

— Это автор комедий и анекдотов?

Паганини рассмеялся:

— Хорошо, что его здесь нет. Он очень не любит вспоминать о своих литературных неудачах, хотя его комедии шли в Касселе и Ганновере.

— Кто приставил его к тебе? — спросил Паер в упор.

— Я познакомился с ним у английского консула в Ливорно.

— Да, помню, помню, — сказал Паер. — Кто еще с тобой?

— Урбани, наш соотечественник.

Паер промолчал: фамилия ему ровно ничего не сказала.

А Паганини вдруг задумался, неожиданно вспомнив эпизод с портьерой. «Что ему было нужно? — думал Паганини. — И почему он так мрачен последние дни?»

От синьоры Риккарди не укрылась тень на лице Паганини. Изменив тему разговора, она пыталась вернуть Паганини хорошее настроение. Заговорили о театре, и Паганини произнес фамилию Россини. Этого было достаточно для того, чтобы лицо Паера внезапно стало

грустным. Синьора Риккарди быстро взглянула на мужа и снова стремительным поворотом разговора попыталась рассеять внимание собеседников. Паганини почувствовал, что сделал какой-то неловкий жест.

Когда встали из-за стола, до отъезда в оперу оставалось еще около двух часов. Паганини и Паер перешли снова в маленькую гостиную. Паер взял с полки какую-то брошюру и передал ее Паганини.

— Вот ответ на твой вопрос о Россини,—сказал он.

Паганини пробежал несколько страниц. Это была отвратительная клеветническая книжонка, которая говорила о взаимной вражде двух больших музыкантов.

Паер и Россини, очевидно, не выносили друг друга. Трудно было сказать, кто был прав в этой неожиданной ссоре, но ясно было видно, чем она вызвана. С приездом Россини в Париж почти прекратились постановки опер Паера. Россини завоевал Париж. Арии из «Севильского цирюльника» распевали уличные мальчишки. Непоколебимый авторитет синьора Фердинанда Паера впервые был поколеблен. Кто-то воспользовался этим, кто-то стал нашептывать о разгорающейся вражде, и то, что еще не было действительностью, в скором времени осуществилось. Паер подозревал, что автор этой брошюры — Россини; Россини считал, что только друзья Паера могли позволить себе такую гнусную клевету на него, на Россини. Оба музыканта отрицали свое участие в издании книжонки. Музыкальный Париж делился на два лагеря в ее оценке: одни оперировали ею против Россини, другие — против Паера.

Паганини положил книжку на стол и сказал:

— Так вот, дорогой учитель, каковы же источники этой вражды? Вы богаты, вы занимаете хорошее положение, вам, конечно, завидуют бездарные музыканты, и вас хотят поссорить с моим молодым другом Россини.—И, подражая Паеру, произнес: — Не ссорились ли вы с властями, нет ли у вас тайных врагов? Вы видите, дорогой маэстро, что, даже не будучи ни в чем виноватым, вы можете попасть в такое положение, в каком я все время нахожусь...

— Ну, довольно говорить обо мне,—сказал Паер.— Ты, очевидно, не намерен зря проводить время в Париже, ты будешь давать концерты. Знаешь ли ты,—впрочем, мне не нужно тебя убеждать,—что истоки мировой славы находятся здесь, в Париже, и если Париж

тебя не примет, то твое возвращение в Европу не будет таким славным походом завоевателя, который привел тебя сюда. Имей в виду, что тебе легче просто уехать из Парижа, не дав ни одного концерта. Ты в достаточной степени заинтриговал парижан сплетнями и твоим присутствием инкогнито. Я сам видел журналистов, которые хвастались беседами с тобой, когда ты еще не думал быть в Париже. Подумай, с чем ты выступишь? что ты читал? что ты знаешь? что ты представляешь собой сейчас? Пока еще не поздно отказаться от выступления. Я давно тебя не слышал, я говорю сейчас с тобой, основываясь на молве. Пойми, что во мне ты видишь наилучшего друга.

— Я вижу перед собой усталого человека,—сказал Паганини.

Паер нахмурился.

— Ты, очевидно, думаешь, что я преувеличиваю значение твоего пребывания в Париже. Да будет тебе известно, что прошлый год ознаменовался неслыханным скандалом, связанным с постановкой пьесы молодого писателя Виктора Гюго «Эрнани». Эта постановка была сорвана. Обстановка была такова, что автору оставалось только застрелиться. Его поддержали молодежь и случай, а несколько дешевых идей, брошенных автором в публику, спасли его положение. Заурядному спору завистливых людей печать придала значение философского спора о романтизме и классицизме. Молодые люди в костюмах конквистадоров, женщины, переодетые средневековыми пажами, идиоты в красных жилетках, с лицами бульдогов и с огромными суковатыми палками в руках, наполняли театр и едва не устраивали потасовки. Согласись сам, что это мало похоже на служение искусству. Если первые спектакли прошли с неслыханным успехом, потому что вся эта молодежь, причиняя, по-видимому, немало расходов автору, заполняла целые ряды, то следующие представления «Эрнани» сопровождались свистками, шиканьем, сцена была забросана огрызками яблок, остатками пищи, рваной обувью и черт знает чем. В Париже все зависит от капризов газетных репортеров. Ты должен сказать мне прямо и откровенно: чем вызваны нападки на тебя европейских газет? Откуда такое количество невероятных рассказов, делающих тебя пугалом для всякого порядочного дома, для всякого честно живущего французского буржуа? Имей в виду, что в Париже это может вырасти до баснословных размеров, и то, что

вызвало бы повышенную сенсацию в Германии, в Австрии и в Италии, может вызвать совершенно неожиданные последствия в Париже.

— Дорогой маэстро,—сказал Паганини,—нет у меня врагов. Все, что пишут обо мне, не имеет никакого отношения к живому Паганини. Во всяком случае, я не знаю людей, о которых я думал бы с опасением. Как можно отнять у меня то, чему отдана вся моя жизнь,—когда я чувствую себя скрипачом в полной силе? Обладая моим огромным даром, зачем я буду бояться кого-то, кроме себя? Мне завидуют, говорите вы, но я не вражду с людьми, я никому не желаю мстить, я ни о ком не думаю с ненавистью, и у меня за всю мою жизнь не было случая, чтобы мне долго не давали покоя злобные мысли о ком-нибудь. Скажу вам больше: меня радует всякое проявление таланта, меня радует всякое прекрасное душевное движение в человеке, я не вижу никакого для себя ущерба в том, что появится скрипач, равный мне по силе: тогда моя работа будет облегчена, так как каждый концерт отнимает у меня год жизни, тогда кто-то другой придет ко мне на помощь и облегчит мне то горение, которое называется служением искусству.

Паер с широко раскрытыми глазами слушал эту неожиданную для него речь. В эти минуты он подсчитывал годы, пробежавшие со времени шестимесячного пребывания в Парме хилого ребенка, сына генуэзского маклера. Перед ним мелькали годы и месяцы, проведенные в Венеции. Известность в соединении со счастьем домашнего очага. Потом—Вена и Дрезден. В Дрездене—неожиданный успех. Вечером в большой дворцовой зале распахнулись двери, и вошел, заложив руку за лацкан, постукивая безымянным пальцем по звезде Почетного легиона, человек маленького роста, с желтоватым лицом, и метнул серыми стальными глазами в его сторону. После концерта этот человек, окруженный генералами, подписывая бумаги и даже не взглянув на музыканта, предложил ему ехать с ним в Париж. Потом—годы славы и удачи во французской столице. Итальянский театр, зависть соотечественников с незавидным талантом, полная победа над ними. Потом—падение Бонапарта. Реставрация Бурбонов. Побег Людовика XVIII из Парижа. Новые сто дней Бонапарта. Потом—король Карл X и длительное торжество священников, монахов и дворян, стремящихся к восстановлению старого блеска.

Тогда было очень трудно Фердинанду Паеру. Все итальянское было не в чести у короля Карла. Потом, всего полгода назад,—баррикады, пушечная стрельба, громкие и отчетливые требования республики перекликаются со старыми итальянскими лозунгами свободы. Мелькают знакомые лица и знакомые фамилии, откуда-то возникли друзья, от которых, как от чумы, стремился в это время укрыться синьор Паер. И сквозь все эти годы—молва, чудовищная, злокачественная, об этом все и всех покоряющем на своем пути музыканте, Никколо Паганини.

Было представление о заносчивом человеке, крайне неприятном, который поставил жизнь на карту из-за денег. Скрипач, проигравший скрипку, не может считать себя артистом. Скрипач, променявший высокое искусство на деньги, разменявший свой талант на бирже случайных успехов, не может рассчитывать на добрый прием у старого Фердинанда Паера. И вот сейчас этот человек, которого всюду опережала неотвязная молва, сидит перед ним уже много часов, и Фердинанд Паер не может оторваться от беседы. Этот черный урод с землистым лицом покоряет его своими удивительными словами, своими мыслями, никак не уживающимися с тем представлением о Паганини, которое создали газеты. А последние слова скрипача показывают, какая огромная это душа, они так не похожи на все, что слышит синьор Фернандо от артистов, окружающих его,—надо подумать, прежде чем решительно отговорить Паганини от выступления в Париже.

— Итак, ты отрицаешь существование у тебя врагов. Что бы ты хотел сделать?

— Я хотел бы видеться с вами часто, маэстро.

— Так,—сказал синьор Фернандо.—Мы сегодня с тобой пойдем в театр, а сейчас не хочешь ли сыграть что-нибудь?

Паганини отрицательно покачал головой.

— Я буду играть на концерте.

Паер нахмурился. «Не слишком ли он самоуверен?» — подумал он, но решил промолчать.

— Я должен освоиться с Парижем,—сказал Паганини.—Этот город меня поражает, он подавляет меня гигантскими размерами своих улиц и площадей. Я не знаю, к чему такие широкие улицы, к чему такие огромные пустые пространства. Я видел газовые фонари.

Это фантастическое белое освещение говорит о неистребимой жажде французов к потокам света ночью. Когда я освоюсь с этим городом, то, быть может, вы окажете мне содействие в устройстве концертов, быть может, вы познакомите меня с теми, кто может обеспечить мне и Гаррису наем помещения и наиболее целесообразное расписание концертов.

— А выбор программы?

— Об этом я позабочусь.

— Ты самоуверен!

Паганини не обратил внимания на эти слова.

— Что говорят в Париже о нынешнем короле, маэстро?

— Что же могут говорить о нынешнем короле! Первое, что он сделал, это перевел состояние Орлеанского дома в Лондон на имя своих детей. Герцог Бурбонский, единственный Бурбон, оставшийся в Париже,—старик, уже не выходивший из дома,—завещал свое состояние герцогу Омальскому, старшему сыну Луи-Филиппа. Как это ни странно, старика нашли повесившимся в собственной спальне непосредственно после составления этого завещания. Ну, что еще сказать тебе? Луи-Филиппа возвели на трон парижские банкиры, Лафайет рекомендовал его восставшему Парижу, в ответ на крики о республике, как лучшей из республик. Я, конечно, говорю с тобой так, как не буду говорить ни с кем другим. Имей в виду, что после неприятных происшествий в Болонье, в Модене и в Парме ко всем итальянцам отношение в Париже подозрительное. Твой Фонтана Пино... лучше бы ты с ним не виделся! Кроме того,—тут Паер понизил голос,—ты знаешь, что я верный слуга короля. Ко мне обращались многие. Итальянские беглецы, которым во Франции оказывали покровительство, сейчас собрались в Лионе и Марселе. Они хотели выехать в Италию, их не пустили и отдали под надзор французской полиции.—Паер еще больше понизил голос.—Австрийские войска сейчас расстреливают жителей Модены, Пармы и Болоньи. Австрийские войска сейчас вошли в Романью, и ходит слух, что племянник Наполеона, Луи Бонапарт, замешан в итальянских делах. Держи себя осторожно в Париже, в особенности с соотечественниками. Ты, сам не зная как, можешь навлечь на свою голову множество бед.

В театре Паганини с восторгом слушал «Отелло».

Дездемона совершенно захватила внимание Паганини. Голос испанской певицы, ее необычайная живость и изящество заставили Паганини на несколько сладких часов забыть предостережения Паера.

После антракта, вернувшись на свои места, Паганини и Паер сделались предметом самого странного любопытства соседей. По окончании второго акта молодой, высокий, стройный человек, с усами кавалериста и военной выправкой, подошел к Паеру. Это был скрипач Берио. Он не скрывал, что подошел к синьору Фернандо только для того, чтобы просить представить его господину Паганини.

Этот, чисто французский жест, эта свобода и легкость светского человека понравились Паеру. Паганини из нескольких слов Берио понял, что Париж, в отличие от тяжелодумной родины Шпора, обладает способностью бескорыстно и по достоинству оценить артиста. Он высказал это своему учителю. Паер посмотрел на него и ничего не сказал. У него еще не было достаточных оснований для того, чтобы так или иначе истолковать жест Берио. Французская светскость первого скрипача Парижа должна была свидетельствовать о радушии хозяина, принимающего итальянского гостя, но в равной мере она могла быть намеком на то, что парижские музыканты отнюдь не встревожены приездом Паганини, они слишком уверены в себе, чтобы бояться его появления. Эти оттенки быстро уловил учитель Паганини. И то, что сам итальянский скрипач принял за чистую монету, то для его учителя показалось очень серьезным предостережением.

13 февраля 1820 года герцог Беррийский — племянник короля Людовика XVIII и единственный наследник французского престола — вышел из театра. Столяр Лувель подошел к нему и перерезал ему горло обыкновенным кухонным ножом.

14 февраля 1831 года остатки парижской знати, люди, хранившие, как святыню, белые лилии бурбонского герба, собрались среди бела дня в аристократической церкви Сен-Жермен Л'Оксерруа. Все Сен-Жерменское предмете было запружено каретами и колясками. Была отслужена торжественная панихида по герцогу Беррийскому. Это был протест Сен-Жерменского квартала Парижа

против новых порядков, против буржуа, стоящего у власти, и против сотен тысяч Лувелей, точащих кухонные ножи на королей.

Панихида окончилась увенчанием цветами изображения герцога Бордосского. Молва как электрическая искра пробежала по улицам Парижа. Тысячная толпа собралась у церкви, когда окончилась панихида. Толпа запрудила дорогу, и вот кто-то из разъяренных парижан хватает первого попавшегося священника, и тот летит в реку. Быстро разъезжаются кареты, легкие экипажи, увозя графинь, герцогинь и виконтов. Народ врывается в церковь, разрушает алтарь Сен-Жермен Л'Оксерруа, ломает в куски статуи святых, режет ножами иконы и выбрасывает за окна дароносицы. Кресты снимаются с церкви. Дом каноника и квартира иезуитской конгрегации подвергаются той же участи. Все сломано, перебито, выбиты стекла, поломаны рамы, сожжены полы и потолки.

Народ бушевал весь день. Огромные толпы проходили мимо окруженного полицией и войсками Пале-Рояля. Они не трогали короля, они искали «попов и Бурбонов». Потом направились к дворцу архиепископа, и в то время как одни громили церковь, прилегающую к дворцу, другие, смяв отряд национальной гвардии, вошли во дворец, сорвали каменные кресты, уничтожили мебель, иконы. Из огромного количества распятий, бывших в разных комнатах, сложили костер на паркетном полу. И в это время мимо дворца архиепископа прогремела карета, из которой с удивлением выглянуло демоническое лицо, обрамленное кольцами черных волос. Землистые щеки, синеватые веки, лицо, на котором отпечатались цвета серы и медного купороса. Синие веки поднялись, как крылья ночной птицы, к черным бровям, и огромные глаза загорелись злорадством. Демон въехал в Париж. Этим демоном был Никколо Паганини.

В этот час, миновав заставу, он приехал на улицу д'Анфер и поселился там вместе со своим дьявольским фамулусом, английской собакой, Джорджем Гаррисом, который является, несомненно, воплощением черта, купившего душу итальянского скрипача.

...О событиях этого дня помощнику префекта полиции докладывал невзрачный человек в большом черном сюртуке. Это происходило в те часы, когда синьоры Паганини и Паер спокойно слушали оперу «Отелло».

Полиция не спала всю ночь. Испуганные представители духовенства не знали, где искать защиты. Старая карлистская полиция была теснейшим образом связана с иезуитами, но орден знал очень хорошо могущество парижских банкиров. Он знал наперечет богатство всех наследников лучших купеческих домов Парижа. И он знал, что за первым опьянением победы наступит отрезвление и католическая церковь, в лице самых тайных ее организаций, снова станет необходимым пособником власти, а из пособника сделается настоящей руководительницей французской политики.

Сухим и монотонным голосом агент секретной полиции докладывает супрефекту города Парижа сводку своих наблюдений. Состоя в двойном подчинении, он в минуты большой усталости путал наблюдения интеллектуального сектора и полиции нравов с политическими сводками и с уголовными сводками обыкновенной полицейской агентуры. Но он знал, что господин супрефект сам добивается ордена Иисуса, и не очень заботился о размежевании тех сведений, которые он должен был сообщить полицейскому супрефекту, и тех, какими интересовался коадьютор ордена иезуитов.

— Еще что? — спросил супрефект.

— В кофейне «Эмблема» выступали молодые люди с литературными спорами. Молодой человек кричал о правах средних людей.

— Ну и что же? Что за необходимость подслушивать этого болтуна?

— Он кричал о том, что люди, лишенные талантов, должны соединяться вместе.

Супрефект зевнул:

— Какое дело полиции до всех сумасшедших мальчишек, страдающих тайными пороками и собирающихся в кофейнях?

— Он выкрикнул очень интересную вещь.

— Кто выкрикнул? — переспросил супрефект.

— Да Мюрже. Он закричал: «Я защищаю право среднего человека плевать в лицо гению!»

— Однако! Это уже интересно! Ну, и что же?

— Я пригласил его на службу.

— Зачем?

— Он нам будет нужен.

— Он что — романтик?

— Он — никто. Но человек, который кричит:

«Я защищаю право среднего человека плевать в лицо гению, я за право подлеца и мастурбатора!» — может многое для нас сделать. Я дал ему денег.

— Как, ты говоришь, его фамилия?

— Я записал его и взял документы. Его фамилия — Мюрже.

— Вот как! Агент русского царя! Кто там был еще?

— Там был Нодье.

— Литератор? Что он говорил?

— Он произнес речь против газовых фонарей.

Супрефект окончательно оживился. Сон слетел с его глаз. Супрефект расположился в кресле поудобнее.

— Это совсем интересно. Теперь студенческая молодежь Сорбонны и медицинского факультета — болото, в котором рождаются змеи и лягушки. С ними столько хлопот: то охраняй театр, в котором они колотят друг друга по морде дубинками, то они раскрасят друг другу физиономии кистями в мастерской господина де ла Круа, то поссорятся с девчонками на Итальянском бульваре и раздерут им юбки. Держите их под наблюдением, держите! Господин министр прав, когда говорит: «Сегодня это романтики, а завтра революционеры». Но за молодого Мюрже я ручаюсь. Пусть он служит и нам и петербургскому медведю — деньги не пахнут!..

— Да, — сказал агент, — господин министр говорит: «От социализма Францию может спасти только катехизис».

— Ты, кажется, становишься философом! — сказал супрефект. — Я ценю вашу агентуру. Мюрже — это рыбка, из которой можно сварить уху! Ну, а что же именно говорил Нодье?

— Нодье повторил свою речь о новогоднем освещении улицы Мира и квартала Вивьен газовыми фонарями. Нодье кричал, что от ядовитых газов умирают деревья, картины в кафе чернеют от ядовитого чада, тончайшего и невидимого, который выделяют эти проклятые лампы, слепящие глаза. Кареты падают в ямы, вырытые посреди мостовых, так как газовые фонари слепят глаза лошадям.

Супрефект порылся в папке и достал огромную синюю тетрадь.

— Это — сумасшедший, — сказал супрефект, — он подал правительству мемориал о запрещении водорода.

Он перелистал тетрадь. Агент ясно увидел подпись Нодье.

Автор «Сбогара» писал, что парижские пожары, холера, бунты и десять египетских казней имеют причиной водород, разливающий свой ядовитый свет по улицам Парижа.

В четыре часа утра тот же агент получил инструкции от коадьютора ордена.

Глава двадцать восьмая

ОТРАЖЕНИЕ ДВУХ ЗЕРКАЛ

Итак, Паганини, приехав в Париж, сразу попал под надзор полиции. Границы политической и уголовной полиции еще не были установлены с достаточной четкостью, но уже обрисовывалась вражда между ними. Коко Лакур, сменивший парижского Видока в 1827 году, был все-таки старым карманным рыцарем, как его называли. Работая путем привлечения мелких преступников для поимки больших, он внушал ненависть господину Жиске, желавшему ввести новые методы в политическую работу полиции. Но Жиске потерпел поражение, ибо в области секретного полицейского надзора правительство Луи-Филиппа пошло по старой, проторенной дорожке, создавая притоны, формируя провокационные ячейки, притягивавшие молодежь.

Коко Лакур был прямым продолжателем того самого Видока, который в 1817 году, в полном согласии с духом царствования реставрированных Бурбонов, предложил префекту полиции д'Англезу организовать на свой страх и риск бригаду сыщиков, с тем чтобы эта бригада действовала исключительно под его, Видока, контролем. И так как он сам принадлежал к компании крупных воров, то первые шаги Видока были чрезвычайно успешны. Видок, насладившись карьерой крупного вора, наслаждался карьерой помилованного каторжника, предающего правосудию своих прежних товарищей. Коко Лакур так же, как он, сформировал бригаду-мобиль и с этого начал свою работу. Жиске протестовал, но был принужден сдаться. Мало того, в качестве префекта полиции Жиске сам организовал в министерстве внутренних дел лабораторию, где готовились опасные политические яды. Оттуда вышли псевдополитические деятели, формировавшие тайные общества и союзы с самыми

причудливыми названиями и самыми крайними программами. Это обеспечивало заработки полиции. Это дешево стоило, это открывало блестящую эпоху удачного политического сыска.

Существовало и второе зеркало, отражавшее тайный Париж и тайную Францию. Это зеркало давало отражение чище и яснее. Старые опытные венецианские зеркальщики шлифовали это удивительное стекло и покрывали его амальгамой.

В 1829 году Роотаан сделался генералом ордена. Этот суровый, холодный, очень уравновешенный голландец обладал способностью с молниеносной быстротой вмешиваться в политику и наносить с неизвестной стороны такие удары, которые ставили в недоумение умнейших дипломатов Европы.

Иезуиты в светском платье сидели на почте. Их имена встречаются даже в списках черного кабинета.

В 1829 году, когда Карл X пошел по пути открытой реакции, министр Виллель опубликовал так называемую «Черную книгу». Правительство Луи-Филиппа заявило о ликвидации черного кабинета, оно заявило, что «Черная книга», опубликованная Виллелем, была простой уткой. Июльская революция как будто ликвидировала черный кабинет, но фактически его только переместили в новое здание. И там тоже были дубликаты печатей, дубликаты бланков, сургуч всех цветов и конверты всех министерств, гербовые печати французских дворян и девизы французских банков. Письмо вручалось адресату в совершенно целом конверте, до такой степени дело было поставлено хорошо.

В 1831 году в парижском суде слушалось дело маркизы Лавальер, вышедшей замуж за почтенного профессора Сорбонны. Она узнала, что этот профессор состоит одним из главарей черного кабинета, и потребовала развода. Несмотря на то что дело было решено в ее пользу, ни архиепископ парижский, ни Римская консистория не утвердили развода. Легальное существование иезуитского ордена использовано было только для организации школ, для управления имуществами ордена, но реальные силы иезуитов, богатства и секретные пружины этого огромного, всюду проникавшего механизма не только не были известны широкой публике, но и низшим степеням ордена не были доступны.

Когда итальянский карбонаризм выступил на борьбу с

орденом, ему пришлось заимствовать железную дисциплину иезуитов, чтобы хоть сколько-нибудь успешно вести борьбу с этим тайным и страшным врагом. Иезуитизм — это была раковая опухоль в организме Европы, она всюду простирала свои тончайшие нити и разветвления, обладавшие способностью разбухать и разрастаться, превращаясь в совершенно самостоятельное образование в тех случаях, когда деятельность Рима была парализована. Это второе зеркало, отражавшее тайную жизнь Парижа, отражало и деятельность тайной полиции Луи-Филиппа. Но само оно, несмотря на все усилия гражданской власти, не попадало в сферу наблюдения правительства.

Паганини в Париже был отмечен особо, и вереница лиц завертелась в отражающих зеркалах.

В один прекрасный день на улице д'Анфер появился министерский курьер. Об этом знали супрефект и господин Жиске. В другой день приходили врачи, музыканты, литераторы, художники, поэты. Вот карета господина Лаффита, бывшего министра, хозяина всех дилижансов Франции, владельца крупнейшего европейского банка. Зачем он приехал к скрипачу? О, разговор был самым пустячным: господин Лаффит желал слушать скрипача в своем отеле; он проезжал мимо, он хотел отвезти чудного ребенка, сынишку синьора Никколо, в Пасси или Булонский лес в своем открытом экипаже: чудесный весенний воздух будет полезен ребенку.

Копыта пары прекрасных арабских коней, с эгретами и сбруей из русской кожи, гулко стучали по торцовым мостовым. Синьор Паганини, маленький Ахиллино и господин Лаффит сидели в ландо. Лаффит прямо заявлял, что он ушел из министерства потому, что ему отвратительна иностранная политика нового правительства. При всем своем уважении к королю он должен сказать: король Луи-Филипп — все-таки в руках каких-то темных людей.

— А я ставленник баррикад, — с важностью заметил Лаффит. — Я был сторонником вмешательства в дела вашей прекрасной родины. Давно пора освободить Италию от варваров!

Прогулка окончилась. Паганини отказался заехать к господину Лаффиту. Секретарь господина Лаффита, пожимая руку Гаррису, вкрадчиво сказал, что все средства, все капиталы синьора Паганини, все лавины парижского золота, которые устремятся к Паганини, синьор может

направить в банк господина Лаффита, так как только этот банк даст наиболее обеспечивающий процент.

Вечером, когда Гаррис беседовал с синьором Паганини на эту тему, тот же агент, который делал доклад супрефекту, стоял в другом месте, перед другим столом. На улице — вывеска: «Нотариус Браччолини». Маленькая душная комната с письменным столом. Сильно накурено. Здесь всего два посетителя и клерк, разговаривающий сразу с обоими. Но через три комнаты, в глубине коридора — скрытое помещение с очень скудным убранством: один стол, один стул, узкая кровать, таз и кувшин с водой, огромное распятие над кроватью. Там старик с весьма проницательным взглядом, сидя на единственном стуле, выслушивает донесение агента о приезде Паганини в страшный день разрушения парижских храмов и дома архиепископа.

Рядом с седым стариком стоит синьор Нови, с выражением злобы и разочарования на лице. Приходом агента был прерван длительный спор.

У старика нет никаких возражений против Паганини. Рассказ агента не производит на него никакого впечатления. Но он ищет хоть какого-нибудь подтверждения того, о чем с такой тревогой говорит Нови.

Зачем Нови приехал в Париж? Нельзя спрашивать, какие полномочия имеет Нови, они перед глазами: это — письменное указание на то, что ему поручено дело увеличения доходов ордена посредством получения завещания людей, перечень которых знает на память Нови. Старик знает прекрасно всю обстановку приезда Паганини. Его интересует другое: когда Нови успел видаться с этим агентом. Он пристально смотрит на Нови, он боится сам впасть в ошибку.

Агент докладывает о новой деятельности так называемой черной бригады. Французские скобяники, торговцы железом, антиквары, обойщики и драпировщики получили внезапно откуда-то возможность скупать старинные усадьбы, замки, брошенные дворянские особняки в самом Париже и с невероятной быстротой производят разрушение зданий. Надо дознаться, кто стоит во главе, на чьи средства это делается.

— Что можно сделать для того, чтобы удовлетворить тебя? — спрашивает старик, обращаясь к Нови. — Вот передо мной карта всех поездок твоего скрипача. Ты говоришь, что все его путешествия связаны с работой

карбонариев, ты упираешь на то, что Фонтана Пино — карбонарий. Но сам Паганини, как он воспользовался этим знакомством? Он просто, судя по крайней мере по копиям писем, нащупывал почву в Париже — и больше ничего. Я все-таки надеюсь на то, что Париж принесет ему много золота. Состояние его увеличится, а у нас еще много лет впереди для того, чтобы направить это золото в казну ордена. У нас всегда есть возможность применить устрашение без нанесения решительного удара. Мы можем заставить человека жить, питаясь хлебом страдания и водой страха. В нашем распоряжении парижские врачи. Жорж-Бенуа Фодере, лучший судебный врач Парижа, всегда выполнит то, что мы ему прикажем. Доктора Ростан, Крювелье и Ласег, эти великие врачеватели душ...

— Да, — прерывает Нови. — Но пока Урбани находится при этом проклятом Паганини, наша работа обречена на неуспех.

Глаза старика вдруг потемнели и сделались непроницаемыми, он махнул рукой, ничего не ответив на это.

— Людьюми легче управлять при посредстве пороков и страстей, нежели посредством добродетелей, — говорит старик. — Прививая обществу малые пороки, мы можем упразднить большие. На какую страсть отзывается больше всего твой скрипач?

— Это демон, которого гложут все страсти и все пороки.

Старик покачал головой.

— Ты говоришь, как юноша, а надо, чтобы ты говорил, как зрелый муж. Ты опытный сын церкви. Что можем мы сделать для того, чтобы начать воздействовать на Паганини? Если бы это был офицер королевской армии, мы могли бы пустить слухи, порочащие его воинскую честь. Если бы это был священник, мы могли бы обвинить его в ереси. Но когда это просто скрипач, артист, что можем мы сделать против такого человека?

— О! — воскликнул Нови. — Что можем мы сделать? Мы можем смертельно оскорбить его в печати. Мы можем затруднить его выступления, мы можем понизить состояние его духа настолько, что смычок будет вываливаться у него из рук! Мы можем, израсходовав небольшую сумму на парижские газеты и журналы, громко закричать на весь Париж, что иссякли родники творчества Паганини. Можно писать статьи, которые намеренно оскорбят его

грубым непониманием. Мы можем поручить редакции составить специальный номер журнала, в котором дураки и тупицы напишут биографию Паганини, поместят вздорные портреты, изображения тюрем, в которых он был заключен, и портреты его любовниц. Этим мы вызовем в нем разлитие желчи. Глупость рецензента прощается гораздо скорей, нежели гениальное превосходство мастера. Поймите, отец, что только таким способом мы можем пресечь его работу в Париже!

Старик встал.

— Ты опять, сын мой, поворачиваешь на прежнюю дорогу,— сказал он.— Властью, данной мне орденом, приказываю тебе оставить мысли о нанесении вреда Паганини. Мы не намерены прекращать его деятельность в Париже, и делать из Паганини какое-то исключительно интересующее орденом лицо мы не будем. У тебя есть прямое приказание использовать все способы святой матери церкви для обращения Паганини и для превращения его огромного богатства в богатство ордена. Ступай.

Весь следующий день после представления оперы «Отелло» Паганини обдумывал слова своего учителя. Малибран его поразила. Его глубоко взволновала опера, показавшая, на каком высоком уровне стоит музыкальная культура Парижа.

Он видел в театре Россини, который издали ему поклонился, но не подошел, так как Паганини сидел рядом с Паером.

Паганини перелистал маленькую записную тетрадь. Там было записано: узнать адрес Лафона, написать приглашение синьоре Даморо. Дальше шли сведения, записанные со слов Паера: Лора-Синтия Даморо, дочь Монтерлана, ей тридцать лет, поет под именем Чинти. Спросить Россини. Обер написал для нее оперу «Черное домино».

В ту минуту, когда Паганини собрался писать синьоре Чинти письмо с предложением совместных концертов, в дверь постучали. Вошел Урбани с курьером парижской консерватории. Письмо от Паера. «Сегодня вечером его величество желает тебя слушать в Пале-Рояле. С этого мы начнем твоё завоевание Парижа. Я в тебе уверен».

«Милый синьор Фернандо,— подумал Паганини,— я не напрасно считал тебя не только учителем, но и чудесным

человеком». Однако его приглашали во дворец. Когда возобновилась война за свободу Италии, как может он войти во дворец короля? Решение было мгновенным. Краткие строчки, сползающие под линейку, известили синьора Фернандо Паера, что внезапная болезнь мешает Паганини принять приглашение короля.

Газеты, которые прежде были наполнены восклицательными знаками, сопровождавшими имя Паганини, вдруг стали сдержаннее. Через день появились кислые заметки о необычайном чванстве итальянца.

Паер ходил по комнате и говорил:

— Я не ручаюсь за твой успех. Первое, что ты сделал по приезде в Париж, ты оскорбил короля. Это первое, что ты сделал.

На лице старого скрипача, все еще прекрасном, появились тонкие склеротические морщинки, глаза его казались стеклянными, когда он произносил эти горькие фразы.

Может ли Паганини сказать учителю все, что думает? Но Паер как будто угадал его мысли.

— Ты, может быть, не пошел потому, что Луи-Филипп отказался помочь нашей родине?—по-детски, наклонившись к уху Паганини, шепотом спросил он. И как бы отвечая сам себе, выпрямившись, возразил:— Да, но я читал отчет о твоих поездках по Баварии. У королевы баварской в замке Тегернзее ты играл!

Паганини молчал.

— Я совершенно искренне говорю, я был болен,—наконец произнес он.

«Луи-Филипп,—подумал Паганини,—это повторение предательства кариньянской собаки!» Он чувствовал себя итальянцем больше, чем когда бы то ни было.

— Ну, вот что,—продолжал Паер.—Я говорил с Габенekom, это наш дирижер. Тебе предстоит сегодня объездить парижские залы и посмотреть, где лучше всего звучит скрипка.

Шесть дней прошли в поисках. Но дело было совсем не в том, хороши или плохи залы.

Каждый раз, когда Паганини, усталый, выходил из экипажа и поднимался в комнату своего учителя, происходил разговор приблизительно такого содержания.

Паер, вскидывая глаза, спрашивает:

— Ну, что?

— Не нашел. Мы с Гаррисом объездили весь Париж.

В одном зале устраивают бал студенты медицинского факультета и кокотки, они будут плясать трое суток подряд, с четырнадцатью оркестрами, в другом — мировой пианист Пласко дает концерт.

— Какой Пласко? — Паер разводит руками. — Не знаю такого.

— В третьем — индийский маг будет показывать фокус с воскрешением мертвой собаки; в четвертом — состоится совещание общества «Возвращение утраченной молодости»; в пятом — сенсимонисты устраивают сборище с докладом некоего Анфантена; в шестом — неподражаемый, гениальный, знаменитый скрипач Афродито, приехавший откуда-то, дает свой концерт на удивление всем парижанам.

Паер снова ударяет кулаком по столу:

— Это что за идиотство? Откуда этот Афродито?

Паганини продолжает:

— Виньоль читает лекцию, где провозглашает себя мировым гением драматургии. Сабле читает свой новый роман из жизни Видока.

— Черт знает что! — кричит Паер.

— Дюкло читает доклад, доказывающий глупость и бездарность Шекспира.

— Ну, это еще куда ни шло, — говорит Паер. — Дюкло, которого никто не знает, конечно, талантливей Шекспира. Но когда же все это кончится? Снял ты наконец какое-нибудь помещение?

Паганини стоит, заложив руки за спину.

— Дорогой учитель, вы скрыли от меня, что Париж кишмя кишит музыкальными гениями, вы утаили от меня, какое количество собрано здесь гениальных скрипачей!

Наступило 7 марта. Курьер, посланный Паером с извещением, что господин Верон, назначенный дирижером Большой оперы, предоставляет на 9 марта театр в распоряжение Паганини, стучал очень долго. Никто не отзывался. Было уже два часа дня. Спускаясь по лестнице, курьер встретил мальчика и седого человека с острой бородой. За ними шли высокий черноволосый итальянец и старая дама. Увидев, что он отошел от двери Паганини, они остановили его.

— Как, вы не могли достучаться?

Гаррис, Урбани и старая дама переглянулись.

— Вы идете к синьору Паганини? — спросил курьер.

Гаррис порылся в кармане, быстро отпер замок и вошел.

— Неужели он уже уехал? Утром он еще лежал в постели и просил его не будить!

Когда приоткрыли дверь комнаты синьора, увидели его лежащим у письменного стола. Голова неуклюже упиралась в стену, шея согнулась чуть не под прямым углом к туловищу. Скрипка лежала рядом.

Ахиллино с криком бросился в комнату. Фрейлейн Вейсхаупт всплеснула руками. Урбани стиснул зубы.

— Доктора, немедленно доктора! — закричал Гаррис.

Урбани опрометью бросился на лестницу.

Курьер положил письмо и участливо сказал:

— Я сейчас же доложу господину академику, и мы вместе привезем врача.

Один за другим приезжали врачи, ни один не констатировал смерти. Состояние было странное, не похожее ни на летаргию, ни на искусственно вызванный сон, но это не была смерть. В комнате стоял отвратительный сладковатый запах, вызывающий головокружение, и первое, что сделал Урбани, — поспешил открыть окно.

Растирание, лед, согревание — ничто не помогало. Раздвинув ножом зубы больного, молодой врач Жан Крювелье влил несколько капель какой-то жидкости. Прошло три минуты. Паганини открыл глаза. Крювелье отозвал в сторону Урбани и долго его о чем-то расспрашивал. Потом, когда Паганини слабым голосом заговорил и первыми его словами была просьба о еде, доктор быстро подошел к нему, пощупал пульс и сказал:

— Ну, теперь вы совершенно вне опасности, я уезжаю.

Гаррис осторожно спросил врача, какое он желал бы получить вознаграждение. Крювелье покачал головой и сказал:

— Ничего. Единственно, о чем я прошу, это чтобы вы до моего расследования не предавали огласке этот странный случай. Кроме того, я был бы весьма признателен, если бы получил в качестве сувенира подушечку от скрипки синьора. Я счастлив, что мне удалось спасти это украшение музыкального искусства.

Фраза была построена по трафарету, никто ей не удивился. Гаррис пожал плечами. Синьор Паганини с охотой согласился удовлетворить просьбу чудака врача.

Паганини не мог вспомнить, что с ним было. Он ничего не мог рассказать. Он говорил только о том, что погружался в сон, слыша какой-то странный звон вокруг него. Он слышал собственный реквием и выражал самому себе соболезнование по поводу того, что преждевременно отходит в вечность.

Эта ироническая фраза говорила о том, что всякая опасность действительно миновала.

Поздно ночью доктор Крювелье сидел у старого иезуита. Он держал в руках подушечку из черного бархата и говорил:

— Только я один во всем Париже могу сказать, в чем тут дело. Кража не удалась вследствие чистой случайности. Все одновременно вернулись в тот час, когда подобранным ключом должны были отпереть двери агенты.

— Что?! — перебил старик.

— Я скажу, — ответил доктор Крювелье. — Я знаю на верное, что Паганини должен был подвергнуться ограблению и что ограбление затеяли полицейские власти Парижа.

— С какой целью?

— Цель мне неизвестна. Я знаю только то, что два месяца тому назад врач Суберан впервые произвел опыт в полицейской тюрьме с тем составом, который безболезненно и без особого вреда для организма усыпляет человека до полной потери памяти, сознания и чувствительности. Этот состав, открытый доктором Субераном, называется хлороформом. Я присутствовал при блестящих опытах моего коллеги. Их держат пока в тайне. Этому изобретению принадлежит большое будущее, так как оно колоссально облегчает задачи хирургии. Кроме полиции и меня, никто не знает, что доктор Суберан обладает секретом этого усыпляющего средства. Хлороформ, которым смочена эта подушечка, был украден полицейским.

— Но вам удалось спасти скрипача?

— Да.

Доктор с гордостью кивнул головой.

— Пути полиции очень странны, — сказал старый иезуит. — Во всяком случае, вряд ли тут замешаны деньги. Может быть, исчезло что-нибудь у синьора Паганини?

— Да, синьор Гаррис был у меня сегодня и сказал, что похищено сто двадцать тысяч франков.

— В таком случае это нас не касается. Полиция это сделала, полиция найдет виновных. Вам по дисциплине ордена запрещается говорить об этом кому бы то ни было. Еще вопрос: вы говорите, что двери были закрыты, когда с синьором случился этот обморок. Бывают ли такие часы, когда жилище синьора Паганини остается пустым?

— Его секретарь говорит, что нет,—ответил доктор.

— Так. Предписываю вам полное молчание.

9 марта в огромном зале Большой оперы состоялся концерт Паганини.

«Это был незабываемый вечер»,—писали французы. Лучший зал столицы мира был переполнен. Концерта ждали, последние дни только о нем и говорили. В этот удивительный год Париж привлекал к себе все, что было покрыто славой,—начиная от славы, добытой на полях сражений, и кончая славой строителей дворцов; начиная от поэтов и музыкантов мира и кончая вождями когорты героев, выходцами из карбонарского подполья и участниками титанических походов якобинских армий.

И Паганини, создавая свой новый концерт, который он хотел отдать этому городу, знал, что он должен вложить в звуки всю силу своего гения, всю мощь своего духа. Он должен ослепить зал блеском своего виртуозного мастерства. Он должен дать этому городу больше, чем какому бы то ни было. Он должен заставить сердце мира на несколько минут замереть.

Но вот теперь он забыл все. Кривой, изогнутый, похожий на гипсовую обезьянку, вырытую из развалин Помпеи, он разбрасывает по залу тысячи колокольчиков—серебряных, золотых, бронзовых и стальных. И словно ветер пробежал по рядам зала. Для одних это был ветер в колоколах старинного собора, вихрь, залетевший в извилины древней колокольни, ветер какого-то нового восстания, попавший под купол собора и разбудивший дремавших там птиц. Птицы проснулись, взмахнули своими крыльями; цепляясь еще во сне по краям колокольчиков и колоколов, они задевают их хвостами, коготками и перьями. В сумраке натываясь клювами на колокольные узоры, будят мирно спящие колокола. Колокольня просыпается. Многовековое пение бронзы отзывается на эту тревогу, и в ответ раздаются звуки набата. И

вот другим уже слышатся взрывы пороховых бочек под стенами дворцов. Вдрагивают баррикады фронды. Но иные видят лишь легкокрылых бабочек, летящих на колеблющийся огонь свечи.

Вот скрипка раздирается пополам, вот слышны две скрипки, каждая рассыпается на десять маленьких скрипок. Вот их двадцать, вот сто, вот поет тысяча скрипок. Да, конечно, это просто китайские фарфоровые божки и амуры со стрелами и фарфоровыми крылышками падают со звоном на пол. Пастушкí и пасту́шки, одетые в шелк, в белых пудренных париках, танцуя менуэты Рамо и Люлли, задевают неосторожно эти фарфоровые безделушки, которые сыплются с полочек. Танец прерывается криком испуга. Из-под шелковых портьер вылезают черные кроты с миллионами своих детей. Они рвут шелковые занавески. Это нападение сопровождается диким свистом и воплями, раздается треск, лопаются стекла, падают уличные фонари, раскрываются стены замка, и холодный ветер сметает его с лица земли. Огромная победная кантилена, воинственная песня восставшего народа, такая знакомая этому народу, слышится вдруг в переливах скрипки. Потом наступает грустное адажио.

Многих эта музыка заставляет вспомнить Байрона, у многих в памяти возникают строки недавно умершего поэта:

Как часто луч зари благословенной
Я в чаще пинн зеленых созерцал
В окрестностях пленительных Равенны,
Где некогда шумел адрийский вал
И вечною угрозой для вселенной
Оплот последних цезарей стоял.
Мне мил тот лес, всегда листвою одетый,
Боккаччио и Драйденом воспетый.

Безмолвных рощ был тих и сладок сон;
Цикад лишь раздавалось стрекотанье;
Мой конь храпел, да колокола звон,
Сквозь листья доносясь, будил молчанье.
Во тьме ко мне неслись со всех сторон
Моей мечты счастливые созданья:
Охотник-призрак с стаею своей
И светлая толпа воздушных фей.

И после тихой кантилены внезапно налетает новая буря звуков.

В зале был Франц Лист. Он сам говорил потом, что день, когда он услышал Паганини, переменил всю его

жизнь. Он вышел из театра выросшим и возмужалым. На следующий день он должен был выступать сам. Но оказалось, что он ничего не понимал в жизни и в искусстве еще вчера. Сегодня это был уже новый человек. В нищете, в беспомощности, если необходимо — в окружении полного непонимания, но жить только творчеством, не позволяя себе никаких выступлений, пока техническое совершенство не обеспечит полноты воплощения созревших замыслов! Пусть кто угодно несет на рынок эстрады и на базары театральных подмостков свою дешевую добычу, пусть кто угодно покупает этими концертами скудные услуги, комфортабельное существование, — Лист не может выступать до тех пор, пока рояль не будет ему повиноваться так же, как скрипка повинуется этому безумному скрипачу, отдающему жизнь, сжигающему нервы и сердце.

Для Листа это был костер, на котором он сжег все свое музыкальное прошлое.

Рядом с ним сидел человек иной породы. Это был трезвый, ясный аналитик Людвиг Берне. Он задыхался в антракте и не мог говорить. Он мял кожаный переплет записной тетради и, судорожно водя карандашом, писал:

«Это дьявольское наваждение. Я в жизни не видел и не испытывал ничего похожего. Его слушатели охвачены каким-то сумасшествием, иначе не может быть. Когда он играет, дыхание захватывает, и самое биение сердца отвлекает внимание человека. Собственное сердце раздражает и становится невыносимым. Собственная жизнь прекращается, как только начинаются эти звуки».

Вечером, вернувшись к себе, Берне продолжил эту запись:

«Еще до начала игры, как только Паганини показался на эстраде, его встретили бурным приветствием. И надо было видеть, как смущен был в своих движениях этот ярый враг всякого танцевального искусства. Паганини шатался, как пьяный, он спотыкался, неуклюже цепляя ногой за собственную ногу. Свои руки он то поднимал к небу, то опускал вдруг к земле, затем он выпрямлялся во весь рост и молил землю, молил небо, словно прося заступничества в тяжелую минуту. Затем он замирал и с распростертыми руками как бы распинаял самого себя».

Когда этот волшебник лежал в постели, совершенно разбитый, без голоса и маленький Ахиллино тихонько гладил его руки, отзвуки его славы прокатились по всему

миру. На весь мир прозвучали слова постановления Королевской академии об избрании Паганини членом академии. Он завоевал Париж.

«При жизни этот человек стал легендой,— писало «Парижское обозрение». Со всех сторон слышатся голоса восхищения, восторга, которые приводят в отчаяние людей, занимавших в мире место, отнятое игрой Паганини. Этим людям остался только механический способ устранения великого скрипача из жизни. Но и это не вернет им славы, потому что человечество узнало беспредельность достижений итальянского гения.

Паганини — не только скрипач, владеющий всеми тайнами инструмента, это — великий артист в полном смысле этого слова, великий артист, для которого скрипка является прежде всего средством выражения собственного гения. Это — творец и изобретатель, это — открыватель новых, неведомых миров. Чувствуется гигантский труд, вложенный человеческой волей в преодоление трудностей, лежащих в мире овладения скрипкой.

Паганини есть явление в мире искусств единственное, имеющее свое особое, ему одному данное назначение, и пусть утешатся его соперники старым утешением, говорящим о том, что не каждому дано родиться с красотой Аполлона. Анализ техники Паганини говорит о превосходно развитых пальцах, пясти и запястных суставах. Это — руки, бегающие, как молния, по инструменту, который держится сам собой, словно висит в воздухе, или является продолжением великого сердца, говорит живым человеческим языком, словно этот особый язык всем понятен, но говорить на нем может только один великий артист.

Все, что видела, все, что слышала Большая опера Парижа в часы концерта Паганини, превышает человеческое воображение, и наилучшим сравнением для смычка и скрипки Паганини является сравнение с волшебной палочкой, которая делает весь мир подвластным человеку.

Мы жалеем всех, кто не слышал этого концерта. Разве гении так часто встречаются в жизни, что не должно бежать ему навстречу, чтобы хоть на миг быть свидетелем его появления! Разве жизнь наша так богата, что можно отказаться от тех просветов в будущее и от тех знаков вечности, которые, как птица, прилетевшая из неведомых стран, дают нам внезапно понять и почувствовать, какой

дивный и неведомый мир будущего живет в нашем настоящем!

Паганини необычайно прост, он прост простотой великого человека».

Париж был покорен. С этого дня концерты Паганини были триумфальным шествием.

Фетис писал:

«Скрипка в руках Паганини—это живое существо, а сам скрипач—это организм, специально созданный для чудес неповторимой и единственной игры, организм, сросшийся со скрипкой. Полет вдохновенной фантазии сочетается у Паганини с тончайшим знанием музыкального расчета и обладанием всеми техническими секретами инструмента. Характерной особенностью Паганини является непоколебимая воля, которая только и может заставить человека ради высокой цели пожертвовать жизнью в преодолении чудовищных, нечеловеческих трудностей. Это—редчайший пример нашего века, когда механические расчеты сочетаются с гениальным вдохновением, а способность сжигать свою жизнь ради высокого искусства соединяется с успехом, который оправдывает такое истребление собственной физической личности, ибо этот успех есть успех достижения высокой и удивительной цели».

Кастиль Блаз после третьего концерта, данного Паганини в Париже, заявлял: «Паганини—это ученый. Его композиции так же значительны, как открытия новых миров и земель. Они представляют собой плод музыкальных расчетов и знаний, кажущихся сверхчеловеческими...»

27 марта Паганини давал прощальный концерт. На этом концерте, по просьбе Паганини, пела Синтия Даморо. Берио весь день провел вместе с Паганини, как ученик с учителем. Музыкальный Париж в лице Синтии Даморо, Малибран, Берио и Паста окружил своего великого гостя знаками внимания и заботливости.

Но иное, таинственное окружение синьора Никколо Паганини не исчезло.

Суммы парижских гонораров выражались пятизначными цифрами. Гаррис сделал все, чтобы эти деньги не были расхищены. Синьор Паганини, несмотря на тяжелое впечатление, которое в нем оставила кража, приказал Гаррису привезти сорок тысяч франков на квартиру, а не сдавать их в банк господина Лаффита, как предполагал и

настоятельно советовал Гаррис. По мнению Гарриса, синьор Паганини вел себя странно. В эти дни он всячески избегал откровенных разговоров, он даже ни разу не спросил о причине чрезвычайной озабоченности Гарриса. Уже неделя, как Урбани исчез, Паганини этого не замечал. Синьор Гаррис был обеспокоен и не знал, следует ли обратиться к полиции.

Ночью, после прощального концерта, приехал Фонтана Пино. Он говорил с синьором Паганини долго, по-видимому обсуждая какие-то «итальянские дела».

«Неловко, конечно, делать так»,—думал Гаррис, но щель, оставшаяся между дверью и притолокой, пропускала потоки лучей газового света, и в этих лучах крутились пылинки. Эти лучи падали на зеркало, стоящее в вестибюле. Зеркало было в человеческий рост. Оно было поставлено в этом старом особняке еще в очень далекие времена прежним владельцем. Это было хорошее венецианское зеркало, в серебряной оправе, с мелкими чеканными амурами на верху рамы. «Типичные амуры барокко»,—думал Гаррис, считавший себя знатоком итальянского искусства.

Это, конечно, нехорошо: надо было закрыть дверь, но глаза оказывались прикованными к зеркалу. Синьор Паганини достал огромную пачку кредитных билетов и мешок с золотом. Синьор Фонтана Пино складывает это все в кожаный мешок путешественника, потом слышатся тихие слова:

— Итак, во имя святого дела освобождения Италии, прощай.

Гаррис не понимал, кто произнес эти слова. Он не узнает голоса Фонтана, который шипит и сипит так, как это бывает с синьором Паганини.

Фонтана Пино уехал. Синьор собирается в Англию, хлопоты о паспорте задерживают отъезд на три дня.

Глава двадцать девятая

НА ХЛЕБЕ СТРАДАНИЯ И НА ВОДЕ СТРАХА

Поведение Паганини приводило Гарриса в полное недоумение. Как можно, при его здоровье, столько времени отдавать притонам Парижа вроде этого Першеронского кабака или грязного «Café Tabakoff». В это кафе

затащили Паганини певицы Шредер-Девриен и Синтия Даморо, желая показать синьору Паганини русский уголок Парижа. Про госпожу Шредер-Девриен рассказывают страшные вещи. Свои эротические похождения она описывает в книжке, иллюстрированной такими рисунками, что никто не может ее напечатать. Непонятно, как можно проводить время с такой женщиной! Но синьор Паганини стал мрачен и невероятно раздражителен. Приехав из «Café Tabakoff», он был вне себя.

— Гаррис, посмотрите, какие страшные вещи есть в мире! — кричал он. — Этот человек со своей любовницей, этот Табаков, остался в Париже после ухода оккупационных армий и открыл грязный притон, в котором тешатся русские белые медведи, обладающие графскими титулами и княжескими гербами. Посмотрите! То, что у нас называется органом, — эти громадные мехи, которые вдувают воздух в металлические и деревянные трубы, вызывая к жизни звуки, потрясающие своей торжественностью, — люди превращают в дрянной инструментишко с набором мехов и наконец вырождают в ужасную русскую гармошку, «гармо», как говорит Табаков. Эти звуки — издевательство над музыкой вообще. Как несчастна та страна, в которой орган превращается в гармонику, и как несчастен тот обездоленный люд, который в этом инструменте находит свое утешение... Я думаю сейчас о Шопене, о тех казнях, которые выдумывали в Варшаве русские жандармы! Что может быть страшнее этой исполинской страны!

— Вас раздражает что-то другое, — сказал Гаррис. — Может быть, вы мне скажете, что нужно сделать, чтобы предотвратить висящую над вами беду?

— Меня беспокоит одно обстоятельство, связанное с судьбой моих друзей, — процедил Паганини сквозь зубы и взглянул на Гарриса.

Гаррис не смотрел на него, словно вдруг стал очень рассеянным: он заметил на письменном столе большой черный пакет с изображением адамовой головы и костей. Он старался незаметно приблизиться к столу, ему хотелось вовремя убрать это новое бульварное устрашение и сделать так, чтобы оно до Паганини не дошло. Но было поздно: Паганини мгновенно бросил взгляд по тому направлению, куда смотрели глаза Гарриса. Он рванулся к столу. Гаррис умоляюще посмотрел на него и накрыл письмо ладонью.

— Не читайте, ради бога, не читайте!

Но Паганини уже разрывал конверт.

Гаррис с тревогой смотрел на то, как он, хмурясь, пробегает глазами строчки и потом внезапно расстегивает ворот.

— Фонтана! — кричит Паганини сиплым голосом, кашляя и брызгая розовой слюной. Кровь появилась у него на губах. — Фонтана... негодяй! Где Ахиллино? Ахиллино!

— Тише, маэстро: ваш мальчик спит, я только что был у него.

— Какое счастье! — едва выговорил Паганини. На лице его появилась жалкая улыбка, он, казалось, был совершенно раздавлен.

— Пусть делают что хотят, лишь бы оставили мне моего мальчика. Пусть делают со мной что хотят.

Гаррис наклонился над столом и умоляюще взглянул на Паганини.

— Успокойтесь ради ребенка и разрешите мне прочесть письмо.

После первых строк буквы запрыгали в глазах Гарриса. Он читал:

«Я решился на этот отчаянный побег потому, что Вы, как мне кажется, подозреваете меня. Я не выношу подозрений. Вы считаете, что ограбление Вашей квартиры было произведено при моем участии. Вот вам доказательства: синьор Фонтана Пино украл Ваши деньги, он пойман, он сидит в Сен-Пелажи и завтра будет перевезен в тюрьму Лафорс. Я рад, что получил полную возможность изобличить вора. Он рассказывает о Вас всякие небылицы. Я добился права читать полицейские протоколы».

Жилы надулись на лбу Гарриса. Этого удара Паганини, вероятно, не снесет. Но почему он заговорил об Ахиллино? Гаррис читал дальше:

«Фонтана собирался похитить Вашего сына, но я вовремя помешал его проектам, и за это я должен страдать молчаливо, вынося Ваш подозрительный взгляд. Я вернусь к Вам в тот день, когда в утренней газете появится объявление о том, что Вы разыскиваете скрипку Страдивари номер семьсот семьдесят семь, я готов служить Вам до последней капли крови и сделаю все, чтобы синьорино Ахиллино был в безопасности. Оклеветанный перед Вами и Ваш верный слуга Федо Урбани».

— Сейчас же поезжайте в редакцию, сейчас же дайте объявление! — сипел Паганини над ухом Гарриса.

Гаррис никогда не видел его таким расстроенным.

— Фонтана! — повторял Паганини. — «Лучший друг». Фонтана, защитник свободы Италии.

Урбани сидел перед старым седоволосым коадьютором с номером утренней газеты, которая на последней странице крупными буквами возвещала о желании синьора Паганини приобрести скрипку Страдивари номер семьсот семьдесят семь.

Синьор Нови и старый коадьютор ордена спорили по-прежнему. Но на этот раз Нови удалось поселить в душе старика большое сомнение, лишь немного не хватало для окончательного торжества его замыслов.

— Я всегда считал, что в твоём деле, сын мой, говорит только личная ненависть — чувство, недостойное братьев ордена Иисуса. И сейчас в той мере, в какой к твоему справедливому негодованию примешивается личное чувство, я склонен отвести тебя от этого дела решительно, но, — тут он обратился к Урбани, — мы решили кончить все дело с Паганини. Мы терпели очень долго, и твоё сообщение о том, что наглый конспиратор и опасный мятежник Фонтана Пино получил от этого безумца сорок тысяч франков на борьбу с властью и церковью, нас убеждает в необходимости нанести окончательный удар. Полиция попользовалась деньгами Паганини. Я слышал, что синьора Антония Бьянки стала любовницей господина Жиске, префекта, ей нужны деньги, полиция помогла ей перенести золотые мешки из спальни супруга. Это их дело, но то, что деньги плывут мимо рук нашего святого ордена в нечестивые руки врагов ордена, не должно быть более терпимо. Иди, сын мой, вновь поступай на службу к Паганини и сделай так, как мы тебе приказали. Фонтана будет убит завтра. Скажи синьору Паганини, что он не раскаялся перед казнью и что правительство Франции по совокупности мятежных преступлений и замыслов казнило этого преступника вне зависимости от той кражи, которую он произвел у синьора Паганини. Затем ты будешь сопровождать синьора Паганини в Лондон, уведомляя всех нас необходимыми знаками и извещениями.

Дорога на север была очень неблагоприятна. «Маэстро совершенно разбит»,— думал Гаррис. Он видел, как Паганини нервно и судорожно обнимал Урбани, целовал его в плечо и жал ему руки. Урбани не оставлял синьора ни на минуту. Он подолгу рассказывал о тех ужасах, которые грозили ему, Урбани, в пути, и о том, как он сумел предотвратить эти ужасы. И каждый раз заканчивал одним и тем же:

— Маэстро, вам необходимо помириться с церковью. Иезуиты в гневе на вас и могут сделать вам много вреда. Ну, хоть для формы, помиритесь: делайте взносы, ходите слушать мессу.

Паганини все больше и больше раздражался от таких предложений.

— Вот именно теперь я меньше, чем когда бы то ни было, склонен идти на мир с попами!— говорил он гневно.

Не обращаясь ни к кому, оставшись один, Паганини скидывал руки кверху и, сжимая кулаки, кричал:

— Негодяи, негодяи!

Внезапно он стал выказывать какую-то озлобленную, намеренно подчеркнутую, циничную жадность к деньгам. Он перечеркивал все предварительные соображения, приносимые ему Гаррисом. Гаррис делал вид, что соглашается, но поступал по-своему. А когда проходил концерт, как это было в Булони, Паганини не интересовался вырученными деньгами вовсе.

Какая-то торопливость появилась в движениях Паганини. Казалось, он вдруг понял размеры человеческой ненависти и зависти. Этим пользовался Урбани и каждый раз подливал масла в огонь. Он неожиданно вставлял словечко, и Паганини закипал злобой. Следствием этих приступов бессильной ярости всегда была полная потеря голоса. Опять появилась дощечка из слоновой кости.

Он внезапно собрался писать ответ Шпору, который, разражаясь проклятиями по адресу Паганини, написал письмо Лапорту, антрепренеру, заключившему с Паганини договор. Лапорт был настолько бестактен, что вручил это письмо скрипачу.

Шпор писал: «Все лучшее и высокое в мире связано с христианством. Лучшие музыканты нашего века пишут церковные гимны. Нет ни одного классического композитора, который не написал бы оратории и мессы. Реквием Моцарта, оратории Баха, мессы Генделя свидетельствуют

о том, что господь не оставляет Европы и что вся наша культура строится на началах христианской любви и милосердия. Но вот появился скрипач, который сворачивает с этой дороги. Всем своим поведением, ненасытной алчностью, упоительным ядом земных соблазнов Паганини сеет тревогу на нашей планете и отдает людей во власть ада. Паганини убивает младенца Христа».

Гаррису стоило большого труда отговорить Паганини от мысли отвечать Шпору.

Паганини обязался дать в Лондоне шесть концертов в Королевском театре. Первый концерт был назначен на 21 мая, но после разговора с Урбани Паганини почувствовал себя плохо. Тяжелый обморок и последовавшая за ним слабость, граничащая с потерей пульса, привели к тому, что концерт был отменен.

Журнал «Гармония» вдруг собрал сообщения европейской печати о необыкновенной жадности Паганини, и эту статью перепечатали газеты почти всех городов Англии. Заметка парижского «Музыкального обозрения» не помогла делу: «Английские газеты рисуют Паганини нахальным и дерзким», — писал английский корреспондент французского «Обозрения». Газета от себя добавляла: «Все дело в том, что Лапорт, своекорыстный и хитрый антрепренер итальянской оперы в Лондоне, удвоил цены даже на дешевые места, на которые, по английской традиции, цены вообще не повышаются».

Первый концерт состоялся только 3 июня. Англичане ломились на концерт Паганини. Игра его стала еще совершеннее, еще тоньше и чище, еще изумительней стала техника, еще полнозвучней выражалось все бесконечное разнообразие дарования скрипача. Но какие-то страшные срывы стали наблюдаться в его настроении.

На одном из концертов, когда Паганини в сопровождении английского скрипача Джорджа Смэрта вышел на эстраду и готовился начать первую пьесу, с галереи кто-то крикнул:

— Ну, что же, мы готовы!

— Что это? — громко спросил Паганини Смэрта, топая ногой.

Он опустил скрипку почти до полу и ушел с эстрады. Публика была крайне смущена. Несколько представителей лондонской знати подошли к Паганини с просьбой продолжать концерт. Паганини отказался. Он громко при всех сказал Смэрту:

— Верните деньги: концерта не будет.

Смэрт, бледный, с трясущимися губами, умолял Паганини не портить дивных впечатлений, подаренных Лондону, выйти и играть. Наконец Паганини согласился. В это время раздался голос:

— Милый сэр Паганини, хлопните стаканчик виски и начинайте снова.

Паганини повернулся, положил скрипку и сказал:

— Нет, я не могу играть.

Но минут через пять он сам, без всяких просьб, вышел на эстраду и, как только утихла буря оваций, взял первый аккорд.

У лорда Холланда состоялся частный концерт в узком кругу изысканной литературной и аристократической публики. Паганини охотно приехал. Дощечка из слоновой кости сплошь была усеяна вопросами о покойном Байроне. Нервы Паганини были, очевидно, надорваны сильно. Лорд Холланд, не привыкший к сильным выражениям чувств, был смущен слезами, выступившими на глазах Паганини при воспоминании о Байроне. Так же как однажды, слушая Бетховена, Паганини при мысли о смерти величайшего музыканта мира не мог удержать слез, так и теперь, слушая рассказ о Байроне, он отворачивался и прижимал платок к ресницам. Лорду Холланду это казалось аффектацией.

Понемногу, под влиянием творческого напряжения, стало выравниваться настроение Паганини. К нему вернулась его легкая насмешливость. Он стал гораздо спокойнее. Только физическое состояние его внушало боязнь Гаррису.

Приехали в Бристоль, и, как когда-то в Вене, Паганини вдруг получил удар из-за угла! Бристольские улицы были украшены огромными афишами:

«Граждане, с чувством невыносимого отвращения я анонсирую начало концертов некоего синьора Паганини в нашем городе. Почему в год несчастья и испытаний, посланных нам судьбой, мы будем слушать этого дьявола? В год, когда холера косит людей по Европе, у кого хватит бесстыдства вместо помощи несчастным идти на концерт? Не он ли, этот иностранный скрипач, привез в Англию страшную болезнь, и все для того, чтобы выкачивать по городам Великобритании деньги, которые могли бы пойти на помощь несчастным? Не совершайте порочной ошибки, не ходите слушать это музыкальное чудовище,

которое приехало из чужих стран для того, чтобы с алчным корыстолюбием обмануть наивность Джона Булля». Подписано: «Филадельфус».

Концерт состоялся, но цели своей афиша достигла. Высшая степень депрессии сопровождала будни Паганини.

Гаррис был удивлен, найдя пять экземпляров этой афиши на столе в комнате Урбани, когда вернулись в Лондон.

— Зачем вам это? — спросил он Урбани.

— Понадобится. Необходимо найти этого негодяя.

Гаррис покачал головой.

В Лондоне — новая причина для раздражения. После возвращения из путешествия в Ирландию и Шотландию Паганини писал синьору Паеру:

«Я публично выступал по меньшей мере тридцать раз. Мне казалось, что любопытство англичан к моей внешности должно быть удовлетворено. Однако, несмотря на наличие огромного количества портретов, англичане не довольствуются этим зрительным впечатлением. Я не могу выйти из дома, где я живу (к счастью, это не гостиница), без того, чтобы меня не провожала толпа людей. В гостинице это было прямо ужасно. Я не мог показаться в коридоре. Но здесь на улицах еще хуже. Целые толпы следуют за мной, сопровождают меня, идут рядом, окружают меня, загораживают дорогу, обходят вокруг меня, словно я какой-то столб, и даже, очевидно, не считая меня живым и не относясь ко мне как к человеку, ощупывают меня, словно желая удостовериться, состою ли я из мяса и костей, и обращаются ко мне с нелепыми вопросами на языке, которого я не понимаю. И это не только английское простонародье. Это позволяют себе и люди, которые, по-видимому, принадлежат к благовоспитанному обществу».

Паганини впервые почувствовал свое страшное одиночество. Он действительно избегал гостиниц. Воспользовавшись предложением одного из друзей Лапорта, он поселился у господина Ватсона на Карлсен-стрит. Там он ощущал полный покой, и только много времени спустя ему пришлось расплачиваться за эту снисходительность судьбы.

Странные противоречия его характера сказались больше всего в месяцы пребывания в Лондоне. Он то соглашается на уроки в аристократических домах и

внимательно, подолгу занимается со своими учениками, обнаружив в этих занятиях весь свой неожиданно развернувшийся педагогический талант, то пишет дерзкий ответ на предложение короля Георга IV играть во дворце.

Его королевское величество предлагает Паганини небольшую сумму денег и просит приехать вечером в Виндзор. Паганини пишет, что его величество может взять билет в каком-либо ряду партера лондонской оперы, это будет стоить его величеству дешевле.

Господин Ватсон в ужасе от этого поведения. Никто так не осмеливался оскорбить короля, как этот зазнавшийся скрипач.

Настал час отъезда из Англии. Паганини снова едет в Париж. Три дня проходят в сборах, три дня слышит Паганини в соседних комнатах плач девушки. Мисс Ватсон прячется от скрипача в иные минуты, это значит—она крупно не поладила с отцом и боится показать заалевшуюся, как вишня, щеку. Она не выходит даже проститься с синьором Паганини. Лошади благополучно доставляют Паганини, Ахиллино, Гарриса, Урбани, фрейлейн Вейсхаупт на пристань в Дувре. Внезапно исчезает Урбани, потом он появляется, держа под руку плачущую женщину. Она отнимает платок от глаз и бросается к Паганини.

— Спасите меня, сэр! — кричит она, схватившись за него обеими руками.

— Да, маэстро,—говорит Урбани,—я брал билеты и увидел эту девушку. Она еще в Лондоне просила меня ей помочь.

— В чем дело? — спрашивает Паганини.

Девушка признается, что она бежала из семьи, где жизнь становится невозможной, и что она давно просила Урбани ей помочь. Господин Урбани был настолько добр, что обещал приискать ей уроки английского языка во Франции. Паганини со скучающим видом пожимает плечами.

В Булони Приморской три дня живут в гостинице.

Паганини чувствует себя плохо. Он простужен, головная боль не позволяет открыть глаза. Урбани уговаривает его принять услуги мисс Ватсон, но, прежде чем Паганини успевает ответить что-нибудь, в комнату врывается разъяренный отец вместе с полицейским комиссаром.

Происходит дикая сцена. Паганини, с трудом поднимая веки, произносит проповедь о необходимости бережного обращения с детьми.

— Я никогда пальцем не позволил бы себе тронуть своего Ахиллино, а вы бьете девушку, которую пора выдать замуж.

— Негодяй! — кричит Ватсон. — Похититель! Разбойник! Арестуйте его! — вопит он, обращаясь к комиссару.

Полиция составляет протокол. Урбани внезапно исчезает.

В протоколе значится, что еще в Лондоне синьор Паганини обещал родителям мисс Ватсон четыре тысячи гиней, а самой мисс Ватсон бриллиантовую диадему и алмазное кольцо, которые были куплены и даже находятся в чемодане синьора Паганини.

Растерянный Паганини не знает, что ему делать. Он открывает чемодан, демонстрируя полное отсутствие каких бы то ни было женских украшений и подарков. Но полиция охотно идет навстречу великобританскому подданному, и 26 июня 1834 года булонская газета сообщает:

«Знаменитый Паганини, которого мы так ценили и расхваливали как артиста, но характер коего как человека в высшей степени опорочен справедливыми указаниями на всевозможные скандальные происшествия, случавшиеся с ним в жизни, заключил в Лондоне с неким господином Ватсоном условия, в силу которых господин Ватсон предоставил синьору Паганини возможность спокойного и удобного проживания в Лондоне. Паганини не довольствовался этим. Покидая Лондон, он не только не заплатил условленных сумм господину Ватсону, но соблазнил его дочь и, тайно похитив девушку, скрылся с ней из Лондона».

Урбани принес этот лист скрипачу, и тут даже Гаррис посоветовал написать объяснение. Паганини писал в булонский «Аннотатёр»:

«Милостивый государь, Вы обвинили меня в похищении шестнадцатилетней девушки. Моя честь загязнена. Теперь потрудитесь восстановить истину.

Сообщаю Вам, что господин Ватсон, который выступает в качестве моего клеветника, женился второй раз, и мачеха той молодой особы, похищение которой Вы мне приписываете, не только сама обращалась с мисс Ватсон жестоко, но и заставляла отца буквально преследовать

дочь своими придирками. Я не вмешивался в эти семейные дела.

Те деньги, которые господин Ватсон самым обычным образом брал у меня займы после каждого моего концерта, превратились, оказывается, в плату за квартиру — в тот момент, когда наступил час моего отъезда. И это мною было игнорировано.

Сообщаю Вам, что отношения между господином Ватсоном и мисс Уэльс, которая заступила место его первой жены, указывают на существование каких-то тайных связей с лицами, находящимися в тюрьме, и это чрезвычайно болезненно сказывалось на состоянии дочери господина Ватсона, которой, кстати сказать, не шестнадцать лет, а восемнадцать. Совершенно аморальная обстановка, чрезвычайно не похожая на семейную, возникла в доме господина Ватсона. Я не имел бы оснований это писать, если бы не взял под свою защиту сейчас репутации его дочери, девушки, для которой ничего другого не оставалось, кроме побега из родного дома. Имел ли я право, по долгу чести, отказаться от помощи девушке, которая случайно встретилась со мной почти уже на палубе пакетбота? Она по собственному движению души просила у меня помощи, я никогда не советовал ей бежать из дому, не рекомендовал ей уезжать никуда со мной. Но я неоднократно предлагал самому Ватсону все средства для того, чтобы устроить его дочь жить самостоятельно, если она настолько в тягость ему и его новой подруге жизни. Я делал это открыто, не сговариваясь с самой мисс Ватсон».

Паганини повторил ошибку, сделанную когда-то в Вене: следующие номера европейских газет в течение двух месяцев перепечатывали, по-своему комментируя и искажая ее, докладную записку Паганини, как они называли его оправдательный документ. А сам «Аннотатёр» написал пространное возражение против объяснения Паганини:

«Мы отвечаем господину Паганини, что, несмотря на необыкновенную ловкость рук, проявленную в подтасовке фактов ради своей защиты, он ничего не в состоянии ответить, кроме того, что девушке восемнадцать, а не шестнадцать лет и что девушка согласилась за ним последовать не из дома отца, а присоединилась к нему в дороге.

Факт остается фактом. Во всех странах мира существу-

ют законы, ограждающие невинность и молодость от покушений тех, кто в силу своего социального положения, не обладая ни религиозностью, ни христианской честностью, приближается к невинности девушки якобы с педагогическими намерениями, хотя сам имеет все признаки моральной распущенности. Необходимо отметить с негодованием, что «покровительство» подобного рода есть просто злоупотребление, имеющее целью обесчестить предмет этого покровительства.

С бесстыдством и наглостью господин Паганини, этот безнравственный иностранец, вторгшийся в семью Ватсона, осмелился разыграть роль отца, в то время как на самом деле он, ведущий распутный образ жизни, сам нуждается в исправительных мерах.

Обратите внимание на аргумент Паганини, который он приводит в свою защиту: он, дескать, не мог предчувствовать, что мисс Ватсон покинет Лондон по собственному побуждению, когда мы имеем свидетельства, что его агент по имени Урбани разыскивал перед посадкой в пакетбот дочь сэра Ватсона, для того чтобы сообщить ей час отхода, и настойчиво звал ее на палубу. Нам кажется в заключение, что лучше было бы господину Паганини хранить молчание о происшедшем, нежели выступать с такой несчастливой аргументацией в свою защиту».

Отъезд в Париж пришлось отложить, но из попытки устроить суд над Паганини тоже ничего не вышло. Этому помогло довольно странное стечение обстоятельств.

Внезапно исчез Урбани. Гаррис с яростью и упорством повел расследование приключения. И перед ним раскрылся смысл поведения этого человека. Господин Ватсон и Урбани плохо сговорились. Гаррис перехватил их переписку и вручил ее Паганини. Совершенно отчетливо Паганини увидел всю последовательность событий. И ожесточенная торговля между Урбани и Ватсоном, у которого разгорелись глаза при виде колоссальных гонораров Паганини, и предшествовавшая работа Урбани вдруг показали Паганини, что он, Паганини, сделался жертвой колоссального шантажа. Он увидел напряженную работу Гарриса, скромную, протекающую изо дня в день без шума и показной суеты.

Господин Ватсон с синьором Урбани выработали план выкачивания денег из Паганини. Было условлено, что Урбани уговорит молодую девушку, взбалмошную по

природе и к тому же оскорбленную жестокой мачехой, бежать из родного дома и разыграть роль жертвы, бросающейся в объятия к странствующему скрипачу. Эта роль понравилась ей, а Урбани, действуя якобы от имени Паганини, настолько уверил ее в легкости побега, что она, по уговору с ним, приехала на дуврскую пристань и только там, когда количество свидетелей оказалось достаточным, Урбани инсценировал ее побег с Паганини.

Ватсон, заблаговременно знавший обо всем от Урбани, нанял агентов и сам одновременно с Паганини приехал в Дувр. Здесь у него начались столкновения с Урбани: Урбани вел дело к тому, чтобы организовать крупный скандал вокруг имени скрипача, интрига должна была кончиться тюремным заключением Паганини. У Ватсона были более скромные намерения: его не интересовала судьба синьора Паганини, он хотел лишь сорвать как можно большую сумму денег, привезти дочь обратно в Лондон и зажить припеваючи. Эта легкая форма заработка ему казалась гораздо более целесообразнее, нежели длительная возня с судебным процессом в Булони и Париже, где пришлось бы выбрасывать деньги на номер в гостинице и на другие жизненные нужды.

Гаррисом были представлены в булонскую полицию документы, изобличавшие Ватсона, и тому пришлось немедленно вместе с дочерью вернуться в Лондон. План той организации, которая поручила Урбани нанести «решительный удар», потерпел крушение. Урбани должен был немедленно исчезнуть с пути.

После этой истории начались скитания Паганини из гостиницы в гостиницу: всюду высоконравственные обитатели требовали его выселения. Так продолжалось, пока дело не было наконец полностью прекращено. Получив разрешение на выезд, Паганини немедленно уехал в Париж.

Меньше чем через час после остановки лошадей на улице д'Анфер он был у Фердинанда Паера.

Сильно постаревший за это время Паер встретил своего ученика очень тепло.

Расспросив Паганини о том, что делается в Англии, рассказав, со своей стороны, о нарастающем волнении во французских городах, о событиях в Лионе, Гренобле и Париже, старый учитель Паганини перешел к тому, что его больше всего занимало.

Он показал Паганини статью Берлиоза, молодого композитора.

— Что он имеет против тебя? Смотри, выступление в Литературной Европе». Кто такая мисс Смитсон?

— Мисс Смитсон? Не знаю.

— Однако тебя обвиняют в том, что она осталась нищей.

— Первый раз слышу,—сказал Паганини.—С Берлиозом у меня только раз был разговор,—вспомнил он вдруг и нахмурился.—Он приходил ко мне советоваться относительно партии альты для пьесы «Мария Стюарт». Я сказал, что эта партия мне не нравится, и посоветовал ему переписать все произведение.

Паер кивнул головой.

— Он это выполнил. Но вернемся к госпоже Смитсон. Так ты говоришь, что не отказывал ей ни в чем?

— Ко мне никто не обращался.

— Берлиоз обвиняет тебя в том, что ты отказал ей, когда она просила тебя сыграть небольшую арию в день ее бенефиса.

— В таком случае,—сказал Паганини, пожимая плечами,—меня могут обвинить все артисты мира, на бенефисе которых я не играл.

Паер внезапно рассмеялся.

— Берлиоз женился,—сказал он.—И как это ни странно, в день свадьбы он написал свой знаменитый «Марш человека, идущего на эшафот». «Марию Стюарт» он переделал, теперь это произведение называется «Гарольд в Италии». Я сильно подозреваю, что твое увлечение Байроном заразило Берлиоза.

— Не знаю, как далеко пойдет эта зараза,—с досадой заметил Паганини,—но я вижу, что сейчас Берлиоз занял враждебную мне позицию. Знаете, учитель,—сказал он, вставая,—раньше я не так сильно чувствовал житейские уколы. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хочется видеть родной город. Я устал от Парижа. Жизнь идет с такой невероятной быстротой, что куда-то уходят и уходят физические силы. Знаете, как странно я провожу время? Я должен почти все время лежать, Гаррис настаивает на консилиуме врачей в Париже. Самое странное то, что все намерения, возникающие из человеческолюбивых побуждений, истолковываются как намерения эгоистические. Все поступки, которые совершаются с желанием сделать людям добро, бывают встречены как

злой умысел. И я чувствую, что я накануне того дня, когда внезапно начну делать людям зло для того, чтобы они ощущали его как благодеяние.

— Ты все еще сохраняешь способность смеяться,— улыбнулся Паер.— Кстати, я могу тебя поздравить: у тебя есть последователи и почитатели. Лист усиленно работает над переложением твоих скрипичных пьес для фортепьяно. Шуман занят тем же самым. Как это ни странно, но вереницу твоих последователей начинают пианисты: скрипка после тебя замолкнет. Я слушаю Листа с величайшим наслаждением. Твое влияние на этого человека огромно.

Два концерта, данных Паганини в Париже, не были отмечены никак парижской прессой.

— Что это, заговор молчания? — спрашивал Паер.

15 сентября господин Жюль Жанен разразился огромным фельетоном в «Журналь де деба». Вся статья несла на себе печать личной заинтересованности и была очень острой и едкой. Жюль Жанен возмущался чрезвычайной алчностью и скаредностью великого скрипача.

Паганини был поражен этими нападками журналиста, тем более что непосредственно перед этим он как раз дал два концерта, сбор с которых целиком пошел в комитет помощи беднейшему населению Парижа и местностей, пострадавших от наводнения. Это умолчание о бесплатных концертах и яростные наскоки Жюля Жанена заинтересовали Паганини больше, чем какой бы то ни было хвалебный отзыв. Он вместе с Гаррисом направился в редакцию журнала.

Запыленные, прокуренные комнаты, грязная лестница, огромное количество столов и необычайная теснота были первым впечатлением Паганини от этой фабрики литературных мнений и политических сплетен.

Жюль Жанен сидел на высоком стуле перед громадной конторкой, заваленной гранками и рукописями. Ножницы, банка с кистями и клеем, вороха газет на столах, пол усыпанный обрезками бумаги; в качестве главного повара этой кухни господин Жюль Жанен вносил в обстановку романтический беспорядок. Очевидно, в его характере неряшливость сорбоннского студента дополнялась навыками старого холостяка, хотя по своему окружению Жюль Жанен не был похож на человека холостого. Наоборот,

он восседал на своем стуле наподобие гордого шантеклера в покорном ему курятнике.

Гаррис метнул острый взгляд в угол, где три хорошенькие мордочки склонились над чьим-то письмом. Девушки оглашали воздух забавными восклицаниями в таком роде: «Этот болван думает, что его напечатают! Вот идиот, он вздумал опровергать!»

Приход Паганини и Гарриса не остановил потока этих восклицаний. Но вот шантеклер, сидящий на насесте, заметил присутствие посторонних лиц.

— Тише, девочки! — закричал он.

Расправляя затекшие ноги, он встал и протянул руку Паганини с таким видом, как будто встретил старого, давнишнего друга. Он не ломался, он сразу узнал Паганини, он показал, что нисколько не удивлен, ожидает возражений и охотно идет навстречу требованиям скрипача.

Разговор был короткий. Дважды пришлось нахмуриться господину Жанену при слове «шантаж». Паганини говорил холодно, заявляя, что собирается возвращаться в Геную и что он уже два раза концертировал, не получив от этих концертов ни франка.

Быстро записав слова Паганини привычным пером журналиста, закругляющим фразы, Жюль Жанен показал написанное. Паганини кивнул головой. Мир был как будто бы восстановлен, и, когда после ухода скрипача и его секретаря поднялся птичий гам и щебет в курятнике редактора, девушки, создающие общественное мнение и регулирующие настроение этого поглощенного своим величием журналиста, были немало удивлены простым и категорическим приказанием — напечатать в следующем номере письмо Паганини. Словесные комментарии Жанена были далеко не лестны для скрипача.

Порывшись в последней почте, Жюль Жанен вздохнул:

— Еще бы этому Скапену и Гарпагону не дать двух концертов в пользу французских бедняков, когда наш итальянский корреспондент сообщает, что состоялась при помощи господина Алиани покупка виллы Гайона, около Пармы. Господин Паганини будет жить в истинно княжеской роскоши, в собственной вилле. Он может бросить кость французской собаке.

Действительно, Гаррис уговорил Паганини начать переговоры о покупке какого-нибудь жилища и прекра-

тить надолго скитальческую жизнь. Гостиницы, придорожные трактиры и мальпосты становились все более вредными для здоровья скрипача. Гаррис с ужасом замечал чудовищное похудание Паганини. Самые узкие костюмы висели мешком, рукава болтались, как на палках, всякий ворот оказывался слишком широким.

Как это ни странно, но чем больше физические силы Паганини шли на убыль, тем тоньше и прекрасней становилась его игра. Когда Паганини закрывал глаза, его трудно было отличить от покойника, лежащего в морге, от рабочего, умершего на газовом заводе Парижа, от венецианского стекольщика, отравленного ртутью, от стеклодува, погубившего свои легкие у громадных стекольных печей острова Мурано при изготовлении фантастических цветных стекол лучшей стекольной фабрики в мире. Но вот когда открывались эти глаза, в них горел спокойный огонь колоссального творческого напряжения и энергии. Никакого сожаления о своем здоровье не испытывал этот артист. Он беспрестанно увеличивал наполнение своих суток. И часто Гаррис видел, как ночью в белом длинном одеянии, еще больше подчеркивавшем его сходство с призраком, артист брал скрипку, смычок беззвучно скользил по струнам, проворные пальцы бегали, как белые мыши по деревянному мостику между клетками. Потом, не освобождая скрипки, зажатой подбородком, Паганини доставал карандаш и нанизывал тончайшие узоры на узкие нотные линейки. Из этих сложных письмен вырастало новое творение гения.

Гаррис заносил в свою тетрадку однажды утром:

«Когда я сидел и писал, он начал первые вступительные фразы божественного бетховенского скрипичного концерта. Писать порученное им письмо было при этом невозможно. Я отложил перо в сторону. Тогда Паганини спросил меня, знаю ли я, что он играет. Я ответил утвердительно. Он на это сказал мне: «Я еще сыграю вам до конца этот концерт, раньше, чем мы с вами расстанемся в этой жизни». Мне казалось, что он забыл свое обещание. Однако наступил день, когда у него было два молодых пианиста, ученики его учителя. Внезапно, по знаку Паганини, один из них сел за рояль и стал играть. Я весь превратился в слух, узнав бетховенский скрипичный концерт. Я никогда не забуду улыбки бледного, худого, истомленного лица Паганини, каждая черта которого говорила о неимоверной боли его физического

существа. Паганини был мучеником физических страданий. Он играл концерт Бетховена, и играл его так, что душа разрывалась на части и люди, слушавшие его, не знали, находятся ли они на земле и продолжают ли они обычное свое существование. Он играл и как только кончил, то, прежде чем кто-либо мог прийти в себя, он уже скрылся в своей спальне, не простившись ни с одним из присутствовавших. Каждый концерт стоил ему года жизни. В чем состояла болезнь Паганини, не мог определить ни один врач».

Глава тридцатая

СОЖЖЕНИЕ СУЕТ

28 июля 1835 года Генуя вдруг почувствовала, что она — родной город скрипача с мировым именем. Генуя, которая во время детства Паганини отнеслась к нему с таким жестоким пренебрежением, теперь вся была охвачена стремлением присвоить себе славу города, подарившего миру великого скрипача. Для магистрата и отцов города стало делом чести устроить Паганини, приезжающему из Северной Европы, блестящий прием. Маркиз Джанкарло ди Негро — из побуждений более бескорыстных — поспешил выстроить «земной парадиз» специально для того, чтобы дать там великолепный праздник в честь прибытия *Maestro insuperato*. Все, что может дать природа этих широт, было собрано в павильонах и садах ди Негро.

...Мраморный бюст возвышается у входа в роскошный тропический сад. Торжественная встреча на лестнице, охраняемой фавнами и нимфами, ожидает Паганини. Скрипач еще не появился, он совсем готов начать концерт, но все не выходит из своей комнаты. Он охвачен колебаниями и подавлен налетевшими на него, неведомыми прежде чувствами. Шесть лет, прожитых вне Италии, проведенных в карете, в концертных залах, в гостиницах. Прекратится ли эта скитальческая жизнь теперь, когда синьор Паганини обставит свое новое жилище с княжеской роскошью и когда родина откроет ему свои объятия?

Родина ли? Давно пережитые прогоркшие воспоминания. За шесть лет произошло много событий, водой

времени смыты родственные связи. Умерла мать, отец трижды посылал Гаррису угрожающие письма, не довольствуясь ежемесячным содержанием, которого хватило бы на четырех отцов. После смерти матери жена брата сделалась предметом старческих исканий. Со всей остротой итальянского темперамента встретил сын этот удар судьбы. Была поножовщина. Под громкие крики соседей, на глазах у похолодевших от ужаса внучат старик был скручен веревками и выгнан из собственного дома. Семья разъехалась, старик умер.

С Гаррисом расставаться было тяжелее всего. Как долго и принужденно говорились бодрые, веселые слова, как грустно складывались старческие морщины на седых небритых щеках еще молодого Гарриса. Но вот сказаны последние слова прощанья. Последнее рукопожатие. Запылила дорога, и Гаррис, сутулясь, пешком пошел от парижской заставы. Ахиллино — в надежных руках. Здесь, в Генуе, австрийский лейтенант из свиты Марии-Луизы и его сын все время находятся около Паганини. В Генуе мальчика принимают за Ахиллино, и это избавляет Паганини от множества тревог и забот. Каждый день в ту комнату маркиза ди Негро, которую занимает Паганини, приносят гелиограммы. Световая депеша сообщает ему короткие слова, обозначающие, что мальчик жив и здоров, что охрана надежна и что никто, кроме одного человека, не знает, где находится ребенок.

Герцогиня Мария-Луиза, жена покойного императора Франции, потеряла сына, но не потеряла веселости и дебелого спокойствия Юноны. Она прислала скрипачу из Пармы булавку с бриллиантами и большой золотой медальон, в котором сплетены пряди волос Наполеона Бонапарта, Марии-Луизы и белокурая прядка герцога Рейхштадского, ее покойного сына, никогда не царствовавшего Наполеона II.

Трижды сворачивала с дороги, которая ведет на виллу Гайона, большая карета, привезенная богатым синьором Паганини из Лондона. Трижды он миновал ту дорогу, которая вела в его постоянное жилище. Вышло так, что вилла Гайона, почти достроенная и готовая, не увидела своего хозяина. Вот дорога, усаженная кипарисами, вот зелень мирт. Площадка открывается вдалеке, там начинается поле, за полем лес, и в лесу — крутой и холмистый путь. Паганини был там только однажды, в детские годы. А теперь первые два раза он проехал мимо

поворота в собственный дом Паганини, просто позабыв о существовании виллы Гайона; в третий раз он внимательно осмотрел каждую тропинку, открывавшуюся из окон кареты, сердце слегка сжалось при мысли о том, что, быть может, он никогда не увидит этого жилища, где должны закончиться его скитания.

Сильно пошатнулось здоровье, но равновесие душевных сил было полное. Было ощущение обладания всем могуществом таланта. Больше, чем когда-либо, чувствовались неисчислимы возможности магического воздействия скрипки на людей, и не было трудностей, которые могли бы остановить Паганини на пути к достижению предельных высот искусства.

Словно иглами кололо язвы в гортани, каждый звук скрипки сопровождался этой болью, и чем тоньше и лучше он выполнен, тем острее боль. Но чем полнее было угасание естественного человеческого голоса, тем полнее становилась выразительность игры этого человека. У слепого изоощряется осязательный опыт. Паганини, потеряв голос, научил скрипку выражать всю полноту его мысли и чувств.

Он шел среди всплесков и криков влюбленной в него толпы. Вот он спустился по лестнице, вот он в саду, вот он в беседке, на свежем воздухе, среди сотен и тысяч слушателей.

Вот в виде приветствия Паганини берет смычок, и ясно, как никогда, перед ним всплывают картины его прошлого. Он играл, взяв тему Бетховена. Берега никогда не виданных стран и, быть может, еще не созданные миры, и надо всем — угрожающий стук судьбы в дверь. Эта «песнь судьбы», как черное небо вселенной, открывшееся в жаркий полдень июля, как голос смерти, вдруг прервала бесконечную кантилену, и вот — странная, не слыханная ни разу фермата. Этот длительный, незатихающий, тянувшийся бесконечно долго звук, поневоле заставивший затаить дыхание тысячи людей, слушавших его, сначала вызвал вздох немого восхищения, а вслед за тем заставил людей испытывать мучительное томление. Нечеловеческая длительность этого звука, этой последней затянувшейся ноты, подавляла. Казалось, что эта нота сейчас оборвется, истощенная яростным движением смычка. Но она, обманув ожидание, приобрела новую силу и волной толкнула человеческую кровь к вискам. Напуганные, смущенные и утомленные слушатели в изумлении смотре-

ли друг на друга, словно стремясь проверить свои впечатления по глазам других, словно стремясь проверить, во сне или наяву продолжается этот волшебный, усыпляющий звук. Это был настоящий Бетховен, это была песнь судьбы, но песнь судьбы, пропетая единственный раз в мире скрипачом. Первый раз Паганини создал музыку уничтожения и небытия, и в ней слышалось ему самому ужасающее дыхание смерти. Песнь судьбы превращается в похоронный звон, в стук костей—в гулкие удары кусков земли о крышку гроба.

Напряжение толпы граничило с безумием, когда без всякого перерыва и перехода раздался звон колокольных: на поле, среди цветов, легкие, легкомысленные, воздушные, в облачных, дымчатых, розоватых, голубоватых, зеленоватых одеждах, танцуют с посохами и гирляндами изящные пастушки в камзолах, в белых париках и элегантные пастушки в мушках и полумасках. Как марево вечерних облаков, исчезает это видение, ничего не оставившее от бетховенских звуков, и внезапно в сером тумане опять возникает голос басовой струны. Вливается сутолока вечерних улиц и притонов нищеты, протягиваются морщинистые, костлявые руки, продавцы живого товара громкими выкриками оглашают рынок. Потом внезапно слышится скрип и мерзкий крысиный писк. Кто-то бежит по деревянной лестнице в мансарду, но тысячи отвратительных злобных животных настигают его. Начинается борьба, ожесточенные животные вонзают свои зубы в теплое, живое человеческое мясо. Дикая звуки переходят в барабанный бой. Что же осталось от Бетховена? Величавая торжественность суровой музыки сменяется фантасмагорией Паганини. Страшные всплески звуков увлекают за собой. Люди не смотрят друг на друга. А сверху—ясное генуэзское небо с тысячами звезд. И где-то вдалеке слышатся пение и плеск морских валов. Никто не замечает очарования этой ночи, все взоры устремлены на черную точку—мрачную фигуру Паганини. Вот он откидывает голову влево и, как палач, с размаху срезавший голову, вонзает смычок в четыре струны, и струны, повинувшись, издают вопль, дисгармонический и страшный.

...Врач в комнате маркиза держит Паганини за обе руки. Скрипач заснул, но его нельзя оставить, у него едва слышен пульс и почти не бьется сердце. Была минута,

когда он превратился в труп, и только зеркало, приложенное к губам, дало слабый след тумана.

За стенами дворца бродит маленький человек, держа четыре пергаментных листа с готовым нотариальным текстом, отпечатанным по старинной форме. Он заявляет, что синьор Паганини еще с утра заказал завещание и приказал принести его на подпись. Он показывает письмо самого синьора Паганини, оно адресовано генуэзскому главному нотариусу. Поручение великого маэстро исполнено, и так как контора работает безукоризненно, то нет никаких оснований для промедления.

Его не пускают, но он заявляет, что сейчас должен приехать некто всесильный, могущественный, тот, перед кем открываются двери всех дворцов, и маленький человек войдет с ним вместе, и синьор Паганини подпишет те заветные слова, которые он выносил в сердце и заказал напечатать на пергаментном свитке, с тем чтобы все его родственники были довольны, если господу богу угодно будет унести его душу из этой юдоли печали.

Проходит полчаса, никто не приезжает, что-то задержало того человека, на которого ссылается этот маленький клерк. Проходит час, и человек, закутанный в черный плащ, сопровождаемый маркизом ди Негро, садится в карету и уезжает.

Бесконечные переулки, и вот наконец тупик, выход из которого возможен только через проход в доме. Это Пассо ди Гатта Мора. Здесь когда-то мальчуган Никколо выпрашивал лишнюю горсточку макарон, здесь голод и непосильный труд истощали организм, который спустя много лет болезнь заставила платить по векселям. Великий дух в маленьком и хилом теле одержал победу и торжествовал, но настал час расплаты, и каждый скрупул сил теперь на счету.

Вот дом, где умерла мать. Отсюда совершен был побег на Швейцарские Альпы, и здесь измученный тяжестью дороги ребенок выходил, вооруженный маленьким корявым смычком, на поединок с огромной тяжелой скрипкой, сражался с ней по четырнадцать часов в сутки, без сна и отдыха.

Черная карета колесит по ночным улицам Генуи, но Паганини не хватает воздуха. Он отсылает кучера, выходит по мраморным ступенькам на площадь, и, как тогда, в дни бегства от отца, после первого сумасшедшего выигрыша в ночном притоне, вступает в сердце могучее

чувство независимости, свободы от людей. Крадучись вдоль стен, Паганини минует первый квартал. Ничего не слышно, улицы пустынные. «Только на родине, только в местах, осененных воспоминаниями детства, чувствуешь близость своего конца так ярко и безутешно», — думает Паганини, прислушиваясь к звукам своих шагов, к тихим всплескам приближающегося к нему моря. Зависть к самым простым людям, населяющим этот благословенный берег, возникла в душе Паганини. Он ускорил шаги навстречу шумящим и беспечным волнам. Он не видел, как маленький человек, словно крыса, шмыгнул мимо, быстро пробежал на язычок белого мола, к маяку Дарсена Реале.

Паганини, скинув плащ, расстегнул сюртук, снял галстук и швырнул его в море. Открыл грудь навстречу соленому ветру и твердыми шагами вступил на каменный мол. Узкая полоса огромных камней с обеих сторон сдерживала натиск соленых валов, брызги взлетали на якорные кольца позеленевших, обожженных ветром каменных глыб. Паганини шагал по шершавым камням, не боясь вздымающихся волн прибоя. Он слышал пение моря, вдыхал свежий морской воздух с таким чувством, будто к нему возвращалось детство. Он не видел, что человек, отдавший всю жизнь яростной, звериной злобе против него, стоит на конце мола, у высокой колонны маяка, и, не спуская глаз, следит за ним. Паганини не видел этого человека, он прямо шел на него, и Нови казалось, что Паганини не только видит его, но и приковывает своими черными глазами к камню. И если Паганини не подозревал о том, что он сейчас не один на камнях мола, то Нови был олицетворением ненависти и испуга. Ему внезапно показалось, что приближается последняя минута и что тот, кого он всю жизнь преследовал, сейчас к нему подойдет и могучими пальцами, обладающими силой стальной пружины, схватит за горло. Этот чудовищный страх сдавил глотку Нови, он хотел кричать, но голос ему не повиновался. Он хотел броситься в ноги Паганини, но руки и ноги были налиты свинцом.

Пение валов, крики чаек, проснувшихся и летающих над маяком, все приближались, оглушая скрипача, упоенного зрелищем и музыкой моря. Паганини не видел, как маленькая человеческая фигурка в испуге попятилась, чтобы спрятаться за маяк, и, не рассчитав движения, с воплем, похожим на вскрик чайки, неожиданно сорвалась

с мола. Паганини дошел до маяка и уже шагал обратно, не подозревая, что в эти секунды оборвалась жизнь.

...Утром Паганини чувствовал себя хорошо. На песчаной отмели работал старый рыбак, исхудалый, морщинистый, горбоносый, перетянутый в талии морским канатом, с кожаным передником, на котором болтались снасти. Его маленький сын громко пел, помогая отцу. Прозрачные воды затихшего с восходом солнца залива золотились, над морем стоял утренний туман.

Паганини узнал лукавого Паскарелли из «Убежища», он узнал его, товарища детских игр, узнал по отсутствию левого уха, по большому шраму над левой бровью. Но рыбак не узнал Паганини. Он несколько раз поглядел в сторону человека, сидящего на камне, и делал по-прежнему свое дело с такой же заботливостью и размеренностью движений, как в мальчишеские годы, когда он пускал бумажные кораблики по лужам в Пассо ди Гатта Мора.

В час завтрака Паганини спустился из своей комнаты в большую столовую дворца ди Негро. Он ошибся дверью, и внезапное зрелище заставило его быстро захлопнуть дверь. Человек десять оживленно беседовали в этой комнате. Паганини услышал свое имя, произнесенное резким и недоброжелательным тоном. Он узнал эту женщину в широком ярко-голубом платье. Синьора Антония почти не изменилась,—по крайней мере, никаких перемен не заметил в ней Паганини, на секунду встретившись взглядом с этой дамой.

За завтраком маркиз ди Негро казался смущенным. Откинув последний листок артишока, Паганини в упор посмотрел на маркиза и сказал:

— А теперь говорите.

Ди Негро густо покраснел. Он показал Паганини кипу французских газет, извещавших мир о внезапной кончине синьора Паганини от холеры в родном городе Генуе. Среди газет был большой коричневый конверт со множеством штемпелей и марок. Письмо фрейлейн Вейсхаупт и несколько крупных строчек, нацарапанных детской ручонкой. Ребенок заболел от испуга, теперь ему лучше.

Через час карета Паганини бешено мчалась на север.

Синьор Фернандо Паер болен. Малибран, очаровавшая Англию своим голосом, не вернулась из великобританского турне. Во время концерта в Манчестере на последней ноте спетой ею арии она покачнулась и тихо упала на руки аккомпанировавшего ей Берио. Смерть наступила мгновенно и легко. Россини покинул Париж, навсегда оставив музыку.

Ахиллино здоров и счастлив, как никогда. Слухи о смерти отца оказались напрасными. Но синьора Антония предусмотрительно оказывается всюду, где может умереть синьор Паганини. Она следует за ним по пятам в ожидании его смерти. «О счастливая тень! — думает Паганини. — Возможно, ей долго придется странствовать в Аиде».

Фердинанд Паер упрекает за внезапное исчезновение, за побег из Парижа, за отсутствие вестей. Он говорит, что наступает вечер его жизни.

Гарриса нет. Но как добросовестно выполнил этот бескорыстный друг все свои секретарские обязанности! Наем хорошего счетовода обеспечил синьору Паганини наличие толстой книги и большого сафьянового портфеля: там подытожены цифры состояния Паганини, там проложены дороги, по которым золото будет струиться ровным потоком по точно намеченным банковским дорожкам. Лаффит и Ротшильд наперебой стараются оказать услугу великому скрипачу. Господин Ротшильд даже превзошел самого себя. Он прислал синьору Паганини с первым директором своего парижского банка булавку для галстука, украшенную рубинами и бриллиантами.

Но враги Паганини также ни на секунду не выпускали его из поля своего зрения.

Однажды к синьору Паганини явились двое господ — Тардиф де Петивиль и Руссо-Демелотри — и предложили ему принять участие в организации музыкального дворца в столице столиц. Это, собственно, будет домом музыки, каза — по-итальянски дом. Так вот это будет «Казино». Это будет дом с широко открытыми дверями, основанный обществом любителей музыки. В этом доме, как во дворце искусств, найдут себе приют и литература, и живопись, и музыка, и хореография, и архитектура;

одним словом, это будет энциклопедическое учреждение, украшенное именем первого художника мира, синьора Паганини. Все готово. Господин де Петивиль купил отель «Жомар». О, это прекрасное место около шоссе д'Антен! Оно когда-то было владением финансиста времени французской революции, господина Перрего.

— Мы потому так охотно идем на выбор этого места,—говорили люди с двойными фамилиями, обращаясь к Паганини,—что синьор Перрего был итальянцем, а потом оно принадлежало Арриги, герцогу Падуанскому, и там, в сущности говоря, был учрежден первый банк вашего денежного патрона, господина Лаффита. Вы подписываете только устав и вот эти маленькие бумажки.

25 ноября 1837 года парижане впервые собрались в этом «Казино». Берлиоз в «Парижской хронике» на последней странице «Музыкальной газеты» поместил ядовитую и негодующую статью по поводу новой спекуляции синьора Паганини.

«Личное участие знаменитого скрипача в этом странном «Казино» будет выражаться в следующем: Паганини раз-другой пройдет по саду, если будет хорошая погода...»

Паганини пожал плечами: «Что нужно этому человеку? Я как будто сделал все для облегчения его судьбы».

Он не отказывал Берлиозу ни в одном музыкальном совете, отвечал на все его письма, но тем не менее в кругу близких знакомых, когда распушенность языка доходила до крайнего предела и когда оправдывалась поговорка о том, что самые большие предатели—это друзья, господин Берлиоз становился беспощадным в своем отношении к поклоннику Паганини, молодому Листу, которого ненавидел и которому завидовал, и в особенности к самому Паганини. Это имя вызывало у Берлиоза чувство суеверного ужаса.

Берлиоз обладал возможностью рассказывать о Паганини гораздо больше, чем многие из его музыкальных друзей. Еще бы, господин Берлен, крупный парижский финансист, содержатель газеты «Журналь де деба», приютивший у себя Жюля Жанена, был в курсе всех сплетен о синьоре Паганини. Газета пользовалась услугами множества анонимных и открытых корреспондентов. Ежедневно почта приносила интересные эпизоды из жизни синьора Паганини. Редакция располагала даже кое-какими материалами, о которых не подозревал великий

скрипач. А господин Берлен имел к этому непосредственное касательство, так как опера «Эсмеральда», поставленная по либретто господина Гюго и господина Фуше Берлиозом, была не чужда господину Берлену. Его дочь пела в этой опере, и если Берлиоз сплетничал о Паганини, то парижане имели еще больше оснований сплетничать о Берлиозе и его отношениях с дочерью господина Берлена. Но господин Берлиоз был женат, женат неосмотрительно, нерасчетливо, так как он тогда не был еще знаком с девицей Берлен. А теперь господин Берлиоз вынужден был влачить жалкое существование, и зачастую ему приходилось задумываться над тем, как расплатиться с прачкой. Поневоле приходилось быть хроникером «Музыкальной газеты», завтракать у Жюля Жанена, обедать у господина Берлена, от ужина воздерживаться и ложиться спать на тощий желудок, перечитав в сотый раз страницы дивного романа Бальзака «Шагреновая кожа». О, как похож эгоистический Рафаэль на синьора Паганини, с его волшебным могуществом скрипки, которое не в состоянии, однако, вернуть ему здоровье!

И вот однажды на почту сдается пакет с экземпляром «Шагреновой кожи».

Паганини читает трагическую историю Рафаэля, бедного парижанина, вошедшего, как и он, однажды в отвратительный игорный притон и поставившего последнюю монету. Странная встреча в антикварной лавке. Эта шагреновая кожа, которая отсчитывает часы и дни, уменьшаясь в объеме после выполнения каждого желания Рафаэля. Потом несметные материальные богатства, выполнение всех желаний и быстрое таяние жизни. День за днем, словно уносимые ветром листки календаря, бегут часы и минуты, подтачивая жизнь, и на глазах уменьшается объем когда-то огромной кожи онагра, висящей на стене. Вот ее старый контур, красная линия на белой стене, и вот нынешний ее объем. Крупнозернистая, лоснящаяся, с таинственной надписью на древнем языке, эта кожа символизирует запас дней и часов, оставшихся у Рафаэля. Берлиоз был прав, нанося этот удар. Его замысел удался. Паганини внезапно почувствовал полное сходство со своей судьбой.

События, развернувшиеся после возвращения Паганини в Париж, поражают необычайной согласованностью.

Шеф бюро полиции, господин Симоне, главный секретарь префектуры полиции господин Малеваль, «Му-

зыкальная газета», представители духовенства, юристы и врачи Парижа, журналисты и рецензенты — все вдруг оказались исполнителями единого целеустремленного плана.

Гаррис, живя в Англии, получил письмо, извещавшее его о некоторых странных подозрениях, высказанных синьором Паганини по поводу ведения Гаррисом его финансовых дел. Гаррис написал Паганини письмо с предложением своих услуг и с просьбой установить истину. Паганини не получил этого письма. Гаррис счел сообщенное ему за истину и замолчал, не предлагая вторично своих услуг и скромно проживая в Брайтоне. Единственное, что он сделал, это написал своим английским друзьям в Нью-Йорк, предлагая пригласить Паганини в Америку и этим спасти его от неминуемой гибели в Европе.

Паганини получил вскоре извещение о том, что в его распоряжение будет прислан огромный океанский корабль, который может отвезти его в Новый Свет. Одиннадцатилетний Ахиллино был в восторге от этого плана, Паганини стал готовиться к отъезду. Он слишком громко говорил о своих приготовлениях, и те, кому нужна была его жизнь, нашли способ парализовать эти приготовления.

Если нужен был врач, являлся специальный врач; если нужен был юрист, являлся специальный юрист; если нужен был рецензент и представитель печати, то опять это была такая же маска все той же преследующей воли, которая принимала и личину врача, и личину юриста.

1837 год был годом решительного удара, годом, подготовившим осуждение и гибель Паганини. Талантливый и красноречивый адвокат NN** на всех перекрестках и во всех залах, где его присутствия требовала профессия, кричал о безумии Паганини. «Не довольствуясь своим колоссальным богатством, Паганини вошел в компанию спекулянтов, ажиотеров и темных дельцов Парижа, устроивших на пустом месте и без денег «Казино».

Это заявление опытного адвоката повторялось всеми. И если бы Паганини больше обращал внимания на людскую молву, если бы он читал парижские афиши и газетные объявления, он увидел бы, что «Казино» — это вовсе не такая уж невинная благотворительная затея. Это — его доход, «Казино» — это детище Паганини. «Казино» и Паганини — это одно и то же.

Внося шестьдесят тысяч франков первого взноса на организацию дома искусств, Паганини полагал, что он делает широкий жест благодарности мировому городу музыкальной культуры. А в это время авантюристы, растратив деньги скрипача, пользуясь его именем, влезли в колоссальные долги, начали крупные дела и сразу поставили Паганини перед фактом такой затеи, которая грозила полным его разорением, нисколько не отвечая его замыслам.

Мудрецы парижской юриспруденции не вмешивались в эти дела, ожидая, что Паганини сам обратится к ним за помощью. Были среди них люди, ожидавшие еще большей путаницы, после которой Паганини должен будет как следует раскошелиться. А «Казино» с каждым днем все больше и больше приобретало сходство с ящиком Пандоры, наполненным бедами.

Господин Руссо-Демелотри оказался простым исполнителем воли и управляющим господина Тардиф де Петивиль. Господин Тардиф внезапно уехал из Парижа.

Господин Паганини обязан выступать ежедневно в «Казино», ибо публика, которой все это обещано, ждет его выступлений. Ей нет дела до того, что господин Паганини болен.

Это все очень смешно. Это какая-то шутка, в которую в конце концов вмешается французский закон и защитит великого скрипача, так охотно шедшего навстречу французам. Это же ясно как день. Паганини пишет письмо главному секретарю парижской префектуры господину Малевалю и получает извещение о том, что напрасно месье Паганини думает, будто французские законы будут защищать дикуую спекуляцию, предпринятую неизвестными людьми: за оборудование «Казино» Паганини обязан немедленно внести двести тысяч франков, иначе ему грозит не только гражданский суд, но и вмешательство исправительной полиции.

На 7 марта назначен финансовый суд, и вот Паганини внезапно оказывается приговоренным ко всем колоссальным платежам, перечисляемым в письме Малевалю.

Паганини обращается к господину NN**. Господин NN** пожимает плечами, говорит, что дело трудное, это все не так просто. Господин NN** снисходителен, он все же обещает помочь синьору Паганини. И вот он начинает помогать. Каждый день он приезжает к синьору Паганини и начинает свои рассказы. Он привозит ему «Газету

судебного трибунала». Он читает все, что написано о синьоре Паганини. Синьор Паганини—это обыкновенный шантажист с точки зрения полиции и парижского суда. Он затеял организацию «Казино» ради наживы и надул почтеннейшую публику, как старый и опытный спекулянт. Господин Паганини предается суду уголовной исправительной полиции.

— Это будет дорого стоить,—говорит NN**,—избавить вас от такого тяжелого наказания. Вы уже знаете, что Петивиль бежал из Парижа и увез все деньги «Казино». Он был в стачке со старой полицейской собакой Флери. Этот Флери теперь под судом. Недоволен вами также господин Симоне, он представил министру юстиции жалобу на вас, равно как и секретарь префектуры господин Малеваль представил министру юстиции аналогичную жалобу. Оба в качестве вещественного доказательства вашего шантажа представили министру те акции «Казино», которые вы им прислали в качестве взятки.

Паганини смотрит широко открытыми глазами человека, перед которым раскрывается пропасть. Но вдруг бешенство овладевает им, он топает ногами, выгоняет NN** и решает приняться за дело сам.

16 марта опубликован приговор во всех парижских газетах. Синьор Паганини, организатор «Казино», обязан играть в «Казино», давая концерты без получения гонорара не меньше двух раз в неделю. Каждый концерт может быть заменен платежом со стороны господина Паганини в размере шести тысяч франков штрафа. В обеспечение все средства «Казино» объявляются находящимися под специальным арестом.

Ни о какой Америке думать нельзя. Взята подписка о невыезде синьора Паганини из Парижа. Так проходит время до августа месяца. Паганини мечется, как зверь в клетке. Болезнь осложняется, каждый вечер его трясет лихорадка, ночью преследуют кошмары, идет горлом кровь.

Какие-то лица по специальным пропускам полиции эксплуатируют помещение «Казино». Во вторник на масленице некая Сан-Феличе с подложным письмом Паганини выступала на эстраде «Казино». Потом она бежала вместе с кассиром, захватив все оставшиеся деньги. После этого господин NN**, брат жены парижского префекта Жиске, обращается из адвоката в истца. Он вызывает

Паганини в суд и требует с него колоссальную сумму денег за ведение его дела. Паганини отвергает помощь NN**, но суд приговаривает Паганини к штрафу, NN** удовлетворен. Паганини пишет письмо министру юстиции, и дело назначается к слушанию в палате.

Дворец юстиции — медленно работающая машина, теряются дела и документы. Заявления Паганини исчезают, словно они написаны на ледяных пластинках, тающих под солнцем, и только журналы Франции и Европы печатают то с сочувствием, оскорбляющим Паганини, то с злорадством, угнетающим его, сообщения о его злоключениях. Нет великого скрипача, есть человек, бросившийся в омут шантажа, есть тяжелобольной. Врачи стали интересоваться синьором Паганини.

Паганини пытается вырваться из парижского смрада. Он написал Лапорту письмо, в котором выразил желание дать концерты в Лондоне. Английские газеты указали дни и часы концертов. Паганини готовился к отъезду но отъезд не состоялся: Дворец юстиции вспомнил, что Паганини просил о рассмотрении его дела, и послал синьору Паганини повестку, которая заставила отложить поездку в Лондон.

В тот день, когда до Парижа дошли сведения о том, что в лондонских газетах напечатан отказ Паганини от концертов, Паганини получил извещение: дело, назначенное к слушанию во Дворце юстиции, переносится на декабрь. Паганини не знал, что делать. Он был почти обессилен.

24 июня «Музыкальная газета» поместила письмо синьора Паганини, которое указывает, по мнению газеты, на крайнюю степень помешательства синьора Паганини. Письмо это любезно сообщено синьором Дугласом Ловедеем, дочери которого Паганини давал уроки игры на скрипке. Синьор Паганини требует с господина Дугласа Ловедее двадцать шесть тысяч четыреста франков за уроки. Новый взрыв негодования. Паганини делается жертвой невыносимой газетной травли. Люди, недавно восхищавшиеся его концертами,жимают плечами и говорят: «Что сделалось с этим человеком? Двадцать шесть тысяч франков за уроки в течение какого-нибудь месяца! Да он с ума сошел!» И когда находились чудаки, говорившие, что тут что-нибудь не так, мудрые головы покачивались и раздавались голоса: «Вы не знаете этого человека».

Шесть недель Паганини тщетно добивается, чтобы напечатали его объяснения. Наконец представленные им доказательства оказываются настолько разительными, а угроза обращения непосредственно к Луи-Филиппу настолько действительна, что газета принуждена напечатать письмо господина Дугласа Ловедея, предшествовавшее письму Паганини.

В этом письме Ловедей требовал с господина Паганини за девяносто дней проживания у него, Ловедея, на квартире сорок тысяч франков. Кроме того, ввиду того что мисс Ловедей в Лондоне давала уроки маленькому Ахиллино,—она ровно десять дней обучала Ахиллино игре на рояле,—господин Дуглас Ловедей, под угрозой суда, требовал с синьора Паганини две тысячи франков за урок. Письмо Дугласа Ловедея было составлено в самых категорических и твердых выражениях. В трехдневный срок синьор Паганини должен был выплатить шестьдесят тысяч франков.

Публикуя это письмо, Паганини добавляет:

«Я не давал уроков его дочери. Я ответил сэру Дугласу Ловедею простым указанием, что если фантазировать, то можно фантазировать так, как я этого захочу. За то, что я не давал уроков его дочери, взыскать с него двадцать шесть тысяч четыреста франков или вообще любую цифру, какая придет мне в голову. Я не касался,—пишет Паганини,—другого вопроса. Господин Гаррис, мой секретарь и друг, вовремя прекратил визиты брата господина Ловедея, которого сам господин Ловедей выдавал за знаменитейшего английского врача. Я не знаю, имеет ли этот человек медицинский диплом, но испытал странное состояние, чрезвычайно ухудшившее мое здоровье после первых приемов прописанных им лекарств. Гаррис раскрыл мне весь этот обман. Знаменитый врач поразил его требованием стофранкового гонорара за каждодневное посещение меня на квартире Ловедея даже тогда, когда эти визиты просто сводились к вопросу: «Как поживаете?» Я принужден был быстро покинуть квартиру господина Ловедея, причем Гаррис получил с него расписку о состоявшемся полном расчете».

Паганини боялся обращаться к врачам в Париже с некоторых пор. Будучи тяжело болен, 16 декабря 1837 года он слушал концерт Берлиоза. Вот этот странный музыкант, относящийся к имени Паганини с таким

пренебрежением! Он, оказывается, пишет дивные композиции.

— Это чудо! — говорил Паганини, слушая «Гарольда в Италии».

На следующее утро Берлиоз написал своему отцу письмо: «Паганини, этот великий и благородный артист, поднялся ко мне и сказал, что в этот раз он растроган до глубины души концертом, ставящим меня на уровень Бетховена. Сейчас произошло событие, которое меня потрясло. Пять минут тому назад чудный двенадцатилетний ребенок Паганини Ахиллино передал мне письмо отца с вложением чека на банк Ротшильда, и я — обладатель двадцатитысячного состояния. Вот что пишет мне Паганини:

«Мой дорогой друг!

Бетховен умер, и только Берлиоз его оживил вчера. Я, вкусивший счастье слышать звуки божественных Ваших творений, прошу Вас позволить мне исполнить долг перед гением: примите от меня, в знак благодарности, двадцать тысяч франков, которые можете получить от барона Ротшильда.

Всегда Вам преданный друг *Никколо Паганини*».

Неожиданно появилась новая заметка в «Журналь де деба»:

«Нет ничего в мире более жестокого, более несправедливого и более сурового, к моему стыду, нежели мои статьи, направленные против Паганини. Я был совершенно неправ, в глубине души я соглашался с тем общественным мнением, которое создалось вокруг имени Паганини. Жюль Жанен».

Невнятные строки Жанена ни слова не говорили об истинной причине его отказа от травли Паганини.

Бульварные парижские газеты подняли вой по поводу происшествия на концерте Берлиоза. Сказка о двадцати тысячах франков сделалась предметом самых веселых суждений о Паганини. Говорили о том, что Паганини дал Берлиозу не свои деньги, а что это мадемуазель Берлен упростила скрипача, тайком от отца, издателя «Дебатов», вручить Берлиозу ее сердечный дар: этим объясняется и заметка сотрудника «Дебатов», господина Жанена.

Лист в письме к Ортегу осудил этот жест благотворительности. Другие указывали просто на то, что Паганини вручил Берлиозу краденые деньги.

«Деньги, выигранные нечистыми картами, не могут

принести пользу Берлиозу»,— писала газетка, выходявшая на Итальянском бульваре.

Но Берлиоз был счастлив. Три года легкого труда, свободы и счастья. Теперь он закончит «Ромео и Джульетту».

«Я застал его одиноким, в большом зале,— писал Берлиоз сестре.— Ты знаешь, он лишился человеческого голоса; без посредства Ахиллино, его мальчика, нельзя понять, что хочет сказать Паганини. Когда он увидел меня, слезы показались у него на глазах, и я чувствовал, что могу разрыдаться. Понимаешь ли, Паганини плакал, этот дикий людоед и губитель женщин, он плакал, обнимая меня. «Не говорите. Мне не нужно ваших слов! Я сам получил радость, большую, нежели вы! — говорил он мне.— Вы дали мне ощущение давно утраченного подлинного искусства музыки». Затем, смахнув слезы, он вдруг со смехом ударил рукою по столу и начал быстро-быстро шевелить губами, смотря на меня с невероятной страдальческой выразительностью. Маленький Ахиллино переводил мне эти беззвучные слова.

«Я счастлив,— говорит Паганини,— я на вершине блаженства. Теперь вся эта сволочь, писавшая против вас, не осмелится повторять своей клеветы. Я — авторитет в музыке и заявляю о признании вас великим музыкантом».

Берлиоз был действительно растроган. Эта растроганность мешала ему говорить. Перспектива осуществления всех возможностей, утраченных композитором в дни голода и нищеты, сделала его и восторженным и онемевшим в минуты беседы с Паганини. Но вот момент первого смущения прошел. Берлиоз спрашивает Паганини о здоровье, он в ужасе от того, что видел скрипача на эстраде здоровым и могущественным, а сейчас, вблизи, перед ним стоит усталый и измученный до последних пределов человек, сделавший без всякой корысти огромное благодеяние, хотя, по-видимому, здоровье его таково, что ему впору думать только о сохранении жизни.

Берлиоз заговорил о тайне волшебства, открывшегося с такой полнотой великому Паганини. Скрипач покачал головой. Ахиллино передал короткую фразу отца:

— Моя тайна не есть результат случая, это — плоды длительной, изнурительной работы. Изучайте природу своего инструмента. Начните с мысли о том, что вы его знаете не до конца. Свойства скрипки гораздо богаче, нежели об этом думали мои предшественники.

— О вас говорят, как о жреце Изида,—ответил на это Берлиоз.

— О нет,—ответил Паганини,—мое божество просто называется скрипкой.

Берлиоз долго колебался, следует ли ему говорить о том, что ему, вследствие его связей с парижскими журналами и газетами, стало известным. Ему хотелось предупредить Паганини о новых опасностях, он чувствовал себя обязанным сделать это, и в то же время ему казалось, что заговорить о тяжелых и волнующих предметах сейчас, во время визита благодетельствованного человека, невозможно. Берлиоз ежился, смущался и в конце концов неловко простился и ушел. Ощущение надвигающейся катастрофы, которая должна произойти вот здесь, в Париже, которая почти неотвратима, охватило его тотчас же, как только он вышел на улицу. Ему хотелось кричать, взывая о спасении Паганини. То, что происходило здесь втайне и что вело какими-то неведомыми путями к тому штабу, где вырабатываются новые способы нападения на Паганини, показалось Берлиозу чудовищным. Но ощущение обеспеченности, счастья и свободы опьяняло Берлиоза. Еще минута—и все мысли о Паганини исчезли. Чек в банк Ротшильда, сверкающие золотые кружки, скромный, но изысканный вечер в кругу избранных людей, чтобы не было большого шума: музыканты завистливы и... «В самом деле, что я могу сделать для этого странного человека?»—вот мысли и чувства Берлиоза.

Доктор Лаллеман, присланный друзьями и почитателями, констатировал ухудшение состояния больного.

— Весь Париж интересуется вашим здоровьем,—сказал он, обращаясь к Паганини.

«О да,—думал Паганини,—я знаю, что весь Париж. Дело в первой палате снова отложено, я опять под угрозой». Он смотрел на врача грустными, серьезными глазами, а губы шептали слова, не относящиеся к его здоровью.

Постепенно из редакции «Журналь де деба» и «Музыкальной газеты» вести о чрезвычайной серьезности положения Паганини стали проникать всюду.

Четыре знаменитейших парижских врача приведены на консилиум доктором Лаллеманом. После тщательного осмотра Паганини они удаляются на совещание в соседнюю комнату.

Молодой доктор Лассег, открывший манию преследования как тяжелую форму заболевания, доказывал, что Паганини страдает именно этой болезнью. Старый, почтенный психиатр Фовиль, написавший диссертацию о мании величия, настаивал на том, что Паганини одержим *mania grandiosa*. И только Жан Крювелье указывал на признаки полного нервного истощения и, обращаясь к истокам биографии своего пациента, удивлял своих почтенных коллег тонким знанием детских лет и юности Паганини.

— Я уже был у него однажды,— говорил Крювелье.— Это был день, когда кто-то испытал на нашем пациенте средство, открытое коллегой Субераном.

— Как? Что?— спросил доктор Ростан, поправляя очки.

— Да,— сказал Крювелье,— бандиты унесли мешок с золотом у него из квартиры, усыпив хозяина хлороформом.

— Но, я думаю, он от этого не пострадал,— сказал Ростан, обнаруживая свою солидарность со слухами, ходившими в Париже, о чрезвычайном богатстве Паганини.

Заговорил доктор Лассег:

— Основное свойство этого человека — чрезвычайное сопротивление рецепциям. Я считаю, что это произведение природы, именуемое синьором Паганини, обладает колоссальной силой сопротивления всем явлениям, которые ему по природе чужды. Это исключительно продуцирующая натура. Я считаю себя компетентным в музыке и имею честь сообщить коллегам, что ни одно произведение скрипичных мастеров не было сыграно синьором Паганини без полной переработки, настолько ярко отражающей характерные черты собственной индивидуальности Паганини, что композиторы, которых он переделывает, имеют полное основание обижаться. Это упорство в восприятии чужого и вулканическое бурление собственных чувств, мыслей сопровождается у пациента гипертрофией индивидуальности, и как результат мы можем наблюдать сжигание нервной силы на собственном огне. С каждым новым выступлением сжигание будет идти кресчендо.

— Я считаю положение его безнадежным,— отрывисто бросил доктор Крювелье.— Истощение в детстве и изнурительная, нечеловеческая работа заложили основание той болезни, которая вспыхнула сейчас с лихорадочной

яркостью. Господин Паганини погиб. Это мильярная чахотка, раскинувшаяся от *lagunx'a*; она скоро повлечет за собой перерождение всех тканей. Паганини подобен свинцовому чайнику, попавшему за Полярный круг. Твердый и вязкий металл под влиянием арктического мороза превращается в порошок. Спасения нет. Каждый новый концерт будет уносить пять лет жизни. Я думаю, что достаточно десяти концертов, чтобы на одиннадцатом Паганини выронил скрипку и умер.

— У него есть наследники? — легкомысленно спросил Лассег.

Крювелье промолчал.

— По-видимому, — бросил в воздух психиатр Фовиль. — Говорят, дела его крайне запутаны. Я слышал краем уха о том, что он писал в министерство юстиции, но письмо оставлено без последствий. Министр Лаффит был прав, когда заявил, что господа банкиры будут теперь формировать власть. Золотые аристократы, сидящие у нас в правительстве, не любят, когда люди чужого лагеря начинают прибегать к таким способам, какими вздумал разбогатеть Паганини. Он нанял каких-то авантюристов, Петивиля и Руссо, и хотел, спрятавшись за их именами, устроить в Париже выгодную спекуляцию. Дело сорвалось, и сам Паганини попал под суд. Если бы он совершил публичное оскорбление кого-либо, ему простили бы конечно, но попытка разбогатеть в Париже, да еще такими средствами, не будет ему прощена.

— Вот как! — заметил Крювелье. — К чему же его приговорили?

— Однако мы отвлеклись, — вместо ответа напомнил Фовиль.

Крювелье не переспрашивал, так как сам знал гораздо больше, чем его коллеги. Доктор Ростан вынул из бумажника сложенный вчетверо красивый листок почтовой бумаги, заглянул в него, сложил опять и убрал.

— Итак, мы приговариваем пациента к смерти. Я должен буду огорчить господина Лаффита, который пишет мне о необходимости помочь Паганини.

Врачи переглянулись.

— Кому адресовано письмо господина Лаффита? — спросил Крювелье.

Несмотря на странность вопроса, Ростан ответил:

— Да, вы правы: письмо послано в Факультет, а не лично мне.

Крювелье наклонил голову.

— Итак,—сказал доктор Фовиль,—кроме созвавшего нас Лаллемана, высказались все.

Лаллеман, стоявший у окна и не произносивший ни слова, сказал:

— Факультету доложу я, а не доктор Ростан. Медицинский Париж отвечает за жизнь скрипача.

— О, конечно, конечно,—хором заговорили все врачи с самыми кислыми улыбками.

— Итак, с нынешнего дня категорическое запрещение каких бы то ни было концертных выступлений,—сказал Крювелье.

— Но, дорогие коллеги!—воскликнул доктор Лаллеман.—Как можно в столице Франции допустить?..—Лаллеман остановился, не находя слов.

— Медицина не вторгается в частные жилища,—сердито сказал Фовиль.—Что могут сделать парижские врачи, когда причиной своей болезни является сам пациент, а правосудие Парижа создает обстановку, вряд ли благоприятную для нашего пациента!

Фрейлейн Вейсхаупт по знаку доктора Лаллемана принесла конверты с тонкими чековыми бумажками в каждом. Врачи, обмениваясь шумливыми фразами, вышли. Остался один Лаллеман, который сел к постели Паганини и принялся твердо, настойчиво убеждать его подчиниться решению Факультета и оставить скрипку.

— Дорогой друг, любимый маэстро,—говорил Лаллеман,—с того дня, как я воспользовался вашим разрешением разлучить вас с музыкой, скрипки ваши находятся у вашего друга Алиани. Оставьте их у него и едемте со мной на юг. Уверяю вас, что не пройдет полугода, как ваше здоровье восстановится полностью. Где хотели бы вы пожить?

«Об этом я должен спросить моего хозяина»,—написал Паганини на дощечке.

Хозяина позвали. Он вбежал, разгоряченный игрой, веселый и смеющийся. Он принес кипу писем, которые вырвал у госпожи Вейсхаупт. Разбрасывая их по полу, прыгая по комнате, он с восторгом принял предложение доктора Лаллемана отправиться на юг Франции, к морю.

В ту минуту, когда маленький Ахиллино прыгал на паркете перед отцом, четыре чрезвычайно элегантно одетых человека ждали внизу у подъезда, там, где кучера четырех экипажей, облокотившись на фонарные столбы,

перебрасывались фразами на темы об алжирской войне, о восстании арабов, о том, что племянница одного из кучеров, Фаншетта, ловко подцепила молодчика, парикмахера с улицы Риволи.

Но вот доктора, в цветных цилиндрах и элегантных сюртуках, показали на лестнице. Кучера бросились к своим лошадям.

Группа элегантно одетых людей подошла к врачам: Гюго, Ламартин, Мюссе и Жорж Санд. С большой тревогой они искали глазами человека, к которому легче всего обратиться.

— С кем имею честь? — начал было доктор Крювелье, когда Мюссе подошел к нему вплотную. Потом, любезно осклабясь, всем существом выражая улыбку, Крювелье протянул руку Жорж Санд и поклонился Мюссе.

— Самое большее он проживет месяц или два, — сказал Крювелье.

Жорж Санд всплеснула руками. В это время из-за поворота показался человек среднего роста, с длинными волосами, с живыми блестящими глазами: это был Лист. Он едва не опоздал к условленному времени.

...Паер лежал на смертном одре. Он звал Паганини в бреду. В минуту облегчения он первым делом перелистал бумаги, лежавшие на огромном столе перед кроватью, нашел нужный документ и, запечатав его в тяжелый серый конверт, тронул колокольчик, стоящий на столе. Вошла синьора Риккарди. Она еще раз упрекнула мужа за то, что он запрещает отодвигать письменный стол от кровати, взяла конверт и вышла. Паер предчувствовал свою кончину и поэтому, не дожидаясь специального распоряжения Паганини, отправил в парижскую консерваторию документ, написанный его учеником в первые дни счастливого пребывания в Париже. К вечеру синьора Фернандо Паера не было в живых.

В консерватории к делам о пребывании синьора Паганини в Париже присоединили его собственное заявление. Оно начиналось обычными словами:

«Милостивые государи, тот прием, который соблаговолило оказать мне общество Франции, позволяет предполагать, что я не обману тех надежд, которые предшествовали моему появлению в Париже.

Если бы по поводу моего успеха могло возникнуть во мне самом какое-либо сомнение, то оно могло бы разрешиться тем, что стены Парижа заклеены моими портрета-

ми, похожими и не похожими на меня. Но дело в том, что старания портретистов не ограничиваются стремлением дать схожий портрет. Сегодня, проходя по Итальянскому бульвару, я увидел литографию, снова, как в прежние годы, изображающую меня в тюрьме. «Нечего сказать,—подумал я,—люди находят возможным наживаться, пользуясь тем обвинением, которое вот уже пятнадцать лет тяготеет надо мной».

По-видимому, по поводу моего тюремного заключения существует много историй, пригодных как материал для всевозможных иллюстраций. Например, рассказывают, будто бы я застал соперника у моей любовницы и убил его сзади как раз в ту минуту, когда он был лишен возможности защищаться. Что касается остальных, то они того мнения, что моя бешеная ревность обрушилась на мою любовницу. Не сходясь только в одном—каким способом заблагорассудилось мне отправить на тот свет милую женщину: одни уверяют, что я для этой цели воспользовался кинжалом трехгранной формы, а другие—что я предпочел яд. Что касается меня, то я полагаю, что есть люди, не стесняющиеся выдумывать и распространять про меня подобные слухи, но что же после этого мне сказать о рисовальщиках, которые пользуются правом изображать меня как им заблагорассудится на своих рисунках.

Приведу в пример случай, происшедший со мной пятнадцать лет тому назад в Падуе. Я концертировал там, и, насколько мне удалось заметить, концерты имели успех. Наутро после концерта, за табльдотом, по обычаю сидя скромно и незаметно, я был свидетелем разговора моих соседей о предшествующем концерте. Один собеседник не жалел похвал, его сосед был не менее лестного мнения. «В искусстве Паганини нет ничего удивительного,—внезапно вставил слово третий собеседник.—Я думаю, что если он провел восемь лет в тюрьме и за это время у него не отнимали скрипку, то что же было ему делать с утра до вечера? Что касается тюремного заключения, то он был приговорен потому, что самым подлым образом зарезал моего друга, который был его соперником у женщин. Весь город возмущался низостью этого подлого преступления Паганини».

Никто не ожидал, что я вступлю в этот разговор. Я просто обратился к тому из говоривших, кто выдавал себя за наиболее осведомленное лицо, сообщающее о

моих преступлений. Тут все сидевшие за столом внезапно повернулись ко мне. Вообразите эффект и удивление. Вся публика, сидевшая в столовой, узнала во мне отъявленного преступника и негодяя. Рассказчик был смущен. Оказалось, что убитый вовсе не был его другом и что сам он слышал эту историю из третьих, четвертых, пятых уст. Со смущенным, жалким видом он говорил о том, что его могли ввести в заблуждение.

Милостивые государи! Вы видите, как злобно играют репутацией артиста. Люди, склонные к лени, не могут понять, что человек, поставивший себе большую цель, может достичь ее упорным трудом во всех условиях, может долго и напряженно работать тайком по ночам, и даже для вида притворяясь беседующим, и даже закрывши глаза, просто ходя по улицам. Поэтому лентяю и паразиту, живущему на теле общества, необходимо быть заключенным в одиночную камеру, чтобы понять творческую одинокость мысли человека, посреди всего городского шума остающегося наедине со своей творческой совестью.

В Вене я был очевидцем еще более странного происшествия. Что это, милостивые государи? Курьез легковерия, подогретый энтузиазмом моей игры, или что-либо злонамеренное? В Вене я играл скрипичные вариации под названием «Колдуньи». Они произвели совершенно необычайное впечатление. Но я увидел молодого человека с бледным лицом, с бородкой, с горбатым носом, с блуждающим взглядом, с неестественно возбужденным видом. Он смотрел на меня и громко уверял соседей в том, что он нисколько не удивляется моей игре, ибо с полной отчетливостью видит за моей спиной самого черта, стоящего около меня и управляющего движениями моих рук и напряжением моего смычка.

«Смотрите,—говорил молодой человек,—это поразительное сходство с самим Паганини. Черт и Паганини—это одно и то же лицо, лишь раздвоенное. Это двойники—один одет в черное, другой—в красное. Взгляните на спину Паганини, вы увидите существо в красной одежде с рогами, с козлиной бородой, с выпяченной нижней губой, с улыбкой и сиплым смехом. Его красный хвост шлепает по туфлям синьора Паганини».

Милостивые государи! После подобного случая даже я сам как будто не сомневаюсь в справедливости этих слов. И вот отсюда возникает огромное количество людей,

объясняющих секрет моего мастерства моим союзом с дьявольской, нечестивой, злонамеренной, злокозненной силой. Милостивые государи, меня возмущали и изводили все эти пакостные истории. Я пытался доказать всю их нелепость и смехотворность. У меня простая и грустная биография. Милостивые государи! С четырнадцати лет непрерывно я выступаю публично. Пять лет подряд был я директором и придворным капельмейстером в Лукке. Присоедините к этому, что в течение восьми долгих лет много дней и много ночей я был заключен в одиночную тюрьму за убийство моей любовницы и моего соперника — и вы видите, в силу простых арифметических вычислений, что год моего преступления, убийства, каторги и галер падает на время, когда мне едва исполнилось семь лет. Семилетним мальчиком я уже имел любовницу и убил соперника.

В городе Вене, прославленном городе искусства, я вынужден был прибегать к свидетельству посланника моей родины. Он выдал мне сертификат, удостоверяющий, что он, как посланник достославной Италии, в течение двадцати лет подряд знает меня за честного и добропорядочного человека, а я сам во всякое время могу доказать, что возводимые на меня обвинения суть не более, как наглая клевета».

Глава тридцать вторая

ДЫХАНИЕ МИСТРАЛЯ

Ветер южных городов Франции, свистя, разгуливает по полям и, внезапно врываясь в улицы маленьких городов, бешеным порывом рвет вершины деревьев, свивает листья клубками, валит фонари на городских площадях. Он повергает ниц высокие деревья и выворачивает камни. В ущельях гор и даже в маленьких изгибах переулков, даже в слуховых окнах мансард он вдруг начинает петь глухими и густыми звуками органа. Это «благодетельное божество Прованса», как называют его южане, дует с северо-запада и всегда приносит с собой ясную погоду. Ломая деревья, как тростник, он крутит гальку и мелкие камни. И беда, если человек попадет в эту вертикальную каменную грядку, идущую наподобие древнего старого монаха по дороге. Этот маленький смерч, человекообразный, возникающий неведомо откуда,

отшвыривает прохожих в придорожные овраги. Овцы бегут и собираются в тесный клубок, когда слышат свист мистралья.

Карета Паганини двигалась третьей, несмотря на запрещение доктора Лаллемана, стремившегося уберечь больного от пыли. Синьору непременно хотелось, чтобы посередине ехала карета с Ахиллино и чтобы все время было видно эту карету.

Лаллеман писал доклад своим старшим коллегам:

«От Паганини осталась только тень. Он потерял голос окончательно. Голос к нему никогда не вернется, и только пламенные глаза и угловатые жесты, к которым мы привыкли, дают нам возможность с ним объясняться. Он соглашается играть в Марселе квартет Бетховена, когда его просят, и, несмотря на мое запрещение, выписал скрипки Гварнери и Страдивари от Алиани. Этот агент его славы вышел сейчас с ним из его кареты. Дело в том, что в Мартинике много жертв внезапной катастрофы. Паганини собирается дать в Марселе благотворительный концерт, несмотря на мое запрещение».

12 мая 1839 года в Париже «Общество времен года» всколыхнуло внимание Франции. На улице Бур л'Аббе отряд повстанцев захватил оружейные магазины, главари стали призывать парижан к оружию. У Дворца юстиции повстанцев оттеснили, они построили баррикаду на улице Гренетт, но к вечеру стрельба затихла. Барбес, Бланки, Бернар и Гинбо были арестованы, начался процесс «Общества времен года». А на юге зашевелился новый карбонарский союз «Молодой Италии».

В те дни, когда Дворцу юстиции было вовсе не до Паганини, внезапно возник еще один процесс против скрипача. Дело, бывшее на пересмотре, неожиданно получило новый поворот. В отсутствие Паганини началось дополнительное расследование всех его злодеяний, и приговор первоначальных инстанций был утвержден.

Доктор Лаллеман не решался говорить об этом Паганини, он боялся, что внезапное волнение может закончиться смертью. Приговор сводился к следующему: помимо выплаты единовременных штрафов, помимо конфискации имущества Паганини на покрытие всех претензий по устройству «Казино», Паганини обязан был игрою на скрипке, то есть безгонорарными концертами, заплатить по всем претензиям неожиданно возникавших жертв его алчности. Приговор королевского суда приказывал

«синьору Никколо Паганини играть в Париже, в «Казино», не меньше двух раз в неделю, желательно ежедневно». Если же будут пропуски, то «за каждый пропущенный день из двух обязательных еженедельных концертов Паганини платит штраф в шесть тысяч франков».

Лаллеман чувствовал, что волосы у него шевелятся. Он схватил карандаш и стал вычислять. Ему казалось, что он бредит. Он перечитывал этот потрясающий документ. Нет! Цифры были правильны, опечатка в одной строчке могла быть исправлена в следующей, но везде стояла цифра шесть тысяч франков за каждый пропущенный день.

Лаллеман вычисляет на листке бумаги — в году триста шестьдесят пять дней, сто двадцать пропущенных концертов в течение года лишают синьора Паганини половины его состояния, и во всяком случае, судя по имеющимся у доктора Лаллемана сведениям, в течение первого года Ахиллино Паганини превращается в нищего. Два года без концертов разоряют самого Паганини. «Говорят, его имущество доходит до трех миллионов франков,—соображает доктор Лаллеман.—Приговор ставит дело так, что каждый день жизни отца разоряет сына, ибо если бы Паганини умер нынче или завтра, то претензии к нему отпали бы. Каждый концерт — это яд для отца. Каждый пропущенный концерт — это крах для сына. Смерть отца оставит неприкосновенным наследство. Это — адский план. Эти люди должны знать, что несколько концертных выступлений в теперешнем состоянии больного будут достаточными для полного расчета с жизнью».

У правительства множество хлопот. Случай на улице Бур л'Аббе показывает, что Франция живет на вулкане. Можно ли кому-нибудь из правительства заниматься такими пустяками, как спасение от рук убийц величайшего мирового скрипача, проживающего у господина Сержана в Ницце?

Господин Сержан, в доме которого остановился Паганини, не стремится рассказывать о своем прошлом. Он — член революционного комитета, добровольно оставивший Францию в те дни, когда звезда ее свободы упала к ногам Первого консула. Спутник жизни Робеспьера и Марата, он был в Ницце в те годы, когда Шарлотта

Робеспьер путалась на морском берегу с худощавым лейтенантом Бонапартом. Кто знал тогда, что этот лейтенант сделается императором французов! Теперь старичок Сержан, в темно-зеленом сюртуке, в чистом голландском белье, доживает свой век на морском берегу и сдает комнаты господину Паганини.

Но вечером, когда доктор Лаллеман сидит с этим старичком в саду на скамейке, Сержан рассказывает доктору историю мраморного креста, стоящего на другом берегу предместья. Павел III, римский папа, пленник Бонапарта, провел несколько дней в Ницце по пути в Савону. Ницца только что была присоединена к Франции приказом Бонапарта. Речка Вар, разделявшая в этом месте владения Франции и Италии, соединяла свои берега маленьким мостиком, и вот римский папа увидел на другом берегу коленопреклоненную женщину. Он один вышел из кареты и пошел ей навстречу. Там, где стоит мраморный крест, произошла трогательная встреча римского первосвященника и другой жертвы бонапартовского деспотизма, королевы Этрурии, сосланной в этом году в город Ниццу.

— А девятого февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года,— говорил Сержан,— на севере гремели пушечные громы. Бонапарт был низвержен, и уже другой пленник—папа Пий Седьмой—возвращался свободным в свою столицу.

Этот мраморный крест, поставленный раболепными горожанами, внушал Сержану жестокое отвращение.

— Здешнее население суеверно,— говорил он доктору Лаллеману.— Впрочем, я уже много лет как дал обет вечного политического молчания.

В дни, когда доктор был наиболее встревожен газетными заметками о возобновлении судебного процесса и о доведении всего дела о «Казино» до королевского суда, Паганини внезапно почувствовал улучшение.

Чистый, отчетливый тон появлялся в сипящих словах, когда Паганини шевелил губами, и хотя Лаллеман был уверен в кратковременности новой вспышки энергии, он был поражен необыкновенной стойкостью этого организма простолюдина, этого истого генуэзца, худощавого, сухопарого, с жилами, похожими на стальные канаты, человека, проделавшего столько километров гигантского пути по Европе, сколько поколение наполеоновских генералов не покрывало в походах. Паганини сам любил

говорить в эти дни о том, что «можно измерить до последнего пальма расстояние от эстрады к эстраде, от города к городу». Так вся жизнь прошла в карете, в гостиницах, в концертных залах, в придорожных трактирах, в роскошных отелях, куда Паганини переносил невзыскательные привычки человека, привыкшего жить впроголодь.

Пользуясь возможностью говорить, Паганини излагал доктору Лаллеману свои суждения о музыке, свой план — по выздоровлении построить исполинскую музыкальную консерваторию для всей Италии. Он говорил о началах нового искусства с огромным оживлением, с такой уравновешенной мудростью в глазах, с такой ясностью ума, что Лаллеман получил уверенность в бесповоротной победе организма над болезнью.

Лаллеман записывал суждения Паганини о музыкальном ритме: «Синьор Паганини рассматривает ритм как внутренний закон процесса. Он говорил о том, что время есть форма движения материи и внутренний закон процесса сказывается во времени в частом претворении ритма в звуках. Музыка — это невоплощенный ритм, это наиболее тонкая форма движения материи, в ней лучше всего сказывается внутренний закон процесса».

— Я шел к этому круглыми путями, — говорил Паганини, — я нашел следы этого всюду. Есть способ преодоления пространства путем ускорения движения во времени. Я делал это для того, чтобы всюду посеять семена новой музыки. Добро, истина, красота, строй души одного человека, находящий себе отклик в чувствах других, весь мир человеческих взаимоотношений — это замкнутая ритмическая цепь. Добро и зло, истина, красота, ритм, стройность, а потом разлад — это аритмия. Беспорядок, вносимый в применение ритма истории, порождает бурю и волнение, дисгармонию в человеческом обществе, так же как камертон, поставленный неправильно, разбрасывает порошок ликоподия на пластинке. Вы можете найти ритм решительно всюду. Посмотрите, как ритмически повторяет природа смену времен года.

На этих словах, произнесенных достаточно громко, Паганини остановился. Дверь слегка открылась и, скрипнув, замолкла. Господин Сержан привстал, он вышел в соседнюю комнату, там никого не было.

— Никого нет, — сказал он, возвращаясь и садясь в кресло перед раскрытым окном.

В треугольник, образованный краями тяжелых бархатных портьер, врывается веселый солнечный юг, со всеми своими красками и звуками, с морским ветром, со щебетом птиц, с шелестом пенящихся волн, дробящихся о берег. Прохладный тихий вечер пробежал по листьям, шевеля ветки и слегка покачивая бахромю портьеры.

Большие старинные залы примыкают к комнатам больного. Полная тишина кругом. Скрипка лежит на бархатном кресле. Паганини устало откидывает голову.

— Так вы считаете, что добро и божественное милосердие не суть абсолютные начала мира? А где же место церкви?

Паганини покачал головой: казалось, он не понял.

Белокурый голубоглазый мальчик играет в серсо в саду под окнами скрипача. Золотое кольцо влетает в окно и, упруго ударившись в портьеру, падает на одеяло у ног Паганини. Раздается стук в дверь. Появляется испуганное лицо фрейлейн Вейсхаупт, глаза с острым напряжением смотрят на Паганини.

— Ну что же, входите, не бойтесь, фрейлейн! — говорит Паганини.

Старушка молчит. Доктор Лаллеман неловко встает и подходит к ней. Потом спокойно поворачивается к Паганини и говорит:

— Монсиньор Антонио Гальвани, епископ города Ниццы, прислал своего викария. Этот набожный священник говорит, что вы пригласили его. Святая церковь напугана вашим нездоровьем и, желая принести вам облегчение, предлагает вам исповедь, отпущение грехов и святое причастие.

Сержан встает. Паганини качает головой.

— Ну хотя бы для виду, — подходя к кровати, шепотом говорит доктор.

— Тем более — для виду, — хрипит Паганини. В глазах его появляется гнев, он откидывает голову на подушку.

Лаллеман совершенно растерян. Его вдруг мгновенно пронизывает мысль о неосторожности синьора Паганини, который отчетливо и громко произнес слова — *ритм в изменении времен года*. Весь Париж сейчас бредит этим, всюду ищут членов таинственного «Общества времен года». Что сделал этот больной, сам того не зная! Мысль доктора работает напряженно. Он, доктор Лаллеман, не связан ни с какой организацией, кроме парижского

Факультета. У него честные стремления помочь больному, он не знает ужаса интриг, окружающих Паганини, и в этом сказалась тонкая хитрость тех людей, которые убили человека и твердо уверены в том, что он не воскреснет. В качестве свидетеля смерти они ставят человека, ни в чем не заинтересованного и не знающего их намерений. Доктор Лаллеман огорчен упорством Паганини. Он — старый, опытный врач, в глубине души — полный и законченный атеист, но он знает всесильное могущество римской церкви на юге Франции.

Рыбаки прибрежных сел и мещане города Ниццы, торгующие козьим молоком, цветами, вином и виноградом, очень хорошо знают господина префекта, еще лучше знают агента полиции, живущего на их улице. Они хорошо знают монсиньора епископа Гальвани, еще лучше знают священника местной церкви, но они совершенно не знают и не хотят знать чахоточного человека, игравшего когда-то на скрипке. Они вправе ничего не знать еще об одном чахоточном, привезенном на благословенную Ривьеру; они узнают его только в том случае, если священник и жандарм укажут на этого уродливого негодяя как на врага церкви, и тогда все, что можно поднять с мостовой, полетит в стекла того дома, где умирает Паганини.

— Что же сказать? — с волнением спрашивает доктор.

Паганини открыл глаза. Он увидел встревоженное лицо старого человека, вспомнил, что священник ждет ответа, и громко произнес:

— Скажите, что еще рано, что я вовсе не собираюсь умирать, если ничего другого сказать не можете.

— Дайте ему что-нибудь, — шепнул Сержан доктору Лаллеману.

Доктор посмотрел растерянным взглядом, не понимая.

— Да, да, — вдруг спохватился он и стал искать шкатулку с деньгами.

Она куда-то исчезла. Пришлось обратиться к фрейлейн Вейсхаупт. Старушка отперла свою комнату и сказала:

— Я ее убрала. Новая прислуга проявила чрезвычайное любопытство к этой шкатулке. — При этом механически, привычной рукой отсчитывая деньги для священника и вручая их доктору, фрейлейн говорила: — Синьор никогда не знает, сколько у него денег. Он всегда

выведет из кареты сына, вынесет скрипки и никогда не вспомнит о шкатулке. В Праге мы случайно остались без денег при выезде за город, и вот видите: синьор, забросив шкатулку в карету, так и оставил ее в пражской конюшне. Пришлось ехать обратно, разыскивать.

Лаллеман вернулся, он был вполне удовлетворен необычайной скромностью священника. Казалось, этот человек не имел никакого злого умысла, у него был глуповатый и наивный вид.

Прошло три дня. Теперь уже двое священников стояли в вестибюле. В этот день Паганини чувствовал себя хуже, кровь полила у него горлом, носом, даже из ушей. Желтые руки хватали одеяло, и наступало беспамятство. Доктор ничего не говорил больному о настойчивости священников. Они вели себя довольно грубо. Один громко сморкался и харкал на ковер. Чувство страшного беспокойства охватило маленького Ахиллино. У мальчика были синие круги под глазами, он сбивчиво рассказывал, что кто-то напугал его в саду криками о скорой смерти отца.

— Почему они зовут его проклятым? — спрашивал Ахиллино врача.

В три часа дня состояние Паганини ухудшилось. Он почти не приходил в себя. Тихие стоны сменялись редкими глубокими вздохами. Пытаясь достать скрипку в минуту прояснения сознания, Паганини опрокинул стол с графином воды и сам упал с постели. Никто не пришел ему на помощь, так как в эту минуту помощник префекта полиции стучал деревянным молотком в наружную дверь. Полицейский передал доктору Лаллеману извещение о том, что на Паганини наложен штраф в размере пятидесяти тысяч франков за неявку в королевский суд. Одновременно было вручено приказание местных властей — немедленно явиться в префектуру и отбыть в Париж для тюремного заключения на десять лет. Приговор утвержден постановлением королевского суда 4 января 1840 года.

— Но ведь он болен, он страшно болен! — крикнул доктор Лаллеман, с удивлением и негодованием глядя на префекта.

Представитель полиции пожал плечами и выше Доктор, комкая в руках бумагу, пошел по направлению к комнате, где лежал Паганини. Это было 27 мая 1840 года, в четыре часа пополудни.

Он нашел Паганини мертвым. Извещение королевского суда Франции запоздало.

Но не запоздала синьора Бьянки, вечером она была в Ницце. О, как безутешна была эта вдова, обнимая своего маленького и милого Ахиллино и обливая его голову слезами! Она упрашивала синьора помощника префекта на минуточку допустить ее к вскрытию завещания.

Два жандарма и четыре полицейских чиновника охраняли все выходы из дома, пока помощник префекта опечатывал тяжелыми сургучными печатями пакеты, переписку, ноты, документы, шкатулки. Он хотел опечатать даже корзину с детским бельем.

— Умерло безголосое чудовище,— говорил садовник, когда толпа зевак собралась у подъезда дома Паганини,— умер проклятый дьявол. Не допустил священников, умер без покаяния, как собака. Его труп оскверняет наш город.

Синьора Антония Бьянки тщетно умоляла священника совершить последний обряд над покойным возлюбленным супругом. Ни один священник не шел, у всех на лицах было написано полное недоумение. Синьора тревожилась.

На утро следующего дня прибыли неизвестные люди. «Музыкальная газета» в Париже печатала депешу от 27 мая 1840 года:

«Умер в Ницце знаменитый скрипач Паганини, завещав свое великое имя и несметное состояние своему единственному сыну, красивому мальчику в возрасте четырнадцати лет. Бальзамированное тело Паганини было отправлено в город Геную на родину скрипача. Будем надеяться, что и это сообщение, как и все предшествовавшие сообщения о смерти Паганини, будет счастливо опровергнуто».

Это объявление «Музыкальной газеты» опровергнуто не было. Оно оказалось правильным во всем, кроме последнего—сообщения о погребении в Генуе.

Глава тридцать третья

ЗАГРОБНЫЕ СКИТАНИЯ

— Я привез с собой все необходимое,— сказал доктор после двухдневного отсутствия.

Худое тело Паганини лежало на жесткой деревянной кровати. Рядом стоял стол, накрытый клеенкой. Баночки,

мензурки и тяжелый стеклянный шприц были разложены и расставлены на этом столе. Доктор быстро приступил к своей операции, быстро ее закончил. Методически он вводил в мышцы и под кожу, в вены и в артерии тела Паганини средство доктора Ганналя. Это был раствор хлористого цинка. После двухчасовой работы мышцы приобрели естественную округлость, кожа перестала обвисать и морщиться на теле. Лаллеман не коснулся лица. Затылочными мышцами и волосами скрыты были места самых больших головных уколов. Лицо было спокойно. Телу Паганини не грозило уже разложение, оно могло, постепенно все более и более высыхая, сохраняться, не разрушаясь.

Синьора Бьянки дважды приезжала из гостиницы. Она становилась все мрачнее и мрачнее. Ахиллино был до такой степени напуган кем-то, что после двухчасового припадка, когда он бился ногами и головой об пол, у него появилась пена на губах, и он заснул тяжелым, лихорадочным сном.

Синьора заказала металлический гроб, но в дальнейших хлопотах нигде не могла добиться никакого толку. Странное затаенное молчание говорило о том, что где-то происходила какая-то работа, сделавшая предусмотрительные заботы доктора Лаллемана чрезвычайно необходимыми.

Две свечи по углам зала дымили в полутемной комнате. Так прошло три дня, пока наконец синьора получила категорический отказ местных священников прийти и прочесть отпустительную молитву. Цепкие руки держали Паганини на земле и не позволяли опустить его в землю. После двух дней тщетных просьб синьора подала жалобу монсиньору епископу города Ниццы. На третий день она была допущена в парлаторий местного монастыря и через решетку, издали, увидела осанистого и важного молодого человека, который в резких выражениях дал ей понять, что Паганини, умерший как безбожник и живший как нечестивец, не только прошел мимо благодати святой вселенской церкви, но оскорбил ее грубым отвержением милосердного и снисходительного предложения примириться с церковью. Эта длинная витиеватая фраза, произнесенная через решетку, как заклинание, звонким и резким голосом средневековой литании, вдруг показала синьоре Бьянки всю значительность происходящего.

Она поняла свою бесконечную правоту, заставившую ее отшатнуться от этого человека при жизни. Но завещание!

Завещание наконец было вскрыто. Оно было составлено еще задолго до смерти и подписано 27 апреля 1837 года. Перед расставанием Гаррис сделал все, чтобы оградить имущество своего друга и почитаемого маэстро. Миллионные суммы франков, вложенные в акции и облигации государственной ренты Англии и королевства обеих Сицилий, обеспечивали на долгие годы любимца и наследника, Ахиллино. Но некая дама из города Лукки имела право получить значительную сумму денег на специальные цели, ей одной известные и ей завещанные. Знаки, эмблемы и сертификаты эта дама представит сама, не объявляя своей фамилии. Они подробно перечислены, зарисованы и описаны в завещании.

«Матери моего ребенка,—говорилось дальше в завещании,—вы обязуетесь обеспечить именем моим пожизненную ренту в тысячу двести франков. Маркиз Лоренцо Парента, синьоры Джамбатиста Джордани, Лаццаро Реббичо и Пьетро Торрильяни, генуэзцы, приглашаются в свидетели и в охранители моей воли».

«Странный человек этот Паганини,—писала «Музыкальная газета».—Для того чтобы завершить нелепость своей жизни, он довел до кульминационного пункта нелепость своей смерти. Что может быть смешнее этого завещания: его можно назвать завещанием сумасшедшего, завещанием чудака».

В самом деле, скажет читатель, не странно ли обеспечивать женщину, сделавшую столько вреда своему мужу? Не чуждачество ли синьора Паганини заставляет его завещать восемь скрипок с мировыми паспортами не только друзьям, но и врагам? Почитайте, кому перешли эти дивные инструменты—Амати, Гварнери и Страдивари. Вот имена восьми скрипачей, получивших по завещанию скрипки Паганини. Это Берио, Эрнст, Липинский, Майзедер, Молик, Оле Булл, Вьетан и, наконец, Шпор. Да, и Шпор является наследником великого маэстро, огромного духа Паганини.

«У меня остается одна надежда,—писал Паганини Фердинанду Паеру,—что после моей смерти оставят меня в покое те, кто так жестоко отомстил мне за мои успехи скрипача, что не нарушат покоя моего и не оскорбят имени моего, когда я буду лежать в родной земле».

Синьор Паганини ошибся. Он лежит, поверженный в прах. Доктор только что снял белый халат. Мертвеца одели и положили в цинковый гроб, напоив страшным питьем из хлористого цинка. Вот, после мирового турнира, этот рыцарь скрипки лежит в гробу. Все ждут, что наконец отворится дверь и войдет черный рыцарь, поднимет забрало и скажет:

— Да, это я враждовал с этим человеком всю жизнь.

Дверь отворилась, и вместо черного рыцаря с опущенным забралом, жестокого и гордого, появился маленький грязный монах с измятой бумажкой в руках. За ним вошли двое неожиданных посетителей. Это были мужья сестер Паганини. Одну из них Паганини вспоминал при жизни, о другой сестре знал только понаслышке. Но в завещании, напрягши свою память, упомянул обеих. Появился и Андреа Паганини, объявивший себя самым родственным из родных, хотя нигде ни разу сам покойный скрипач его не упоминал. Семья католических мещан бросилась на растерзание наследства умершего скрипача.

Монах с беспокойной ласковостью взгляда был похож на переодетого зверя. Он бегал глазами по комнате, но ни на ком не мог остановиться, что-то, по-видимому, хотел спросить и, сложив руки на животе, быстро-быстро крутил палец вокруг пальца. Осмотрев комнату, этот монашек спросил, кто хозяин дома. И, не увидев хозяина, с каким-то загадочным и угрожающим видом подошел к дверям. Открыл дверь, чуть раздвинул портьеры и занавески, увидел Ахиллино Паганини и поманил его пальцем. Мальчик вошел и непринужденным, простым движением отодвинул портьеру; задержав ее левой рукой, он большими глазами смотрел на монаха. Монах засуетился. Оставив комнату, он ринулся к выходной двери и исчез. Через минуту донеслись его дикие восклицания, обращенные к толпе. Господин Сержан, бледный, с трясущимися губами, вошел в комнату. Он подошел к Ахиллино Паганини и шепотом произнес какую-то очень короткую фразу. Щеки Ахиллино запылали, он ушел во внутренние комнаты дома господина Сержана.

В это время чудовищное зрелище представлял собою подъезд дома, где жил Паганини. Маленький монах в грязной одежде, стоя на верхней ступеньке лестницы, кричал толпе, собиравшейся у крыльца, что за этими дверями лежит страшный безбожник, отвергнувший по-

кровительство и помощь святой церкви. Этот колдун, этот чародей питался мозгом младенцев и сделал струны своей скрипки из кишок убитой и замученной им жены. Монах сыпал клеветническими заверениями и говорил главным образом о том, что если человек имел дерзость отвергнуть помощь святой церкви, то он не только оскорбляет этим свое собственное тело после смерти, но и предает проклятию дом, в котором он находится, местность, где он умер, город, в котором он жил, кладбище, на котором его похоронили. Он говорил недолго, но настолько выразительно, что толпа, постепенно выраставшая до огромных размеров, была возбуждена до последней степени.

Старый дом был окружен со всех сторон. Пылкие парикмахеры, бакалейщики и клерки, женщины легких профессий, продавщицы маслин и козьего молока, крестьяне, холившие свои виноградники,—все верные сыны католической церкви образовали цепь и окружили этой цепью проклятый дом, где лежал демон в цинковом гробу. Они требовали выдачи трупа и предания его огню. Подняв придорожные камни, вооружившись кольями, мотыгами, кирпичами, чем попало, они двинулись к последней обители великого скрипача, угрожая снести до основания дом, в котором лежит его проклятое тело.

Почтенный господин Сержан не успел опомниться, как в окна полетели камни и на крыше оказались бойкие, бедовые ребята, владельцы соседних голубятен. Все это ломало рамы, выбивало стекла, осаждало дом, где ни в чем не повинная груда костей и оцинкованных хлорированных мышц напоминала о том, что умер затравленный французскими банкирами и римской церковью величайший скрипач, какого когда-либо видел мир,—Никколо Паганини.

— Где это чудовище? — кричали голоса. — Покажите его нам!

— А вот мы сейчас его покажем! — раздавались голоса в другом конце улицы.

Но в эту минуту небесное зрелище остановило толпу. Молодая красивая синьора в розовом платье, с огромной пальмовой веткой в руках, стояла перед толпой на верхней ступеньке лестницы, ведущей в дом.

— Тише, — произнесла эта женщина и повысила голос. — Вы видите, что ваше волнение напрасно: я жива,

вы видите, что мой покойный супруг, великий скрипач Паганини, лежащий в этих комнатах, не делал скрипичных струн из кишок своей жены. Я—жена покойного скрипача. Не моя вина в том, что он по недосмотру окружающих его докторов не мог приобщиться святым тайнам и воссоединиться с церковью. Я прошу вас разойтись и не тревожить праха усопшего.

Толпа отпрянула. Черепицы крыши, валявшиеся на тротуаре, и осколки стекол свидетельствовали об успешном начале операции.

Господину Сержану было не по себе. Странные слухи о магии и колдовстве обежали все побережье, надо было принимать какие-то меры.

Господин Сержан невольно вспомнил былые времена, когда он стоял в карауле около трупа зарезанного Марата и утешал Симонну Эврар, уроженку парижских предместий, которая разделяла трудный путь и бессонные ночи великого Марата, Друга народа. Он и теперь считал своим долгом охранять безутешную вдову замученного Паганини. Но тогда молодой, семнадцатилетний гвардеец гражданин Сержан готов был отдать всю свою кровь революционным Секциям, и гражданка Эврар могла рассчитывать на то, что мальчишка Сержан отдаст свою кровь до последней капли на защиту тела Марата, если уж случилось такое несчастье, что аристократка Шарлотта Корде ударила ножом в сердце Друга народа.

А теперь этот старый человек в темно-зеленом сюртуке бегал по комнатам и не знал, что ему делать. Дымятся свечи с обеих сторон на двух концах гроба Паганини. Синьора Бьянки безутешна. И мальчик!.. Ах, какой удивительный мальчик! И как жаль, что в этом возрасте выпало ему на долю такое горе... Но дебелая и пышнощеклая синьора Антония Бьянки нисколько не была похожа на Симонну Эврар.

Под утро новая толпа народа собралась у подъезда, и когда господин Сержан вышел из двери, бойкий семинарист ловко попал булыжником ему в глаз. Господин Сержан упал, за первым ударом последовал второй, потом набросилась толпа, и через десять минут господина Сержана, окровавленного, избитого, с переломанными костями, унесли в госпиталь.

К счастью, на следующий день появились душеприказчики, отмеченные в завещании, и начался настоящий торг с духовными властями города Ниццы.

Ночью в гостиницу, где проживала синьора Бьянки, явились трое неизвестных людей и предложили, ввиду чрезвычайных осложнений с погребением синьора Паганини, а в особенности ввиду того, что, вероятно, жизнь покойного супруга была ей самой неизвестна, отвезти синьора в укромное и тихое место в сердце французского королевства и там похоронить тихо и бесшумно. А недели через две-три молва затихнет, и можно будет не возобновлять печальных разговоров.

Белолицый худой человек с необыкновенно симпатичным лицом, чарующе спокойным и ясным, совершенно покорила синьору Бьянки.

— Что же,—говорила она,—я согласна.—И, как опытная хозяйка, спросила при этом:—Я не знаю, как и кого за это вознаградить?

Но тут выступил добродушный и спокойный человек, он говорил:

— Знаете что, сударыня, я похороню его у себя, мне придется претерпеть то, что предвещают наши духовные лица. Но что же делать, я согласен, лишь бы только была обеспечена моя семья.

— Подождите,—сказала синьора и вышла из комнаты.

В соседнем номере гостиницы спал Ахиллино. Неузнаваемо повзрослевший за эти дни, мальчик уже вполне отдавал себе отчет в том, что раскрыла ему жизнь. После первых припадков помешательства он сделался меланхолическим, тихим ребенком и вполне понял и оценил все могущество церкви, предписывающей абсолютное повиновение авторитету даже тогда, когда здравый смысл и все существо человека протестуют.

Мать разбудила и привела его, в детском халатике, в туфлях на босу ногу.

— Ахиллино,—сказала синьора Бьянки,—мы с тобой оба являемся жертвой отцовского безумия.

Ахиллино опустил голову. Он молчал и ждал, что скажет женщина дальше.

— Итак,—сказала синьора,—вот этот человек,—она резко подчеркнула это слово, указывая на родного сына,—вот этот человек, который может располагать средствами.

Ахиллино поднял глаза на того, к кому были обращены слова матери. Синьора Бьянки объяснила:

— Он хочет похоронить отца тайком где-то в центральных провинциях.

Маленький Ахиллино посмотрел на этого человека.

— Ну, хороните. Хотя отец завещал похоронить его в Генуе. Должно быть, он не знал, что это будет так трудно.

Синьора Бьянки, обращаясь к сыну, сказала:

— Но надо платить деньги.

— Сколько?

Быстро карандаш начертил что-то, и синьора прочла: два с половиной. Это была только цифра два и потом дробь: половина.

— Не понимаю,—сказала она.

— Два с половиной франка?—спросил Ахиллино, и вдруг вся его детскость сказалась в этом вопросе.

Посетители переглянулись горестно. Странная улыбка прошла по их лицам. И только тот, кто написал эту цифру, сипло захохотал.

— Две с половиной тысячи франков?—спросила синьора Паганини с надеждой в глазах.

Опять молчание.

Посетители встали.

— Синьора и вы, молодой синьор, отдавайте два с половиной миллиона франков—все, что вам завещано. А иначе будет плохо и вам и вашему папаше...

...Завещание не было утверждено. Наступила новая работа для душеприказчиков синьора Паганини, тихих буржуа города Генуи, и для тех, кто бескорыстно хотел помочь,—для маркиза Сезоля и графа де Местра, которые считали себя достаточно авторитетными представителями легитимистских партий на юге Франции. Сезоль и де Местр посоветовали душеприказчикам, поименованным в завещании Паганини, подать жалобу в гражданский трибунал города Ниццы. Обвинение Паганини в колдовстве, в магии и чародействе в середине XIX столетия, по их мнению, звучало диким отзвуком невежества средних веков. Но судебный трибунал города Ниццы полностью утвердил постановление монсиньора епископа города Ниццы Антонио Гальвани и даже усугубил кару.

И цепь замкнулась на протяжении всей Франции. Секретные инструкции, протоколы и циркуляры запрещали хоронить покойного Паганини в какой бы то ни было стране, где есть крест Христов.

«Да не будет он предан земле кладбищенской, городской, частной и государственной, помещичьей и крестьянской, дворянской и графской, в лесах и полях, в вино-

градниках и фруктовых садах, у дворян в имениях или у купцов в городах, где бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом, а если тайно это свершится, то да будет прощен от всех грехов тот верный сын церкви, кто выроет это дьявольское тело из земли, и выбросит из гроба, и развеет по ветру».

Префект полиции и маленький монах объявили дом господина Сержана подлежащим передаче в ведение города. Был произведен обыск во всех комнатах, и, пока господин Сержан находился в больнице, повинувшись массовому движению населения, господин префект города Ниццы со скандалом выволок гроб Паганини и поместил его в главном госпитале. Но верный сын церкви, главный врач, ненавидевший доктора Лаллемана, ничего не понимавший в музыке и больше всего дрожавший за свою шкуру, лечивший крестьян святою водою, а горожан — касторовым маслом, потребовал, чтобы в мгновение ока гроб был вынесен из госпиталя, ибо госпиталь есть место для восстановления здоровья, а не для похорон гнусных покойников.

Дорога на восток по каменистому берегу моря была чрезвычайно трудна. Восемь человек и впереди мальчик с фонарем, Ахиллино, измученный, с израненными коленями, шли, сопровождая гроб.

Дождь, гроза, буря и морской прибой провожали тело Паганини из Ниццы на восток.

Наступило серое и туманное утро. Горячее солнце накаляло воздух. Стало трудно дышать, в горных ущельях носильщики обессиливали. Маленький Паганини смотрел на то море, которое еще недавно видели глаза его отца. Мачеха, как он называл синьору Бьянки про себя, неподалеку разговаривала с красивым черноусым гробовщиком. Этот парень в черном цилиндре, в одежде с серебряными галунами, стрелял в нее глазами и указывал на горное ущелье, расположенное неподалеку от дороги. Ночь провели в этом ущелье.

Вилла Франка, лазарет, при лазарете — морг для утопленников, рыбаков и для тех, кого убили папские жандармы или почтенные бандиты больших дорог. В этом лазарете, среди трупов убийц, воров и проституток — цинковый гроб. Но там оставаться долее двух дней невозможно. Ахиллино один ездил в Польчеверу около Генуи и просил разрешения отвезти отца на знаменитое генуэзское кладбище, где стоят лучшие памятники. мра-

морные скульптуры, украшающие могилы знаменитых людей. В Польчевере вообще не знают, кто такой синьор Паганини, но напуганы холерой и боятся всего, что, по мнению горожан, ее разносит.

Мальчик обходит дома именитых граждан и властей. С высокомерным или снисходительным видом рассматривают с ног до головы юного пришельца:

— Паганини? Не слышали.

Наконец в погребке Вилла Франка за огромную сумму наличными удастся получить приют для гроба синьора Паганини. Долгое путешествие по берегу Средиземного моря. Мрачная и тяжелая жизнь.

Синьора Бьянки, увидя, что ей не по пути с маленьким сыном, внезапно исчезла с нотариусом из Польчеверы, вытеснившим из ее сердца гробовщика. Мальчик остался один. Рядом с ним шагает высокий человек, похожий на парикмахера, приходившего к отцу на улицу д'Анфер в Париже. Это синьор Андреа Паганини; он хлопает Ахиллино по плечу и говорит:

— Подожди, еще увидим хорошие дни!

На побережье от Марселя до испанских берегов и от Марселя до Генуи были испытаны все средства подкупа.

Ночью, на пути к испанскому берегу, почти у самой испанской границы, появляется грязный высокий человек со сросшимися бровями. Он узнает историю этого страшного путешествия, похожего на странствования Изабеллы Кастильской, матери Карла V, скитавшейся за гробом своего мужа и ожидавшей его воскресения.

В это время на севере, в одной из столиц, темноглазый и сумрачный человек, продолжавший дело гениального Паганини, Франц Лист, говорил:

— Нет, не воскреснет Паганини!

Но появился странный человек со сросшимися бровями и предложил мальчику и его спутнику тридцать тысяч франков, лишь бы они отдали ему тело синьора.

— Не пройдет года,— говорил он,— как этот скрипач снова появится в Европе. Я его знаю, он воскреснет.

Ахиллино, сморщенный, хилый, с лиловыми кругами под глазами и желтыми пятнами на щеках, полный ужаса, слушал этого странного человека.

Утром какой-то новый спутник, присоединившийся к траурной процессии семьи Паганини, пояснил:

— Это чудовище, этот браконьер—это просто Агасфер, явившийся к вам. Это содержатель подвижных

кунсткамер. Вы хорошо сделали, что его не приняли, иначе ваша сделка с ним воскресила бы не вашего отца, а молву о том, что умерший Паганини — колдун, отравляющий Европу и заражающий чистый воздух нашей страны дыханием, от которого виноградники перестают родить.

Вот наконец берег и за волнами моря — остров. Матросы на берегу у костра предлагают остановиться, разделить их скудный ужин из фрутти ди маре, из плодов, приносимых морем. Ахиллино и синьор Андреа садятся у костра.

Ночью гроб Паганини по приказанию капитана неизвестного корабля перевозят на остров Сен-Фереоль. Если кто-нибудь был в этом месте Средиземноморья, то, высаживаясь на маленьком одиноком острове, вероятно, видел в пещере, словно сделанной нарочно над морем, место, где висел на цепях гроб Паганини.

Власти проведали о том, что Ахиллино похоронил отца на острове. Но юный Паганини не дремал. Теперь уже меланхолический, полупомешанный юноша, за эти годы он перебивал всюду.

Вот она, светлая юность Ахиллино: она растрчена на чтение пергаментов и старых книг, энциклик и булл, канонических правил, книг в пергаментных переплетах, древней, старой и новой печати. Ахиллино в Риме проводит дни в изучении параграфов и пунктов, глав и разделов, отделов и схолий, короллариев и аргументов, доказывающих его право предать тело отца земле.

Папский мажордом Маркезе приглашает его к обеду. Тонкие вина, прекрасные кушанья, музыка, пение, пляски; прелестные девушки, готовые на все и ничего не требующие, приходят тревожить сон Ахиллино в Трастеве. Легкий шепот на ухо говорит ему о том, что Ахиллино — дурак, Ахиллино — ступидо бамбино. Надо просто хорошо заплатить римской церкви. Отец будет похоронен, и сын будет доволен.

— Но как же это: просто за деньги? — спрашивает Ахиллино.

На это ответа нет.

Снова барка, и паруса, и ночевка на палубе. Скудный свет факелов, табак и спирт, рыбы кости и пьяная ругань матросов.

Бордигера, Сан-Ремо, порт Морис и, наконец, Савона.

— Постранствуй после смерти так же, как римский первосвященник странствовал при жизни,—говорит Андреа, хлопая по плечу Ахиллино Паганини и стучая кулаком по гробу великого скрипача.

Но синьор Ахиллино Паганини теперь обладает купленным маркизатом, он — эччеленца; прошли годы, когда можно было над ним смеяться, он — один из лучших знатоков канонического права во всей Италии.

Церковь «Стеkkата» в 1853 году возносит молитву об отпущении грехов неслыханному грешнику. Миллион сто тысяч франков потекли золотым потоком по каналам консистории римской апостолической курии. Еще немного, и будут выжаты последние соки из этого Ахиллино.

Зрелый муж, не лишенный сумасбродного, меланхолического величия, маркиз Ахилло Паганини обращается к римскому первосвященнику с просьбой о выяснении загробной судьбы отца. И, как это ни странно, римский первосвященник, отвергая все предшествовавшие постановления, требует, чтобы два каноника, выехавшие из Рима, определили, насколько был повинен в ересях покойный отец, безвестный и презренный скрипач: надо сделать это ради сына, знаменитого Ахилло Паганини, верного сына церкви, каноника часовни «Стеkkата» в Парме, архидиакона римской церкви.

— Это пустая форма,—говорили маркизу Ахилло в Риме.

Но пустая форма растянулась ровно на двенадцать лет. Синьора Паганини к этому времени раза три-четыре зарывали в землю и выкапывали обратно.

И пока два каноника ездят по всем городам, где давал концерты покойный скрипач, синьор Ахилло успевает покрыться морщинами.

Наступил 1876 год. Из склепа на вилле Полеври гроб тайком перенесли в Парму, где впервые поставили в каменном склепе на кладбище. Но прошло еще семнадцать лет, прежде чем римский папа разрешил предать это тело земле.

Наступил 1896 год, когда впервые владелец виллы Гайона въехал — в цинковом гробу — в свое имение.

Седоволосый, желтолицый, огромного роста хилый старик, с опухшими веками и нависшими бровями — кавалер ордена святого Георгия, маркиз Ахилло Паганини стоит со свечой среди кипарисов. В маленькой ограде высятся восемь колонн. Над архитравом вздымается

легкий купол, по фронтону — большая надпись: «Никколо Паганини».

Синьора Бьянки давно похоронена на севере Франции.

Маркиз Ахилло Паганини ждет прихода священника. Рядом с ним стоит венгерский скрипач Ондричек и играет раздирающую душу мелодию памяти Паганини. Потом скрипач уходит. Синьор Ахилло боязливо озирается. Свеча наполовину сгорела, а священника все еще нет. Неужели и в этот раз опять какое-нибудь новое вмешательство?

Но вот наконец приходит этот вершитель судеб. Суровый, грубый, с резкими движениями, с сознанием своей власти над существом человека. По всем без исключения правилам святой римской католической церкви происходит полное погребение.

Внезапно прибегает синьор Андреа Паганини:

— Этот негодяй генуэзец не соглашается платить двести тысяч лир! Он говорит, что эти ордена, медали, булавки, иголки и запонки не так уж ему необходимы. Чего они от нас хотят, подлецы?

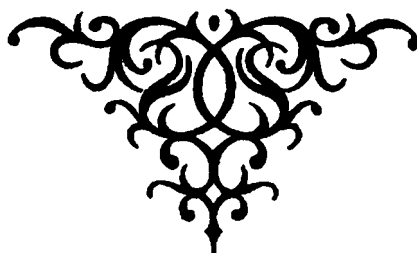
— Тише,—останавливает его Ахилло Паганини.— Вы и без того разменяли память моего отца.

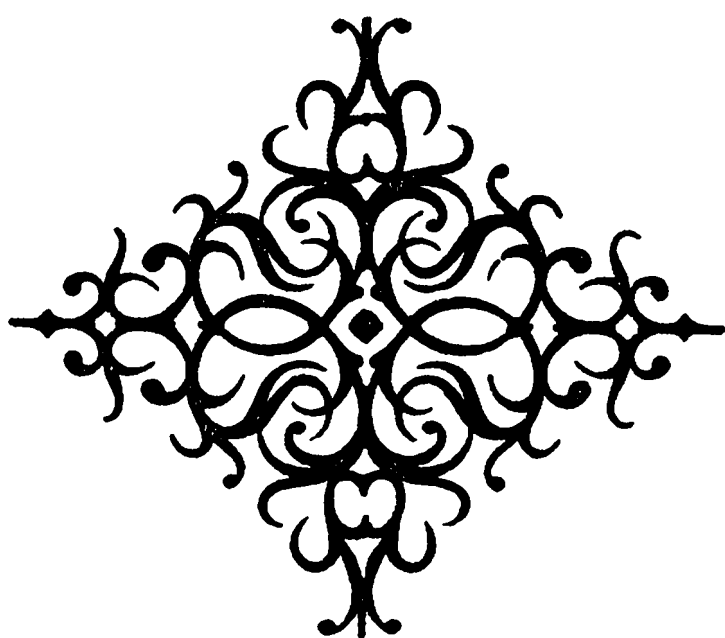
Погребение закончено. В большой зале виллы Гайона собираются гости. Прошло пятьдесят шесть лет после смерти отца, и невероятным упорством маркиз Ахилло Паганини добился своего—его отец наконец зарыт в землю и смешался с прахом своей родины. Вот сидит священник, который говорит, что душа нераскаявшегося грешника теперь прощена богом и радуется радостью ангелов.

Маркиз Ахилло тихо прикладывает платок к глазам, а когда высыхают слезы умиления, он подсчитывает оставшиеся деньги и с ужасом думает о том, как дорого обходится людям воссоединение с католической церковью и как тяжело ложатся на детей грехи отцов.



БАЙРОН







ПЕРВАЯ ССОРА С МИРОМ

Пусть читатель перенесется воображением в Англию к зимним дням 1811 года и представит себе дорогу, покрытую снегом, а на ней большую карету, запряженную шестеркой почтовых лошадей, пусть он представит себе пассажира, бледного, с большими черными глазами, в зимнем плаще с пелериной, с меховой муфтой в зябнущих руках. Так читатель познакомится с человеком, о котором написана эта книга. Таким описывают Байрона люди, встречавшие его в этот день. Молодой лорд, вместо того чтобы ехать в собственном экипаже, едет с пассажирами в обыкновенном почтовом дилижансе. Ему двадцать три года. Он только что вернулся из путешествия по Востоку. Он ничем не знаменит. Одинок. Умерла мать, сломленная бременем непосильных долгов. Умер дальний родственник. От него молодой Байрон унаследовал полновесный баронский титул, легковесное наследство и развалины векового замка с холодным камином, протекающими потолками, столетним парком и ручным медведем.

Еще не успел молодой лорд войти во владение Ньюстедским аббатством, еще не успел запечатлеть громкими и звучными строфами новой поэмы свои впечатления от Европы, охваченной пожарами войн и революций, как ему пришлось выполнить первую обязанность лорда, вошедшего новичком в верхнюю законодательную палату,— выступить с первой, так называемой «девственной», парламентской речью. Среди многих вопросов, занимавших любого английского политика тогдашнего времени, молодому лорду легко можно было растеряться, если, конечно, он не безразлично относился к своему выступлению.

Но Англия того времени жила особенно напряженной политической жизнью. Потрясающие события Великой французской революции нашли себе отклики в английской общественности. Специфические английские экономические затруднения, связанные с наполеоновской блокадой и кризисом английского сбыта, приняли особо острый характер в связи с общеевропейским кризисом 1811 года. Помимо рабочих волнений в больших фабричных городах Англии, началось брожение умов и в средних классах английских городов. В самом Лондоне было раскрыто «Общество друзей конвента». Молодые аристократы из числа тех, кто не довольствовался спортом и домашними делами, охотно входили в такие организации, как «Гемпден-клубы», как бы присоединяясь к протесту старинного Гемпдена, который осмелился из принципиальных соображений отказать королю в платеже корабельного налога, установленного без согласия парламента. Однако чем шире разворачивались военно-революционные события в Европе, тем реакционнее становилась Англия. Превратившись в центральный штаб европейских объединений против Бонапарта, ловко пользуясь чужими военными услугами, островная держава удерживала колоссальное владычество на морях и с особой бдительностью препятствовала проникновению новых мыслей и революционных идей в «милую старую Англию».

Байрон, три года не бывавший в Англии, перед поездкой на Восток успевший прочесть Вольтера, Руссо — энциклопедистов Франции, был уже человеком новой формации. Простое соприкосновение с военными событиями на территории Испании и Португалии, где английские войска под видом защиты пиренейской независимости соревновались с французскими в грабежах и угнетении испанских и португальских сел и городов, — уже это одно скептически настроило молодого Байрона по отношению к английскому оружию вообще. Вот почему мы не увидим Байрона патриотически настроенным, равнодушным лордом, выбирающим для первой парламентской речи безразличный объект. Наоборот, его выбор показывает и беспокойный ум, и остроту взора, редко свойственные представителям аристократической молодежи Англии, в которых воспитанное чванство и въевшийся в кровь консерватизм тормозят всякое живое движение мысли. Байрон из всех вопросов, подлежащих

обсуждению в палате лордов, выбрал вопрос о шестнадцатом, самом ярком, восстании ноттингемских ткачей.

Для того чтобы выступить, Байрон считал необходимым обладать исчерпывающими материалами об этом восстании. Но перед ним оказались только официальные сообщения, суммирующие впечатление от побега полиции, от вызова войск, от выстрелов, виселиц и казней. Лорды Райдер и Эльдон полагали этот материал вполне достаточным для того, чтобы внести законопроект (билль) о применении смертной казни в качестве кары рабочим, выступающим против хозяев и ломающим ткацкие станки. Байрон этот материал полагал совершенно недостаточным, ибо он решил защищать право ткачей на труд и жизнь.

Такова была причина, заставившая молодого лорда выехать по зимней дороге из Лондона в Ноттингем.

Этой поездке предшествовала, правда, еще одна поездка, в Ньюстед, после которой Байрон очень настроился.

По старым, узаконенным обычаям парламента всякий лорд, появляющийся в палате впервые, должен быть представлен одним или двумя старшими лордами, как новичок. Но такого лорда, который пожелал бы представить Байрона в палате, не нашлось. Байрон пришел один и умышленно с опозданием, прихрамывая, поднялся по лестнице и проследовал мимо негодующего спикера. В полутьме огромного зала раздавалась речь министра Персиваля. Байрон не сразу оглядел круги сидящих старых британских сановников. Красивый юноша спокойным взором обвел сотни лиц и не спеша занял крайнюю левую скамью третьего ряда. Этот выбор встретили саркастическими улыбками: бедный лорд занял место на скамьях оппозиции. Вот он уже встал и, взглянув на карманные часы, решил, что двух минут вполне достаточно для первого визита в палату лордов. Потом из всей массы предложенных биллей он выбрал для своей вступительной речи билль о казни ткачей и ушел. И вдруг, как бы вне всякой связи с этим выбором, Байрон внезапно получил предложение представить, в силу происходящей проверки полномочий, сведения о законности брака своего деда. Таким образом, могло сорваться не только намеченное выступление по делу о ткачах, но был поставлен под угрозу самый вопрос о титуле Байрона, а следовательно, и о том, может ли он вообще принимать

участие в законодательстве страны. Работа по розыску необходимых документов стоила дорого и требовала времени. Денежные дела были плохи. Байрон поехал сам рыться в семейном архиве.

Пусть читатель вместе с Байроном ознакомится с этой грудой документов из ранней биографии «бедного лорда»...

Вот он обнаружил переписку матери, предшествующую разрыву с отцом. Там мать упрекала его отца, Джона Байрона, не только за себя, но и за леди Коньерс, первую жену Джона Байрона, которой «жилось не сладко» по тем же причинам, по каким плохо живется и ей, с тех пор как она из мисс Екатерины Гордон превратилась в леди Байрон — жену «самого беспутного из англичан, закруживших свою пьяную голову среди парижских вертопрахов».

Вот документ о рождении Августы Байрон 26 января 1784 года. И тут же письмо первой жены Джона Байрона, рожденной Коньерс, с упреками по адресу отца, даже не взглянувшего на новорожденную дочь. А вот письмо, переданное с оказией из французского города Валансьена, от Джона Байрона. Он пишет, что ему известно о рождении 22 января 1788 года сына Джорджа Гордона Байрона, он поздравляет свою супругу с этим событием; но, по-видимому, он не знает, что она живет в доме номер шестнадцать, на Холл-стрит, неподалеку около Оксфорд-стрит, и сообщает неверный адрес, по которому ее будет искать человек, отвозящий письмо. Джон Байрон жалуется, что совершенно разорен, что в Париже невозможно жить: «...разрушена Бастилия, бунтует чернь, завладевшая властью». Политика и кредиторы выгнали Джона Байрона из Парижа. Джон Байрон просит денег. Но — увы! — бедствия обрушились на госпожу Байрон; она тоже подсчитывает последние медные монеты, но она «не тратит их в игорных домах и притонах Парижа с промотавшимися французскими аристократами».

Джордж Гордон Байрон, откидывая пачки писем, вспоминает, что мать с ненавистью говорила о французском дворе, о нравах парижских дворян. Она оправдывала казнь Людовика XVI и со странным увлечением говорила о «вождях народа».

Следующие кипы писем: вот исполнительные листы,

вот опись имущества. Мисс Екатерина Гордон оф-Гайт, считавшая себя праправнучкой Анны Изабеллы Стюарт, дочери Иакова I, короля шотландского, стала нищей.

Ее муж в 1791 году, скрываясь от долгов на чердаке у валансьенского булочника, умер. Лучше не возбуждать вопроса о наследстве, но надо воспитывать сына. На берегу Северного моря, там, где часто туман заволакивает горизонт и волны ударяют в меловой берег, в маленьком Абердине, госпожа Байрон поселилась с сыном.

Отец поэта умер тридцати шести лет, когда госпоже Байрон исполнилось двадцать шесть лет. Невзгоды и семейная жизнь и нездоровая наследственность сделали госпожу Байрон крайне раздражительной, а в порыве гнева доходящей до иступления. Нечто похожее на утробный паралич поразило сына, когда она бежала из Парижа в Лондон: мальчик появился на свет хромой. Он прихрамывал всю жизнь той незаметной хромотой, которая субъективно переживается гораздо сильнее, нежели бросается в глаза постороннему наблюдателю. Мать действительно стремится воспитать сына, но слишком многие обстоятельства колеблют ее семейный авторитет. По каждому поводу госпожа Байрон поднимает крик, сбегаются соседи, но это не прекращает воплей. Все более и более повышая голос, госпожа Байрон называет сына «выродком». Не стесняясь присутствием посторонних, она то и дело кричит, что леди Коньерс была «разводкой», что она бессовестно обманывала мужа. Родственники отказываются платить долги Джона Байрона, который прокутил состояния двух жен и угрожает спокойствию всех родных. Дядя отца, лорд Вильям Байрон, не желает знать ни второй жены своего племянника, ни ее сына.

Все письма говорят о нищете. И ни намек на законность венчания деда его, «капитана бурь». Байрон слышал неоднократно, что Foulweather Jak был «беспорядочным человеком на суше и на море», может, «действительно он не венчался с мисс Треварион», и тогда прощай политическая карьера поэта и лорда.

Но если нет никакого намека в переписке отца, то, быть может, есть какие-нибудь указания в архиве дяди отца — Вильяма Байрона? Вот большие пергаменты, вот голубые кожаные портфели, но и в них ничего нет. Нечаянно попавшееся письмо из Франции, в котором отец дает едкий отзыв о характере матери: «Она мила, но ни апостолы, ни ангелы не прожили бы с ней и двух

месяцев, только я один мог выдержать это испытание». А вот перехваченное матерью письмо, в котором сын в письме к Августе упрекает мать за «неудержимую склонность к скандалам» и за то, что она не довольствуется в гневе словом «хромуша», но перечисляет все «преступления Байронов, совершенные от Вильгельма Завоевателя до наших дней». Портфели лорда Вильяма Байрона не содержат документов о дедовском венчании, но зато действительно похожи на скандальную хронику. Вот судебные папки лорда Вильяма Байрона. Нелюдимый и мрачный старик, однажды потеряв рассудок от неимоверного количества алкоголя, поссорился со своим родственником Чавортом и вынудил его принять такие условия дуэли, которые были похожи на убийство. Чаворт умер от раны. И только звание пэра Англии спасло лорда Вильяма. Он избег тюрьмы, но был исключен из палаты лордов и на всю жизнь удален в Ньюстед. Он ведет в родовом замке пьяный образ жизни. Он обижает окрестных жителей и слышать не хочет о маленьком Байроне. «Злой лорд» — эта кличка недаром бросалась вдогонку лорду Вильяму.

Перелистывая страницу за страницей, лист за листом и документ за документом, Байрон вспоминал себя в девятилетнем возрасте, когда красивая Мэри Дефф с насмешкой принимала поклонение влюбленного «хромого мальчишка», испытавшего и первое страдание сердца, и повторное страдание оскорбленного самолюбия. Нянька Майа Грей долго не могла понять, чем обеспокоен ее девятилетний питомец, который сменил бурные порывы детской шалости на печальные уединенные прогулки по морскому берегу.

Каждая папка писем — годы детских воспоминаний. Каждый документ — свидетельство о бурной и мрачной величавости характера предков. Моряки старинных фамилий, капитаны пехоты, полковники кавалерии, нормандские артиллеристы, кутилы, проглотившие в жизни неимоверное количество бочек можжевелевой водки, — все это выходцы из старинной Нормандии. Недаром отец поэта, «шалый Джек», так сдружился с нормандским выходцем, командовавшим французской гвардией, маршалом Бироном, у которого в силу дальнего родства бросил якорь «корабль шалого Джека». Байрон ни разу в жизни не видел своего отца.

А вот письма сестры Августы, которая рассказывает о

возникновении дружбы с дальним родственником, сэр^{ом} Лей. Мать была в ссоре с первой тещей своего супруга. Августа жила у бабушки, леди Хольдернесс. Бабушка не желала знать господу Байрон, и только в четырнадцатилетнем возрасте, в 1802 году, школьник Байрон увидел свою сводную сестру, когда леди Хольдернесс уже лежала на кладбище.

А вот документы, сообщающие о том, что при осаде Кальви в 1798 году сын «пятого лорда», Вильяма Байрона, убит, и вследствие этого шестой титул лорда Байрона неожиданно переходит Джорджу Гордону Байрону, школьнику из Абердина. С замиранием сердца красивый хромой школьник услышал впервые на классной переключке, как надзиратель выкликнул его имя с прибавлением титула, и товарищи, неожиданно услышав об этой перемене, стали вытягивать шеи, чтобы поглазеть на нового лорда.

Байрон перелистал еще несколько папок, размышляя о том, что «это неожиданное титулование» все-таки совершилось, но странно, что у лорда Вильяма после убийства Чаворта не спрашивали документов о законном браке прадедов для удостоверения права на ношение титула. А ему — стоило только заняться для выступления в верхней палате вопросом о восстании ткачей, как немедленно последовал запрос о законности ношения титула и о праве заседать в палате лордов. Титул лорда, шестого барона из рода Байронов, ставшего пэром Англии, Джордж Гордон Байрон носит уже четырнадцать лет. И за все эти годы никто не оспаривал этого титула. Пока в несчастном Ноттингемшире по деревням и лесным дорогам не появились трупы людей, умерших от голода, и скелеты ткачей, объеденных волками. Но ни одной мысли о том, чтобы отказаться от невыгодных поисков и перенести их на более благоприятное время, не появилось у Байрона. Можно было просто не выступать в намеченный день февраля 1812 года, а потом, восстановив полностью права на титул, заняться другим, более спокойным делом, нежели билль о казни ткачей. Но Байрон не свернул с дороги.

...Дожди, мокрый снег и холод вынудили его уйти из большой ньюстедской залы в другое помещение, маленькое и тесное. В антресолях нового Ньюстеда, где сорок восемь свечей языками пламени, колеблемого ветром, плохо освещали старые документы и новые письма,

Байрон продолжал свои поиски с тем бешеным упорством, которое он оценивал в себе как наследство, полученное от предков.

Вот письма школьного директора доктора Глени, у которого он пробыл 1799 год и встретил новое столетие больным, так как нога даже ночью не давала покоя. Байрон мало учился и много читал. У доктора Глени была прекрасная библиотека. Помимо латинских авторов, там было все, что касалось философии: книги Юма, Локка, Беркли, а также английские переводы Вольтера и Руссо. Там была даже вся многотомная французская энциклопедия: «Большой диксионер наук, искусств и ремесл».

Но вот нога поправилась, наступает 1802 год, и после нового увлечения дальней родственницей, Маргаритой Паркер, Байрон находит поверенного для своих тайн в лице своей старшей сестры. Знакомство было кратковременным, и дальнейшие отношения свелись к переписке. Надо было ехать для поступления в другую школу, в Гарроу, где усердно изучали латынь, греческий язык и английскую литературу. Однако лорд Вильям не только не желает принять участия в воспитании маленького Байрона, он не желает даже «знать о его существовании». Так, ставши лордом, юный Байрон остается «захудалым дворянином», болезненно самолюбивым, вспыльчивым, гордо затаившим житейские обиды и чрезвычайно чувствительным. Маленькая девочка Мэри Дефф, затем Маргарита Паркер и наконец Мэри Чаворт нарушают покой мальчишеского сердца до такой степени, что от меланхолической мечтательности маленький Байрон переходит к бешеной раздражительности, если впечатления внешней жизни ранят его душу. В эти минуты мать, принимающая тайком от сына какого-нибудь краснощекого усатого фермера, кажется ему исчадием ада. Начинается ссора, которая сопровождается побегом в соседнюю аптеку: сын спрашивает, не просила ли его мать каких-нибудь сильных отравляющих средств. Старый аптекарь, смотря поверх очков, отрицательно кивает головой, не произнося ни слова. Он знает, что через минуту, подавляя одышку, к нему войдет полнокровная толстая дама и предложит тот же вопрос относительно своего сына.

На почве такой повышенной возбудимости возникла резкая, порывистая доброта Байрона к слабым и больным товарищам в школе, на защиту которых он всегда выступал против сильных и грубых школьников. На этой

почве возникло его болезненное ощущение человеческих страданий вообще. И это чувство осложнялось еще тем, что богатые школьники, дети новых фабрикантов и заводчиков, прекрасно одетые, никогда не нуждавшиеся в деньгах и проводившие время на спортивных площадках Гарроу, делали все, чтобы хромой четырнадцатилетний Байрон всегда чувствовал себя отстающим. Но если плохо работает одна нога, то у красивого, хотя и не в меру толстого мальчика Байрона целы руки. И вот он начинает упражняться в плавании и становится прекрасным пловцом. Он завоевывает себе уважение товарищей, и когда насмешки по поводу его наследственной тучности больно стали колоть его самолюбие, он посадил себя на такую диету, какую при его спортивных увлечениях стрельбой, верховой ездой и плаванием не мог бы вынести никакой другой организм.

Так проходят годы в Гарроу. Адвокат Хансон по поручению госпожи Байрон ведет дело о выделении части наследства и выигрывает большую сумму денег, около тридцати тысяч фунтов стерлингов. Сумма, вполне достаточная для среднего бюджета, однако не обеспечивает молодого лорда.

В октябре 1805 года Байрон поступает в кембриджский Колледж св. Троицы, бывший на положении высшего учебного заведения тогдашней Англии. Там наряду с прохождением наук и очень серьезным чтением Байрон присоединяет к своим спортивным увлечениям изучение бокса, карточной игры и «искусства неимоверного поглощения алкоголя». Между поездками в Соутвелл, неподалеку от Ноттингема, где жила его мать, и кабинетами Кембриджа Байрон занимается впервые писанием стихов. Уже в 1806 году в печати появляются тридцать восемь стихотворений под названием «Мелкие произведения» («Fugitive pieces») — сборник, впоследствии тщательно скупаемый и уничтожаемый Байроном. А через год, ко дню бракосочетания Августы Байрон с драгунским полковником Ли, вышел второй сборник, в сорок восемь стихотворений, под названием «Стихи на разные случаи». Из этих сборников возникли так называемые «Часы досуга». Вот среди семейного архива томик этих стихов, а внутри вложена тетрадь, вырезанная из «Эдинбургского обозрения», с уничтожающей, непристойной руганью по адресу начинающего поэта. А вот и черновики, являющиеся ответом на критику «Эдинбургского обозрения».

Первые сатирические стихи Байрона под названием «Английские барды и шотландские обозреватели». Байрон вспоминает, как первый сатирический размах мысли разбудил в нем дремавшего озорника и насмешника.

Часы досуга, проводимые теперь в Ньюстеде, теряют свой невинный характер. Окруженный друзьями, студентами Мэтьюзом, Гобгоузом, Далласом и Ходжсоном, Байрон то совершает налет на лондонские гостиницы, то, решив с товарищами наказать скучного лектора по греческой литературе, он вводит в лекторий огромного ручного медведя и вступает в пререкания с университетской прислугой на тему о том, имеет ли право этот «благонамеренный и честный медведь получить образование в самом лучшем колледже в свободной Англии».

Так наступил 1808 год. Огромные семейные долги поглотили наследство. Лорд Вильям умер. Арендатор Ньюстеда, лорд Грей, покидая имение, увез все, что мог увезти; расплата с ним также потребовала напряжения средств. И как раз в то время, когда Байрон отпраздновал совершеннолетие, 22 января 1809 года, наступил внезапный срыв настроения. «Бумажные пули», как называл Байрон нападки «Эдинбургского обозрения», посыпались на Байрона именно тогда, когда самонадеянный юноша, считая себя «королем жизни», смело смотрел вперед и не ждал никаких ударов. Но даже такая маленькая приписка на титульном листе «Часов досуга», как «Байрон *Несовершеннолетний*»,—и та вызвала едкие нападки печати, когда через несколько месяцев уже совершеннолетний Байрон появился в Лондоне. Его кололи насмешливые взгляды. О нем говорили как о бедном лорде, «желающем заработать литературой». А когда настал час официального включения его в состав палаты лордов и по традиции два старейших лорда должны были ввести молодого законодателя,—вместо этого официального водворения Байрон получил только печатный устав палаты лордов. Все это промелькнуло перед Байроном заново, когда он пытался разобраться в папках и портфелях в поисках документа, удостоверяющего его право на законодательство.

Так в бесплодных поисках прошло несколько дней. Свидетельство венчания предка своим исчезновением развенчивало потомка. Байрон нервно откидывал папку за папкой. Вот сборы в путешествие. Вот отъезд на Восток. Вот его собственные письма к матери и сестре.

Вот наброски стихов по поводу ограбления лордом Эльджином афинских мраморных храмов «Проклятие Минервы». И вот наконец его собственные письма из Фальмута, куда он приехал 11 июня 1809 года и где сидел перед выездом на Восток, в ожидании попутного ветра, со слугой Флетчером.

Весь архив перерыл, и никаких следов дедовского венчания. И вот, бросив поиски в семейном архиве, Байрон предпринимает дорогостоящие поездки всюду, где могли быть хоть какие-нибудь следы брачной записи Байронов по церквам Англии. В маленькой Корнвальнойской церкви, где венчались все моряки, увозившие девушек за море, после долгих поисков была найдена запись о венчании деда его лорда Байрона с некоей мисс Треварион. После проверки этого документа и длинных пересудов Байрон получил право на титул лорда.

Итак, в погоне за более обширными материалами для выступления по делу восставших ткачей, Байрон направился на место происшествия в Ноттингем. И он не раскаивался в поездке. Он видел нищету по деревням и селам, он слышал и знал, что за 1811 год две тысячи больших предприятий Англии объявили себя банкротами. В морях перехватывали хлебные грузы французский король и его союзники. Но совершенной новостью для Байрона была жизнь самого Ноттингема. Там, где еще недавно богатые крестьяне, фермеры, обитатели сел и деревень, получив из города шерсть и хлопок, работали дома на ручных станках и потом сдавали работу городскому хозяину, лишь изредка вступая в артели в силу соседства или родственных связей, там наступила полная нищета. Ручные станки стояли без дела. Сельские ткачи и прядильщики побросали свои дома. Зато в городах, как Ноттингем, они жили сотнями в отвратительных бараках с земляным полом, со сточными канавами для нечистот, пролегающими через все клетушки этих страшных бараков. Это новая порода ткачей, пришедших из сел для работы под одной крышей ради того, чтобы объединиться перед громадными машинами, работающими паром. Что ни год, то машина становилась совершеннее. Вот станок, за которым один рабочий заменяет собой восемь добротных, хорошо зарабатывавших ткачей. Одна фабрика делает столько в один день, сколько округ делал

раньше в неделю. Голодные и оборванные, нагруженные четырнадцатичасовой работой, эти люди Ноттингема с ужасом смотрят на мир, ожидая, что завтра тихий голос из конторы объявит увольнение новой сотне и новой тысяче, а дальше — голодная смерть и самоубийство целых семей.

Тут неподалеку огромный Шервудский лес. Молва рассказывает о том, что там когда-то жил Робин Гуд — стрелок, защитник бедняков. Первые рабочие объединения связаны были с этой легендой. Из Шервудского леса ждали появления грозного и сильного мстителя за страдания рабочего люда. Называли его имя. Это был некий Нэд Лудд. Его помощники, его вестники, «луддиты», ходили по селам и городам. Часто слышали в лесах и оврагах, на глухих дорогах и по берегам Трента ночную стрельбу, голоса и таинственную маршировку неведомого войска. В Манчестере неизвестные люди врывались на фабрику и тяжелым енохом, как называли кузнечный молот, разбивали станки, трубопроводы паровых машин и даже головы хозяев. Такие же таинственные люди четыре раза проникали в дома Ноттингема, требовали прекращения работы и распространяли таинственные письма из «Конторы Нэда Лудда в Шервудском лесу» в министерство внутренних дел. В местечке Арнольд разбиты енохом шестьдесят вязальных станков, принадлежавших одному из самых ненавистных предпринимателей. 4 ноября был такой случай: вязальщики собрались около Ноттингема, потом, надев маски, вошли с разных концов в город, ворвались в дома предпринимателей и потребовали восстановления в правах всех уволенных рабочих. Мало того, они указывали от имени того же Нэда Лудда из Шервудского леса, что если установка новых «широких» станков будет сопровождаться увольнением рабочих, то пострадают не только станки, но и хозяева станков. Эти люди проходили по Ноттингему с песнями такого содержания: «Пусть пугаются виновники человеческих страданий, но честному труженику нечего бояться ни за жизнь, ни за имущество. Мы ненавидим только *широкий* станок, на котором хозяева выткали нам узкую плату. Смерть машинам, убивающим людей, и наш Лудд, ломая все преграды, исполнит приговор рабочей семьи».

Прошло два дня. По дороге из Сеттона на Басфорд поползли сквозь туман вереницы угрюмых крытых пово-

ок. Те же люди в масках подстерегли эти возы, остановили лошадей, разгрузили подводы, на которых оказались ненавистные «широкие» станки. Загорелись костры, загудели молоты. Лошади вернулись к удивленным хозяевам с облегченными возами, а замаскированные люди исчезли. И вот отчаянные депеши летят в Лондон. В парламентских регистрах значатся донесения агентов: «Невозможно описать состояние умов в этом городе в течение последних четырех-пяти дней: день и ночь парадными маршами идут войска. Разводы на маленьких площадях создают впечатление начавшейся войны. Луддиты переправились через реку Трент, вошли в селение Реддингтон, сломали там четырнадцать станков, оттуда пошли в Клифтон и разрушили там все станки, оставив в целости только два. Клифтонская полиция, перепуганная насмерть, отправила в Ноттингем извещение с просьбой послать эскадрон гусар. Но в Ноттингеме не могли собрать эскадрона. Послали сколько могли, исхитрившись так, чтобы одна часть гусар организовала погоню за луддитами, другая разбилась на мелкие отряды у всех переправ и бродов через Трент, чтобы помешать луддитам скрыться. Но это не помогло. Луддиты не растерялись. Лодки, гайно заготовленные по реке, перевезли их там, где всего меньше ожидали речные сторожа».

Сохранился другой документ: секретное донесение городского клерка Ноттингема министерству внутренних дел: «Наши рабочие притворялись доносчиками, и, получив за доносы установленную вами плату, они обращали деньги на защиту и спасение захваченных рабочих». А когда действительные доносчики выдавали рабочих, причастных к движению, то после этого они совершенно лишались возможности оставаться в Ноттингеме и вынуждены были переселяться в другие графства. Другой клерк в секретном донесении парламенту сообщает, что некая женщина из Ноттингема по дороге в полицейское управление, куда она шла для дачи показаний против луддитов, была замечена рабочими и просто горожанами, которые у самого входа в полицию бросились на нее с целью убить. Полиция оказалась бессильной, и только выстрелы военного патруля спасли жизнь доносчице. Судья Бейли боялся выносить приговоры. Владельцы ноттингемских фабрик осаждали Лондон жалобами на трусливого судью.

И вот как раз в это время лорд Байрон в целях расследования приехал на место происшествия. Ему представилась странная картина. Голубая речка, рыжая глина и прошлогодняя зелень выглядывают из-под снега по обоим берегам навстречу скупым лучам зимнего солнца. Через мост в красивых медных киверах с султанами, в красных мундирах, под звуки полкового оркестра и длинных индийских барабанов проходят гвардейские гусары в пешем строю. Далеко на берегу Трента горят костры, белеют палатки из русской парусины, играют сигнальные трубы; флажки развеваются над прибрежными домами в доказательство того, что здесь находится штаб кавалерийских частей майора Стерджена, победоносно захватившего поселок на левом берегу Трента в целях охраны британской короны и спокойствия лордов Англии. Четыре пушки смотрят с холма на рабочие хижины и улицы, запруженные ткачами.

27 февраля 1812 года, в 4 часа пополудни, Байрон закрыл кожаный портфель с последней корректурой своей первой книги, выходящей в Англии после приезда его с Востока. Пара лошадей доставила его к указанному сроку в здание палаты. Скорее прикрывая бешенство, чем разыгрывая спокойствие, новый лорд вошел на трибуну. Проходя кулуарами, он уже слышал, что вопрос о казни рабочих предрешен, что никто из больших государственных деятелей не будет говорить о рабочем бунте в Ноттингемском графстве. Свидетели «девственной» речи Байрона говорят, что она поразила слушателей необыкновенной уверенностью и красотой своего построения.

Громко и уверенно прозвучала в палате лордов первая длинная фраза, произнесенная Байроном:

— Милорды, предмет, впервые представленный теперь на рассмотрение ваше, хотя и является новостью для этой палаты, однако вовсе не нов для нашей страны. Я даже думаю, что он вызвал самые серьезные размышления у граждан всех классов еще до того, как привлек внимание вашего законодательного учреждения, а между тем только ваше вмешательство могло бы оказать делу своевременную и необходимую помощь.

Если бы Байрон, остановившись, посмотрел в сторону, где сидит лорд Холланд, он заметил бы резкое движение этого человека, показывающего министру Персивалю письмо Байрона от 25 февраля 1812 года. Там, между

прочим, говорилось: «...я считаю ткачей людьми пострадавшими и принесенными в жертву выгодам нескольких предпринимателей, которые обогатились благодаря приспособлениям, лишившим массу ткачей их работы. Вот вам пример: с изобретением известного рода станка один человек в состоянии исполнить работу семи, и, следовательно, шестеро остаются безработными. Следует еще принять во внимание, что полученный таким образом товар гораздо худшего качества; его почти невозможно сбыть на родине, и он быстро фабрикуется с видами на экспорт. Безусловно, милорд, как бы мы ни радовались прогрессу в области изобретений, который может быть полезен человечеству, мы не можем допускать, чтобы человечество приносилось в жертву техническим усовершенствованиям. Поддержка и достаток рабочей бедноты—дело гораздо большей важности для человечества, чем обогащение нескольких монополистов, какими бы то ни было усовершенствованиями в области техники, которые лишают рабочего куска хлеба и делают труженика человеком, не имеющим права на заработок... Причиной моего выступления против проведения билля является его явная несправедливость, несомненная бесполезность. Я очевидец положения этих несчастных людей и считаю это положение рабочих позором для цивилизованной страны. Можно осуждать их эксцессы, но нечего им удивляться. Последствием настоящего билля будет открытое восстание. Несколько слов, которые я намерен сказать во вторник, будут основаны на этих взглядах и наблюдениях, которые я собрал на месте. Я убежден, что наша предварительная осведомленность водворила бы этих людей на места их прежней работы, и страна успокоилась бы. Быть может, еще не поздно; во всяком случае, стоит попытаться. Я полагаю, милорд, что вы не вполне согласитесь со мной в этом вопросе; я вполне искренне подчиняюсь вашему компетентному мнению и опыту, я проведу другую линию аргументации против билля или буду совсем молчать, если найду последнее более разумным. Обсуждая поведение этих несчастных, я верю в существование бедствий, которые должны скорее вызвать чувство горя, чем стремление к наказанию. Я остаюсь с почтением, милорд, вашим покорным и обязанным слугой.

Байрон.

Р. S. Может случиться, что вы, милорд, по прочтении письма сочтете меня слишком снисходительным по отношению к этим людям и назовете, пожалуй, «стачечником».

Байрон продолжал речь:

— Я слышу здесь мнение двух лордов. Я знаю, что лорд Эльдон и лорд Райдер внесли билль о применении вооруженной силы и смертной казни. Они кричат, что «ткачи образовали тайное общество для уничтожения не только своего благосостояния, но и самих средств к нему». Но можете ли вы забыть, что, в сущности, это все представляет собой чистый результат английской политики, разрушительных войн последних восемнадцати лет? Эти войны уничтожили условия спокойного труда, они подорвали ваше благосостояние, они подорвали всеобщее благосостояние. Эта политика, лорды, родилась в Англии одновременно с применением положения «нет больше великих государственных умов!». Это безумная политика. Она пережила мертвецов, чтобы лечь печатью проклятия на живущих, и так, очевидно, будет в Англии в третьем и четвертом поколениях!

Последняя фраза особенно встревожила почтенных лордов. Десятки горящих глаз устремились на Байрона с выражением негодования, десятки старых и лысых голов вышли из полусонного состояния, забормотали, закивали; иные с тревогой, иные с ненавистью смотрели на говорящего, а он продолжал:

— Ведь до этих восстаний ткачи никогда раньше не ломали своих станков; они работали на них, работали до износа, и даже потом сами рабочие чинили свои станки, чтобы, износившись, станки не стали препятствием к работе, дающей насущный хлеб. Что же мудреного в том, что в наши времена, когда банкротство, злостное мошенничество и наглый обман встречаются на каждом шагу, даже в таком общественном слое, который, право же, господа лорды, ничем не отличается от положения здесь сидящих, что, говорю я, мудреного в том, что низшая, хотя, в сущности говоря, самая полезная часть Англии, могла забыть, как говорите вы, забыть свой долг, впад в состояние тягчайшей нищеты. Однако эта рабочая масса, даже под угрозой нищеты, оказалась неизмеримо выше многих представителей вашего класса. Обратите внимание на то, что преступник из аристократов находит средство обходить законы и в то же время придумывает

новые изысканные репрессии, расставляет новые убийственные ловушки для этой несчастной, так называемой «физической силы», которая доголодалась до преступления! Эти люди хотели бы взрыхлить поле, но заступ оказался не в их руках. Они вышли на дорогу просить милостыню — никто им не подавал. Их право на труд, их собственные средства к существованию были отняты, их руки повисли, так как никто не допустил их к работе. Так можно ли удивляться тому, что эти люди пошли по пути восстания, как бы ни сожалели их одни и как бы ни осуждали их другие!.. Я скажу вам, лорды, что сами владельцы предприятий спровоцировали разрушение своих станков. Начатое мною следствие основано на неопровержимых документах, и не имею ли я права потребовать, чтобы вы обратили всю систему ваших взысканий на этих провокаторов. Мне кажется правильным, чтобы нас не приглашали сразу, не изучив подробно всех обстоятельств, к обсуждению билля с поспешностью, ничем не обоснованной и противозаконной, чтобы нас не приглашали сразу предпринять массовые приговоры и апробировать казни, подписанные вслепую.

Вся палата зашевелилась. Люди всех политических оттенков с любопытством переспрашивали друг друга:

— Кто говорит?

— Что это за новый оратор?

— Что это за перенесение революционных речей в палату пэров?

Фамилия оратора шепотами, хрипами прокатилась по скамьям из угла в угол, из одной стороны в другую. Лорд Райдер и сэр Гоксбери в негодовании рвали клочки бумаги, лорд Эльдон сидел красный как рак, с глазами навыкат и, казалось, готов был растерзать Байрона в куски. А с трибуны гремела речь:

— ...Я слышу здесь, что этих людей зовут «черною», отчаянной, опасной и невежественной. Ясно ли вы отдаете себе отчет в том, насколько вы, здесь сидящие, обязаны этой самой «черни»? Эта «чернь» работает на ваших полях, она прислуживает в ваших домах, она управляет вашими кораблями, из нее набирается ваше войско, оттого-то именно она и дает вам возможность угрожать всему миру. Но зато будет время, когда ваше пренебрежение к ее интересам, когда бедствия этого великого множества рабочего люда повергнет этот люд в отчаяние, и тогда это будет живой угрозой вам... Разве

можно превращать в тюрьмы целые графства! Вы хотите воздвигнуть плаху на всех полях, вы уже вешаете людей, как копченую рыбу. Вы хотите восстановить Шервудский лес как место для королевской охоты и как заповедник беглецов, объявленных вне закона. Этими мерами вы хотите избавиться от голодающего населения. Но когда смерть оказывается единственным избавлением для этих людей, неужели вы воображаете, что ваши драгуны могут обеспечить спокойствие Англии? Неужели вы думаете, что то, чего не могли сделать ваши гренадеры, сделают палачи? Авторы вносимого билля могут гордиться тем, что они унаследовали славу африканского царька, записывавшего свои узаконения кровью...

ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬД В ЛОНДОНЕ

Кто этот Байрон, выступающий с такой дерзкой речью?

В ответ на эту фразу, еще долго звучавшую в Лондоне, в одно прекрасное утро марта месяца 1812 года появилось объяснение, сразу заставившее по-новому говорить об авторе дерзкой речи. Вышли две первые песни «Странствований Чайльд Гарольда», которые сразу, по выражению самого Байрона, «застали его знаменитостью». Неожиданность этого успеха обусловлена была и формой и содержанием поэмы. Типичная, с нашей точки зрения, романтическая поэма была написана в старинной форме девятистрочной строфы, в которой чередуются рифмы:

1а 2б 3а 4б 5б 6в 7б 8в 9в.

Это сложное и трудное чередование рифмы так же действовало на воображение читателя, как действует на зрение подкинутая к небу стрельчатая арка из тяжелых гигантских камней.

Со стороны содержания новая поэма Байрона также интриговала и беспокоила читателей. Это была какая-то всемирная политическая география в стихах; в поэме не было ни завязки, ни развязки, ни классического построения сюжета. В «Странствованиях» описывались путешествия юноши (по-английски — child — юноша благородного происхождения, предназначенный к посвящению в рыцари). Но этот юноша, Гарольд, в отличие от обыкно-

венного английского туриста имеет совсем иные, чем тот, побуждения для своих путешествий. Его не гонит политическое преследование, его не интересует путешествие с целью открытий, он не ищет удовольствий в ознакомлении с экзотическим бытом далеких стран. Одним словом, нет у него никаких целей. Он жертва своего внутреннего разлада, своего страшного разочарования, заставляющего бежать от самого себя,— вот причина его скитаний. Им, как впоследствии пушкинским Онегиным, «овладело беспокойство, охота к перемене мест». Недаром Пушкин, рисуя своих ранних героев, хотя бы кавказского пленника, говорил: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи девятнадцатого века». Пушкин полностью развернул этот характер, когда изображал своего Онегина, москвича в Гарольдовом плаще. Потом эти дети Чайльд Гарольда, постепенно вырождаясь, мрачными тенями прошли по всей мировой литературе и сделались главными героями тех писателей, которые рисовали нам образ неприкаянного молодого человека, ищущего себе места в жизни.

Необходимо иметь в виду, что сам Чайльд Гарольд имеет довольно сложную и притом совсем не английскую литературную родословную. В 1774 году в Германии вышла книжка под названием «Страдания молодого Вертера». Ее автором был выходец из буржуазной семьи, ученый, философ, министр веймарского герцога, впоследствии гениальный поэт и великий оппортунист в делах житейских — Иоганн Вольфганг Гете. За пятнадцать лет до Великой французской революции его книжка звучала страшной тоской, выросшей на сумрачной и безрадостной почве самой отсталой европейской страны. Страдания молодого Вертера, его уход из жизни, его представление о человеческом обществе, так похожем на тюрьму, стены которой разукрашены ландшафтами, озаренными солнцем, с широкими свободными горизонтами,— все это как нельзя более отвечало настроению молодой германской буржуазии, угнетаемой тупым и жестоким дворянством. Все это говорило о том, что молодые люди нового сословия понимают жизнь иначе, что им тесно в старых рамках феодального уклада. В них появилось сознание умственного превосходства перед дворянством. В отличие от людей, владеющих землями и крестьянским тру-

дом, эти молодые и старые горожане трудились над организацией производств, они двигали науку, они создавали философские системы. Они знали, что люди рождаются свободными и равными в правах, и с любовью повторяли слова Руссо о том, что все выходит прекрасным из рук Творца и все портится в руках неумелого человеческого общества. Молодой Вертер заражен ядом религиозных сомнений. Он испытывает целый ряд неудач, и самая главная неудача—это сомнение в ценности жизни, так как природа одарила его чистейшими стремлениями к чистейшему счастью без возможности удовлетворить это стремление.

Не все молодые люди такого склада кончали так плохо, не все уходили из жизни. Соратник Гете, герцогский фельдшер Фридрих Шиллер изобразил другого неприкаянного молодого человека—Карла Моора. Это был идеальный разбойник, разбойник благородный. Вся совокупность жизненных условий бросила его на большую дорогу. На этот раз—это уже выходец из семьи феодалов, который бросает вызов всему обществу. Опять писатель молодой буржуазии ищет для молодежи дорогу к будущему. В воздухе той эпохи носился этот протест, но он исходил не из той среды, которая была способна на железный закал классовой воли, на огромность коллективных действий.

На смену героям Шиллера, на смену Вертеру появилось новое издание неприкаянного молодого человека. Из Бретани, из замка с заплесневелым прудом и протекающими крышами, окруженного землянками без стекол, в которых крестьяне спят на прошлогодней листве, бежал от громов революции дворянин Шатобриан и начал скитальческую жизнь. Этот молодой человек был в Америке, скитался по глухим лесам в надежде найти уголок девственной и не тронутой человеком природы. Затем он эмигрировал в Англию, превратившуюся в штаб европейской контрреволюции, но там постепенно, под влиянием гигантских событий стал критически относиться к своему сословию и вступил на путь поисков примирения с действительностью. Он почти был готов броситься в объятия суровым истинам революции, когда Наполеон Бонапарт сломал хребет французской республики.

Шатобриан опять попал не в тон. Он опоздал приобщиться к революционной идеологии, а теперь он опоздал

понравиться Первому консулу. Из политической карьеры молодого человека ничего не вышло, но он нашел живой и очень своеобразный отклик в новом французском читателе. Шатобриан заговорил живым и горячим языком новой французской публицистики; это был сумбурный, недоработанный язык парижских секций, понятный мелкобуржуазной массе французских городов. Но вместо революционного содержания, вместо живых и свежих людей Шатобриан преподносил утомленному и напуганному французскому обывателю сумбурно меланхолические чувства с прослойкой контрреволюционных политических размышлений и с явно реакционным стремлением восстановить права религии.

В одной из его книг мы находим рассказ о разочарованном скитальце Ренэ. Мы узнаем в герое рассказа «Ренэ» самого господина Шатобриана, но в отличие от своего героя, который «никогда не желал говорить о своих приключениях, хотя собеседникам очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы», автор гораздо болтливее. Мы узнаем, что он был непреклонного нрава и неровного характера. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, он собирал вокруг себя своих юных товарищей, затем покидал их внезапно, потом наблюдал бегущие облака и слушал, как дождь пронизывает древесную листву.

Оказывается, это старый знакомый — это Вертер, но вместо его серого камзола мы видим меланхолический голубой сюртук с черным бархатным воротником и сапоги с желтыми крагами, хлыстик в руке, перчатки, верховую лошадь. Старый Вертер — состарившийся неприкаянный молодой человек, но вместо свежего и чистого весеннего мироощущения мы видим, что вокруг этого нового издания Вертера — признаки гниения, разложения. Ренэ страдает от не совсем здорового стремления к нему родной сестры, монастырский быт тянет его к морю, море тянет его к берегу. Он нигде не находит себе покоя. В отличие от молодого Вертера, на которого склепом наваливается тяжелая действительность, сила которой непреодолима, этот новый Вертер, Ренэ, видит перед собой покорные и послушные обстоятельства жизни. Старый Вертер еще не успел вкусить меда и уже умирает. А Ренэ настолько пресыщен, что его не привлекают лучшие плоды жизни и деятельности, он бежит от самого

себя, бежит без оглядки, и там, где новое человечество без всяких иллюзий шло на труд и на борьбу за лучшее будущее, он не находит для себя ничего достойного внимания. Это плохая и упадочная обида на мир; неблагородная и смешная ссора с историей заканчивает первый цикл истории молодого человека XIX столетия.

Прошло десять лет, и вот в Лондоне появился Чайльд Гарольд, полузагадочный скиталец, вовсе не склонный к слезливости и чуждый сентиментализма. Если на первых порах он кажется шалопаем и снобом, то это впечатление исчезает, как только юный бездельник начинает давать оценки огромным политическим событиям, происходящим на территории Европы. Он подвергает жесткой критике систему человеческих отношений, рабство восточных стран, ханжество и другие черты, возникающие под влиянием религии, он поражает читателя смелостью и неожиданностью мысли. И если он смотрит разочарованными глазами на все, что встречает по пути, то он делится с читателем причинами своего разочарования; он рассказывает о победах английского оружия в Испании и говорит:

...Пройдут года
И все ж потомство, полное презренья,
Позора не забудет тех вождей,
Что, победив, узнали поражение...
Их ожидают в будущем глумленья
И гневный приговор суда грядущих дней.

И далее:

Так думал Чайльд, один бродя по горам...
.....
Тяжелых дум он здесь изведal много
И пожалел, немой тоской объят,
Что долго шел преступною дорогой;
К проступкам он своим отнесся строго:
От света истины померк Гарольда взгляд.

И далее:

Гарольд вперед несется, очарован
Красой холмов, ущелий и долин...
Не горестно ль, что цепью рабства скован
Тот светлый край?

Какую громадную эволюцию проделал молодой Вертер! Воплотившись в поручика Наваррского полка, он через десять лет уже не выдержал соприкосновения с действительностью, и его бегство от самого себя превращается в поиски действительности. Если откинуть ирони-

ческие объяснения Байрона, что, дескать, его Гарольд является повторением бандита Зелуко, если откинуть вообще мистификацию Байрона, которая является опытом самозащиты, то мы увидим, что Чайльд Гарольд все больше и больше теряет неопределенные черты неопределенного героя и под конец превращается в самого автора. То, что впоследствии было названо второй песнью «Чайльд Гарольда», было вчерне закончено уже на берегах Малой Азии, в Смирне. Рукопись Байрона, представляющая собой черновые наброски того, что вышло в Лондоне в марте 1812 года, датирована: Смирна, 28 марта 1810 года.

Поэма, появившаяся 10 марта 1812 года во всех книжных магазинах Лондона безыменно, сразу сделала имя автора знаменитым. За 1812 год поэма выдержала пять изданий сразу.

В том же году Байрон еще дважды выступал в палате лордов, и оба раза неудачно. Он выступал в защиту закона о равноправии ирландских католиков. Дело в том, что с XVII века экономически обоснованная вражда Британских островов с засильем католической церкви на континенте не только приобретала заостренные формы, но и была окрашена моментами вражды национальной. Ирландцы, шотландцы и бритты в силу политического объединения числились в составе Соединенного королевства, но фактически были разъединены как системой управления, так и целым рядом религиозных, бытовых и внутринациональных признаков. Традиции католической церкви в Ирландии сохранились в среде фермеров, мелкопоместных дворян и горожан. Критика не отмечает встречи Байрона в дни возвращения его в Лондон с памфлетистом Коббедом,—это был редактор еженедельной газеты «Режистер». Этот публицист с негодованием рассказал Байрону о том, что принц-регент и министры ведут возмутительную травлю ирландских солдат, которые, так же как и природные бритты, сражаются в рядах великобританской армии с Бонапартом. Эта травля ирландских солдат, запрещение повышать их в чинах, производить в офицеры объяснялась очень просто: король еще до своего сумасшествия заявил, что он «никогда не будет возвращаться к вопросу о даровании равноправия католикам».

В 1811 году выяснилось, что Георг III не может больше править Англией. Король обнаружил явные при-

знаки полного помешательства, но так как он был еще жив, то его наследник и сын под именем регента приступил к управлению страной. Приобщил он к этому и специфическую среду аристократов и крупнейших буржуа, обновляя старые фамилии земельных дворян выходцами из среды крупных купцов-бандитов. В 1812 году религиозная рознь и чисто ирландские стремления к самостоятельности приводили к тому, что на фронте, в боевой обстановке, героические люди Ирландии, сражавшиеся против Наполеона, не получали повышения, равно как и солдаты, провинившиеся в боевой обстановке, получали телесное наказание только в тех случаях, если они были ирландцами.

Последующие речи Байрона, как мы сказали, не имели успеха в палате лордов. Ему было вменено в вину то, что памфлет Коббеда об ирландских католиках на фронте совпадает с его собственной речью. Да и мало ли еще с чем неприятным для англичан совпадает выступление Байрона. Вот сэр Френсис Бердет — депутат палаты общин — требует изменения избирательной системы Англии; он говорит, что города, населенные новыми людьми, прибывшими из деревень на фабрики, лишены права избирать депутатов в палату общин, в то время как местечки Англии, давно залитые водой моря, наступающего на старинные берега, по-прежнему сохраняют свои избирательные права, а так как здесь давно уже не может жить ни один человек, то ближайший лорд выплывает из своего поместья на лодке, чтобы с моря голосовать за угодных ему депутатов. Да и мало ли других, простых и сложных махинаций придумывает старая веселая Англия в тех случаях, когда ей необходимо поддержать старый порядок.

Если существует поговорка «семь раз отмерь и один раз отрежь», то Англия на основах неписаной конституции, защищающей всегда и в первую очередь частную собственность и богатого человека, говорит, что лучше семь тысяч раз отмерить, чем один раз отрезать хотя бы миллиметр благосостояния из километра богатства в пользу рабочего населения Англии. Неписаная конституция основана на «Великой хартии вольностей» и других актах, среди которых теоретически не последнюю роль играет Habeas Corpus Act. Этот последний является тем поводом для хвастовства, который либералы разных стран выставляют как самое замечательное доказатель-

ство английской свободы. Согласно этому акту, всякий гражданин, задержанный на улице при совершении преступления или где-либо в общественном месте, имеет право требовать в течение суток предъявления судебного обвинения или приказа об освобождении. По этому акту никакое жилище не может быть подвергнуто ни вторжению полиции, ни вхождению какого бы то ни было постороннего лица. Эти прекрасные слова закона, как песни сирены, очаровывали политических деятелей либерального склада на всем протяжении истории XIX века. Но реальный комментарий к этому закону говорит, что Англия давно несвободная страна. Отмена этого акта о неприкосновенности личности производится всегда, когда предприниматель боится за свое имущество и когда он под видом спасения страны спасает свою банковскую наличность. Недаром депутат Шеридан, автор веселых и печальных драм «Школа злословия», «Соперники» и т. д., говорил в унисон с сэром Бердетом: «Отмена акта неприкосновенности всегда производится под видом спасения страны в опасный период времени, и много красноречия расточается на избитую тему о якобинских принципах и скрытой измене. Наши министры всегда поют одну и ту же соловьиную песню и клеветают на стремления нации. Они изобретают обвинения в вероломстве и предательстве и в государственной измене. Это доказывает только одно: Англия в безумии распространяет устами своих министров химерическую тревогу, а на самом деле в стране нет никакого мятежного духа, а есть только справедливое негодование».

Если для Шеридана эти намеки прошли безнаказанно, то только потому, что они были сказаны с трибуны и не попали в печать. Сэр Френсис Бердет вздумал напечатать эти страшные фразы. И вот возникает давно не практиковавшаяся в Англии попытка арестовать члена парламента. Спикер палат является к Бердету на квартиру и от имени парламента приказывает ему идти в тюрьму. Бердет круто разговаривает со спикером. Он говорит: «Палата сошла с ума» — и без обиняков спускает спикера с лестницы. Вместо тюрьмы сэр Френсис Бердет является в парламент. Он берет слово вне очереди, и прежде чем его успевают схватить за руки, он вбегает по ступенькам трибуны и громко заявляет о несообразном с законами Англии желании отдельных депутатов, интриганов низкого сорта, подвергнуть неслыханному аресту законного

депутата лондонского квартала. Не слыша криков, раздавшихся за его спиной, Бердет успевает вернуться к себе, а тем временем палата выносит постановление обязательно отправить в Тауэр, в эту страшную, грозную башню, видевшую тысячи людей, обреченных на смерть, и этого «свободного, неприкосновенного депутата старой конституционной Англии». Трудно было, конечно, взломать прикладами запертую дверь его квартиры, тем более что весь квартал встревожился по поводу такого решения.

— Знают ли солдаты, в чем дело? — спрашивает Бердет в форточку.

— Нет, им ничего не известно, — отвечают ему снизу.

Проходит три дня, сэр Бердет видит с чердака, как толпы людей, вооруженные предметами домашнего обихода — кочергами, топорами, кухонными ножами, — большими группами собираются к нему на выручку, раздаются воинственные клики, солдаты озираются дико по сторонам, окруженные лондонскими гражданами. Сердце Бердета не выдержало, он вызвал дежурного офицера, открыл ему дверь, оделся и добровольно пошел в тюрьму, чтобы не быть виновником кровопролития.

15 января 1811 года, как мы сказали, сумасшедший Георг III должен был передать королевскую власть своему сыну, будущему Георгу IV, который первоначально стал у власти под именем регента. Как ни слабо было влияние короля в феодально-капиталистической Англии, но эта фигура Георга IV, тогдашнего принца-регента, как нельзя более отвечала самым затаенным желаниям самой реакционной части английского общества. Лорд Персиваль продолжал политику реакции, и если 11 мая 1812 года полусумасшедший человек с пистолетом в руках вместо ненавистного лорда Гауэра выстрелом из пистолета убил лорда Персиваля, то, быть может, он отражал настроение бедных людей Англии, для которых политика первого министра была политикой разорения и угнетения.

Одним словом, старая, веселая, богатая, либеральная Англия в эти годы вовсе уж не была полна того легендарного благополучия, которое мы встречаем в изображениях заурядных биографов Байрона, рисующих этого поэта как человека, не сумевшего в силу дефектов личной психики примириться и найти общий язык с благородной Англией тогдашнего времени.

Несомненно, личные свойства поэта, его повышенная чувствительность, или, как говорят невропатологи, сенситивность, равно как и поражение нервной системы еще в утробном состоянии,—все это предрасполагало поэта в дальнейшем к нездоровым реакциям на действительность. Но характер гения сказывался в Байроне чрезвычайно рано. Его умение переработать внешние впечатления в гармоническую систему поэтических образов, быть может, спасло его от колоссального душевного разлада, свойственного тогдашней молодежи. Объективируя свои человеческие состояния, Байрон достиг той необходимой высоты, которая помогла Гете, создателю Вертера, отделаться от навязчивых меланхолических состояний после того, как его любимая Шарлотта Буфф вышла замуж за его приятеля Кестнера. Недаром Кестнер писал, обижаясь на Гете, своему другу Гейнценгу: «Вертер есть сам Гете. Лота и Альберт списаны с меня и моей жены. Мы очень недовольны им за то, что он к своему вымыслу пристегнул реальные побочные мелочи».

Но Гете, в отличие от Вертера, не покончил жизнь самоубийством. И Байрон тоже не кончил ни безумием, ни уходом из жизни. А если он на почве первой ссоры с миром испытал всю судьбу человека, претерпевающего разлад с действительностью, то необходимо из этого вывести только одно заключение, что колоссальная писательская восприимчивость и внутренняя добросовестность художника не позволяли ему мириться с этой действительностью. Не всякий писатель обладает рецептами лечения заболевшей действительности. Двигателем исторических процессов являются не писательские рецепты, а глубокие социально-экономические причины и коллективная воля трудящихся. Но от этого не теряют своей ценности те не случайные, а закономерно возникшие диагнозы, которые дает писатель, перерабатывая впечатления действительности в творческие образы. Общество, путем познания самого себя, испытывает удовлетворение от чтения таких произведений, которые в самом полном синтезе отражают картину наиболее ярких явлений эпохи. Быть может, этим объясняется то, что безвестный лорд, выступавший в палате лордов против смертной казни взбунтовавшихся ноттингемских ткачей, сделался внезапно знаменитым в те дни, когда Лондон раскупил небывалый тираж (14 тысяч экземпляров) книжки «Странствования Чайльд Гарольда». Байрон де-

лал все, чтобы погасить образ Гарольда, ибо слишком яркие черты героя явно напоминали автора. И эти смягченные линии контура, приглушенные интонацией голоса, которые мы чувствуем в поэме, делают образ Гарольда в первых двух песнях не вполне определенным. Если читателю не сразу бросаются в глаза некоторые детали поэмы, как бы выпадающие из нее, не связанные с основным замыслом, то при историческом анализе поэмы мы ясно видим те редакционные швы, которые говорят о цензурной борьбе в бесцензурной Англии. Так же как закон о неприкосновенности личности и жилищ реакционная Англия приостанавливала всякий раз в годы рабочих волнений и социальных бурь, так же и здесь, несмотря на свободу печати Англии, поэма сделалась объектом политического давления. Целых тринадцать строк были выброшены из первого издания «Чайльд Гарольда», и только впоследствии их удалось восстановить по рукописи. Безвозвратно погибли строфы, относящиеся к лорду Веллингтону, строфы, осуждающие безобразия английских грабежей на территории Испании и Португалии, и многие другие. Байрон не предполагал печатать поэму, и только друзья, и прежде всего Даллас, убедившись в тщете своих настояний, сами, почти без ведома Байрона, начали и закончили печатание первых двух песен «Чайльд Гарольда». Этим объясняется та легкость, с какой Байрон отнесся к упразднению острых мест поэмы.

Первая песнь «Чайльд Гарольда» всем, начиная с эпиграфа и кончая наилучшими строфами поэмы, свидетельствует о том, что Байрону были чужды шовинистические или националистические черты. Байрон берет эпиграфом строчки из книжки «Гражданин мира» («Космополит») Фужере де Монброн (1753): «Вселенная — книга, в которой идешь не дальше первой страницы, если видишь только свою страну. Что касается меня, я листал страницу за страницей и пришел к выводу, что все они плохи; я получил полезный урок и возненавидел отечество. Грубость других людей, других отечеств заставила меня с грустью примириться и вернуться на родину. За неимением других выгод, радуюсь, что это стоило дешево, и не жалею об издержках и усталости».

Среди выброшенных строф «Чайльд Гарольда» мы находим строфы ненависти, посвященные лорду Эльджину, который, пользуясь обострением вражды между грека-

ми и турками, помутнением политической воды, ловил крупную рыбу и грабил памятники античной Греции. Насколько сильно было негодование Байрона, мы можем заключить из письма от 3 января 1810 года: «В настоящую минуту в дополнение к тому, что уже награблено в Лондоне, здесь, в Пирее, сносится на корабль бандитов и воров все, что может быть вывезено из уцелевших греческих мраморов. Рядом стоит молодой грек, который говорит, что «лорд Эльджин может гордиться разрушением Афин», и далее: «Я не думал, чтобы честь Англии выиграла от ограбления Индии или Аттики. Бесстыдство наглого вора кажется пустяком по сравнению с наглостью человека, начертавшего на стенах Акрополя свое английское имя. Бесполезное и разнузданное скалывание и истребление барельефов может вызвать только чувство омерзения в тех, кто будет впоследствии читать имя лорда Эльджина». Байрон не раз будет возвращаться к этой теме культурного мародерства Англии.

Так или иначе, но «Чайльд Гарольд» увидел свет. Балладный, архаический староанглийский тон говорит о том, что Байрон в достаточной степени отвык от английской современности за время своего путешествия. Оттолкнувшись от тяжелых впечатлений своей личной судьбы и судьбы своего класса, Байрон все более и более оттапливался в годы странствий и от этой архаической забавы. Игра в археологию со старинной арфой в руках Чайльд Гарольда все больше и больше уходит из поэмы, в ней все чаще появляются живые образы, яркие характеристики, пленительные по звучности строфы, легкость музыкального дыхания; утроенные рифмовки последних строф каждого станса все больше и больше говорят о том, что поэт сам захвачен волшебным поэтическим потоком стихийного творчества, которое дисгармоническую раздвоенность и разлад с действительностью превращает в гармоническую настроенность поэмы.

Однако нельзя было не оглядываться на берега, которые он покинул. Уже 3 октября 1810 года Байрон писал Ходжсону: «Что касается Англии, то я давно о ней ничего не слышу. Уснули навеки все, кто был хоть чем-нибудь со мной связан. Поверенный пишет мне деловые письма, а вы—мой единственный корреспондент. У меня в мире нет друзей, хотя было много школьных товарищей. Но все они теперь «вошли в жизнь», то есть выступили под чудовищными и страшны-

ми личинами, кто в маске военного, кто в облачении адвоката, кто переодетый священником играет в религию, а кто просто надел на себя маску светского человека, и этот маскарад они называли своей жизнью. Я распрощался с ними, я порвал всякую связь с этими деловыми людьми. Никто из них мне не пишет. Да я и не просил: я ведь только бедный путешественник, безвестный языческий философ, исколесивший огромные берега Леванта, я зритель многих необычайных земель и морей... и вот теперь, перед возвращением, я чувствую себя ничем не лучше, чем в день отплытия».

Друзья сомкнутой фалангой пошли в атаку на Байрона. Одни из них советовали выкинуть из поэмы места, которые могут обидеть лорда Эльджина или снизить авторитет Веллингтона, другие советовали Байрону вспомнить о господе боге и бессмертии души и о том, что люди, оставившие этот мир, будут, несомненно, встречаться с Байроном в загробном мире. В ответ на эти религиозные увещевания Байрон пишет Ходжсону: «Милейший Ходжсон! Советую вам оставить меня в покое с вашим бессмертием, в которое я не верю. Довольно с нас несчастий этой жизни: я считаю нелепостью строить предположения о будущем бессмертии. Если людям суждено оживать после смерти, то зачем они умирают? А уж если они однажды умерли, то какой смысл нарушать их крепкий сон, как говорят — сладостный, непробудный?»

Эти не столько скептические, сколько трезво реалистические взгляды Байрона опять являются новой чертой, диссонирующей с эпохой романтической фантастики, в которую вступала тогдашняя литература. Шатобриан, автор «Ренэ», все более и более шел по пути мистико-эстетической трактовки христианства. Этот крестоносец в дилижансе, рыцарь в лакированных туфлях своеобразно интересничал, предпринимая поездки ко гробу господню для того, чтобы рассказы об этом паломничестве щекотали нежные сердца кокетливых пиэтисток эпохи реставрации. Набожные виверы и титулованные раскаявшиеся Магдалины окружали Шатобриана шелестом восхищенного шепота.

Вместо романтической небывальщины и эффектов дешевого героизма Байрон рисовал подлинную душевную историю реального путешественника. Он никогда не лгал самому себе и не обманывал читателя.

Письма с Востока показывают, что Байрон менее

всего думал о себе как о поэте. Успех произведения, которое он считал продуктом часов своего досуга, был неожиданным для Байрона, и на распутье больших житейских дорог он вдруг почувствовал, что поэзия является для него второй натурой. Но еще не был решен вопрос о том, что же ему выбрать — дорогу политического деятеля и борца, строителя британских законов, или тернистый путь поэта?

Два представителя английского «высшего света» привлекали в эту пору внимание Байрона. Первый соблазнительный предмет подражания — это Бекфорд — автор единственной книжки «Ватек», стяжавшей ему неувядаемую и редкостную славу, столь же экзотическую, как и сама восточная сказка о «калифе Ватеке». Строитель фантастического замка, праздный миллионер, разорившийся на путешествиях и эстетических прихотях, этот человек казался Байрону недостижимым идеалом. Другой — Джордж Бремель — денди, основатель религии дендизма, замечательный своими неповторимыми и ненужными эстетическими пустяками. Биограф говорит: «Бремель носил перчатки, которые облегали его руки, как влажная кисея. Но дендизм состоял не в совершенстве этих перчаток, а в том, что эти перчатки были изготовлены четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти руки и одним для большого пальца». Безродный и совсем не знатный Бремель своими костюмами, своей манерой держать себя, своей непринужденностью и тончайшим остроумием проложил себе дорогу к очень странной и единичной славе, понятной только в обществе пресыщенном, консервативном, считавшем проявление яркой мысли или свежей человеческой идеи нарушением хорошего тона.

На жестком бессердечии и цинизме, на ханжестве, на морали, осуждающей бедняков и маскирующей преступность богатых, выросла та своеобразная житейская философия, то умение прикрыть человеческое поведение совокупностью манер, условных взглядов и трафаретов, которые вместе называются одним английским словом «cant»¹. Бремель был модным кумиром великосветских салонов, успех в жокей-клубе и вечерние встречи в интимном кружке принца-регента были свидетельством его популярности. Будущий Георг IV был почитателем

¹ Лицемерие, ханжество.

можжевелового алкоголя. Джин подавался ему в количествах, превышающих меру легендарных капитанов и моряков голландской новеллы: принц пил и наедине и с друзьями.

Однажды Бремель, жестом руки указывая на сонетку, обратился к своему «высокому» другу со словами: «Джордж, позвоните». Принц-регент позвонил и сказал вошедшему толстому лакею Бобу: «Выведите этого пьяницу».

Серьезный биограф Бремеля говорит, что это было началом падения светской карьеры Бремеля. С воцарением Георга IV Бремель донашивал свою скуку и свои костюмы на континенте в должности английского консула. Английский король, проезжая через маленький французский городок, пригласил Бремеля в знак примирения к обеду в три часа дня. Бремель ответил, что он никогда не принимает пищи в эти часы. Примирение не состоялось, но ответ Бремеля вызвал в золотой молодежи Англии такое же восхищение, как его изысканные костюмы.

В этих мелких аристократических выпадах не было ровно ничего политического, и все же Байрон после первых головокружительных месяцев успеха «Чайльд Гарольда», вступив в большой английский свет, в первую очередь увлекся Бремелем. Длительным голодом, блюдечком риса, бисквитом и содовой водой Байрон изнурял себя в борьбе с наследственной тучностью и, достигая успеха, делал вид, что он устанавливает новую моду. Здоровый аппетит английских аристократов был серьезно поколеблен на званных обедах, когда, пренебрежительно цедя сквозь зубы, молодой, стройный лорд отказывался от какого-нибудь фешенебельного блюда со словами: «Благодарю вас, я никогда не ем этого блюда». Все эти мелочи, все эти нелепые пустяки, характеризующие праздное общество, захватили досуги Байрона после первых месяцев успеха. Совершенно не иронически и без аффектации Байрон сказал однажды, что он предпочел бы стать Бремелем скорее, чем Наполеоном.

Но назревала другая ссора с миром. Байрон не успел сделаться Бремелем и, восхищаясь автором «Ватека», не пошел по пути волшебной сказки. Лондон, город страшной нищеты и невероятных колониальных богатств, был все-таки столицей страны, в которой обитало десять миллионов жителей. На севере была Шотландия, уже

давно расставшаяся со своей самостоятельностью. Там насчитывалось около двух миллионов. Ирландия, которая ни на минуту не забывала о вековой вражде к англичанам-завоевателям, имела население в пять миллионов, из которых искусственно насажденные землевладельцы и чиновники были преданными гражданами Соединенного королевства. Все остальное население этой страны кипело и бушевало, а в тот год, к которому относится наш рассказ, Ирландия представляла собой бочку с порохом. В Лондоне жила десятая часть английского населения. Это был самый населенный город тогдашней Европы. И подобно тому, как десять лордов владели почти всей территорией лондонского центра, так и девять десятых земель Соединенного королевства принадлежали всего лишь десяти тысячам землевладельцев Англии. Английские кредитки ничего не стоили, несмотря на парламентский билль о принудительном паритете. И если в первой главе читатель нашел описание рабочих волнений, то мы могли бы дать материал и о крестьянских беспорядках Англии, возникавших каждый раз при выселении обедневших фермеров или при помещичьем объявлении о взимании арендной платы по курсу без паритета, причем этот денежный лаж между помещиком и мелким арендатором, лаж грабительский, всегда кончался победой помещиков.

В этих условиях такой богато одаренной натуры, как Байрон, с его бедным наследством и протекающими потопками родового замка, довольно трудно было удержаться на почве влечения к дендизму или подражания Бекфорду. Его влекли другие интересы, другая борьба.

В БОРЬБЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Казалось, что светские успехи вскружили голову Байрону, казалось, что с момента своей последней речи в парламенте он решил не возвращаться к политике. Все его политические выступления были столь же благородны, сколь безуспешны. Как мы уже говорили, он выступал второй раз в палате лордов, добиваясь элементарных прав для ирландских католиков, сражающихся на фронте бок о бок с протестантскими бриттами. Он очень остро говорил о привилегированном положении специальных протестантских школ, о способе пополнения их детьми в

принудительном порядке на всей территории Ирландии. Он подчеркивал, что Англия XIX века в вопросе религиозной розни ведет себя так же, как Франция XVII столетия в лице Людовика XIV с его драконадами, когда драгунский постой в поселке превращал этих миссионеров в сапогах со шпорами в главный фактор «добровольного» перехода гугенотов в католичество.

Речь Байрона была раскрытием огромного преступления сент-жемского кабинета. Он говорил: «Монтескьё по поводу английской конституции заявил, что ее прототип можно найти у тацитовых германцев. А я добавлю, что английская система протестантских школ заимствована у цыган, ворующих детей с целью вымогательства. Эти школы пополняются, как полки янычар во время больших наборов султана Амурата или цыганские таборы наших дней путем выкрадывания ребенка». Горячая речь Байрона не имела никакого успеха.

Третье выступление Байрона в палате произошло 1 июня 1813 года. Байрон, как нарочно, суживал темы своих речей. Если первая речь говорила об угнетении огромного человеческого коллектива, об эксплуатации трудящихся, а вторая — о религиозном изуверстве в применении к поработщенной Ирландии, то третья была защитой голоса единичного человека — Картрайта, подвергшегося нападению и ostracismu только потому, что он осмелился подать проект о реформе избирательного закона. Проект не только не был допущен к рассмотрению, но сам автор подвергся аресту и оскорблению со стороны полиции и военного отряда. Интересен вывод, сделанный Байроном в своей речи: «Хотя петиция подписана только одним человеком, но факты, ею сообщаемые, таковы, что требуют расследования. Это не есть личное неудовольствие, а заявление, разделяемое множеством людей. Оказывается, что любой человек как в этих стенах, так и вне их, может подвергнуться дикому оскорблению и такому же отказу в исполнении своего священного долга — восстановить попорченную конституцию нашей страны в той части, которая предоставляет гражданам право петиции к парламенту о реформах».

Это было последнее парламентское выступление Байрона. После этой речи Байрон не возвращается к политической деятельности в палате лордов, и на этом биографы обыкновенно заканчивают обзор его политической деятельности. Мы не можем этого сделать. Если сам

Байрон говорил о том, что речь в защиту ноттингемских ткачей является «предисловием» к «Чайльд Гарольду», то мы, в свою очередь, имеем право всю последующую литературную деятельность поэта на территории Англии рассматривать как отчетливую реакцию на лондонскую действительность, хотя восточный колорит и тематика поэм, вышедших с 1811 до 1816 года, как будто говорят обратное. Личность Байрона чрезвычайно многогранна. Лондонские светские успехи и его бурное увлечение светской жизнью могут быть, конечно, связаны с личным разочарованием Байрона в парламентской деятельности. Но совершенно невозможно согласиться с большинством биографов, которые считают, что литературный успех и светские увлечения отбили у Байрона охоту заниматься политикой.

Байрон никогда не был революционером в нашем смысле слова. Он никогда не был последовательным в развертывании программно-политических взглядов, он никогда не забывал о преимуществах своего дворянского происхождения. В некоторых моментах его индивидуального политического бунта, без сомнения, проглядывает требование лорда простить ему неуважение к закону. Однако мы имеем основание утверждать, что, отказываясь от парламентской деятельности, Байрон не только не чуждался политических интересов, но воспринимал политическое бытие Англии и Европы с той поразительной остротой, наносил такие беспощадные удары по общественному быту и морали, что это гораздо больше, чем парламентские выступления, ставило великого английского поэта в резкую оппозицию к господствующим классам.

Байрон в своем индивидуальном бунте заново пересматривал всю совокупность проблем, связанных с местом человека не только в обществе себе подобных, но и в мире. Отсюда биологический ужас небытия и ощущение астрономического холода междузвездных пространств. Социально обусловленная и индивидуально пережитая разочарованность воплощается в космические образы до такой степени, что упадочные переживания Байрона приобретают иногда болезненный, патологический характер и в эти моменты доводят его сознание до распада. В качестве производной от этих настроений возникает та неудержимость порывов Байрона-человека, которая так омрачает фигуру Байрона-поэта. Стремление ввести в какие-то пределы хаос собственных чувств чередовалось у

Байрона с безудержным стремлением выйти за пределы не только общественной морали, но и тех границ, которые в целях самосохранения ставит себе каждый здоровый человек.

Стоустая молва о знаменитом путешественнике, блистательном поэте сделала Байрона предметом повышенного интереса к нему светских женщин Лондона. Одна из них, именно Каролина Лемм, надолго задержала внимание поэта. Отношения с Каролиной Лемм не принадлежали к числу серьезных связей. Они носили на себе все черты легкости, хрупкости и неустойчивости. Быть может, предчувствие непрочности этих отношений заставило Каролину, влюбленную издали в поэта Байрона, отказаться от встречи с Байроном-человеком. Каролина Лемм самым резким образом оскорбила Байрона отказом от знакомства, когда неосторожная подруга сделала эту попытку. В салонах леди Мельбурн и леди Холланд последующие встречи были все-таки неизбежны. И вдруг неожиданный визит: Каролина Лемм в костюме королевского пажа сама врывается в жилище поэта. Если первые встречи нравились Байрону, то последующие доводили его до бешенства,—когда этот паж стал появляться в парламентских коридорах, на лестницах общественных зданий, преследуя, нагоняя и окликаая свою жертву. Байрон всячески стремился уйти от этой женщины. Он вовсе не собирался ссориться с ироническим и благодушным полковником Леммом—супругом Каролины. Он не собирался вступить в супружество с разведенной светской дамой; кроме того, он уже давно находил больше удовольствия в обществе леди Френсис Вебстер и леди Оксфорд. На помощь Байрону выступила зоркая престарелая леди Мельбурн, считавшая своей обязанностью по мере надобности то устраивать ссоры, то мирить врагов, но главным образом устраивать союзы сердец. В нужный момент леди Мельбурн решила спасти Каролину Лемм от семейного скандала, спасти полковника Лемма от ухода жены, спасти Байрона от опасного непостоянства, тем более что ей удалось выведать затаенные мысли Байрона, боящегося обширности своей человеческой свободы и искавшего «милого вожатого», как он по неосторожности в беседе с леди Мельбурн называл «женщину, которая могла бы стать его женой». Перед невесткой леди Мельбурн, Каролиной Лемм, внезапно возникает необходимость поездки в свое ирландское имение.

Перед этим Каролина Лемм от имени леди Мельбурн передает на суждение Байрона, без ведома автора, стихи некоей молодой особы Анны Изабеллы Мильбенк и добивается мнения Байрона об ее творчестве. В мае 1812 года Байрон пишет Каролине Лемм следующее письмо: «Дорогая моя леди Каролина! Я прочел со вниманием стихотворения мисс Мильбенк. В них фантазия и чувство настолько хороши, что если немного практики, то появится навык и легкость выражений. Она бесспорно необыкновенная девушка. Кто мог бы подумать, что под этой спокойной внешностью таится такая сила и такое разнообразие мысли? Однако я полагаю, что мисс Мильбенк нет необходимости выступать в качестве писательницы. Я вообще не считаю похвальным *печатание* произведения ни для мужчин, ни для женщин, я сам нередко стыжусь этого, хотя вы и не поверите мне. Но я без колебания говорю вам,—она обладает той мерой таланта, который может вырасти, если она будет его растить. Она может получить известность. Только что был здесь один из моих друзей (пятидесятилетний писатель... нет, нет, не Роджерс). Под стихами нет подписи, я показал их моему другу. Его похвалы превышают даже мои».

Письмо заканчивается своеобразным абзацем: «Я не питаю желания ближе познакомиться с мисс Мильбенк, она слишком хороша для падшего духа. Она больше нравилась бы мне, если бы меньше были ее совершенства».

Разрыв с Каролиной Лемм произошел. Через несколько лет эта покинутая женщина едва не стала писательницей. Она изобразила своего вероломного любовника в романе «Гленервон», причем осталась верна своему характеру. Герой, пожиратель сердец, он, конечно, мрачный, пиратообразный. Но каждая строчка Каролины Лемм, даже там, где она стремится ненавидеть Байрона, дышит настоящей любовью и говорит скорее о милых и детских чертах самого автора, чем о дурных свойствах изображаемого героя. Недаром, когда враги предполагали выпустить итальянское издание «Гленервона», а друзья хотели помешать этому выпуску, Байрон не только не помешал, но предложил издателю денежную помощь.

Что касается мисс Мильбенк, то она, не сделавшись знаменитым поэтом, в январе 1815 года сделалась женой Байрона. Этому предшествовал ее отказ на первое пред-

ложение со стороны Байрона. Легкость, с какой Байрон перенес этот отказ, убеждает нас в том, что он, как человек сильный, нашел наилучшую форму самоубеждения: он определил себя как виновника отказа мисс Мильбенк. Письма тогдашнего времени полны уверений в том, что Байрон не считает себя достойным всех совершенств мисс Анабеллы. Он не только писал это, но он старался поведением доказать, что он действительно недостоин мисс Мильбенк. Он писал о себе в записках, которые называл «отрывочные мысли»: «Я любил общество денди, они всегда были очень предупредительны ко мне, но они недолюбливают литературу и делали неоднократно госпожу Сталь, Льюиса и других предметами жестокой мистификации. Сам я в молодости был склонен к дендизму, и хотя рано отстал от него, но в двадцать четыре года у меня было еще достаточно старых привычек, чтобы примирить с собою дендизм. Я азартно играл, пил, играя, добился университетского диплома и вел очень рассеянный образ жизни. Я не был педантом, мне чуждо властолюбие, я мирно уживался со всеми денди. Я был почти со всеми знаком, они меня избрали членом великолепного Вотьеровского клуба, несмотря на то что, кажется, я был у них единственным представителем презираемого литературного мира».

Продолжая вести светский образ жизни, Байрон встречался с трагическим актером Кином, с Вальтером Скоттом, с поэтом Роджерсом и очень сошелся с оратором и драматургом Шериданом.

По-видимому, колебания между двумя житейскими планами достигли своего апогея именно в этот год, после отказа мисс Мильбенк. Опять была сделана попытка оборвать мирное течение жизни и броситься в чужие страны. Корабль «Бойн» уходил в дальнейшее плавание, Байрон выхлопотал себе разрешение на офицерскую каюту. Сохранилось письмо, в котором он назначает секретарю адмиралтейства последним сроком выезда «субботу». Но многие субботы прошли, а Байрон все оставался в Лондоне, ведя рассеянный образ жизни — по одним биографическим сведениям, заканчивая ориентальные поэмы «в качестве послесловия к восточным мотивам «Чайльд Гарольда» — по другим биографическим сведениям. Очевидно, и то и другое характеризовало этот период жизни Байрона. И не только это, — необходимо отметить, что чередование светских безумств и поэтического твор-

чества имело какой-то закономерный характер, и остается только удивляться слепоте некоторых биографов, которые не сумели или не желали отметить острых политических разочарований, приведших Байрона к таким конфликтам внешнего порядка, которые повлияли если не на его литературное творчество, то, во всяком случае, роковым образом сказались на его житейских обстоятельствах.

6 марта 1812 года в газете «Morning Chronicle» без подписи появились восемь строчек, обращенные к «Плачущей девушке». Эти стихи звучали так:

Плачь, дочь из рода королей!..
Плачь над отцом твоим и над твоей страной.
О, если бы ты могла омыть слезой одною
Позор отца и бедствия людей!..
Плачь... Пусть в глазах твоих печальных и святых
Прекрасная заря для родины блеснет,
И в светлом будущем за каплю слез твоих
Улыбкою оплатит твой народ!..

Политический характер этого отрывка был разгадан сейчас же. Номера газеты быстро разошлись по Лондону, и стихи в переписанном виде ходили по рукам. Весь Лондон повторял их наизусть, единогласно считая их автором Томаса Мура. Основанием к этому было не только ирландское происхождение Томаса Мура, но главным образом его написанное в девятнадцатилетнем возрасте «Обращение к ирландскому народу», в котором молодой Мур с величайшим презрением клеймит английскую национальную партию и считает Англию «страной преступников против Ирландии». Никто не сомневался в том, что речь идет о принцессе Шарлотте, дочери принца-регента и Каролины Брауншвейгской. Судьба этой молодой девушки была широко известна. Ребенком она узнала немало печали, боялась отца так же, как боятся дикого животного. Разлученная с матерью и находясь все время во дворце, принцесса Шарлотта имела возможность слышать и знать больше, чем королевские министры, особенно потому, что ее присутствию не придавали никакого значения и отец при ней не стеснялся.

Через четыре дня после появления стихов, когда в лондонском обществе слишком громко заговорили о происшествии, вызвавшем слезы принцессы Шарлотты, в газете «Курьер» появилось неуклюжее «политическое

извещение», которое описывало «происшествие в Карлтон-Гаузе» 22 февраля: «Общество состояло из принцессы Шарлотты, герцогини Йоркской, герцогов Йоркского и Кембриджского, лордов Мойра, Эрскина, Лодерделя и господ Адамса и Шеридана. Принц-регент выразил свое *удивление и неудовольствие* поведением лордов Грея и Гренвиля. На это лорд Лодердель с недопустимой при дворе свободой заметил, что вышеназванные лорды не одиноки, а имеют многочисленных политических сторонников и что лорд Лодердель сам присутствовал при составлении ответа на письмо принца-регента герцогу Йоркскому, предписывающее объединение управления Ирландии и Англии, что лорд Лодердель участвовал в протесте и вполне одобряет мысли лордов Грея и Гренвиля. Принц был глубоко огорчен словами лорда Лодерделя, а принцесса Шарлотта, видя его волнение, опустила голову и залилась слезами, после чего принц-регент обернулся и просил присутствовавших дам удалиться».

Из этого неуклюжего сообщения жители Лондона могли понять всю важность и серьезность, какую придали в правительстве восьми строчкам безвестного стихотворца. Но вместо успокоения началось такое обсуждение подробностей происшествия во дворце 22 февраля, какое привело к полному установлению истины: Гренвиль написал возражение на приказание принца-регента уничтожить всякие признаки самостоятельности Ирландии; принц-регент, встретив Лодерделя на вечернем приеме, набросился на него с руганью как на участника протеста. Лодердель не растерялся и стал возражать. В ответ на это принц Георг закричал на него, обещая крутой поворот в сторону еще большей реакции, и, по-видимому, жесты принца-регента, всегда нетрезвого и возбужденного, настолько перепугали собравшихся, что принцесса Шарлотта, всплеснув руками, зарыдала. Будущий король Англии бросился на дочь с кулаками, и принцесса Шарлотта, быстро вбежав в большую залу, поразила танцующих гостей своим раскрасневшимся лицом, смятенным видом и слезами.

В Лондоне начались усиленные поиски автора стихов, посвященных «Плачущей девушке». Газета не выдала Байрона, быть может, потому, что сама не знала автора. Томас Мур сумел вовремя отказаться от авторства, а когда друзья Байрона напали на верный след и один из

них прямо обратился к нему с письмом, Байрон ответил очень красноречивой фразой: «Не я писал эпиграммы, которые вы мне приписываете, но если бы мне пришлось выступить бомбистом, то, уверяю вас, мои бомбы полетели бы в голову принца-регента». Опровержение в достаточной степени сильное, после которого никто уже не сомневался в авторстве Байрона, и первое маленькое выступление против королевского дома, несомненно, положило начало большим преследованиям поэта.

Ежегодно правительство Англии, как писал Байрон, «выпекало пирожки», то вроде закона «о вредных и мятежных сочинениях», в котором говорилось, что «всякий человек, с мятежным намерением распространяющий устно или письменно какие-либо слухи, слова, сочинения, совершает преступление. А возбуждение дурных чувств в отношении к королю, к законам страны, к палате парламента подлежит суду». Не менее красноречивым был закон о митингах: «Ни одно собрание более чем в пятьдесят человек не может состояться без разрешения местных властей. Представитель местной власти обязан присутствовать на таком митинге и наблюдать, чтобы ничего не произносилось против короля, министров парламента и законов страны. Кто заговорит так,— да будет арестован. Кто митинг превращает в волнение,— да будет изъят. Собрание, ведущее себя бурно,— да будет разогнано применением вооруженной силы. Происшедшие в таких случаях убийства не возлагаются на ответственность местных властей».

Характерно для тогдашней Англии это объединение парламента и правительства и противопоставление этого объединения всему остальному населению страны. Это станет понятным, если вспомнить, на основе какой избирательной системы созывалась английская палата общин. Существовали города и графства, в которых основная масса населения не знала, что такое избирательное право. В Эдинбурге — главном городе Шотландии — с населением около девяноста тысяч человек только семьсот граждан имели избирательные права. В Ноттингеме из тридцати тысяч жителей только двадцать человек обладали избирательными правами. Конечно, при таких условиях состав парламента с его секретными комитетами и комиссиями был в огромном большинстве верным пособником королевской полиции. Если билль о казни рабочих, против которого выступил Байрон в 1812 году,

был временно задержан, то в 1814 году он прошел без затруднений.

В 1811 году Байрон еще до своего первого парламентского выступления написал ответ двум лордам, требовавшим смертной казни рабочим:

Лорд Эльдон, прекрасно; лорд Райдер, чудесно!

Британия с вами как раз процветет.

И Гоксбери с Горроби правят совместно.

Лекарство поможет, но раньше — убьет.

Ткачи-негодяи готовят восстанье:

О помощи просят. Пред каждым крыльцом

Повесить у фабрик их всех в назиданье!

Ошибку исправить, и — дело с концом.

В нужде, негодяи, сидят без полушки,

А пес, голодая, на кражу пойдет,

Их вздернув за то, что сломали катушки,—

Правительство деньги и хлеб сбережет.

Ребенка скорее создать, чем машину,

Чулки — драгоценнее жизни людской,

И виселиц ряд оживляет картину,

Свободы расцвет знаменуя собой.

Идут волонтеры, идут гренадеры,

Полков двадцать два — на мятежных ткачей,

Полицией все принимаются меры,

Двумя мировыми, толпой палачей.

Из лордов не всякий отстаивал пули,

О судьях взывали. Потраченный труд!

Согласья они не нашли в Ливерпуле,

Ткачам осуждение вынес не суд.

Не странно ль, что, если является в гости

К нам голод и слышится вопль бедняка,—

За ломку машины ломаются кости

И ценятся жизни дешевле чулка?

А если так было — то многие спросят:

Сперва не безумцам ли шею свернуть,

Которые людям, что помощи просят,

Лишь петлю на шею спешат затянуть?¹

Это стихотворение было напечатано тогда же, без имени автора. Теперь оно было переписано и в тысяче списков ходило по рукам.

Политические выступления Байрона вступали во всё более резкое противоречие с его собственными житейскими намерениями, и это не могло не повлечь за собой нового разлада с обществом накануне такого значитель-

¹ «Morning Chronicle» (Примеч. автора.)

ного шага, каким являлось намерение Байрона жениться в Лондоне, то есть наиболее тесно связаться с целым рядом неприятных бытовых явлений английской жизни. Байрону казалось, что он, повторяя свое предложение Анабелле Мильбенк, находит «милого вожатого» и в этом очень гармоническом существе будет иметь зеркало своих собственных лучших свойств без своих пороков. Он очень мало считался с теми неизбежными свойствами лицемерия и ханжества, бытовых предрассудков, которые характеризовали идиотически тихую, неподвижную, самодовольную английскую семью. Он не хотел считаться с целым рядом условностей, отличавших общество, с которым он был связан своим рождением и с которым намерен был связать свою будущую жизнь.

Насколько смело нарушал он эти условности, видно из следующего факта: публицист и поэт Ли Гент и его брат Данон Гент, издатель журнала «Икземинер», занимались на страницах своего журнала тем, что преподносили населению Англии «перевод на общепонятный простонародный язык милой и старой Англии трудно понимаемые статьи газеты «Морнинг Пост», в которых продажное перо в лакейско-прихлебательском тоне писало статьи, посвященные принцу-регенту и реакционной политике Англии. Первоначально операции Ли Гента с этими статьями не внушали никаких подозрений, но чем дальше, тем больше внимания Лондона к этим статьям раскрывало глаза правительству Англии на пародийное значение статей Ли Гента. Ли Гент превращал хвалебные статьи регенту в такую нелепую и глупую шумиху, которая делала самый предмет похвал карикатурой. Похвалы целомудрию регента, его трезвости, его деловому образу жизни, его заботам о гражданах Сити вызывали хохот читателей. Ли Гент не довольствовался простым усилением хвалебных характеристик, он вносил в статьи «Морнинг Пост» комментаторские вставки, которые были диаметрально противоположны самому смыслу утверждения этой газеты, или, пользуясь информацией «Морнинг Пост», Ли Гент приводил иллюстрации, которыми широко оповещал население Англии о реальном значении политики королевского правительства и секретных комитетов обеих палат. Последний номер «Икземинера» был конфискован за хвалебную оду принцу-регенту. Ли Гент попал под действие закона об оскорблении величества, и суд приговорил его к двухгодичному тюремному заключе-

нию. Байрон внимательно следил за английской прессой тогдашнего времени и отлично усвоил направление журнала Ли Гента, а когда издатель попал в тюрьму, Байрон, словно бросая вызов обществу большого света, несколько раз навещал поэта Ли Гента в тюрьме. Мало того, он демонстрировал свою симпатию к журналисту, то есть к человеку «не из общества» и вдобавок журналисту, сидящему в тюрьме за оскорбление величества. Не желая воспользоваться чужой фамилией, Байрон имел дерзость получать внеочередной пропуск в тюрьму как член палаты лордов.

Все это стало известным, все это не могло не вызвать недовольства среди аристократического общества. Но система английского недовольства такова, что сказывается не сразу, а если сказывается, то не способом прямого выражения и не как следствие, вытекающее из причины, известной человеку, который испытывает кару недовольного правительства.

К этому времени относится еще более острое, сатирическое проявление ненависти Байрона к королю Георгу.

Опубликованное через пять лет после написания, это стихотворение нисколько не утратило своего политического значения. Документ этот полностью называется так:

«Стихи, написанные на случай, когда автор видел его королевское высочество принца-регента стоящим между гробницами Генриха VIII и Карла I в королевском склепе, в Виндзоре».

Священных уз попранием суровым
Известные, в гробницах здесь лежат
Бездушный Генрих с Карлом Безголовым.
Меж ними видит третьего мой взгляд:
Он жив, царит, вершит свои желанья.
Во всем король он, кроме лишь названья.
Карл для народа, Генрих для жены
Тираном был, а в нем воскрешены
Те два тирана вместе: Смерть и Право
Напрасно в нем свой прах смешали, право!
Два царственных вампира, съединясь,
Восстали вновь, и царствует их сила;
Бессильна смерть: извергла нам могила
Опять в лице Георга кровь и грязь.

В 1813 году появились новые произведения Байрона: поэмы «Гяур» и «Невеста из Абидоса». Через год вышли поэмы «Корсар» и «Лара».

Разрывая с мирной традицией «Чайльд Гарольда», Байрон теперь воспевает разбойника. Он трагически освещает центральную фигуру поэмы «Гяур», он завязывает узлы таинственных психологических сплетений героя, он заинтриговывает читателя поисками мотива глубоких страданий этой человеческой личности. Историки литературы дают всевозможные генетические толкования этой поэмы. Некоторые пытаются тему «великодушного разбойника» возвести к старой литературе профессиональных сказочников. Будто бы уже во времена римского императора Септимия Севера существовал прообраз байроновского Гяура в виде героя «Повести о разбойнике Феликсе». Исследователи могут найти немало остроумных догадок о том, что разбойники александрийского романа предвосхитили байроновского героя, или о том, что примирившиеся рыцари легенды «О Круглом столе и короле Артуре», Валентин из «Двух веронцев» Шекспира, старый герой Шервудского леса Робин Гуд, а может быть, даже и новая редакция «Робин Гуда» в виде «Нэда Лудда», наконец, Карл Моор Шиллера и Гёц фон Берлихинген Гете,— все благородные разбойники продолжили дорогу байроновскому Гяуру-разбойнику и великодушному добровольному отверженцу человеческого общества. Во всяком случае, необходимо установить одно,— что Байрон не занимался такими большими поисками и разбойник Феликс времен римских императоров был ему неизвестен. Но ему была известна английская действительность, и сам он все больше и больше с ней ссорился. Не имея возможности ее преодолеть, он мужественно не хотел сдаваться и капитулировать. Одиночный бунт превращался в грустное сознание своей оторванности; отсюда мировая скорбь, побег от человеческого общества на лоно пустынной прекрасной природы, в чужие страны, хотя и там он не находил покоя. Однажды он писал: «Второго июля будет год, как мы покинули Альбион. Мне надоела моя родина, но я не нахожу страны, которую мог бы ей предпочесть. Я «влачу свои цепи», не удлиняя их при каждом переходе. Я похож на гого веселого мельника, который никого не любит и никем не любим. Для меня все страны одинаковы».

Этими чертами характеризуется герой новой байроновской поэмы. Но к этим чертам Байрон прибавил полную и бесповоротную отверженность и глубокий пессимизм. Единственным просветом в жизни Гяура была

любовь к мусульманке, попавшей в рабство и казненной своим господином. Поэма рассказывает о мести Гяура, но не вскрывает полностью его характер и не рассказывает читателю о том, кто же сам этот Гяур. Едва успела появиться эта поэма, как к обычной светской болтливости присоединились не совсем обычные настойчивые слухи о том, что «Гяур» — автобиографическая поэма в гораздо большей степени, чем «Чайльд Гарольд». Там, где простой читатель восхитился бы полнозвучной музыкой пленительного байроновского стиха, там, словно по специальному заданию, началось с пристрастием чтение между строк. Слова Байрона:

Старик, ты смотришь на меня,
Как будто хищный коршун я...
Да, путь кровавый преступленья
И я прошел, как коршун злой...—

были истолкованы как автобиографическая исповедь, а предисловие к «Гяуру», по существу совершенно невинное, породило злобную лондонскую сплетню. Злобную в силу полной своей неопределенности, позволявшей допускать любые истолкования.

Таким образом, к огромному успеху «Чайльд Гарольда», создавшему Байрону славу, теперь искусственно примешивали такое ядовитое, отравляющее любопытство, которое можно было объяснить только ссорой автора с господствующей частью общества и злостной интригой довольно могущественного человека из правительственных сфер. С момента выхода в свет «Гяура» Байрон уже не мог избавиться от шепота: «Кто может поручиться, что эти вещи не случились с Байроном во время путешествия по Востоку?» И если романтический ореол производил впечатление на лондонских красавиц, то вместе с тем в набожных английских семьях и в правительственных кругах создалось предубеждение против автора. Байрон вынужден был писать дополнительные объяснения к поэме хотя бы тем друзьям, которые были связаны с благожелательной славой поэта, в том числе поэту Роджерсу, которому поэма была посвящена, и Томасу Муру, на помощь которого он рассчитывал.

Следом за «Гяуром» появилась «Невеста из Абидоса». Поэма первоначально носила наименование «Зулейка». Абид, или Абидос,—это старый греческий город на азиатском берегу, в самой узкой части Геллеспонта.

Против Абидоса на другом берегу возвышаются здания другого греческого города — Сеста. К этим местам старинной греческой территории приурочена история мифической любви Леандра и красавицы Геро. История двух молодых сердец, разлученных не только морской стихией, пленила Байрона. Свидания на другом берегу, затрудненные волнами широкого пролива, гибель Леандра, пренебрегшего опасностью и в бурю переплывавшего пролив, смерть Геро, не вынесшей тревоги и разлуки, — вот элементы древнего мифа о любви, преодолевающей препятствия. Уже Овидий в поэмах «Герои и героини» дал обработку этого греческого сказания; потом в VI столетии нашей эры, в так называемый «железный век» классической литературы, поэт Мусей заново дал обработку сюжета разлученных любовников. И до и после Байрона европейская поэзия не раз возвращалась не только к сюжету, но даже к именам Геро и Леандра.

Байрон переживал творческую лихорадку. В четыре ночи закончил он первый набросок поэмы, а через две недели дал ее окончательную редакцию. Греческая Геро превратилась в красавицу Зулейку. Леандр превратился в Селима. Гжаффир-паша напоминает Али — Янинского пашу. Гжаффир-паша воспитывает племянника Селима, сына своего брата, убитого рукой Гжафффира, и не знает, что Селим является братом его собственной дочери Зулейки. На этой коллизии завязывается сюжетный узел байроновской поэмы, осложняющий старинный миф о Геро и Леандре. Если «Чайльд Гарольд» как целое произведение совершенно лишен сюжета, завязки и развязки, если «Гяур» обладает этими формальными качествами в незначительной степени и колоритная мощь Востока, так хорошо передаваемая Байроном, искупает, с точки зрения читателя, сюжетную неопределенность «Гяура», то в «Невесте из Абидоса» мы видим начало нового творческого пути Байрона. Сюжетные контуры выступают здесь резче, и, несмотря на лихорадочную поспешность доработки, это новое произведение Байрона построено, с точки зрения композиции и сюжета, гораздо полнее, чем предшествующие.

«Невеста из Абидоса» опять вызвала неожиданное внимание к личной жизни Байрона. словно выполняя чье-то задание, английская критика и публика великосветских гостиных выискивала в каждой детали указания на подлинные происшествия жизни Байрона. На этот раз

предприятие оказалось безуспешным, разве только одно совпадение могло обрадовать смелых комментаторов, любителей читать между строк. Из писем Байрона 1810 года известно, что он сам по примеру Леандра переплывал Геллеспонт. Байрон был одним из лучших пловцов мира. Венецианские кузнецы на Лидо по воспоминаниям дедов рассказывали, что в Венеции жил англичанин-рыба, который часто переплывал с набережной Скиавано на Лидо,—это добрых два часа на поверхности воды. Вот единственное автобиографическое совпадение с «Невестой из Абидоса».

Личная жизнь Байрона в этот период была полна перемежающихся смятений и тревог. Барометр европейской политической погоды страдал от чрезвычайно резких перемен. Газеты приносили известия о крушении наполеоновского похода в Россию, о потрясающих событиях на других театрах войны. Злорадство английских газет, боязнь революционных идей, биржевые судороги, крушение рынков—все это неслось в каком-то страшном урагане событий, словно жизнь вступила в такую полосу, где трансформируются вчерашние формы. И действительно, мировой экономический кризис 1811 года уносил ежедневно тысячи жертв, и если английские суконщики-предприниматели иногда богатели, то только потому, что они брались поставлять обмундирование войскам Наполеона, находящимся в войне с Англией. Эти предприниматели не пострадали. Не было случая, чтобы между 1805 и 1825 годами в парламенте стоял запрос об этом явном предательстве.

Характерным проявлением тревоги Байрона были его повторные стремления уехать из Англии. В перерыве между окончанием одного произведения и началом другого Байрон все больше и больше метался и одно время серьезно решился навсегда уехать в Россию. Что тянуло его в эту страну? Какие свойства природы, политики, культуры могли нравиться Байрону в тогдашней Российской империи? На это мы не находим ответа, но несомненно, что крах Наполеона сделал для Байрона интересной Россию «как страну неограниченных возможностей». Но одновременно, очевидно, поэту хотелось ограничить собственные возможности. Он боялся своей свободы все больше и больше и потому момент возобновления переписки по почину Анабеллы Мильбенк он приветствовал с неожиданной для себя горячностью.

Переписка приобретала все более и более дружеский характер.

Мисс Мильбенк, дочь баронета Ральфа Мильбенка, довольно богатого человека, воспитывалась в набожной, очень лицемерной семье и все усилия воли направила к тому, чтобы усвоить себе идеалы старосветских помещиков — ханжеской и консервативной касты. Мисс Мильбенк старательно училась и, без критики воспринимая все правила английской морали, стремилась следовать им с таким же упорством, с каким она изучала математику, греческий язык, с каким писала стихи на библейские темы, почитала родителей, любила короля, была набожной христианкой без фанатизма, нарушающего правила хорошего тона. Вся молодость этой женщины прошла по дороге, проторенной дедами и родителями. Украшенная прилежанием в науках, вниманием к родителям и примерным поведением, она очень рано стала образцом для девушек своего круга. Родители, осчастливленные этим «полевым цветком», как они называли дочь, вряд ли могли заметить, как в этом педагогическом изделии «добродетельная» воля опресняет, гасит и стискивает до омертвления те естественные колебания чувств, воли и характера, которые возникают у любого человека при первых его конфликтах с противоречивой действительностью. Те формулы социальной и индивидуальной морали, которые являлись маскировкой англичан тогдашнего века, позволявших себе многое, лишь бы это многое было шито и крыто, были восприняты дочерью баронета Ральфа не как условные, а как обязательные установления. Мисс Мильбенк хорошо говорила и писала. Она без малейших колебаний считала английскую действительность за единственно возможную. С изящной покорностью она принимала установленные богом и королем формы жизни и механически повторяла сотни и тысячи красивых вычитанных мыслей.

Байрон не чувствовал никакого скрипения в этом прекрасном человеческом механизме, который в письмах пленял его красивыми фразами, логически ясными мыслями, наивной чистотой чувств, — одним словом, таким количеством совершенств, что автор «Чайльд Гарольда» начал серьезно верить в спасительность своего союза с Анабеллой Мильбенк. Мисс Анабелла вряд ли хорошо знала сама себя. Где-нибудь во Франции юная буржуазка, воспитанная в монастыре, так же долго носит в себе

покорность словесным формулам морали, но, сбита своим темпераментом и житейскими соблазнами, она быстро идет по пути собственных влечений, оставляя нетронутой всю фальшивую словесность монастырских нравоучений. Кокотка уживается с пиэтисткой, католичка с куртизанкой. В Англии такая девушка, как Анабелла Мильбенк, не на словах, а на деле сумела до времени погасить вспышки своего характера до полного омертвления каких бы то ни было побуждений, сумела овладеть игрой своих нервов, умертвить всякие признаки темперамента и целиком отдаться построению ловушки для будущего супруга. Поступки Анабеллы Мильбенк, продиктованные заурядными мещанскими побуждениями, для нее самой имели вид самоотверженного спасения погибающего поэта. Скромность, столь характерная для Анабеллы, превращала ее в девушку, похожую на компаньонку старой аристократки, на культурную гувернантку герцогских детей, среди достоинств которой блистают такие редкие звезды женских добродетелей, как метафизика, подтверждающая истины религии, и математика, делающая ненужным домашнего счетовода или управляющего имением. Тихим благоразумием ясности и безмятежностью взгляда, как заманчивыми контрастами с собственным характером Байрона, она приковала внимание поэта.

Стоя на перепутье между карьерой бурного парламентского борца и дорогой поэта, Байрон и в том и в другом случае стремился к союзу с мисс Мильбенк, ослепленный надеждой найти в этом кротком и безбурном характере «ангела-хранителя». Байрон вместо ангела-хранителя увидел человека, полного глухого и жестокого сопротивления. Математика, метафизика, цитаты греческих поэтов и красоты женского стихотворства — все «полетело к черту». Перед Байроном оказалась глухая каменная стена, которая все больше и больше принимала форму стены тюремной или комнаты дома умалишенных. Вся обширная переписка Байрона с мисс Мильбенк свидетельствует, до какой степени Байрон не понимал характера своей будущей жены. Вот, например, что он писал 29 ноября 1813 года:

«Никто не может воображать о себе меньше, чем вы, и быть менее самонадеянной, хотя очень немногие из моих знакомых обладают и частью оснований, дающих вам право на «превосходство», которое вы так боитесь выка-

зять. И я не могу припомнить ни одного выражения, употребленного вами за время нашей переписки, которое в каком-либо отношении уменьшило бы мое мнение о ваших дарованиях и мое уважение к вашим нравственным достоинствам. Вы очень несправедливы к себе, полагая, что «очарование» разрушено нашим более близким знакомством. Наоборот, именно это общение убеждает меня в ценности того, что я потерял, или, вернее, чего я никогда не находил.

...Есть слух, что к вашему списку непринятых присоединился еще один, и мне его жаль, так как я знаю, что у него есть дарования, а его родословная может служить ручательством его остроумия и хорошего расположения духа. Вы производите прискорбное опустошение среди «нас, молодежи». Хорошо, что в такое убийственное время—к тому же сейчас ноябрь—м-м де Сталь уже опубликовала свое средство против самоубийства. Я не читал его из боязни, как бы любовь к противоречию не заставила меня на деле опровергнуть то, что она утверждает».

В марте 1814 года Байрон делает заметку, за полгода до второго предложения: «Получил письмо от Беллы. Я на него не ответил. *Я опять влюблюсь в нее, если не буду держать себя в руках*». Из дальнейших писем становится очевидным, что «держаться себя в руках» становилось все труднее и труднее.

События мировой истории разворачивались, как гигантская трагическая панорама. Миллионы солдатских сапог истоптали Европу. Сожженные посевы, разрушенные города и ни одной семьи без потерь. Границы государств, перебегающие, как живые змеи, меняющие очертания гигантских населенных площадей, англо-американская война, которую англичане окрестили «братоубийственной», и страшный склеп—мертвый и сумрачный,—склеп политической реакции сузил горизонты человеческой мысли и человеческих стремлений до пределов подземной тюрьмы. Падение Наполеона не принесло с собой возвышения фунта стерлингов, а огромные тюки фальшивых ассигнаций французских, русских и всяких других, которыми Англия наводнила европейские рынки, внезапно стали наводнять коридоры английского банка. Общество Лондона в эти годы испытывало минуты, часы, недели и месяцы судорожного безумия, когда кары и репрессалии сыпались на головы беднейшего населения и

все резче обозначалась теневая черта между дворцами пэров Англии и коттеджами разбогатевших военных поставщиков — с одной стороны, и лондонскими трущобами, где в притонах и подвалах десятками тысяч гибло молодое поколение английской бедноты — с другой.

Байрон не принадлежал к числу отвлеченных поэтов, наоборот, он обладал той степенью полной восприимчивости жизни, которая является обязательным свойством гения, и кажущиеся мотивы отхода от английской действительности в тех произведениях, которые характеризуют лондонский период творчества Байрона, на самом деле только подтверждают то обстоятельство, что Байрон эту действительность знал и чувствовал ее остро. Отсюда усиленные поиски не только новой житейской дороги, но и новых творческих путей.

В январе 1814 года вышел в свет новый шедевр Байрона — поэма «Корсар». В предисловии автор пишет о себе в третьем лице: «Корсар явился в свет в 1814 году, а написан автором в минувшем декабре в течение двух недель. Поэт писал с увлечением и внес в свое творение очень многое из жизни».

Не так легко понять эту неопределенную фразу, но когда первое издание разошлось к вечеру того же дня, как только появилось в магазине, то немедленно вышло второе, в котором действительно отразилось нечто «внесенное из жизни». Это было открытое повторение восьми строчек, посвященных «Плачущей девушке».

Удар был настолько точен, что 18 февраля 1814 года Байрон записал в дневнике: «С газетами сделалась истерика, а город пришел в неистовство от моего признания авторства и от перепечатки восьмистрочного моего стихотворения».

Действительно, не было ни одной газеты, которая тоном более или менее резкого осуждения не отмежевалась бы от дерзкого поэта. Байрона обвиняли в государственной измене. Подкупленная журналистика и добровольно раболепная пресса, как по сигналу, в один голос ругали поэта. В журналах появились пародии на байроновские поэмы, поэт был развенчан, и травля началась. Был пущен слух о парламентском запросе, слух неосновательный, ибо всем было ясно, что нельзя запрашивать о стихах Байрона, не затрагивая скандального происхождения во дворце.

«И все это из-за того,—писал Байрон,—что сливочный пирожок оказался с перцем, как говорит Бардедин в сказках Шехерезады. Разве я не чудотворец, если всего только восемь моих маленьких строчек породили восемь тысяч газетных статей!»

ПОИСКИ ПРИМИРЕНИЯ

ЖЕНИТЬБА

Несколько слов из дневника Байрона, написанных после известий об отречении Наполеона:

«19 апреля 1814 года.»

...Я не буду больше вести дневников, но чтобы воздержаться от возврата к этим воспоминаниям, я вырываю оставшиеся белые листы этой тетради. Я пишу...

...Бурбоны возвращены. Долой разум. Я долго презирал себя и людей, но никогда еще это презрение не доходило до той степени, как сейчас: я плюю в лицо всем моим собратиям по планете. О, дурак, я сойду с ума!»

Этими яростными строчками действительно кончался большой период жизни Байрона. Возвращение Бурбонов вызвало в нем смятение и напряженную ярость.

Политика Священного союза, объявившего восстановление «законных» властей, охрану монархического и религиозного принципов в Европе, восстановление церковного и политического авторитета дореволюционного мира, а в качестве программы и тактики—уничтожение не только революционных, но и просто либеральных идей, истребление очагов заразы повсеместно,—все это было декларативным закреплением крутого поворота в сторону сумрачной и мертвой реакции, охватившей Европу.

Каково было отношение Байрона к фигуре Наполеона? При ответе на этот вопрос биографы имеют обыкновение примешивать к субъективным байроновским оценкам элементы его зависимости от шовинистической аристократии. Надо сказать, что в такой многогранной душевной организации, какой обладал Байрон, в разные периоды отношения его к Наполеону приобретали разную эмоциональную окраску. Но основная оценка Наполеона как тиранической и деспотической фигуры у

Байрона была резко отрицательной. «Ода к Наполеону», написанная при известии о низвержении императора, свидетельствует об этом с непререкаемой ясностью. Приводим заключительные строфы этой оды:¹

Но низкой жаждой самовластья
Твоя душа была полна.
Ты думал: на вершину счастья
Взнесут пустые имена!
Где ж пурпур твой, поблекший ныне?
Где мишура твоей гордыни:
Султаны, ленты, ордена?
Ребенок бедный! Жертва славы!
Скажи, где все твои забавы?

Но есть ли меж великих века,
На ком покоить можно взгляд,
Кто высит имя человека,
Пред кем клеветники молчат?
Да, есть! Он — первый, он — единый!
И зависть чтит твои седины,
Американский Цинциннат!
Позор для племени земного,
Что Вашингтона нет другого!

Не надо забывать, что незадолго перед этим закончилась англо-американская война за независимость Соединенных Штатов. «Колония отпала от метрополии» и почувствовала себя гораздо менее великобританской, чем даже любая область Германии. Мы приводим эти сообщения только для доказательства того, что оценка Наполеона у Байрона исходила вовсе не из шовинистического злорадства английского штаба противобонапартовских коалиций, ибо восхищение Вашингтоном и американской демократией для английского лорда тогдашнего времени было не только явлением антипатриотическим, но и небывалым по дерзости.

Наполеон попал в пасть к англичанам, и от его прежнего высокомерия не осталось и следа. «Ваше королевское высочество,— писал он принцу-регенту,— я — жертва борьбы партий, раздирающих мою страну, я — жертва вражды великих держав Европы, я бесповоротно расстаюсь со своей политической карьерой. Подобно Фемистоклу, устремившемуся на свет очага, я прибегу к очагу народа Британии. Я бросаюсь под защиту законов вашей страны. Я прошу, чтобы защитили меня вы, ваше

¹ В переводе В. Брюсова. (Примеч. автора.)

королевское высочество, как самый могущественный, самый стойкий и самый благородный из моих врагов».

Это письмо, конечно, не могло вызвать симпатий Байрона, но еще менее вызывали в нем симпатию торжествующие стихи Томсона, после того как Наполеон, бежавший с Эльбы, был разбит в битве при Ватерлоо, а французские банкиры отказали разбитому императору в миллионах на новый набор войск.

В стиле старого народного гимна Томсон писал:

«Когда по слову творца и зиждителя миров Англия возникла в утренней заре из лазурных вод океана, ангелы-хранители этой страны огласили воздух хоралом: «Царствуй, Англия! Будь царицей океанских вод, во веки веков англичане будут выше других наций, и народы мира всегда покорно пойдут под игом твоей власти. Великобритания, будь великой страной! Да всколосятся твои нивы, зазеленеют твои луга, да процветет богатая торговля со звоном золота в банках и торговля твоих городов».

Однако и этот сливочный пирожок оказался с перцем. Наполеон нанес огромный ущерб английской торговле, и надежды английских предпринимателей на немедленный результат падения Наполеона оказались преждевременными. Используя период блокады, английские конкуренты в достаточной степени укрепили свою торговлю на прежних английских рынках. Общая атмосфера Англии была напряженной, так как, несмотря на все надежды английской буржуазии и английского крупнейшего землевладения, взрыв пауперизма становился грозным фактором. Парламентская борьба была напряжена: *виги* представляли интересы промышленной буржуазии, торговли и наиболее стойких представителей мелкой буржуазии. Они выступали сторонниками мира и внутренней уравнительной политики, в то время как *тори*, лидеры которых были закоренелыми врагами не только идей французской революции, но даже элементарного буржуазного либерализма, выступили с новой программой истребления в зародыше каких бы то ни было очагов социальной реформы. Будучи представителями крупнейшей земельной аристократии, они оказывались в полной зависимости от барышей хлебной торговли. Наступивший год был годом ожесточенной борьбы по вопросу о свободной торговле хлебом. В годы наполеоновских войн на всей территории Европы стояли чрезвычайно высокие хлеб-

ные цены. Наполеоновская блокада повысила эти цены на территории Англии. Падение Наполеона и появление иностранного хлеба на английском рынке грозило тори разорением. Они провели закон, облагавший иностранный хлеб крупнейшей пошлиной, и наконец добились запрещения хлебного импорта, если цена английского хлеба будет ниже восьмидесяти шиллингов за четверть, то есть тридцать шесть франков за гектолитр!

Но внутрипарламентская борьба никак не затрагивала интересов масс населения. Вот почему в продолжение четырех месяцев 1816 года не переставали поступать в адрес палаты общин петиции с сотнями тысяч подписей, требовавшие устранить злоупотребления самого парламента с продажей хлеба. Чрезвычайно характерна петиция Лондонской корпорации. Она прямо пишет: «Злоупотребления являются следствием того, что вы, господа члены парламента, в огромном большинстве продажны и доступны подкупу. Будучи продажными, господа члены парламента незаконно получили депутатские места в палате общин, и посему нынешний состав парламента никак не может считаться представляющим действительные интересы населения Соединенного королевства. Нет правильной системы выборов, а посему достодожный контроль над слугами короны не может быть осуществлен, в особенности в нынешний год, когда палата общин заняла положение прислуги у министерства».

Уже за год перед этим в Лондоне и в крупных городах Англии были произведены обыски и тайные аресты. Были найдены трехцветные знамена французской революции, склады оружия. Протоколы отмечают в числе опасных находок стихотворения Байрона, написанные на политические темы.

Помимо прямых указаний, полученных из этих стихов, английская тайная полиция имела широкую возможность ознакомиться с политическими воззрениями Байрона и другим способом. Во всех политических клубах Англии были провокаторы и шпионы. В один из Спенс-анских клубов, названных по имени Томаса Спенса, автора «Социальной утопии», вошел некий Кестель, сразу привлекий к себе симпатии английских клубменов необыкновенной широтой своих политических взглядов, смелой антиправительственной агитацией, ироническими отзывами о принце-регенте и министрах. Он оказался шпионом секретного правительственного кабинета.

В течение двух лет он с легкостью произвел регистрацию всех мыслителей и деятелей Англии, настроенных критически, собрал не только печатные революционные листки, не только стихи Байрона, ходившие в рукописных копиях, но и сам выступил в качестве автора антиправительственных прокламаций. Ему принадлежит идея и осуществление кровавой уличной перестрелки 1816 года; эта провокация Кестеля была раскрыта, после чего он скрылся.

10 апреля Байрон записал в дневнике: «Сегодня целый час занимался боксом; потом написал «Оду к Наполеону». Прошло несколько дней. Байрон писал своему издателю Меррею: «Лучше не ставить моего имени на нашей «Оде». Это не помогло. Аноним Байрона был разоблачен немедленно, и Томас Мур, незадолго перед этим получивший письмо Байрона о том, что поэт навсегда порывает с литературной деятельностью, написал письмо Байрону: «Удалось ли вам видеть «Оду к Наполеону Бонапарту»? Я подозреваю, что ее сочинили или Фитц Джеральд, или Розметильд. Эти могучие артистические изображения всех тиранов, предшественников Наполеона, заставляют меня признать автором Розметильда, но с другой стороны — откуда этакое мощное разумение истории? Желаю знать, что Вы об этом думаете, ибо есть у меня друзья, настойчиво утверждающие, что это *сочинение* принадлежит перу известного автора «Странствований Чайльд Гарольда». Это, конечно, заблуждение, они меньше меня начитаны в творениях и Джеральда и Розметильда, а кроме того, они, видимо, позабыли, что вы два месяца тому назад поклялись ничего больше не писать много лет».

Простой список членов кассы взаимопомощи, найденный у рабочего, немедленно влек его к суду. А что такое представляли собой тогдашние суды Англии, мы видим из слов радикала Френсиса Плеса, который был не только предпринимателем либерального пошиба, но и другом одного из крупнейших утопических социалистов — Роберта Оуэна. Плес говорит: «Если б можно было представить точный отчет о нынешних судебных процессах, то никто не поверил бы в возможность таких грубых несправедливостей, таких тяжелых издевательств над рабочим и таких диких зверских наказаний. Когда рабочий судится за организацию рабочего союза, то, как бы ни было тяжело его положение, его осуждают. Не было

случая, чтобы судья выслушивал рабочих без оскорблений и без выражений нетерпения. Не знаю ни одного случая, когда их разумные показания сопровождались бы человеческими разумными приговорами суда».

Но когда в руки полиции попадает стихотворение, написанное лордом, то в силу специальных английских законов, ограждающих произвол аристократической касты, нельзя было вызвать Байрона в камеру обыкновенного судьи. А между тем эта каста была оскорблена Байроном. Байрона необходимо было покарать. Безмолвным и тайным кастовым судом судили взбунтовавшегося лорда, вынесли молчаливый приговор и, как увидим дальше, привели его в исполнение без каких бы то ни было юридических формулировок.

Почва для этого была подготовлена. Мы уже привели факты, говорящие о некотором внутреннем смятении Байрона. Его желание то уехать в долгое плавание на корабле «Бойн», то отправиться в Россию, то бросить литературную работу—все это указывало на развитие пессимистического мироощущения. В это время как раз оживилась его переписка с мисс Мильбенк. Совершенно несомненно, что Байрон не понимал настоящего смысла этой переписки. Он не видел, что становится объектом упражнения в христианских подвигах молодой английской пиэтистки. Она читала его произведения, его письма, а родители тем временем собирали сведения о поэте. Мисс Мильбенк видела в Байроне ту «жертву греха», которую она может очень красиво и выгодно для себя спасти, и поэтому, найдя удобный момент, она указала Байрону на прекрасный источник утоления душевных печалей—религию. Будущий супруг ответил мисс Анабелле следующее: «Я вам очень благодарен за ваше указание на религию, но должен вам сказать, даже рискуя лишиться того хорошего мнения, которое, по-видимому, вы составили в силу доброты вашего сердца, что религия—это именно тот самый источник, из которого я *никогда* не черпал утешения, и думаю, что *никогда* не буду в состоянии этого сделать. Если были минуты, когда я чувствовал то, что вы назвали бы благоговением, то это случалось совсем не по религиозным поводам, а только в тех случаях, когда я неожиданно соприкасался с прекрасными явлениями жизни без всяких своих заслуг. Я тогда действительно испытывал чувство благодарности, но только не к богу и не к людям. С другой стороны—в

болезнях и в неудачах я философствую в меру сил, не заглядывая в потустороннее, а просто из желания, чтобы болезнь или несчастья кончились. Я совсем не знаю, зачем я пришел в этот мир. Бесполезно спрашивать, куда исчезает человек. Среди миллиардов живых и мертвых миров, звезд, систем смешно беспокоиться об одном атоме».

Не прошло полугода, как желанное событие совершилось, несмотря на «вселенские недомолвки». По крайней мере, 20 сентября 1814 года Байрон писал Томасу Муру:

«Дорогой Мур! Я женюсь, то есть мое предложение принято, а остальное последует, как обыкновенно... Мисс Мильбенк—имя этой леди, и я получил от ее отца приглашение приехать в качестве жениха, чего, однако, я не могу сделать, прежде чем не улажу кое-каких дел в Лондоне и не обзаведусь синим фраком.

Говорят, она наследница, но чего—право, не знаю, наверное, и не буду справляться. Но я знаю, что у нее есть талант и превосходные качества; и вы не станете отрицать за нею рассудительности, так как она отказала шестерым искателям и приняла мое предложение.

Если вы имеете что-либо сказать против,—пожалуйста, говорите; мое решение обдумано, выбор сделан, дело решено, и потому я могу прислушиваться к доводам, так как теперь они не причинят вреда. Разумеется, я должен вполне исправиться; и, серьезно, если я могу способствовать ее счастью, то мое будет обеспечено. Она так хороша, что... что... короче, я хотел бы быть лучшим».

Уцелело письмо Байрона к неизвестной, а через четырнадцать дней Байрон, как бы проверяя себя, пишет письмо Ходжсону. Оба письма чрезвычайно показательны для периода перелома, определившего собой водораздел байроновской биографии:

«5/X—1814.

Дорогая леди! Вашей памятью и приглашением вы оказываете мне большую честь; но я «собираюсь жениться и не могу приехать». Моя нареченная находится за двести миль отсюда, и, как только я устрою свои дела, мне придется спешно выехать, чтобы стать счастливым. Мисс Мильбенк—та добрая особа, которая взяла меня на свое попечение, и я, конечно, сильно влюблен в нее и не

менее глуп, чем бывают обычно все холостые мужчины в этом сентиментальном положении.

Вы, может быть, знаете эту девушку? Она приходится племянницей леди Мельбурн, кузиной леди Купер и другим вашим знакомым. У нее только один недостаток — она слишком хороша для меня, но этот дефект я принужден простить ей, даже если другие не простили бы. Все это могло произойти два года назад — и тогда я был бы избавлен от множества неприятностей. Она воспользовалась этим временем, чтобы отказать полдюжине моих близких друзей (подобно тому как она, между прочим, сделала и со мной когда-то), и наконец «взяла меня», за что я ей очень благодарен. Мне хочется, чтобы все кончилось скорее, потому что я ненавижу суету, а несуетливой свадьбы не бывает. Кроме того, говорят, что нельзя венчаться в черном фраке, а синих я не выношу.

Пожалуйста, простите меня за то, что я нацарапал вам весь этот вздор. Ведь мне придется быть серьезным в течение всей моей последующей жизни, и это моя прощальная шутовская выходка, которую я пишу со слезами на глазах, в ожидании предстоящих волнений. Верьте, что я серьезно и искренне ваш покорный слуга.

Байрон».

«19/X—1814.

Дорогой Ходжсон! Она все-таки будет леди Байрон, как только позволят юристы и прочие деловые люди. Об этом долго рассказывать, и я это сделаю потом; во всяком случае, я ее совсем не понял. Она любила меня в течение довольно долгого времени, и, как оказывается, никакого «другого» увлечения не было. Мы *оба* думали, что мы разлучены и что между нами — препятствия, которые, однако, оказались мнимыми. Она считала, что я никогда не повторю своего предложения, и пыталась возбудить в себе склонность к другому (*это ее собственное объяснение*); но их встреча вывела ее из заблуждения, а наши недоразумения оказались следствием той естественной сдержанности, которая возникает между людьми в таких обстоятельствах, в какие, как нам казалось, были поставлены мы. Прошел месяц или более с тех пор, как было принято мое предложение, но я задерживаюсь здесь по делу. Как только м-р Гансон поедет в Дерем, через неделю, а то и менее, я буду готов — да и теперь я уже

готов — последовать за ним. Отец, мать и все родные мои и ее относятся ко всему этому очень благосклонно. Я люблю ее и надеюсь, что она будет счастлива.

Всегда искренне ваш Б.»

Однако уже и в это время, в октябре 1814 года, зловещие сомнения посетили Байрона в самые отрадные минуты его жизни. Вот его письмо к невесте от 16 октября 1814 года:

«Разбирая бумаги, я нашел первое из писем ваших ко мне; перечел снова. Вы согласитесь, что дело обстояло неважно и надежд впереди было мало; но я могу простить — не то слово, я хочу сказать — я могу забыть даже свойство ваших тогдашних чувств, если вы не обманываете себя теперь. К этому-то вашему письму я всегда возвращался, оно стояло передо мною во всей моей дальнейшей переписке; а теперь говорю ему «прости», — и все же ваша дружба была мне дороже всякой любви, кроме вашей».

2 января 1815 года, возвращаясь из деревенской церкви в Сигеме в дом своих родителей, новобрачная сказала Гобгоузу, одному из друзей Байрона и спутнику его путешествий: «Если я не буду счастлива, то лишь по собственной вине».

Байрон жил в деревенской обстановке у тестя. Наступил «сироповый» месяц, как писал Байрон, уже с некоторой иронией относясь к проблеме вручения своей жизни «милому вожатому». «Полевой цветок» постепенно превращался в синий чулок, а миловидная простота и сердечность превращались в беспощадную жестокость «принцессы параллелограммов и ромбов, математической Медеи, блюстительницы добрых нравов».

Стихи, греческий язык, математические познания — все это оказалось ярлыками, приклеенными водой. При первом подсыхании чувств ярлыки отпали и оказалось, что ни устремления воли, ни характеры супругов не дополняли друг друга, ибо внешние и случайно приобретенные свойства Анабеллы Мильбенк не были тем фундаментом, на котором могли строиться глубокие внутренние отношения, взаимное понимание и та дружба, которая связывает спутников жизни гораздо прочнее, чем общие литературные вкусы или горячие проявления чувства в первые моменты совместной жизни.

Байрон только что закончил сборник стихов под названием «Еврейские мелодии». Еврейский музыкант Натан был тем даровитым инициатором поэтической темы, которая завлекла Байрона и вдохновила его на «Еврейские мелодии». Колорит Востока всегда пленял Байрона, а библейские темы, величавые и простые, особенно совпадали с периодом его матримониальных стремлений. Вот почему «Еврейские мелодии» отличаются большой завершенностью и цельностью. Натан был одним из лучших друзей Байрона, и в тот период, когда английский свет закрыл перед Байроном двери, Натан мужественно не покидал Байрона в самые тяжелые моменты его жизни.

ВТОРАЯ ССОРА С МИРОМ

РАЗРЫВ С АНГЛИЕЙ

Март 1815 года застаёт Байрона у своих новых родственников. Он безвыездно живет в Гигеме и переписывается с Лондоном.

Наступал период европейского сна. Затяжной Венский конгресс разбирал проект Священного союза, предложенный русским царем съезду европейских монархов. Францию стремились втиснуть в границы 1789 года, человеческую мысль стремились отвести назад и утвердить в пределах церковно-монархических идеалов. Но жизнь кипела и бурлила и во Франции и в Англии, несмотря на то что венский съезд монархов стремился понизить температуру этого кипения. Мы уже сказали о том определенном брожении, какое испытывало население Англии. Франция с первых дней Реставрации чувствовала себя беспокойно. Свободный ввоз английских машин с 1815 года ускорил темпы капиталистического развития крупнейших центров Франции — Парижа, Лиона, Орлеана и других городов, а вместе с тем и революционизирование пролетариата этих городов.

Каждый живой и мыслящий ум тогдашнего времени стремился разобраться в событиях, и Байрон в свой «сироповый месяц» предавался очень горьким раздумьям. В эти минуты леди Байрон своеобразно поняла свою задачу. Она решила на крылатого Пегаса байроновского вдохновения надеть мирный христианский хомут дере-

венской клячи. Лев уже был укрощен, его можно было показывать в домашнем цирке. Огромный, потрясенный и разрушенный мир революционных идей возрождался перед взором Байрона в ту минуту, когда «милый вожатый» протянул ему руку, чтобы подвести супруга к жалким кустикам гниющего крыжовника в деревенском саду своего отца. Второго марта 1815 года Байрон пишет Томасу Муру: «Я погрузился в полнейшее однообразие и застой. Я занят исключительно пожиранием фруктов, шатанием без цели, скучнейшей игрой в карты с попытками читать старые ежегодники и текущие номера газет, собиранием раковин на берегу и созерцанием того, как в саду перед глазами растут захиревшие кусты крыжовника. У меня нет ни времени, ни мыслей, чтобы прибавить к этому что-либо...»

Один только раз всколыхнулся этот мертвый сон. Бонапарт бежал с Эльбы, высадился в бухте Жуан и по горным тропинкам южной Франции с горсточкой людей кинулся на Париж. Людовик XVIII бежал.

27 марта 1815 года Байрон снова пишет Томасу Муру: «...Теперь о вашем письме. Наполеон! Но газеты уже, наверное, сообщили вам обо всем. Относительно этого вопроса я вполне согласен с вами; а если вы хотите знать, что я действительно думал об этом год тому назад, я отошлю вас к последним страницам моего дневника, который я вам передал. Нельзя не быть пораженным и ослепленным его личностью и судьбой. Я никогда не был ничем так разочарован, как его отречением, и ничто не могло бы примирить меня с ним, кроме возрождения, подобно его последнему подвигу; хотя, конечно, никто не мог предвидеть такого полного и блестящего восстановления».

Миновал апрель месяц. Кусты захиревшего крыжовника, пыльные альманахи и карты, тесть и теща несли несменяемую сторожевую службу вокруг Байрона.

Вполне понятно, что в дневнике того времени неожиданно появляется в памяти образ Мэри Чаворт, красивой девушки,—первой, самой ранней любви Байрона. Еще больше воспоминаний Байрона за это время относится к Мэри Дефф. Байрон с горем узнал, что эта когда-то живая, веселая девушка вышла замуж за Местерса и внезапно заболела тяжелой формой меланхолии. Эта мысль причиняет Байрону боль. Опять возникают печальные размышления о собственной судьбе, плохие размыш-

ления для «сиропового месяца». Они связаны с возвращением к мысли о «природе слепой и губительной», ставящей на пути полного расцвета человеческой личности, на пути полного могущества человеческой воли непреодолимые ограничения. Мысль Байрона идет дальше. К этим ограничениям, которые ставит природа, человек присоединяет тысячи застарелых привычек и условных связей, которые кажутся непреодолимыми. В деревенской глуши Байрон еще острее чувствует необходимость разрушения этих законов, перегородок и ограничений ради раскрепощения новой человеческой личности. Свободные искания превращаются в бунт против законов человеческого общества, и вся система человеческих отношений берется Байроном под сомнение. Несвоевременность этих размышлений вовлекает его в конфликт с новыми родственниками. Благодушная шутливость, великодушное стремление щадить свою новую родню сменяются у Байрона раздражением. Он видит, что не только дочь сэра Ральфа Мильбенка дана ему в обязательные спутники жизни, но и вся система застарелых и затхлых взглядов консервативной семьи навязана ему как обязательное приданое. Чем дальше, тем труднее становится переносить это. Байрон не скрывает этого от Томаса Мура. Собираясь переехать с своей молодой женой в Лондон, он пишет:

«...Мне было здесь очень уютно: выслушивать эти проклятые монологи, которые пожилые джентльмены называют разговорами, в которых мой благочестивый тесть повторяет самого себя аккуратно каждый вечер, за исключением одного раза в неделю, когда он играет на скрипке. Однако они все любезны и гостеприимны. Мне отменно нравятся и они сами и местность, в которой они, дай им бог, проживут еще много счастливых месяцев. Белль здорова. Ее хорошее настроение и ровное обращение не меняются. Но сейчас мы переживаем мучительные приготовления к отъезду. И я пламенно надеюсь, что завтра в эти часы я уже буду втиснут в экипаж и мой подбородок благополучно будет упираться в какую-нибудь дамскую картонку. Но я приготовил другую карету для горничной и всей той мишуры, которую наши жены имеют обыкновение повсюду таскать за собой.

Любящий вас Байрон».

Европейские события застали Байрона в Лондоне. Битва при Ватерлоо, ссылка Наполеона на океанский

остров и особенно письмо Наполеона к Георгу — регенту — вызвали у Байрона прилив раздраженного презрения. Его не радовал визит Блюхера и Веллингтона в Париж. Он достаточно резко высказывался об этом в своих беседах, которые, по-видимому, стали предметом детального обсуждения в Сигеме. Мы не имеем сведений, подтверждающих предположение о ссорах Байрона с тестем и тещей, но совершенно неслучайной является отправка из Сигема в Лондон вместе с шляпными картонками и баулами некоей госпожи Клермонт. Это было тоже своеобразное добавление к приданому мисс Мильбенк. Очевидно, при наружном благодушии и благожелательстве четы Мильбенк и тесть и теща после «сиропового месяца» своей дочери решили не оставлять дочь глаз на глаз с опасным человеком в Лондоне. Родителей Анабеллы все больше охватывало подозрение, подозрение превращалось в осуждение. Сэр Ральф для проверки преступной души поэта счел необходимым отдать его под надзор хитрой помещичьей кумушки, обладающей блестящими способностями проникать в тайны семейной переписки и подглядывать сквозь замочные скважины.

Лондон для Байрона и его жены был продолжением попыток взаимного понимания и сближения, попыток совершенно искренних. Но это сближение было похоже на встречу двух существ, которые издавна не видели непроходимой пропасти, ожидающей их на пути.

Первым произведением Байрона, вышедшим после брака, было «Осада Коринфа». Поэма закончена летом 1815 года. Автор повествует о том времени, когда Коринф выдерживал турецкую осаду. В турецком войске венецианский гражданин Альп, христианин, принявший мусульманство, мстительный и злой, законченный ренегат, является самым ярким противником Коринфа. Вражда выросла из чисто личных поводов: Альп любит Франческу Миноти — дочь правителя Коринфа, дочь человека, бывшего причиной всех несчастий Альпа. Коллизии, конфликты, контрасты — весь арсенал романтических приемов, которые в последующее десятилетие были уже скомпрометированы в глазах читателя, но в ту пору еще не утратили своей свежести; и если теперь «Осада Коринфа» кажется нам произведением смутным, по существу бессюжетным, то в год своего появления оно имело всю прелесть новизны.

Леди Байрон ждала рождения ребенка. Она радовалась возвращению Байрона к восточным темам, но просила его смягчить мрачный колорит поэмы. Леди Байрон в этот период стремится всячески помочь мужу вплоть до того, что переписывает по несколько раз его произведения.

Вслед за «Осадой Коринфа» в феврале 1816 года появилась новая поэма, являющаяся вершиной байроновского творчества лондонского периода. Опять совершенно не английский сюжет. Место действия — Италия. Происшествие заимствовано из хроники герцога Феррарского. Поэма называется «Паризина». Байрон воспроизвел события, имевшие место в хронике 21 мая 1425 года. Николай д'Эсте, маркиз Феррарский, женился на Паризине Малатеста. Паризина вошла в дом феррарского владыки и встретила там девятнадцатилетнего Уго, побочного сына своего мужа. Хроника повествует о любви Уго и Паризины, после раскрытия которой маркиз Феррарский приказал казнить не только любовников, но и всех неверных жен Феррары.

До Байрона эту хронику драматически обработал в пьесу «Наказание без мщенья» испанский драматург Лопе де Вега. Но самый сюжет восходит к очень древним временам, начиная с классической Федры, любившей пасынка Ипполита; трактовка этой темы доходит до Альфиери, написавшего драму на этот сюжет под названием «Мира».

Поэма появилась в печати в феврале 1816 года, но сдана была издателю Меррею уже в декабре 1815 года. Байрон спешил, потому что в этом же месяце у него родилась дочь Ада.

Мы не знаем, обсуждался ли в новой семье Байрона вопрос о переходе титула, о ньюстедском и родждельском имениях Байрона, но, по-видимому, уже в это время рождение дочери, а не сына, косвенно повлияло на планы Ральфа Мильбенка. Рождение сына значительно укрепило бы внутрисемейный авторитет Байрона. Рождение дочери влияло в обратную сторону. Оно укрепляло позиции матери. Во всяком случае, наступило резкое изменение внутрисемейного положения Байрона, осложненное бешеным выступлением светского общества против «Паризины», появившейся в печати.

Пересматривая законы «общественной» морали, Байрон выступил с защитой естественного чувства Паризи-

ны, отказавшейся от человека не ее возраста, за которого она была выдана замуж по расчету, и отдавшейя влечению сердца. Но этот пересмотр, произведенный Байроном так смело, оказался как нельзя более несвоевременным. Он не понравился тестю и теще, он не понравился лондонским матронам, и, как писал Байрон, «престарелые мужья молоденьких супругов с негодованием щупают свои лбы, ожидая ветвистых произрастаний». Светское общество было недовольно. Этим воспользовались и те, кто был недоволен политическими сатирами и вольнодумством Байрона. Немедленно последовал удар по материальному благополучию Байрона. Наследство Байрона в деньгах равнялось восьми тысячам фунтов стерлингов, ушедшим на восстановление Ньюстеда после свадьбы. Мисс Анабелла принесла с собой десять тысяч фунтов, но и на эти деньги внезапно был наложен арест. Непосредственно после рождения ребенка Байрон оказался нищим. Одновременно с листками критических отзывов полетели в квартиру Байрона исполнительные листы, принудившие его, в очень трудное для него время, продать все, не исключая библиотеки.

«За последние дни,— писал Байрон,— у меня перебывали десятки судебных приставов. В доме нет вещей, которые не попали бы под запрет, перестав быть моими, но я начинаю привыкать к этому и работаю, как прежде».

Ральф Мильбенк с супругой проживали в йоркширском имении и никак не отзывались на несчастья молодой четы и новорожденного ребенка. В довершение этих бед Меррей, издатель Байрона, имел неосторожность показать поэту рукописный пасквиль под названием «Анти-Байрон». Байрон был назван в нем богохульником, развратником, пасквиль содержал в себе прямые угрозы для жизни и безопасности Байрона. Этот документ, ходивший уже по рукам в сотнях списков, привел Байрона в бешенство. Анонимные письма и угрозы осаждали Байрона беспощадно. Во время январской поездки в Ньюстед с Вебстером Байрон удивил последнего тем, что на крутом повороте дороги приготовил пару заряженных пистолетов. На вопрос Вебстера, что это значит, Байрон спокойно ответил, что «имеет основание опасаться насильственной смерти».

Из Вены в Лондон вернулся лорд Кестльри и привез сгущенное мракобесие Венского конгресса в качестве идейной нагрузки своего министерского портфеля. Этому

человеку суждено было стать активным участником травли Байрона, а последующая история вскрыла и другого организатора травли: автором «Анти-Байрона» оказался Георг IV.

В большинстве биографий Байрона этот период его жизни освещен чрезвычайно односторонне. Оценка его поведения обычно низводится к обстоятельствам чисто личного и даже интимного свойства. А между тем более глубокий и добросовестный анализ последнего времени жизни Байрона в Англии приводит к бесспорному выводу: во-первых, жизнь и поведение Байрона встречали резко враждебное отношение со стороны господствующих классов уже потому, что в каждом движении Байрона они видели покушение на богатства и благополучие Соединенного королевства, и, во-вторых, что душевное равновесие Байрона нарушалось больше всего удушающими реакционными явлениями общественной жизни, которыми полна была Англия.

Никто, например, не обратил внимания, как болезненно Байрон следил за событиями в Ирландии, развернувшимися как раз в эти годы. Существовал старинный акт, в силу которого ирландские чиновники должны присягать королю как главе англиканской церкви, платить десятины англиканскому духовенству, несмотря на то что они как католики никакой связи с англиканской церковью иметь не желали. Губернатор Ирландии, лорд Уэлесли, брат Веллингтона, не только полностью сохранил все эти пережитки, но и потребовал новых полномочий, которые и были ему даны. Преследования ирландцев дошли до чудовищных размеров. В городах и селах Ирландии люди, не имеющие специального знака, должны были к определенному часу быть на своих квартирах. Тот или иной сигнал возвещал всякий раз по-новому час, после которого католик, встреченный на улице, считался преступником. Ссоры, ночные убийства, целые сражения между ирландцами и англичанами и страшная, все возрастающая нищета серьезно встревожили даже врагов Ирландии. Все эти события были предметом живейшего обсуждения злорадной континентальной прессы, все это и многое другое в тысяче отголосков доходило до ушей Байрона и отравляло его сознание. Но все эти обстоятельства почему-то не учитываются биографами Байрона, и поэтому перипетии его семейного конфликта становятся для них единственным источником его биографии:

Обычно выставляется как главная причина дезорганизации семейных отношений Байрона сводная сестра Байрона, Августа Ли. Байрон будто бы любил ее больше, чем то дозволено родственными связями, и она будто бы отвечала на это нездоровое чувство. Так, по крайней мере, говорит последующая молва. Мы имеем основание утверждать, что разрыв супругов Байрон был подготовлен раньше, чем были найдены поводы для разрыва, и приговор был вынесен задолго до совершения тех «преступлений», которые были впоследствии сфабрикованы.

4 апреля 1816 года появились в печати стихи: одно называлось «Прощание», оно было написано 17 марта 1816 года; другое, «Эскиз», было посвящено неизвестной женщине.

Эти два стихотворения — «Прощание» и «Эскиз» — раскрывают нам гораздо больше, чем все пасквили на Байрона. Очень возможно, что Байрон был плохим супругом, очень возможно, что увлечение вином и наркотиками действительно имело место после приезда в Лондон. Но уже не только возможно, а вполне достоверно то обстоятельство, что ни Ральф Мильбенк, ни сама Анабелла не сделали ничего, чтобы погасить судебную травлю и особенно те светские пересуды, которые с настойчивостью сыскной собаки травили Байрона. Мало того, они подтвердили законность этой травли, когда в январе 1816 года, закутав одномесечного ребенка и не предупредив мужа, леди Байрон выехала в заранее приготовленном экипаже в имение своего отца, Керби Маллори. Правда, она написала Байрону письмо с дороги и называла мужа в этом письме обычным ласковым словом «милый голубок». По письму нельзя было предполагать разрыва. Байрон, удивленный отъездом, ждал возвращения жены, но напрасно. По прошествии нескольких недель Байрон уже от посторонних людей, никак не связанных с его семьей, узнал, что леди Байрон «не намерена когда бы то ни было вернуться в дом мужа». Стихотворение «Прощание» и было посвящено леди Байрон:

Прости! И если так судьбою
Нам суждено — навек прости!
Пусть ты безжалостна — с тобою
Вражды мне сердца не снести.

Стихотворение «Эскиз» имеет в виду домашнего сыщика госпожу Клермонт и принадлежит к числу самых

желчных, самых отравленных произведений Байрона. Очевидно, эти короткие девяносто строчек концентрировали всю ненависть Байрона к мещанской Англии. Начинается оно такими строками:

Родясь на чердаке, на кухне возвращена
И к барыне взята—служить при туалете,
При помощи услуг, державшихся в секрете,
Оплаченных ценой неведомой, она
К господскому столу допущена оттуда,
К соблазну прочих слуг, ей подающих блюдо.
Храня спокойный вид, берет она прибор,
Что ею же самой был чищен до сих пор.
Остер язык ее, и лжи—запас богатый;
Поверенная всех и общий соглядатай—
Какие ж на себя взяла она труды?

Речь шла не о простом «несходстве» характеров лорда Байрона и его жены, речь шла о столкновении двух мироощущений. Мир большого поэта, построенный на распаде феодальной психологии, склонявшейся к тем социальным поискам, которые лучше всего проявились в так называемом феодальном социализме (от которого, кстати сказать, рабочий класс, по выражению «Коммунистического манифеста», «убегал со звонким и непочтительным смехом, увидав на нищенском мешке дворян-социалистов старинные гербы»),—этот мир был враждебен и той крепкой английской буржуазии, которая со звериным оскалом зубов бросилась на мир, как на свою добычу, и тому уровню мелкопоместной обывательщины, на котором стояла, как на незыблемой скале, математическая Медея—мисс Мильбенк.

Госпожа Клермонт играла очень ясную роль во всех этих кошмарных днях с 17 по 29 марта 1816 года, когда Байрон стал похож на путешественника, заснувшего в комфортабельной каюте и проснувшегося на обломке мачты после крушения. Байрон говорит, что госпожа Клермонт обладала способностью не только наблюдать, но и создавать факты, если их не было налицо. Байрон был доверчив с тем легкомысленным великодушием гения, с той гордыней избалованного ребенка, которая лишает человека бдительной осторожности в житейских делах. И в дальнейшей жизни Байрон сохранил это свойство, присущее гению и ребенку,—он не умел скрывать своих пороков. В силу этих свойств Байрона работа госпожи Клермонт была чрезвычайно облегчена. Уже в

Сигеме, подглядывая в замочную скважину или на прогулке из-за кустов подслушивая мелкие ссоры супругов, госпожа Клермонт доказала свою полезность и необходимость в роли ангела-хранителя Анабеллы. А в Лондоне она выкрадывала письма Байрона, подглядывала из-за ширм супружеские поцелуи и подслушивала интимные речи, затем отсылала копии специально подобранных существующих и несуществующих писем тестю и теще Байрона. Когда Байрон после прогулки верхом возвращался домой, готовый продолжать свой поэтический труд, он не находил рукописи на месте. Открывая дверцы книжного шкафа, он замечал, что книги переставлены, он не находил дружеской записки, служившей закладкой читаемой книги. В подъезде, на лестнице ему попадались неизвестные лица, которые впоследствии оказались представителями специального надзора, навещавшими госпожу Клермонт. Не без удивления он согласился на категорическое требование отъезда гостившей у него сестры, не без удивления узнал, что принятая им работа в театре «Друрилен» связана для него с потерей светского авторитета и уважения новых родных.

Все эти обстоятельства, которые Байрон никак не связывал с пребыванием госпожи Клермонт, вдруг стали для него полны зловещего смысла после отъезда жены и исчезновения пачек писем.

Проходило время, жена не возвращалась. Байрон просил объяснений; леди Анабелла наконец написала ему короткую записку с просьбой «приехать для переговоров». Байрон не поехал, и тогда леди Байрон раскрыла свои истинные намерения. «Полевой цветок» внезапно обнаружил свойства дипломата, «нежная голубка» заговорила языком полицейского. Никакого намека на вражду к золовке, наоборот,—полное доверие и даже стремление вовлечь Августу Ли в заговор против Байрона. Вот, например, одно из ее писем к Августе:

«Керби Маллори, 18 января 1818 года.

Моя дорогая сестра! Ты считаешь мое молчание очень странным, но ты не знаешь, в каком я замешательстве и как боюсь написать прямо противоположное тому, что хотелось бы. По-видимому, болезнь не развивается, и, по-моему, теперь она не сильнее, чем бывало много раз в прежние периоды. Это печально для тех, кому он дорог, потому что шансы на выздоровление не увеличиваются,

хотя печальная развязка и отсрочивается. Помнишь ли, он сказал, что мне придется кормить до 10 февраля. Я думаю, он намерен около этого времени приехать ко мне pour des raisons¹ и уехать затем за границу, как только убедится, что он достиг той цели, которую имел в виду.

Я думаю, что он, если сознает болезнь, допустит к себе Лемана, в присутствии которого он сумеет владеть собою, в расчете, что тот засвидетельствует здравость его рассудка. Факт с пистолетом разителен. Такие опасения граничат с помешательством, а между намерением и исполнением очень маленькая разница.

...Став теперь под защиту моих родителей, я, разумеется, должна дозволить им принимать такие меры, какие они сочтут нужным для моего благосостояния, лишь бы только другим не было вреда. Отец настаивает, чтобы я конфиденциально посоветовалась с кем-нибудь из юристов, и я думаю, что мать сможет устроить это. Зная твое беспокойство за меня, я не скрываю от тебя этого намерения.

Всегда твоя А. И. Н. Б.»

В 1817 году в одном из многочисленных отрывков, свидетельствующих о незаконченных замыслах, Байрон так характеризует этот период своих отношений:

«...С дороги я получил от нее нежное письмо. Она сообщала о здоровье своем и нашего ребенка. По прибытии к своему отцу она написала мне второе письмо, еще более нежное и даже местами игривое с приглашением приехать к ней, но следом я получил третье письмо уже от ее отца. В этом письме он в самых вежливых, но категорических выражениях требовал расторжения брака. Я ответил, что, женившись на дочери этого почтенного человека, я нахожусь в супружеской переписке именно с нею и потому не могу дать согласия на развод. Следом пришло письмо от моей супруги, в котором она сообщала, что ее родитель предложил мне развод с нею на основании ее собственного согласия. При этом она вторично приглашала меня приехать, сообщая мне, что она оскорбленная и прекрасная женщина. Тогда я спросил ее о причинах разрыва и о странном противоречии с первыми нежными письмами. В ответ я получил письмо, совершенно лишенное нежности. Супруга писала мне, что

¹ По некоторым причинам (*фр.*).

нежные письма и приглашение она писала в расчете на то, что считала меня умалишенным и что если бы я решился пропутешествовать в одиночестве в имение ее родителя, то, конечно, мне было бы оказано особое гостеприимство со стороны тестя, то есть я встретил бы на пути нежнейшую из жен: смиренную рубашку, рукава, завязанные на спине и камеру умалишенного».

Горький тон этого отрывка не должен закрывать от нас фактического положения вещей. Несходство характеров, повлекшее к ссорам, разница в задачах и во взглядах на жизнь, приведшая к тому, что люди, любившие друг друга, в одно прекрасное утро смотрят друг на друга, как неприязненные незнакомцы, все это могло бы привести к обыкновенному выводу житейского порядка. Байрон и его жена стали бы жить врозь, не оформляя этого решения, но особые обстоятельства, сопровождавшие эту ссору, говорят нам, что мещанско-аристократическое общество было заинтересовано в создании скандального разрыва. Когда возникла трещина в отношениях между супругами, то оно немедленно забило клин в эту трещину, и если бы не случайные стечения обстоятельств, то физическая личность Байрона была бы, быть может, негласно уничтожена.

Вспомним маленькую деталь из письма леди Байрон к Августе Ли: «Факт с пистолетом разителен. Такие опасения граничат с помешательством, а между намерением и исполнением очень маленькая разница».

В мудреном языке этого письма многие склонны усматривать «зловещий» смысл: ведь Байрон стрелял в комнате своей лондонской квартиры. Между тем обстоятельства этого инцидента очень просты. После угрожающих анонимных писем, не тревожа никого своими опасениями, Байрон редко отправлялся в дорогу невооруженным. Парламентские регистры тогдашнего времени сухо и холодно повествуют об участвовавших по ночам исчезновениях людей на улицах Лондона и особенно за пределами городской черты. Леди Байрон застала мужа заряжающим пистолет в комнате. Во время разговора Байрон выстрелом погасил свечу в углу своего кабинета. Можно быть уверенным, что леди Байрон была не столько напугана, сколько шокирована неприличным поведением человека, щеголяющего отличной стрельбой в непригодном закрытом помещении.

Были и другие факты, вызвавшие недоумение леди

Байрон. Нервная и впечатлительная натура поэта унаследовала черты «бешеного Джона», отца Байрона, и неуравновешенность матери. Припадки бешенства, лицо, искаженное судорогой,—не это пугало Анабеллу. Как человек, лишенный мужества, она поддалась эгоистическому испугу за себя, вместо того чтобы помочь и себе и Байрону. Она смотрела на Байрона с точки зрения благопристойного салона и требовала от человека той же замороженности, какая отличала ее самое. Покорная и благопристойная дочь, леди Байрон с поспешностью, более чем неблагоразумной, выдала тайну своих бед родителям. Она сообщила, что муж находится на пороге полного сумасшествия, а любвеобильные родители, любящие бога и короля больше, чем зятя, конечно, пришли в ужас и увидели в этих жалобах торжество своих собственных предположений. Семья сэра Ральфа оказалась благодарной почвой, на которой уже чужие руки начали посев тех ядовитых растений, которые отравили жизнь Байрона. И если впоследствии другая женская рука прицепляла пистолеты к седлу Байрона, уезжавшего перед рассветом на побережье в сосновый лес в период опасных карбонарских встреч, то руки Анабеллы сделали все, чтобы Байрон оказался обезоруженным под ударами лондонского света.

Байрон не предполагал истинного размера начатого против него похода. 7 апреля он опубликовал в газете «Икземинер» стихи на тему о звезде Почетного легиона, о том французском ордене, который был связан для Байрона с принятием революционных идей, внесенных французскими походами в Европу. Стихотворение было расценено как непатриотическое, и некий Джон Скотт, издатель торийской газеты «Чемпион», через десять дней поместил заметку, в которой буквально говорилось, что стихи о звезде Почетного легиона можно писать, только имея две головы на плечах. Замахнувшись на одну из этих голов, Джон Скотт в один узел связывает и политическое преступление Байрона, и прощальное стихотворение, обращенное к жене, хотя Байрон нигде не указывает адресата этих стихов, и тот «Эскиз», который, как легко было догадаться после широкой огласки ухода леди Байрон, относился к госпоже Клермонт. Скотт писал следующее: «Для надлежащей оценки подобных политических произведений лорда Байрона надо принять во внимание также и соответствующую этим стишкам

практику нравственного поведения поэта, и его поступки в семейной жизни. Многие факты этой грустной истории, к счастью, довольно широко известны в Лондоне. Что же удивительного в том, что поэт, венчавший лаврами императора, ненавистник законных французских королей Бурбонов, пишущий панегирик «звезде храбрых и радугам свободы», оправдывает ересь своего политического бунта еще большей гнусностью своего личного разврата, противоестественным пороком и вдобавок сопровождает все это жалобными стишками в одном случае и клеветнической бранью — в другом».

С этого дня, как по сигналу, открылась газетная травля против Байрона. Англия начала избиение человека якобы по поводу его «семейных дел», причем самое крупное из выдуманных дел было гораздо невиннее самого мелкого факта семейной жизни тогдашнего английского короля. Байрон писал 29 февраля 1816 года Томасу Муру:

«Я воюю «со всем миром и своей женой» или, скорее, «весь мир и моя жена» воюют со мной, но они не сломили меня, несмотря на все, что они делают. Не помню мгновения,—здесь или за границей,—когда я был бы в таком положении — совершенно оторванный от радости в настоящем и без какой-либо разумной надежды на будущее. Говорю это потому, что так думаю и чувствую. Но я не паду под этим бременем, несмотря на то что сознаю все это,—я так решил.

Между прочим, вы не должны верить всему, что услышите на эту тему, и не пытайтесь также защищать меня. Если бы вам и удалось, это будет для меня смертельным и несмываемым оскорблением, потому что в таких случаях всякие опровержения недопустимы. Для тех, кого я имею в виду, у меня готов очень короткий ответ; но до сих пор, несмотря на всю свою энергию и на помощь нескольких деятельных друзей, я не мог найти определенного лица, с которым, под благовидным предлогом, я мог бы с необходимой краткостью обсудить этот вопрос; одного я почти пригвоздил вчера, но он увернулся, дав мне объяснение, удовлетворительное по мнению других. Я говорю о тех, кто распространяет сплетни, не испытывая против них враждебного чувства, но я должен действовать по общепринятым правилам, когда мне случится встретить более серьезных из тех, кто этим занимается...

...Я не имею даже самого неясного представления о том, что буду делать сам—или с самим собою,—ни где, ни что. Несколько недель тому назад я рассказал бы вам нечто такое, что могло бы вас рассмешить, но говорят, что я не должен смеяться, поэтому я был все время очень серьезен, остаюсь серьезным и сейчас.

Я был не совсем здоров—болезнь печени,—но за последние две недели мне стало лучше, хотя я все еще нахожусь под надзором врача. Моя маленькая девочка в деревне, и говорят, прелестный ребенок; теперь ей почти три месяца. Сейчас за ней наблюдает леди Ноэль, моя теща. Дочь ее (урожденная мисс Мильбенк), кажется, находится в Лондоне со своим отцом. Некая миссис Клермонт, которая в лучшие времена была прачкой, а сейчас—нечто вроде экономки и шпионки леди Ноэль, в значительной степени, по мнению сведущих людей, может считаться тайной причиной наших теперешних семейных разногласий.

Во всей этой истории мне больше всех жаль сэра Ральфа. И он и я одинаково наказаны, хотя и тяжело страдать обоим за ошибку одного: я буду со своей женой разведен, а он останется со своей».

Байрон продолжал еще думать, что все его житейские осложнения являются следствием семейного беспорядка. Он работал, совершал прогулки пешком и на лошади, виделся с теми, кто по социальному положению не попадал в круг родственников его жены, но кто очень серьезно интересовал человека, произнесшего в палате лордов речь против казни ткачей.

Неожиданно к Байрону начали наведываться доктор Лашингтон, доктор Леман и лондонский адвокат сэр Самюэль Ромилли, все чаще и чаще один за другим, а иногда попарно. То юрист под видом доктора, то доктор под видом юриста, то вдруг два юриста, то внезапно два доктора в разное время дня, прерывая рабочие часы поэта, навещали его на квартире сначала негласно и тайком, а потом открыто. Но все обследования и визиты не дали желанного результата. Врачи констатировали дважды элементарные моменты вечернего воздействия алкоголя и полное, юридически обязывающее к ответственности, состояние душевного здоровья.

Вокруг поэта постепенно разворачивается дикая юридическая свистопляска. Начало, по-видимому, было положено формальным заявлением леди Байрон о разводе.

Один из бывших друзей Байрона, Гобгоуз, говорит, что леди Байрон намеревалась передать прокурору Вильмонту «формальное признание о том, что ее родители и она сама в целях совершенно не семейного порядка оклеветали Байрона». Но это было только минутное колебание. Гобгоуз говорит, что она на его же глазах разорвала этот документ. И дело, начатое против Байрона, получило «законный ход».

Байрон был передан в руки английских палачей, не тех, которые выворачивают руки на дыбе, а тех, которые выворачивают душу наизнанку. Юридическое издевательство дошло до такого предела, что Байрону пришлось обратиться к Самюэлю Шеппарду с просьбой о ведении процесса в более «пристойной юридической рамке», чем то позволили себе юристы, приглашенные семьей Мильбенк.

Дело приобретало характер скандала, после которого Байрону стало почти невозможно появляться в лондонских гостиных. Маленькая семейная случайность выросла до размеров великобританского скандала, развод поэта превратился в политический случай, и это в то время, когда принц-регент через парламент и палату лордов стремился превратить королеву Англии в кокотку, без всякого риска потерять власть.

Есть основание предполагать, что девяносто третья строфа четвертой книги «Чайльд Гарольда» написана в Лондоне. Прозаическая запись Байрона говорит: «То, что называют мнением общества,—это могущественная сила, окутывающая человеческий мир покровом тьмы в целях превращения в жалкую случайность явлений правды и справедливости. Вот почему люди покрываются мертвой бледностью при мысли, что их подлинные суждения покажутся слишком яркими: мысль превращается в преступление, ибо мнение господствующего общества с ужасом видит, что на землю в их сумрак льется слишком яркий поток небывалого света».

Как бы вторя Байрону, историк Маколей говорит:

«Я не знаю более комического зрелища, нежели английское общество в те дни, когда наступает периодический пароксизм моральной судороги. Вообще увоз чужих жен, разводы и семейные ссоры происходят в Англии мирно, не обращая на себя ничьего внимания. Мы, англичане, читаем о случившихся скандалах, поговорим в течение суток и навсегда о них забываем. Но вдруг,

на шестой или на седьмой год наша проснувшаяся добродетель продирает глаза и становится воинственной. Мы терпеть не можем в эти минуты, чтобы законы религии и нравственности попирались в отношениях между супругами. Мы считаем себя обязанными строить крепости против натиска порочных страстей. Мы внезапно желаем манифестировать и декларировать всему миру, какие мы молодцы в понимании великого значения святыни семейных уз. В силу этих внезапных, как ураган, обстоятельств несчастный человек, который нисколько не меньше и нисколько не больше испорчен, чем сотни, тысячи других людей, поступки коих вызывали всегдашнее снисхождение, вдруг становится козлом отпущения. Если у него есть дети, их отнимают. Если он занимает должность, его прогоняют со службы. Представители правящих и высших классов Англии изгоняют его из гостиных и перестают ему кланяться. Мальчишки из низших классов встречают его шипением и шиканием, а провожают его свистками и комьями грязи. Одним словом, он делается похож на тех несчастных школьников, которых наказывают для примера товарищам. Вот наконец все это сделано. Мы с чувством внутреннего самодовольства садимся кушать, с наслаждением думая о собственной строгости, и с величайшей гордыней сравниваем достигнутую высокую ступень нравственности Англии с несчастными подвальными порогами, на которые карабкаются легкомысленные парижане. К концу обеда вместе с пищеварением наступает утоление гнева. Говорят, что жертва нашей добродетели разорена и доведена до нищеты; наконец за десертом сообщают, что жертва нашей добродетели умерла с отчаяния. Но вот наступает конец, наша утоленная сытая добродетель ложится спать на следующие семь лет».

Маколей, как и многие буржуазные историки, произвольно намечает какие-то «семилетние периоды» трагических столкновений личности и общества. На самом деле эти столкновения имеют вполне естественные причины, но они никаким образом не связаны с какими-либо сроками. Мы уже указывали на глубокие общественно-политические причины, которые, несомненно, отразились на распаде феодально-дворянского строя Англии. Бескорыстные и внутренне добросовестные поиски выхода из мещанско-аристократического болота не только не вели талантливых одиночек этого класса назад, но устремляли

их к поискам лучшего устройства человеческого общества. Воспитанные на идеях Руссо, Локка, Юма, Декарта, который считал целесообразным скептическое отношение решительно ко всему, кроме факта собственного существования (*cogito, ergo sum* — я мыслю, значит, я существую), эти люди, после падения устойчивых форм существования своего класса, начали полный пересмотр всех общественных отношений, всей суммы знаний, всего установленного порядка человеческих воззрений на нравы и взаимоотношения людей, а потом перешли к страшному вопросу о месте одинокого человека в природе. Эта природа казалась им то обаятельным другом, спутником Руссо, собиравшим гербарий из красивых цветов в Монморанси, то страшным врагом, вечно уничтожающим одни формы для торжества других, унижающим самое достоинство минутного человеческого сознания, навеки затухающего в час смерти.

Все эти люди, построенные по типу Байрона, не могли идти дальше одиночного бунта, ибо еще не созрел коллектив, способный спясть волю трудящегося человечества, стремившегося к преобразованию мира. Но эти люди обладали и многими достоинствами, в том числе социальной романтикой, которая в своих устремлениях не шла назад к реставрации прошлого, а смотрела вперед, несмотря на то что индивидуальные поиски этого будущего часто приводили к гибели. Если бы Байрон в силу своего общественного положения, титула, сравнительного благополучия личного существования мог сойти на уровень заурядного обывателя, он, конечно, никак не пострадал бы. Но этот «непонятый чужак» не удовольствовался этим «счастливым» жребием, он пошел вразрез английскому государственно-политическому быту — и потерял родину. Он пошел вразрез тогдашней европейской морали, религии, и в сумерках европейской реакции этот лорд-одиночка затеял опасную игру в политическую свободу, не задумываясь отдал свои средства и блестящий талант на служение национально-освободительной борьбе итальянских карбонариев.

Чем дальше, тем труднее становилось его пребывание в Англии. Одна за другой закрывались двери гостиных. Человек оказался выбитым из привычных условий жизни, будучи неприспособленным к жизни в других условиях. Байрон начал переписку о переселении на континент. Тайком от всех он оформлял свои документы и терпеливо

ждал возможности отъезда. Он чувствовал, по собственным словам, что если клевета, распространенная шепотом и громким высказыванием, имеет основание, то он, конечно, не подходит для Англии, а если клевета лишена какого бы то ни было основания, но продолжается, то, конечно, Англия не подходит для него.

Цепь замкнулась. Байрон не делал себе иллюзий относительно того, что общество континента способно будет отнестись к нему лучше, чем общество Англии. Байрон очень долго ждал ответа из Парижа. Надо всей Европой Священного союза висела тяжелая и мрачная сеть таможенных загоронок, и благородный пэр Англии попал в затруднение гораздо большее, чем простой матрос, предлагающий свои услуги владельцу трехмачтовой шхуны.

Замыслив отъезд из Англии, Байрон написал своей жене письмо, которое мы помещаем в этой книге впервые на русском языке, как и все письма Байрона, приводимые в этой биографии. Письмо не датировано.

«Еще несколько последних слов — немного — и таких, на которые я прошу вас обратить внимание. Я не жду ответа. Да это и не нужно. Но вы, по крайней мере, должны выслушать меня. Я только что расстался с Августой. Ваши условия привели к тому, что это единственный человек, которому было позволено со мной проститься перед моим отъездом. Куда бы я ни поехал, — а я еду довольно далеко, — мы с вами больше не встретимся в этой жизни и, за себя я ручаюсь, не встретимся в будущей. Ну, теперь, после этого, вы спокойны и можете прочесть мое письмо.

...Ваш поверенный, мистер Уортон, прислал мне письмо с вашими двумя запросами. Отвечаю. Карета, конечно, ваша, а не моя, будьте спокойны. Это та самая карета, которая увезла вас от меня в Керби Маллори. Ну так она еще много раз будет возить вас в разные счастливые путешествия.

Квитанции могут у вас остаться.

...Мне хотелось бы получить сведения о моем ребенке. Что касается другого письма — Уортона, то я должен сказать, что это не моя медлительность, а медлительность английских законов, и как только мистер Хансон установит текст документа о разводе, так я немедленно его подпишу.

Ваш Байрон».

Артистка Мердин в театре «Друрилен» внезапно освистана, потому что «кто-то сказал», что она хорошо относилась к директорству лорда Байрона. Друзья Байрона подвергаются неожиданному бойкоту. Для самого Байрона небезопасно двигаться по улицам Лондона. Байрон вместе с молодым итальянским врачом Полидори раньше срока выезжает на морской берег. Перед окнами дома Байрона в Лондоне разобрана мостовая. Стекла выбиты, выломаны рамы и двери. Но хозяина нет, и несчастный домовладелец должен платиться из собственного бюджета за роковую славу своего жильца, уехавшего в Дувр.

После многих недель тщетного ожидания в Дувре Полидори принес Байрону большой пакет с французскими печатями. Байрону запрещалось не только появляться в Париже, но и пребывание на французской территории. Транзитный паспорт разрешал только проезд без остановок.

25 апреля 1816 года Байрон сел на корабль, плывший из Дувра в Остенде. Из этого нового путешествия от берегов Англии ему уже никогда не суждено было вернуться на родину.

ШВЕЙЦАРИЯ

НА ИДЕЙНЫХ ВЫСОТАХ

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И СТАРЫЕ ВРАГИ

Историк английского рабочего движения Колл говорит, что «в год битвы при Ватерлоо родился британский социализм». Действительно, напряженные поиски социальной правды у европейских философов и утопистов совпадают с первыми десятилетиями XIX века. Мы видим работу Роберта Оуэна в Англии, работу Сен-Симона, а немного позже Фурье во Франции, где еще продолжалась традиция тайных обществ, построенных по образцу масонских организаций, и где после разгрома карбонаризма по итальянским городам возникла так называемая большая европейская карбонада, где ученик и последователь Бабефа — Буонарроти — впервые осветил коммунистический опыт бабувизма в замечательной книге «История заговора равных». Нет ничего удивительного, что именно

в этот период мы и в литературе находим проявление яркого политического радикализма.

Одним из примеров такого радикализма был Перси Биси Шелли. Этот поэт родился 4 августа 1792 года, следовательно, он был моложе Байрона на четыре года. В день рождения Шелли совершился крупнейший переворот в жизни революционной Франции. Об этом Шелли, изящнейший лирический поэт Англии, всегда вспоминал с особым чувством. Шелли родился в дворянской семье, как и Байрон. Отец, довольно богатый баронет, передал сыну свои стремления к беспорядочной жизни и рано освободил его от родительской опеки. Школьные товарищи Шелли отмечали его пристрастие к дурным отзывам об отце, боге и короле. В руки школьника Шелли рано попала книга скептического философа Юма — «Опыты». Он рано перелистал «Большой словарь наук, искусств и ремесел» французских энциклопедистов и сделался почитателем либеральных сочинений английского писателя Годвина. Шелли обладал способностью ни перед чем не останавливаться в области мышления, ниспровергать все авторитеты, «кроме искания чистой истины». И вот этот человек оказался таким же отверженцем, как и Байрон, на континенте Европы, и, словно нарочно, судьба свела этих двух людей для того, чтобы не разлучать их до смерти одного из них.

Так же, как и Томас Мур в «Ирландских мелодиях», Шелли полон симпатиями к свободолобивым стремлениям ирландского народа. Так же, как этот друг Байрона, он является почитателем Роберта Эмета, казненного английскими палачами за организацию ирландского восстания. В Дублине Шелли выступает в роли политического агитатора. В Монтанвере на Альпах он оставляет греческую надпись: «Я филантроп, демократ и атеист». В восемнадцатилетнем возрасте Шелли начал писать длинные письма, где излагал свои атеистические и революционные идеи, и направлял эти письма известнейшим английским деятелям, лично ему незнакомым, с просьбой ответить, каким способом можно опровергнуть эти идеи. В 1811 году Шелли собрал воедино все эти материалы и опубликовал их в виде брошюры под заглавием «Необходимость атеизма». Несмотря на то что брошюра эта была подписана математической формулой, авторство Шелли было установлено. Шелли был вызван к декану Оксфорда. Он подтвердил свое авторство и в тот же день был

исключен из университета. После этого начинается мучительная скитальческая жизнь Шелли.

Говоря об атеизме Шелли, мы не должны упускать из виду, что этот своеобразный атеизм связывался у него с чистым пантеистическим мироощущением, которое является формой идеализма, обожествляющей всю природу в виде живой материи. Это — так называемый гилозоизм. Но епископальный суд и Оксфордский университет не хотели разбираться в этих тонкостях. Для них было достаточным заявление Шелли о полном ниспровержении существующих религий и существующих правительственных систем.

Шелли испытал первые удары со стороны властей, так же как и Байрон, в области семейных отношений. То, что прощалось королевской семье, то в силу ханжеского и лицемерного уклада английского мещанства становилось предметом особой ненависти в отношении к носителям «вольных мыслей». Шелли был женат первым браком на дочери трактирщика Вестбрука, который преследовал свою дочь, нашедшую в лице Шелли нерасчетливого и не в меру великодушного защитника. Шелли в 1814 году познакомился с дочерью почитаемого писателя Годвина — Мэри Волстонкрафт. С нею Шелли отправился на континент, не выдержав преследований в Англии, принявших форму «негодования общественного мнения». Королевский суд отнял у Шелли детей и отдал их на воспитание трактирщику Вестбруку, невзирая на то что этот человек хоть и признавал тридцать девять параграфов англиканского вероисповедания, но воспитывал детей не гуманными уговорами Шелли, а собственным тяжелым кулаком. Приговор лорда Эльдона гласил следующее: «Поведение Шелли было в высшей степени безнравственным, но, не стыдясь его, он в довершение всего проповедует ужасы атеистического учения. По смыслу закона приказываю отнять детей вышеназванного Шелли и одну пятую его доходов, дабы обеспечить детям религиозное воспитание».

Глубоким чувством проникнуты стихи Шелли, посвященные третьему ребенку: «Они отняли у тебя маленького брата и маленькую сестру, они не позволили тебе видаться и говорить с ними. Они выжгли их слезы и стерли их улыбки, на которые я смотрел, как на святыню. Младенцами отдали они твоего брата и твою сестру в рабство убийственной религии и научили проклинать мое

и твое имя, потому что мы умеем думать свободно и безбоязненно. Но будет время, и падет власть тиранов, она исчезнет, как сон, а с нею исчезнет и смелость жрецов лжи. Пока они стоят на берегу потока времен и пятнают волны этого потока кровью. Но этот поток времен наполняется слезами тысяч людей, и будет час, когда этот поток унесет в вечность мечи царей и жезлы священников, как обломки крушения прошлых миров».

Безумный страх, что третий ребенок может быть тоже у него отнят, принудил Шелли навсегда увезти его из Англии, раньше чем приговор лорда канцлера приготовил поэту тягчайшую форму гражданской и политической смерти.

Когда в декабре 1816 года провокатор Кестель вызвал стрельбу и погром оружейных магазинов в Лондоне, а некий Престон обратился к солдатам лондонского гарнизона с предложением сдаться, словно подтверждая секретное донесение полиции о пропаганде в войсках, когда парламент констатировал, что двадцать пять лет войны утроили государственный долг Англии, а секретные комитеты доложили принцу-регенту, что «государственные измены и заговоры, вольнодумство и атеизм в целях разрушения Англии продолжают развиваться»,—тогда оба изгнанника—Байрон и Шелли—были уже далеко.

И встреча была случайна и произошла не сразу. Их сближение было глубоко осмысленно и сразу вступило в полосу полного расцвета идейной дружбы.

Байрон начинал в это время новую фазу философских исканий и воплощал эти поиски, снова принявшись за работу над оставленной поэмой «Странствования Чайльд Гарольда». Третья и четвертая песни поэмы являются отражением этого восхождения на огромную идейную высоту вместе с восхождением от равнин Англии к снежным высотам Альпийских гор. Этот период жизни Байрона является периодом наибольшего философского самоуглубления.

Третья песнь «Чайльд Гарольда» начата 16 июня 1816 года. Эпиграф к ней говорит о целительном значении времени, научающем человека «думать о других вещах». Но прошел год со времени рождения дочери Ады, а Байрон не научился не думать о ней, и поэтому третья песнь «Чайльд Гарольда» начинается и заканчивается печальными строками, посвященными дочери.

Содержание третьей песни так же мало поддается

изложению, как и первые две, и заставляет читателя тщетно ждать руководящей линии сюжета: но, оставляя прежнюю форму, усиливая романтический контраст образов, еще более отдаваясь плавному течению стиха, достигшего необычайной для английских поэтов звучности,— третья песнь является, несомненно, новой ступенью по отношению к первой и второй. Чайльд Гарольд пытается войти в соприкосновение с огромной массой людей и внезапно понимает, что меньше всех других людей он способен идти в ногу или идти рука об руку с людьми своего круга. Он не может подчинить свои мысли владычеству людей, вознесенных на первые ступени общественной лестницы, именно в силу того, что он никогда не примирится с теми, против кого восстает его душа.

Путь Чайльд Гарольда идет через Бельгию.

Перед Гарольдом Франции могила,
Кровавая равнина Ватерлоо...

Наполеон пал.

Заслуженная кара!.. Но свободы
Не знает мир, как прежде, он в цепях;
Ужель лишь для того дрались народы,
Чтоб одного бойца повергнуть в прах?
Прочь рабства гнет! Смирятся ли со светом тени?
Убивши льва, пойдем ли в плен к волкам?
И вместе с хором лстивых восхвалений
Перед царями станем на колени...

Жуткое ощущение одиночества отличает третью песнь «Чайльд Гарольда» от первых двух. Катаклизмы исторического процесса, вулканические сотрясения земли, «когда вся кровь превращается в слезы», внушают Байрону то чувство ужасающей изоляции, которое превращается чем дальше, тем больше в тягчайшее горе, ибо если малое горе способно объединить людей, даже не знающих друг друга, то горе огромное приводит к обратному явлению. По-видимому, человек обязан до конца выносить его в себе, не взывая ни к чьему сочувствию, ибо «обычно люди бросаются в сторону при встрече с таким страшным носителем горя».

Стремление Байрона к уединению все усиливается, и третья песнь «Чайльд Гарольда» гораздо больше, чем первая и вторая, превращается в автобиографию. Вместе с тем повышается чувство общечеловеческого горя. Легкий и беспечный тон Гарольда сменяется философиче-

ским пессимизмом при оценке активной силы горя и пассивно отрицательного значения жизненных радостей, как простого отсутствия боли и горя. Болезнь, несчастье, порабощение одних людей другими и наконец смерть — вот реальность. И только в виде легких обманчивых промежуточных призраков возникают человеческие радости, смешные, жалкие и лживые, как июльское небо, прикрывающее бесконечную пустоту вселенной кажущимся светом солнца.

На некоторых именах Гарольд останавливается. Как можно было ожидать, могила Руссо привлекает его пристальное внимание:

Руссо — апостол скорби, обаянье
Вложивший в страсть, безумец, что обрек
Терзаниям себя, но из страданья
Власть красноречья дивного извлек —
Здесь был рожден для горя. Он облек
Божественно прекрасными словами
Софизмы лжеучений, их поток,
По блеску схожий с яркими лучами, —
Слепил глаза и наполнял слезами.

Любовь была самою страстью в нем;
Как ствол стрелою молнии спаленный —
Он был палим высоких дум огнем.

В 1808 году Байрон очень резко отрицал возможность влияния Руссо на организацию его идей. Возвращение к восхвалению Руссо в этих песнях «Чайльд Гарольда» было типичным для Байрона восхвалением писателя, от влияния которого поэт вполне освободился. Было ли это особое обаяние природы Швейцарии, Женевского озера, всех мест, связанных с пребыванием Руссо в изгнании, было ли это возвращение к идее человека, стоящего лицом к лицу с огромной природой в тот момент, когда необходимо заново пересмотреть идеи общества и государства перед лицом нового общественного договора, как это сделал однажды Руссо в сочинении, названном этими словами? Возможно, что оба явления душевной жизни Байрона были причинами того, что он так полно и ярко переживал новые увлечения старым французским философом.

Историки литературы справедливо сравнивают Байрона этих лет с воинствующим рыцарем, странствующим по XIX столетию Европы из года в год и бросающим перчатку вызова правительству и королям, церкви и

духовенству. Если сравнить эту роль Байрона, его скитания, его стремление самоотверженно бросаться во все европейские конспирации первой четверти века, его молодое и горячее участие в союзе карбонарских заговорщиков с той трусливостью, которую вечно переживал Руссо, страдавший манией преследования и отразивший это в болезненной униженности своей «Исповеди», то увидим совершенно разные темпераменты. Руссо боялся людей и трепетал перед миром. Зрелище мундира, какого бы то ни было, приводило его, беззащитного и робкого философа, в трепет. Что касается Байрона, то он в короткий срок сумел нагнать страх на полицию королевского Лондона, его испугался парижский префект Людовика XVIII, Байрон был предметом дикого и непонятного ужаса для австрийской полиции, для жандармов римского папы, для цензоров царской России.

Во всяком случае, слова Байрона относительно Руссо дышат неподдельной искренностью и восхищением.

Байрон заново перечитывает Руссо на берегах Женевского озера, но, по-видимому, совершенно преодолевает реакционную сторону руссоизма. Руссо говорит в «Эмиле», книге, посвященной воспитанию нового человека: «Существовать — значит чувствовать, чувствительность предшествует сознанию и оберегает его. Чувство развивается в нас раньше, нежели создалось понятие или идея. Чувство и идея — это предметы тождественные, разница только в способе нашего занятия ими. Когда, занятые предметом, мы размышляем о себе, то это будет идея, добытая посредством рефлексии, а когда мы заняты получаемым впечатлением, а мыслим о предмете посредством рефлексии, — то это будет чувство».

В дальнейшем Гарольд отказывается от этой слепой порабощенности чувства, как Байрон в четвертой песни отказывается от Руссо: «Будем же мыслить смело, постыдным отречением от разума был бы отказ от права мыслить. Свободная мысль — это наше последнее и единственное прибежище, по крайней мере для меня это всегда будет так. Хотя со дня нашего рождения и вхождения в человеческое общество способность мысли, как прометеевский огонь, стремятся погасить, бросить в цепи, тюрьму и подвергнуть пыткам. Свободная критическая мысль подавляется, подвергается гонению, ее окружают мраком, чтобы сияние истины не стало доступным миллионам неподготовленных умов. И все-таки свет

разумной мысли станет достоянием всех, ибо время и искусство научат видеть и слепых».

Если Байрон отошел от Руссо, как от писателя, влияния которого он сам не отрицал, то о другом французском писателе, герой которого был несомненным предком Чайльд Гарольда, Байрон упомянул только однажды иронической строчкой «Бронзового века». Шатобриан, автор «Ренэ», был для Байрона только «фабрикантом жития святых».

За два года до смерти Байрона Шатобриан писал в «Замогильных записках» о своем великом современнике: «Мы оба вожди литературных школ — он английской, а я французской. Мы оба путешествовали по Востоку. Пути наши пересекались, но мы никогда не виделись друг с другом. У нас были общие идеи. Почти одинаковая участь, если не одинаковые житейские повадки. «Ренэ» опередил «Чайльд Гарольда»; Байрон, читающий и цитирующий всех современных французских поэтов, конечно, не может не знать меня. Отчего же он имел слабость ни разу не назвать моего имени? Неужели он боялся умалить себя в глазах потомства, только потому, что фара, зажженная на моей галльской ладье, указала кораблю Альбиона пути по морям, не исследованным дотоле».

Поэт реакции, считавший себя профессором монархической науки, писавший для королей пособия по овладению тронами, спаситель христианской религии — Шатобриан невероятно забавен в этой обиде на английского лорда — карбонария, безбожника, за которым международная полиция Священного союза установила гласное и негласное наблюдение, едва он успел появиться на континенте. Как бы ответом Шатобриану звучат слова четвертой песни «Чайльд Гарольда»: «Наследственные рабы, разве вы не знаете, что ваша свобода есть ваше собственное дело? Научитесь наносить удары, ибо победа может быть одержана только вашей рукой. Ни галльские герои, ни московские цари нас не спасут, ибо правительства, побеждая друг друга, вовсе не хлопчут о вашей свободе».

Байрон поселился на берегу Женевского озера, на вилле Диодати. Вилла Диодати принадлежала когда-то гуманистическому философу. Диодати когда-то принимал у себя автора «Потерянного и возвращенного рая»,

Мильтона. Вилла была овеяна преданиями о старинной борьбе швейцарцев за политическую независимость и за свободу совести. Вилла Диодати была выбрана Байроном не случайно. Четыре месяца провел Байрон на берегах Женевского озера. К этому швейцарскому периоду его жизни относится создание третьей песни «Чайльд Гарольда». Там написаны были «Шильонский узник» и драматическая поэма «Манфред», именно первые ее части, третья часть «Манфреда» была дописана уже в Венеции.

Освобожденный от связей со своей общественной средой, Байрон с особой силой почувствовал весь трагизм своего одиночества и бесцельной независимости. Он не скрывал от себя наступления того периода, который обеспечивает человеку наибольшую ответственность перед самим собою в качестве единственного контроля. Там, где человек заурядный, или талант слабый, или творец случайный литературных произведений мог бы погибнуть, там Байрон, собрав в едином стремлении свои мысли, чувства и волю, сумел возвыситься до истинной высоты гения. В то время, когда толпа наемных провокаторов швыряла камни в стекла лондонского жилища Байрона, поэт читал Спинозу и занимался интереснейшими беседами с новым спутником жизни и другом — поэтом Шелли. Утоление философической жажды делало для Байрона чрезвычайно увлекательным занятие теоремами и короллариями и схолиями Бенедикта Спинозы. И то, что прекрасно и стройно приводит Спинозу к мудрому примирению с миром вещей и явлений, хотя и не приводило Байрона к таким же результатам, но восхищало его поэтическую душу чувством упоения могуществом и красотой природы, занявшей место божества. Философия детерминизма, рассматривающая мир по причинам, а не по целям, мудрое чувство ненужности бунта против мировых законов, отрицание свободы воли в человеке и тонкое наблюдение по поводу того, что сознание своей свободы также является следствием законов природы, как и реальное отсутствие этой свободы, приводили великого гранильщика стекол и мудреца Спинозу к диаметрально противоположным стремлениям, нежели выводы Байрона из философии Спинозы. Философия Спинозы воспринималась поэтом по преимуществу как «обожествление природы». Законченный атеизм Спинозы, начисто снимающий понятие божества в каком бы то ни было религиозном смысле, не был понят ни Байроном, ни Шелли. Оба

они вернули эмоциональную окраску культу природы, и если Шелли во всем — от житейских мелочей и до высочайших моментов интеллектуального созерцания — привык чувствовать себя частью вселенского целого, если Шелли вполне мирился с этой «Природой», то Байрон, поэтически переживая то, что он называл «красотою природы», слишком часто восставал против законов этой природы, ставя себя в положение «бунтующего раба» против ее великих и грозных сил, ненужных и деспотических мучений человека — песчинки, затерянной среди беспредельных междузвездных пространств во вселенском холоде, в заполярье мировой ночи. Отсюда — вся философия «Манфреда».

Окончательная обработка «Манфреда» была осуществлена Байроном только в Риме. «Манфред» появился в печати в июне 1817 года. И, словно по уговору, английская критика сразу начала разбор нового творения английского поэта поисками «источников», собираясь, по-видимому, этим способом жестоко уязвить автора. Все сопоставления были для Байрона невыгодны. Все аналогии вместо разбора по существу указывали на то, что Байрон «не имеет ни тени поэтической самостоятельности». «Главный источник Байрона, — говорит эдинбургский рецензент, — это история доктора Фауста, написанная Кристофором Марло (1564—1593)». Другие критики с не меньшим усердием доказывают, что Байрон заимствовал «Манфреда» из «Фауста» Гете. Гете как будто сам был склонен допускать влияние своей поэмы на Байрона. Великий германский поэт, переживший Байрона и задолго до появления «Чайльд Гарольда» давший миру «Вертера», писал: «Байрон взял моего «Фауста», усвоил из него только самую ипохондрическую и странную пищу, но совершенно своеобразно использовал мотивы в соответствии со своими целями до полного изменения мотивов. Мотивировки «Фауста» он претворил настолько талантливо, что не могу не выразить моего восхищенного удивления перед умом Байрона».

Надо иметь в виду, что в 1816 году не было намека на вторую, наиболее философическую часть «Фауста», а когда она появилась в окончательной редакции, то Байрона уже не было в живых. Если у Байрона обнаруживается некоторое созвучие с идеями гетевского «Фауста», то Гете использовал для того же «Фауста» образ самого Байрона. Во второй части «Фауста» в пламенном

образе Эвфориона, сына Фауста и Елены Троянской, Гете изобразил Байрона «юношей богоподобным, прекрасным и стремительным, сгоревшим в своем вечном подъеме к высотам».

Издание Эриха Шмидта содержит гетевский перевод «Манфреда», остававшийся неизвестным при жизни Гете. Надо сказать, что литературное родство «Манфреда» чрезвычайно велико, если взять внешнюю сторону драматической поэмы Байрона. Герои древних и средневековых легенд о магах, об искателях победы над природой, Фаусты всех национальностей: Фаусты испанские, германские, польские, появившиеся в виде пана Твардовского, русские, вроде Саввы Грудцына, клингеровский «Фауст», впервые напечатанный в Петербурге, Фауст Лессинга — все это родственники одного и того же героя с прометеевским духом, отважного испытателя средств, отдающих вселенную ему во власть.

Байрон сам указывал на чрезвычайную легкость для любого пошловатого критика найти аналогии и родство, а потом поднять дело о плагиате. Два протеста, написанные по поводу первых двух рецензий на «Манфреда», содержат следующие фразы Байрона:

«Одни говорят, что я заимствовал «Манфреда» из «Фауста» Марло, другие обвиняют меня в том, что я украл «Фауста» у Гете, но черт бы побрал всех Фаустов английских и немецких. Я ничего ни у кого не воровал. «Фауста» Марло я не читал вовсе, а гетевского «Фауста» не имел возможности читать, потому что не знаю немецкого языка. Льюз, один из моих друзей, читал мне впоследствии отрывки из «Фауста» на берегах Женевского озера вслух. Я был поражен этим великим творением».

Повторяю, что первая часть «Фауста» Гете не дает никаких аналогий с «Манфредом».

Манфред — это олицетворение очень широкой концепции, это не человек, а символическое изображение того страшного крушения всех надежд, которое было пережито выходцами из XVIII столетия, начертавшими на воротах нового века лозунги «свободы, равенства и братства». Когда деятели Конвента с железной волей и гордой поступью ломали перегородки сословий, дерзко уничтожали древние меры пространства и времени, заставляли луну и солнце говорить языком нового календаря, пересаживая в альманахи названия явлений природы, цветение деревьев, созревание плодов, дожди и

ливни, снег и бурю,—казалось, что наступила новая юность мира. И вдруг на протяжении немногих лет это поколение гигантов сменилось сумраком контор и прилавков, а дым бивуачных костров революционных войн сменился дымом фабричных труб. Гордый человек XVIII столетия не узнавал себя среди развалин своих идеалов, его вражда обратилась на самого себя, все его чувства вступили в противоречие, поиски господства сменились новым рабством и, что хуже всего, надежды сменились отчаянием и безнадежностью; самое трудное было — это убежать от страшного собственного сознания. Манфред, случайно уцелевший в уединении огромного замка мира, зовет к себе на помощь олицетворение шести таинственных сил природы. Но их появление не дает ему того, что он просит, ибо разрешением своей внутренней драмы он считает забвение. И наконец, подавленный противоречиями, Манфред стремится навстречу смерти. Случайно встреченный альпийский стрелок удерживает Манфреда в ту минуту, когда он намеревается перейти границу пропасти и так уйти из жизни. Стремление вызвать былые видения также не дает Манфреду облегчения. И только видение старца, сообщившего ему о предстоящей смерти, облегчает сознание Манфреда. Перед смертью носители исторической религии проходят перед Манфредом, но ни «естественная» религия философа, ни официальная культовая речь священника не вызывают в Манфреде ничего, кроме вражды. И когда появляется дух земли, чтобы погасить огонь сознания Манфреда, он обращается к этому духу с последними словами перед смертью: «Не хочу продлить жизни ни на мгновение, я приобрел власть не договором с тобой, а отважным исканием испытующей научной мысли бессонными ночами и духовной силой».

Расцвет индивидуализма в эту пору совпал для Байрона с тяжелым внутренним кризисом. Все больше и больше замыкаясь в себе, Байрон, как болезнь, переживал этот замкнутый индивидуализм. Один из крупнейших германских пессимистов — Шопенгауэр, давая анализ замкнутого эгоизма, сравнивал его с крепостью, которую невозможно взять приступом логики и воздействием морали, но, говорил Шопенгауэр, эта крепость «обрекает человека на вечное отсиживание; если в нее нельзя войти, то и выйти из нее невозможно». В «Манфреде» Байрон дошел до такого момента, ибо, пережив борьбу с

человеческой злобой и ненавистью в Англии, он теперь, оставшись наедине с собой, весь запас неизрасходованных сил бросил на самого себя же. Внутренний мир поэта оказался все же настолько велик, что Байрон легко преодолел в себе эти моменты мизантропической ненависти, иссушающей творческие истоки его собственного гения, и вышел из собственного манфредизма обычным для себя путем — творческой переработки своего внутреннего состояния в могучие поэтические образы, и тотчас почувствовал себя освобожденным.

Некоторыми критиками ставился вопрос о влиянии эсхиловского «Прометея» на создание «Манфреда». Шелли переводил Байрону греческие тексты Эсхила. Это было одним из проявлений плодотворной дружбы прекрасного переводчика платоновского «Пира». Шелли с изумительной легкостью постигал сложную отвлеченность мысли Платона, и ему легко было, могущественно владея словом, увлечь за собой Байрона на путь неустанного творческого напряжения и того горения благородной мысли, которое является наилучшей характеристикой швейцарского периода жизни обоих поэтов.

В отличие от того предка Манфреда, которого некоторые видели в шекспировском Гамлете, байроновский герой не только чужд гамлетовского безволия, но дал людям новый образец

...твердости души великой,
Сломить которой не могли
Все грозы неба и земли.

Шелли, не меньше чем Байрон, отдавался в эти месяцы творческому горению. Автор «Королевы Маб» и «Восстания Ислама», автор «Прометея» своеобразно откликался в своем творчестве на идеалы Великой французской революции, окрашенные новыми философско-атеистическими исканиями; но он откликался и на современные темы, когда под названием «Эдип-тиран» он дал злую сатиру на Георга IV и на Англию, а в повествовательной поэме «Юлиан и Мадоло» изобразил себя и Байрона, блистательным стихом передавая горение философских бесед на вилле Диодати, превратившейся в какую-то лабораторию высших токов человеческой мысли.

К этому короткому швейцарскому периоду относится еще одно произведение Байрона, именно «Шильонский

узник». Замок Шильон находится на берегах Женевского озера. Шелли и Байрон любили посещать это место и ознакомились с историей людей, для которых Шильонский замок был превращен в тюрьму. У Руссо есть в «Новой Элоизе» примечание к восьмому письму шестой книги: «В течение шести лет в Шильоне был узником Франсуа Боннивар, настоятель церкви святого Виктора, человек доблестный, человек испытанной прямооты и твердости характера, друг свободы, хотя он был родом из Савойи, друг веротерпимости, хотя он и носил рясу». Боннивар родился в 1493 году. Не называя его имени, Байрон посвятил Боннивару, его истории, свою поэму. Много лет спустя, как бы вспоминая о времени, проведенном в Шильоне, Байрон снова возвращается к истории Боннивара и посвящает ему один из лучших своих сонетов, прямо называя героя и устанавливая связь этого имени со своей поэмой.

Швейцарский дневник Байрона, посвященный сестре, более всего указывает на истинные источники «Манфреда», и Байрон сам подчеркивает, что «величие альпийской природы было все-таки самым большим литературным источником моим». А в одном из писем этого года Байрон сообщает: «Гораздо больше, чем какой бы то ни было «Фауст», меня побудило написать эту поэму («Манфред») зрелище вершин Штаубаха, Юнгфрау, Монблана. К этому я прибавлю кое-что другое».

Байрон был очень встревожен внезапными гонениями на сестру. Он хотел спасти ее от злобной английской сплетни и заблаговременно желал вызвать ее в Швейцарию, опасаясь за ее судьбу. Он был прав. Удар был нанесен именно в эту сторону.

К этому времени относится переписка Вальтера Скотта с Роджерсом. Оба они были неизменными друзьями Байрона, и оба не на шутку были встревожены тучей, нависшей над головой поэта. Вальтер Скотт писал: «Злосчастная семейная история дала многоголовые глупости, временное торжество над одной гениальной головой, над великим умом и выдающимся талантом». Байрон не знал размеров угрожавшей ему опасности, он, более чем когда-либо, был беспечен в житейском смысле слова. Сводная сестра жены Шелли, молодая, красивая женщина Джен Клермонт, делала все, чтобы сблизиться с Байро-

ном в Швейцарии. Ее страсть к поэту началась еще в Англии. Теперь она имела все шансы на успех. Байрон дал себя увлечь. Возник кратковременный легкомысленный союз, разрыв которого Джен очень тяжело переживала, тем более что уже много времени спустя после отъезда из Швейцарии она узнала, что ей суждено было стать матерью. Байрон вторично стал отцом. Девочка Аллегра была его второй дочерью.

Именно в период этого увлечения до Байрона дошли слухи о том, что семья Мильбенк, по чьему-то наущению, стала оперировать против Байрона новым клеветническим измышлением. Был пущен слух, что Байрон совершенно не братски относился к своей сестре Августе Ли. Этот слух, пущенный искусно, рос и увеличивался, словно какой-то рупор превратил этот сдавленный шепот в голос громкой клеветы.

Ужасное чувство охватило Байрона при первом известии об этом измышлении его врагов. Байрон говорит: «Довольно долгое время после моего отъезда я был в неведении о способах действия моих врагов. Но вот до меня дошли слухи о новой их клевете. Мои друзья обязаны были вовремя рассказать мне то, о чем они молчали».

Прилив бережной и горячей нежности к сестре в швейцарский период объясняется именно этим фактом: дошедшими слухами и стремлением помочь близкому человеку. В известных произведениях — «Стансы к Августе», «Послание» — Байрон опять подчеркивал свои неизменные чувства нежной любви к сестре, просил ее любви и дружбы к нему, «отверженному», не находящему покоя человеку. Все новые и новые толки росли в среде его врагов.

Трещина в семейных отношениях Байрона разрасталась до размеров пропасти между ним и обществом целой страны. Не хватало только литературного оформления этой вражды.

В качестве застрельщика литературной травли выступил английский поэт Роберт Соути. Соути принадлежал к поэтам так называемой озерной школы, «лейкистам». Соути, Вордсворт, Кольридж — это все «лейкисты». Кольридж и Вордсворт в 1798 году напечатали сборник под названием «Лирические баллады». С этого сборника начинается история английской романтики. Озерниками их прозвали по совершенно случайному признаку: эти

поэты любимым местопребыванием избрали озерные долины Кемберлена, где проводили большую часть года. В той мере, в какой романтизм, как обновление форм и смена старых канонических тем и сюжетов, вносил свежую струю в английскую литературу, поэзия лейкистов была шагом вперед. Вордсворт пользовался огромной популярностью и не сразу уступил свое место Байрону. Но романтизм Байрона был тем оппозиционным романтизмом, который коренным образом отличается от реакционной романтики лейкистов и от романтизма радикального.

Надо заметить, что само понятие «романтизм» в ту пору еще не существовало. Оно еще только зарождалось где-то на развалинах античного Рима, в среде людей карбонарской Италии, для которых *Roma Antiqua* был символом старинной доблести и самопожертвования во имя завтрашней освобожденной революционной Италии. В тайном полицейском мемуаре для государственного секретаря римского папы, кардинала Консальви, упоминается «романтическое общество», устав которого предусматривает: «Внушение всем членам общества основного правила — не подчиняться учению религии и нравственности, а следовать естественным законам природы и общества». Полицейский мыслитель сообщает дальше, что центром общества является Милан, а крупнейшим филиалом общества — Болонья, где во главе «Союза романтиков» стоит лорд Байрон.

Этот политический романтизм не имеет непосредственной связи с теми формами литературных исканий, которые под именем романтизма определялись в штампованных историко-литературных пособиях. С этой стороны, определяя политическое наложение романтиков разных школ, мы должны сказать, что направление лейкистов было чисто реакционным. Если мы возьмем биографии лейкистов, то увидим в них одну особенность: в тот период, когда каждый из них переживал увлечение молодой французской революцией, не зная еще, чем она кончится и в какие формы выльется, лейкисты вряд ли предполагали, что скоро им придется отказаться от своих увлечений. Торжество контрреволюции во Франции и те суровые кары, которым подвергались сторонники французских революционных идей в Англии, заставили их спешно менять революционные цвета на спокойные и уютные темноватые домашние занавески. Все трое спеш-

но подчищали свои биографии, хотя и трудно было вычеркнуть сто страниц печатного текста, которые у Кольриджа назывались «Трагедия падения Робеспьера», а у Роберта Соути — драма о революционном восстании «Уот Тайлер». Вместе с Кольриджем Роберт Соути собирался даже устроить некий социально-утопический рай в Америке под названием «Пантосократической общины». Предполагался какой-то революционно-философский союз социальных реформаторов. Все это пришлось очень быстро спрятать, как только конец французской революции и жестокие контрреволюционные законы Англии показали лейкистам всю невыгоду их революционных увлечений. Одним словом, если Томас Мур, Шелли и Байрон безбоязненно продолжали выступать со своими прогрессивными воззрениями, то лейкистская тройка не переставала бояться своего сравнительно невинного прошлого. В стремлении раскаяться и загладить прошлые грехи лейкисты выступили чистейшими ренегатами, и это ренегатство позволило им стать застрельщиками литературной травли Байрона.

К этому времени Роберт Соути был проповедником самых диких реакционных взглядов и занимал официальный пост придворного королевского поэта. Нас не может не удивлять то, что в 1922 году один из биографов Байрона (М. Розанов) писал: «Подвергая Соути резким и справедливым нападкам за его политическое ренегатство, Байрон вместе с тем его нравственную личность выставлял в гораздо менее благоприятном свете, чем было на деле. В сущности, Соути был человек почтенный: отличный семьянин, верный друг и замечательно добрый человек. Этими чертами он напоминает нашего Жуковского, который охотно переводил его произведения на русский язык. Теккерей считал Соути образцом истинного джентльмена».

Этот «истинный джентльмен» добровольно принял на себя роль полицейского шпиона. Он поехал в Швейцарию, навестил монтанверский домик в долине Шамуни, в котором жил перед тем Шелли, и срисовал написанную на стене греческую надпись Шелли: «Я человеколюбец и атеист». Послав донесение об этих строчках в Лондон, Соути поехал в Женеву, оплатил из своих литературных гонораров горничных в гостинице «Сежерон», созвал вечером кельнеров в ресторане, садовников и лодочников около виллы Диодати, собрал от них все сведения и

толки о Байроне и Шелли и после этих подвигов «истинного джентльмена» Роберт Соути отправился в Лондон с багажом скандальных сплетен. Оказалось, что Байрон и Шелли предаются неслыханному разврату, оба «женаты на родных сестрах», — двусмысленность этой фразы, как нарочно, затемняла истинное положение вещей: Джен Клермонт и Мэри Годвин действительно были сестрами, но не Байрона и Шелли.

Английские путешественники, ловкие журналисты, присяжные собиратели сплетен набросились на Байрона, считая, что его можно оскорблять безнаказанно. Они врывались к нему в жилище в любое время с наглостью, доводившей Байрона до бешенства, они размещались на изгороди его сада, они взбирались на деревья, росшие на уровне окон его спальни, а если их прогоняли, то они с биноклями и подзорными трубами располагались на противоположном берегу, на лодках подплывали к ступенькам виллы и не давали Байрону покоя. Нужна была поистине героическая сила воли, чтобы выдержать это давление человеческой пошлости и наглых издевательств.

Репутация кровосмесителя преследовала Байрона всюду, где он появлялся. Когда Байрон приехал в Коппе навестить писательницу, госпожу де Сталь, находившаяся у нее старая богобоязненная англичанка Гервей упала в обморок, как только вслед за докладом лакея черноволосая голова Байрона появилась в разрезе портьеры. Байрон со смехом рассказывал об этом: «Казалось, она увидела во мне собственную персону его сатанинского величества». Американская писательница Бичер Стоу в конце тридцатых годов сообщает со слов самой леди Байрон историю о преступных отношениях Байрона к его сестре Августе Ли. В 1869 году вышла книжка «Медора Ли». Это один из многочисленных пасквилей на Байрона, но книжка эта подтверждает, что высоконравственная леди Байрон не постеснялась заявить своей племяннице, дочери Августы Ли — маленькой Медоре, что она вовсе не дочь полковника Ли, а дочь Байрона. Мало того, леди Байрон, сообщив напуганной девочке это дикое известие, обещала дать ей денег и обеспечить ее заботами. Но, смутив покой ребенка, леди Байрон удовольствовалась обещанием и денег не дала. После смерти Байрона появился еще один документ: лорд Ловлес (Ада Байрон вышла замуж за одного из Ловлесов) выпустил памфлет под названием «Астарты». Взяв это

имя финикийской богини любви, приведенное Байроном в «Манфреде», Ловлес доказывает, что байроновская Астарта является портретом Августы. Далее памфлет сложно и путано рисует картину «астартической связи» Байрона.

В 1869 году в журнале «Quarterly Review» появились семь писем леди Байрон, написанных в разные сроки между разрывом с мужем и его смертью. Все письма адресованы Августе Ли, все они переполнены льстивыми выражениями по адресу сестры своего мужа, и все они доказывают, что история о байроновских грехах была навязана госпоже Байрон со стороны и что она сама только делала вид, что верила им. Под конец она, по-видимому, уверовала настолько, что сама охотно шла на собственный обман. Для историка становится ясным только одно, что в поисках способа повредить Байрону она способна была поддерживать любую клевету против него. Она охотно кидалась к мысли о душевном расстройстве Байрона, а когда этому верили и его оправдывали, то внезапно настаивала на полной вменяемости своего мужа и на необходимости судить его как носителя злой воли. Все эти искусные хитросплетения носили весьма целеустремленный характер, и если отбросить степень сознательного действия участвовавших здесь лиц,—это была политическая реакция общества тогдашней Англии и его правящей верхушки по отношению к человеку, ставшему опасным.

МИЛАНСКИЕ ВСТРЕЧИ

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАРБОНАРИИ

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПОЭМЫ

Шелли, Мэри Годвин и Джен Клермонт 29 августа 1815 года уезжают из Швейцарии на север, а по прошествии месяца Байрон в сопровождении своего друга Гобгоуза, слуги Флетчера и доктора Полидори отправляется в новое путешествие по Бернским Альпам.

Настроение Байрона после швейцарского периода не прояснилось. Наоборот, он почувствовал, что закончился, завершился круг философических размышлений, что жизнь бросила его снова из творческого уединения в

вихрь и водоворот бытия, и снова он устремился из города в город, из страны в страну. Недаром фантастическую поэму «Моряк-скиталец» Кольриджа считают изображением скитальческого духа Байрона. Матрос убил прекрасную морскую птицу альбатроса. Товарищи по морским путешествиям вешают на шею убийцы тело убитой птицы. И вот в этом неуклонном романтическом виде герой Кольриджа должен скитаниями искупить свое преступление. Многие увидели в этом намек на Байрона, причем не могли разгадать, кого Кольридж изобразил под видом убитой птицы. Одни говорили, что это муза самого Байрона, другие — более «опытные» — доказывали, что этот альбатрос олицетворяет собою леди Байрон. Судьба героя, осужденного на вечное скитание за совершенное преступление, была все-таки легче для Байрона и безвредней, чем обыкновенные житейские преследования, стремившиеся отравить его страннические будни.

Отголосок тяжелых настроений Байрона обнаруживается в большом стихотворении, написанном на смерть Шеридана.

Шеридан умер в Лондоне 7 июля 1815 года. Байрон тяжело переживал его смерть. Знаменитый драматург и крупный политический деятель уже задолго перед смертью переживал крушение политической карьеры. Блестящий парламентский оратор, человек острого сатирического ума, когда-то великодушный, бескорыстный и сильный, он все больше и больше запутывался в денежных делах; его парламентские выступления создали ему много врагов, которые использовали эту путаницу. Говорили о том, что Шеридан получает деньги на организацию предвыборных кампаний и что эти деньги фактически идут на уплату его личных долгов. Все эти слухи дошли до Байрона, и его «Монодия на смерть Шеридана» отражает горькую обиду за судьбу таланта, судьбу, которая во многом походит на его собственную.

Целью путешествия Байрона была Италия. Так же как проезд через Францию, так и путь через австрийские границы не предвещал Байрону гостеприимства, и только чрезвычайная осложненность политической ситуации тогдашней Италии открыла Байрону возможность избрать Италию местом своего творчества. Байрон стремился в Венецию. Воспоминания о впечатлениях Востока делали для него особенно привлекательными приморские города

Италии, сохранившие на себе, каждый по-своему, колорит торгового Востока—Леванта. Города Средиземного моря, как большие дороги мировой истории, отразили на себе угасание и расцвет старинной торговли. Если такие города, как Генуя, еще сохраняли во времена Байрона значение европейского порта, то Венеция, переставшая быть торговыми воротами Европы, ведущими к азиатскому Востоку, после открытия Америки превратилась в мертвый город, в город-призрак.

Стремление Байрона к восприятиям красивых зрительных впечатлений манило его в Венецию, но он помнил, что Италия 1816 года была населена людьми, испытавшими на себе австрийский гнет, давление власти итальянских Бурбонов и наполеоновские войны.

Период революционных войн (1792—1815) был периодом, всколыхнувшим общенациональное чувство итальянского населения, достигшее наибольшего развития в период организованного грабежа, которому подверг Италию Наполеон Бонапарт. Если перед этим в Италии было свыше десяти независимых друг от друга владений, если люди, говорящие на одном языке, но разделенные маленькой речкой, по берегам которой разные австрийские принцы по-разному ими управляли, почувствовали наконец необходимость объединиться, то, конечно, одним из толчков к этому была полная перестройка границ под влиянием французской революции и вторжения французских войск. Надо всем возвышались две аристократические республики—Генуя и Венеция. Далее, по степени политической их самостоятельности, шла Романья, или область римского папы, с полицией и жандармами в рясах. Потом шли семь государств—герцогства и королевства, очень разные по величине, по степени политического влияния и самостоятельности. Из них только одно Сардинское королевство, то есть Савойя, Пьемонт и остров Сардиния, находилось под управлением итальянских властителей. Что касается других, то все эти бесчисленные герцогства и королевства были резервами удельных владений безработных принцев и государей северной Европы. Их отдавали в распоряжение то австрийского, то бурбонского королевского дома. Сицилия в течение этого периода четыре раза становилась жертвой династических переворотов, и, как правило, все скандальные происшествия с кражами и растратами в королевских семьях, все брачные контракты королей и

разводы герцогов отзывались на положении горожан, ремесленников и крестьян Италии.

В период наполеоновских войн первые прокламации и декреты Наполеона несли с собой такие обещания итальянскому населению, о которых к этому времени сама Франция не смела мечтать. Генерал Бонапарт, полагая, что все средства хороши, обещал направо и налево столько всевозможных счастливых преобразований, что мелкобуржуазная молодежь Италии кинулась под его знамена: уничтожение сословий, восстановление единой Италии под республиканским флагом, облегчение гнета религиозных учреждений, передел земли, сложение налогов и прощение недоимок, а главное — ликвидация ненавистного австрийского гнета. Сердце не выдержало, голова закружилась у самых трезвых итальянских политиков.

В 1794 году генерал Бонапарт начал завоевание Италии, а в 1797 году он захватил Венецию. И если вхождение в Милан веселых революционных войск, еще несших в сердце великие идеалы Конвента, сопровождалось неожиданным взрывом бодрого и жизнерадостного ощущения, если побег последнего жандарма и исчезновение последнего попа радостно приветствовалось всеми жителями Милана, то на примере Венеции мы видим, во что фактически превращалась власть первого консула Бонапарта. Когда маленький французский корабль проходил мимо венецианской крепости на Лидо, неосторожный комендант крепости выстрелил из пушки. Это дало Наполеону повод объявить войну Венеции. Сенат Венеции собрался последний раз. Решили предложить Бонапарту деньги — нахмуренный генерал замахал руками: «Нет, нет, если бы вы даже усыпали весь прибрежный песок венецианских лагун золотым покровом червонцев, если бы даже вы предложили мне все золото мира, — я не могу принять его за кровь свободных французских граждан». Это звучало очень красиво. Старики в венецианском совете были напуганы. Сенаторы, поспешно подбирая полы, разошлись по ступенькам Дворца дождей, а веселый и беспечный дож, как говорят, входя в свои покои, снял с головы шапочку, символ своей власти, и, швырнув ее лакею, сказал: «Возьми-ка. Больше не понадобится».

Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Народ с ликованием и музыкой сажал деревья свободы по тому

же обряду, как и во Франции. Пели «Карманьолу», перед замками выносили дворянские грамоты и долговые записи простолюдинов и жгли их на кострах. Перед Дворцом дождей сожгли золотую книгу венецианского дворянства и шапочку венецианского дожа, а кузнецы и металлурги Венеции в тот же день по предложению французского комиссара заменили евангельский текст под пятою льва св. Марка и на страницах бронзового евангелия выгравировали первую страницу «Декларации прав человека и гражданина». С горящими глазами молодая Италия следила за этим зрелищем.

С доверием и с надеждами на новую, неслыханную свободу пришел во французскую казарму молодой рыжеволосый гигант Уго Фосколо, блестящий автор трагедии, чудных итальянских стихов, увидевший спасение Венеции от австрийского ига под революционными французскими знаменами. Судьбу этого человека испытали многие итальянцы, и так же, как он, они дорого заплатили за короткий хмель этого увлечения.

Не сразу Италия почувствовала, что метла, выметающая австрийское иго, «чисто метет» и выметает итальянскую свободу. Временное правительство, учрежденное Бонапартом в Венеции, просуществовало всего лишь несколько месяцев. За красивыми словами циничный французский генерал прятал чисто грабительские намерения. Французская буржуазия имела в лице Бонапарта замечательного приказчика, который, пользуясь правами военной диктатуры, успешно пополнял дефициты французского послереволюционного бюджета. Приток контрибуций был главным источником французского казначейства в эти годы. Война из самозащиты французского Конвента превратилась в акционерное предприятие крупнейших буржуазных авантюристов, и как только Бонапарту представилась возможность выгодно помириться с Австрией, Наполеон продал Венецию австрийскому императору 17 октября 1797 года в Кампо-Формио.

18 января 1798 года австрийские войска вошли в Венецию. «Лев св. Марка снова «перевернул страницу», — писал Уго Фосколо, — но не вперед, а назад. Снова евангельский текст заменил собою «Декларацию прав человека и гражданина». Уйдя в подполье, бонапартовский офицер Уго Фосколо громил Наполеона в прозе и стихах, он выпустил свои «Орационы» — собрание лучших прокламаций, беспощадно изобличавших Бонапарта,

изображавших этого предателя в таких язвительно-сатирических тонах, что ставший в 1804 году императором Наполеон счел необходимым потребовать голову Уго Фосколо, оценив ее в очень большую сумму. Это не помешало появиться прекрасной книге карбонария Уго Фосколо — «Последние письма Джакопо Ортиса». Судьбу Уго Фосколо переживали многие, как только Италия была поделена между представителями реставрированных Наполеоном династий и его собственной родней. Шурин Наполеона Иоахим Мюрат сделался королем неаполитанским, пасынок Наполеона Евгений Богарне сделался вице-королем Италии и засел в Милане. Наконец, рахитичный сын Наполеона в пленках был назван римским королем. Самого римского папу Наполеон еще безжалостно таскал в карете, заставляя путешествовать то на Ривьеру, то в Париж на собственную коронацию. Так было до тех пор, пока падение Наполеона и общеевропейская реакция не привели к тому моменту, когда в Риме полностью было восстановлено господство папы, а в 1814 году в качестве помощи римской церкви был осуществлен иезуитский орден, упраздненный в 1773 году. Теперь этот секретнейший аппарат римской церкви был восстановлен полностью, с возвращением ему колоссальных богатств и имуществ, со всеми ухищрениями, осуществляющими его господство, с его манерой действий по принципу «цель оправдывает средства». Европа вступила в полосу страшной реакции. Была организована международная тайная полиция Священного союза. Практически все это привело к тому, что возникшие в двадцати городах революционные вспышки были погашены и не имели успеха.

О том, как все эти события отражались в Италии, мы можем судить уже по одному тому, что войнами Бонапарта в течение одного года было срезано все ее молодое поколение. В феврале 1812 года с весельем и музыкой двадцать семь тысяч итальянцев, отпраздновав карнавал в Милане, вышли в русский поход. Из него снова под знаменами собрались в декабре семьсот пятьдесят человек, остальные погибли. Следующий набор дал Наполеону тридцать тысяч молодых людей, — в ноябре 1813 года через Альпы возвратилось две тысячи четыреста. Из тридцати тысяч итальянцев, посланных в Испанию Наполеоном, только семитысячный отряд с трудом вернулся через Пиренеи. Вот все, что осталось от цветущего,

полнокровного, молодого и здорового итальянского населения в возрасте двадцати лет. Не было семьи без траура, не было матерей без горя. Ратники почетной стражи французского императора, гвардейцы из знатнейших княжеских фамилий Италии пострадали в этот раз в русских снегах вместе с крестьянами, садоводами и батраками.

Если давно уже братья Верри в Милане составили кружок под названием «Кофейня», из которого вылетали первые прокламации, объединявшие итальянцев, то теперь национальное чувство людей, говоривших на одном языке и разъединенных таможами, рогатками и заставами, смысл которых был окончательно потерян и скомпрометирован, дошло до своего апогея. В одной из таких листовок было напечатано: «В городе Милане появился человек, который, к общему удивлению всех присутствующих, имел наглость назваться не миланцем, и не сардинцем, и не пьемонтцем, и не туринцем, и не савойцем, и не сицилийцем (мы опускаем все последующие перечисления, приводимые в песенном стихотворном размере.— А. В.)... он заявил, что его наименование даже не *форестьер* (иностранец), он заявил — о, ужас! — что он просто *итальянец*». Листовка эта вызвала большое волнение австрийских и французских властей. Припомним, что это было время, когда за итальянский язык в канцеляриях и на австрийской службе грозила тюрьма, а за мечты о национальном освобождении — пожизненная каторга в сицилийских рудниках или смерть в мантуанских колодцах. В такой обстановке возникло очень своеобразное национально-политическое явление, известное под именем *карбонаризма*.

Карбоне — по-итальянски — уголь, карбонарий буквально значит — угольщик. Полагают, что в лесах и горах Калабрии, в Абруццо, где был сильно развит промысел угольщиков, в этих лесных избушках впервые укрывались участники тайного политического общества, стремившегося к уничтожению политического деспотизма во всех его видах, к установлению свободных демократических учреждений во всем мире и прежде всего в Италии, освобожденной от иноземного ига.

Организованные наподобие старых масонских союзов карбонарии к концу первой четверти XIX века насчитывали в своих рядах свыше шестисот тысяч членов. Декрет неаполитанского короля Мюрата 4 апреля 1814 года устанавливал смертную казнь за простую принадлежность

к карбонаризму. Поэтому целый ряд карбонарских организаций возник под другими именами. Такими были миланский «Союз Орфеев», в котором под видом и параллельно музыкальным занятиям осуществлялась тайная политическая работа при участии скрипача Паганини. Такими были организации литературные, вроде «Кончилиаторы» в Милане, где под руководством Федерико Конфалоньери произошло соединение североитальянских карбонарских вент. Филиалом этого кружка в Болонье выступило «Сочиета романтика» — романтическое братство, во главе которого стоял Байрон. В дальнейшем Байрон возглавлял и другие карбонарские организации на севере Италии. Вента — это была первичная ячейка карбонарских союзов; далее выступали уже такие, как баракка, буквально значит — хижина, то есть место, где происходило заседание; во главе организации стояла верховная вента, объединявшая собой областные и, наконец, общеитальянские карбонарские организации.

Окружение, которым пользовались карбонарии в целях конспирации, их аристократические союзы и показная дружба с представителями римского духовенства и высокой австрийской полиции говорят о большом политическом опыте карбонаризма. В Милане, в Большой опере «Ла Скала», где богатые люди и представители староитальянского дворянства имели собственные ложи, была ложа Лодовико Брема. Это был сын католического духовника вице-короля Италии. Он собирал у себя в гостиной представителей тогдашнего света, у него бывали германские философы, английские путешественники, испанские революционные генералы, попавшие в опалу, у него бывали итальянские поэты Монти, Пеллико и другие. У него в ложе, состоявшей из пяти комнат, из которых только одна примыкала к зрительному залу театра, каждый вечер собирались лучшие люди Милана и, пользуясь высоким общественным положением Лодовико Брема и некоторых его гостей, говорили свободно, не оглядываясь на представителей австрийской полиции и на папских шпионов.

Там же бывал Анри Бейль (Стендаль), только что начинавший свою литературную карьеру, быстро сросшийся с интересами итальянского народа и кинувшийся в объятия карбонаризма. Ему мы обязаны сведениями о многих деталях, рисующих образ поэта и интересы его в

Италии¹. Образ Байрона, нарисованный пером неподкупного художника-реалиста, чрезвычайно ценен. Свои воспоминания о Байроне Стендаль писал через шесть лет после смерти поэта, в год, когда озверелая английская реакция клеймила этого величайшего гражданина своей страны как сатаниста и врага человеческого рода. По дороге из театра при свете факелов по ночным улицам Милана до маленькой гостиницы «Адда», на кровле гигантского островерхого, сотканного из мраморных кружев Миланского собора — разворачивались их беседы о судьбе Италии. В Альразианской библиотеке Байрон с увлечением читал письмо дочери папы Александра VI, Лукреции Борджиа, кардиналу Бембо, в галерее Брера он впервые почувствовал увлечение итальянским искусством, особенно живописью.

Ознакомление с жизнью Италии столкнуло Байрона со странным поведением некоторых влиятельных людей. Так было с известным итальянским поэтом Монти. Старый поэт Монти читал в присутствии Байрона поэму «Маскерониана», посвященную итальянскому поэту-атеисту, политическому деятелю и математику Лоренцо Маскерони, умершему в 1800 году. «Маскерониана», написанная Монти, была проникнута республиканским духом и той особой риторической высотой прекрасного итальянского стиха, которая в устах Монти обладала способностью заражать слушателей высокими чувствами, несколько не будучи выражением авторского мирозерцания. Байрон с наслаждением слушал звучные итальянские стихи, хотя и казалось ему странным, что конец поэмы посвящен египетскому гению — Наполеону, изображенному простым гражданином, солдатом свободного народа, который громит беспутных тиранов и разбивает цепи плачущих народов.

Египетский гений Бонапарт в 1816 году уже проживал в качестве штатного императора на острове Св. Елены, и в памяти Италии он оставил главным образом осиротевшие семьи, списки контрибуций, ограбленные галереи и продажу с молотка Ломбардо-Венецианской области. Байрон обратил на это внимание Монти. Байрону возражали, что с уходом французского оружия, с водворением иезуитского ордена папская полиция запрещает освеще-

¹ Я дал перевод этих воспоминаний в № 7 «Красной нови» 1933 г. (Примеч. автора.)

ние в Риме улиц и принесенное Наполеоном оспопрививание, считая, что эти якобинские выдумки опасны для авторитета римской церкви. Все это заставляет оценивать положительно пребывание наполеоновских войск в Италии.

Скоро Байрон с удивлением узнает о том, что прибытие войск Павла I с фельдмаршалом Суворовым в Милан вызвало столь же восторженные стихи Монти, хотя генерал русского царя при въезде кардинала в столицу Ломбардии стал на колени перед ослом, на котором сидел кардинал, и, целуя руку католическому епископу, громко заявил о том, что русский царь приказал солдатам восстановить власть римского папы и прогнать нечестивых французов.

При следующих посещениях миланского общества Байрон делал все, чтобы не встречаться с Монти. Старик был очень огорчен, когда до его сведения довели фразу Байрона, сказанную намеренно резко о парнасском Иуде-предателе, продающем за кроны, франки и рубли итальянскую свободу.

В Милане был заложен фундамент всех будущих литературных связей Байрона с Италией. Байрон выступает в качестве переводчика итальянских поэтов, итальянцы деятельно приступают к переводам Байрона, и надо отметить ту удивительную быстроту, с какой Байрон овладел итальянским языком. Только очень горячее чувство к чужой стране, только очень живая связь с людьми этой страны может объяснить то, что Байрон, с трудом усваивавший латинский и греческий языки на школьной скамье, с такой легкостью сделал своим родным итальянский язык.

11 ноября 1816 года Байрон приехал в Венецию. Здесь ждала его английская почта. Она была неутешительна. Дело о разводе, вырезки из газет — все говорило о том, что чем дальше, тем острее становится вражда к поэту со стороны английского общества. «Я ношу в себе пытку, к которой ничего уже не прибавишь», — писал Байрон. После швейцарского уединения, нарушаемого лишь наглыми вторжениями шпионов-туристов, Байрон, живя в Милане, впервые отдыхал, общаясь с людьми, которые видели в нем не гонимого политического деятеля и не человека, которого можно безнаказанно оскорблять и ненавидеть, а величайшего поэта и представителя огромной интеллектуальной силы. В Милане перед

Байроном развернулась могущественная и прекрасная культура Италии; но вот от огромных серых конвертов с газетными вырезками и письмами, не предвещавшими ничего доброго, снова повеяло Англией.

Совершенно очевидно, что Байрон хорошо знал состояние Англии 1816 года,—запрещение союзов, голод и нищета рабочих, дети которых, еще до наступления девятилетнего возраста, попарно запряженные в вагонетки, возили уголь, приостановление закона о неприкосновенности граждан, манчестерское шествие на Лондон, восстание ткачей в том же Ноттингеме, листовки Коббета со словами: «Война, восстановившая Бурбонов и инквизицию, ввергла страну в нищету, небывалую в истории человечества», слова министра Каннинга: «Никогда Англия не была в столь опасном положении». В Англии продолжались волнения, а правительство ежедневно придумывало новые способы репрессий. Чем сильнее было применение билля о казни рабочих, против которого выступал Байрон 28 февраля 1812 года, тем шире и шире развертывали свою агитацию Вильям Коббет и Гент.

В 1816 году Коббет обходит закон о высоком штемпельном сборе на листовки и газеты. Без предупреждения он превращает свою газету в «политический журнал» и 15 мая 1816 года выпускает его шестидесятитысячным тиражом. После первых трудностей, уже много лет спустя, Коббету удалось заговорить полным голосом, и то, что он не сумел сказать в этом журнале в 1816 году, он произнес уже незадолго до смерти, когда его убеждали в том, что «пиво и сало на столе рабочего» являются мерилom государственного благосостояния. Коббет ответил в «Ежедневном политическом журнале»: «Да, я согласен. Если прибавить к пиву и салу хлеб, одежду, обувь, стекла в окнах, постельное белье, уборные в каждом доме. Ненавижу вас, либералы, болтающие о духовных благах, когда у вас на глазах рабочие мрут с голода и стонут от нищеты».

Припомним, что в ответ на речь Байрона в защиту луддитов через двадцать дней появилась прокламация за подписью принца-регента, впоследствии Георга IV. Ни слова не говоря о том, что во всех городах десятки виселиц увешаны рабочими-ткачами, принц-регент призывал население к спокойствию, обещал снисхождение и награду тем, кто будет выдавать зачинщиков луддитского движения. «Секретный комитет фабрикантов по борьбе с

разрушителями машин и стригальных рам» не брезговал никакими средствами для устранения участников луддитского движения. Располагая большими средствами, этот «секретный комитет» не довольствовался правительственными войсками. Фабрикант Картрайт и фабрикант Горсфольс назначали премии до двадцати тысяч рублей за выдачу рабочих организаторов и еще большую сумму за убийство вожаков. Картрайт нападал на рабочих, став во главе отряда «золотой молодежи».

Борьба луддитов приняла чрезвычайно ожесточенные формы: из первоначальной борьбы против машин она вылилась в борьбу против капиталистов, вырастая впоследствии до размеров борьбы за экспроприацию орудий производства и превращения машин в мощные средства раскрепощения свободного человеческого труда в бесклассовом обществе. Но в те годы, когда правительство Кестльри стремилось бросить силу английского капитала на борьбу с идеями французской революции, луддиты кричали на митинге луддитских организаций в Галифаксе о том, что «все средства хороши для того, чтобы обессилить богачей, вампиров, ожиревших от пота и крови рабочих, ибо хозяева, вводящие эти новые машины, хотят задушить нашими руками французскую свободу. Да здравствует борьба против угнетателей! Да здравствует демократия Англии!» Эти слова были сказаны луддитом Бейнесом в марте 1812 года.

«Требуется известное время и опыт для того,— пишет Маркс,— чтобы рабочий научился отличать машину от ее капиталистического применения и вместе с тем переносить свои нападения с материальных средств производства на общественную форму их эксплуатации» («Капитал», т. I, с. 329, Соцэкгиз, 1931).

Недаром Ленин писал в статье «Третий Интернационал и его место в истории»: «Когда Франция проделывала свою великую буржуазную революцию, пробуждая к исторически новой жизни весь континент Европы, Англия оказалась во главе контрреволюционной коалиции, будучи в то же время капиталистически гораздо более развитой, чем Франция. А английское рабочее движение той эпохи гениально предвосхищает многое из будущего марксизма» (Собр. соч., изд. 3-е, т. XXIV, с. 249).

Английская буржуазия была, пожалуй, самой настороженной и хитрой буржуазией Европы, а консерватизм

тогдашней Англии принял форму контрреволюционного озверения.

Выступление Байрона в защиту ткачей не забывалось ни на минуту. Да и вообще в поэзии Байрона угадывали революционное влияние на рабочие массы Англии. Впрочем, еще Энгельс в «Положении рабочего класса в Англии» отметил, что «Шелли, гениальный пророк *Шелли*, и *Байрон* со своим чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих...» (Собр. соч., т. III, с. 520). Вот почему бдительность буржуазного окружения и активность консервативной власти сделали все, чтобы ничтожный факт семейного спора члена верхней палаты раздуть до размеров скандала.

Правящие классы Англии задались прямой целью задушить живого человека, довести его до самоубийства. Байрон слишком хорошо это знал, чтобы поддаться на провокацию. Он неоднократно в письмах заявляет о своем презрении к самоубийству, а на письмо о смирении отвечает 24 декабря 1816 года письмом Томасу Муру. Он описывает Венецию, свое путешествие, свои приключения и потом переходит к стихам, написанным забавной танцующей строчкой:

Ну, как ты существуешь,
Милейший Томас Мур?

Но внезапно этот песенный тон обрывается на восьмой строчке. Поэт резко спрашивает: что нового в среде луддитов, что делают лорды, что делают лютеране в политике, сдвинулся ли вопрос о реформах, что делают ткачи, разрушители рам? — и, закончив эти вопросы, он внезапно вписывает стихи, как бы сочиненные экспромтом:

Как за морем кровью свободу свою
Ребята купили дешевой ценой,—
Так будем и мы: или сгинем в бою,
Иль к вольному все перейдем мы житью,
А всех королей, кроме Людда,—долгой!

Когда ж свою ткань мы соткем и в руках
Мечи на челнок променяем мы вновь,
Мы саван набросим на мертвый наш страх,
На деспота труп, распростертый во прах,
И саван окрасит сраженного кровь.

Пусть кровь та, как сердце злодея, черна
Затем, что из грязных текла она жил,—
Она, как роса, нам нужна:
Ведь древо свободы вспоит нам она,
Которое Людд насадил!

Так Байрон заканчивает письмо к Томасу Муру. Комментаторы по-разному объясняют цели помещения в этом письме песни, написанной для восставших луддитов. Вернее всего объяснить это тем, что Мур переписывал письма Байрона, а потом они ходили по рукам. Этим способом Байрон хотел довести до восставших ткачей новую песнь. Появилась она в печати только в 1830 году, через шесть лет после смерти Байрона.

Следующие письма Байрона являются сплошной жалобой на то, что «из Англии я ничего не получаю и ни о ком ничего не знаю».

Трудно определить, чем был вызван этот внезапный перерыв почтовых сношений Байрона с Англией. В Венеции был английский консул, сношения с Англией не прерывались, и однако во всех изданиях Байрона заметен этот пробел в его переписке и дневниках. По-видимому, даже письма Томаса Мура и те не в полном виде доходили до Байрона. Таким образом, после первых чрезмерно богатых английских политических и бытовых впечатлений наступил перерыв. «Я ненавижу нацию, и нация ненавидит меня»,—говорит Байрон. Он прилагает все усилия к тому, чтобы довести себя до самозабвения венецианскими развлечениями, но достаточно взять хотя бы приведенное выше письмо к Томасу Муру от 24 декабря 1816 года, и станет ясно, как бурно врывается в венецианский карнавал совсем другая песня.

Все же венецианская атмосфера тогдашних лет оказала на Байрона губительное влияние. Венеция к этому времени представляла собой по существу гигантский ресторан с отдельными кабинетами, непристойную кофейню европейских туристов, где эпигоны патрицианского купечества, ломавшие хребты своим соперникам на рынках Африки, Палестины и Индии, перемешивались в игорных домах с авантюристами разного масштаба, стекавшимися в Венецию после падения венецианской аристократической республики. В Венеции довольно трудно было встретить итальянца из обыкновенной трудовой семьи. Там мы видели или шпионов австрийской полиции под видом разносчиков почты, или иезуитов под

видом гондольеров, или какого-нибудь темного дельца под видом крупье в игорном доме. Там были мастера своднического ремесла, были политические шантажисты и наконец владельцы дворцов, трижды перекупленных и перепроданных,— обветшалые представители старой венецианской знати, растерянные, усталые, попавшие в лапы цепких авантюристов вроде Казановы, Калиостро или других молодцов того же типа.

Как это ни странно, все историки литературы описывают Байрона в Венеции, не считаясь с тем, что представляла собой сама Венеция 1816—1817 годов. Байрон не принадлежал к числу тех, кто приходит в игорный дом ради простого наблюдения, и, конечно, Венеция тогдашних лет несколько не напоминала ни кабинет философа, ни лабораторию химика. Байрон не ощущал этот город как исправительное заведение. В порядке объяснения его поведения, которое является объектом трактовки, по крайней мере, грехсот—четырёхсот брошюр и книг, мы обязаны признать, что Венеция не является блестящей страницей биографии Байрона, и все-таки, как читатель увидит в дальнейшем, этот период жизни Байрона, обусловленный временным, но полным отрывом от действительности, сопровождался огромным и напряженным трудом, в результате которого мы имеем блестящие достижения его поэтического гения.

Бичер Стоу и Баррингтон буквально в одних выражениях пишут: «Разврат и цинизм Байрона дошли до невероятного размера и погубили его дарование. Венеция положила начало его умственному и моральному падению. Начиная с этого времени язык Байрона стал едким и пошлым. Его письма к Меррею и Муру утратили всякую литературность». Могут ли они иначе оценить Байрона, когда именно в письме к Муру написана боевая песня для восставших луддитов...

Сам Байрон действительно характеризовал Венецию как приморский Содом, город библейского греха, город соблазна, город его собственного житейского падения. О Венеции того времени рассказываются чрезвычайно характерные печальные повествования. Но как это ни странно, именно этот город, где золотая молодежь венецианской знати соревновалась со случайными европейскими авантюристами в прожигании жизни, был тем городом, в котором жили Буратти, Уго Фосколо и другие большие и серьезные люди, боровшиеся за дело всеиталь-

янской свободы. Гоббес за это время вместе с Байроном подготавливал исторические справки об Италии для четвертой песни «Чайльд Гарольда». 16 июня 1817 года во время пребывания в Венеции выходит издание «Манфреда». В переписке с сестрой Байрон указывает на то, что ему опротивела тоска, он пишет: «Протестантский проповедник, смотря на улыбающиеся лица прихожан, воскликнул в ужасе: «Нет надежды для тех, кто смеется»,— так и со мной, сестрица: я смеюсь слишком много, вместо того чтобы питать в сердце надежду на божественное спасение. Дело обстоит так, что я не имею права впадать в уныние, если имею возможность предупредить его любыми средствами».

Байрон забавлялся. Дом, избранный им для жилья, принадлежал суконщику Сегати. Внизу была его лавка, где он, Сегати, отмерял на старые локти проданные за месяц цветные сукна. Жена Сегати— Мариана, молодая женщина при старом муже, заявила английскому путешественнику, что только с приездом его она узнала впервые любовь. Начались декамероновские приключения Байрона с теми «ужасными баталиями женщин, стремившихся добиться предпочтения», которые так, захлебываясь, описывают старые сплетницы Баррингтон и Бичер Стоу.

Байрон пишет Муру по этому поводу: «Я погрузился в любовь—бездонную любовь, но чтобы вы не промахнулись и не усмотрели с завистью во мне обладателя какой-нибудь княгини или графини, любовью которых наши английские туристы склонны гордиться, разрешите вам заявить, что моя богиня это только купеческая супруга—жена «венецианского купца».

Байрону было двадцать девять лет, Мариане двадцать два года. Между ними не было ничего общего, кроме того, что Байрону хотелось забыть старую Англию, а Мариане старого супруга, за которого ее выдали насильно. Из всех перспектив, стоявших перед Байроном, он выбрал перспективу этой связи, которую он так объяснял Муру: «Любовь наилучшая или наихудшая вещь, которую я сейчас могу сделать. Кроме этого, есть только одна возможность: броситься в канал. Но это бесполезно, так как я хороший пловец».

К разряду таких же нелепых поступков и намерений относится стремление поехать в Рим, видеть римского папу, сообщить ему о том, что он, Байрон, защищал

ирландских католиков против гнета официального протестантизма, и наконец сообщение о том, что он намеревается выписать своего новорожденного ребенка¹ для того, чтобы отдать его на воспитание в католический монастырь, так как мать, Джен Клермонт, отказывается воспитывать девочку, а других способов воспитания ребенка без матери и отца нет.

Наступил апрель 1817 года. Байрон был на короткий срок в Риме. В результате этой поездки появилась большая вещь, серьезная по значению, хотя и малая по объему,— «Жалоба Тассо». Это произведение касается биографии Торквато Тассо, автора «Освобожденного Иерусалима», который с 1579 до 1586 года находился в доме умалишенных. В настоящее время экспертиза писем Тассо показывает, что он был настоящим галлюцинатом, окончательно потерявшим какую бы то ни было творческую способность, но в годы, когда Байрон навещал могилу Тассо на одном из римских холмов, еще господствовала легенда о том, что причиной заключения Тассо в больницу была любовь поэта к принцессе Элеоноре Феррарской. Для Байрона Тассо, так же как и Боннивар, является жертвой монархической тирании. Политическая установка этой поэмы говорит о том, что в это время Байрон со всей резкостью определил свое отношение к давящему разгулу европейской реакции, которая душила и его самого и ставила под угрозу его жизненный путь.

Его работа над «Жалобой Тассо» была внезапно прервана. Вести из Англии подняли вновь его тревогу. Дело о разводе приобретало все более скандальный характер. Английский суд принял решение против него. Он терял не только жену, но и дочь. Известно письмо Байрона к леди Байрон от 5 марта 1817 года. В нем содержатся следующие строки:

«...Помните, что не я первый начал; но после того, как дело начато, я не сдамся первым. Теперь наконец я убедился в том, что чувство, которое я лелеял все время, несмотря ни на что,— надежда, хотя и далекая, на наше примирение и соединение,— оказалось напрасным; и хотя надежда эта, принимая во внимание все обстоятельства, не могла быть особенно пылкой, все же была искренняя, и я лелеял ее, как болезненное самообольщение; теперь я

¹ 12 января 1817 года родилась его дочь Аллегра. (Примеч. автора.)

прощаюсь с ним, быть может, с более горьким сожалением, чем некогда прощался с вами.

...Если вы предполагаете, что я захочу вам отомстить, вы ошибаетесь, я недостаточно убог и смиренен для того, чтобы думать о мщении. Я был раздражен, быть может, могу и теперь быть раздраженным — разве это так удивительно, но я действовал против вас под влиянием этого раздражения, за исключением какой-нибудь минутной вспышки,—с того момента, когда вы покинули меня, до того, когда мне сообщили, что наша дочь будет наследницей нашего раздора и взаимного ожесточения. Если вы думаете примириться сами с собой, осыпая меня жестокостями, вы снова никогда не будете спокойны даже в той незначительной степени, которая доступна большинству людей. Что же касается меня, я справедливее, чем вы, я верю в судьбу, которая пронесет меня через все. Я должен был ожидать несчастий, которые меня постигли. Вас и ваших близких я вначале считал только орудием в моих последних превратностях; поэтому я не стал бы обвинять вас, если бы все поступки ваши не заставляли предполагать с вашей стороны злонамеренности, которая теперь превратилась в целую систему. Однако время совершит то, что я не хочу делать, если б даже это было в моих силах теперь или впоследствии. Вы улыбнетесь этому предсказанию—смейтесь, но запомните его, оно основано на всем человеческом опыте. Никто никогда не оставался без возмездия, даже если причинил другому невольное зло; я платил и плачу за содеянное мною, но и вы когда-нибудь заплатите».

Вся переписка этого времени показывает, что Байрон стоял на какой-то последней черте, и только два момента спасали его от гибели — это уход от тяжелых впечатлений в водоворот венецианских любовных интриг и, что гораздо сильнее, уход в напряженную творческую работу.

В июне 1817 года была начата четвертая песнь «Чайльд Гарольда». Летом 1817 года Венеция и Венецианский округ страдали от недостатка хлеба. Покинув свой походный зверинец, в котором были собаки, птицы, постоянно сопровождавшие Байрона, поэт совершал прогулки верхом по берегам Brenty. Он уже давно тайком выполнял, как он говорил, «прихоть сердца», то есть раздавал пособия нуждающимся семьям. Байрон делал это тайком и всегда под видом праздного любопытства. Перед этим в самой Венеции он кинулся в огонь, чтобы

спасти семью сапожника, а потом тайком помог погорельцам восстановить их жилище. Теперь он, как мы случайно узнаем из одного письма, вместе с Гобгоузом посещал беднейшие села на берегу Бренты и стал предметом внимания случайно встреченной жены булочника Маргариты Коньи. Эта женщина, прозванная «Форнариной» в честь подруги Рафаэля, быстро вытеснила всех своих соперниц и, к великому скандалу английских путешественников, поселилась у Байрона. С этого момента репутация Байрона считалась окончательно погибшей. Вольные и невольные друзья Байрона своей торопливостью окончательно испортили ему перспективу возвращения в Англию, и в середине венецианского лета Байрон приходит к убеждению о полной невозможности когда-либо вернуться на родину. Он пишет:

«Я надеюсь, никому не придет в голову бальзамировать мое тело и тащить его в Англию. Мои кости будут стонать всюду, на всех английских кладбищах, и мой прах никогда не смешается с пылью вашей страны. Мысль о том, что кто-либо из моих друзей внезапно окажется настолько диким и безобразным человеком, чтобы перетащить даже мой труп в Великобританию, может вызвать у меня бешенство в минуту смерти. Помните, даже червей Альбиона я не согласен кормить».

Это решение было твердо, и, чтобы окончательно порвать с Альбионом, Байрон отдает распоряжение начисто развязаться с имущественными правами в Соединенном королевстве, которые давали ему право на звание лорда. Если когда-то он писал, что «только с кровью сердца можно вырвать у меня Ньюстед», то теперь без всякой крови сердца, а просто за девяносто четыре тысячи фунтов стерлингов Ньюстед был продан Уальдмену, который когда-то учился вместе с Байроном в школе Гарроу.

Из Англии приходили плохие письма. Соути — придворный поэт — вел борьбу против Байрона на континенте, Маргарита Конья старалась научиться азбуке, чтобы читать письма, получаемые Байроном. С простодушием венецианки из простонародья она советовала Байрону отравить жену и всех своих соперниц, а когда однажды рассерженный Байрон потребовал, чтобы она не мешала ему работать, она бросилась на него с ножом, а потом, в отчаянии от неудавшегося покушения, сама бросилась в лагуну, и стоило большого труда вернуть ее к

жизни. Эти события остались бы неизвестными, если бы сам Байрон не сделал все, чтобы разгласить их. Как нарочно, зная правила перлюстрации австрийской полиции, зная нескромность английской почты, Байрон до мелочей описывает все обстоятельства, порочащие его быт.

По вечерам Байрон уходил к берегу; один из его безвестных и неграмотных друзей, лодочник Тита, перевозил его на остров Сен-Лазар, на котором среди небольших групп зданий, затененных деревьями, виднеются купола и колокольни с позолоченными крестами. Это приют ученых монахов, изгнанников Армении, так называемых «мхитаристов». В отличие от обыкновенных венецианских монастырей тогдашнего времени, привлекавших великосветскую молодежь Венеции в качестве мест всевозможных запретных форм веселья, этот маленький венецианский монастырь был замаскированным штабом армянской независимости, как называл его Байрон. В годы, связанные с особенным старанием царского правительства раздуть национальную вражду на Кавказе, в годы, связанные с турецким угнетением армянского языка и армянской национальности, остров Сен-Лазар был единственным местом, где беспрепятственно звучала живая армянская речь и тщательно изучалась древняя культура Армении с ее большой летописной литературой, с ее сказаниями. Байрон часто посещает это место. Библиотекарь, отец Паскаль Авгерьян, уже давно обучает Байрона армянскому языку, и в то же время как в Англии с осуждением перечитывают вызывающие и легкомысленные по тону описания любовных приключений Байрона, сам он пишет по-армянски предисловие к грамматике, в котором проповедует восстание угнетенных народов. И как бы в насмешку над лежководием друзей, убежденных в окончательной гибели Байрона, он вместе с английским консулом Гоппнером, с другом Стендаля Буратти, с венецианцами Альбрици и Бенциони ведет интереснейшие литературные собеседования.

Чтобы не возвращаться потом к этой теме, опишем, как распределялось время Байрона в Венеции. Он, по обыкновению, очень мало спал, очень мало ел, раннее вставание, плавание в морских просторах сменялось большой работой, которая отнимала у Байрона большую часть дня. «Однако голова моя горит, я чувствую, что

Пегас уносит меня слишком далеко. Это значит, что мне необходимо охладить голову быстрой ездой верхом навстречу ветру» — так писал Байрон.

В Венеции Байрон вошел в соглашение с комендантом порта Лидо и там держал своих лошадей. Когда кончались занятия, не ограниченные никаким временем (Байрон мог работать подряд без перерыва целые сутки), Байрон менял крылатого Пегаса на одну из своих верховых лошадей и до захода солнца совершал верховые прогулки из конца в конец маленького острова до мыса Маламокко. Лидо по-итальянски значит — язычок. Этот длинный остров, похожий на жало змеи, был местом одиноких прогулок Байрона до приезда Шелли. Вот самое существенное, что касается быта Байрона в Венеции.

Количество написанных произведений, их огромная поэтическая высота является лучшим доказательством творческого напряжения Байрона в этот период. В Венеции, кроме «Жалобы Тассо», были написаны следующие произведения Байрона: четвертая песнь «Чайльд Гарольда», «Мазепа», «Ода к Венеции», две песни «Дон Жуана», не считая большого количества стихотворений, и, наконец, начатая в октябре 1817 года легкая шуточная поэма «Беппо».

Как бы в ответ на разговоры о полном падении таланта появляется необыкновенно легкое, изысканное по стилю, гибкое и пластичное по языку комическое произведение, совершенно не похожее на все, что перед этим писал Байрон. «Беппо» является новым формальным достижением Байрона, ибо форма комического произведения, как правило, включает в себе несравненно большие трудности, нежели возвышенно-трагические моменты, сами по себе уже воздействующие на читателя. Дать изящество в комическом гораздо труднее. На это указывает справедливо вся критика, и враждебная Байрону и сочувствующая ему. Психологически эта поэма свидетельствует о переломе в жизни Байрона, неуклонно шедшего к трагической развязке житейского узла, и есть большая внутренняя закономерность в том, что в самый мрачный период венецианского отчаяния Байрон нашел в себе силы преодолеть самого себя и таким образом возвыситься над своим вчерашним днем.

Многие критики и историки литературы, помимо субъективных побуждений Байрона перейти на комиче-

ский сюжет, устанавливают еще и объективное влияние на английского поэта тех итальянских произведений, которыми он тогда занимался в целях знакомства с языком. В течение трех лет пребывания в Венеции Байрон работал напряженно и много не только над изучением армянского языка, не только над своими большими вещами, но он ежедневно посвящал свои досуги переводу с итальянского поэмы Пульчи «Морганте Маджиоре», которую он печатал впоследствии в основанном им журнале, имевшем целью распространение карбонарских идей.

Поэма Пульчи «Морганте Маджиоре» написана в 1483 году. Почти четыре столетия отделяли ее от Байрона. Если извлечь эту поэму из специфически итальянской обстановки ее времени, то она в этом изолированном и оторванном виде будет звучать простой пародией, свойственной некоторым изустным романам или народным сказаниям. Это собрание комических приключений из времен Карла Великого напоминает «Гаргантюа» Рабле. Этому же французского автора напоминает и все сатирическое содержание поэмы, облегченное разве только чертами итальянской буффонады. Байрона привлекли именно эти легкие черты поэмы Пульчи. Начатая с евангельского текста — «Вначале было слово», поэма дает этому «слову» блестящее применение. Пользуясь высоким благочестивым слогом, обманчивым и делающим ее как бы написанной для монастырского чтения, поэма полна озорных и не всегда пристойных выходок против религии и католической церкви. Но здоровая, полнокровная, веселая шутка соответствовала тому периоду, когда кондотьерское здоровье старинных итальянских героев конкурировало с купеческой отвагой дальних мореплавателей, порождая легенды о баснословных героях старой Италии. Быть может, Байрону хотелось этой поэмой воскресить в представлении новой Италии силу старинных характеров, так мало напоминавших слабовольное, изнеженное аристократическое население новой Венеции.

Сюжет поэмы «Беппо» очень прост. Герой ее типичный венецианец Джузеппе, или просто Беппо, в силу своей профессии купца-морехода отлучается из дому надолго и гораздо чаще, чем это совпадает с потребностями его супруги. Лаура, красивая женщина, заводит себе заместителя супруга, «главным образом для защиты».

Лаура и молодой вертопрах, путешествующий граф, живут очень счастливо много лет, вполне довольные друг другом. Но однажды на карнавале они встречают турка, который на самом деле оказывается не турком, а вернувшимся из путешествия мужем Лауры. Комическое разрешение встречи, забавный разговор за кофе, беззаботная концовка, возвращающая Беппо в лоно семьи.

В поэме девяносто строф. В мировой литературе только, пожалуй, пушкинский «Домик в Коломне» может равняться по качеству с байроновским «Беппо».

Мы остановились на этом произведении, как на водоразделе, определяющем переход Байрона к другой полосе его жизни и творчества. И если вышедшее 28 апреля 1818 года окончание «Чайльд Гарольда» позволило Байрону решительно расстаться с той гранью, которая отделяет автора от героев, то это одновременно свидетельствует и о том, что Байрон окончательно отошел от того субъективизма, который раскрывал его самого в первый период его творчества, закрывая героя и события. Теперь мы видим героя, мы видим расстановку явлений, мы дышим ритмическим напряжением прекрасного байроновского стиха, но автор остается в тени. Он наблюдает, описывает, оценивает тонко и иронически, но не смешивается со своими героями. Из автора фантастических поэм он становится трезвым и насмешливым реалистом. «Беппо» — это поворотный пункт в творчестве Байрона. Прежде чем Байрон успел удивиться невероятному успеху своей поэмы, она уже выдержала семь изданий. Но путь, на который вступил поэт, влек его дальше.

Вот письмо, которое говорит о непосредственной связи между «Беппо» и величайшим произведением Байрона «Дон Жуаном»:

«...Я закончил первую (довольно длинную, около 180 октав) песню поэмы в стиле и манере «Беппо», окрыленный успехом последнего. Она называется «Дон Жуан», в ней обо всех предметах будет говорить спокойно-шутливым тоном. Но я боюсь, чтобы она не была слишком вольной, по крайней мере в наши скромные дни. Во всяком случае, я сделаю эксперимент анонимно; если это не пройдет, его можно будет прекратить. Поэма посвящается Соути: в хороших, простых и диких стихах говорится о политических убеждениях лауреата и о том, как он до них дошел...»

Венецианской зимою, дождливой и туманной, Байрон перебрался на Большой Канал и занял пустовавший дом, принадлежавший венецианским богачам Мочениго. Мрачный дом оживился и наполнился совершенно необычным населением. В нижнем этаже гондольер Тита созывал своих товарищей. К нему собирались его друзья и родные. Профессиональные певцы и уличные музыканты заходили запросто в этот недавно еще недоступный дворец. Пестрая толпа совсем незнатных, неизвестных и незнакомых мужчин и женщин встретила Шелли, когда он приехал в этот «вертеп Мочениго» в августе 1818 года.

И как бы следуя скептическому настроению, сменившему романтическое вдохновение его ранних фантазий, Байрон становится все больше и больше реалистическим сатириком в поэме, которую он предполагал сделать своим основным эпическим произведением. Угрожая друзьям и врагам быстрым ростом «Дон Жуана», поэт обещал довести поэму до *пятидесяти* песен.

На жалобы Шелли по поводу избытка «дурного общества», окружающего Байрона, поэт ответил эпитафией к «Дон Жуану»: «Неужели ты думаешь, что оттого, что ты добродетелен, в мире не должны существовать пироги и пиво». Этим эпитафией из «Двенадцатой ночи» Шекспира начинается «Дон Жуан». Байрон провозгласил законность всех сторон жизни в качестве объекта для писателя.

Можно долго рассказывать о том, как вслед за Марианой Сегати появилась Маргарита Коньи, вслед за Маргаритой появилась Анджиолина и целый ряд других женщин или сомнительной нравственности, или несомненной порочности, сделавшихся завсегдатаями дворца Мочениго. Роль биографа сводится к тому, чтобы связать творческие истоки поэта Байрона с его собственной жизнью и с жизнью эпохи. Перечень произведений венецианского периода указывает на то, что первенствующее значение в жизни Байрона играли не эти легкомысленные связи, а те живые соприкосновения со всеми слоями итальянского общества, на которых выросли самые блестящие произведения английского гения, и не только произведения, но и горячее участие Байрона в итальянском освободительном движении. Добросовестность биографа требует, чтобы эти стороны были отмечены не в порядке оправдания, ибо Байрон в нем не

нуждается, а в порядке объяснения той исторической ситуации, которая позволила гениальному бунтарю-одиночке выйти за пределы своего класса, несмотря на все угрозы, какие должны были явиться результатом неестественной замены положения лорда положением поднадзорного поэта-свободолюбца.

Мы берем живого Байрона со всеми его человеческими свойствами, с его печалью и смехом и с его «мировой скорбью», которая имела вполне естественные, исторически обусловленные причины, но не растворяем Байрона в потоке социальных сил, а показываем в нем живое и критическое отношение к действительности, несомненно осложненное в какой-то степени теми элементами сословных предрассудков, к которым Байрон бессознательно прибегал в период самозащиты. При всей противоречивости творческого образа Байрона нельзя забывать главного свойства его натуры, которое служило основой всех его творческих устремлений, а именно: полное и яркое ощущение всех революционных замыслов эпохи, твердое и ясное представление о социальной справедливости, вытекавшее из его отношения к человеку независимо от его сословного происхождения, и, наконец, горячая защита этой справедливости всеми доступными ему средствами.

Попытки развенчать Байрона начались, как мы уже знаем, с первого момента его литературной славы, но теперь, в годы пребывания Байрона в Венеции, они приняли поистине чудовищные размеры. Поэт-лауреат Соути к этому времени дошел уже до того, что начал обличать Байрона как человека, «наложившего клеймо позора на литературу великой Англии, ибо он совершает тягчайшее преступление против общества, выпуская творения, в которых яд насмешек замешан на огне ужасов, грязь разврата сочетается с безбожием и крайняя степень нравственного падения с вольнодумством мятежника».

В сентябре 1819 года Байрон пишет своему издателю Меррею: «Не говорите мне об Англии. Я не хочу о ней слышать. Там были моя семья, ребенок, дом, земля, имя. Все изменилось и исчезло. Из десяти последних и лучших лет моей жизни шесть прошли за пределами этой страны. Я не чувствую любви к своей стране. Но, собственно говоря, вражда с обеих сторон должна бы иметь знак равенства, иначе у меня ничего не выйдет. Однако

революция не делается на розовой водичке. Боюсь, что мой вкус к революции не притупится моими другими страстями». Итак, наступал период решительного перелома в жизни Байрона.

Второго января 1818 года Байрон подписывает посвящение Гобгоузу в четвертой песне «Чайльд Гарольда». Это предисловие так же интересно, как сама поэма. «Обращаясь к вам, я от вымысла иду к истине, посвящая вам завершенное или, во всяком случае, оконченное поэтическое произведение, самое длинное, и самое продуманное, и самое понятное из всего, что я писал, я хочу оказать честь себе, вспоминая о вашей дружбе». И далее: «...даже число, помеченное на этом письме,— годовщина самого несчастного дня в моем прошлом» (2 января 1815 года — день бракосочетания лорда Байрона и мисс Изабеллы Мильбенк).

Говоря о содержании последней песни, Байрон сообщает: «Я устал проводить границу между героем и автором, ее все равно никто не признает». Далее Байрон говорит о характере итальянской национальности, стремясь объяснить свое пристрастие к новой родине. Он произносит ряд имен, которые кажутся ему великими только потому, что они связаны с национально-освободительным движением Италии. Вот почему среди этого перечня мы встречаем Уго Фосколо. А дальше Байрон уже приводит имена неизвестных римских рабочих, которые поют песню о своем родном городе, и делает вывод об удивительной даровитости римского простонародья, о его восприимчивости, о кипучести его гения и о той единственной жажде, которая достойна одаренного человека всех сословий, которая называется «жаждой бессмертия» — бессмертия независимости.

Приводя в предисловии первую строчку из песни римских рабочих, Байрон говорит: «Как не противопоставить эту песнь разнузданному реву торжествующих трактирных гимнов Лондона по поводу кровопролитий под Ватерлоо или предательства Италии, Франции, Генуи, напоминая таким образом позорное поведение представителя Англии Кестльри, который был инициатором английского предложения об уступке австрийскому императору Ломбардии и Венецианской области, в силу парижского трактата». Байрон заканчивает: «Не буду говорить о том, что выиграла Италия недавним перемещением национальных влияний. Бесполезно говорить об

этом, пока не подтвердится молва, будто Англия что-то выиграла введением постоянного войска и отменой неприкосновенности личности. Лучше бы Англия следила за тем, что происходит у нее дома». С момента основания Священного союза Байрон рассматривает объединение европейских правительств только как грабительский комплот, угрожающий молодому по запасу сил и талантливому, но разобщенному насильственными границами итальянскому народу.

1818 год закончился для Байрона изданием четвертой песни «Гарольда», «Оды к Венеции» и «Мазепы». Последние две вещи вышли вместе в виде небольшой брошюры. Содержание «Мазепы» заимствовано из вольтеровской «Истории Карла XII», и есть основание полагать, что чтение этой поэмы навело Пушкина на мысль написать «Полтаву» в противовес байроновскому толкованию «Мазепы». Байрон берет только ранний эпизод из жизни украинского гетмана, тот момент, когда паж польского короля Яна Казимира превращается в преступника, покусившегося на благосклонность польской королевы. Мазепа, привязанный к бешеному украинскому коню, который мчит его по степи, проходит через вереницу ужасов. Преследуемый волками и мучимый голодом, вынесенный из волн разбушевавшейся воды, Мазепа сохраняет неукротимый дух, и он один только помогает ему перенести все несчастья и страдания. Как человек силой обстоятельств может быть связан с разнузданной, озверевшей стихией человеческой ненависти, так и Мазепа связан с лошадью, мчащей его день и ночь. И здесь как призыв к защите себя и своей стальной индивидуальности Байрон описывает торжество непокоренной личности. Очень характерной особенностью этой поэмы является подчеркивание тех свойств полноценной личности, которые только и могут обеспечить человеку спасение и от стихии природы, и от произвола деспотической власти.

В Венецию внезапно приехала в сопровождении няни-швейцарки маленькая девочка Аллегра Байрон, которая, несмотря на малый возраст, изгнала большой беспорядок из дворца Мочениго. Выписанная с большим трудом письмами отца, эта девочка сделалась спутницей Байрона в его итальянские годы, так же как Шелли, а затем наступило другое влияние, которое, как и появление дочери, также было вызвано внутренними поисками самого поэта.

Почти все русские биографы Байрона повторяют одну и ту же нелепую версию о том, что встреча с некоей графиней обусловила либерализм Байрона и вхождение его в карбонарскую конспирацию. П. Морозов прямо пишет: «В апреле 1819 года на вечере у графини Бенцони поэт был представлен юной графине Терезе Гвиччиоли, урожденной графине Гамба, которая только что вышла замуж за богатейшего землевладельца Романьи, шестидесятилетнего старика, уже похоронившего двух жен»¹. Отсюда, как полагают наши исследователи, возникло стремление Байрона написать историю Мазепы, этого красивого пажа, который влюбляется в супругу престарелого короля. Чтобы не возвращаться к этой нелепости, отметим, что «Мазепа» был закончен за год до встречи с Терезой Гвиччиоли и что эта девятнадцатилетняя итальянка ни по имени, ни в лицо не была известна Байрону в период написания «Мазепы».

Другие факты еще более подтверждают наши предположения о том, что соприкосновение с Италией, от римских рабочих до крестьян на берегах Бренты, от заговорщика Уго Фосколо до члена миланского магистрата Федерико Конфалоньери, подготовило в Байроне решительно все для вхождения его в самую активную связь с карбонарскими организациями. Чем больше он сталкивался с живой итальянской действительностью, тем легче он отрывался от «обломков домашних пенатов Англии», и нужен был только повод для того, чтобы этот вольнодумный английский отщепенец по-настоящему почувствовал себя сыном Италии, готовым отдать за нее свое состояние, счастье и самую жизнь. Совершенно естественным и логическим концом этих поисков было то, что неожиданное знакомство с семьей, целиком посвященной в конспирацию североитальянских карбонариев, сыграло роль завершения многолетнего пути, а если это соприкосновение с семьей Гамба совпало с тем, что девятнадцатилетняя Тереза Гамба-Гвиччиоли сделалась на остаток лет подлинной подругой жизни Байрона, так это только подчеркивает правильность нашего утверждения. Старый Гамба — отец Терезы, ее брат Пьетро Гамба были людьми именно того закала, который больше всего располагал к себе английского поэта.

¹ Байрон, т. II, изд. Брокгауза. (Примеч. автора.)

Для Байрона началась полоса огромного напряжения творческих сил и та редкая наполненность жизни, которая стала ему «дороже счастья». Самые тяготы жизни, испытанные Байроном, стали теперь лишь ступенями, возвышавшими этого человека над самим собой. Кажется, все литературные жанры сделались ему доступны как никогда. С легкостью преодолевает Байрон трудности формы. Он ломает установившиеся литературные традиции, но делает это бессознательно, идя на зов внутреннего творческого порыва и никогда не довольствуясь внешними побуждениями. Будучи несомненным романтиком, он ищет выход в реализм миросозерцательный, но при этом заботливо охраняет чисто классические традиции формального порядка.

Все споры, которые с необычной горячностью и парадоксальностью поддерживал в эту пору Байрон, вращались вокруг одной оси, именно вокруг вопроса об английской драме, для которой Байрон стремился дать новые образцы. Именно к этому периоду 1819—1822 годов относятся его драматургические опыты, так как написанного в Швейцарии «Манфреда» нельзя считать драматическим произведением в собственном смысле этого слова.

Вопрос о драмах Байрона до сих пор является вопросом спорным. Маколей открыл первую стадию спора, и с него началось утверждение, что Байрон, как писатель чисто лирического дарования, не мог создать ничего оригинального в области драмы. Маколей исходил из байроновского парадоксального утверждения об «отсутствии английской драмы» и противопоставил Байрону Шекспира как действительного основоположника английской драмы. Последующая критика в суждениях о Байроне-драматурге исходит все-таки главным образом из желания возражать Маколею, а не раскрыть смысл байроновского драматического творчества. Никто, например, не делал сопоставления отзывов Байрона о Шекспире со столь же парадоксальными высказываниями Льва Толстого о Шекспире и его драме. А между тем и у Байрона и у Толстого Шекспир отрицается не только как мировой гений, но и как драматург; только в одном случае Толстой отрицает его значение во имя реалистического упрощенчества и настаивает на вредности Шекспира в

области идейной, исходя из философских основ своего учения; Байрон же нападает на Шекспира во имя сложных формальных требований классической драмы.

Байрон не раз подчеркивал свое восхищение всем творчеством Александра Попа (1688—1744), литературные каноны которого повторяли старинные драматургические правила Аристотеля, требовавшие, чтобы действие трагедии кончалось на том месте, на каком оно началось. Завязка и развязка должны соблюдать единство времени. Должно быть соблюдено также и единство характеров. Эти каноны, обусловленные особенностями культуры античного общества и вполне соответствовавшие уровню его требований, давно отжили свой век, и возобновление их в применении к французской трагедии XVII и XVIII веков создало литературное течение, которое называется ложноклассикой. Ложноклассическая французская драма построена была по тому же формальному принципу. Она прибавила к этому еще резкое разграничение характеров положительных и отрицательных, в силу чего люди, двигавшиеся на сцене, символически изображали собою законченные и изолированные пороки или добродетели. Остался принцип единства времени и действия, а прежний античный хор превратился или в совет старейшин, или в специальных истолкователей, которые дополняли для зрителя отсутствующие штрихи событий или недостававшие звенья сюжета. Эта система лежит и в основе драматургического искусства Александра Попа.

Считая Шекспира «худшим из всех возможных образцов драматической формы», Байрон тем не менее тонко его знает и в моменты наибольшей напряженности «Дон Жуана» чередует свои стихи с десятками шекспировских цитат. В области построения драм Байрон считает необходимым следовать отнюдь не по пути Шекспира, но только по пути старинного канона. Однако в своей писательской практике Байрон не пошел ни за Шекспиром, ни за Попом. Создавая свои драматические произведения: «Марино Фольеро», «Двое Фоскари», «Каин», «Небо и земля», «Вернер», «Преображенный урод», он наполнил их новым, чисто романтическим содержанием. Обрисовка человеческих характеров у Байрона выходит далеко за пределы классической условности, а «местный колорит», то есть точнейшее изучение индивидуальных и неповторимых особенностей эпохи, быта, образа мыслей,

свойственного тому времени, когда живут герои, является романтической новизной, совсем непохожей на обезличенность героев трагедий Расина, в которых мы все-таки узнаем переодетых придворных Людовика XIV.

Вот что писал Байрон в предисловии к «Сарданапалу»: «Всякое произведение, в котором отсутствуют три единства, может быть названо поэмой, но не будет драмой. Автору известно, до какой степени непопулярна эта система трех единств в современной английской литературе. Но так как эта система не изобретена автором, а есть не что иное, как теория, еще недавно господствовавшая как закон в литературах всего мира, то он удерживает ее в том виде, в каком она воцарилась у наиболее культурных народов. «Mais nous avons changé tout cela»¹ и пожинаем плоды этого изменения. Автор предпочел правильную драматическую конструкцию, хотя и более слабую, вместо того чтобы отступить от всяких правил драматического творчества. Если он потерпел неудачу, то вина автора должна быть отнесена на счет архитекторов, а не на счет самого искусства».

Байрону приписывают еще одну фразу: «Французы с полным правом смеются над тем, что в пьесах Шекспира в первом акте героями являются дети, а в последнем акте старики». Неизвестно, говорил ли Байрон эту фразу; она приводится Медвином — источник малодостоверный. Одним словом, Байрон стремится достичь того единства места и времени, при котором трагическая завязка должна «развязываться», то есть закончиться в двадцать четыре часа. Раскрепощенная драма получила право гражданства только после смерти Байрона. И лишь за год до смерти Байрона появился так называемый «романтический манифест» — трактат Стендаля-Бейля, названный им нейтральным заголовком «Расин и Шекспир — этюды о романтизме». Стендаль выступил на защиту романтики и оказался опытным стратегом, разрушив крепость трех единств.

Из драм Байрона необходимо особо выделить трагедию, или мистерию, «Каин», которая является как бы вершиной его романтического творчества. Прекрасный анализ этой трагедии дает Георг Брандес. Он пишет: «Адам обуздан, Ева подавлена, Авель кроткий и покорный юноша, а Каин — это *молодое человечество*, которое

¹ «Но мы изменили все это» (фр.).

размышляет, спрашивает, стремится и требует. Все противоречия религии и здравого разума, страдания и представления о всеблагом божестве, одним словом, вся религия как система миросозерцания, мироощущения предшествовавших Байрону поколений изображена в трагедии «Каин».

Но надо иметь в виду, что библейский сюжет разработан совершенно заново. Известны те страницы Библии, в которых описывается традиционный прародительский рай и грехопадение, то есть та основа типичного английского благочестия, к которому так охотно возвращались в английских семьях в субботние вечера и по воскресеньям и к которому искусственно была прикована не только школа, но и вся реакционная политика тогдашнего времени. Надо иметь в виду взрыв страшного мракобесия в тогдашней Европе, чтобы понять, какой неслыханной, чисто революционной дерзостью явилось байроновское *оправдание Каина*. Слово, бывшее бранной кличкой, соединявшееся обычно в устах обывателей с представлением о бессмысленном братоубийце, это слово, это понятие английский поэт вдруг перед лицом всего европейского человечества и родной Англии сделал лозунгом борьбы за будущее раскрепощенного человека.

Каин, оправданный без парадоксов, Каин, говорящий простым языком здравого человеческого смысла, внезапно сделался символом всего протестующего, всего борющегося за свободу, разумность, подлинную сердечность и справедливость. В связи с этой перестановкой понятий новое значение приобретает фигура, враждебная всякому божеству, фигура Люцифера. По прямому смыслу латинского термина Люцифер — значит носитель света. В трактовке Байрона Люцифер — это новый Прометей, выхватывающий у слепых и темных стихий живительный огонь, согревающий людей на мерзнувшей планете, это свет, разгоняющий мрак, невежество, суеверие религиозного обскурантизма, заново обступившего европейское человечество после подъема революционной волны. Дух светоносца, критический разум освещает перед ослепшими людьми картину *преступления бога* и этим самым показывает человеку лживость какой бы то ни было религии вообще.

Авель приносит жертву. Самая идея жертвы рассматривается Байроном как бессмысленная и нелепая растрата сил и человеческого счастья. Бог, воплощающий в себе

всю многовековую систему предрассудков человеческой истории, должен обладать, по Байрону, способностью всезнания. Как всеведущий, он знает, какие мятежные мысли бродят в голове его собственного творения, именуемого Каином, и допускает свершиться убийству, ибо преступление и зло необходимы для равновесия божеского начала. Каин совершает убийство, восставая против созданного божеством миропорядка, который в его глазах остается жестоким царством труда, разрушения и смерти.

Кто же такой байроновский Каин? Это мыслящий человек XIX столетия, это французский плебей, штурмующий Бастилию, это химик Лавуазье, врывающийся в тайны природы, это Монгольфьер, штурмующий небеса аэростатом, это линза телескопа, срывающая завесу небесных тайн и нигде не находящая места для золотого престола всевышнего. Каин — это разрушитель старых миров, это созидатель новой человеческой культуры воцаряющейся буржуазии. Не мудрено, что на этого человека ополчилась вся система религиозных предрассудков мира.

Выход в свет драматического томика Байрона вызвал такой же ураган преследований, такую же бурю газетных негодований, как национальные бедствия, наводнения или пожары, уничтожающие города. Издатель спешно просил автора смягчить некоторые речи Люцифера. Байрон ответил простым и очень деловитым языком, что предлагаемая новая редакция слов Люцифера, к сожалению, очень похожа на последнюю проповедь архиепископа англиканской церкви Линкольна и что если эту покорную и красивую речь вложить в уста вечного врага божия, то это не будет соответствовать ни желанию Люцифера, ни желанию архиепископа. Тогда лорд Эльдон, тот самый, которому были посвящены стихи о ткачах 1811 года, предшествовавшие выступлению Байрона в палате, от имени английского правительства «лишил Байрона авторских прав», то есть фактически он привел к тому, что издатель байроновских драм и всех последующих его произведений потерпел убытки. С формальной точки зрения правительственное распоряжение было нарушением закона, и поэтому издатель обратился в суд. Точный текст приговора гласит следующее: «Протестантская религия есть основа всех законов Соединенного королевства, и следовательно, и законов об охране книж-

ной торговли. Книга, предъявленная судьям, имеет целью ниспровержение Священного писания, а посему ни автор, ни права издавшего не подпадают под защиту законов Соединенного королевства».

Многие критики рассматривают следующее драматическое произведение Байрона, «Небо и земля», как развитие идей, овладевших Байроном в период написания «Манфреда». К этому есть основания, равно как есть основания объединять умозрительный и философический материал «Манфреда», «Неба и земли» и «Каина» в целостную философскую трилогию, которая, даже с точки зрения самого Байрона, является скорее циклом драматических поэм, а не театральных драм, так как Байрон не выдержал конструктивной схемы классических канонов. Во всяком случае, «Небо и земля» находится в прямой связи с «Каином», а главные действующие лица Ана и Аголибама являются дочерьми Каина и продолжательницами его революционного протеста. Проблема отношений между полами, проблема детской обреченности на страдание, проблема материнства, братской и супружеской любви, проблема размножения страдающего человечества и надвигающийся ужас потопа как общий для всех людей момент, объединяющий их в гибели,— вот фон и материал, на котором построена эта мистерия. И, как следовало ожидать от писателя, до конца ведущего логическое построение одиночного бунта, вывод трагедии говорит «о силе гнетущей и покоряющей».

Отдельно стоят два последних произведения драматического творчества Байрона — «Вернер» и «Преображенный урод» — драмы, выводящие нас из венецианского периода творчества Байрона.

Драма «Вернер» по сюжету заимствована у писательницы Гарриет Ли. Вместе с Вальтером Скоттом Байрон отдал дань романтического увлечения поэзией тайн и ужасов. Байрон сумел в собственной трактовке использовать тематику фантастического, ужасного и мрачного. Место действия «Вернера» — Германия, истощенная Тридцатилетней войной (1618—1648), когда страна утратила почти две трети своего населения и превратилась в пустыню с городами, наполненными волчьим воем, с деревнями, опустошенными голодом и эпидемиями, с людьми, охваченными ожиданием антихриста. Однако реальная Германия почти не отразилась в трагедии Байрона. В основе сюжета трагедии лежит кровавая

семейная хроника некоего графа Зигендорфа, возникшая на почве борьбы за наследство.

«Преображенный урод» — единственная драма Байрона, которая носит легкую печать автобиографизма (повидимому, Байрон никогда не забывал о своем телесном недостатке — хромоте). Основным зерном трагедии служит эпизод из времени похода Коннетабля Бурбонского на Рим в 1527 году. Фантастическая фигура демона тесно связана с Мефистофелем Гете. Горбун Арнольд усилиями этого дьявола превращается в красивого человека, демон вселяется в прежнее тело Арнольда. Завязка трагедии состоит в том, что Арнольд — реальный, превращенный в красавца, оказывается не в состоянии завоевать сердце римлянки Олимпии Колонна, в то время как дьявол, воплотившийся в тело уродливого Арнольда, добивается этого без особых усилий. Реальный Арнольд и дьявол, воплощенный в его уродливом теле, становятся врагами. И человек с напрасной красотой, испепеленный бессилием страсти, становится достоянием уничтожающей демонической силы.

Особняком стоит трагедия Байрона «Сарданапал». Сюжет пьесы заимствован из повествования Диодора Сицилийского о гибели ассирийского царя Сарданапала, изнеженного и размягченного наслаждениями властителя, погибшего во время восстания мидийского военачальника Арбака, убедившегося в том, что реальный властитель Ассирии не в состоянии оказать нужного сопротивления врагу. Гибель Сарданапала у Байрона изображается не в полном соответствии с историческими сказаниями Диодора. Сарданапал, по Байрону, это не только сластолюбец, а человек мягкий и скептически настроенный к своей власти. Целый ряд критиков и биографов Байрона усматривали в этом герое самого Байрона. Некоторые из них стремились истолковать эту трагедию как отказ Байрона от какой бы то ни было политической борьбы, как провозглашение ненужности революции и кровавых переворотов, но эта трактовка является столь же тенденциозной, сколь и мало обоснованной. Уж если можно говорить о каком-нибудь скрытом смысле этой поэмы, то он заключается разве лишь в том утверждении, что крепкая и сильная рука вооруженного полководца может сделать больше для организации власти, чем наследственный повелитель, правящий по инерции.

«Сарданапал» написан со строжайшим соблюдением

всех правил ложноклассической трагедии, с пунктуальным сохранением закона трех единств. По этому поводу Гете заметил, что человек, никогда ничего не боявшийся и не считавшийся ни с какими законами, вдруг подчинился самому нелепому из всех законов — закону трагических трех единств. Гете, как драгоценность, показывал посвященную ему рукопись «Сарданапала» и впоследствии дал очень интересную характеристику самого Байрона как величайшего таланта XIX века: «Байрон не классик и не романтик — он само *наше время*».

В коротком предисловии к «Сарданапалу» Байрон указывает на то, что он не претендует на сценичность этой трагедии. И действительно, несмотря на соблюдение сценических условий, это произведение Байрона не может быть поставлено на сцене. Но «Вернер», в котором Байрон позволил себе те самые отклонения от драматургического канона, которые, по его словам, «драму превращают в поэму», вопреки его ожиданиям оказался самой сценичной из всех его драм. Он шел в Англии с неожиданным успехом, и талантливый артист Макреди считал Вернера своей лучшей ролью.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

БАЙРОН-КАРБОНАРИЙ

Никогда разнообразие байроновского творчества не достигало таких размеров, как в период созревания его органической связи с итальянским освободительным движением. То, что Стендаль называл *кристаллизацией* творчества, завершилось в тот момент, когда вполне определилось поведение Байрона по отношению к Италии. Мы склонны думать, что эта полнота и определенность жизненного пути, выбранного Байроном, вывела его также из дебрей творческих исканий, и творчество его засверкало всеми цветами радуги. Шелли не без удивления заметил огромную перемену в своем друге. Вместо беспомощно мятущегося человека, подавленного субъективной раздвоенностью внежизненных исканий, он увидел перед собой чрезвычайно доброго, закаленного в работе, почти веселого человека с тем чувством затаенного счастья, которое свойственно удачливым изобретателям или мореплавателям, достигшим своей цели. Житей-

ские затруднения росли неимоверно. Жизнь английского изгнанника, протекавшая под удручающими впечатлениями постоянной травли, теперь превратилась в напряженную, бурную и целеустремленную жизнь человека, которому угрожает не только травля, а ежеминутная смерть от яда, от ножа наемного убийцы.

В Венеции, у графини Бенцони, произошла случайная встреча с Терезой Гвиччиоли. Девятнадцатилетняя Тереза Гамба, выданная за богатого романьольского старика, шестидесятилетнего графа Гвиччиоли, в силу принудительных соображений двух взаимно обязанных семейств, впервые встретила человека, которого полюбила. Впоследствии Тереза Гвиччиоли писала, что она внезапно увидела перед собой явление, ставшее выше всего, что до сих пор случалось ей видеть.

Талантливый итальянский романист Гвераци¹ с обычной для него цветистостью рассказывает о том впечатлении, какое производил Байрон в эти годы: «В ту пору разнеслась молва, что к нам в город прибыл человек необычайный, о котором молва шумела на тысячу ладов, сообщая сведения, исключавшие друг друга. Говорили, что он королевского рода и необузданного нрава, говорили, что он из племени гигантов-богатырей, закаленный боец и силач, говорили, что он демон зла, превосходящий умом смертных людей, а были и такие, кто говорил, что это библейский сатана, блуждающий по земле, ища себе окружения из богохульных святотатцев. Так говорили об этом Джордже Байроне. Я искал встречи с ним, и когда в дверях показалось это прекрасное лицо, мне почудилось, что сошел с пьедестала Аполлон ватиканского бельведера».

Другие свидетели, как Амброзоли, подтверждают это впечатление спокойного обаяния Байрона, а лучшим доказательством того, что Байрон действительно нашел самого себя на этой широкой и благородной революционной дороге, является то, что крупнейший конспиратор тогдашней Италии, молодой Мадзини никогда не расставался с портретом «английского карбонария Байрона». Им он украшал и комнату свою в Лугано, и стены многочисленных тюрем, в которых провел столько лет своей жизни.

¹ Автор «Осады Флоренции», вышедшей в издательстве «Академия». (Примеч. автора.)

Внешняя занятость и внутренняя погруженность в детали работы, на которую бесповоротно обрек себя Байрон, не позволили ему понять собственное чувство, возникшее в тот вечер, когда он встретил Терезу Гвиччиоли. Вряд ли она поняла вначале всю силу этого впечатления. И только в мае месяце, когда Гвиччиоли выехали из Венеции в Равенну, эта разлука дала обоим почувствовать всю неожиданность и глубину происшедшего. Байрон получил от старика Гвиччиоли приглашение приехать в Равенну, но не принял его, и только сведения о внезапном тяжелом заболевании Терезы заставили его решиться на выезд из Венеции. Перед этим он писал: «Меня мучит ужасный страх, что она больна чахоткой. Если с ней случится несчастье, то прощай мое сердце. Это моя последняя любовь». По существу, это была первая настоящая и большая любовь человека, который в этом чувстве нашел решительно все, что связывается с этим словом. Надо прочесть «Стансы на реке По», чтобы понять, как горячо и преданно билось сердце Байрона. Все указывало на итоговую черту большого пройденного пути, все говорило о том, что *начинается новая жизнь*. Это было стихийное повторение дантовского чувства, которое старинный поэт Италии выразил в словах: «*inserit Vita Nova*»¹. И как там, за много веков, новая жизнь сочеталась с творческим созданием гигантской поэмы и со встречей женщины, осветившей эту новую жизнь, так и здесь совершенно стихийно в творчестве Байрона и в его жизни сочетались и встреча с Терезой Гвиччиоли, и огромное творческое напряжение, и ощущение новой, молодой, забившей ключом политической жизни Италии.

Как бы расставаясь с прошлым, Байрон перебирал в памяти все впечатления детских дней, и ссоры с матерью, и сожаление об ее ранней смерти. Он был в том состоянии беспощадного отношения к себе, которое овладевает человеком, вступившим на новый путь и стремящимся к установлению ясной истины в самом себе. Так возникли мемуары Байрона до 1816 года. Мы можем представить себе те вечера, когда в промежутках между выстрелами в белых голубей, пролетающих над высокими деревьями вечеряющего равеннского сада, где Байрон обучал искусству стрельбы молодого Пьетро Гамба, воз-

¹ «Началась новая жизнь» (лат.).

никали ответы на вопросы Терезы Гвиччиоли о ранних годах и о поворотах жизненной реки, течение которой принесло Байрона в этот тихий, полумертвый город византийских базилик и прекрасных пиний, растущих на песчаных дюнах, там, где когда-то был морской берег, богатая гавань и где уже много веков на месте ушедшего моря лежат пески, поросшие южными соснами.

29 октября 1819 года Байрон писал Джону Меррею: «...Я передал Муру, который отправляется в Рим, мое жизнеописание до 1816 года (78 больших листов). Я дал ему это на сохранение, так как у него имеются и другие мои бумаги: дневник, который я вел в 1814 году, и т. п. Ни то, ни другое не должно быть опубликовано при моей жизни, но лишь тогда, когда я умру. Вы можете с ними делать что угодно. Пока я разрешаю вам прочесть их, если хотите, и показывать кому угодно — мне все равно.

«Жизнеописание» включает в себе заметки *о событиях*, а не исповедь. Я выпустил все мои *любви* (за исключением самых общих упоминаний) и многие другие очень важные вещи, потому что я не хочу никого компрометировать. Это похоже на представление Гамлета, в котором роль Гамлета выпущена «по специальной просьбе». Но вы в нем найдете много моих мнений, немного юмора и детальное описание моей свадьбы и ее последствий; последнее настолько правдиво, насколько возможно для заинтересованной стороны: мы ведь все имеем предубеждения».

Мы знаем, что самым ярким моментом писания мемуаров были дни в Равенне. Если в первую неделю были написаны семь больших листов, то к 26 августа они занимали уже сорок четыре листа большого формата. «Я выпустил все мои *любви*», — очевидно, не о любовных похождениях шел разговор Байрона с самим собою. Не исключаящие друг друга мнения, которые высказывают лица, читавшие дневник, показывают, что неожиданная и странная судьба мемуаров Байрона является следствием такого же *преступления*, какое имело место и в отношении к личной судьбе поэта. Джон Россель прямо упрекал виновников гибели мемуаров в вандализме. Роджерс протестовал против мероприятий, осуществленных в отношении байроновских мемуаров, и доказывал необходимость их напечатания, но леди Байрон настолько решительно восстала против печатания этих политических и

семейных документов, так боялась, что политические признания Байрона могут отразиться на благосостоянии семьи, что прямо написала Томасу Муру письмо с угрозами такого характера, что Мур просил Байрона истолковать ему смысл таких угроз, как «некоторые последствия для издателей мемуаров». Байрон был поражен сообщением Мура. В своем ответе он ограничился цитатой из дантовского «Ада» о жене, наносящей вред мужу больше, чем самый страшный враг, и не настаивал на печатании.

Нам известно, что после смерти Байрона под влиянием резкого поворота английской политики Томас Мур, словно в состоянии безумной паники, созвал пугливых друзей Байрона и в их присутствии, с их согласия порвал в клочья мемуары Байрона и две копии с них. Потом, облегченно вздыхая, шестеро судей этого странного инквизиционного трибунала бросали в камин вороха снегоподобной бумажной массы.

Закончив мемуары и отослав их в Англию, Байрон деятельно продолжал писать свои драмы и одновременно занимался многими вещами, ни на день не прекращая ни карбонарской работы, ни работы над своей главной вещью, которая отняла у него так же много времени, как и «Чайльд Гарольд». Начав в 1818 году «Дон Жуана», Байрон 15 июля 1819 года издал первую и вторую песни этой поэмы, а в ноябре 1819 года окончил третью и начал четвертую песнь «Дон Жуана». Это произведение так и осталось неоконченным. Весной 1824 года была доведена до конца шестнадцатая песнь, семнадцатая песнь была прервана смертью поэта на четырнадцатой октаве.

Если целый ряд произведений Байрона встретил такой же живой отклик в душе его подруги Терезы Гвиччиоли, как и собственная живая личность Байрона, то «Дон Жуан» был чрезвычайно тяжело воспринят женщиной, которая до семнадцатилетнего возраста была невольной обительницей католического монастыря. Огромное большинство карбонариев не порывало с религией и низовым католичеством. Байроновское свободомыслие поэтому тяжело переживалось его подругой, которая при всем своем обаянии не обладала ни широтой ума Байрона, ни безграничностью его воли. Однако новое и большое чувство Байрона, перед которым семья Гамба стояла как живой пример подлинных итальянских стрем-

лений, продолжало развиваться. Вот почему на первом этапе новой жизни Байрона мы видим призведения, закрепившие его итальянские связи.

Сближение Байрона с семьей Гамба если не сразу вызвало реакцию старого Гвиччиоли, то, во всяком случае, тотчас же обратило на себя внимание австрийской полиции, которая в каждом новом сочетании житейских связей видела возникающую карбонарскую хату (*baracca*), а в каждом приглашении на игру в кости или на маскарад видела собрание революционной венты (*vendita*). Вхождение Байрона в общение с семьей Гамба, до которой не доставали руки обыкновенной городской полиции, чрезвычайно упрочило положение Байрона в Италии, а принадлежность семьи Гамба к богатому итальянскому дворянству позволила хорошо замаскировать организацию большого адриатического объединения карбонариев, которое по внешности было охотничьим спортивным союзом, а в силу уважения к североамериканской демократии называлось «Братством американских стрелков» (*Cacciatori americani*, или *Fratelli americani*). Равеннское и болонское простонародье называло этих людей просто «неуловимыми американцами».

Ученый исследователь Триболатти опубликовал в 1899 году три тетради, написанные австрийским шпионом, уполномоченным министра полиции в Вене графа Седленицкого. В этих тетрадях, которые являются инструкторским дневником тайной полиции 1819—1822 годов, мы имеем сводку под названием «Тайна антикарбонарской политики». В одном из таких документов значится, что путешествующий английский лорд Байрон доселе не захвачен в силу его прикосновенности к знатнейшему английскому дворянству, а главным образом потому, что он *сумасшедший*, и мерой пресечения относительно него можно считать простое его нахождение под наблюдением международной полиции Священного союза.

Этим наблюдением выражена вся тактика в отношении Байрона: объявить его сумасшедшим, отдать под надзор полиции, а затем, ввиду невозможности простого ареста,—пустить в ход сложную интригу. Неожиданно старый Гвиччиоли стал получать оскорбительные анонимные письма. Благоразумный старик, дававший полную свободу своей жене и никогда не страдавший ревностью, внезапно стал предметом насмешек, ему не давали прохо-

ду, его забрасывали неизвестно откуда появлявшимися доносами, письмами и оскорблениями. Попытка сохранить спокойствие не удалась. Байрон и Тереза Гвиччиоли жили в это время на вилле Ла Мира, близ Венеции. Туда внезапно явился шестидесятилетний супруг и потребовал возвращения Терезы или, по крайней мере, ее отъезда из дома Байрона. Произошел серьезный разговор, вследствие которого надо было сделать практический житейский выбор. Тереза Гамба решительно отказалась расстаться с Байроном и со всей прямоотой, свойственной ее характеру, сообщила это графу Гвиччиоли. Старик потребовал развода или отъезда с ним в Романью. Тереза согласилась на развод и сказала, что она никогда не поедет туда, куда запрещен въезд ее отцу и брату полицией римского первосвященника. Сохранилось письмо Байрона, которое говорит о том, что еще 25 ноября 1819 года он пытался пожертвовать собой и своим чувством для спасения кажущегося благополучия своей подруги.

Но уже 2 января 1820 года Байрон пишет Томасу Муру о том, что из попытки разлучиться ничего не вышло. Старик Гамба сам должен был вызвать Байрона в Равенну. Вот это письмо:

«...По приезде в Равенну Гвиччиоли опять заболела; наконец ее отец (который все время был против «связи») решился написать мне: он писал, что она в таком состоянии, что он сам просит меня приехать; что ее муж согласился, ввиду ее болезни; что он (ее отец) ручается мне за то, что больше не будет никаких сцен между ними и что я никоим образом не буду скомпрометирован. Вскоре после этого я выехал и до сих пор нахожусь здесь. Я нашел ее сильно изменившейся, но ей уже значительно лучше, вот до чего доводит чтение «Коринны»...

Байрон упоминает о чтении «Коринны» не напрасно. Однажды в Болонье, вернувшись из поездки, Байрон не застал дома своей подруги. Он вышел в сад, на скамейке увидел книгу Сталь «Коринна». До нас дошла записка, сделанная на обложке этой книги:

«Дорогая Тереза, я читал эту книгу в вашем саду; вас не было, любовь моя, не то я бы не мог ее прочесть. Это ваша любимая книга, и «автор был моим другом». Вы не поймете этих английских слов, и другие также не поймут их, потому-то я и не пишу по-итальянски. Но вы узнаете почерк того, кто страстно любил вас, и вы угадаете, что

над книгой, принадлежащей вам, он мог думать только о любви. В этом слове, таком прекрасном на всех языках, а особенно на вашем—*amor mio*¹—заключена вся моя жизнь и здесь и в ином мире. Я чувствую, что живу здесь, и боюсь, что буду существовать в потустороннем мире. Для чего?—это должны решить вы, моя судьба в ваших руках. Вы семнадцатилетней женщиной, только два года назад, покинули стены монастыря. Я от всей души желал бы, чтобы вы там оставались или чтобы я, по крайней мере, не встретил вас замужней женщиной.

Но теперь уже поздно. Я люблю вас, и вы меня любите—по крайней мере, вы так *говорите и поступаете*, как будто любите. Во всяком случае, это большое утешение. Но я больше чем люблю вас и не могу перестать любить.

Думайте обо мне иногда, когда Альпы и океан будут разделять нас. Но этого не будет, если только вы этого не захотите».

Байрон никогда не говорил таким языком любви, никогда итальянские письма его не звучали так пламенно и живо, как в этот период, но одновременно он писал и другие письма, научившись языку конспирации. Он изучил язык шифра, для которого пользовался обыкновенным католическим молитвенником, он ставил в дневниках этого периода букву «R», которая расшифровывается как предстоящее самое главное событие Италии—*Revoluzione*². Но открытые, нешифрованные письма к английским и итальянским друзьям содержат лишь легкую критику деятельности правительственных чиновников с веселой припиской: «Я знаю, что цензурная сволочь будет читать это письмо».

Развод графа Гвиччиоли и Терезы Гамба состоялся. Старый Гамба—отец, молодой Пьетро, ставший другом и обожателем Байрона,—все согласились на этот шаг. Но бывшая графиня Гвиччиоли должна была заплатить дань общественному лицемерию и опуститься на несколько ступеней ниже по общественной лестнице, ибо многие дома для нее закрылись после этого шага. К чести ее надо сказать, что она перенесла это с большим достоинством, ни словом не намекая Байрону о том, что она перешла на

¹ Любовь моя (*ит.*).

² Революция (*ит.*).

положение добровольной изгнанницы внутри своей страны. Но в это время был нанесен новый удар и ей, и семейству Гамба. Письма посыпались теперь уже в руки старика Гамба, а вслед за письмами ему было указано, что по законам итальянского света дочь, разведенная с мужем, возвращается в дом отца. Пришлось покориться этой необходимости. Семья обеспечила Терезе Гвиччиоли небольшой ежегодный бюджет, выдаваемый только при условии, что разведенная Гамба будет жить под одной кровлей с отцом. Местопребыванием семьи была избрана Равенна. Оттуда на всю Италию прозвучали новые терцины, написанные Байроном,—поэма «Пророчество Данте».

Энгельс в предисловии к итальянскому изданию «Коммунистического манифеста» в 1893 году писал: «Закат феодального средневековья, заря современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это итальянец, это — Данте, в одно и то же время последний поэт средневековья и первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 году, начинает вырисовываться новая историческая эра. Даст ли Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения новой пролетарской эры?» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Коммунистический манифест, ГИЗ, 1928, с. 56.)

И как бы перекликаясь с эпохами, обращающими свои взоры к величайшему поэту Италии, Байрон начал свою карбонарскую жизнь в Италии с обращения к памяти и тени Данте Алигьери. Как бы в ответ на затаенные поиски подпольных комментаторов Данте, английский карбонарий Байрон влагает в уста величайшего поэта Италии пророчества о будущих судьбах великой страны, сумевшей дать лучезарные образы такой культуры, которая стала достоянием всего мира. Таким образом, в закате великой римской и латинской культуры, в заре итальянского возрождения Байрон не захотел видеть предела, ограничивающего роль Италии ролью классической гробницы человеческих исканий. Наоборот, он считает, что подлинный золотой век человечества впереди, и от романтического восхищения Италией переходит к живому общению с живым итальянским простонародьем: рыбаки и оружейники в «Osteria Boraciana»¹, люди с именами и люди, лишенные всяких имен, давно растеряв-

¹ Название трактира. (Примеч. автора.)

шие свои имена по австрийским тюрьмам, сделались его друзьями. Недаром Байрон сам говорит о своем новом произведении: «Пророчество Данте» — это лучшее из всего, написанного мною, если это только доступно легкому пониманию».

Увы, это произведение было легко понято австрийской полицией и папской жандармерией, ибо никакая история литературы не может изобразить того ужаса итальянских властей, какой овладел ими в день напечатания байроновского «Пророчества Данте». Поэма была принята как сигнал к восстанию, и, судя по взволнованности людей около книжных магазинов, у типографий, при простых встречах в городах и на дорогах, у властей действительно были основания тревожиться за воздействие этой поэмы на Италию. Книга была немедленно конфискована и сожжена рукой палача.

«Пророчество Данте» состоит из четырех песен. Первая из них — это песнь о неблагодарной Флоренции, изгнавшей Данте; вторая — перспектива бесконечных бед Италии и воскрешение старинного дантовского лозунга: «Объединение — вот спаситель твой». Третья песнь говорит о единстве итальянской культуры и рассказывает историю Италии, рисуя ее как процесс не только незаконченный, но еще не достигший полного развертывания всех могущественных потенциальных сил этой страны. Четвертая песнь посвящена Риму и тому особенному значению, которое приобретает *политическая поэзия* «безвестных поэтов».

Чрезвычайно интересен здесь взгляд самого Байрона на общественную роль литературы. Человек, страдающий большими сословными предрассудками, человек, о котором Стендаль писал как о пэре Англии, часто подтверждающем авторитетность своих высказываний ссылкой на свой титул, этот человек становится защитником такого мировоззрения, которое превращает поэта в творца новых форм общественного строя. Насколько это настроение было сильно, можно видеть из того, что в этот период Байрон самым серьезным образом думал отказаться от титула, принять чужое имя и скрыться из Европы, если итальянское движение будет неудачным, если «R» не осуществится.

Приводим несколько отрывков из дневника Байрона 1821 года и часть отрывочных мыслей и записей из тетрадки «My Dictionary» — «Мой словарь».

«Равенна, 4 января 1821 года.

...Подъезжает карета—велю подать пистолеты и плащ, как всегда,—необходимейшие предметы. Погода холодная—карета открытая, а жители довольно дики—порядочные изменники и разгорячены политикой. Однако все же—молодцы, хороший материал для нации. Бог создал мир из хаоса, народ создается великими страстями.

6 января 1821 года.

...Думал о положении женщин в древней Греции—вполне удобно. Нынешнее положение, остаток варварства рыцарских и феодальных времен,—искусственно и неестественно. Они должны следить за домом, быть хорошо одеты и сыты, но не ходить в общество. Хорошо образованны в области религии—но не читать ни поэзии, ни политических сочинений: только духовные и поварские книги. Музыка—рисование—танцы и от времени до времени немножко садоводства и земледелия. Я видел, как они прекрасно чинят дороги в Эпире. Почему нет, наряду с сенокосом и доением коров?

...Сегодня вечером в театре в последней сцене комедии был представлен принц на троне; публика со смехом потребовала у него «конституции». Это характерно для настроения умов, как и убийства. Так не может продолжаться далее. Должна быть мировая республика—это действительно необходимо...

...В чем причина, что я всю свою жизнь был более или менее «скучающим»? Пожалуй, теперь я страдаю этим меньше, чем в двадцать лет, насколько я могу припомнить. Не знаю, как ответить на этот вопрос; по всей вероятности, это органическая особенность, как и дурное настроение, с которым я просыпаюсь по утрам вот уже много лет. Воздержание и спорт мало помогали мне, хотя я подолгу отдавался тому и другому вместе. Сильные страсти помогали,—находясь под их влиянием, я чувствовал себя в повышенном, но не подавленном настроении.

Доза пахучих солей действует на меня возбуждающе, как легкое шампанское. А вино и спирт делают меня мрачным и диким вплоть до жестокости; однако я становлюсь молчаливым и сдержанным и не ищу ссоры, если со мной не разговаривают. Плавание тоже поднимает мое настроение, но обычно оно неважное и с каждым днем ухудшается. Это *безнадежно*, хотя мне кажется, что я

не так «скучаю», как в девятнадцать лет. Доказательством служит то, что прежде я должен был играть, пить или двигаться, иначе я чувствовал себя совершенно несчастным. Теперь я могу сидеть спокойно и предпочитаю одиночество обществу, за исключением общества той дамы, которой я служу. Но мне почему-то кажется, что если я доживу до старости, то, как Свифт, «сначала умру духовно». Но я не боюсь идиотизма или сумасшествия в такой степени, как он боялся. Напротив, я полагаю, что тихое безумие нередко предпочтительнее того, что люди называют нормальным состоянием.

...Граф Пьетро Гамба отвел меня в сторону и сообщил, что патриоты получили известие из Форли (за 20 миль) о намерении правительства и его партии предпринять в эту ночь решительный удар — здешний кардинал получил приказ произвести несколько арестов немедленно; поэтому либералы вооружаются и расставляют патрули на улицах, чтобы забить тревогу и подать сигнал к сражению.

Он спросил меня: «Что делать?» Я ответил: «Лучше бороться, чем быть застигнутым врасплох». Я предложил ему принять к себе в дом (который можно защищать) тех из них, кому угрожает немедленный арест, и защищать их с помощью моих слуг и их собственными силами (у нас есть оружие и снаряды) до последней возможности или постараться помочь им бежать отсюда под покровом ночи. На обратном пути я предложил ему мои пистолеты, но он отказался; он обещал прийти ко мне в случае необходимости.

До полуночи остается еще полчаса; идет дождь; как говорит Джиббет: «Прекрасная ночь для такого предприятия: темна, как ад, и ветер дует, как дьявол». Если свалка не произойдет *теперь*, то произойдет скоро. Я был уверен, что их система подстреливать людей должна вызвать отпор, и теперь он надвигается. Я постараюсь сделать, что могу, в этой борьбе, хотя давно не упражнялся. Борьба идет за хорошее дело.

Перелистал кучу книг, чтобы найти нужный отрывок, но не нашел его. Все время жду барабана и перестрелки (они поклялись сопротивляться, и правы) — ничего еще не слышно, только дождь плещет и ветер завывает по временам. Не хочу ложиться в постель, терпеть не могу, когда меня будят; лучше подожду начала столкновения, если оно будет.

Поправил огонь — достал оружие и несколько книг, которые буду перелистывать. Я мало осведомлен о их численности, но полагаю, что карбонарии достаточно сильны, чтобы бороться против войск даже здесь. С двадцатью людьми можно защищать этот дом в течение двадцати четырех часов против того количества войск, которое можно собрать в этом месте в течение такого же срока; а за это время весть может распространиться по стране, и начнется восстание, если вообще оно начнется когда-нибудь, в чем я несколько сомневаюсь. Пока я могу заняться чем-нибудь или почитать, так как я совершенно один.

8 января 1821 года, понедельник.

Встал и нашел у себя графа П. Гвиччиоли. Отослал прислугу. Он сообщил мне из достоверных источников, что правительство не отдавало приказа об арестах; ожидаемое в Форли нападение санфедистов (так называются противники карбонариев) не состоялось, и пока существуют только опасения. Он попросил у меня лучшего оружия, я дал ему. Мы условились, что в случае схватки либералы соберутся здесь (у меня), для этой цели он передал пароль Винченцо Гамба и другим вождям. Он сам со своим отцом отправился в лес на охоту, но Винченцо Гамба придет ко мне, а Пьетро Гамба будет послан гонец в случае опасности. Обсуждали план действия. Они должны захватить... однако это не существенно.

Я советовал им атаковать одновременно, но в разных местах и отдельными отрядами, чтобы разбить внимание противника, потому что в правильном бою регулярные войска, при всей своей малочисленности, легко сумеют справиться с гораздо большим числом необученных повстанцев — если только им не придется разбиться на небольшие группы и отражать нападение одновременно с разных сторон. Предложил им собраться здесь, если захотят. Это прочный пост — улица узкая, вся под обстрелом из дома, и прочные стены...

...Интересно, как эти итальянцы будут вести себя в настоящем бою. Иногда мне кажется, что с ними повторится история ирландца, которому кто-то продал кривое ружье; он мог стрелять только «из-за угла»; во всяком случае, такого рода стрельбой ограничиваются их последние подвиги. И все же есть материал в этих людях и

благородная энергия, если только хорошо направить ее. Но кто может направить их? Все равно... Такие времена порождают героев. Затруднения — бродило для великих умов, а Свобода — мать тех немногих добродетелей, которые достались на долю человечества.

Вторник, 9 января 1821 года.

...Смена столетий меняет все: время — язык — землю — границы моря — звезды небес, все «вокруг, вверху и внизу» человека; только он сам остается тем, чем он всегда был и будет — несчастным негодяем. Бесконечное разнообразие жизней ведет только к смерти, а бесконечные желания ведут к одному разочарованию...

...В восемь я вышел — узнал несколько новостей. Говорят, что король Неаполитанский сообщил союзным державам (так теперь называют этих коронованных негодяев), что его конституция была вынужденной и т. д. и т. д. и что скоро должны выступить. Австрийские варвары опять переведены на *военное* жалованье. Пусть они являются «как жертвы к алтарю», эти адские псы! Остается надежда увидеть их кости сложенными, как кости людей-псов в Морате в Швейцарии, где я был.

Слушал музыку. В 9 обычные гости — новости, *война* или слухи о войне. Совещался с Пьетро Гамба и т. д. и т. д. Они намерены здесь устроить восстание и хотели оказать мне честь приглашением присоединиться. Я не отступаю, хотя не считаю их достаточно мужественными и сильными, чтобы из этого что-нибудь вышло. *Но вперед!* — теперь время действовать: что значит свое «я», если хотя бы одна искра того, что достойно прошлого, может быть передана не угасшей для будущих времен? Это не один человек, не миллионы, это *дух свободы*, который надо распространить. Волны одна за другой разбиваются о берег, но тем не менее побеждает *океан*. Он поглощает Армаду, разрушает скалы, и, если верить *нептунианцам*, он не только разрушил, но и построил целый мир. Таким же образом, каковы бы ни были жертвы отдельных лиц, великая цель соберет силы, сметет все шероховатости и оплодотворит землю, годную для обработки (ибо морские травы тоже удобрение). Эгоистический расчет никогда не должен приниматься во внимание в таких случаях; и в данный момент он для меня не существует. Я никогда не умел вычислять шансы, и теперь не собираюсь этим заниматься.

11 января 1821 года.

А. пишет мне, что папа, герцог Тосканский и король Сардинский тоже были позваны на конгресс, но папа будет представлен своим послом; таким образом, интересы миллионов находятся в руках двух десятков дураков, собравшихся в каком-то Лайбахе!

Мне кажется, я сожалел бы даже, что мои личные дела идут хорошо, в то время как целые нации в опасности. Если бы положение человечества (особенно угнетенных итальянцев) могло быть улучшено этим, я бы охотно пожертвовал своими «личными делишками». Дай нам, боже, лучшие времена или побольше философского отношения к событиям!

13 января 1821 года.

...Обедал. Пришли новости — державы хотят бороться с народами. Весть эта, кажется, достоверна — пусть так, в конце концов они будут побеждены. Времена королей быстро приходят к концу. Кровь будет литься как вода, и слезы, как туман; но в конце концов победят народы. Я не доживу, чтобы увидеть это, но я это предвижу...

23 января 1821 года

...Прекрасный день. Читал — ездил верхом — стрелял из пистолета и возвратился. Обедал — читал. В восемь вышел — сделал обычный визит. Слышал разговоры только о «войне» — по-прежнему общий крик — «они приближаются». У карбонариев, кажется, нет никакого плана; не решено ничего — как, когда и каким образом выступить. Значит, они никогда не приведут в исполнение своего проекта, который откладывали так часто и ни разу не пытались привести в исполнение...

24 января 1821 года.

Возвратился домой — встретил на Корсо несколько масок — «да здравствует веселье!». Немцы у По, варвары у ворот, их хозяева совещаются в Лайбахе. И что же? Они танцуют и поют, «может быть, завтра они умрут. Кто может сказать, что арлекины не правы?»

...Если они соберутся — «что подлежит сомнению», — они не наберут и тысячи человек. Причина та, что простой народ не заинтересован — только высший и средний класс. Я хотел бы, чтобы крестьяне примкнули; это прекрасная дикая порода двуногих леопардов. Но

болонцы не хотят, а романьольцы без них не могут. А если они попытаются—что тогда? Они попытаются, большего человек не может сделать—но если бы только он захотел попытаться изо всех сил, можно было бы сделать многое.

26 января 1821 года.

...Вышел—зашел к Т. Как всегда—музыка. Джентльмены, делающие революцию и уехавшие тем временем на охоту, не вернулись до сих пор. Они не вернутся до воскресенья—иначе говоря, в течение целых пяти дней они занимались глупостями, в то время как дело идет об интересах целой страны, и сами они участвовали в этом деле.

ЗАМЕТКИ

Что такое поэзия?—Ощущение предшествовавшего мира и мира будущего.

Почему на самой вершине желания и счастья человеческого—светских удовольствий, общественных, любовных радостей, наслаждений самолюбия или скупости—примешивается всегда какое-то чувство сомнения и печали—страх перед грядущим—сомнения в том, что есть воспоминание о прошедшем, ведущее к предвидению будущего (прошедшее—лучший из прорицателей будущего). Почему это так, я не знаю—разве потому, что на вершине мы легче всего поддаемся головокружению и боимся упасть, только когда стоим над пропастью—чем выше, тем страшнее и величественнее; поэтому я не знаю, не является ли страх приятным ощущением; по крайней мере, *надежда* приятна; а разве *надежда* бывает без страха? и какое чувство так сладостно, как надежда? и если бы не было надежды, где бы находилось будущее?—в аду. Бесполезно говорить о том, где находится настоящее: это знает большинство из нас; что касается прошедшего, *что* главенствует в нашей памяти?—*обманутая надежда*. Итак, во всех делах человеческих—надежда—надежда—надежда...

Граф Пьетро Гамба (по поручению карбонариев 30 января 1821 года) передал мне новые пароли на следующие шесть месяцев ххх и ххх. Новый священный

пароль ххх, ответ ххх, обратный ответ ххх. Прежнее слово (теперь измененное) было ххх; есть еще ххх и ххх. Дело, кажется, приближается к кризису.

5 февраля 1821 года.

Наконец «печь накалилась». Немцы получили приказ наступать. Италия в десятитысячный раз превратилась в поле битвы. Известие получено прошлой ночью...

9 февраля 1821 года.

...перед тем как я выехал, меня посетил граф Пьетро Гамба, чтобы сообщить мне о результате совещания между карбонаристами в Ф. и Б. Вернулся вчера поздно ночью. Все было условлено на основании предположения, что варвары переправятся через По 15-го. Вместо этого, будучи заранее осведомлены, они ускорили свои действия и перешли уже два дня тому назад; таким образом, в данный момент в Романье можно только быть начеку и ждать выступления неаполитанцев. Все было готово, неаполитанцы сообщили свои собственные инструкции и намерения; они были рассчитаны на 10-е и 11-е, когда должно было быть поднято всеобщее восстание, исходя из предположения, что варвары не могут выступить ранее 15-го.

Однако у них всегда пятьдесят или шестьдесят тысяч войска — численность, с которой так же трудно покорить мир, как овладеть Италией в ее теперешнем состоянии. Артиллерия идет *одна последней*: существует идея попытаться послать на нее нападение и часть отрезать. Но все это будет зависеть от первых шагов неаполитанцев. *Здесь* общее настроение великолепное, если только сумеют его поддержать. Все это выяснится в дальнейшем.

Возможно, что Италия будет освобождена от варваров, если только неаполитанцы окажут сопротивление, будут действовать единодушно. *Здесь* такое единодушие, по-видимому, существует...

16 февраля 1821 года.

Вчера вечером граф Пьетро Гамба, не предупредив меня ни о чем, хотя я видел его не далее как за полчаса до того, послал ко мне человека с мешком ружей и мушкетов и несколько сот патронов. Дней десять тому назад, когда ожидалось восстание, мои братья карбона-

рии просили меня приобрести оружие для некоторых из наших сообщников. Я тотчас же исполнил просьбу, заказал амуницию и т. д., так что они могли вооружиться. Теперь — восстание предупреждено варварами, которые выступают на неделю раньше, чем предполагалось; правительство издает приказ, что «все лица, скрывающие оружие и т. д. и т. д. ...будут привлечены к ответственности и т. д.». Что же делают мои друзья, патриоты, через два дня? Они просто сбрасывают мне на руки и в мой дом то самое оружие, которое я для них же купил на свой риск и страх (не считая даже нужным предупредить меня об этом).

К счастью, Лега был дома и принял груз. Если бы кто-нибудь другой из прислуги (кроме Тита, Леги и Ф.) знал об этом, меня немедленно предали бы. А пока что, если их выдадут или откроют, я попаду в переделку...

18 февраля 1821 года.

...Сегодня я не имел никаких известий от своих друзей карбонаристов; между тем мои подвалы полны штыков, ружей, патронов и всякой всячины. Я думаю, что они смотрят на меня как на склад, которым придется пожертвовать в случае опасности. Не важно, кто и что будет принесено в жертву, если Италия будет свободной. Это высокая цель, сама поэзия политики. Подумать только — свободная Италия. Ничего подобного не было со времени Августа. Я считаю времена Юлия Цезаря свободными: можно было примкнуть к любой стороне, а партии были почти равносильными вначале. Но потом все дела стали решать преторианцы и легионеры, — а теперь мы увидим, или, по крайней мере, кто-нибудь увидит, какая карта откроется. Лучше верить даже в безнадежное. Голландцы сделали больше в семидесятилетнюю войну, чем предстоит этим людям.

21 февраля 1821 года.

Дело начинает запутываться. Папа издал декларацию против патриотов, которые, говорит он, замышляют восстание. Следствием этого будет то, что через две недели вся страна поднимется. Прокламация еще не опубликована, но напечатана и приготовлена к раздаче. xxx частным образом прислал мне оттиск; значит, он не знает, как ему быть. Когда он хочет задобрить патриотов, то посылает то или иное дружеское известие.

Лично мне кажется, что только абсолютный успех варваров может предотвратить общее и немедленное восстание всего народа...

24 февраля 1821 года.

...Тайное сообщение, полученное карбонариями сегодня утром с границы, самое дурное. План не удался, главари преданы, как военные, так и штатские, неаполитанцы не только не выступили, но объявили папскому правительству и варварам, что они понятия ни о чем не имеют!!!

Так все происходит на свете, и так итальянцы всегда остаются побежденными из-за недостатка единения между собой. Что будет предпринято здесь, меж двух огней, отрезанными от неаполитанской границы, еще не решено. Мое мнение было — что лучше восстать, чем быть захваченными поодиночке; как вопрос будет решен, я не знаю. Посланы гонцы к делегатам других городов, чтобы узнать об их решении.

Мне всегда казалось, что дело прогорит, но мне хотелось верить и хочется до сих пор. Все, что могу сделать деньгами, средствами или лично, все я охотно отдам для их свободы; это я повторил им полчаса тому назад (у меня было несколько главарей). У меня две тысячи пятьсот скуди, это больше пяти тысяч фунтов, и для начала я предложил их...

Равенна, 1 мая 1821 года.

Среди различных журналов, памяток, дневников и т. д., которые я вел в течение всей своей жизни, я начал дневник приблизительно три месяца тому назад; я вел его до тех пор, пока не заполнил тетрадки (довольно тоненькой) и около двух листов новой. Затем я его бросил: отчасти я полагал, что у нас здесь будет «дело», и я приготовил оружие и сам приготовился, чтобы присоединиться к здешним патриотам. Мои ящики были переполнены их прокламациями, клятвами и резолюциями, а мои подвалы скрывали их разнокалиберное вооружение. Отчасти же я прекратил дневник потому, что тетрадка окончилась. Но неаполитанцы предали себя и весь мир, и те, которые хотели пожертвовать для Италии своей кровью, могут только жертвовать ей свои слезы.

Когда-нибудь, если я не обращусь в прах, я смогу, быть может, пролить некоторый свет на то предатель-

ство, которое снова погрузило Италию в варварство. Для этого я достаточно был посвящен в тайну (по крайней мере — в этой части страны). Сейчас у меня нет ни времени, ни настроения. Однако *настоящие* итальянцы не виноваты; обвинять можно только негодяев, находящихся на «каблуке того сапога», который надел на себя гунн; теперь зато он раздавит их в прах за их раболепство.

Я рискнул быть здесь заодно с другими, насколько я скомпрометирован, это выяснится в ближайшее время; многие из них, как «Крэгенгельдт», скажут «все и даже больше того, что им известно», ради своего собственного спасения; но будь что будет, цель была великая, хотя теперь выглядит так, как если бы греки сбежали от Ксеркса...

...И все же, трудно сказать, что создает худших правителей,—наследственное право или народный выбор. Римские консулы хороши, но зато они правили всего год и как бы чувствовали личное обязательство выделиться. Еще труднее сказать, какое правительство *самое дурное*—все так плохи. Что касается демократии—это худшее из всех; ибо что такое (фактически) демократия? Аристократия головорезов...

...Моя мать, когда мне еще не было двадцати лет, говорила, что я похож на Руссо; мадам де Сталь говорила в 1813 году то же самое; нечто подобное было сказано в критике IV песни «Чайльд Гарольда», помещенной в «Эдинбургском обозрении». Не вижу ни одной сходной черты: он писал прозу, я—стихи; он вышел из народа, я—аристократ; он—философ, а я—нет; он напечатал свое первое произведение в сорок, я—в восемнадцать лет; первая печатная книга его заслужила всеобщее одобрение, моя—наоборот; он женился на своей экономке, а я не мог поладить со своей женой; он считал, что весь мир в заговоре против *него*, мой маленький мирок думает, что я составил заговор против всего мира—по крайней мере, если судить по нападениям на меня в печати и в различных кликах. Он любил ботанику, я люблю цветы, травы и деревья, но ничего не знаю о их родословной; он писал музыкальные произведения, мои знания в этой области ограничиваются слухом; я никогда ничему не мог научиться путем работы, только зубрежкой, ухом и памятью; у него была скверная память, а у меня, по

крайней мере, была хорошая; он писал с сомнениями и заботой, я быстро и без труда; он никогда не умел ездить верхом и плавать, ни ловко фехтоваться — я прекрасный пловец, приличный, хотя и не блестящий наездник (с тех пор как в восемнадцать лет сломал ребро при стремительной езде) и в фехтовании был довольно силен, особенно на шотландских палашах; был я и неплохим боксером, особенно когда умел сдерживать свою горячность, что чрезвычайно трудно; однако я постепенно старался сдерживаться, с тех пор как в 1806 году во время состязания у Анджело и Дженсона сшиб с ног мистера Перлинга, вывихнув ему коленную чашку (несмотря на перчатки); кроме того, я был прекрасным игроком в крикет, одним из одиннадцати от Гарроу против Итона, в 1805 году. Кроме того, образ жизни Руссо, его родина, его манеры, весь его характер настолько различны от моих, что я теряюсь в догадках, как такое сравнение могло быть сделано три раза подряд и... довольно интересным образом. Я забыл сказать, что он был близорук, а мои глаза до сих пор диаметрально противоположны этому, до такой степени, что в самом большом театре в Болонье я рассмотрел и прочел рисунки и надписи около сцены из чрезвычайно отдаленной и плохо освещенной ложи, причем никто из присутствовавших (а общество состояло из молодых людей с прекрасным зрением) не мог разобрать ни единой буквы; все думали, что это фокус, хотя я до этого ни разу не был в этом театре.

Из всего этого я выводжу, что сравнение ни на чем не основано. Я говорю это не из обиды, так как Руссо был великолепным человеком, и сравнение было бы очень лестным, если бы было правильным; но мне не может прийти в голову радоваться химере...

Насколько простирается слава (то есть слава при жизни), я получил свою долю — пожалуй, *навечно* большую, чем *заслужил*. Странные вещи пришлось мне самому испытать по поводу того, в какие неожиданные и дикие места может проникнуть имя человека и где оно может запечатлеться. Года два (почти три) тому назад, в августе или июле 1819 года, я получил в Равенне письмо... из Дронтгейма в Норвегии, переполненное обычными комплиментами... В том же месяце я получил приглашение в Голштинию от какого-то мистера Якобсена (если не ошибаюсь) из Гамбурга. Странно было получить приглаше-

ние провести лето в *Голштинии*, находясь в *Италии*, от людей, которых я никогда не видел. Письмо было адресовано в Венецию. Мистер Дж. говорил мне «о диких розах, растущих летом в Голштинии»: зачем же в таком случае эмигрировали кимвры и тевтоны?

Какая странная вещь жизнь и люди! Если бы я постучался в дверь того дома, в котором живет моя дочь, дверь захлопнулась бы перед моим носом, если бы только я не сбил с ног швейцара (что не лишено возможности); а если бы я в тот год (и даже теперь) отправился в Дронтгейм (самый отдаленный город Норвегии) или в Голштинию, я был бы встречен с распростертыми объятиями в доме чужих мне людей, иностранцев, не связанных со мной никакими узами, кроме духовных, ничем, кроме отдаленных слухов.

Поскольку возможна *слава*, я получил свою долю: конечно, она была уменьшена другими человеческими несчастиями, и это в большей степени, чем у других писателей, принадлежащих к приличному обществу; в целом я думаю, что такое равновесие — необходимое условие человеческой жизни.

Я часто сомневаюсь в том, насколько жизнь спокойная и без волнений оказалась бы по моему вкусу: все же иногда я даже тоскую по ней. Самые ранние мои мечты (как обыкновенно у мальчиков) были воинственными; но немного позже я мечтал о любви и уединении, пока не началась несчастная привязанность к Мэри Чаворт, которая продолжалась довольно долгое время в моем раннем отрочестве (хотя усиленно подавляемая). Это снова выбросило меня «одного в далекое, далекое море».

В общем, я не особенно лажу с литераторами; не потому, что я не люблю их, но я никогда не знаю, о чем говорить с ними после того, как похвалил их последнее произведение. Конечно, есть несколько исключений; но это либо светские люди, как Скотт, Мур и др., или мечтатели, как Шелли и т. д.; с обычными нашими литераторами у меня никогда не было ничего общего, в особенности с иностранцами, которых я не мог выносить...»

Мы видели, что Байрон обладал довольно ясным представлением о силах и способностях той организации, в которую он вступил. Общая политическая ситуация Европы была такова, что организации Священного союза

были встревожены, возникали новые конгрессы европейских монархов, не находивших способа предотвратить вспыхивавшие повсюду восстания. Напряжение было таково, что Байрон при всем скептическом отношении своем к способностям карбонарской верхушки не мог не воскликнуть: «Подумайте только, *Италия будет свободна!*» Для Байрона наступил момент, когда он поверил не только в правоту этого дела (от этого убеждения он никогда не отступал), но и в реальный успех карбонарской политической операции. С 1820 года начались революционные вспышки по всей Европе и докатились до Сенатской площади царского Петербурга в декабре 1825 года. Во Франции, где царствовал Людовик XVIII, готовились мероприятия, возвращавшие Францию в глухое и темное средневековье.

В Испании после перерыва наполеоновских войн снова воцарился Фердинанд VII Бурбонский, который так же, как и будущий Карл X граф д'Артуа, составлял проскрипционные списки молодого офицерства и удалял его из Испании при малейшем намеке на военный заговор или освободительные стремления. Шпионаж в среде военной молодежи обнаружил для Бурбонов наличие военной конспирации на территории Испании и связь этих конспираций с карбонарскими организациями Италии. Фердинанд VII решил сформировать сводный испанский отряд и под предлогом отправки в Америку погрузить его и разоружить на кораблях. 1 января 1820 года испанские офицеры во главе с командиром Риго подняли военное восстание на острове Леоне под лозунгом: «Да здравствует власть народа!» С маленьким отрядом в полторы тысячи человек Риго прошел тысячу километров по Испании из города в город. Население приветствовало его горячо, но отряд его численно не возрастал, оружия не было. Риго, боясь бесплодности своих революционных усилий, хотел распустить свой отряд, когда внезапно три города присоединились к восставшим. Тогда Риго заговорил полным голосом, и перепуганный король под его диктовку согласился на народоправство, издал манифест об уничтожении инквизиционных пыток и запрещении церковных судов, а 9 марта торжественно принес присягу на верность новому строю.

Весть об этом движении с быстротой молнии облетела Европу. Испуганные северные монархи зашевелились, а в

Италию прибыли те представители итальянских военных организаций, которые создали на основе связи с Испанией революционную прослойку в каждой роте, в каждом эскадроне, независимо от подданства и подчинения итальянцев, носивших военную форму. Шелли первый приветствовал пламенными стихами испанскую революцию, беря эпиграфами к этим стихам строчки из Байрона.

Больше всего имел основание опасаться восстания южноитальянский Бурбон, неаполитанский король Фердинанд. Он уже давно сдерживал нараставшее движение отрядами наемных бандитов, охотно продававших свои ножи и петли тем, кто дороже платит. Из этих наемных убийц, непосредственных слуг иезуитского ордена и папы, составлялись и отряды жандармов, и будущие банды *кальдерариев*, как противовес карбонарским организациям. По-итальянски *caldo* значит — тепло, *caldera* — котельщик; *calderari del contrapeso* — организация, столь же мало связанная с профессией котельщика, как и *carbonaio* с профессией угольщика. Зачисление в кальдерарии происходило тайно, кальдерари ни по внешности, ни поведением ничем не отличались от горожан и крестьян, но когда такого человека заставляли с поличным в качестве убийцы, то его безнаказанность бросалась в глаза мирным жителям итальянской деревни или городской окраины и таким образом внезапно узнавали страшную правду об этом человеке. Но эти организации не помогали. Как всякое объединение, возникшее на почве беспринципной ненависти, на почве денежной выгоды и подкупа, организация кальдерариев не могла ни остановить, ни локализовать стихийный рост карбонаризма.

2 июля 1820 года по звону карбонарского колокола в маленьком городе Неаполитанской области Нолла офицер Морели дал сигнал Нолланскому гарнизону к восстанию. Родина Джордано Бруно сделалась родиной карбонарского восстания. Занимая австрийские гелиографы, башни и вышки светового телеграфа, солдаты быстро двинулись в Неаполь, и Неаполитанское королевство с необычайной быстротой пошло по пути испанской революции. Фердинанд Неаполитанский торжественно присягнул народовластию словами: «Да поразит меня всевышний миродержатель, если я своим словом и помыслом нарушу верность власти народа моего».

После этой присяги 8 января 1821 года Фердинанд Неаполитанский сделал вид, что он, получив приглашение на конгресс королей, везет свою преданность конституции на север, и уехал в Лайбах, куда вскоре приехали из Троппау прусский король, императоры австрийский и всероссийский. Монархи Священного союза начали заседать 3 октября 1820 года. Адъютант Александра I привез в Троппау сообщение о бунте Семеновского гвардейского полка, а из Португалии приехал английский уполномоченный с жалобами на то, что столица Португалии Лиссабон занята революционными войсками Сепульведы, который выгнал английского контрреволюционера лорда-маршала Бересфорда. А когда из маленького городка австрийской Силезии монархи переехали в захолустный Лайбах, то прибыли сведения о том, что восстание перекинулось в Турин, где старый король Виктор Эммануил отрекся от престола, а его брат, моденский царек, не мог воспользоваться предоставленной ему королевской короной. Провокационное регентство получил Карл Альберт, принц Кариньяно, и северо-итальянские карбонарии сделали первую ошибку, приняв в карбонарскую конспирацию этого коронованного провокатора. Сатирические стихи итальянского горняка карбонария Берше клеймят и «кариньянскую собаку», как он называл короля Альберта, и тех «*ступидо*» — дураков, которые приняли его в военную конспирацию. Итак, все главные города южной Европы пылали в огне революции. Александр I заявил начальнику, требовавшему кровопусканий: «Вы правы, я вижу проявление страшной болезни, нужны крайние лекарства».

«Соблюдая полное единодушие, в целях силой оружия и добрым посредничеством предупредить новые революционные бедствия, грозящие Европе», императоры, короли и герцоги двинули 27 февраля генерала Фримона во главе пятидесяти двух тысяч австрийских солдат к неаполитанской границе. По твердому настоянию русского царя Италия была отдана в жертву Австрии при тайной поддержке Англии и Франции.

24 марта австрийская интервенция раздавила карбонарское движение на юге Италии. И так же как Фердинанд Испанский приказал убить Риго, так и здесь Фердинанд Неаполитанский, забывая все свои клятвы, вступил во дворец, окруженный сорокатысячным австрийским гарнизоном. Одновременно шестнадцать тысяч

австрийцев с генералом Бубна заняли 9 февраля Турин. Верховный австрийский суд в Милане, в Венеции и в Турине в первые же дни произвел арест нескольких тысяч наиболее влиятельных и наиболее независимых итальянских граждан. В Милане, в Венеции и в Турине начались мучительные допросы, аресты, конфискации, люди исчезали среди бела дня безвозвратно, матери не могли дожидаться взрослых детей, дети не знали, куда исчезли отцы, а тюремные камеры Шпильберга — крепости в Моравии, Пломбы — свинцовые тюрьмы под крышей Дворца дожей в Венеции, Мантуанские колодцы и карцеры замка св. Ангела в Риме, сицилийские рудники и неаполитанские галеры наполнились итальянской интеллигенцией, рабочими, крестьянами, солдатами революционных войск.

В порядке обмена международным революционным опытом, быть может, в порядке сохранения больших революционных традиций Великой французской революции, совершались поездки из одной страны в другую, взаимные обмены представителями больших карбонарских организаций. Так, мы видим испанских карбонариев в Италии, итальянских карбонариев во Франции, и обычная традиция сообщает в качестве подробностей этого мало изученного периода, что разгром карбонарского движения в Италии вызвал усиленный приток карбонарских элементов во Францию.

По делу миланских карбонариев был привлечен в Санта-Маргарита (помещение австрийской полиции в Милане) француз Андриан. После освобождения из Шпильберга он выпустил четырехтомные записки о своем пребывании в тюрьме. Такие же записки выпустил впоследствии Сильвио Пеллико. Эти документы вышли уже после Июльской революции 1830 года в Париже. Они раскрывают перед читателем печальную картину падения революционного духа в авторах. Если Андриан был подлинным другом ученика Бабефа — Буонарроти, то Сильвио Пеллико никогда настоящим революционером не был, и тем не менее оба они являют собой пример полного угасания первоначального морально-политического облика, — быть может, под влиянием тюрьмы, а быть может, и в силу того, что в них обоих не было того подлинного революционного духа, который позволяет людям более высокой настроенности донести свой факел до конца жизненного пути неугасшим.

Но если часть, и значительная часть карбонариев, уцелевших во время движения, отошла от политики, то Байрон как будто именно в силу этих неудач еще более укрепился на своей политической позиции. Строчки о том, что «не все ль равно за чью свободу кровь пролить», чередуются с соображениями:

Что ж, если ты вступить не можешь в бой
За собственный очаг,—борись за дом соседа.

И Байрон боролся за дома всех своих соседей.

Несмотря на все старания правительства навести хотя бы внешнее политическое спокойствие в Англии, английское подпольное движение, чрезвычайно разнообразное, очень неоднородное по составу и по программам, выросло до неожиданных размеров. Формальное наименование принца Уэльского, регента Георга,—королем Англии Георгом IV, которого ненавидел Лондон и ненавидел английский народ, было ознаменовано неожиданным проявлением этого движения. Ожидаемое облегчение не наступило, подбор реакционных министров принца-регента остался тот же. Внешняя политика лорда Кестльри превращала Англию в душительницу всякой свободной мысли. Один из «недовольных», Тистель Вуд, поступил в лондонскую милицию, дослужился до лейтенанта, а затем после тщательной подготовки собрал в доме на Катор-стрит тридцать своих единомышленников, проследив секретный обед, на который должны были собраться крупнейшие сановники Англии. Заговор был раскрыт случайно. Английские карбонарии были арестованы и казнены. Процесс, протекавший негласно, сделался все-таки достоянием публики и сам по себе вызвал волнение.

Чрезвычайно характерной чертой для того круга английского общества, который предпринял гонение на Байрона, было появление слуха о том, что Байрон намеревается примириться с принцем-регентом и собирается приехать на его коронацию. Родные и «друзья» сеяли слух за слухом, совершенно не считаясь с реальным Байроном и рисуя по-своему характеристику поэта. В такой обстановке наступил самый день коронации, 18 июля 1821 года.

К этому времени приехала в Англию невольная путешественница, дама на возраст, Каролина Браун-

швейгская — супруга принца-регента. Ей было уже свыше пятидесяти лет. Выгнанная из Англии, она совершала малопристойные поездки по Европе со своим любовником, камердинером Бергами, которого она ежедневно награждала всевозможными фантастическими и ничего не стоящими чинами и званиями, изобретая для него орден, не скупясь на золото, эмаль и ленты. 18 июля, после полудня, карета королевы Каролины, запряженная шестеркой, подкатила к великолепным воротам Вестминстерского аббатства. Из кареты вышла нарумяненная обрюзгшая дама, намереваясь без всякого приглашения войти и стать рядом с супругом, чтобы на старости лет заработать долгожданную корону Англии. Настойчивость этой дамы была настолько велика, что она успела вбежать на ступеньки, но, вовремя схваченная под руки дюжими полицейскими, была по знаку церемониймейстера снова втиснута в карету, несмотря на то что отчаянно защищалась руками и ногами, затрудняя впихивание ее грузного тела в узкие дверки кареты. Полицейский вскочил на место фореитора, выхватил у него бич и быстро погнал взбесившихся лошадей подальше от Вестминстера, где нетрезвый король с багровым лицом надевал на себя корону Англии. На следующий день по жалобе его величества короля Георга IV парламент слушал дело об отдании под суд королевы за проституцию.

Как по сигналу, как раз в часы разбора в палате лордов дела королевы, с палубы английских и иностранных кораблей на Темзе началась высадка целого батальона свидетелей супружеской неверности ее величества. Это были кельнеры иностранных ресторанов, портье из богатейших казино и игорных домов Европы, горничные домов свиданий и служанки ночных военно-увеселительных заведений Италии. Созванные со всех концов Европы, эти люди совершили бесплатное путешествие в Лондон. Хорошо оплаченные, содержавшиеся всю дорогу на средства первого английского лорда Георга IV, отпускаемые из гражданского листа, эти люди открыли своими свидетельскими показаниями первые страницы многотомного, самого скандального судебного процесса его величества первого джентльмена Англии, именуемого королем Георгом IV. Весь этот материал печатался на страницах большой лондонской прессы в течение трех недель. Наконец суд палаты лордов, донявши Георга IV

«недостаточностью улик», порекомендовал ему взять дело назад.

Через несколько часов после сообщения об этом Каролина умерла, и лондонские обыватели превратили день ее похорон в демонстрацию против короля-отравителя. Закрывались магазины, срывали траурные плакаты, полиция стреляла и убивала людей, ибо при проезде Георга раздавались крики: «Долой короля-ядомешателя, долой отравителя!» Для Каролины было вполне достаточной отравой «трехнедельное пребывание под градом газетных обвинений на территории Англии», ибо в этой стране умение травить людей при посредстве печати достигло редкого мастерства, и нужно было иметь немалое мужество, чтобы выдерживать нападки английской печати, в особенности нападки систематические и планомерно проводимые.

Иммунитет, выработанный в этом отношении Байроном, осуществлялся им как глубоко осознанный технический прием самозащиты. Все разговоры историков литературы относительно «необузданности байроновского нрава, безмерности его самомнения», опровергаются письмом Байрона к Шелли по поводу смерти поэта Китса, затравленного критикой: «Мне очень прискорбно было услышать, что вы сообщаете о Китсе. Да правда ли это? Я не думал, чтобы критика была так убийственна». И далее: «Я припоминаю впечатление, произведенное на меня критической статьей «Эдинбургского обозрения» о моем первом произведении:¹ это была ярость, желание отомстить, получить удовлетворение, но не отчаяние и не упадок духа. В этом суетном и мятежном мире, а в особенности на поприще писателя, человек обязан взвесить и точно знать свои силы, главным образом силу сопротивления, прежде чем выйти на арену».

И как бы в подтверждение правильности своего взгляда Байрон на весь мир разразился таким громким, веселым и неудержимым смехом, что все его литературные враги и политические тайные недруги надолго замолчали, изыскивая новые тактические приемы. В Италии была напечатана поэма Байрона «Видение Суда». Поэма была напечатана в журнале «Освободитель». Этот журнал был основан в Италии Байроном, который специально для руководства этим журналом вызвал из

¹ «Часы досуга». (Примеч. автора.)

Англии Ли Гента, брата публициста. При чтении этой поэмы старый Гете не мог справиться с собой и, нарушив олимпийское спокойствие, забыв титул тайного советника, схватив платок, несколько часов смеялся до слез, читая и перечитывая этот совершенно изумительный образец веселой и беспощадной сатиры, где каждая строчка ослепляюще меткой насмешки представляет собой образец исключительно блестящей, легкой и певучей поэзии.

В этом произведении Байрон ответил Роберту Соути, писавшему о том, что «Байрон — глава сатанинской школы, враг религии и нравственности», ответил он и тем, кто рисовал его как человека, ищущего примирения с принцем-регентом, и дал яркую сатиру на третьего представителя Ганноверского дома, Георга III, олицетворявшего собой режим, перешедший из консервативного в чисто реакционный.

Соути, не довольствуясь королевской пенсией и житейскими благами, которые сыпались на него как на автора казенной рекламы, написал посвященную покойному королю поэму-оду под названием «Видение Суда». Вопреки мнению историков литературы, считавших Соути «крупным поэтом и джентльменом», критика даже самых пристрастных английских историков и та считает эту поэму Соути жалким и бездарным подхалимством, в котором глупые похвалы Георгу III сочетаются с руганью по адресу живых и мертвых защитников свободы. Среди затронутых людей Соути не побоялся привести Байрона, выставив его как образчик наглого нечестия, как призыв к мятежам, как носителя сатанизма. Отвечая на все это, Байрон дал свою поэму за подписью «Quevedo Redivivus», имея в виду как бы заново воскресшего испанца XVII века, Кеведо Виллегаса, автора книжки «Призраки и видения», где политическая сатира облечена в форму фантастических видений. И предисловие и текст написаны тоном чрезвычайной веселости, а легкость стиха, казавшаяся небывалой, сама по себе была оружием, против которого не мог устоять никакой соперник Байрона.

Не менее убийственным было и содержание поэмы, где в шутливой форме изображалось царство небесное, куда при содействии Соути пытается проникнуть недавно умерший король Георг III, выдавая себя за благочестивого христианина. Дело кончается тем, что апостол Петр,

которому надоело слушать поэму Соути, восхваляющую короля Георга III, со всего размаха ударил назойливого поэта ключом от огромных райских дверей. Соути валится с небес, ибо таков закон, что гнилое

Стремится вверх, равно как вещество
С ничтожным весом: пробка иль иное...

А тем временем, воспользовавшись небесной суматохой, подсудимый Георг III тихонько прошмыгнул в небо, занял в раю скромненькое место и для того, чтобы все о нем позабыли, во всю глотку вместе с другими затянул сотый псалом.

Ясно, что такая поэма меньше всего могла примирить Байрона с Георгом IV и лондонскими ханжами.

ВОЗВЫШЕННАЯ НЕНАВИСТЬ

Насколько тесно Байрон был связан с действительностью, насколько сильно он реагировал на общественное движение того времени, мы видим из его переписки и из того резкого изменения направления поэтического творчества в сторону сатиры и той *возвышенной ненависти*, которую Гете считал прекрасной и благородной чертой байроновского творчества.

Этой возвышенной ненавистью проникнуты и строки «Дон Жуана», и «Бронзовый век», и «Ирландская аватара», и политические эпиграммы. Произведения итальянского периода этого поэта-романтика так насыщены политикой, как ни у одного из публицистов — его современников. Эту сторону байроновского творчества мы особенно подчеркиваем в противовес продолжающему еще господствовать вульгарному мнению, что Байрон только лирический поэт, певец мировой скорби и отвлеченных субъективных переживаний, прожигатель жизни, растратчик большого наследства и т. д.

«Ирландская аватара» была напечатана в двадцати экземплярах и во всех отношениях была нелегальным изданием. Эта сатира была написана 16 сентября 1821 года. Она выражает собой негодование Байрона по поводу тех встреч, какие в Ирландии оказывались путешествующему Георгу IV. Строчки большого гневного чувства по адресу тех ирландцев, которые своим раболепством пре-

дают страну, чередуются с выражением глубокого презрения к самому Георгу IV.

Вот несколько строф:

XV

Если ж мните свободу себе возвратить,
То низвергните идола с глиняных ног!
Неужели возможно хоть миг допустить,
Чтобы волк сам добычу отдать свою мог?

XX

Так готовьте к Вителию царственный пир,
Чтоб прожорливый деспот по горло был сыт,
Чтобы хор его пьяниц вопил на весь мир,
Что Четвертый дурак из Георгов царит!

XXI

Пусть же гнутся со стоном столы под ярмом
Разных яств, как под игом печали народ!
Пусть трон старого пьяницы залит вином,
Пусть вино, как Ирландии кровь, потечет!

Первого апреля 1823 года без имени автора появилась поэма «Бронзовый век». Байрон писал Ли Генту: «Я послал госпоже Шелли для переписки стихотворение — строк семьсот пятьдесят. Оно предназначено для той части многомиллионного населения земли, которая умеет читать. Оно все состоит из политики и обзора наших дней».

Редко политическая сатира достигала такой необычайной поэтической силы, еще реже характеристика эпохи выражалась в столь блестящих, отточенных и страстных формулировках, образная сила которых свидетельствует о том, что Байрон глубоко сознательно относился к действительности и умел дать гармоническое сочетание «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Если итальянское движение было сравнительно легко ликвидировано австрийскими войсками, то испанская революция продолжалась и превратилась в настоящую гражданскую войну. Мало того, это движение носило такой характер, что самое его наличие беспокоило европейских монархов, как очаг, далеко разбрасывающий искры. После конгресса в Вене, после конгрессов в Троппау и в Лайбахе монархи собрались 22 октября

1822 года на территории Италии в городе Вероне. Основной темой третьего конгресса был вопрос о ликвидации революционного движения в Испании.

Еще задолго до съезда в Вероне секретная дипломатия трех стран (России, Австрии и Пруссии) решила оказать давление на Францию и принудить ее послать свои войска для подавления испанской революции. Шатобриан страстно желал французского вторжения в испанские дела. Министр Людовика XVIII Виллей предписал французским уполномоченным на конгрессе держаться выжидательной тактики и, во всяком случае, не ввязываться в дорого стоящее военное предприятие. Несмотря на это, представитель Франции, известный писатель реакционного лагеря Шатобриан ловко разыграл из себя человека, вынужденного обстоятельствами идти навстречу русскому царю и австрийскому канцлеру. Позиция Англии была чрезвычайно красноречива: Веллингтон умыл руки и не сказал ни да, ни нет, но дальнейшее поведение Англии обнаружило полное ее сочувствие планам интервентов, когда в марте 1823 года после ультимативных требований о восстановлении монархии в Испании за Пиренеи двинулись французские войска.

Вот этому-то периоду европейской истории и посвящена поэма Байрона «Бронзовый век, или Юбилейная песнь».

Самое понятие века берется Байроном условно. Когда-то беотийский крестьянин Гесиод в полулегендарные времена Древней Греции создал поэму «Труды и дни». В этой поэме он впервые дал литературное отражение старинного представления о возрастах мира. Для Гесиода, измученного непосильными трудами на скудной и каменистой почве Беотии, как и для всей массы греческого населения, золотой век был в далеком прошлом; в будущем, по его мнению, человека ожидают все худшие и худшие времена. Был век золотой, его сменил серебряный век, за веком серебряным пришел бронзовый и наконец настанет век железный. Эта своеобразная пессимистическая философия истории говорила о том, что эпоха счастья земли — «золотой век» — миновала, и чем дальше, тем сильнее будут сгущаться сумерки мира, пока не наступит, наконец, ночь для умирающей вселенной. Вот откуда название «Бронзовый век».

Но Байрон *не был пессимистом*. Констатируя в своей поэме падение революционной волны, он всем существом

отстаивает прочность революционных идеалов. Именно эта уверенность и позволяет ему произнести суровый приговор тому периоду европейской истории, который «бронзировал» золотые надежды революции. В мае 1821 года в глубокой лощине острова Св. Елены был похоронен Наполеон. Отсюда эпитафия к «Бронзовому веку» — «Umpar congressus Achilli». Эта латинская фраза означает: «Стадное сборище все-таки не равняется даже одному Ахиллу». Байрон спрашивает:

Кто ныне призван в судьи дел чужих?
Святой союз, замкнувший все — в троих!
Но этой троице чужд небесный лик,
Так гений с обезьяной не двойник!
Святой союз, в котором здесь сложен
Из трех ослов — один Наполеон!
В Египте боги лучше: там быки,
Там псы и смиренны и кротки,
На псарнях, в стойлах знают угол свой,
Там ждет их пойло или корм дневной.
Скотам в коронах мало корм жевать,
Они хотят кусаться и бодать.

Политическая сатира Байрона бьет по всем главным участникам веронской дипломатической буффонады. Надо обладать высшей степенью интеллектуального развития, чтобы так тонко и умно понимать смысл каждого мелкого явления и превратить публицистическое содержание памфлета в гениальное поэтическое произведение. Но дело здесь, конечно, не только в силе байроновского интеллекта, а в горячей страстности его темперамента, в эмоциональном могуществе борца, умеющего до конца любить и ненавидеть.

Английский парламент 1823 года состоял главным образом из аграриев. Крупнейшие земельные собственники Англии считали себя опорой государства, а хлебные пошлины — единственным средством поддержать эту опору. Строки, посвященные в «Бронзовом веке» Англии, распевались на тысячу ладов на родине Байрона.

Родимый край! Оплачет ли мой стих
Твоих лендлордов, пасынков твоих,
Благословлявших грозный гул войны,
Клянущих бремя мирной тишины?
Зачем они рождаются на свет?
Чтоб выбирать в палату иль совет?
Охотиться? Иль ждать подъема цен
На хлеб?.. Но хлеб, как все, что — прах и тлен,

Цари, вожди, иная ль мощь и власть
В своей цене не может не упасть.
Где прежний труд, посев из года в год?
Десятки миль возделанных болот?
Где спрос на землю? Прежний дружный пир?
Доход сугубый? Что за чертов мир!
Теперь бесцельно премии сулить;
Бесцельно билль в палате проводить
К *народной пользе* (лучше, мнится мне,
Народ совсем оставить в стороне)—
Она не там, где слышен скорбный крик,
Как бы достаток к бедным не проник,
Повысьте курс! Утройте же доход!
Иль министерство тотчас же падет,—
Патриотизм, столь чутко-подвижной,
Сейчас убавит в весе хлебец свой!..

Заканчивая свое обращение к лордам, Байрон пишет:

Их счастье, свет, их вера, цель забот,
Их жизнь и смерть— *доход, доход, доход!*

Понимание отрицательных сторон политической действительности не делало, однако, Байрона определенным сторонником какой-либо политической программы. Скорее мы можем наблюдать на общем скептическом фоне его отношения к политике первой четверти XIX века смешанные стремления протеста, причем его протест против жестокого поступательного движения капиталистического века зачастую принимает у Байрона бессознательную реакционную форму, когда он выражает сожаление о ликвидации прежних мнимо благополучных общественных форм. Байрона интересовало проявление крупного характера в человеке в процессе борьбы больше, чем конечная цель революционно-политического движения. Но эти недочеты нисколько не умаляют степени политического развития Байрона. В иные моменты он прекрасно разбирался в явлениях общественной жизни, и если он не мог предугадать огромного значения машины, раскрепощающей человеческий труд в бесклассовом коммунистическом обществе, то зато он один из первых сурово осудил карбонарское движение за отсутствие живой и органической связи с интересами всей трудящейся Италии. 24 января 1821 года Байрон пишет в своем дневнике: «Недостаточно заинтересована народная масса, а только высший и средний класс. А я хотел бы вовлечь в движение *крестьянство*— эту чудесную перво-

бытную силу двуногих леопардов. Но велики противоречия. В то время как жители Романьи не мыслят восстания без крестьян, болонцы не хотят иметь с ними дела».

Образцом политической чуткости кажутся нам те строфы Байрона, которые касаются положения дел в Греции. Постепенное падение политического значения Оттоманской империи (Турции) поставило непосредственно после Венского конгресса перед глазами европейских монархов заманчивую перспективу добить Турцию и переделить Балканы. Эта хищническая дипломатия главным образом была дипломатией царизма. Александр I изыскивал способ, каким можно было бы добыть новые барыши для дворянской и купеческой торговли хлебом. Пожива на берегах Черного моря, свободное пользование проливами для русских судов без конкуренции европейских предпринимателей—все это было настолько заманчиво для Александра I, что он не боялся циничного противоречия своей политики, когда, с одной стороны, высказывался за подавление национального движения итальянцев против Австрии, с другой—склонен был использовать и провокационно подогреть слабое греческое национальное движение против турецкого владычества. Французское правительство рассматривало греческое движение как бунт против законного государя. Но как бы то ни было, в тот момент, когда европейским правительствам почудился запах мертвечины на Балканах, они облекли дипломатическую конъюнктуру своих кабинетов наименованием «восточный вопрос».

И вот Байрон посвящает Александру I замечательные строки:

Царь Александр! вот щеголь, властелин,
Войны и вальсов верный паладин.
Его влекут толпы подкупной крик,
Военный кивер и любовниц лик.
Умом—казак, с калмыцкой красотой,
Великодушный,—только не зимой,—
В тепле он мягок, полулиберал,—
Он жесток, если в зимний вихрь попал!
Да, он не прочь «свободу уважать!»
Там, где не нужно мир освобождать.
Как он красно о мире говорит!
Как он «по-царски» Греции сулит
Свободу, если греческий народ
Готов принять его державный гнет!..

И Греция в свой трудный час поймет,
Что лучше враг, чем друг, который лжет.
Пусть так: лишь греки—Греции своей
Должны вернуть свободу прежних дней,
Не варвар в маске мира—царь рабов—
Не может снять с народов гнет оков!

ДОН ЖУАН

Сам Байрон не знал, во что может вылиться поэма, начатая им в Венеции в 1818 году. Он то называет свое произведение «бессвязными стихами импровизатора», то «эпической сатирой». Гете считал «Дон Жуана» Байрона величайшим произведением века. Прерываемая другими темами, останавливаемая зачастую житейскими вторжениями, недописанная поэма имеет по существу все признаки внутренне законченного произведения. Октавы семнадцатой песни не входили в первоначальные издания и впервые стали известны только в 1903 году, равно как и посвящение Бобу Соути в виде начальной строфы стало известно только с 1833 года. Байрон решил пожертвовать им вовсе не по мотивам политической боязни, а потому, что требовал анонимного печатания поэмы и потому не желал, как он выразился, «нападать на эту собаку в темноте». «Так как поэма выходит без моего имени,— пишет он Меррею,—то посвящение надо выбросить, анонимно нападать могут только негодяи и ренегаты вроде Соути».

Сюжетную канву «Дон Жуана» Байрон намеренно не выдумывал. Он просто решил втиснуть в пределы старинных повестей об испанском обольстителе Дон Жуане все черты своего века. Имеются сведения, что Байрон до конца хотел быть последовательным в соблюдении старинной фабулы. По-видимому, Дон Жуан после всех своих скитаний должен был попасть в Англию, а затем закончить дни свои на родине, в Испании. Байрон успел лишь привести своего героя на берега Соединенного королевства, и здесь закончился его путь, ибо закончился жизненный путь и самого Байрона.

Расцвет легенд и повестей о Дон Жуане относится к XVII веку в Испании. В это же время и в других странах появляются повести и пьесы о легкомысленном, ненасытном, но пленительном кавалере, который проводит жизнь в скитаниях по свету, ища всюду наслаждений, попирая

законы божеские и человеческие. Старинная испанская литература заканчивала эти повести о «севильском обольстителе» отправкой Дон Жуана в католический ад, а уже в середине XIX века мы видим, что этот ад превращается в страшную внутреннюю опустошенность человека новой Европы, иссушившего все живые и творческие истоки жизни на огне себялюбивых страстей: так заканчивается история испанского дворянина Дон Жуана в повести Проспера Мериме «Души чистилища», вышедшей в 1834 году.

Было бы совершенно напрасной задачей искать литературные заимствования Байрона, ибо «Дон Жуан» совершенно не является ни подражанием, ни историко-литературной сводкой популярного материала, касающегося приключений пленительного испанца. Сбрасывая покров ложной скромности, Байрон писал своему издателю: «О проклятых цензурных урезках и сокращениях я не хочу и слышать. Единственную «урезку» я допускаю — это урезку имени автора. Издавайте поэму анонимно: это для вас будет лучшим исходом. Вы требуете современной эпопеи, — так вот вам «Дон Жуан». Это такая же дивная эпопея для нашего времени, как «Илиада» для времени Гомера».

Байрон, по-видимому, во всей полноте сознавал свою политическую и общественную задачу, когда начал «Дон Жуана», потому что продолжать поэму при той силе сопротивления, какая была ей оказана, можно было только при исключительной приверженности к своему замыслу. Первые две песни вызвали ожесточенные нападки на Байрона, а последующая работа чрезвычайно осложнялась вмешательством молодой женщины, слишком молодой и возрастом, и умом, и сердцем, чтобы понять значение этой поэмы. Терезу Гвиччиоли работа над «Дон Жуаном» пугала, как нечто такое, что может повредить любимому человеку. Вполне понятно, что горячие и сухие искры байроновской сатиры не только зажигали человеческую мысль, но и пугали ее. И если, несмотря на это очень сильное сопротивление, Байрон неустанно работал над поэмой, то, очевидно, он считал это произведение основным делом своей жизни. Недаром вокруг этого произведения возникло сразу столько волнений.

Именно «Дон Жуан» показал Байрона во весь рост и друзьям и врагам поэта, именно эта вещь была вменена

ему как преступление всей реакционной Европой. Там, где австрийский шпион и плохой историк литературы видели «сумасшедшие чудачества распущенного лорда», там, где набожные содержательницы европейских салонов, старые пиетистки и охранители буржуазной морали искали признаков сатанизма, вдруг во весь рост встал человек, вооруженный оружием сатирического смеха. Вполне понятно, что враги шарахнулись в сторону, когда под плащом романтика они увидели реалистического писателя, который на все их сентиментальные и клеветнические выкрики ответил улыбкой сардонического гения. Сам Дон Жуан, условный герой, в котором пытались найти черты Байрона, оказался не только не похожим на Байрона, но даже вообще не похожим на романтического героя, лирическая фигура которого вызывает к себе симпатии и заинтересовывает своей личной судьбой. Дон Жуан — это в высшей степени обыкновенный человек. Автор проводит его через жизнь, нагружая встречами, приключениями, успехами только для того, чтобы показать жизнь, как она есть, чтобы дать оценку стремлениям и достижениям заурядного удачливого человека XIX столетия.

Анализировать характер самого Дон Жуана в условиях байроновской поэмы невозможно, так как это лишь условная формула, масштаб для измерения сложнейших отношений действительности.

Пылкая любовная связь с Юлией, кораблекрушение, блестящие строфы, посвященные острову, где происходит встреча с дочерью пирата Гаиде. Возвращение к любимому колориту Востока, совершенно по-новому звучащие перепевы из «Путешествия Чайльд Гарольда», рабство Дон Жуана, проданного в султанский гарем, наконец миролюбивое и проникнутое симпатией описание Турции, совсем не предвещающее необходимости для автора «Дон Жуана» выступить во главе полка сулиотов против турок. Седая комическая фигура Суворова, по приказанию которого Дон Жуан мчится в Петербург, блестящие строчки, посвященные варварской деспотии Восточной Европы, и, наконец, пребывание Дон Жуана в Англии, в обетованной стране колониального грабежа, узаконенного пиратства, в стране богатых олигархов, фальшивых браков, лицемерной добродетели, бесконечного ханжества, в стране, где одновременно существуют и богатейшие дворцы, и разваленные хижины рабочих, — вот главные этапы Дон Жуана.

То обстоятельство, что Байрон без всякой пощады снимал покровы с настоящих побуждений европейского реакционного «человечества», было главным поводом для обвинения Байрона в безнравственности, а собственная большая и выстраданная мораль Байрона, столь непохожая на мораль христианской награды за хорошее поведение и столь напоминающая гимны Руссо естественному человеческому характеру, была просто игнорирована современной Байрону европейской критикой.

Все дело в том, что Байрон нисколько не морализирует, он не обличает. Ему были отвратительны нудные и скучные литературные формы каких бы то ни было современных «гениев», случайно попавших в роль учителей человечества. Виктор Кузен во Франции и школа «назидательных романистов» с Шатобрианом во главе, литература панегирика и сервилизма в Англии с коронным поэтом Соути во главе и наш российский «Соути» — Василий Андреевич Жуковский — все они, не зная друг друга, соединились в едином чувстве ужаса перед Байроном. Царский цензор указывал на вредное влияние произведений Байрона, проникающих в Россию. Он писал: «Безбожное влияние байроновского разума, изуродованного свободомыслием, оставляющее неизгладимый след в умах молодежи, не может быть терпимо правительством». Это было написано при появлении первых сведений о «Дон Жуане» в благонамеренных российских журналах. Тот же цензор писал о Байроне, вычеркивая эти информации: «Никакой нет пользы от того сообщения, что в Англии либо в Австралии появился писатель, поощряющий революционные выступления Зандов и Лувелей»¹. И в тон этому цензору Жуковский пишет Пушкину по поводу его увлечения Байроном:

«Наши отроки... познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии, мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто. Главное величие *нравственное*».

Вот на это величие «нравственное» обрушился Байрон как на маскировку лжи и насилия человека над человеком. Впервые в поэтической форме в лице автора «Дон Жуана» высказался человек против сентиментального идеализма в защиту естественных, простых и сильных

¹ Занд убил русского Коцебу. Лувель убил наследного принца французского короля, герцога Беррийского. (Примеч. автора.)

чувств, не впадая при этом в меланхолическую чувствительность Руссо и ядовито осмеивая тех, кто фальшивой расстановкой слов и понятий заслоняет реальные мотивы человеческих действий.

Искренние и неискренние побуждения, сознательная ложь и самообман, вся относительность качественной оценки внутренней жизни человека проходят перед нами с первых до последних страниц «Дон Жуана». Одной из героинь двадцать три года, она почти бессознательно влюбляется в Дон Жуана, будучи в то же время довольной своим пятидесятилетним супругом. Ей гораздо больше удовольствия доставило бы разделение одного пятидесятилетнего на двух двадцатипятилетних с правом держать обоих при себе. Но ей чуждо лицемерие, она начинает серьезно увлекаться Жуаном. Внезапно влюбленных застает супруг. Возникают новые свойства молодой Юлии: она так умело лжет, она обманывает старого мужа с ловкостью, которая буквально оскорбляет Дон Жуана, он подозревает прирожденную лживость своей любовницы. Но не судите ее преждевременно. Она пишет прощальное письмо Дон Жуану, после прочтения которого читатель стыдится своего поспешного заключения об этой женщине. Ее письмо доказывает всю возвышенность ее сожаления о том, что пришлось прибегнуть к столь низкому средству. Слезы на глазах Дон Жуана могут вызвать слезы на глазах читателя, но когда Дон Жуан читает это письмо, стоя на борту корабля, подкрадывается морская болезнь, герой испытывает тошноту. Письмо улетает в море, выпав из рук Дон Жуана, наклонившегося через борт. Усиливается буря. Кораблекрушение. На обломках корабля, на лодке истощенные матросы съедают последние остатки пищи и голодными глазами смотрят на уцелевших пассажиров. Решают кинуть жребий — кого первого надо убить и съесть. Для жеребьевки рвут на куски и нумеруют оставшиеся странички письма Юлии. Представители «нравственного» человечества на строчках любви ставят номер будущего смертника. Матрос Педрилло вынимает этот номер, цифра смерти поставлена на самой нежной строчке письма. Есть еще место под небом, где рядом с тихой мечтой любви можно встретить выражение ужаса в остекленевших глазах человека, превращаемого в пищу своих товарищей? Есть ли такое место во вселенной? Байрон отвечает за своего героя: «Да, есть такое место. Это наша старая знакомая земля».

Вторая героиня Байрона — это Гаиде. На этот раз это женщина положительного типа. Тем-то и замечательно это произведение, что в нем наряду с едким и желчным смехом мы видим спокойную внимательность взгляда Байрона при встрече с полноценными явлениями жизни. Байрон не отрицает их существования и деятельно их разыскивает.

Но разве существует мир правильно устроенный, в котором дважды два равняется четырем, живой мир, в котором самые низменные и наиболее возмутительные страсти могут каждую минуту дать знать о себе? Мир, в котором проявление красоты и человечности жизни встречается то в виде минутного проблеска, то волной света, то многодневного сияния, то солнца многих лет? «Да, — отвечает Байрон, — такой мир существует».

И вновь ведет читателя с невольнического рынка на поле сражения, где солдаты поднимают детей на штыки. Описывает рабство и барабанный бой, войну и альковные дела, и лицемерные покровы этих дел, для того чтобы внезапно прорезать воздух звуками революционной боевой трубы. Снова строчки о великой революции. Вот описание Англии, сделанное пером материалиста. Байрон пишет: «Одни толкуют о возвышенных страстях, другие о призыве чувств, третьи обращаются к лозунгам рассудка, но ни одна жалоба не действует так сильно, ни одна военная труба не вызывала такого поспешного ответа, ничто не пробуждает такие благородные чувства в Англии, ничто не действует так умиротворяюще — как укрощающий страсти и прекращающий ссоры могучий звук обеденного колокола».

Байрон говорит о себе: «Чем больше я страдаю от болезней, тем более я становлюсь ортодоксальным. *Первый* удар заставил меня поверить в господа бога. Я, впрочем, всегда в него верил, равно как и в черта. *Второй* — в непорочное зачатие святой девы. *Третий* — в происхождение зла. А *четвертый* удар неопровержимо убедил меня в существовании святой троицы. Одного мне только недостает, чтобы я уверовал окончательно, одного я пламенно желаю, чтобы троица состояла из четырех лиц».

Происхождение зла и добра и социальная значимость этих понятий в разные эпохи берется под обстрел байроновской сатиры, главным образом путем приведения к нелепости основных истин религии и социальной

морали XIX столетия. Байрон пишет: «Нравственное падение райского воробья, который тоже обречен на земные страдания, это, конечно, дело рук господ бога. Что касается преступления этого воробья, то Библия ничего не сообщает на этот счет. Но я-то имею основание предполагать, что и воробей был с позором выгнан из рая за то, что осмелился посидеть на том дереве, которое столь любовно обшаривала госпожа Ева».

Меррей перепугался насмерть, прочтя это, и отказался издавать «Дон Жуана». Байрон обратился к комиссионеру, который был поставлен в такое положение, что издание принесло ему убыток. Байрону предложили еще до выпуска «Дон Жуана» смягчить такие места, как суждение автора: «Гораздо почетнее осушить одну-единственную слезу, чем пролить море крови». И далее то место, где английская королева Елизавета именуется полуцеломудренной королевой. Вычеркивали также и противопоставления: «Дети Ирландии тают от голода, а Георг Английский весит уже четырнадцать пудов».

«О Ульберфорс! — восклицает Байрон, — ты благороднейший человек, стремящийся освободить негров от рабства! Тебе остается маленькое дело — в один прекрасный день привести в порядок и другую половину человечества. Ты освободил негров, а теперь с помощью Англии *обрати в негров все белое население Европы*. Обрати всех нас в рабов российского хвастуна Александра I и отправь всех трех коронованных людей Священного союза в Сенегал с поучением, что соус, пригодный для одного гуся, годится и для многих гусей, и пусть бич плантатора щелкает по спинам королей, ибо самая загнанная лошадь бьет задом, когда упряжь въедается в тело, а трудящемуся человечеству надоест в конце концов играть в терпение библейского Иова. *Одна революция способна очистить землю от ада*. Не знаю, кто в ней победит, но даже без этого знания я бегу в первые ряды. Грядущие поколения с трудом будут верить историкам, повествующим о королях нашего времени. Они удивятся так же, как удивляемся мы, видя остатки мамонта. Подумайте, что станет с людьми, если им показать вырытого из земли нашего Георга IV. Потомки с трудом поверят, что такое чудовище могло существовать. Но мне-то это все равно, я пою — боже, храни короля и королеву, ибо уж если ты, господи, перестанешь их охранять, то кто же это сделает, — сомневаюсь, чтобы люди! Чудится мне, слышится мне,

чирикает маленькая птичка и поет о том, что простой народ становится все сильнее и сильнее!»

Эти революционные строки принадлежат человеку, вышедшему из среды самой старинной, самой надменной и жестокой аристократии в мире.

Черты законченного аристократизма в манерах и в самой форме протеста остались в Байроне навсегда, и если в порыве гнева он громил репутацию европейских королей и принцип деспотии в Европе, то наряду с этим лорд-карбонарий часто переживал душевное состояние, роднившее его протест с независимостью своенравного феодала. Байрон страдал этой раздвоенностью чувств, неизбежной для людей его круга, входивших под тяжелые своды капиталистического века, после того как своды их собственных замков стали пропускать дожди и ветер европейской реакционной погоды.

ГИБЕЛЬ БУНТУЮЩЕГО ИДЕАЛИЗМА

Жизнь Байрона в Равенне неожиданно омрачилась странным событием. Дом Байрона, превращенный в арсенал восстания, был расположен в узкой улице, замыкавшейся поворотом и часовней св. Виталия, и не привлекал ничьего особого внимания. Узкие и тесные улицы в глухой и пустынной части спокойного города не требовали никакой специальной охраны, но именно здесь неожиданно по ночам стали появляться пикеты карабинеров и жандармов. Однажды ночью на выстрелы не только никто не пришел, но вся улица казалась вымершей. Байрон еще не спал. Он вместе с венецианским гондольером Тита вышел, зажегши факел, и едва не упал, так как порог был загорожен телом окровавленного человека. Байрон и венецианец перенесли раненого в верхний этаж дома, где ему была оказана первая помощь. Помощь бесполезная, а быть может, даже опасная, так как карабинеры и австрийские жандармы, убиваемые по ночам, никогда не пользовались помощью населения: их убивали обычно свои же люди. Несмотря на то что Байрон принял все меры к немедленному оповещению властей, ему не удалось спастись от подозрений, и, не обвиняя Байрона открыто, равеннские церковные власти и жандармерия шептались при всяком удобном случае, что комендант погиб от руки безбожного лорда.

В письме из Равенны от 1 июля 1820 года к Томасу Муру Байрон писал по поводу старика Гвиччиоли: «Все родные Терезы в бешенстве от его поведения. Отец Терезы вызвал его на дуэль — напрасная храбрость, старый Гвиччиоли не дерется в честном бою, хотя его подозревают в двух убийствах; одно из них — это убийство знаменитого Манцона да Форли. Я получил предостережение, мне советуют быть осторожным, особенно в моих поездках в Равеннскую Пинету, поэтому я всегда беру с собой стилет и пару пистолетов, отправляясь туда».

Таким образом, Равенна становилась явно негостеприимной. Развод состоялся только осенью 1821 года. Консistorское уведомление Терезе Гамба о том, что ее брак с графом Гвиччиоли расторгнут, сопровождалось прежде всего приказанием жить под одним кровом с отцом; во-вторых, отцу Гамба было велено выехать из города Равенны вместе со всей семьей, так как местный кардинал-легат не находит возможным разрешить пребывание семьи Гамба в местности, неблагополучной по карбонаризму; в-третьих, Байрон получил предложение покинуть Равенну в такой форме, которая не позволяла ему ни жаловаться, ни сопротивляться. Всякая попытка остаться в Равенне вместе с Терезой Гамба была заранее обречена на неуспех, так как в случае, если бы Тереза не поехала с отцом и братом, она подлежала бы немедленному принудительному заточению в монастырь. Ловкий ход церковных властей одним ударом достигал всех целей. В сентябре 1821 года Байрон писал Томасу Муру: «Я укладываю вещи по случаю отъезда в Пизу. Причина этого — высылка всех моих друзей-карбонариев, и в том числе семьи госпожи Гамба. Она, как вы знаете, развелась с мужем всего лишь на прошлой неделе и по закону должна следовать за высылаемым отцом, иначе ее заточат в монастырь. Я не расположен сказать словами Гамлета к Офелии — «иди в монастырь»; — я еду за ними».

Однако выезд Байрона едва ли не был отсрочен из-за неожиданного вмешательства рыбаков, окрестных крестьян, ремесленников и горожан Равенны. Они вереницей потянулись к кардиналу-легату с просьбой оставить Байрона в Равенне. Кардинал оказался неумолимым и вместо того, чтобы оставить Байрона в городе, сделал запрос о возможности отправить его в тюрьму. Этот план оказался неосуществимым, пришлось удовлетвориться отъездом

члена английской законодательной палаты, формально неприкосновенного пэра Англии, в другой город.

Неудача неаполитанского восстания произвела потрясающее впечатление на Байрона. Об этом говорит и тон писем Байрона, и начавшееся метание его по стране. Вот три письма, посланные из Равенны: одно Ходжсону и два английскому консулу в Венеции.

Фрэнсису Ходжсону.

Равенна, 12 мая 1821 года.

...За последнее время я больше занимался политикой, чем другими делами; неаполитанская измена и отпадение разрушили все наши надежды и приготовления. Вся страна была наготове. Конечно, я бы не остался спокойно сидеть со сложенными руками. На самом деле они были заняты (то есть руки). Я не могу объяснить подробнее по понятным причинам, так как все письма вскрываются. Когда-нибудь мы поговорим об этом и о других вещах. Пока скажу: немного недоставало для того, чтобы я кончил, как Лара...

Ричарду Бельгрев Гоппнеру.

Равенна, 25 мая 1821 года.

...Вы знаете, что они составили список лиц, враждебно относящихся к ним в Италии; полагаю, он достаточно обширен. Их подозрения и страхи по поводу моего поведения и приписываемых мне в последнем восстании намерений положительно смешны; не желая вам наскучить, я писал об этом лишь между прочим. Они думали, до сих пор думают или делают вид, что думают, что весь план и проект восстания был разработан мною, что мною были предоставлены средства и т. д. Все это, конечно, выдуманно агентами варваров, которых здесь очень много; один из них вчера получил удар кинжалом, но не опасный; все же, когда в прошлом году коменданта подстрелили у моих дверей, я взял его к себе в дом, где ему была оказана всяческая помощь, пока он не умер на постели Флетчера, и хотя никто из них не решился принять его в свой дом, кроме меня, и он был оставлен на гибель ночью среди улицы, они три месяца назад напечатали прокламацию, в которой объявили меня «главой либералов» и подстрекали людей, чтобы убить

меня. Но силой они не заставят меня молчать и скрывать свои убеждения. Во всем этом виноваты немецкие варвары.

Ричарду Бельзрев Гоппнеру.

Равенна, 23 июля 1821 года.

Страна находится в состоянии проскрипций, и все мои друзья изгнаны или арестованы. Семья Гамба вынуждена переехать во Флоренцию, отец и сын по политическим причинам, а Гвиччиоли под угрозой монастыря, ввиду отсутствия отца. Поэтому я решил перебраться в Швейцарию, и они тоже. Говорят, что моя жизнь здесь всегда в безопасности, но это продолжается уже около года, а потому не играет первостепенной роли.

Вы не можете себе представить, в каком униженном положении находится страна,—они арестовали около тысячи граждан высокого и низкого происхождения по всей Романье—некоторых изгнали, других заключили в тюрьмы, без суда и следствия, даже без обвинения. Все говорят, что со мной поступили бы так же, если бы посмели открыто выступить. Я остаюсь здесь именно по той причине, что все мои знакомые без исключения, несколько сот человек, пожалуй, были изгнаны...

После первой высылки из Равенны Байрон прибыл на берега Арно и поселился в пизанском палаццо Ланфранги со всем своим громоздким штатом и инвентарем.

Этот инвентарь ежедневно возрастал. Происходило то же самое, что было в Равенне. Байрон писал 16 февраля 1821 года: «Вчера вечером прислали ко мне человека с мешками штыков, ружей, сотнями патронов. А дней десять тому назад карбонарии просили меня купить оружия для некоторых из наших санкюлотов. Я исполнил это немедленно... Они преспокойно сваливают мне на руки, в мой дом, к тому же без всякого предупреждения, то самое оружие, каким я снабжаю их по их просьбе, но за мой счет, рискуя головой».

Таким образом, в пизанском жилище инвентарь увеличился. Уменьшилась безопасность пребывания Байрона на территории Италии. И это положение не замедлило сказаться, когда весной 1822 года Байрон возвращался с молодым Пьетро Гамба и поэтом Шелли верхом из предместья. Байрон встретил у городских ворот сержанта драгунского полка Мази. Этот австрийский наймит, гар-

цевавший у ворот довольно долго, как нарочно, именно в эту минуту постарался пустить свою лошадь вскачь и, обгоняя Байрона с его спутниками, прижал ноги Байрона в узком проходе. Байрон сдержался. Австрийский фельд-фебель оттиснул крупом его лошадь, и когда Байрон и Шелли закричали, так как лошадь дала свечку, то все выходившие в это время из ворот были задержаны. Неожиданно появился человек, ударивший драгунского сержанта ножом по сапогу. Никто не был ранен, но все слуги Байрона были арестованы, и, несмотря на протесты, был арестован даже Тита — венецианский гондольер, которого обычно историки литературы производят из обыкновенного рядового итальянского карбонария в высшее звание «слуги лорда Байрона». Этот «слуга» так и не вернулся к своему «господину». Оба, и барин и лакей, испытали одинаковую судьбу в 1824 году.

Байрон после пизанского случая с «поножовщиной» в воротах был выселен, ему пришлось уехать в Ливорно. Байрон испытывал утомление от всех этих «случайностей» и переездов. Мысль о том, что все эти происшествия не случайны, не раз приходила в голову Байрону. В январе 1821 года он писал в дневнике: «Вот прочие мелкие неприятности истекшего года — опрокинувшийся экипаж, убийство людей на пороге моего дома и смерть их «в собственных постелях», а потом внезапные судороги при плавании в море и странные явления после принятия пищи».

В день приезда Байрона в Ливорно в доме Гамба появился новый слуга. По прошествии многих дней ливорнского пребывания этот новый слуга проявил себя в новом качестве. Будучи спокойным и тихим во внутренних помещениях дома, он оказывался чрезвычайно агрессивным по отношению к своим товарищам на площадях и улицах Ливорно. Однажды перед окнами Байрона началась ссора между слугами Гамба и слугами Байрона. Вскоре в ход были пущены кинжалы, стилеты и обыкновенные кухонные ножи. Байрон, зная, в чем тут дело, сам бросился разнимать дерущихся, но это не помогло. Тогда Байрон выхватил пистолеты и стал стрелять в воздух. Возникло судебное дело, в результате которого Байрон оказался вынужденным выехать за пределы Тосканы. Ему был предоставлен в качестве последнего убежища в Италии — город Генуя.

Перед этим Байрон испытал сразу две потери.

20 апреля 1822 года умерла его маленькая дочь Аллегра, а 8 июля 1822 года неожиданно погиб его великий друг Шелли: он отправился с денежной шкатулкой в сопровождении английского гражданина Вильямса (Байрон, ранее предполагавший выехать вместе с ними, вопреки приглашениям остался) на своей яхте «Ариель». Яхта исчезла бесследно. Никакого шквала, как любят повторять историки литературы,— не было. Море было безбурное, яхта погибла при совершенно тихой погоде; у этих берегов нет никаких подводных скал. Лишь после десятидневных отчаянных поисков, во время которых Байрон был похож на душевнобольного, он увидел наконец на берегу найденные тела. Байрон и Ли Гент предали тело Шелли погребению по старинному обряду — сожжением.

Вилла Коллина Альбаро в Генуе была последним пристанищем Байрона в Италии. Две мили отделяли виллу Байрона от морского берега. Перед ним расстилось море, поля, виноградники и лес, ибо пространство от Альбаро до Генуи еще не было застроено. Перед домом Байрона проходила большая дорога на Левантинскую Ривьеру, а за церковью Дальбаро на морском заливе виднелся так называемый «Парадиз» — дворец Бонбрини. Там, словно приготавливаясь к далекому морскому путешествию, Байрон написал поэму «Остров». В основу этого произведения была положена старинная флотская реляция, описывавшая мятеж на корабле «Бунтии». Сам Байрон указывает на Блея и Маринера как на источники, использованные им. Это было последним большим произведением Байрона.

В начале апреля 1823 года к воротам виллы Альбаро подъехала коляска, из которой вышел загорелый, черно-волосый англичанин, сэр Эдуард Блекьер, и черноглазый человек с оливковым цветом лица, Андрей Муртиотис, которые не без пафоса называли себя «посланниками восставшей Греции». Байрон узнал в лице Блекьера человека, которого он встречал в Венеции. Это дало ему возможность без особого предубеждения принять «посланников», не особенно считаясь с их прошлым. Свидетелей разговора не было, но 29 мая 1823 года Байрон написал Стендалю письмо, в котором он вспоминает «Миланский кружок», говорить о котором не хватает духу, так все переменилось с тех пор: смерть, изгнание, австрийские тюрьмы разъединили всех, кого мы с вами любили». Письмо заканчивается словами: «В силу некото-

рых обстоятельств я вынужден буду отправиться в Грецию».

Таким образом, Байрон, располагавший значительными денежными средствами, известный уже своими связями с карбонарским движением в Италии, не имеющий никакой возможности вернуться на север Европы, мечтавший об открытом море, к узкой полоске побережья которого он был прижат изгнанием из всех остальных городов Италии, получил при посредстве ловкого английского агента и сомнительного греческого революционера предложение принять участие в движении, которое пока еще ничем подлинно революционным себя не показало. Известно, что в августе 1822 года Байрон собирался эмигрировать в Южную Америку, но писал Муру, что колеблется в выборе между Америкой и Грецией, куда его усиленно приглашают. Но вот наступает 25 июля 1823 года, и корабль «Геркулес» навсегда увозит Байрона в последнее странствование.

Как случилось, что этот скептически настроенный человек дал себя увлечь и пошел на голос сомнительных греческих патриотов и несомненных шантажистов,—это до сих пор никак не объяснено историками литературы. Все почти в унисон говорят о том, что Байрона привлекли идеалы греческой свободы. Конечно, субъективные побуждения Байрона были именно таковы: он со всем сознанием трудности и ответственности «отдавал жизнь за дело Греции», но биографу Байрона необходимо уяснить, что представляло собой это «дело Греции».

Несомненно, существовали революционные объединения греков, имевшие целью национальное объединение греческих областей, разобщенных и подавленных иноземной властью. Старинное слово «гетерия» — товарищество, содружество — применялось неоднократно к разнообразным формам конспиративных греческих союзов XIX века. Они ведут свое начало от первого, возникшего под влиянием Великой французской революции тайного союза Константина Ригаса. Его национально-революционное объединение именуется «гетерией 1795 года». Но эти окраинные последыши Конвента замерли на греческой территории. Их сменило «Товарищество филомузов» — любителей муз, подобие русских Любомудров, польских Филоматов, итальянских братьев античного Рима (романтиков). Но очень быстро из самостоятельного союза это греческое тайное общество превратилось в

организацию, тайную для Турции и явную для петербургского кабинета иностранных дел, который со времени Екатерины II и «греческого проекта» князя Потемкина-Таврического не переставал думать о способе прибрать к рукам Балканский полуостров со «славянскими братушками» и «православными грекосами», как называли эти объекты своих вождений славянофилы и квасные патриоты Российской империи. Война 1812 года помешала Александру I продолжить начатую работу «объединения греков ради освобождения от турецкого ига». Однако граф Иоанн Каподистрия, о котором всегда писали как о греческом государственном деятеле, хотя он и занимал в 1807 году должность полицейского комиссара Ионических островов, а потом был секретарем русского посольства в Вене, внезапно оказался ближайшим участником греческой «войны за освобождение», а в результате, с помощью императора всероссийского, сделался даже греческим президентом. Правда, он явился лишь после того, как российский императорский флот разгромил турецкие корабли в битве при Наварине, то есть лишь 18 января 1828 года он «всеподданнейше донес о вступлении в должность президента «вверенной ему страны».

Прочие греческие освободители были не лучше. Даже восьмидесятилетний Али-паша, знаменитый по письмам Байрона — Али из Тебелена, владыка Янины, добившийся своей независимости от Турции и начавший первоначально захватывать греческие города, даже этот Али-паша, поссорившись с султаном Махмудом, внезапно помирился с греками и сделался одним из первых вождей греческой гетерии. Нет ничего забавнее и печальнее эпизода турецкой осады янинского замка, когда старый бандит Али-паша в качестве ярого защитника греческой свободы постреливал в турок из ружья, подаренного ему Бонапартом, и провозглашал независимость Греции, а тем временем вождь сулиотов Марко Боцарис, знавший тайные планы Али-паши, продолжал громить гетеристов и снова помирился с султаном. Нет ничего смешнее и печальнее, чем появление адъютанта Александра I Ипсиланти в 1820 году в качестве председателя «Гетерии Филикэ» то у румын, где богатые греки и собственные бояре были в тысячу раз хуже турецких чиновников, то у греков, где английские лорды соревновались в грабежах с турками и греческими богачами. Этот истинно русский грек и истинно греческий черносотенец превратился в греческо-

го «революционера», мечтающего о королевской короне. 21 марта 1821 года православный архиепископ Герман водрузил так называемое знамя независимости на стенах Калавриты, и когда духовенство Мессалунги, Афин, Морей проделало то же самое, а турки, вознегодовав на поругание ислама, повесили в Константинополе православного патриарха и восемьдесят три попа,— в Потрассе начались уличные сражения.

Глубокие корни подлинного национального движения заглохли под влиянием того дипломатического бурьяна, который разрастался под ветрами иностранных влияний и приобрел громкое название «освобождения Греции от турецкого ига». Первоначальная единичная вспышка, организованная при посредстве иностранной агентуры, превратила в ад жизнь двух миролюбивых народов, правящие классы которых охотно пошли на авантюру за счет превращения греческих полей, деревенских улиц и городских площадей в побоище. В Фессалии появился грек Одиссей, которому повезло: он с тысячным отрядом сбил турок Курдиш-паши. Потом с помощью русской дипломатии был состряпан национальный конгресс греков в Эпидавре, который состоялся 1 января 1822 года и провозгласил «независимую Грецию», целиком зависевшую от России. Соседи за столом по конгрессу, Александр I и князь Меттерних, в это время многозначительно переглядывались между собою.

— Они молодцы,— сказал русский царь.

— Ваше величество,— скромно потупясь, ответил Меттерних,— поддерживать восстание против законного государя, каким является его величество султан турецкий, это значит насаждать революцию в Европе.

Турки разбили генерала Александра Ипсиланти. Он пытался бежать через австрийскую территорию и попал в австрийскую тюрьму. Русский царь его не поддержал, узнав о претензиях Александра Ипсиланти на греческую корону. Но остался Дмитрий Ипсиланти, который с помощью Маврокордато создал совет и сенат из пятидесяти греков. Ссориться с русским царем не хотели, тем более что вопрос об ослаблении Турции был вопросом выгодным для многих европейских государств, скрывавших свою заинтересованность, а тут турки внезапно проявили непозволительную живучесть. Они захватили и начисто опустошили греческий остров Хиос. После этого «европейское общественное мнение склонилось в пользу

греков». Франция и Англия сочли необходимым «сочувственно вмешаться», чтобы не упустить своего куска при будущем дележе той или иной добычи. В ответ на это султан Махмуд и Махмед Али, пытавшиеся разыграть из себя африканского Бонапарта в качестве египетского паши, тайно объединились для завоевания Греции. Сын Махмеда Али, Ибрагим, адмирал флота, состоявшего из шестидесяти трех военных мониторов и сотни транспортов, отправился в экспедицию, имея на борту шестнадцать тысяч пехоты и восемьсот всадников.

Английский поэт Леондор писал обращение к грекам о том, что они обязаны бросить презренное употребление огнестрельного оружия и перейти к старинному испытанному марафонскому луку, дабы тучами стрел закидать турецкие поля. А полковник Стенгоп спорил с Байроном о том, следует ли соглашаться с поэтом, который требует доставки из Англии шести четырехпушечных батарей вместо шести пресвитерианских священников, которых полковник английской службы Стенгоп обязался доставить в Грецию для обращения греков в англиканское вероисповедание. Попав в эту неожиданную и балаганную обстановку, Байрон писал своей сестре из Кефалонии 12 октября 1823 года:

«...Дела у греков в таком положении, что трудно понять, в чем я могу им помочь, если вообще помочь им возможно. Все же у меня есть надежда, что они наконец поймут, в чем дело, и перестанут грызть друг друга, пока не добьются национальной независимости, а там они смогут определить судьбу своих домашних дел и... пусть! Ты видишь, что мне есть о чем задуматься: ты представить себе не можешь, до какой степени это проныры, вероломные и мелочно-суетливые люди, а так как меня стараются завербовать посланцы от всех греческих партий и я обязан действовать без пристрастия, то я восклицаю, как Юлиан на военном учении: «О Платон, что это за труд для философа!» Впрочем, ты ни во что ставишь мою философию».

Не успела Тереза Гамба проститься с Байроном на борту «Геркулеса» и уйти, как два грека стали в качестве адъютантов справа и слева от Байрона. Они прекрасно говорили по-английски, они вмешались в разговор, их льстивая речь наполняла воздух; эти двое были греческими провокаторами, состоявшими на службе в турецком штабе.

С дороги Байрон писал Муру: «Где же греческий флот? Я не знаю, может быть, вы знаете, Мур? Я сказал нашему капитану, что, по моему мнению, два больших корабля на горизонте—это корабли греческого флота. Но он ответил: они слишком крупны. Такие же сомнения по поводу всех встречных и прибрежных судов».

Байрон прибыл в Кефалонию. На островах было неспокойно. Байрон сразу оценил характер авантюры и стал ждать, как он говорил, «подлинно народного движения». Первая прозаическая сторона дела внезапно раскрылась перед Байроном во всей своей отвратительной наглядности: вожди торговались, клеветали друг на друга, называли друг друга предателями, кричали о суммах, полученных каждым от той или иной иностранной державы.

Александр Блок изумительно перевел строчки Байрона, которые называются «Дневник в Кефалонии»:

Встревожен мертвых сон—могу ли спать?
Тираны давят мир—я ль уступаю?
Созрела жатва—мне ли медлить жать?
На ложе—колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

Эти стихи написаны в виде посвящения Греции. Поэт сравнивает эту страну со змеей, которая его, как птичку-колибри, заморозила глазами. Ощущение смерти и какого-то загробного бытия не покидает Байрона ни на минуту. Казалось, исчезло чувство реального. И, однако, принеся себя в жертву, он возвышается над разворачивающимся актом борьбы, полным корысти, интриг и личной заинтересованности. Байрон впитывает в себя, как горечь, вражду и распри греческих вождей. Он ждет «могучего и большого народного движения» и до этой поры не соглашается покинуть Кефалонию и поселиться на полуострове.

Лондонский комитет англичан, сочувствующих греческому движению, прислал Байрону мандат на представительство. Байрон жил как в огне. Под ним горела земля. В декабре 1823 года, когда движение разрослось, Байрон решил высадиться на берег. Маленькое суденышко, на котором плыл Байрон, благополучно прошло мимо турецкого монитора. Гавань Драгоместри укрыла это суденышко. Байрон пять дней не раздеваясь провел в ожидании

момента безопасной высадки. В эти пять дней сильно надорвалось его здоровье. Наконец появился греческий военный корабль, который должен был провести судно Байрона в безопасное место и там организовать высадку штаба на берег. Но и этого греческие вожаки не сумели сделать как следует. Они показали себя трусливыми воинами и плохими моряками. Благополучно посадив на камни и разбив судно, они предоставили Байрона собственной участи. Байрон бросился вплавь в одежде, держа на плечах греческого ребенка, которого он еще на борту обещал доставить родителям. Так ночью, продрогший и измученный, без еды и без пресной воды, он сидел на берегу и отогревал застывшие ручки ребенка чужого народа, вспоминая о том, как английские власти отняли у него его собственного ребенка и как погибла его вторая дочь.

Байрон высадился в Мессалунгах. Пушечные салюты и оглушительная тамбурмажория встретили его. Его приветствовал Маврокордато с пятитысячным войском. Байрон взял на себя содержание отряда из 500 сулиотов. Началась военная жизнь. Греки умели «блестяще показывать тыл туркам». Давясь от презрения, Байрон учил их стрельбе и верховой езде. Как нарочно подобранные, малокультурные и тупые сулиоты нисколько не напоминали великих сынов Эллады. Отрадное впечатление производили турецкие пленники. Байрон долго говорил с турецкими офицерами, глаза его оживились; он видел перед собой «настоящих воинов». Он возвратил им оружие и отправил их к турецкому генералу Юсуф-паше с письмом, написанным в очень теплых и благородных тонах. Он указывал Юсуфу на отвратительные стороны войны и выражал уверенность, что «турки проявят свое обычное благородство». В эти дни Байрон написал свое *последнее* стихотворение. 22 января 1824 года ему исполнилось тридцать шесть лет.

То сердце быть должно б невозмутимым,
Что в грудь других не может чувства влить,
Но если я быть не могу любимым,
Все ж я хочу любить!
Все дни мои, как желтый лист, увяли,
Цветы, плоды исчезли,—и на дне
Моей души гнездится червь печали:
Вот, что осталось мне!
Незримо грудь мне пламя пожирает,
Но то вулкан на острове пустом,

И светочей ничьих не зажигает
Оно своим огнем.
Прошла пора надежд, волнений, власти,
Огня любви—все это в стороне,
И разделить мне не с кем пламя страсти:
Но цепь ее—на мне!
Но пусть меня тревоги не смущают
Подобных дум—теперь, на месте том,
Где лавры гроб героя украшают
Или чело венком.
Вокруг меня—оружие, знамена:
Я в Греции,—мне ль это позабыть?
И на щите боец Лакедемона
Не мог свободней быть.
Восстань! (не ты, Эллада,—ты восстала)
Восстань, мой дух! В минувшем проследи,—
Откуда кровь твоя берет начало,
И в битву выходи!
Уйми в себе всплывающие страсти
И побори: не молод больше ты,
И над тобой должны лишиться власти
Гнев иль улыбка красоты.
И если ты о юности жалеешь,
Зачем беречь напрасно жизнь свою?
Смерть пред тобой—и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою?
Ищи ж того, что часто поневоле
Находим мы; вокруг себя взгляни,
Найди себе могилу в бранном поле—
И в ней навек усни!

Затем наступили черные дни. Ссорились не только вожди, но и те интервенты, которые помогали грекам. Лорд Стенгоп хотел основать в Греции школы, которые явились бы местом англофильской пропаганды. Байрон требовал пушек, а лорд Стенгоп привез с собой свору английских попов. Байрон отослал их обратно, заявив, что этим можно только отвратить греческое население.

Мы видим, как постепенно поэт сменяется практичным политиком, как в нем нарастает чувство глубокого горя. Во главе пятидесяти сулиотов, несмотря на плохую погоду, Байрон отправился в экспедицию... Под дождем, промокнувший насквозь, он забыл переодеться. У него началась лихорадка, судороги и страшнейшие боли. Он слег в полуобморочном состоянии. Он метался в жару, наступил бред, но и действительность «была похожа на кошмар». Сулиоты требовали прибавки жалованья. «Рыцари освобождения» огромной оравой, без всякого порядка и дисциплины, ворвались в комнату больного Байрона, галдели, кричали и начали настоящее побоище

с бранью и требованием денег. Байрон сделал страшное усилие, поднялся с постели и успокоил их. Они ушли.

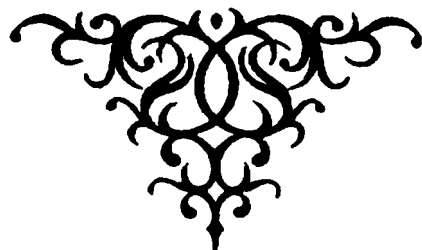
19 апреля Байрона не стало. Последняя фраза Байроном была произнесена по-итальянски: «*Jo lascio qualche cosa di caro nel mondo*» — «Я покидаю в мире нечто дорогое для меня».

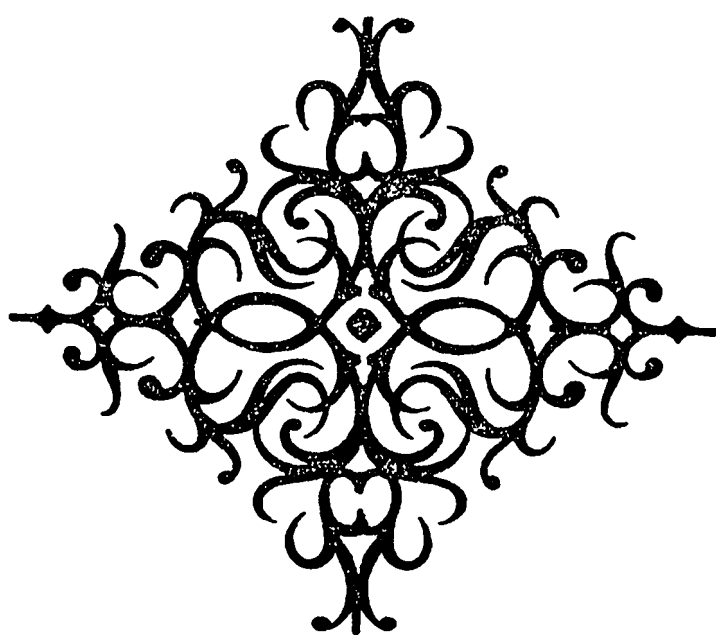
Потом повернулся, на мгновение открыл глаза и громко сказал: «Теперь я засну». Настала смерть.

Поэзия Байрона оказала огромное влияние на литературу всего мира. Смелая байроновская фантазия, его тонкая проникновенная лирика, чувственный пыл и горькая сатира, нещадно бичевавшая современное ему общество,— все это делало Байрона любимым поэтом миллионов читателей и помогло стать на путь переделки мира не одному поколению молодых людей прошлого. Конечно, большинство его произведений нужно подвергнуть историческому пересмотру. Но нельзя забывать, что бунт его, хотя и оставался бунтом законченного индивидуалиста, заставил трепетать не только загнивающие остатки феодального общества, но и хищников капитализма, превративших человечество в источник личного обогащения. Болотные испарения, обволакивавшие всю реакционную Европу, должны были задушить эту яркую индивидуальность, ибо большая человеческая индивидуальность, которая свободно развернет все силы, способности и стремления своей воли, может вырасти только в бесклассовом обществе, когда социальные и индивидуальные качества человека будут обогащать все силы коллектива.



ПРИМЕЧАНИЯ







ОСУЖДЕНИЕ ПАГАНИНИ

Роман впервые опубликован в 1936 году. Овеянная легендами личность итальянского скрипача-виртуоза и композитора Никколо Паганини (1782—1840) привлекла внимание А. К. Виноградова еще в процессе работы над книгой о Стендале «Три цвета времени» (1931). Вскоре после ее завершения писатель создал рассказ «Смерть Паганини», а затем приступил к работе над романом об этом блистательном музыканте, о котором другой гений — Ференц Лист — сказал в некрологе: «Где найдем мы еще жизнь артиста, которую сопровождало бы ослепительное как солнце, ничем не запятнанное сияние славы?.. Когда сорокалетний Паганини в полном блеске своего ни с чем не сравнимого таланта выступил перед публикой, то мир застыл от изумления, как перед сверхъестественным чудом. Вызванная им сенсация была столь бурной, чары его столь мощно действовали на воображение, что оно не могло ограничиться областью реального. Всплыли средневековые истории о ведьмах и привидениях; необычайность его игры пытались связать с его прошлым; его непостижимый гений стремились понять при помощи еще более непостижимых вещей. Готовы были заподозрить, что он продал свою душу дьяволу и что та четвертая струна, из которой он умел извлекать столь чарующие мелодии, была сделана из жилы задушенной им собственноручно жены» (Лист Ф. Избранные статьи. М., Музгиз, 1959, с. 154).

Судя по рукописям, сохранившимся в архиве (ЦГАЛИ, ф. 1303, ед. хр. 459), первоначально А. К. Виноградов думал озаглавить свой роман иначе — «Кремонская скрипка (Эпизоды из жизни Николая Паганини)». Затем появились другие варианты: «Скрипка Паганини», «Паганини. Жизнь и загробные скитания скрипача будущих веков». Наконец было найдено окончательное название «Осуждение Паганини», под которым роман приобрел широкую популярность у читателей.

Стр. 8. *Этот римский бог нашел свое олицетворение в виде двуликого существа.*—Древние римляне изображали Януса человеком с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны. В их мифологии Янус считался богом входов и выходов, дверей и всех начал (включая начало года), которому подвластно время, открыто как прошлое, так и будущее.

Он считался также вершителем вопросов войны и мира, покровителем дорог и путешественников, научившим людей строить корабли. Высокое положение Януса в иерархии римских богов объясняется тем, что именно ему некогда приписывалось сотворение мира из первобытного хаоса.

Стр. 9. *Массена* Андре (1758—1817)—маршал Франции (1804), участник революционных и наполеоновских войн.

Пассо ди Гатта Мора (Passo di Gatta Mora) — переулочек Черной кошки в Генуе, где в доме № 38 родился Н. Паганини. На этом доме установлена мемориальная доска с текстом: «Счастливая судьба выпала на долю этого скромного жилища: в этом доме дня 27 октября 1782 года родился — к чести Генуи и на радость миру — Никколо Паганини, в божественном искусстве звуков непревзойденный мастер».

Стр. 10. *Никколо рос на попечении матери.*—Мать Н. Паганини — Тереза Паганини (урожденная Боччардо, 1758—1831).

Синьор Антонио—Франческо Антонио Мариа Паганини (1757—1817), отец Н. Паганини.

Стр. 11. *«Карманьола»*—зазорная французская народная революционная песня-пляска, название которой происходит от итальянского города Carmagnola (расположен в Пьемонте). Впервые зазвучала на улицах Парижа после взятия дворца Тюильри и низвержения монархии (10 августа 1792 г.), была популярна в годы революций 1830 и 1848 гг., в дни Парижской коммуны 1871 г.

Стр. 13. *...между стойками укрепили в пазах большой стальной треугольник, который опускался в пазах и сваливался острым концом вниз.*—Имеется в виду гильотина, орудие для обезглавливания осужденных на казнь, введенное во время Великой французской революции по предложению врача Ж. Гийотена. В 1793 г. по приговору Конвента был гильотинирован французский король Людовик XVI.

Стр. 18. *Какой-то Мюрат...*—Мюрат Иоахим (1767—1815) — маршал Франции (1804), сподвижник Наполеона, выдавшего за него замуж свою сестру Каролину, с 1808 г. король Неаполитанский.

...безвестный Ожеро.—Ожеро Пьер Франсуа Шарль (1757—1816) — маршал Франции, участник всех наполеоновских походов.

...под стенами Рима появился Бертье...—Бертье Луи Александр (1753—1815) — маршал Франции (1804), военный министр (1799—1807) и начальник штаба (1812—1814) Наполеона.

Стр. 24. *Тут жили лучшие скрипичные мастера — Амати, Гварнери и Страдивари.*—Амати — династия итальянских мастеров смычковых инструментов, родоначальником которой был Амати Андреа (ок. 1520 — ок. 1580), создатель классического типа скрипки. Особенно высоко ценятся инструменты, изготовленные его внуком Николо Амати (1596—1684). Гварнери — семья искусных итальянских мастеров смычковых инструментов. Ее основоположник Гварнери Андреа (1626—1698) учился у Н. Амати, передал секреты своего искусства сыновьям Пьетро (1655—1720) и Джузеппе (1666—1739). Славу рода умножили сыновья последнего Пьетро 2-й (1695—1762) и особенно Джузеппе (Иосиф), прозванный Гварнери дель Джезу (1698—1744), на скрипке которого особенно любил играть Н. Паганини. Страдивари Антонио (ок. 1643—

1737) — прославленный итальянский скрипичный мастер, работавший в Кремоне, тоже ученик Н. Амати; признанными мастерами в этой области стали его сыновья Франческо (1671—1743) и Омобонио (1679—1742).

Стр. 38. *Вот старый Тартини шестьдесят лет тому назад измерил давление натянутых струн на скрипичную коробку.*—Тартини Джузеппе (1692—1770) — итальянский скрипач, композитор и теоретик музыки. Проводил изыскания в области акустики.

Стр. 39. *...счетная машина Паскаля и Лейбница...*—Паскаль Блез (1623—1662) — французский философ, писатель, математик и физик. В 1642 г. пришел к идее создания счетной машины, выполняющей арифметические действия (прообраз арифмометра), и в 1649 г. получил королевскую привилегию на свое изобретение. В 70-е годы XVII в. немецкий философ, математик и физик, один из создателей дифференциального исчисления, Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), развивая идею Паскаля, предложил конструкцию более сложного счетного механизма.

...логическая машина Раймунда Луллия...—Луллий Раймунд (ок. 1235 — ок. 1315) — философ-теолог и поэт, основоположник и классик каталанской литературы. В сочинении «Великое искусство» высказал идею логической машины и сделал попытку создать ее.

Стр. 42. *...«милый Ньекко».*—Ньекко Франческо (1769—1810) — итальянский композитор, член тайного общества карбонариев.

Стр. 45. *...«карбонарии» — «угольщики»...*—члены тайного общества в Италии в XIX в., боровшиеся за национальное освобождение и конституционный строй. В сложную обрядовость общества входил, в частности, ритуал выжигания древесного угля, символизирующий духовное очищение человека.

Стр. 47. *...герцогу Сфорца.*—Сфорца — династия миланских герцогов в 1450—1535 гг. (с перерывом в начале XVI в.). Главный представитель династии — Франческо Сфорца.

Стр. 48. *Знаменитый кастрат Маркези...*—Маркези Луиджи (1754—1829) — итальянский певец-сопранист.

Стр. 59. *...маркиз ди Негро...*—Маркиз ди Негро Джанкарло (1769—1857) — итальянский меценат, покровитель Н. Паганини.

...выступить на вечере с знаменитейшей певицей Северной Италии Терезой Бертинотти.—Бертинотти Тереза (1776—1854) — итальянская певица, педагог и композитор.

...Крейцер-старший играл на клавесине свои сочинения.—Крейцер Родольф (1766—1831) — французский скрипач, композитор, дирижер, профессор Парижской консерватории. Его талант высоко ценил Бетховен, посвятивший ему сонату для скрипки и фортепиано (так называемая «Крейцера соната»).

Стр. 60. *Алессандро Ролла* (1757—1841) — итальянский скрипач, композитор, дирижер и педагог, учитель Паганини; в 1802—1833 гг. концертмейстер и дирижер миланского театра «Ла Скала».

Стр. 61. *Ее директор — синьор Паер...*—Паер Фердинанд (Паэр, 1771—1839) — итальянский композитор, дирижер и педагог.

Стр. 63. *...Гиретти, старый неаполитанский дирижер.*—Гиретти

Гаспаро (1747—1797)—итальянский виолончелист и композитор, учитель Паганини по композиции.

Стр. 66. ...военная песня рейнской армии... сочиненная инженерным офицером Руже де Лилем.—«Марсельеза», текст и музыка которой были написаны в 1792 г. Клодом Жозефом Руже де Лилем (1760—1836). Песня эта превратилась впоследствии из гимна революции в государственный гимн Франции.

Стр. 69. *Уго Фосколо* (1778—1827)—итальянский поэт и филолог, комментатор Данте, Петрарки, Боккаччо и Тассо. Из числа его собственных художественных произведений наибольший успех выпал на долю лирической поэмы «Гробницы» (1806) и романа «Последние письма Якопо Ортиса» (1798). У. Фосколо сражался в войсках Наполеона Бонапарта, но в 1798 г., когда Венеция была отдана Австрии, резко изменил к нему отношение и покинул армию. Скончался в эмиграции в Англии.

Стр. 78. ...элегические пьесы Корелли...—Корелли Арканджело (1653—1713)—итальянский скрипач и композитор.

...эпику Вивальди...—Вивальди Антонио (ок. 1678—1741)—итальянский композитор, скрипач-виртуоз и дирижер.

...сладкую лирику Пуньяни и Виотти...—Пуньяни Гаэтано (1731—1798) и Виотти Джованни Баттиста (1755—1824)—итальянские скрипачи, композиторы и педагоги.

Стр. 80. *Carmen saeculare*—песнь веков (лат.).

Стр. 82. ...мелодии Люлли и Рамо...—Люлли Жан Батист (1632—1687)—французский композитор, итальянец по происхождению, основоположник французской оперной школы. Рамо Жан Филипп (1683—1764)—французский композитор и автор капитальных трудов по теории музыки.

Стр. 83. ...похоже на укрощение человеческого зверинца мелодиями Орфея.—Согласно древнегреческому мифу, искусство фракийского певца Орфея не только покоряло людей, но и укрощало диких зверей, умирало морские волны, когда он плыл с аргонавтами.

Стр. 86. ...из двух смычков Турта...—Турт Франсуа (1747—1835)—французский скрипичный мастер, изобретатель современной конструкции смычка.

Стр. 93. ...явился Гаррис...—Гаррис Джордж (1780—1887)—английский дипломат и литератор (писал по-немецки). В действительности его знакомство с Паганини состоялось в Ганновере и относится к более позднему периоду — 1830 г., когда он стал преданным секретарем и импрессарио великого музыканта на время гастролей по Германии. Тогда же им были изданы записки «Паганини в своей карете и комнате, в часы досуга, в обществе и на своих концертах», остающиеся важным источником сведений о жизни артиста

Стр. 95. ...наш славный адмирал Нельсон разбил французский флот...—Нельсон Горацио (1758—1805)—английский флотоводец, вице-адмирал, одержавший несколько крупных побед над французским флотом, в том числе при Абукире и Трафальгаре (в этом бою он был смертельно ранен). Национальный герой Великобритании

Стр. 99. ...*граф Жозеф де Местр* (1753—1821)—французский философ и писатель, противник французской буржуазной революции; в 1802—1817 гг.—посланник Сардинии в Петербурге.

Стр. 106. *Давно была забыта скрипка...*—События этой главы романа А. Виноградова навеяны загадочным эпизодом в биографии Н. Паганини: в 1802 году он почти на три года покинул общество, увлекшись некоей знатной дамой, с которой уединился в ее тосканском имении. Имени дамы, сумевшей столь надолго завладеть его сердцем, Паганини никогда не называл. Известно лишь, что она любила играть на гитаре, и Никколо тоже всерьез заинтересовался этим инструментом. Отставив на время скрипку, он виртуозно освоил гитару и начал сочинять для нее музыку. Обстоятельства этого романа до сих пор окутаны тайной, но исследователи жизни и творчества Паганини считают, что то было, вероятно, самое сильное его любовное увлечение. (См., напр.: Ямпольский И. Никколо Паганини. М., Музгиз, 1961, с. 31; Тибальди-Кьеца М. Паганини. М., Правда, 1986, с. 46—50).

Стр. 108. ...*приехал со своей Армидой...*—Армида—героиня поэмы Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580), волшебница, заставившая на время забыть о своем долге рыцаря-крестоносца Ринальдо.

...*томик антирелигиозных памфлетов Гольбаха.*—Гольбах Поль Анри (1723—1789)—французский философ-материалист, атеист, идеи которого повлияли на утопический социализм XIX в.

Стр. 109. ...*говорившем о себе, что он—искушаемый Иосиф, и уподоблявшем музыку соблазнительной супруге Пентефрия...*—Согласно библейскому повествованию, Иосиф Прекрасный был продан братьями в Египет и стал рабом в доме Потифара (Пентефрия), начальника телохранителей фараона. Пленившись красотой Иосифа, жена хозяина настойчиво пытается соблазнить его. Оставшись с ним наедине, она хватает его за одежду, но Иосиф убегает, оставив свою одежду в ее руках. Тогда женщина использует эту одежду, чтобы обвинить Иосифа в покушении на ее целомудрие, и тот попадает в темницу. («Быт.», 39, 1—20).

Стр. 110. ...*водя с собой любимого ученика Нардини.*—Нардини Пьетро (1722—1793)—итальянский скрипач и композитор.

Стр. 111. ...*пленительница Танкреда...*—Танкред—персонаж поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 112. *Это был польский скрипач Дурановский.*—Дурановский Август Фредерик (1770—1834)—польский музыкант, по некоторым сведениям, открывший юному Паганини «секрет всего того, что можно извлечь из скрипки».

Стр. 113. ...*синьор Вольта...*—Вольта Алессандро (1745—1827)—итальянский физик и физиолог, один из основателей учения об электричестве, создатель первого химического источника тока.

...*синьор Гальвани...*—Гальвани Луиджи (1737—1798)—итальянский анатом и физиолог, основоположник экспериментальной электрофизиологии.

Стр. 115. *Генерал Бонапарт стал императором французов.*—Это произошло в 1804 г.

Я граф Федерико Конфалоньери...—Конфалоньери Федерико (1785—1846)—один из лидеров патриотического движения в Ломбардо-Венецианской области против французского, а после 1814 г.—австрийского ига.

Стр. 122. *...в религиозных произведениях Палестрины...*—Палестрина Джованни Пьерлуиджи (ок. 1525—1594)—итальянский композитор, глава римской полифонической школы.

Стр. 125. *Сестра Бонапарта, княгиня Элиза Баччокки...*—Баччокки Мари Анна Элиза (урожденная Бонапарт, 1777—1820)—принцесса княжеств Лукки и Пьомбино, сестра Наполеона I.

Локателли Пьетро Антонио (1695—1764)—итальянский скрипач и композитор.

Стр. 129. *...музыку Чимарозы...*—Чимароза Доменико (1749—1801)—итальянский композитор, клавесинист, скрипач и певец.

Стр. 135. *...о замечательном человеке, господине Байо...*—Байо Пьер Мари Франсуа де Саль (1771—1842)—французский скрипач, композитор, педагог и музыкальный писатель.

Стр. 139. *...о провозглашении Евгения Богарне...*—Богарне Евгений (1781—1824)—вице-король Италии, пасынок Наполеона, сын Жозефины Богарне от ее первого брака.

Стр. 142. *...книги о культе Конфуция.*—Конфуций (Кун-цзы, ок. 551—479 гг. до н. э.)—древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства.

...портреты Игнатия Лойолы...—Лойола Игнатий (1491 ?—1556)—основатель ордена иезуитов, или «Общества Иисуса» (1534).

Стр. 144. *...был Язоном.*—Язон (Ясон)—в греческой мифологии правнук бога ветров Эола, предводитель похода аргонавтов за Золотым руном. Колхидский царь Ээт согласился отдать ему Золотое руно, если Язон запряжет в плуг меднокопытных, изрыгающих пламя быков, подаренных Гефестом, вспашет поле и засеет его зубами дракона. Язон выполнил это условие, но из зубов дракона выросли готовые броситься на него воины. По совету полюбившей его дочери Ээта Медеи герой бросил в них тяжелый камень, и воины стали истреблять друг друга, а оставшихся перебил Язон.

Стр. 151. *...к синьоре Паллерини.*—Паллерини Антония (1790—1870)—итальянская артистка, танцевавшая ведущие балетные партии на сцене «Ла Скала».

Стр. 154. *Итальянцы Виотти и Керубини...*—Керубини Луиджи (1760—1842)—итальянский композитор и педагог. Виотти—см. примеч. к стр. 78. наст. тома.

...парикмахер Марии-Антуанетты... — Мария-Антуанетта (1755—1793)—французская королева, жена Людовика XVI. Казнена по приговору революционного суда.

Стр. 156. *...княгиню Полину Боргезе.*—Боргезе Мари-Полина (урожденная Бонапарт, 1780—1825)—сестра Наполеона I.

...был отправлен на далекие Антильские острова для подавления восстания черного консула, вождя гаитийских негров, Туссена Лувертюра.—Лувертюр Туссен (1743—1803)—руководитель антиколониального восстания нег-

ров на острове Гаити. Ему посвящена историческая повесть А. К. Виноградова «Черный консул» (1933).

Стр. 157. *Антониа Бьянки*—итальянская певица, мать единственного сына Паганини Акилле (Ахиллино), родившегося в 1825 г.

Стр. 160. *Римским королем был назван маленький сын Бонапарта...*—Наполеон II Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт (1811—1832)—сын Наполеона I и Марии-Луизы. 23 июня 1815 г., после вторичного отречения Наполеона I от престола, был провозглашен Наполеоном II, императором Франции, но никогда не царствовал. Жил в Вене, при дворе своего деда, австрийского императора Франца I, под именем герцога Рейхштадтского. Умер на 21-м году жизни от туберкулеза.

Мария-Луиза (1791—1847)—вторая жена Наполеона, дочь австрийского императора Франца I.

Стр. 161. *Джоаккино Россини* (1792—1868)—итальянский композитор, автор «Севильского цирюльника» и других опер. С творчеством Россини, отразившим подъем итальянской культуры, который был вызван национально-освободительным движением, связан расцвет итальянской оперы XIX в.

Карпани Джузеппе Антонио (1752—1825)—итальянский либреттист и писатель, автор монографии «Письма о жизни и произведениях знаменитого маэстро Йозефа Гайдна» (1812), из которой много позаимствовал Стендаль для своей книги «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазия» (1814). Книга эта была опубликована под псевдонимом Луи Александр Сезар Бомбэ и вызвала негодование Карпани, обнаружившего в ней плагиат из своего сочинения.

Стр. 165. *...в человека, отдавшего свою душу поискам Эвридики в Аиде.*—Эвридика—в древнегреческой мифологии—жена Орфея, которая умерла от укуса змеи. Чтобы вернуть любимую жену, Орфей спустился в царство мертвых—Аид. Укротив свирепого стража—трехголового пса Кербера—звуками своей лиры и растрогав властительницу подземного мира Персефону, Орфей получает разрешение вывести Эвридику на землю, но с условием, что не оглянется на нее прежде, чем они выйдут на дневной свет. Певец не удержался, нарушил запрет и навсегда потерял Эвридику.

Стр. 167. *...в цирке Нерона...*—Нерон (37—68)—римский император, отличавшийся крайней жестокостью.

Стр. 168. *Старый, почтенный скрипач Шпор...*—Шпор Людвиг (Луи) (1784—1859)—немецкий скрипач, композитор, дирижер и педагог.

Стр. 169. *...провинциального фокусника Германии—Шелера.*—Шеллер Якоб (1759—1803)—немецкий скрипач.

Стр. 170. *Лафон Шарль Филипп* (1781—1839)—французский скрипач и композитор.

Стр. 171. *...со знаменитым Родэ.*—Роде Жак Пьер Жозеф (1774—1830)—французский скрипач, педагог и композитор.

Стр. 173. *Сильвио Пеллико* (1789—1854)—итальянский поэт-романтик и общественный деятель, сторонник объединения Италии и участник заговора карбонариев.

Монти Винченцо (1754—1828)—итальянский поэт-классицист,

филолог и политический деятель, стремившийся к объединению Италии.

Стр. 174. ...*Липинский*.—Липиньский Кароль (1790—1861)—польский скрипач и композитор. О его отношениях с Паганини см.: Григорьев В. Ю. Никколо Паганини. Жизнь и творчество. М., Музыка, 1987.

...*глубокомысленным Глюком*...—Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787)—немецкий композитор, примыкал к венской классической школе. Автор опер «Орфей и Эвридика» (1762), «Ифигения в Тавриде» (1779) и др.

...*«легким мелодистом» Пиччини*.—Пиччини Никола (1728—1800)—итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. С его именем связана борьба сторонников старых и новых (развивавшихся Глюком) оперных традиций (так называемая «война глюкистов и пиччинистов»).

Стр. 179. ...*житие, написанное почитателем великого скрипача, Шоттки*...—Шоттки Макс Юлиус (1794—1849)—профессор Карлова университета в Праге, опубликовавший на основе бесед с Паганини и полученных от него материалов книгу «Жизнь и деятельность Паганини как художника и человека» (1830).

Стр. 180. ...*в голову Мегеры*.—Мегера—в древнегреческой мифологии одна из эриний, богинь мести, обитавших в Аиде. Как олицетворение гнева изображалась отвратительной старухой со змеями вместо волос, с зажженными факелами в руках.

Стр. 188. ...*принципе Меттерних*.—Князь Меттерних Клеменс (1773—1859)—министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер Австрийской империи в 1821—1848 гг.

Стр. 191. ...*уцелел один Пино*.—Пино Доменико (1769—1826)—итальянский генерал и государственный деятель, друг Паганини.

Стр. 195. *Венский артист Майзедер был, пожалуй, самым верным, единственным другом Паганини*...—Майзедер Йозеф (1789—1863)—австрийский скрипач, композитор и педагог.

Стр. 207. ...*скучно быть музыкальным Иеговой*.—Иегова (Яхве)—в иудаизме имя бога.

...*сочиненную поэтом Кастелли*.—Кастелли Игнац Франц (1781—1862)—австрийский драматург, стихотворец и журналист.

Стр. 208. *Некий Фетис*...—Фетис Франсуа Жозеф (1784—1871)—бельгийский музыковед и композитор, автор монографии о Паганини (1851) и многочисленных обобщающих трудов по истории музыки, среди которых выделяются пятитомная «Всеобщая история музыки» (до XV в.) и «Всеобщая биография музыкантов и библиографический музыкальный словарь» в восьми томах.

Стр. 209. ...*неподалеку от Пратера*...—Пратер—парк в Вене.

Стр. 211. *Святой Фома Аквинат в своем божественном трактате говорит*...—Фома Аквинский (1225 или 1226—1274)—виднейший представитель схоластической философии, систематизатор средневекового католического мировоззрения. Основное сочинение—«Сумма теологии».

Стр. 218. ...с синьором Урбани...—Урбани Франческо — камердинер Паганини.

Стр. 225. Он отправился к своему другу Людвигу Рельштабу...—Рельштаб Людвиг (1799—1860)—немецкий писатель и музыкальный критик.

Стр. 226. ...называли Гарпагоном...—Гарпагон — герой комедии Мольера «Скупой» (1668), патологический скряга.

Стр. 227. ...появилась заметка Гура...—Гур Карл Вильгельм Фридрих (1787—1848)—немецкий скрипач, дирижер и композитор, автор труда «Об искусстве Паганини играть на скрипке» (1830).

Стр. 228. Лаффит Жак (1767—1844)—французский банкир, участник Июльской революции 1830 г.; в ноябре 1830—марте 1831 г. глава правительства и министр финансов Франции.

Стр. 229. ...стал королем Карлом X.—Карл X (1757—1836)—король Франции (1824—1830).

Стр. 230. ...не соглашалась ехать в Париж при Людовике.—Имеется в виду французский король Людовик XVIII (1755—1824).

Стр. 235. «Декларация прав»—«Декларация прав человека и гражданина» — политический манифест Великой французской революции, принятый Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

...об отставке министра Полиньяка.—Полиньяк Огюст Жюль Арман (1780—1847)—в 1829—1830 гг. (до Июльской революции) глава французского правительства и министр иностранных дел.

Стр. 240. Молодой польский пианист Шопен...—Шопен Фридерик (1810—1849)—великий польский композитор.

Стр. 241. Эльзнер, директор варшавской консерватории...—Эльзнер Юзеф (1769—1854)—польский композитор, дирижер, общественный деятель и педагог, учитель Шопена.

Стр. 243. ...кодекс Наполеона...—Принятый в 1804 г. и действующий до сих пор Французский гражданский кодекс, составленный при активном участии Наполеона.

Стр. 244. ...ко времени Людовика Святого.—Людовик IX Святой (1214—1270)—французский король с 1226 г., организатор двух крестовых походов.

Стр. 244—245. Отравленный музыкантом Цивней...—Имеется в виду Войцех Живный (1756—1842)—польский скрипач, пианист и композитор чешского происхождения, учитель Шопена.

Стр. 247. Бреславль—польский город Вроцлав, находившийся под многовековым немецким господством.

Стр. 248. ...талантливый мальчик Камилл Сивори...—Сивори Эрнесто Камилло (1815—1894)—итальянский скрипач-виртуоз, ученик Паганини.

Стр. 256. ...недавно умершего неудачливого композитора Амедея Гофмана.—Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822)—немецкий писатель-романтик, композитор и художник.

Стр. 257. ...слушать певицу Малибран.—Малибран Мария Фелиcita (урожденная Гарсиа, 1808—1836)—французская оперная певица, сестра Полины Виардо-Гарсиа. Прославилась исполнением партий в операх В. Беллини и Дж. Россини.

Стр. 258. *Жюль Жанен* (1804—1874)— французский писатель, критик и журналист.

Стр. 259. *...скользящая тень Агасфера...*—Агасфер (Вечный жид)— герой средневековых сказаний, обреченный богом на вечные скитания за то, что не дал отдохнуть Христу по пути на Голгофу.

Стр. 260. *Берио* Шарль Огюст де (1802—1870)— бельгийский скрипач, педагог и композитор.

Александр Малибран (1823—1867)— французский скрипач и музыкальный писатель.

Стр. 265. *Лафайет* Мари Жозеф (1757—1834)— маркиз, французский политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке, создатель Национальной гвардии в 1789 г.; после Июльской революции 1830 г. содействовал вступлению на престол Луи Филиппа.

Стр. 269. *Там был Нодье.*—Нодье Шарль (1780—1844)— французский писатель-романтик, автор романа «Жан Сбогар» (1818), где «благородный разбойник» противопоставлен буржуазному обществу.

Стр. 270. *...сменивший парижского Видока...*—Видок Эжен Франсуа (1775—1857)— сыщик, шеф французской уголовной полиции (Сюртэ), в прошлом беглый каторжник. Некоторыми чертами Видока наделен один из колоритнейших персонажей бальзаковской «Человеческой комедии» — Вотрен. А. С. Пушкин сделал имя Видока нарицательным, пригвоздив им к позорному столбу Ф. Булгарина.

Стр. 277. *Верон* Луи Дезире (1798—1867)— французский музыкант, журналист и театральный деятель.

Стр. 281. *Как часто луч заги благословенной...*—строки из поэмы Байрона «Дон Жуан» (песнь третья, строфы CV, CVI).

В зале был Франц Лист.—Лист Ференц (1811—1886)— великий венгерский композитор, пианист, дирижер. Лист впервые услышал Паганини 9 марта 1831 г. на концерте в парижской Гранд-Опера. На этом концерте, которым открылись гастрольные выступления итальянского виртуоза в Париже, присутствовали также Оноре де Бальзак, Генрих Гейне, Теофиль Готье, Виктор Гюго, Эжен Делакруа, Альфред де Виньи, Жюль Жанен, Феликс Мендельсон-Бартольди, Жорж Санд, Альфред де Мюссе и другие знаменитости. На двадцатилетнего Листа, по его собственному признанию, игра Паганини произвела впечатление «сверхъестественного чуда», открыла ему «новый мир», помогла преодолеть душевный кризис и вдохновила на творческие свершения, настойчивые поиски собственного пути в искусстве (см.: Мильштейн Я. Ф. Лист. Часть I. М., Музгиз, 1956, с. 104—105).

Стр. 282. *...ясный аналитик Людвиг Берне.*—Бёрне Людвиг (1786—1837)— немецкий прогрессивный писатель, публицист и литературный критик.

Стр. 297. *...статью Берлиоза...*—Берлиоз Гектор Луи (1803—1869)— французский композитор, дирижер и музыкальный критик, которому Паганини в 1838 г. оказал серьезную материальную поддержку. А. Виноградов ошибочно указывает, что это произошло в 1837 г.

Стр. 299. *Лист усиленно работает над переложением твоих скрипичных пьес для фортепьяно. Шуман занят тем же самым.*—Под впечатлением игры

итальянского скрипача Ф. Лист в 1831—1832 гг. написал «Большую бравурную фантазию на «Колокольчик» Паганини» с использованием темы рондо из финала второго скрипичного концерта Паганини, позже создал фортепьянные этюды по каприччи Паганини. Немецкий композитор Роберт Александер Шуман (1810—1856) сделал фортепьянные обработки каприччи Паганини, а также запечатлел в своем «Карнавале» яркий музыкальный портрет виртуоза. Темы Паганини, кроме того, использовали в своих произведениях Ф. Шопен, И. Штраус, И. Мошелес, И. Брамс, Ф. Легар, С. Рахманинов и другие прославленные композиторы.

Стр. 300. ...этому Скапену...—Скапен—герой комедии Мольера «Проделки Скапена» (1671).

Стр. 309. Ротшильд Джемс (1792—1868)—барон, французский банкир.

Стр. 311. ...эгоистический Рафаэль...—Рафаэль де Валантен—персонаж романа Бальзака «Шагреновая кожа» (1830—1831), где фантастический сюжет использован для философского осмысления действительности.

Стр. 319. О вас говорят, как о жреце Изиды.—Исида—в древнегреческой мифологии—жена и сестра Осириса, богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, олицетворение супружеской верности, покровительница мореплавания.

Стр. 336. Эрнст Генрих Вильгельм (1814—1865)—чешский скрипач-виртуоз и композитор.

Молик Вильгельм Бернхард (1802—1869)—немецкий скрипач, композитор и педагог.

Оле Булл—Булль Уле Борнеман (1810—1880)—норвежский скрипач, композитор, фольклорист и общественный деятель.

Вьетан Анри (1820—1881)—бельгийский скрипач, педагог и композитор.



БАЙРОН

Книга А. К. Виноградова о великом английском поэте-романтике Джордже Ноэле Гордоне Байроне (1788—1824) вышла в серии «Жизнь замечательных людей» (выпуск 9—10 (81—82) в том же 1936 году, что и роман «Осуждение Паганини». В отличие от «Осуждения Паганини» это не роман, а биографическое повествование, и здесь А. Виноградов стремился сохранять верность всем известным ему фактам и документам. Помимо художественных произведений и писем самого Байрона, при работе над книгой автор опирался на труды отечественных (А. Н. Веселовский, А. В. Луначарский, В. Д. Спасович, М. Н. Розанов, В. М. Жирмунский) и английских исследователей (они перечислены в библиографии, приложенной к первому изданию). Важным источником сведений о великом английском поэте послужила многократно переиздававшаяся книга Т. Мура «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни» (1830; А. Виноградов пользовался изданием 1873 г.).

Стр. 349. *Он только что вернулся из путешествия по Востоку.*—Став в марте 1809 г. членом палаты лордов, в июне того же года Байрон отправился в путешествие по странам Ближнего Востока и южной Европы с целью, как он писал, «по личному опыту, а не по книгам создать свое мнение о человечестве». В Англию поэт вернулся в июле 1811 г.

Умер дальний родственник.—Титул лорда и родовое поместье Ньюстед (в прошлом — монастырь) в графстве Ноттингемшир Байрон унаследовал от своего двоюродного деда в 1798 г.

Стр. 350. «Гемпден-клубы» — названы в честь Джона Гемпдена (1594—1643) — одного из лидеров (с 1621 г.) парламентской оппозиции накануне Английской буржуазной революции XVII в.

Стр. 351. *...сведения о законности брака своего деда.*—Дед поэта — Джон Байрон (1723—1786), которого упоминает Пушкин в начатой им биографии «певца Гяура и Жуана», — адмирал, в 1764—1766 гг. командовал кругосветной экспедицией.

Стр. 353. *...в маленьком Абердине...*—Абердин — город-порт в Шотландии.

Стр. 354. ...«преступления Байронов, совершенные от Вильгельма Завоевателя до наших дней».—Вильгельм Завоеватель (ок. 1027—1087)—герцог Нормандии, английский король с 1066 г.

Стр. 357. «Часы досуга»—первый сборник стихотворений Байрона, опубликованный в 1807 г. под собственным именем; два предыдущих сборника были изданы анонимно.

Стр. 359. *В морях перехватывали хлебные грузы французский король и его союзники.*—Описка А. К. Виноградова: в 1811 г. во Франции не было короля, с 1804 г. императором французов был провозглашен Наполеон I.

Стр. 360. «Луддиты»—участники первых стихийных выступлений против применения машин в ходе промышленного переворота в Великобритании в конце XVIII—начале XIX в.

Стр. 366. *Вышли две первые песни «Странствований Чайльд Гарольда»...*—С поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» началась литературная слава Байрона в Англии и за ее пределами. Здесь уже проявились те свойства гениального дарования поэта, которые Белинский охарактеризовал так: «Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историею» (Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая).

Стр. 368. ...другого неприкаянного молодого человека—Карла Моора.—Моор Карл—герой драмы Фридриха Иоганна Шиллера (1759—1805) «Разбойники» (1781).

Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848)—французский писатель, автор повести «Рене, или Следствия страстей» (1802), вошедшей в первый выпуск серии «История молодого человека XIX столетия», которая была издана в 1932 г. под редакцией М. Горького и А. Виноградова. Шатобриановский Рене—предтеча галереи «лишних людей» мировой литературы, представляющий собой, по словам Горького, «тип индивидуалиста».

Стр. 371. *В 1811 году выяснилось, что Георг III не может больше править Англией.*—Георг III (1738—1820)—английский король с 1760 г. Из-за его психического заболевания с 1811 г. при нем было назначено регентство принца Уэльского (1762—1830), ставшего в 1820 г. королем Георгом IV.

Стр. 372. «Великая хартия вольностей»—грамота, подписанная в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным. Ограничивала права короля в интересах аристократии, предоставляла некоторые привилегии рыцарству, городам и верхушке свободного крестьянства.

Стр. 373. ...депутат Шеридан...—Шеридан Ричард Бринсли (1751—1816)—английский драматург, театральный и общественный деятель, автор комедий «Соперники» (1775), «Школа злословия» (пост. 1777, изд. 1780) и др., блестящий оратор. С 1780 по 1812 г. был членом парламента, одним из лидеров радикального крыла партии вигов. Выступал за введение всеобщего голосования, в защиту независимости Ирландии, против произвола английских властей в Индии, осудил войну

против восставших английских колоний в Северной Америке, требовал признания Французской республики.

Стр. 376. ...*снизить авторитет Веллингтона*...—Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852)—английский фельдмаршал (1813). В войнах против наполеоновской Франции командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове и англо-голландской армией в битве при Ватерлоо (1815). В 1828—1830 гг.—премьер-министр Англии.

...*строфы ненависти, посвященные лорду Эльджину*...—Эльджин Томас Брюс (1766—1842)—английский дипломат и археолог-любитель, шотландец по происхождению. Будучи британским послом в Афинах, добился разрешения от турецкого султана вывезти в Англию античные статуи. Воспользовавшись этим, его помощники выломали выполненные великим Фидием и его учениками скульптуры с фронтона Парфенона и около половины плит фриза. Эти сокровища древнегреческого искусства были проданы затем Эльджином Британскому музею, где и находятся до сих пор. За то, что под его руководством «заморских варваров отряды бесстыдно грабили наследие Эллады», Байрон в «Паломничестве Чайльд Гарольда» назвал лорда Эльджина «низким вором».

Стр. 377. ...*Байрон писал Ходжсону*...—Ходжсон Фрэнсис (1781—1852)—друг Байрона со студенческих лет, поэт, переводчик, позже—приходский священник. Ему адресованы многие письма Байрона и посвящены его стихотворения «Строки мистеру Ходжсону» (30 июня 1809 г.) и «Послание другу в ответ на призыв быть веселым и гнать печаль» (11 октября 1811 г.).

Стр. 379. *Первый соблазнительный предмет подражания—это Бекфорд*...—Бекфорд Уильям (1760—1844)—английский писатель. Главное его произведение—фантастическая повесть «Ватек. Арабская сказка» (на фр. яз.—1782, на англ. яз.—1786).

Стр. 386. ...*Байрон встречался с трагическим актером Кином*...—Кин Эдмунд (1787—1833)—английский трагик, прославился исполнением ролей в пьесах Шекспира.

...*с поэтом Роджерсом*...—Роджерс Сэмюэл (1763—1855)—английский поэт, его поэма «Жаклин» была издана в 1814 г. вместе с байроновской поэмой «Лара».

Стр. 387. ...*считая их автором Томаса Мура*...—Мур Томас (1779—1852)—английский поэт, ирландец по происхождению, друг Байрона. Наиболее известны его романтическая поэма «Лалла Рук» (1817) и песня «Вечерний звон» (русский перевод И. Козлова). В 1830 г. Т. Мур опубликовал книгу «Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни».

Стр. 393. *Гёц фон Берлихинген*—рыцарь, герой одноименной драмы Гете (1773).

Стр. 395. ...*история мифической любви Леандра и красавицы Геро*...—Геро в греческой мифологии—жрица Афродиты в городе Сест на берегу Геллеспонта, в которую влюбился юноша Леандр из Абидоса, расположенного на противоположном берегу пролива. Каждую ночь Леандр переплывал пролив, чтобы встретиться с возлюбленной. Геро зажигала на башне в Сесте огонь, и Леандр плыл, ориентируясь в темноте на этот

маяк. Однажды огонь погас, и Леандр утонул. Увидев утром его труп, прибитый волнами к берегу, Геро в отчаянии бросилась в море. Байрон использовал этот сюжет в поэме «Абидосская невеста» (1813).

Стр. 402. ...восхищение Вашингтоном...—Вашингтон Джордж (1732—1799)—главнокомандующий армией колонистов в Войне за независимость в Северной Америке, первый президент США (1789—1797).

Подобно Фемистоклу...—Фемистокл (ок. 525—ок. 460 гг. до н. э.)—афинский полководец.

Стр. 404. В один из Спенсианских клубов, названных по имени Томаса Спенса...—Спенс Томас (1750—1814)—английский публицист, поэт, издатель. Выступил с планом национализации земли, опубликовал утопическую книгу «Морская республика» (1794) и трактат «Возвращение общества к естественному состоянию» (1801), за которую подвергся тюремному заключению. Приверженцы Т. Спенса создали в 1801 г. «Общество спенсианцев», позже переименованное в «Спенсианские филантропы».

Стр. 413. ...не радовал визит Блюхера и Веллингтона...—Блюхер Гебхард Лебрехт (1742—1819)—прусский генерал-фельдмаршал. В 1813 и в 1815 гг.—главнокомандующий прусской армией в войне с Францией, успешно действовал в сражении при Ватерлоо. Веллингтон—см. примеч. к стр. 376 наст. тома.

Стр. 414. ...начиная с классической Федры, любившей пасынка Ипполита...—Сюжет этого древнегреческого мифа известен из трагедии Еврипида «Ипполит»: Федра, вторая жена афинского царя Тесея, влюбилась в своего пасынка Ипполита, но была отвергнута им. Тогда она оклеветала его перед отцом, ради чего покончила с собой, обвинив в предсмертной записке в совершенном насилии. Поверив записке, Тесей проклял сына, призвав гнев Посейдона, в результате чего Ипполита растоптали собственные кони. Царь, которому богиня Артемида открыла истину, примирился с умирающим сыном.

...трактовка этой темы доходит до Альфиери...—Альфиери Витторио (1749—1803)—итальянский поэт и драматург, создатель национальной трагедии классицизма.

Стр. 425. ...историк Маколей...—Маколей Томас Бабингтон (1800—1859)—английский историк, публицист и политический деятель, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1858).

Стр. 429. Роберт Оуэн (1771—1858)—английский социалист—утопист.

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825), Фурье Шарль (1772—1837)—французские утопические социалисты.

Стр. 430. Годвин Уильям (1756—1836)—английский писатель, отец Мэри Уолстонкрафт Шелли (1797—1851), писательницы и жены поэта П.-Б. Шелли (1792—1882).

Стр. 437. Спиноза Бенедикт (Барух, 1632—1677)—нидерландский философ-материалист.

Стр. 440. Шопенгауэр Артур (1788—1860)—немецкий философ.

Стр. 445. *...один из биографов Байрона...*—Розанов Матвей Никанорович (1858—1936), автор книги «Эпоха Байрона» (1922).

Стр. 446. *Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817)—французская писательница, творчество которой высоко ценил А. С. Пушкин, описавший в романе «Рославлев» ее приезд в Россию.

Стр. 474. *Морозов* Петр Осипович (1854—1920)—историк русской литературы; важнейшее место в его деятельности занимало изучение творчества А. С. Пушкина.

Стр. 477. *Георг Брандес* (1842—1927)—датский литературный критик.

Стр. 483. *Мадзини* Джузеппе (1805—1872)—итальянский революционер, публицист и критик, еще юношей принимал участие в движении карбонариев, всю жизнь посвятил борьбе за объединение Италии и за освобождение ее от иностранных захватчиков.

Стр. 486. *...Томас Мур... созвал пугливых друзей Байрона и в их присутствии, с их согласия порвал в клочья мемуары Байрона...*—Как известно, А. С. Пушкин оправдывал этот поступок Т. Мура и писал П. А. Вяземскому в ноябре 1825 г.: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо—а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением. Поступок Мура лучше его «Лалла-Рук» (в его поэтическом отношении). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции.—Охота тебе видеть его на судне...» (Переписка А. С. Пушкина. В 2-х тт. т. 1. М., Худож. лит., 1982, с. 237).

Стр. 499. *...со времени Августа.*—Август (63 г. до н. э.—14 г. н. э.)—римский император с 27 г. до н. э. внучатый племянник Юлия Цезаря (102 или 100—44 гг. до н. э.), усыновленный им в завещании.

Стр. 506. *...стихи горняка карбонария Берше...*—Берше Джованни (1783—1851)—итальянский поэт, один из основоположников итальянского романтизма, участник движения карбонариев.

...Фердинанд Испанский приказал убить Риего...—Риего-и-Нуньес Рафаэль (1785—1823)—испанский революционер, возглавил восстание, положившее начало испанской революции 1820—1823 гг. После поражения революции казнен.

Стр. 531. *...тайного союза Константина Ригаса.*—Ригас Констандинос (ок. 1757—1798)—греческий революционный демократ, поэт. В 1796—1797 гг. основал в Вене тайное революционное общество «Этерия».

Стр. 532. *...граф Иоанн Каподистрия...*—Каподистрия Иоаннис (1776—1831)—с 1827 г. президент Греции, сторонник дружественных отношений с Россией.

Ипсиланти Александр (1792—1828)—руководитель (с 1820 г.) греческой революционной организации «Филики Этерия». Генерал-майор

русской армии (1817), участник Отечественной войны 1812 г. Поднял антиосманское восстание в Молдове, явившееся сигналом к началу Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 гг.

Стр. 533. *Дмитрий Ипсиланти* (1793—1832)—офицер русской армии, с 1828 г. главнокомандующий войсками Восточной Греции в ходе Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 гг.

...с помощью Маврокордато...—Маврокордатос Александрос (1791—1865)—президент Греции (1822—1823) во время Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 гг.

С. Бэлза



СОДЕРЖАНИЕ

ОСУЖДЕНИЕ ПАГАНИНИ	7
БАЙРОН	349
Примечания <i>С. Бэлзы</i>	541

Виноградов А. К.

**В49 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3. Осуждение
Паганини: Роман; Байрон/Примеч. С. Бэлзы.—
М.: Худож. лит., 1988.—558 с.**

ISBN 5-280-00118-х (Т. 3)

ISBN 5-280-00117-1

В том вошли роман «Осуждение Паганини» (1936) о трагической жизни великого итальянского скрипача и композитора и документальное повествование «Байрон» (1936) о судьбе и творчестве знаменитого английского поэта-романтика.

**В 4702010200-156 подписное
028(01)-88**

ББК 84Р7

АНАТОЛИЙ КОРНЕЛИЕВИЧ ВИНОГРАДОВ

Собрание сочинений

Том 3

Редакторы *Н. Новикова, Е. Плотникова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Л. Гостева, М. Чупрова*

ИБ № 4933

Сдано в набор 15.06.87. Подписано к печати 03.03.88. Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 31,76. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-2814. Заказ № 1020

Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диaposитивы изготовлены в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

